

А.Н. БУРМЕЙСТЕР

ДУХОВНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ:
у истоков русского самопознания

Тюмень 2010

УДК 10(09)

ББК 87.3

Б 91

Б-91 **Бурмейстер А.Н.** Духовность и просвещение: у истоков русского самопознания. Тюмень, ТюмГАСУ, 2010. - 646 с.

ISBN - 978-5-98346-062-1

Автор книги - Заслуженный профессор Гренобльского Университета-3 им. Стендаля, известный специалист по русской философии и истории. Цель предлагаемого труда - исследовать, каким путем Просветительская революция сверху, предпринятая Петром Великим, вызвала популистскую контрреволюцию, которая на долгий срок отстранила Россию от нормального исхода: правового государства и гражданского общества. Исследованный материал состоит исключительно из первоисточников: статей, дневников, воспоминаний, переписки между современниками, при исключении позднейших истолкований. Слово дается любомудрам, гегельянцам, славянофилам и западникам, либералам и радикалам в спорах о самобытности и светскости, о Просвещении и духовности, о примирении с действительностью и о ее обличении, и т.д. Читателю судить.

Адресуется философам, историкам, культурологам и всем тем, кто интересуется проблемами становления русского самопознания в XIX-XX веках.

ISBN - 978-5-98346-062-1

© А.Н. Бурмейстер, 2010

Оглавление

Предисловие	6
Вступление: Московский университет и любомудры . . .	20
Глава 1. Московский университет и кружок Станкевича	40
Глава 2. Москва. Современность и светскость (1834-1837 гг.)	88
Глава 3. Берлин. Логика и философия истории (1837-1839 гг.)	152
Глава 4. Москва. Гегель и примирение с действительностью (1837-1840 гг.)	202
Глава 5. Смерть Идеи и воцарение Отрицания.	265
Глава 6. Москва, Петербург. Духовность или Просвещение?.	321
Глава 7. Бакунин и Герцен о буржуазии, о революции, Николай I и граф Киселев об отмене крепостного права	389
Глава 8. Революция сверху. Либералы и радикалы. 1856-1864 гг.	451
Глава 9. Тургенев и Герцен о нигилизме, о Базарове . . .	514
Заключение	592
Приложение	593
Список сокращений	603
Библиографический список	610
Примечания	615

Слово от издательства

Хорошо известны слова великого русского писателя Н.В. Гоголя: "Велико незнание России посреди России...", которые прозвучали как призыв к соотечественникам о более глубоком постижении родной истории и культуры. Гоголевский период русской литературы - 30-50-е годы XIX века - это время пробуждения и подъема русского самосознания, время самобытного творчества Т.Грановского и Н.Станкевича, П. Чаадаева и А.Хомякова, В.Белинского и А. Герцена, И.Киреевского и В.Одоевского. Мысль Гоголя обозначила серьезную проблему: действительная история русской культуры - во многом история потерь и напряженного стремления вернуть утраченное. Насильственные обрывы культурной преемственности, "прорывы" к Европе с подражанием европейскому строю мышления, балансирование между религиозностью и атеизмом, идейная поляризация и создание искусственных культурных моделей - инициировали тенденцию поверхностного, произвольного понимания русской культуры, ее смысла и мира ценностей. В отдельные периоды насаждалось отношение к русской культуре как к феномену, подлежащему острой критике и переделке, ведущей к подрыву ее национальных и духовных истоков. Россияведение оказалось, по-существу, на периферии гуманитарных наук. Сложилась парадоксальная ситуация, когда по изучению ряда направлений отечественной культуры зарубежные коллеги стали брать перевес, создавая глубокие и оригинальные труды.

Издательство Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (ректор - Виктор Михайлович Чикишев) предлагает читателям России и других стран книгу французского профессора А.Н. Бурмейстера "Духовность и просве-

щение: у истоков русского самопознания" - интересное, во многом самобытное исследование русской культуры XIX века. Автор определяет собственный путь к ее познанию через проникновение в тайники мышления и личностных выражений главных персонажей книги - писателей и мыслителей России. Ценность настоящего труда в обращенности к архивным данным и в собственной интерпретации событий интеллектуальной и духовной жизни России времени, когда она начала приобретать мировую значимость. Издательство публикует книгу А.Н. Бурмейстера в авторской редакции, с сохранением классически выстроенного стиля и свойственным автору чувством эпохи.

Виктория Апрелева.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне надлежит обусловить цель, которую я преследую вот уже полвека, с тех пор, как писал дипломную работу "О влиянии Гегеля на эстетические суждения В.Г. Белинского". Следовало бы принять академический тон и заявить, что, приступая затем к докторской диссертации, я расширил эту тему в рамках "общечеловеческого идеализма", вдохновителем которого был друг Белинского - Н.В. Станкевич, первый настоящий русский гегельянец. Но на память мне приходят слова моего учителя по семиологии, А. Греймаса, впрочем, уроженца Ковны; он мне говорил: "Когда обращаешься к русскому коллеге с вопросом о его публикациях, он непременно начинает с того, что рассказывает свою жизнь". Хотя я и родился во Франции и прошел весь курс обучения во Франции, с начальной школы в рабочем поселке, при химическом заводе, где трудился мой отец, до Сорбонны, где я защитил свою докторскую диссертацию, я остался русским в глубине души и не могу удержаться от потребности начать с того, что расскажу вам о себе.

Несмотря на тяжелые материальные условия в эмиграции, под Лионом, благодаря культурной семейной обстановке, в которой я рос и воспитывался, я усвоил понятия и ценности, имеющие мало общего с теми, которые вдохновляли Белинского, Герцена, Бакунина - тех, кто стали моими вечными спутниками в поисках потерянной родины... Ничего общего, кроме той же привязанности и любви к России. Отец мой, Николай Иванович фон Бурмейстер, выпускник Пажеского корпуса, гвардейский офицер, на фронте с октября 14-ого года, затем в Добровольческой армии при Деникине и Врангеле, возбуждал во мне рыцарские чувства верности и чести. А мать моя, урожденная Еврейнова, дочь губернатора Пензы до февраля 17-го года, учила меня молиться и знакомила со стихами Пушкина и Лермонтова, которые я декламировал в день рождения тети, дяди или бабушки, двоюродных братьев, и меня бабушка сажала за диктовку, потом читала нам "Капитанскую дочь". Отец знакомил нас со славной историей

Руси. По воскресеньям мы все собирались в православном храме, выстроенном руками самих прихожан. Дома говорили только по-русски; по-французски заговорил я в 6 лет, в школе. От нас, детей русской эмиграции, особенно мальчиков, ожидали одного: закончить отличниками лицей, поступить в подготовительные классы к конкурсным экзаменам в престижные инженерные училища и стать инженерами на заводах, где наши отцы - рабочие, выбивались из сил ради нашего обучения. Судьба моя повернулась иначе из-за туберкулеза, причиненного лишениями в годы немецкой оккупации. Специальный для студентов санаторий, где я оказался, стал моим университетом. От того, что преимущественно "зубрил" математику, я едва ли был знаком с философией, с историей и вообще с общественными науками. А тут еще привилась политика! Я лицом к лицу столкнулся с марксистами, коммунистами, поклонниками Советского Союза.

У нас в рабочем поселке коммунистов было тогда изобилие, но большинство населения состояло из эмигрантов: итальянцев, испанцев, поляков, армян, русских. Никому из них не приходило в голову назвать отца "белогвардейцем". Всех нас уравнило одно - эмиграция; мы тут были все жертвы той же участи. Зато раздавались иногда слова: "Sale étranger!", со стороны ксенофоба-француза. В санатории марксисты меня встретили добродушно, с любопытством. Узнав мое происхождение, они заключили: "Значит, твой отец был контрреволюционером!" В обстановке терпимости и свободомыслия, царивших вокруг нас, это суждение не принимало политического характера, а сводилось просто к историческому определению, над которым мне пришлось призадуматься: каким образом эти милые, образованные мальчики могут прозвать "контрреволюционером" просвещенного человека, который имел мужество выступить с оружием в руках против варваров, разрушителей России? Не следовало ли повернуть этот "комплимент" в сторону вождей революции, которыми они восхищались? Не являются ли контрреволюционерами Сталин и Ленин? С этого и началось во мне перерождение. До сих пор я сторонился Советского Союза, признавал, увы, его существование, но не желал ближе знакомиться с "монстром", украшенным лишь подлой пропагандой и окровавленным зверскими преступлениями. Теперь я понял, что под равнодушием я только скрывал в себе свою родовую привя-

* Грязный иностранец! (фр.).

занность к родине, какова бы она не была. У меня не хватало научной базы, чтобы повернуть "комплимент", не зная, как ответить на вопрос: против какой революции провели свою контр-революцию большевики? Зато я сумел повернуть чувство любопытства в свою пользу. Я стал с любопытством изучать культуру и мировоззрение моих новых товарищей. С некоторыми из них я даже близко подружился. Перевоспитать они меня не смогли, но принесли мне много ценных знаний о марксизме-ленинизме, о "советской культуре", которая меня одновременно отталкивала и привлекала, при желании проникнуть в этот чужой мне мир, населенный Сталиным, Кагановичем, Ворошиловым и в то же время Прокофьевым и Шостаковичем. Я стремился углубиться в настоящее и прошлое незнакомой мне России и усвоить, на каком историческом этапе разошлись дороги нашей России и их, советской.

Мои коммунисты научили меня спорить с ними на положительных началах в поисках правды. Они были искренни и честны; после XX съезда в большинстве они расстались с иллюзиями и с "родиной социализма". Я, наоборот, примкнул к ней, считая, что "монстр" зашевелился и что пора мне знакомиться с ним не снаружи, а изнутри. В 1957 году я впервые посетил Россию по случаю Московского фестиваля молодежи. К этому времени я уже оканчивал полный курс в университете по русской литературе и истории и принимался за изучение влияния Гегеля на Белинского, по совету моего профессора: "Вы, я знаю, интересуетесь Марксом, почему Вам не коснуться и Гегеля?" Я его не только коснулся, но, в поисках путей русского мышления, как в паутине, я завяз в нем и в немецком идеализме, "субъективном" у Фихте, "объективном" у Шеллинга, "абсолютном" у Гегеля. Вскоре после этого первого знакомства с "демократом-революционером", как советская критика называла Белинского, по совету моего научного руководителя, профессора Гранжара, я принялся за знакомство с его "идеалом", с легендарной фигурой Станкевича. Неужели, приступая к докторской диссертации, я проникал в штаб-квартиру того движения, от которого все пошло? - и анархизм вольнолюбца Бакунина, и народничество либерала-революционера Герцена, и критический реализм, обличительная литература неистового Белинского?

Увы, скромная и мирная натура Станкевича ничего общего не имела с пафосом беспощадного революционера. Усвоение "новой науки", подвиг, на который он призывал своих "соратников", нес скорее духовный, моральный характер. Постепенное проникновение немецкой философии в русскую культуру протекало в загадочной

атмосфере, пропитанной мучительными испытаниями, осыпанной трагическими судьбами. Как символична для каждого поколения преждевременная смерть, жертвоприношение наиболее одаренного его представителя! В 1803 году, в возрасте 22 лет умирает Андрей Тургенев, первенец аристократической семьи, дипломат, поэт, основатель литературного кружка в духе немецкого движения "Бури и натиска"; его друзья, в первую очередь поэт Жуковский, преклоняются перед его памятью. В 1827 году умирает, тоже в 22 года, Дмитрий Веневитинов, поэт и философ, основатель кружка Любомудров; его друзья благоговейно собираются ежегодно, чтобы почтить его память. В 1840 году, подточенный чахоткой, умирает в Италии, в возрасте 26 лет - тот, кто воплощает все добродетели в глазах своих близких - Николай Станкевич, поэт и философ.

Озаренный гегельянской Идеей, Станкевич предпринимает ту же одиссею, что и его предшественники. Московские "любомудры", враждебно настроенные против болтовни французских философов, открыли Шеллинга. "В начале XIX-го века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV-ом, пишет их теоретик, князь Одоевский, он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, его душу". Генуэзский мореплаватель опирался на гипотезу о сферичности земли в надежде открыть новый, морской путь в Индию. Немецкий идеализм приглашает мыслителей преодолеть предел, в границах которого жажда познания истощается, покинуть "земные пути", эмпирическую реальность, которой посвятили свои энциклопедические труды "французские болтуны", короче говоря, отказаться от "иллюзорного" Просвещения XVIII века и смело пуститься в океан внутренней жизни, в умозрительные построения, в самопознание. Достоверно только одно: несмотря на все опасности, кругосветное плавание завершится там, где началось, в подтверждении истин веры, в исчезновении всех сомнений, в откровении новой науки. Предлагаемый немецкими миролюбивыми учеными круговорот является революцией в буквальном смысле слова. В чисто спекулятивной, безобидной форме, он предполагает у Гегеля постоянный пересмотр установленных понятий, их безжалостное отрицание во имя их подтверждения на высшем уровне сознания. А что может получиться фактически при этом вращении, если одна из частиц оторвется от силы притяжения и, сохраняя свой дух отрицания, станет независимым электроном?

Вот, значит, в чем состоит подвиг, одиссея, скорее, разрушительный поход, в который пускаются доверчивые русские юноши, руководимые "Новой наукой"! Для меня это было откровением, но я сразу не измерил все последствия. Меня особенно привлекал открывающийся мало и неудовлетворительно исследованный "континент", кругозор поколения студентов Московского университета в начале 30-х годов, находящихся под влиянием немецкого идеализма. Мне хотелось им дать слово, позволить заговорить им самим, во избежание клише, предвзятых суждений, возведенных до степени очевидности теми, кто не утруждает себя обращением к истокам. Этому благоприятствовал тот факт, что письменные свидетельства имелись в избытке: статьи, эссе, переписки, дневники, воспоминания. Издания того века и начала XX-го были тогда доступны в книжных магазинах в Москве и даже в Париже. Под разными предлогами, я стал ездить в Москву почти ежегодно, на короткий срок, ходил по магазинам, обменивался книгами с библиофилами, посещал "ленинскую", слушал добрые советы старших коллег МГУ, особенно услужливого профессора С.И. Машинского, которому я остался благодарен за четкие указания опытного охотника по старине: кого искать и где; беседовали у него в кабинете, где стояло кресло М.П. Погодина! При этом стали выходить в эти годы прекрасные собрания сочинений Белинского, Герцена, Тургенева, Достоевского и многих других.

Но главным моим путеводителем оказался сам Станкевич и его переписка. После ранней его смерти, друзья благоговейно собирали его письма и публиковали. Какая переписка! какое сплетение дружб! какой обмен чувствами и идеями! какое богатство даже в описании самого обыденного! Благодаря этой переписке становилось мне возможным восстановить прошлое, собрать по кусочкам мозаику из писем, посланных ему, из воспоминаний, из статей, дневников его товарищей. Я испытывал одновременно эстетическое удовольствие романиста и умственное удовлетворение исследователя, способного опровергать суждения тех моих предшественников, которые писали отдельно о каждом из московских гегельянцев, осуждали его непонимание "учителя" или приписывали ему ложную систему мышления. Подходить к кружку Станкевича "коллективно" означало отстранять систематизирующую и открывать общую проблематику, чередование вопросов без ответа. "Общечеловеческий идеализм" 30-х годов проявлялся в горестном, вопросительном взгляде юноши в поисках жизни, счастья,

правды о себе и о других, в его духовных испытаниях: прекраснодушие, падение, рефлексия, внутренний распад. Как мне было не привязаться к самому благородному из них, страдавшему при этом тем же недугом, что и я сам.

Во имя просвещения Станкевич стремился к примирению, к примирению с самим собой, с окружающей действительностью, с Богом. Прежде чем просвещать других, он считал необходимым просветить самого себя. Ограничиваясь судьбой Станкевича и годом его смерти (1840), я оставлял открытой, на полпути его проблематику и судьбу его обездоленных "учеников". Стоя у "разбитого корыта", в несправедливости этой смерти они видели крах гегельянства как примирения веры и разума, религии и философии. Я предчувствовал, что имел дело с бомбой замедленного действия, но мне пришлось оставить на долгий срок расследование этого дела. Для меня открывалась кафедра истории и литературы России и СССР в Гренобльском университете и, помимо отдельных докладов и статей о любомудрах и гегельянцах, я целиком погрузился в изучение нового объекта - Советского Союза и преимущественно в семиологический анализ советской политической речи, "сталинского сказа".

Почти 30 лет спустя, уже выходя на пенсию, я отдал на публикацию труд, над которым не переставал задумываться: "Русская идея между Просвещением и духовностью в царствование Николая I" (Bourmeyster A. *L'Idée russe entre Lumières et spiritualité sous le règne de Nicolas I^{er}*). В ней я доходил до смерти Белинского, до революции в 1848 г. во Франции и в Европе, с ее последствиями. Я расширял рамки моей диссертации, чтобы включить на равноправных началах людей сороковых годов, западников умеренных и радикальных, славянофилов и сторонников "официальной народности". В предисловии я писал: "Русская Идея родилась в муках Просветительской революции, проводимой сверху, по инициативе просвещенного деспота. Петр I осознал необходимость коренного преобразования образа жизни своих подданных во имя выживания своей империи". Волонтаристский характер революции, которая в силу обстоятельств превратилась в перманентную, оправдывал власть его последователей, но при этом подвергал их опасности контрреволюции, принимающей со временем самые различные и противоречивые формы "реакции" от дворцовых переворотов, пугачевщины, аракчеевщины до народничества и, наконец, большевистской контрреволюции, объявившей войну России и русскому народу.

Я применял тот же подход, что и в диссертации, давал слово исключительно современникам, но при масштабе исследованного материала, мое предприятие принимало скорее вид монтажа фильма с эпизодами, дающими возможность "зрителю" оценить в ходе споров глубину затронутых вопросов. При этом я был убежден, что разногласие между славянофилами и западниками не носило характера радикального раскола. И те и другие оставались европейцами, воспитанными еще в либеральной обстановке века Просвещения. Одновременно или попеременно Киреевского и Герцена, Самарина и Грановского привлекали ценности того и другого лагеря, только отсутствие гласности не давало им возможности высказаться полностью в нормальных условиях "двухпартийности". Драма для будущего России была в том, что просвещенный деспот и просвещенное общество вместо того, чтобы союзно бороться с невежеством и мракобесием, истощались в бесплодных столкновениях, тогда как приближался час для взрыва бомбы замедленного действия. На смену просвещенного дворянина, "лишнего человека", уже готовились выступить "новые люди" 60-х годов, могильщики духовности и просвещения в России. Вместо недоступного самопознания заговорили об "общем деле", о Русской идее. В заключение я жалел, что "просвещенное общество дискредитировало себя в глазах образованных, но не просвещенных. Разночинцы признавали лишь тех, кто питал их ненавистью к просвещенной элите, питающей саму себя ненавистью к себе".

Мне казалось, что в моем труде процесс самоуничтожения и каннибализма достаточно выступал сам по себе, без лишних доказательств, и в самом деле отзывы в печати, во Франции, в Германии, в Польше подчеркивали новизну "Русской идеи между Просвещением и духовностью". Но в Америке и Канаде, признавая содержательность книги, ничего нового в ней не нашли, считая даже, что я оставался в пределах повествования Герцена "Былое и думы". Поэтому, когда я, при поддержке русских коллег, принялся за перевод книги на русский язык, я понял, что не могу довольствоваться этим непониманием, и решил продолжить мое исследование до первых столкновений между либералами и радикалами при Александре II. Мне открывалась при этом возможность воспользоваться, наконец, богатым материалом, который я собрал еще в 1981 г. во время долгого пребывания в Москве и Ленинграде с научной стипендией на тему "Россия в эпоху реформ". Мне долго отказывали, пока я предъявлял современные темы: вертикаль власти и Советы, новая Конституция и рост

руководящей роли КПСС, развитой социализм, и т.д. Однажды советник посольства в Париже мне прямо заявил: "Александр Николаевич, чего Вы настаиваете? Ваша сфера XIX век. Выбирайте тему в этой области, Вам не откажут". И вот ИНИОН, ЦГАОР, ЦИАРИ и ГПБ в обеих столицах открыли мне все свои фонды и я просиживал днями под зеленой лампой, окруженный заботливыми дамами, приносящими мне либо папки рукописей, либо чашки чаю - райская обстановка для исследователя!

В новом и, полагаю, последнем моем высказывании на эту тему, я довожу повествование да 1870 года, до смерти Герцена, тогда, когда восстановились дружеские отношения между ним и Тургеневым, между революционером либералом и умеренным либералом, над которыми парит ужасающая тень нового монстра доктора Франкенштейна, которого они сами создали и пустили по свету в образе легендарного Базарова. Я не знаю, сумею ли я убедить русского читателя в контрреволюционном характере роста радикального нигилизма, дошедшего до большевистского переворота в октябре 1917-го года, о чем я уже много писал при других обстоятельствах, но в заключение я хочу подчеркнуть одно: отец мой был всю жизнь верным поклонником Петра Великого, начинателя Просветительской революции сверху на Руси. Хотя наши предки, подданные Карла XII-го, оказались среди потерпевших поражение в схватке с Петром, он с восторгом декламировал "Полтаву" Пушкина и числил себя среди "птенцов гнезда Петрова",

Когда Россия молодая
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

В завершение предисловия выражаю глубокое чувство благодарности тем, без кого мне было просто немислимо переработать на русском языке книгу, изданную по-французски, и обогатить ее содержанием, предусмотренным для русского читателя. В первую очередь я упоминаю Екатерину Аверьянову, мою бывшую студентку в Гренобле. Благодарю также ее близких коллег, особенно В.А. Апрелеву и А.В. Павлова, и вообще всех коллег-сибиряков, открывших мне дружно Тюменский государственный университет и Тюменский архитектурный университет, к которым я привился, как моя "Idée russe" привилась, я надеюсь, к русской почве.

26 марта 2009 года, Гренобль (Франция)



М. Бакунин



Н.В. Станкевич



В.Г. Белинский



А.И. Герцен



И.С. Тургенев



Гр. П.Д. Киселев

Вступление: МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ЛЮБОМУДРЫ

Одной из наиболее положительных мер, принятых "Негласным комитетом" в первые годы царствования Александра I, было, при учреждении министерств, создание министерства народного просвещения не просто образования, а просвещения, т. е. "распространения света среди тьмы". Преследовалась цель Петра, царя-преобразователя - отвечать на запросы времени введением сети начальных школ и учебных заведений. Ла Гарп, наставник царевича, упрекал его бабушку, Екатерину II, в том, что создание этого учреждения в стране безграмотных она предпринимала с крыши, с университетов, с академий, тогда как следовало открыть сорок тысяч школ, одну в каждом селе. Но откуда взять необходимых преподавателей, не подготовив их предварительно? Созданный в 1755 г., в царствование Елизаветы Петровны, Московский университет мог служить примером. Основанный на светских началах, он был общедоступным без различия сословий. В университете и в гимназии, созданной при нем, содержались студенты за казенный счет. В 1804 г. именно с педагогическим намерением открывались университеты в Казани, где уже была гимназия, и в Харькове, раньше, чем в Киеве, где царил еще польское влияние. В Петербурге был основан Главный педагогический институт, преобразованный в университет в 1819 г.

С точки зрения властей, политическим вопросом университет тогда еще не являлся. Он набирал студентов главным образом среди духовенства, мелкого чиновничества, купечества, свободного крестьянства. С конца XVIII века образуется новый слой людей, которых начинают называть *разночинцами*, чисто отрицательное определение: они не платят налогов, не принадлежат к дворянству, не относятся ни к купеческой гильдии, ни к гильдии ремесленников. Поскольку разночинцы скорее вне классов, нежели деклассированны, образованны, нежели просвещены, они составляют недворянскую среду, стремящуюся к самопознанию и определению своего социального положения в традиционном обществе; а прежняя иерархическая лестница пережила

европеизацию, бюрократизацию с тех пор, как Петр ввел Табель о рангах. Едва ли она им доступна; получив образование в семинариях, не имея призвания к церковной службе, разночинцы становятся секретарями, служащими, управляющими, мелкими чиновниками, без доступа к дворянству. Желая продвинуться в жизни, они с виду смиренные и услужливые по отношению к наследственной знати, среди которой продолжает еще царить стойкое предубеждение против образования, подготовляющего к гражданской карьере, в пользу военной карьеры, для которой царский строй умножает кадетские корпуса и юнкерские училища.

После победы над Наполеоном, Александр I, возведенный союзниками во главу "бессмертной коалиции", обладал бесспорным авторитетом. Как основатель Священного союза, он стремился к укреплению шатких политических основ в Европе. Поглощенный европейскими делами, царь-либерал, филантроп, мистик, "кочующий деспот", как прозвал его Пушкин, разъезжал по конгрессам и доверял бразды правления Россией своему преданному "сторожевому псу", Алексею Аракчееву, которому оказывал полное доверие. Именно тогда возникли политические вопросы, и восстала оппозиция среди просвещенной элиты против "аракчеевщины", реакционной его политики. В области образования был создан специальный учебный комитет с целью следить за направлением народного образования. Манифестом 24 октября 1817 г. министерство народного просвещения было соединено с ведомством Святейшего синода с целью водворить "спасительное согласие между верой, ведением и разумом". На место графа Разумовского пришел мистик, князь Голицын, его близким сотрудником стал бывший помощник Сперанского Магницкий, его послали наводить порядок в Казанском университете, искоренять там "дух вольнодумства и лжемудрия" и направить преподавателей и студентов на прямую дорогу. Будучи ревностным последователем начал Священного союза, он, по старым русским понятиям, способен был только применять насилие для осуществления добрых начал. Карамзин назвал эту систему образования "министерством затмения" и писал И.И. Дмитриеву, что хотят превратить светское образование в христианское и увеличат только число лицемеров.

Вследствие интриг Аракчеева, Александру пришлось в мае 1824 г. пожертвовать своим давним близким, кн. Голицыным, но на его место не пришел ни Магницкий, ни Карамзин, а вечный соперник последнего, адмирал А.С. Шишков, "старовер русской словесности", автор "Рассуждений о старом и новом слоге российского языка".

Он создал с Державиным в 1811 г. "Беседу", светское общество консерваторов, благонамеренных умов, против "якобинского влияния" французского стиля, лингвистической модели, которую проза Карамзина вводила в русский язык. Одновременно, в своем послании "Записка о древней и новой России", "якобинец" Карамзин предостерегал государя от попытки ограничить царскую власть, завещанную ему предками, который снисходительно прислушивался к проектам талантливого англофила Сперанского. Уступить часть этой власти аристократии означало бы направить Россию по пути Польши, лишенной государства и раздробленной соседними державами, а отмена крепостного права привела бы царя к отказу от необходимой поддержки со стороны дворянства и могла бы стать для него бременем, достойным Атланта. Поучение либерального самодержца просвещенным "адвокатом самодержавия" лишила Карамзина карьеры в министерстве народного просвещения, но выразило весь парадокс, на котором строилось просвещение на Руси. "Записка" не прошла бесследно: угроза неминуемого столкновения с Францией отсрочила осуществление либеральных реформ и вызвала опалу Сперанского.

В феврале 1816 г. Карамзин прибыл в Петербург автором "Истории Государства Российского". Прием его государем осуществился только после неизбежного "знакомства" с всемогущим Аракчеевым. Царь отвел 60 000 рублей на издание 8-ми томов Истории и разрешил автору поселиться в Царском селе, чтобы лично следить за изданием. Незадолго до этого вспыхнула "война на Парнасе" между сторонниками Шишкова и Карамзина. Они уже обменивались острыми эпиграммами, но в пьесе "Урок кокеткам, или Липецкие воды" кн. Шаховской прямо высмеивал, в образе поэта-балладника Фиалкина, наследника Карамзина, Жуковского, преобразователя русского языка, благодаря его переводам немецких и английских романтиков. Задеты были также С.С. Уваров и В.А. Пушкин. Создав "Арзамас", фрондерское, пародийное общество, с целью подорвать авторитет едва ли не официальной "Беседы" адмирала Шишкова, "якобинцы" молодой аристократической элиты должны были давать клятву в надетом на голову красном колпаке - обязательный головной убор председателя собрания. Ограничиваясь спорами на литературные темы, "Арзамас" просуществовал до 1818 г. и пропал, когда стали задаваться вопросы другого характера. Тогда возникли тайные общества, Союзы спасения и благоденствия, Северное и Южное общества, тогда выступили "декабристы" на Сенатской площади, вызвав своим

гражданским подвигом тяжелые последствия для России. Но остается неоспоримый факт: осудив и приговорив мятежников 14-го декабря, молодой царь Николай I уволил недостойных министров предыдущего царствования, Аракчеева и Магницкого, сохранил К.В. Нессельроде министром иностранных дел и Е.Ф. Канкрин министром финансов и собрал вокруг престола ряд бывших "арзамасцев", не замешанных в печальных событиях: Д.В. Дашкова, будущего министра юстиции, гр. Д.Н. Блудова, будущего министра внутренних дел, гр. С.С. Уварова, будущего министра народного просвещения. Парадокс общества, собравшего цвет русской аристократической молодежи, в том, что целое крыло "арзамасцев" оказалось в противоположном лагере накануне событий 1825 г. Экономист Н.И. Тургенев уехал за границу в 1824 г. и был приговорен заочно, Н.М. Муравьев, став членом "Союза Спасения", руководителем "Союза благоденствия", "Северного общества" был приговорен к каторжным работам и умер в ссылке. Оказались в опале кн. М.Ф. Орлов, герой Отечественной войны, один из основателей "Союза благоденствия", А.Н. Тургенев, старший брат "экономиста", кн. П.А. Вяземский, близкий друг Пушкина. Находясь в ссылке, избежал преследований и был помилован Пушкин, самый юный арзамасец, а в 1826 г. государь выбрал Жуковского воспитателем цесаревича, будущего Александра II.

Московский университет пережил по-своему фазу "затмения" в последние годы царствования Александра I. Принудительные меры, принятые, чтобы водворить "спасительное согласие между верой, ведением и разумом", вызвали неожиданное явление: спасительное согласие, скорее примирение, помимо официальных курсов, стали искать самостоятельно студенты. Не все, конечно. В 1809 году для мелких чиновников, не имеющих высшего образования, но желающих дослужиться до восьмого класса, до доступа в дворянство, были учреждены специальные "комитетские экзамены". С начала двадцатых годов на подготовку к этим экзаменам начинают записываться дворяне с намерением поступить на гражданскую службу. Одаренные юноши, получившие уже серьезное домашнее воспитание, стремящиеся к просвещению, относятся снисходительно к образованию, которым довольствуются разночинцы, и вписывают в судьбу Московского университета понятия, которые унаследуют грядущие поколения. Возникшая накануне событий декабря 1825 г. плеяда юных поэтов, переводчиков, философов, историков объединяется во имя *любомудрия*. Самый одаренный среди *любомудров* Дмитрий Владимирович Веневитинов. Он родился в 1805 г., мать его, урожденная кн. Оболенская,

принимала у себя на Мясницкой писателей, артистов; предок его, по роду Венева, был атаманом Воронежских детей боярских, отец его, гвардейский прапорщик, скончался в 1812 г. Поступая в университет вольнослушателем, помимо французского и немецкого, он уже с детства изучал древние языки. Язык Гомера преподавал ему грек Байло и также его сверстникам, Александру Ивановичу Кошелеву, сыну причудливого "либерального лорда", Дарье Desjardins, дочери французского эмигранта, и Ивану Васильевичу Киреевскому. Род Киреевских среди самых старинных; отец его, просвещенный человек, дружинный начальник первой милиции, умер от тифа в 1812 г.; овдовев, мать его вышла замуж за внучатого брата Ал.Ан. Елагина, который до 1822 г. воспитывал Ивана, его сестру Марию и брата Петра, будущего фольклориста, собирателя народных песен. Сам Елагин был почитателем Канта и Шеллинга. Юноши читали Софокла, Эсхила в подлиннике, увлекались Платоном, переводили, кто Горация, кто Фукидиду. Все трое посещали университет с 1822 по 1824 г., познакомились там со старшекурсником М. П. Погодиным и его товарищами Максимовичем и Рожалиным.

Александр Кошелев рассказывает, как он и его товарищи присутствовали только "по обязанности" на лекциях, не оказавших серьезного влияния на их образование, поскольку центр их интересов находился вне университета, в изучении немецких философов, в частности Шеллинга. Следует, тем не менее, добавить, что основы *натурфилософии* излагал тогда на своих лекциях профессор латинской словесности И.И. Давыдов и что на заседаниях Общества любителей русской литературы им дозволялось слушать возражения профессора А.Ф. Мерзлякова против *романтизма*; как поэт, переводчик и критик, он защищал *классицизм*, ссылаясь на авторитет Буало, Батэ и Лагарпа. Заседания проходили под председательством А.А. Прокоповича-Антонского, директора университетского пансиона, где преподавали М.П. Погодин, В.И. Оболенский и С.Е. Райч. Для перевода классиков древнего мира был создан кружок Райча.

Одним из отзывов о спорах того времени остается статья Веневитинова "Разбор рассуждения г. Мерзлякова" в "Сыне отечества" 1825 г. Молодой автор упрекал своего бывшего профессора в отсутствии теории: чтобы оценить достоинство поэта, надобно основать свой приговор на определенной мысли. Он выступал за честь своего века: "Поэзия древних пленяет нас как гармоническое соединение многих голосов. Она превосходит новейшую в

совершенстве соразмерностей, но уступает ей в силе стремления и в обширности объема". "В литературе право давности не должно бы существовать, а г. Мерзляков часто жертвует ему собственным суждением < ... >. Кто ожидал бы, чтоб в наш век на поэзию взирали, как на *орудие политики*; чтоб мы были обязаны трагедиею *мудрым правителям первобытных обществ*? Как? поэзия, получившая (*будто бы*) свое существование от случая, должна сверх того влачить оковы рабства от самой колыбели? Бесполезно опровергать эту мысль: тот, кто питает в сердце страсть к искусствам, страсть к просвещению, сам ее отбросит"².

Столкновение между старым и новым тут превосходит прежние сравнения во имя прогресса, между достоинствами древнего и современного искусства; оно созвучно с возбужденностью умов накануне событий на Сенатской площади; оно провозглашает свободу творчества: поэт покоряется лишь законам и условиям своего мира, не признает повиновения *мудрым правителям*, воспекает слияние поэзии с философией... Эти взгляды разделяет с Веневитиновым кн. В.Ф. Одоевский. Отец его управлял Государственным Ассигнационным Банком в Москве, мать была простолюдинка. Закончив университетский пансион с золотой медалью в 1822 г., он посещает кружок Райча и, в союзе с Кюхельбекером, издает альманах "Мнемозина", в котором сочетаются гражданское назначение литературы с влиянием немецкого идеализма.

После того, как в 1823 г. университетский совет решил обязать стропитивых студентов посещать, по меньшей мере, восемь лекций, около десяти человек, в том числе Кошелев, предпочли оставить университет. Тем временем Веневитинов успешно сдал "комитетский экзамен" и поступил со своими товарищами на службу в Московский Архив Министерства Иностранных Дел. Архивом управлял А.Ф. Малиновский, ему импонировали столь одаренные подчиненные! Дополняли состав выпускники университетского пансиона: С.П. Шевырев, В.П. Титов, Н.А. Мельгунов, С.А. Соболевский и другие. Занятия заключались, вспоминает Кошелев, "в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане, но затем мы вздумали писать сказки, так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединялось в это общество <...>, сочинения выходили очень забавные, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем блестящей Московской молодежи, и звание

архивного юноши сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинающего тогда входить в большую славу А.С. Пушкина".

Расставшись с кружком Раича, "архивные юноши" создают, под председательством В.Ф. Одоевского, "Общество любомудрия", "тайное" общество почитателей немецкой философии, "любителей мудрости", отказавшихся от термина "философы", прилагая его исключительно к "болтунам французам". "Тут господствовала немецкая философия, хвастается Кошелев, - т.е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Герресс и др." Всю глубину "новой науки" едва ли успели постичь любомудры, однако они беседовали о началах, на которых должно быть основано всякое человеческое знание: "христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. Одоевского".

Весной 1825 г., на вечере у внучатого племянника Кошелева М.М. Нарышкина, Рылеев читал свои "Думы" в присутствии кн. Оболенского и Пущина; говорили о необходимости "покончить с этим правительством". Возбужденные этой смелой речью, юноши, между собой, стали обсуждать положение в России и принялись читать сочинения французских политических писателей, "и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана". Политические события заставили любомудров отказаться от "бесед" после 14 декабря. "Живо помню, пишет Кошелев, как после этого несчастного числа, кн. Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и уставы, и протоколы нашего общества любомудрия"³. Все с волнением следили за развитием событий: "Вся надежда петербургской словесности" заключена; в Москве - ночные аресты, В.С. Норов, Нарышкин, Фонвизин отправлены в столицу. Общие переживания еще теснее сближают Веневитинова, Одоевского и остальных любомудров. Всех их ужасает казнь Рылеева и других приговоренных к смерти.

Празднования коронации Николая Павловича московское дворянство фрондирует, но вскоре светская жизнь снова берет верх. 1826 год останется памятным бывшим "архивным юношам". Их теперь всюду принимают, особенно на вечерах у княгини Зинаиды Волконской, "Северной Коринны", "царицы муз и красоты", по словам Пушкина. Там дают театральные представления, концерты, балы, орга-

низуют маскарады, представляют живые картины. Пушкин. Вяземский, Баратынский, Дельвиг часто посещают Белосельский Дом, устроенный в стиле римского дворца.

Прибыв в Москву 9 сентября, Пушкин хочет непременно познакомиться с Веневитиновым, автором "Разбора статьи о "Евгении Онегине", помещенной в "Сыне Отечества" в ответ на критику Полевого в "Московском Телеграфе". Первая глава "Евгения Онегина" вышла в свет 15 февраля 1825 г. "Это единственная статья, - говорит Пушкин, - которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное - или брань, или переслащенная дичь"⁴. На следующий день Пушкин впервые читает "Бориса Годунова" в присутствии Чаадаева, Веневитинова, его родных и близких и, вероятно, княгини Зинаиды Волконской и Мицкевича, прибывшего с ней: он недавно еще был в ссылке на юге. Погодина не пригласили. Он обижается, ревнует, но себя не выдает и доверяется только своему дневнику. У Погодина очень скромное происхождение и часто он испытывает чувство неловкости среди любомудров; хотя он и сошелся с ними на "равных началах" и посещал их заседания, он не одобрял первенство, предоставленное ими философии, зато с их участием он издал карманную книжку, альманах "Уrania", где Веневитинов изложил свое мировоззрение в статье "Утро, полдень, вечер и ночь". Погодин очень к нему привязался, любуется им и постоянно упоминает о нем в дневнике.

Веневитинов организует у себя 12 октября второе чтение, приглашает человек сорок, своих товарищей по архиву, сотрудников журналов и альманахов, но исключает братьев Полевых, издателей от "другого прихода". Он приглашает также преподавателей университета, коллег Погодина, но едва ли на чтении присутствует Мерзляков, задетый его критикой. Новизной и смелостью сюжета, простотой слога чтение возбуждает восторг. Погодин оставит незабываемое описание этого события: "Надо припомнить, мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых мы все знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией, которой мастером считался Кокошкин, и последним представителем был в наше время граф Блудов. Наконец, надо представить себе самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства - это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько

курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую, увлекательную речь!

Первые явления выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков "да ниспошлет Господь покой его душе страдающей и бурной", мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца: "Тень Грозного мне Бориса обрекла".

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздались смех, полились слезы, поздравления <...>. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм"⁵.

Исключительная эпоха! Отсутствие предрассудков, непринужденность, смелость в свободном обмене мнений царили тогда в московском просвещенном высшем обществе, способном оценить бесценный дар Пушкина России. В донесении шефу жандармов гр. Бенкендорфу от 9 августа 1826 г. отмечается: "... между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство - княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных, и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг". И на самом деле, в течение своего пребывания в Москве (1824-1829 гг.) Зинаида Волконская царил над просвещенной "академией", где, при отсутствии "аристократических" предрассудков, всякая одаренная личность находила себе место. Запрещалась лишь игра в карты.

Еще до его прибытия Баратынский предупреждал Пушкина, он был знаком с любомудрами и в "Урании" помещал свои стихи:

"Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это или худо, я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков <...>. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе? Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову".

Пушкин часто встречается со своими "архивными юношами" и советует им издавать в Москве журнал, скорее, чем альманахи, которым они до сих пор отдавали предпочтение. Он побуждает их выпустить журнал, способный противостоять пагубному влиянию петербургской печати. После 1825 г. исчезли лучшие публикации. Ежедневной газетой, с правом на политическую информацию, остается только полуофициальная "Северная Пчела"; ею управляет Фаддей Булгарин, ренегат из либералов, бывший друг Грибоедова, славившийся своими постоянными доносами на коллег. "Сыном Отечества", превосходным журналом до 1825 г., управляет Николай Греч, автор учебных книг по грамматике и литературе, беллетрист и карьерист, в союзе с Булгариным.

Органом борьбы с "продажной прессой" станет "Московский Вестник". На литературном вечере, в своем кружке, Веневитинов приводит "несколько мыслей в план журнала", в качестве программы задуманной публикации: "Россия все получила извне; отсюда это чувство подражательности, которое самому таланту приносит в дань не удивление, но раболепство; отсюда совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности". Кто в этом виноват? Опекуны-французы? Подражатели-русские? "Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусствах почитались в ней законами <...>. Мы отбросили французские правила не от того, чтобы мы могли их опровергнуть какой-либо положительной системою; но потому только, что не могли применить их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми невольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные заменились у нас отсутствием всяких правил. Одним из пагубных последствий своего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия <...>. У нас чувство некоторым образом освобождается от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования". Что делать? Самопознание - вот идея, вот цель. Истинные поэты всегда и везде были глубокими мыслителями, философами, венцом просвещения. "Мы получили форму литературы прежде самой ее сущест-

венности". Веневитинов предлагает вникнуть "в причины, породившие современную нам образованность" и перенестись "на некоторое время в эпохи, ей предшествовавшие". Для этого следует обратить особое внимание на древний мир и его произведения. Отстать временно от новейших открытий, чтобы заполнить этот пробел в образовании? Бояться нечего: "... дух древнего искусства представляет нам обильную жатву мыслей, без коих новейшее искусство теряет большую часть своей цены и не имеет полного значения в отношении к идее человека". Россия нуждается в твердом основании, в нем залог ее самобытности и нравственной свободы, "которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления. Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным желанием в пользу России, и, следовательно, человечества"⁶.

Французские историки периода Реставрации, Огюстен Тьерри, Гизо, Минье определяли европейскую культуру по трем критериям: наследие греко-римского древнего мира, христианизация его и нашествия варваров. Чтобы стать полностью европейской, России не хватало, увы, первого из этих критериев. Это наследие она восприняла, но подражая Западу. Ей предстоит это совершить самостоятельно.

"Московский Вестник" основан на банкете 24 октября 1826 г. "во имя искусства и идеала" Любомудрами Веневитиновым, Хомяковым, братьями Киреевскими, Шевыревым. Погодин назначается издателем. За общим столом с Любомудрами сидят Пушкин, выражающий полную готовность сотрудничать, Мицкевич и Баратынский. Журнал становится немедленно жертвой доноса: Погодин только по имени издатель, главные начальники истинно бешеные либералы. "Главная их цель состоит в том, чтобы ввести политику в этот журнал <...>. Погодин не имеет влияния на сих молодых людей и состоит у них в зависимости, потому что они богаты и смелы, а он беден, без имени и робок. Сие юноши не пишут ничего литературного, почитая сие недостойным себя, и занимаются едиными политическими науками. Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом"⁷.

Цели своей донос не достиг, "Московский Вестник" процветает, славится живой полемикой с петербургской прессой, а светское общество продолжает развлекаться. "Вечера живые и веселые следовали один за другим, вспоминает Погодин, у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мицкевиче открылся

дар импровизации. Приехал Глинка, связанный более других с Мельгуновым, и присоединилась музыка". Погодин влюблен в княжну Трубецкую. Она вальсирует с Веневитиновым. "Досадно ли мне, что он заслонил меня? Клянусь, что нет, я одинаково люблю и его, и ее, но что-то неприятное на сердце. Это продержится недолго. В утешение себе вспоминал случаи, в которые я получил знаки ее благосклонности. Я занимаю у ней свое место. Смотрел на их танцы. Любовь развивает характер, сказал мне Веневитинов"⁸.

Всем участникам этого незабываемого 26-го года не минуло еще 30 лет! Старшему Пушкину - всего 27, а "архивным юношам", едва ли 20, но всему приходит конец, мимолетный блеск гаснет, когда участвующие разъезжаются. Редакционный комитет "Московского Вестника" редет, когда большинство его членов покидает Москву. Одоевский переехал в Петербург, женился и поступил на службу в комитет иностранной цензуры, в Министерстве внутренних дел. В октябре Веневитинову открылась вакансия в Министерстве иностранных дел, он тоже переехал в Петербург. "Знаток греческого языка, Веневитинов был рекомендован Нессельроде княгиней Волконской, Трубецкими и Лаваль. Нессельроде хотел дать ему дела, связанные с Востоком, которым Веневитинов очень интересовался". На вопрос Нессельроде директор азиатского департамента Радофиникин отозвался очень положительно. "Mais, прибавил он, nous n'en profiterons pas longtemps. Il a la mort dans les yeux. Il mourra bientôt"⁹. Веневитинов скончался 15 марта 1827 г. от "тифозной горячки". Погодин "ревел без памяти" и вспоминал еще в 1867 г.: "Дм. Веневитинов был любимцем, сокровищем всего нашего кружка. Все мы любили его горячо. Точно так предшествовавшее поколение, поколение Жуковского относилось к Андрею Тургеневу, а следующее, забредшее на другую дорогу, к Николаю Станкевичу. В Карамзинском кружке это место занимал Петров. И все четыре поколения лишились безвременно своих представителей, как будто принося искупительные жертвы. Двадцать пять лет собирались мы, остальные, в этот роковой день, 15 марта, в Симонов монастырь, служили панихиду, и потом обедали вместе, оставляя один прибор для отбывшего друга"¹⁰.

Кошелев тоже был представлен Нессельроде, во время коронации в Москве. Он поселился в Петербурге у своего дяди Р.А. Кошелева, уговаривающего его стать камер-юнкером, благодаря про-

⁸"Но он не долго пробудет с нами. У него смерть в глазах. Он скоро умрет" (фр.).

текции кн. А.Н. Голицына: "... он считал придворную атмосферу самой лучшей, даже единой возможной для благомыслящего человека и верным путем к достижению почестей и политического влияния. Племянник считал, что придворные звания, мундиры и обязанности, это лакейство, а дядя грозил: "Mon cher, vous finirez mal; avec de telles idées on n'avance pas, mais on se prépare la Sibérie ou pire que cela"*. Кошелеву досталось, в отделении гр. Лавала, выписывать для императора выдержки из иностранных газет. Ему было скучно, но душу утешала дружба. "Не замедлил переездом в Петербург и В.П. Титов. Мы все часто виделись и собирались по большей части у кн. Одоевского. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями"¹¹.

Оставшись в Москве, Киреевский писал Кошелеву: "Служить - но с какой целью? - могу ли в службе принести значительную пользу отечеству? <...> Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? <...>. Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов, и чистоту жизни возвысим над чистотой слога". В своих письмах Киреевский постоянно упрекает Кошелева в бездействии и призывает его писать стихи: "Тогда только пишется, когда весело писать". Кант чужд поэзии, у него 5 читателей, а у Шеллинга 5000! "Я уверен, что не только для усовершенствования слога, но и для образования ума и воображения, для развития чувства изящного (которое, как мы с тобой знаем, есть начало, причина, мера, цель всякого усовершенствования), следовательно, для счастья жизни, для красоты жизни, для возвышенности жизни, необходимо писать стихи, и потому, Кошелев, пиши стихи"¹².

Несмотря на этот пламенный призыв, ни Кошелев, ни Киреевский не стали поэтами "по убеждению", а врожденному поэту Веневитинову не суждено было достичь идеала любомудрия, слияния философии с поэзией. Красотой, совершенством слога открываются философская истина, нравственная правда. "Московскому Вестнику" не суждено было долго идти по этому направлению. Что касается древнего наследия, то верным последователем Веневитинова являлся Шевырев, но он считал необходимым посетить Италию, чтобы углубить свои

* Милый мой, вы плохо кончите; с подобными идеями не продвигаются, а готовятся к Сибири или еще к худшему" (фр.).

познания. В 1829 году, в качестве воспитателя сына княгини Зинаиды Волконской, он сопровождает ее в Рим. Еще до отъезда из России Шевырев проявил себя сведущим критиком. С первого номера "Московского Вестника" он был признан законным выразителем эстетических концепций любомудрия благодаря своей статье "О возможности найти единый закон прекрасного". Он смело оспаривал Булгарина в "Обзоре русской литературы за 1827 год". Он посвящал целое исследование второй части "Фауста" Гете, сразу после ее публикации. Гете одобрял. "Московский Вестник" публиковал письмо Гете, и Пушкин поздравлял своих московских друзей: "Честь и слава милому нашему Шевыреву. Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего германского патриарха. Оно, надеюсь, даст Шевыреву более весу во мнении общем. А того-то нам и надобно. Пора уму и знаниям выгеснить Булгарина и Федорова ..."¹³

Творчеству Пушкина любомудры уделяли большое внимание. В "Сыне Отечества", Веневитинов разбирает статью Полевого о первой главе "Евгения Онегина"; Пушкин в ней представлен не в сравнении "с самим собой", а как верный последователь Байрона, Онегин описан, как *шалун с умом, ветренник с сердцем* и ничего более, а последнее произведение поэта предлагает ряд картин, окрашенных народностью: "Мы видим свое, - пишет Полевой, - слышим родные поговорки. Смотрим на свои причуды, которых все мы не чужды были некогда". Веневитинов не видит тут ничего народного, "кроме имен петербургских улиц и рестораций. И во Франции, и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы. Нет, г. издатель "Телеграфа"! приписывать Пушкину лишнее - значит отнимать у него то, что истинно ему принадлежит. В "Руслане и Людмиле" он доказал нам, что может быть поэтом национальным".

Полевой отвечает свысока, придирается к слогу: г. -в приводит сокращенные цитаты из его статьи, чтобы доказать, что г. -в почитает Пушкина не великим поэтом, а просто подражателем Байрона, тогда как он сам считает, что "Онегин" принадлежит к тому самому роду, к которым принадлежат поэмы Байрона и Гете". Он добавляет: "Скрытое предубеждение г. -в против Пушкина сильно обнаруживается в упреке, который делает он мне за то, что я нахожу народность в "Онегине". Упомянув имена петербургских улиц и пробки в потолок, он заключает: "Надобно думать, что г. -в полагает народность русскую в русских черевичах, лаптях и бородах, и тогда только назвал бы "Онегина" народным, когда на сцене представился русский мужик с русскими поговорками, побасенками и пр.

Народность бывает не в одном низшем классе; печать ее видна во всех званиях и везде".

Отвечая в "Московском Вестнике", Веневитинов напоминает Полевому: "Что такое "Онегин"? Этот вопрос не мой, а принадлежит г. Полевому, и я, повторяя его, хотел только доказать издателю "Телеграфа", что он этого вопроса решить не может, не прочитав всего романа". Онегин является еще загадкой, и решать ее остается делом Пушкина. Ссылаясь на музыку и на живопись в своем разборе "Онегина", Полевой "не только унижил достоинство Пушкина, но превратил его в ничто". А по поводу народности Веневитинов отмечает: "Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины тогда только нам нравятся, когда они оправданы гордым участием поэта"¹⁴.

Низкий уровень литературной критики отражается в общепринятом обычае журналистов, в том числе и Полевого, отвечать на критику антикритикой, с намерением занимать своих читателей литературными прениями, придирками, намеками, насмешками. Заслуга Полевого в том, что на страницах "Телеграфа" он первый защищал романтическое направление, публиковал французских романтиков, особенно Виктора Гюго. В Пушкине он видел исключительно романтика и стремился канонизировать этот образ. Но Пушкин ему не принадлежал. Веневитинов очень тонко давал ему это понять: Пушкин принадлежал себе и зависел от самостоятельного развития, но обидчивый Полевой, не без основания, предполагал, что "аристократы" считали Пушкина "своим" и лишали его, купца из "другого прихода", доступа к нему.

В свою очередь, в 1828 г., статьей в "Московском Вестнике" "Нечто о характере поэзии Пушкина" Киреевский выразил свое мнение: "Пушкин поэт! Пушкин истинный поэт! Онегин поэма превосходна! Цыгане мастерское произведение!" Он задавал вопрос: "Отчего никто до сих пор не предпринял определить характер его поэзии вообще, оценить ее красоты и недостатки? <...> Кто имеет право говорить о Пушкине?" Киреевский на это отвечает: "Руслан и Людмила"? - легкая шутка, "одно очаровательное может завлечь нас в царство волшебств". "Кавказский пленник"? - отголосок Байрона; "подобно Байрону, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую надежду". "Онегин"? - "существо совершенно обыкновенное и ничтожное <...> Недостатки Онегина суть последняя дань Пушкина Британскому поэту. Но все неисчислимые красоты поэмы: Ленский, Татьяна, Ольга, Петербург, деревня, сон, зима, письмо

и пр. и пр. - суть неотъемлемая собственность нашего поэта". Народность или собственность поэта? Киреевский совсем расходится с Полевым, когда заключает по поводу "Бориса Годунова": "Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком" В "Обзрении Русской Словесности за 1831 г." Киреевский остановится на основной теме драмы, на убийстве Дмитрия, последнего потомка Ивана Грозного. Карамзин приписывает ответственность за него Борису Годунову, Пушкин принимает этот тезис, чтобы придать еще больше драматизма судьбе этого царя, одновременно цареубийцы и замечательного правителя. Киреевский сожалеет об отсутствии в России независимой критики, способной видеть литературу иначе, чем посредством иностранных моделей: "Но если бы, вместо фактических последствий цареубийства, Пушкин развил нам более его психологическое влияние на Бориса, как Шекспир в Макбете; если бы вместо русского монаха, который в темной келье произносит над Годуновым приговор судьбы и потомства, поэт представил нам шекспировских ведьм, или Мюльнерову волшебницу-цыганку или пророческий сон "Pendant l'horreur d'une profonde nuit", тогда, конечно, он был бы скорее понят и принят с большим восторгом. Но чтобы оценить Годунова, как его создал Пушкин, надобно было отказаться от многих ученых и школьных предрассудков".

В "Обзрении Русской Словесности за 1829 г." для альманаха "Денница" за 1830 г. Киреевский делил историю русской литературы на три эпохи: Карамзина, Жуковского и Пушкина и отмечал три публикации:

XII-ый том "Истории Государства Российского" Карамзина, "Полтаву" Пушкина и перевод "Илиады" Жуковским¹⁵. Такой "наглости "Телеграф" допустить не мог: "Все это отзывается аристократизмом, неуместным в литературе и несправедливым, возмущается Ксенофонт, брат Полевого. Можно ли сравнить влияние Карамзина, преобразователя всей литературы своего времени с влиянием Жуковского, действующего на одну поэзию, и Пушкина, который доньше оставался образуем в одном своем роде, следовательно, также не мог иметь влияния на литературу вообще". К. Полевой им противопоставляет Греча: "Он первый начал говорить языком правды и беспристрастия с писателями русскими". Главная его заслуга - преобразование русского языка. Сам Булгарин признает гласно, что он его ученик¹⁶.

* "Во время ужасной ночи" (фр.).

Свободный и независимый Пушкин не поддавался ни партиям, ни ярлыкам, несмотря на старания многих привлечь его на свою сторону. Любопытны были убеждены, что заключили с ним "журнальный союз" вокруг "Московского Вестника". Их представитель в Санкт-Петербурге, Титов, писал Погодину в июле 1827 года: "Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это держать Пушкина в узде; да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9 часов утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда ходить не имею права, к тому же с ним надо нянчиться, до чего я не охотник и не мастер"¹⁷. Пушкин поместил в "Московском Вестнике" более двадцати стихотворений, отрывков из "Онегина", "Бориса Годунова" и других произведений, но в руководстве журнала не принимал участия, а отговорить своего близкого друга, кн. Вяземского, от участия в руководстве "Телеграфа" ему не удалось. Вскоре издание "Вестника" стало зависеть только от Погодина. В связи со своими собственными вкусами, он превратил блестящий и живой журнал в тусклый альманах, наполненный историческими исследованиями, архивными материалами и тщательно заботился никогда и ни чем не тревожить власти.

Тем временем Киреевский покидает Москву, останавливается в Петербурге у Жуковского, видится с Кошелевым и Титовым у Одоевского, беседует с Пушкиным о проекте издания "Литературной Газеты" (она будет достоинства европейского), и уезжает в Германию, куда прибывает 9/21 февраля 1830 г. В Берлине он ходит на лекции Риттера по географии, хотя он читает в один час с Гегелем. "Гегель на своих лекциях почти ничего не прибавляет к своим Handbucher (учебникам). Говорит он неясно, кашляет почти на каждом слове, съедает половину звуков и дрожащим, плаксивым голосом, едва договаривает". "Не познакомился я еще ни с кем, кроме здешних русских студентов, из которых большая часть взята из семинарии и воротится в Россию таким же неумытым, каким приехал сюда". Он слушает тоже внимательно лекции Шлейермахера об Иисусе Христе: "... после Гегеля, может быть, нет человека, на которого бы больше нападали, чем на него". "Я заключаю, что он точно хотел избежать центральное представление своего учения, что, вместо того, чтобы объять разом предмет свой в одном вопросе, он вертелся около него с кучей неполных, случайных вопросов, которые не проникали в глубь задачи, но только шевелили ее на поверхности, как, например, началось ли гниение в теле Иисуса или нет, оставалась ли в нем неприметная искра жизни, или была совершенная смерть, и пр.

Но самая случайность его вопросов, самая боязнь - обнять вполне предмет свой, по моему мнению, уже вполне показывает его образ мыслей. Так ли смотрит истинный христианин на воскресение Иисуса? Так ли смотрит философ нынешний в момент искупления человеческого рода, на момент его высшего развития, на минутное, но полное слияния неба и земли?" Нельзя отнести Шлейермахера ни к числу верующих, ни неверующих, ни к числу неглубокомыслящих: как же согласить эти противоречия? "...Ему также мало можно отказать в сердечной преданности к религии, как и в философском самодержавии ума. Но сердечные убеждения образовались в нем отдельно от умственных и между тем, как первые развивались под влиянием жизни, классическое учение, изучение Святых отцов и Евангелия, которые росли и костенели в борьбе с господствующим материализмом XVIII-го века. Вот отчего он верит сердцем и старается верить умом".

"Я окружен первоклассными умами Европы", - восклицает Киреевский после приема у Гегеля. Он долго не решался ему написать, а когда написал, то получил ответ в тот же день. "Разговор был интересный, глубокий и, несмотря на это, очень свободный - так глубокое для него сделалось естественным и легким". Гегель его приглашает на следующий вечер. Он знакомит его с Гансом; он слушал, как Ганс на лекции о церковном праве подчинял римский католический дух духу гегелевской философии, в пользу "протестантского", а не иезуитского католицизма. С Раупахом он спорит о России. "Гостеприимнее, приветливее и добродушнее его (Гегеля) быть невозможно. После ужина мы все отправились пешком. В жару разговора с Гансом и Раупахом, зашел в их сторону, которая далеко от меня, и Ганс был так добр, что довел меня до поворота в мою улицу"¹⁸.

В "Московском Вестнике" Киреевский описывает знакомство с Шеллингом в Мюнхене: "Я увидел человека, по наружности лет сорока, среднего роста, седого, несколько бледного, и Геркулеса, по крепости сложения, лицом спокойным и ясным <...>. Говорил, что воображает в Москве большое разнообразие во всех отношениях, смешение азиатской роскоши и обычаев с европейским образованием <...>. Он говорил о трудностях русского языка для иностранцев, и как важно, между тем его изучение; хвалил его звучность, говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском <...>, очень хвалил Тютчева <...>. Разговор его так прост, жив и не размерен, что невольно забываешь, что говоришь с этим огромным Шеллингом"¹⁹. Киреевский посещает его лекции: "Система Шеллинга так созрела

в его голове с тех пор, как он перестал печатать, что, как готовый плод, совсем отделилась от той ветви, на которой начинала образоваться, и свалилась кругленьким яблоком между Историей и Религией. Вероятно, однако, что яблоко будет началом новой Троянской войны между философами и не философами Германии"²⁰.

С виду поездка совершается благополучно и отвечает вполне ожиданиям Киреевского. И вдруг неожиданное признание в письме сестре от 8/20 августа: "Я надеюсь, по крайней мере во сне, освободиться от Германии, которую, впрочем, я не нелюблю, а ненавижу! Ненавижу как цепь, как тюрьму, как всякий гроб, в котором зарывают живых. - Ты из своей России не можешь понять, что такое эта Германия. Все, что говорят об ней путешественники, почти все вздор... Одни немцы говорят об ней правду, когда называют ее землей дубов (das Land der Eichen), хотя дубов в Германии, кроме самих немцев, почти нет". И в другом письме: "Если бы вы видели, чем восхищаются немцы, и еще каким нелепым восторгом! Нет на всем земном шаре, нет народа плоше, бездушнее, тупее и досаднее немцев! Булгарин перед ними гений!"

Помимо этих резких слов, вызванных раздражением, в чем Киреевский упрекает своих ученых немцев? В педантичной уверенности, в бесполезной эрудиции, в полном отсутствии воображения? Эти обычные упреки уже превратились в клише для русских. Упрек Киреевского задевает глубже суть основного вопроса, того вопроса, который возбудил в нем желание посетить ученую Германию, родину Шеллинга и Гегеля. Эти светила немецкой эрудиции, люди добродушные, гостеприимные, но способны ли они достичь той вершины, где естественно и непосредственно сходятся вера и разум? На лекциях, особенно слушая Шлейермахера, он убедился, что нет: "Говоря о главном моменте Христианства (о Воскресении), он не мог достигнуть до него иначе, как поднявшись до вершины своей веры, туда, где вера уже начинает граничить с философией. Но там, где философия сходится с верой, там весь человек, по крайней мере, духовный человек. Коснувшись этого разбора двух миров, мира разумного убеждения и душевной уверенности, он должен был разорвать все понятия о их взаимном отношении, представить веру и философию в их противоположности и общности, следовательно, в их целостном, полном бытии. Необходимость такой исповеди заключалась в самом предмете. Иначе он действовать не мог, если бы и хотел; доказательство то, что он хотел и не мог"²¹. Современный западный мыслитель, идеалист,

стремится к целостности, но достигнуть ее не способен, он остается на полпути, вертится вокруг предмета, обсуждает историческую достоверность Евангелия, отношение между чудотворным и естественным явлениями, но не способен преодолеть внутреннее раздвоение.

После Германии Киреевский намеревался съездить в Париж. Февральские события расстраивают его планы. "Шевырев зовет в Рим, - пишет он своим. - Я бы хотел, чтобы вы видели его милые письма! Сколько в них дружбы и сколько жара завидной молодости!" "В Италии, пишет он 5/17 августа, больше картин и статуй привлекает меня небо. Южное небо надобно видеть, чтобы понять и южную поэзию, и мифологию древних, и власть природы над человеком. Это небо не говорит воображению, как северное, как звезды, как буря; оно чувственно прекрасно <...>. Иногда, однако, когда вспомнится, что на севере Россия, захочется и бледного неба. Но чуть ли я не рассуждаю с вами о погоде? Вот что значит побывать 7 месяцев в Германии!" В сентябре, в Мюнхене, он присутствует на Oktoberfest*. Нет полиции и нет драк! "Впрочем, немцы благодаря пиву, чем пьянее, тем тише"²². Слухи о холере в России, он волнуется за семью. 16 ноября 1830 г. он вернулся в Москву.

Готов ли теперь разочарованный Киреевский отказаться от шеллингианства, от немецкой "новой науки" и вообще от Запада? Ведь, примыкая к шеллингианству, к философии Откровения, любомудры отрицали одновременно и ложность псевдоклассицизма XVIII-го века, преподнесенного "болтунами-философами" французами, и отсталость христианского учения, годного только для народных масс, и пагубное нетерпение "либералов", стремившихся свергнуть насильем царскую власть, и лакейство, прислуживание, карьеризм на государственной службе. Где же теперь искать положительные ответы на столь сложные вопросы? Поступая в университет, любомудры выбирали гражданскую службу вопреки традиции дворян служить под военным мундиром, но в новой, "николаевской" обстановке, выслужив лишь краткий срок, они чаще всего выходили в отставку, чтоб овладеть человеческим достоинством, независимостью, идеалом *любомудрия*. Тем не менее, в краткий срок их пребывания Московский университет развился и стал зачатком "гражданского пространства" для будущего поколения. С этой поры открывается, к лучшему и к худшему, "зрелый" период Истории Московского университета.

* Немецкий праздник пива (нем.).

Глава 1

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И КРУЖОК СТАНКЕВИЧА

В 1830 г., летом, выступая из далекой своей индийской колыбели, вдоль по Волге, пробирается холера. В последний раз, в 1817 г., эпидемия остановилась на берегах Каспийского моря, у ворот Российской империи. В этот раз она сопровождает триумфальное возвращение генерала Паскевича и русских войск после окончания успешной кампании в Персии. Вызванная, по официальным источникам, нашествиями персов на средиземноморской границе, эта война приводит к присоединению Эриванского и Нахичеванского ханств и к постоянному размещению русского военного флота в Каспийском море. Спокон веков военные походы распространяют на своем пути заразные болезни, вызывают смертельные эпидемии, но в этот раз происходит неожиданное свидание между холерой, наступающей с Востока, и "революционной чумой", прибывшей с Запада вследствие Июльской революции во Франции; она "заражает" всю Европу и приводит к революции в Польше. Только 27 августа/8 сентября 1831 года, после ожесточенного сопротивления, в Варшаву вступит генерал Паскевич и "восстановит порядок".

На своем пути сама холера вызывает беспорядки. Вспыхивает восстание на Кавказе, за ним другое, 3 июня 1830 г., в Севастополе, с участием матросов, солдат и гражданских лиц. Позже в Новгородской губернии проходят бунты в военных поселениях. В Москве 18 сентября митрополит Филарет напоминает в своей проповеди, что Бог наказал народ Израиля за грех Давида. Он призывает к молитве и к смирению. Злые языки тут же заключают, что он намекает на "грехи царя", вызывающие божественный гнев на русский народ! 27 сентября профессор М.П. Погодин отмечает в своем дневнике: "Везде карантины, город оцеплен, университет закрыт, фабрики распускают"²³.

29 сентября в Москву прибывает сам государь. Извлекая урок из неожиданной для него конфронтации 14 декабря, он

навсегда отвернулся от просвещенного общества, потерявшего доверие в его глазах. Отказавшись от его поддержки, он, тем не менее, объявляет себя верным продолжателем политики реформ Петра Великого, "Просветительской революции сверху", и опирается преимущественно на государственный аппарат, в котором усиливает военную форму правления, ту, по правилам которой его самого воспитывали.

Последствия этой односторонней политики станут проявляться позже, в разнообразных формах "протеста" общественности против неограниченной воли самодержца, но на первых порах открываются блестящие перспективы. Положив конец колебаниям своего предшественника, Николай I смело, в союзе с Англией и Францией, выступает за независимость Греции. Русский флот участвует в Наваринском сражении. Русская армия рвется сразиться с турками, переправляется через Дунай. Победоносная кампания приводит ее к воротам Константинополя. Не желая тревожить европейские державы, царь благоразумно довольствуется подписанием мира с турками в 1829 году. Адрианопольский договор обеспечивает выживание оттоманской империи, но ставит ее в зависимость от России, которая отныне имеет перевес на Востоке.

Но вскоре атмосферу ликования при дворе, в Санкт-Петербурге, где чередуются балканские, восточные послы и делегации, омрачают известия из Франции. Июльская революция и возведение на престол герцога Орлеанского в ущерб священным правам герцога Бордосского, представляются царю недопустимой узурпацией. Он отзывает своего посла из Парижа, приказывает своим подданным покинуть Францию и запрещает французским кораблям, на которых развевается трехцветный штандарт, входить в российские порты. Умеренная позиция Австрии и Пруссии, которые немедленно признают нового монарха, вынуждает Николая I уступить, но неохотно. Он убежден, что подобное нарушение основного закона создает для Европы угрозу новой революции. Подтверждают его точку зрения беспорядки в Германии, в Италии, восстание бельгийцев против короля Нидерландов, его шурина. Вена, Берлин, Санкт-Петербург ведут переговоры, предусматривают общую военную акцию. Выступят ли они снова, как в 1813 г., в 1815 против Франции, чтобы восстановить законную власть нидерландской короны в Бельгии?

Ничего еще не решено, тем не менее, распространяются слухи, которые разжигают польскую молодежь, уже возбужденную

июльскими днями в Париже: "Неужели отправят польскую армию вместе с русской подавлять восстание бельгийцев? Ни в каком случае!" В ночь на 29 ноября Бельведер, резиденция старшего брата царя, великого князя Константина, наместника Царства Польского, оказывается в руках выпускников военных училищ. Из любви к своей морганатической супруге, польке, великий князь отказался от престола после смерти Александра; при этом он влюбился в Польшу! Он напрасно пытается ограничить событие, подавить восстание оставшимися ему верными польскими войсками. Увы, польская армия воссоединяется с повстанцами! Становится неизбежным вмешательство русских войск; оно влечет драматические последствия.

В конце ноября 1830 г. эпидемия холеры удаляется от Москвы, направляется на север и весной достигает Санкт-Петербурга. Население, напуганное слухами, обвиняет "польских отравителей", врачей, и расправляется с ними. В знойную жару, 4 июля, Николай I покидает свою летнюю резиденцию Петергоф и смело выступает перед толпой в Санкт-Петербурге. Он велит ей стать на колени и восклицает: "Вы убили врачей, достойно ли это русского? Французы ли вы или поляки? Вы согрешили перед Богом! Как же мне отвечать за вас?"

Государь подтверждает, что свирепствует эпидемия; накануне она унесла в могилу его брата, великого князя Константина и главнокомандующего его армии в Польше, генерала Дибича.

Толпа укрощена, но эпидемия не обуздана; она вскоре достигает всей Европы. В Берлине, в ноябре, она вызывает смерть философа Гегеля. Она добирается до Франции весной 1832 года и причиняет 100 000 смертей, из которых 18 000 только в Париже. Среди ее жертв генерал Ламарк, яростный сторонник французской интервенции в Польшу, и его главный противник, министр Казимир Перье.

"Чума и холера", совпадение этих двух событий создает необычную обстановку в Московском университете. Казенным студентам воспрещен выход за ограду университета. Предоставленные сами себе, без дела, они тут же находят занятия. Итак, комната ¹ 11 становится местом заседаний литературного кружка, который будет регулярно собираться до официальной отмены карантина 6 декабря. Вдохновителем кружка является Виссарион Белинский, старший сын военного врача при Балтийском флоте в отставке, пожалованного дворянством за свой чин и поселившегося с 1816 года в Пензенской губернии. Виссарион - страстный театрал, автор драмы

в пяти картинах "Дмитрий Калинин". Одно чтение его произведения вызывает восторг среди товарищей. Герой пьесы, крепостной, не знает, что он - незаконный сын своего покойного хозяина и благодетеля; он соблазнил его дочь, свою сестру и вызвал ненависть законных наследников, своих братьев. В конце драмы он кончает с собой, восклицая: "Свободным жил я, свободным и умру!" после того, как убил свою возлюбленную - с ее согласия - и одного из своих братьев. Восторг слушателей вызван смелостью речей, которыми Белинский наделяет своего героя. Дмитрий неустанно оспаривает разумные и рассудительные речи своего друга и наперсника:

-Неужели любовь возможна только с согласия родителей? Какой унижительный предрассудок для человечества! Одна только природа соединяет людей узами любви и позволяет им наслаждаться всеми благами, какие только может доставлять им.

-Смириться? Терпеть "здесь", чтобы вечно наслаждаться "там"? Как превосходна и преутешительна эта философия! К несчастью, она годна только для черни! Неужели вечное блаженство непременно покупается ценой ужаснейших страданий?... Неужели это премудрое и милосердное Существо, которое мы называем Богом, отправляет людей на землю, как колодников на каторгу?

- Этот мир? Это "дикая пустыня, в которой злоба, невежество и предрассудки воздвигли из костей и трупов престол несчастью"²⁴.

Неистовство этой обвинительной речи превосходит дерзкие выступления немецких авторов *Sturm und Drang*'а* прошлого столетия. Виссарион - достойный наследник Шиллера! При этом удивительно, что подобные реплики высказываются открыто, почти публично в стенах Московского университета, но надо учесть, что в начале царствования Николая I университет еще проживает в патриархальной обстановке и обладает некой парадоксальной независимостью. Поступив казеннокоштным студентом в 1824 году, Николай Пирогов, будущий знаменитый профессор медицины, описал свое смятение: "За исключением одного или двух, обитателями 10-го номера были все из духовного звания и от них-то именно я слышался таких вещей о полах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах с непривычки мороз по коже продираал..." Студенты обмениваются запрещенными произведениями Пушкина, Рылеева, поэта-декабриста, и говорят о политике: "От революции, пожалуй бы, и

* Бури и натиска (нем.).

не прочь на словах, но систематическое осуществление принципов было не по силам. Осуществлять что-либо задуманное и пере-думанное, действовать, это не нашего поля ягода; это нечто западное, пришло к нам вместе с паром и железными колеями". Пирогов с грустью вспоминает. "Тогда университетская молодежь, предоставленная самой себе, жила, гуляла, училась, бесилась по-своему. Не было ни попечителей, ни инспекторов в современном значении этих званий". Выполняя функции попечителя Московского учебного округа, князь Оболенский приезжал в университет лишь раз в год. В университетских стенах царила свобода слова. Полиция не имела права проникать за его стены. Впрочем, добавляет Пирогов, политических демонстраций не было²⁵.

К началу тридцатых годов университет все больше и больше привлекает молодых дворян, стремящихся к гражданской карьере. Из пятисот студентов, записанных в Московский университет, половина принадлежит к дворянству.

На отделении словесных наук (1829-1832 гг.) насчитывают:

19 детей дворян, большей частью мелкопоместных;

16 детей титулярных советников (девятый класс);

8 детей советников с пятого по третий класс;

86 детей мелких чиновников;

25 детей представителей духовенства;

20 детей купцов;

12 детей мещан;

2 вольноотпущенника.

В 1832-1833 учебном году Московский университет в целом насчитывает:

263 детей дворян;

98 детей из духовенства;

56 из купечества;

54 из мещанства;

70 детей разночинцев²⁶.

Одновременно с этим ростом "гражданского начала" вводятся постепенно меры, отвечающие приверженности государя к военной дисциплине. Снисходительный князь Оболенский заменен военным, генералом Писаревым, который навязет студентам ношение форменной одежды, некогда обязательной только для преподавателей. Казеннокоштные студенты наденут мундир темно-зеленого цвета, нелепый наряд, который разночинец Виссарион Белинский, автор "Дмитрия Калинина" будет проклинать, как и свое положение

казеннокоштного студента. 1830-й год относится еще к промежуточной фазе, а осенью, при карантине, обстановка становится прямо "либеральной". Виссарион оттачивает свою драму и готовится представить ее на суд цензурного комитета в надежде, что разрешат ее постановку на сцене только что созданного университетского театра. Эту инициативу поддерживает Щепкин, известный московский актер, который присутствует на всех репетициях и дает авторитетные советы. В восторженном состоянии, Белинский даже объявляет родителям, что они вскоре будут иметь удовольствие увидеть его произведение изданным. Его оптимизм умерен мудрыми советами кузины из провинции: "Советую вам, Виссарион Григорьевич, не спешить издавать оную, а отдать на рассмотрение людям опытным, каким-нибудь ученым старичкам, а не молодым вашим товарищам". И она добавляет: "А пуще всего не полагайтесь на свое собственное об ней мнение!"²⁷

К сожалению, катастрофа уже произошла! "Вообще скажу, что мое сочинение не может оскорбить чувство чистейшей нравственности и что цель его есть самая нравственная, - уверяет Виссарион своих родителей. - Подаю его в цензуру, - и что же вышло? ... Прихожу через неделю в цензурный кабинет и узнаю, что мое сочинение цензорвал Л.А. Цветаев (заслуженный профессор, статский советник и кавалер). Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь, и секретарь, вместо ответа, подбежал к ректору, сидевшему на другом конце стола и вскричал: "Иван Алексеевич! Вот он! Вот г. Белинский!" Не буду много распространяться; скажу только, что, несмотря на то, что мой цензор в присутствии всех членов комитета расхвалил мое сочинение и мои таланты, как нельзя лучше, - оно признано было безнравственным, бесчестящим университет, и об нем составили журнал!.. Но после это дело уничтожено, и ректор сказал мне, что обо мне ежемесячно будут ему подаваться особые донесения". Ректор, опасаясь огласки, предпочитает замять дело, но от этого не легче. Белинский надеялся, благодаря успеху своей драмы, "откупиться от казны, жить на квартире и хорошенько экипироваться". Пропали блестящие мечты. "Я мог бы найти кондицию, завести хорошие и полезные для меня знакомства, но в форменной одежде, кроме аудитории, нигде нельзя показаться, ибо она в Москве в крайнем пренебрежении". При этом новый инспектор казеннокоштных студентов лишает их всех прежних выгод; в переполненных номерах - теснота, толкотня, крик, шум и споры. Где тут заниматься! Пища отвратительна. От инспектора только придирки и

угрозы. У Белинского "сердце обливается кровью", когда он сравнивает свою судьбу с жизнью своекоштного студента на свободе, далеко от начальства. "Сорваться с казенного кошта!" - вот его мечта. В бешенстве он готов нахаркать поддецу в рожу, разбить ее, а когда его отдадут в солдаты, он своим *благотелям* обещает "ужасное" прощание²⁸.

"Неистовый Виссарион", как его прозвали товарищи, не столько возмущен строгостью начальства, сколько опьянен атмосферой исключительной свободы, царившей в университете с осени 1830 года. Отлучается ли во время холеры из университета какой-то казеннокоштный студент? Студенческий совет ему это разрешил ввиду "важного дела" и несет коллективную ответственность за этот незаконный поступок. Инспектор угрожает посадить виновника в карцер, но благоразумно отступает перед решительностью его товарищей. Занятия возобновляются в январе. В марте казеннокоштные студенты, измученные плохой пищей, отказываются идти в столовую, несмотря на угрозы ректора и успокаивающее посредничество декана медицинского отделения²⁹. За этой коллективной демонстрацией, "которая возмутила мир и покой университетских властей и привело в движение бдительные власти столицы", следует новая манифестация, на этот раз направленная против нелюбимого профессора права Малова. Ободренный Белинский об этом сообщает родителям: "Скажу только, что дуракам-профессорам житья нет, да и только. Одного скота недавно освистали и охлопали на лекции и за это его же приказано выгнать из университета"³⁰.

Вся власть студенческим советам? Профессора студенты, на самом деле, провожали на улицу выкриками, и к юристам присоединились студенты других отделений. Окрепнув от этого первого успеха, студенты собираются у одного из них, у юриста Якова Почеки, и решают принимать участие в жизни университета, проводить, по примеру немецких студентов, регулярные собрания. С этой целью они обращаются с письмом к новому попечителю Московского учебного округа, князю Сергею Голицыну. Он намерен замять дело, узнав мнение университетского совета. Впрочем, профессор Малов сам себе навредил. Вместо того, чтобы доложить своему начальству, он послал донос прямо в Санкт-Петербург, графу Бенкендорфу, шефу жандармов, заявляя, что вспыхнула политическая манифестация, пока он читал лекцию о лучшем строе, о самодержавии. Встревоженный царь требует от

Бенкендорфа расследования. Оказывается, что в тот день Малов читал лекцию о браке! Разыскивают виновных. Малов дает список ленивых студентов. Они отсутствовали! Чтобы окончательно замять дело, попечитель решает записать в список лишь фамилии отпрысков наиболее знатных фамилий в Москве; это обеспечит их освобождение после чисто формального заключения в карцер. Среди них задержаны юрист, князь Андрей Оболенский, и студент физико-математического отделения Александр Герцен, незаконнорожденный сын московского вельможи Ивана Яковлева и немецкой гувернантки Луизы Гааг. Обе "покаянные жертвы", которые действительно участвовали в событии, будут быстро освобождены. Власти не намерены более обострять дело. 11 апреля в ответе на вопросы Бенкендорфа князь Голицын признает обоснованность недовольства студентов³¹.

В январе 1831 года выходит в свет "Листок"; его выпускает два раза в неделю князь Д.В. Львов с участием многих студентов. Отклик на московскую жизнь, анекдоты, каламбуры, загадки, объявления таково его содержание. Белинский выступает в нем сначала как поэт, затем как критик. Несмотря на его успех, издание журнала "по неясным причинам" прекращено в июне, на сорок девятом номере. Объяснение следует искать, по-видимому, в польских событиях.

27 мая Гаспар Шанявский, студент медицинского отделения, публично произносит хвалу польскому народу и критикует политику России. Его немедленно арестовывают и обвиняют в подготовке побега польских офицеров из Москвы. Вместе с ним к суду привлечен библиотекарь Петрашкевич, бывший член общества филаретов. 16 июня арестованы польские офицеры, связанные с университетом, и на следующий день производятся аресты членов студенческого кружка, вдохновляемого Николаем Сунгуровым и его побочным братом Федором Гуровым. Поступив в университет в качестве вольнослушателя вскоре после дела Малова, Гуров критиковал деспотизм, взятки, продажность министров; он разжигал недовольство студентов, обязанных остаться на второй год из-за позднего начала учебного года в связи с холерой; он получал, переписывал и распространял среди своих товарищей запрещенные стихи Полежаева, обличал власть в страхе перед истиной³².

Именно "в заботе об истине" профессор Погодин только что, в московском журнале "Телескоп", опубликовал статью "Исторические размышления об отношении Польши к России". Безусловно, Погодин выступает не для того, чтобы защитить дело

поляков; напротив, он напоминает о купленных кровью правах России. Несмотря на патриотический тон статьи, его коллега, латинист Снегирев, которого, впрочем, студенты не уважают за вошедшее в поговорку незнание латыни, пользуется случаем, чтоб обвинить автора статьи как революционера. По словам Снегирева, студенты прозвали Погодина московским Лелевелем и пишут его имя в коридорах на стенах³³. "Произошло несчастье!" - сетует Погодин. Несмотря на интерес, который, будто бы, проявил государь к его статье, Погодину отныне грозит прослыть либералом в глазах министра народного просвещения! Обвинение в "либерализме" ему кажется особенно несправедливым. Он сетует в своем дневнике: "Господи Боже! Что за несчастье человеку. Откуда могло родиться такое подозрение на человека, по Истории преданного правительству. Четыре года издавал журнал без одного замечания от цензоров. Четыре года читаю лекции без одного слова двусмысленного"³⁴.

Студенты, которые сочувствуют полякам, не разделяют, конечно, мнения Погодина и вовсе не видят в нем либерала! Костенецкий, член кружка Сунгурова, вспоминает, как тогда для него поляки были патриотами, жертвами жестоких преследований деспотов³⁵. Со своей стороны, Герцен записывает: "Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком... Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неудачам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки"³⁶.

Однако большинство студентов не примыкает к этим крайним суждениям. В своих воспоминаниях Януарий Неверов, студент отделения словесных наук с 1828 года, упоминает о пагубных происках Сунгурова и добавляет, что никто среди его знакомых не соблазнился его предложениями и не посетил его собрания. У Неверова скромное происхождение. Его отец, законник, занимается частной практикой в Нижегородской губернии. Кружок, о котором он упоминает, является "довольно хорошим обществом из молодых людей нового поколения". Они собираются у Селивановского, бывшего студента, благодаря которому Януарию достаются запрещенные стихи Полежаева. К чему стремятся эти молодые люди нового поколения? Не диплом, а знание хотят они приобрести в университете, дельных и содержательных лекций ждут они, прежде всего, от преподавателей. К ним студенты дворянского происхождения, получившие уже образование в своих семьях, более

требовательны, нежели студенты более скромного происхождения. По примеру своих предшественников Любоумров, чтобы углубить свои знания, они объединяются в кружки. Это уже стало обычаем. В своем дневнике, 17 ноября 1831 года, Неверов записывает, что он познакомился с Оболенским и испытывает большую симпатию к нему. Вместе с ним и с другим студентом, Ключниковым, сыном землевладельца, чиновника пятого класса, поступившего на словесное отделение одновременно с ним, они стали встречаться, с целью создать кружок. Но после неприятной истории с Оболенским приходится все это прервать³⁷. Отличившись уже в деле Малова, Иван Оболенский на это раз арестован, в начале декабря, по доносу за участие в так называемом "составлении злонамеренного общества" вместе с Амедеем Декампом, преподавателем французского языка. По мнению студентов, которые его называли "дедом Кампом", в этом французе нет и намека на конспиратора! Он - всего лишь обветшалый представитель Старого режима во Франции, неестественный и высокомерный фразер. Недоразумение рассеивается быстро. Оболенского освобождают через десять дней, но оставляют под полицейским надзором.

В этот учебный год Неверов начнет опекать новичка в университете, Николая Станкевича, моложе его на три года. Старший сын в семье, насчитывающей девять детей, Станкевич призван унаследовать богатые земли в Острогожском уезде Воронежской губернии. Его дед, серб по происхождению, служил Екатерине II, участвовал в прусской и польской кампаниях. За заслуги ему выделили земли, которые он сумел обработать. Отец его проживает в родовом имении и весьма умело ведет хозяйство. Вместе с братом он занимается земледелием, следит за мировыми ценами на пшеницу и скот, интересуется финансовыми операциями. Родившись в 1813 г., Станкевич поступил сначала в благородный пансион в Воронеже. Он обучался игре на фортепьяно и пению. Сам он устраивал домашние театральные представления. Изъясняться почти безупречно по-немецки и по-французски он научился дома, в родном имении. Он прибывает в Москву летом 1830 года с рекомендательным письмом к профессору Михаилу Павлову, университетской знаменитости, и устраивается в его частном пансионе. Он блестяще сдает вступительный экзамен и поступает на словесное отделение. Он уже известен как поэт. Благодаря заботе содержателя воронежского благородного пансиона, его стихи были опубликованы в петербургском журнале "Бабочка"³⁸.

"С Станкевичем я был довольно знаком, бывая у него на квартире у профессора Павлова, - вспоминает Костенецкий. - Иногда он читал мне свои стихотворения, даже какую-то написанную им трагедию в стихах"³⁹. Неверов вскоре восхищен этим юношей с привлекательной наружностью, даровитым, богатым и вместе с тем скромным. Он становится его снисходительным наставником. В свою очередь, не лишенный некоего кокетства, Станкевич играет в поэта, то беспечного, то глубокомысленного. Он поверяет своему другу свои мечты и "видения". Его меланхолические стихи печатаются не только в "Атенее" профессора Павлова, но и в "Литературной Газете" Пушкина! Станкевич заботится не только об издании своих произведений, он посылает Пушкину стихи одного "самородного поэта, который, занятый торговыми делами по поручению отца, пишет часто дорогою, почти сидя верхом на лошади"⁴⁰. Вот при каких обстоятельствах, рассказывает Неверов, Станкевич познакомился с Алексеем Кольцовым, когда жил еще в родном доме: "Однажды, ложась спать, он долго не мог найти своего камердинера, и когда последний явился, то, на замечание Станкевича, привел такое оправдание, что вновь прибывший прасол Кольцов за ужином читал им такие песни, что они все заслушались и не могли от него отстать, и при этом сказал несколько оставшихся у него в памяти куплетов, которые и на Станкевича произвели такое впечатление, что он пожелал лично узнать от Кольцова, откуда он достал такие прекрасные стихи. На другой день он пригласил его к себе и, к удивлению своему, узнал, что автор этих стихов сам Кольцов"⁴¹. Позже, в 1835 году, Станкевич опубликует на свои средства скромный сборник стихов Кольцова. Неверов напишет по этому случаю статью в журнале "Сын Отечества". Тем временем, Станкевич уже отказался от своего "поэтического призвания", называя его пустым светским занятием. Наряду с чтением немецких поэтов, он открыл перспективы к более значительной деятельности.

С самого приезда в Москву, Станкевич посещает гостеприимный дом семейства Бееров, становится другом их сына Алексея, тоже студента, его сестер Наталии и Александры, младшего брата Константина и их кузенов Владимира и Федора Ржевских. Они собираются, танцуют, шутят, говорят о поэзии, барышни не отступают от Станкевича, требуют у него стихов или же просят его высказаться о модных поэтах, в частности о поэтессах. Он восхищается только одной, Надеждой Тепловой, публикующей свои стихи с тринадцати

лет. "Вот какие стихи могут писать женщины! Она в своей сфере, в кругу чувства, любви!" Отказывает ли он женщинам в других правах? Его лишь раздражает иногда Марья Афанасьевна Дохтурова, домашняя воспитательница в семье Бееров: у нее "странные умственные претензии". И, тем не менее, Станкевич охотно проводит время в ее обществе, читая произведения Шиллера и Гете, рассматривая ее коллекцию гравюр, особенно репродукцию знаменитой Сикстинской Мадонны Рафаэля, которой он будет восхищаться в 1837 году в Дрездене. Ведь эта Мадонна стала объектом всеобщего поклонения в Европе, в частности среди русских читателей "Фантазий об искусстве" Ваккенродера. Вокруг этого шедевра "божественного Рафаэля" была создана целая легенда после того, как, в 1798 году, по инициативе Ваккенродера и Тика, братья Шлегель проводили свои "заседания" вместе с Новалисом и Шеллингом в дрезденской картинной галерее. Отрицая возможность умственного восприятия произведения искусства, они излагали свою доктрину в журнале "Атенеум", эстетическую концепцию, основанную на религиозном восприятии, на понятии Откровения. "Фантазии об искусстве" перевели в 1827 г. Титов, Мельгунов и Шевырев. Мария Афанасьевна вскоре подскажет Станкевичу его любимый афоризм: "Es herrschet eine allweise Güte über der Welt". Чтение немецких поэтов, по мере того, как оно расширяется, усиливает нравственные требования, порождает все больше вопросов, дает понять, что за этим литературным наследием кроится могучая мысль, которую еще предстоит открыть⁴².

Учебный год 1830-1831 заканчивается. На экзамены разрешено явиться только второгодникам. К таковым относится Белинский. Заболев, он только что провел две недели в больнице, и экзамены для него перенесены на осень. В сентябре он проваливается на экзаменах и оказывается на третьем году обучения казеннокоштным студентом первого курса! Именно в этих тяжелых условиях он знакомится с Заблоцким, польским студентом, рекомендованным попечителем Белорусского учебного округа. Выходец из разорившейся дворянской семьи, новичок вскоре находит друзей среди соотечественников в "Тайном польском литературном обществе" и начинает бывать вместе с Белинским в доме акушерки польского происхождения Ф.И. Бордегио. Она находится под надзором полиции и подозревается в связях с польскими революционерами⁴³.

* "Мудрая Благодать царит над миром" (нем.).

В октябре Николай I вновь прибывает в Москву в сопровождении верного ему шефа жандармов, графа Бенкендорфа. 21 октября он присутствует на балу, данном в его честь дворянством. В дворянском собрании, с хоров, Герцен вглядывается в лицо своего личного врага: "В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнения"⁴⁴.

Белинский, со своей стороны, пишет родителям: "Теперь в Москве гостит государь император с государынею императрицею... Государь был везде, кроме Университета!.. Даже Гимназия удостоилась его высокого посещения, а мы его уже и не ждем. У нас есть некто граф Панин, служащий при Университете в качестве помощника попечителя. Эта глупая и долговязая орясина (он ростом выше трех аршин) вздумала насильственным образом стричь на солдатский манер своекоштных студентов. Русаки все дались! Немцы, обрував и одурачив его, вышли из Университета! К довершению этих глупостей министр вздумал поселить своекоштных студентов в один дом, на таком основании, чтоб каждый из них внес единовременно 50 р. ас. И вносил бы каждую треть по 100 р. ас. И сверх того имел бы полную студенческую одежду, сшитую на свой кошт. Каково! Разумеется, все отказались; иные потому, что не хотят добровольно идти на подобную каторгу, другие по бедности. Теперь не знаем, чем это все кончится. По всему видно, что Московскому Университету настает кончина!..."⁴⁵

Тем не менее, начинается учебный год. Дмитрий Голохвастов, двоюродный брат Герцена, старше его на шестнадцать лет, назначен помощником попечителя Московского учебного округа по рекомендации князя Сергея Голицына. Герцен от всего сердца ненавидит этого "зубрилу". Новый помощник присутствует на лекциях профессоров. Проведя инспекцию у Погодина, он вызывает его и, не позволив ему сесть, делает замечания о форменных пуговицах и других мелочах. Погодин хочет подать в отставку. Граф Панин уговаривает его остаться. В тот год Погодин преподает историю последних трех столетий. Он колеблется: "Студенты очень любят меня и уважают, - пишет он в своем дневнике. - Это утешительно. Есть для кого работать. Нет, прочь все. Остаюсь в Университете"⁴⁶.

Осторожный, услужливый, но без угодливости, Погодин прежде всего усердный труженик. Он искренне озабочен судьбой своих студентов, которые его уважают. Его курс по древней истории - лишь повторение работ немецкого историка Геерена, но он может увлечь

свою аудиторию, делясь с ней своими собственными исследованиями по русской истории. Однако, на этом поприще он сталкивается с сильным соперником. Михаил Каченовский старше его на двадцать пять лет, эрудиция и компетенция этого профессора единодушно признаны и вызывают уважение. Наследник просветителей XVIII века и почитатель Бейля, Каченовский возглавляет "скептическую школу" и противится всякой преждевременной попытке укрепить, установить прошлое России. В частности, он критикует "преувеличения" Карамзина, автора монументальной "Истории Государства Российского"; он признает, что это плод огромной обработки источников, но видит в ней, скорее, литературное произведение, нежели исторический труд. Каченовский разделяет скептицизм своего учителя Болтина по поводу "увлечения народов возводить себе почетную родословную". В своих лекциях он подвергает сомнению подлинность не только "Слова о полку Игореве", но также и "Повести временных лет" и "Русской Правды". Одним словом, он подвергает сомнению "норманское происхождение" первого русского государства, Киевской Руси. Однако, "подлинность" этой родословной постепенно устанавливается в преподавании. Напрасно было бы предполагать политические намерения у скептика Каченовского. В начале царствования Николая I история еще остается вне политических соображений. При условии, что он уважает авторитет властей, начальства, историку вольно применять любые направления свободной критики, в целях бескорыстного поиска истины. Для развития их критического духа, какие возможности открываются студентам в области, которая еще ускользает от бдительности властей и от запретов! Это понимают и оценивают Станкевич и его товарищи. По окончании университета они заказывают в складчину и дарят главе скептической школы золотую табакерку. По этому случаю, Станкевич сочиняет два четверостишия, одно - посвященное историку Каченовскому, другое - латинисту Снегиреву, врагу Погодина:

"За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы.
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

Он историческая мерка;
Тебе ж что скажем, дураку?
Ему в три фунта табакерка;
Тебе три фунта табаку..."⁴⁷

В честь преподавателей, круто осмеянных в пародиях и эпиграммах, создается "групповой портрет" в незабываемом произведении "О царе Горохе"; автором его является Лебедев, будущий сенатор, он проявляет свое остроумие в адрес Каченовского, Погодина, Павлова и прочих. Эта пародия опубликована в 1834 году, в университетском издательстве с согласия цензора, самого профессора Снегирева!

Именно вокруг вопросов, возникающих на лекциях по истории, завязываются близкие отношения между "старшими" студентами, Неверовым, Ключниковым, Оболенским и "новичками", в частности Станкевичем, протеже Неверова. Равенство царит между ними, когда они затрагивают подобные вопросы. Об этом свидетельствует тон многочисленных записок, посылаемых Станкевичем Неверову: "...думаю прочесть Эверса "Рассуждения о происхождении Руси" это нужно будет для Каченовского. Читать Карамзина не буду: я его читывал и прежде, но от этого пути мало: не так надобно изучать историю!" "...Приезжай ко мне <...>. Я пошлю и за Ванькою Оболенским. Прочтем с толком диссертацию Гастева"⁴⁸. Гастев моложе Погодина лишь на один год, это любимый студент Каченовского. Он написал диссертацию на модную тему: "Рассуждение о причинах, замедливших гражданскую образованность в русском государстве до Петра Великого". Изучать Россию по западным началам? Погодин осуждает это направление: "Русская гражданская образованность, или лучше русская история, шла иначе, нежели история прочих европейских государств, - возражает он. - Покажите это иначе и причины этого иначе; но не толкуйте о замедлении и об ускорении". А Гастев якобы не показал истинных причин. "Удивительно, - добавляет Погодин, - почему автор даже не упомянул о том, что Россия имела другое вероисповедание и не получила классического наследства"⁴⁹.

Работая еще в 20-е годы над своей диссертацией "О происхождении России", Погодин дорожил "Историей Государства Российского", но, тогда как Вяземский утверждал, что Карамзин "чистыми убеждениями совести, глубоким соображением отечественных событий и могуществом красноречия доказывал, что мудрое самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию", Погодин считал, что "Карамзина должна благодарить Россия не за Историю, но за обогащение Словесности". Каченовский ему рекомендовал чтение немецкого историка И.Ф. Эверса, сторонника хазарского происхождения варяго-русов. В своей диссертации Погодин ловко перебирает

аргументы всех историков: варяго-русы - не шведы, не пруссы, не финны, не хозары, не готфы, не фрисландцы и т.д. На защите Каченовский требует, чтобы он умерил свою критику Эверса. "Он не так добр, как о нем думают" - записывает Погодин в своем дневнике 17 апреля 1825 г. Из Петербурга, Карамзин одобряет и поздравляет. Навещая его, Погодин ему преподносит перевод произведений Эверса. Карамзин упрекает Историческое общество в издании подобных трудов: ведь скандинавское происхождение русских неоспоримо. Погодин не смеет возражать ...⁵⁰

Карамзин умирает 22 мая 1826 г. Погодин мечтает написать его биографию; но, познакомившись с Н.С. Арцыбашевым, гвардейским офицером в отставке, изучающим немецкие труды о происхождении славян, он публикует в 1828 г., в "Московском Вестнике" его "Заметки по поводу "Истории Государства Российского". Еще до этого Арцыбашев его поздравлял за статью в "Московском Вестнике" "Нечто против мнения Н.М. Карамзина о начале Российского Государства" и писал, что Погодин - "прачка Карамзина". Грубая и злонамеренная статья Арцыбашева вызывает возмущение. Кто имеет право судить Карамзина? - спрашивает Вяземский. Погодин оправдывается во имя "высших требований науки". Отказать новому поколению историков совершить то, что Карамзин сам физически не мог сделать, есть темное невежество. При этом "ни на один философский вопрос не ответят мне из его истории". Письмо Вяземскому читают на балу у Веновитинова.

"Неужели вам кажется, что Россия уже зачиталась Карамзина, что пора благодарности должна миноваться и настать пора строгого суда? - отвечает Вяземский. - Неужели не знаете ли вы, что Россия слишком мало читает, что, отняв у нее Историю, писанную Карамзиным, вы осуждаете ее ничего не читать, потому что, за исключением Истории, нет у нас решительно ни одной книги; или хотите осудить Россию на Приступ и повести о Русских? Ради Бога, пощадите Россию! Она погибнет на этом Приступе! <...> Не поручайте неучам, хотя бы и ученым, а еще менее полуученым, учить того, который одной строкой более благодетельствовал России, чем те со всеми своими Приступами и Сводами, которые обрушатся на их головы и задавят их память".

Погодин предлагает Вяземскому опубликовать его письмо в "Московском Вестнике" и получает отказ: "... почитаю это делом совершенно неприличным". Погодин объясняется: ему тоже тон Арцыбашева не понравился, но следует отличить тон исследователя от тона светского человека. Напрасно. Друзья Карамзина: Блудов,

Дмитриев, Жуковский, Вяземский от него отворачиваются. Только Пушкин его не бросает. Сам Погодин оказывается постоянно в неловком положении. Он общается с просвещенными аристократами, уважает их и привязывается к некоторым из них. Но он остается "человеком из народа". Его принимают в семье Трубецких, но он доверяет своему Дневнику по поводу барских столов: "Для меня показалось очень диким видеть, как двадцать человек сидят, а другие двадцать бегают около них, суетятся, смотрят в глаза и пр. Откуда взялось это различие?" Как историк, Погодин осуждает Екатерину: "Она имела нужду в дворянстве, в его поддержании. Она дышала Дворянством и за это дала ему все. Она жила не для потомства, для себя единственно".

В.Ф. Одоевский пишет Погодину 12 января 1829 г.: "И какое время вы для нее (для критики Арцыбашева) выбрали? Когда правительство всеми силами старается помогать нашим успехам в литературе и в науках вообще! Так-то мы отвечаем ее благородным усилиям. Смех и негодование - вот впечатление, которое производят наши писания на публику, и без того нерасположенную к просвещению. Так, любезный Михаил Петрович, издавая журнал, т.е. единственные книги, читаемые в России, мало обращать внимание на разрешение частных ученых вопросов, решительно могу сказать, познакомившись более со светом, что эти вопросы никого не интересуют, кроме десятка, м.б. во всей России и печатать о них что-нибудь, истинная роскошь, или лучше мотовство, а особливо в журнале <...>. Всякий журнал в России, по моему мнению, должен иметь одну цель - возбудить охоту к чтению. Знакомство с делом, доставленное мне службой, уверило меня, что наше просвещение находится на степени наших прадедов, которым насильно надобно было брить бороды, что всякое действие на просвещение в России может только и единственно сходить сверху от правительства, что одно его покровительство согревает кое-где явившуюся любовь к просвещению. Отнимите это солнце и завянут парниковые цветы словесности. Нигде на всем пространстве империи нет самопроизвольного стремления к просвещению. Что сделает правительство, то и есть. Но правительство может основать школы, выписать учителей, покровительствовать ученым - но возбудить охоту к учению, приобрести литературе привязанность и уважение публики - дело писателей"⁵¹.

Карамзин - народный писатель. Как историк, он защищает идею: "Самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию", несмотря на возмутительные превышения власти, на бесчинства,

которые он не скрывает, а наоборот, описывает и осуждает, особенно в царствование Ивана Грозного. Против колких отзывов и эпиграмм, против тех, кому не хочется самодержавия, против порицания наград, данных Карамзину, сторонники и почитатели его - не мракобесы и реакционеры, а просвещенные люди, которые убеждены в том, что просвещение в России может быть введено лишь одним путем, "революцией сверху", предпринятой Петром. В ожидании плодов этого насильного посева, они не примиряются раболепно с самодержавием, а пытаются использовать средства, предоставленные правительством для расцвета литературы, достойной уважения, - но это дело не чиновников, а писателей. Погодин не находит в Истории Карамзина ответа на свои "философские вопросы" и всю жизнь восхищается петровской дубинкой, "с которой генерал фельдмаршал кн. Меншиков был знаком наравне с последним крестьянином, о которой со слезами вспоминали первые люди государства". В этом и разница с непоколебимыми сторонниками Карамзина; как "аристократы", они дорожат чувством личного достоинства, они готовы служить, но не прислуживать, они были воспитаны в духе Просвещения предыдущего века и росли еще в обстановке либеральных устремлений царствования Александра. Теперь им приходится примиряться с николаевской действительностью и защищать завоеванное культурное достояние и против цензурных придирок государственного аппарата, и против новоявленных ученых, полуученых и вообще неучей.

Наступила пора разоблачать "литературную аристократию". После 1825 г. такие публикации, как "Мнемозина" Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского, как "Полярная Звезда" Рылеева и Бестужева, исчезают, другие обезглавлены, лучший журнал, "Сын Отечества", попадает под влияние Булгарина и Греча. Эти отступники от либеральных кругов, ставленники шефа жандармов, графа Бенкендорфа, ведут, под предлогом литературных споров, полемику с "аристократами", доносят на них. Когда в 1830 г. Пушкин и Вяземский, в противовес "Северной Пчеле", выпускают "Литературную Газету" и придают ей общественно-литературный характер, несмотря на то, что она не пользуется привилегиями с 1825 г. "Северной Пчелы", Булгарин видит в ней конкурента и нападает на нее за "аристократизм".

* Обращение к читателю (фр.).

В том же 1825 г. начинает выходить в Москве журнал Николая Полевого "Московский Телеграф". Хотя на первых порах "аристократ" Вяземский принимает деятельное участие в редакции, и печатаются "аристократы" Баратынский, Одоевский и Пушкин, "буржуазное" содержание журнала, обращенное более к широкой публике, чем к просвещенной элите, приводит "плебея", самоучку Полевого к столкновению с "партией аристократов". Появление "Московского Вестника" его не радует, визит к Пушкину во время его пребывания в Москве в 1826 г. его обижает, он удивляется странному союзу Пушкина с молодыми людьми (с любомудрами), в то время как он сам желал "укрепить личным знакомством нравственный союз, естественно связывающий людей необыкновенных". И он заключает: "Пушкин признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его, как писателя, а не как аристократа"⁵². Здесь, конечно, дело не только в предрассудках Пушкина, а в претензии публициста общаться с поэтом, как с равным.

Пушкин выступает, без подписи, на эту тему в "Литературной Газете": "Новые выходы против так называемой литературной нашей аристократии, столь же негодные, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, "Северная Пчела" помнит, кто упрекал поминутно г. Полевого тем, что он купец, кто заступался за него". И Пушкин заключает: "Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приутожили куплеты с припевом: Повесим их, повесим их. Avis au lecteur"

Полевой считает, что это выступление касается лично его: "Правда, Полевой не станет сам добиваться дворянства, ибо смеет думать, что в глазах соотечественников звание купца, в котором он родился, ничуть не унижает его; Полевой не почитает в то же время дворянского звания ручательством за ум, добродетель и еще менее за литературное достоинство человека. Совершенная правда! И вот последнее - то мнение "Литературной Газеты" ставит шутки Полевого в ряд с эпиграммами Маратов и французских революционных газетчиков. И издатели в "Литературной Газеты" не стыдятся своего Avis au lecteur! И это значит у них: аристократов к фонарю! Как назвать такие ничтожные, бедные средства защиты?.. Дело в том, что "Литературная Газета" - последнее усилие жалкого литературного аристократизма и вот вся загадка!.. Различие между дворянством и литературным аристо-

кратизмом весьма легко понять. Положим, например, что кн. Вяземский напишет дурные стихи, а я смело скажу ему об этом; он князь! Что за нужда? Разве княжество его стихами записано в родословную книгу, и стихи его копия с дворянской грамоты? Княжество его при нем, а поэт он все-таки будет плохой. Ришелье был министр великий и кардинал, но стихи писал прегадкие. Прошу литературных аристократов верить, что в числе моих недостатков нет литературной трусости! Дворянские грамоты и дипломы ученые не спасут от меня худших писателей, хотя бы они были самые знаменитые друзья".

Полевой может бросать вызов Пушкину и любомудрам, он обращается к широкому кругу читателей; у него постоянно от 1200 до 1500 подписчиков, а когда "Московский Вестник" тонет, у него всего 250. В Петербурге, у "Северной Пчелы" тираж - 5 000 экземпляров, а у "Литературной Газеты" Пушкина всего 100 подписчиков! Закон спроса и предложения неумолим. В соотношении сил между продажной прессой и независимым профессионалом Полевым, с одной стороны, и "любителями"-дворянами, с другой, победа первых неизбежна. После 14-го декабря просвещенной аристократии нечего ожидать от властей, кроме недоверия и неприязни. Бенкендорф очень недоволен статьей Пушкина и 22 августа 1830 г. обращается к министру народного просвещения с вопросом: кто разрешил ее публикацию? Кн. К.А. Ливен объясняет, что цензор Щеглов не нашел в ней ничего противного ни религии, ни духу Российского правительства, а увидел в ней ответ на постоянные насмешки "Телеграфа" над дворянским состоянием; они противны духу Российского правительства и вредны для государственного устройства: "... унижение высшего сословия государства каким бы то ни было образом ни к какой благонамеренной цели вести не может"³⁰.

Подобные консервативные отзывы не в состоянии воспрепятствовать растущему убеждению, что не "аристократии" присваивать себе все права на истину и просвещение. Не ясно ли всем, что 14-го декабря она потерпела политическое поражение? Теперь наступил час культурного конфликта, в ожидании более глубокого пересмотра ее положения на общественном и экономическом уровне. Являлись ли "архивные юноши" достойными наследниками "арзамасцев"? В последнем номере журнала, к началу 1831 года, Погодин подводит итоги: "Мы были уверены в громадном успехе "Московского Вестника"; мы думали, что публика бросится за именем Пушкина, которого лучший отрывок, сцена летописателя

Пимена с Григорием, должен был начать первую книжку. Но увы, мы жестоко ошиблись в своих расчетах и главной был я, несмотря на все убеждения Шевырева". Погодин признает, что, опасаясь лишних издержек, он не решался пускать более 4 листов в книжку, пока не увеличится подписка, тогда как "Московский Телеграф" Полевого выходил книжками в 10 или 12 листов; он не хотел прилагать картинки мод, служившие первой поддержкой Телеграфа. И последнее признание: "Я не отдавался ему весь, а продолжал заниматься Русской историей и лекциями о Всеобщей, которая была мне поручена в Университете". Готовясь уже к этому неизбежному исходу, Погодин шуточно пишет Шевыреву в Рим 5-го ноября 1830 г.: "Холера коснулась и журналистов. "Галатей" простудилась, "Атений" объелся, а у "Вестника Европы" поднялась желчь. Они не будут издаваться"⁵³.

Кто же готов в Москве прийти на смену? Увы, обстановка к этому не располагает. После смерти Веневитинова, после отъезда многих из них, Любомудры, оставшиеся в Москве, продолжают встречаться, но энтузиазм их погас. Среди них наиболее активный - Николай Мельгунов, "человек с планами на будущее", как остро характеризует его Погодин, он собирается издать в Москве энциклопедический журнал "Журналист", получает разрешение, и, однако, проект терпит неудачу... "из-за эпидемии холеры" - оправдывается Мельгунов в письме Шевыреву. Вот как он сам описывает А. Веневитинову, брату поэта, времяпрепровождение последних представителей блестящего поколения двадцатых годов. Они собираются у Свербеевых по пятницам, у Киреевских по воскресеньям, по четвергам иногда у Кошелевых, иногда у Баратынских: "Два, три раза в неделю мы все в сборе; дамы - неперменные участницы наших бесед, и мы проводим время, как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит очи к небу, Герке дурачится, Мещерский молчит, мы остальные слушаем; подчас наша беседа оживляется хором цыган, танцами, беганьем взапуски, где особенно отличается Христиан Иваныч".

Погодин огорчается и пишет Шевыреву: "Киреевского я не понимаю. Лежит и спит; да неужели он ничего не надумывает? Невероятно". А Киреевский готовит выпуск "Европейца", ежемесячного журнала наук и словесности. "Киреевский издает "Европейца", - сообщает, наконец, Погодин Шевыреву. - Все

аристократы у него. Журнал почти на три тысячи рублей. Книжка по десять листов. Вот, брат, как выезжают на наших спинах". Каких "аристократов" подразумевает Погодин? Пушкина, Жуковского, кн. Одоевского, кн. Вяземского, А.И. Тургенева, Хомякова, Баратынского, Языкова, не "своих". Но он снисходительно добавляет: "Я рад его журналу, это возбудит его деятельность"⁵⁴. В 1-ом номере "Европейца" Киреевский публикует свою статью "Девятнадцатый Век", где, обсуждая вопрос просвещения, он проводит сравнительный анализ между Европой и Россией. В конце XVIII века господствующее разрушительное направление вызывало потребность единства. Шеллинг открывает новую цель: истинное познание, положительное, живое, не заключается в логическом развитии необходимых законов нашего разума. "Весь результат такого мышления мог заключаться только в познании отрицательном: ибо разум, сам себя развивающий, сам собой и ограничивается". Истинное познание в уважении к религии. Оно не сводится к совокупности обрядов или к индивидуальному убеждению, это "единомыслие народа, освещенное яркими воспоминаниями, развитое в преданиях, одномысленных, сопрокинутое с устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, сведенное к одному началу положительному, и ощутительное во всех гражданских и семейственных отношениях".

Восстановление подобного идеального единства после потрясений конца XVIII века являлось целью Реставрации во Франции, оно потерпело провал в 1830 г., и секуляризация общества продолжает развиваться. Где же искать на Западе осуществление этого утраченного идеала? Киреевский смотрит на свой век глазами современника. Современность выражается "в требовании большего сближения Религии с жизнью людей и народов <...>. Везде господствует направление чисто практическое и деятельно положительное <...>. Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь, как на простое условие развития духовного, но видит в ней вместе и средство и цель бытия <...>. Ибо жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя". Киреевский огорчается: "Какая-то Китайская стена стоит между Россией и Европой, и только сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада; стена, в которую Великий Петр, ударом сильной руки пробил широкие двери". Развивая сообра-

жения, уже высказанные Веневитиновым, Киреевский отмечает, что не вчера родилась Россия, но просвещение ее едва начинается. "Но оно не было плодом нашей прежней жизни, необходимым следствием нашего внутреннего развития, оно пришло к нам извне, и часто даже насильственно". Не таков был путь Европы. "От самого падения Римской Империи до наших времен, просвещение Европы представляется нам в постепенном развитии и в беспрерывной последовательности". Перечисляя стихии, на которых выросла Европа: влияние христианской религии, характер, образованность и дух варварских народов, остатки древнего мира, Киреевский отмечает, что только "классического древнего мира не доставало нашему развитию", и приводит преимущества этого наследия: римское законодательство, устройство торговых городов, усиление и многостороннее развитие западной церкви в борьбе с духом языческого мира: она стала не только источником духовного образования, но и главой устройства политического. При этом она пожертвовала своей чистотой во имя своего общественного призвания. Со своей стороны, заботясь преимущественно о сохранении древнего христианского предания, русская церковь резко отстала в делах просвещения.

"В России, Христианская Религия была еще чище и святее. Но недостаток классического мира был причиной тому, что влияние нашей церкви, во времена необразованные, не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви Римской <...>, и Россия, раздробленная на уделы, не связанная духовно, на несколько веков подпала владычеству Татар, на долгое время остановивших ее на пути к просвещению". Недостаток классического наследия лишал русскую вековую культуру всемирной образованности, которая объединяла народы Европы. "Только с того времени, как История наша позволила нам сближаться с Европой, начало у нас распространяться и просвещение в истинном смысле слова, т.е. не отдельное развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного мира". "Каждая эпоха человеческого бытия имеет своих представителей в тех народах, где образованность превышает полнее других <...>. Вот почему просвещение каждого народа измеряется не суммой его познаний, не утонченностью и сложностью той машины, которую называют гражданственностью - но единственно участием его в просвещении всего человечества, тем местом, которое он занимает в общем ходе человеческого развития".

Зная, что "переворот, совершенный Петром, был не столько развитием, сколько переломом нашей национальности; не столько внутренним успехом, сколько внешним нововведением", как же совместить в этом европейском форуме свою национальность с просвещением, когда "у нас искать национального, значит искать необразованного"? когда те, "кто обвиняют Петра во имя национальности, самобытности, скрывают свою корыстную ненависть к просвещению и его благодетельным последствиям"? Но с половины XVIII века в Европе положение меняется. Изобретение паровых машин, следствие европейского просвещения, вызывает промышленный, социальный кризис, безработицу; римские законы теперь оказываются в противоречии с потребностями гражданского устройства; Реформация нарушила единство европейской церкви. Речь тут идет о *старом просвещении*. Чтобы быть к нему причастным, отсталой России надо было бы пережить снова всю прежнюю жизнь Европы. Веневитинов предлагал отстать временно от новейших открытий, чтобы заполнить этот пробел в образовании, недостаток классического мира. Этот подвиг не только неосуществим, но и бесполезен, потому что *старое просвещение* зашло в тупик, и развитие его ведет только к самоотрицанию. В современном XIX веке *новое просвещение* существует и развивается самобытно. "Поэтому народ, начинающий образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему в России и в Америке просвещение начало приметно распространяться не прежде XVIII-го и особенно в XIX веке"⁵⁵.

Неужели Киреевский дает нам понять, что завидная европейская образованность оставалась силой римской церкви до тех пор, когда разрушительное направление конца XVIII-го века освободило просвещение от опеки католицизма, открывая свой путь иным вероисповеданиям; неужели "просвещенному" православию или баптизму? Но смелая мысль "Европейца" не определила, по какому направлению может развиваться "новое просвещение" в России. К сожалению, на этом прерывается размышление Киреевского: "Европеец" запрещен после выхода 2-го номера.

Погодин не разделяет мнения Киреевского о первенстве Запада. "В нашей литературе и учености приметно сильное движение". И он перечисляет все недавние переводы Шекспира - с английского! Тем не менее, он желает успеха журналу, у которого

лишь 50 подписчиков. "Что-то будет вперед? А если подписчики пойдут в этой пропорции, то выдавать по десять листов в книжке и выписывать на 3000 журналов будет тяжело". В своем дневнике он записывает 15-го февраля: "Европейца запретили, Киреевского в крепость, а Аксакова (*цензора*) в гауптвахту. Предполагается неблагонамеренный смысл в XIX веке и неприличные выражения о иностранцах". Погодин огорчен: мошенник Снегирев торжествует. Он ничего предосудительного не видит в статье Киреевского и упрекает его только в том, что он ошибочно мерит Россию на какой-то европейский аршин. Он собирался ему ответить статьей: "Черт возьми! Россия особый мир, делится он с Шевыревым. Всей Европы надежда должна быть на Россию; а эти крикуны и болтуны в парламентах и палатах страшат детей Россию, как пугалом. Невежи! Да и нас похвалить нельзя, что мы ответа не даем на их дикие вопли. Пора сражаться нам с Европой не на одних штыках, а и на словах"⁵⁶.

В Петербурге запрещение "Европейца" производит большое впечатление. "Все на вашей стороне", - пишет Пушкин Киреевскому и огорчается, что теперь он слышит якобинцем. А.В. Никитенко, узнав новость от Пушкина, записывает в своем дневнике: "Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буяннить? И тяжело, и стыдно, и грустно!"⁵⁷ Вяземский отмечает, что только Булгарин и Греч имеют право издавать политические журналы. Но главной причиной запрещения "Европейца" является не статья "XIX век", а та, которая возбудила возмущение Николая I, "Горе от ума - на Московском театре". Киреевский писал, что любовь к иностранному не должно смешивать с пристрастием к иностранцам, первая полезна, а последнее и вредно, и смешно, и достойно противодействия. "Ибо - не говоря уже об том, что из десяти иноземцев, променявших свое отечество на Россию, редко найдется один просвещенный - большая часть так называемых иностранцев не родится с нами даже и местом своего рождения; они родились в России, воспитаны в полурусских обычаях, образованы также поверхностно и отличаются от коренных жителей только своим незнанием русского языка и иностранным окончанием фамилии <...>. Так, самое незнание языка служит для них паролем, по которому они узнают друг друга; а недостаток просвещения нашего заставляет нас смешивать иностранное с иностранцами, как ребенок смешивает учителя с наукой и в уме своем не умеет отделить понятие об учености от круглых очков и неловких движений"⁵⁸. Николай I осуждает "самую неприличную и непристойную

выходку насчет находящихся в России иностранцев". Вступается Жуковский и ручается за Киреевского. "А за тебя кто поручится, возражает Николай. Жуковский заявляет, что он болен. Вступается императрица Александра Федоровна. "Ну, пора мириться, сказал Государь, встретив Жуковского и обняв его"⁵⁹.

От этих объятий "Европеец" не воскрес. Что делать на Руси? довольствоваться хором цыган, беганьем взапуски? Нет, вот выступает на турнир новый рыцарь, не "аристократ", не купец, не ставленник гр. Бенкендорфа, а бывший семинарист, Николай Надеждин. Получив образование в духовной академии, он становится магистром богословия в двадцать лет, в 1824 году, затем преподавателем словесности в Рязанской семинарии и защищает докторскую диссертацию на латыни о романской поэзии "De origine, natura et fatis Poëseos, qua Romantica audit". В 1831 году он назначен профессором кафедры "Теории изящных искусств и археологии" Московского университета. Его кандидатура была предметом тщательного обсуждения на Совете университета. Некоторые профессора, среди них латинист Снегирев и эллинист Ивашковский, подчеркивали, что, "хотя сам сочинитель не упоминает, какому учению предпочтительно следовал, но весьма очевидно, что оно принадлежит Шеллингу, как сие можно видеть в его "трансцендентальном идеализме", и потому желательно прежде всего знать, может ли сие учение быть допущено в нашем университете". Большинство членов совета во главе с Каченовским полагали, что неточность некоторых терминов, используемых Надеждиным, не приносило неясности в его работу, и высказались в его пользу. Надеждин приступает к работе в январе 1832 года после успешного чтения вступительной лекции "Необходимость, значение и сила эстетического образования". Он публикует ее в "Телескопе", новом журнале, выходящем с 1831 г. два раза в месяц, которым он сам руководит. Он видит в нем духовного наследника "Московского Вестника". Прощаясь с читателями своего журнала, Погодин великодушно обещает сотрудничать в "Телескопе", в журнале своего молодого коллеги, полного решимости бороться против Булгарина, Греча и Полевого. "Молва", журнал мод и новостей, удачное приложение к "Телескопу"; ему отводится публикация фельетонов, театральных рецензий, стихов и, при случае, полемических выступлений; к номеру приложены модные картинки. Встречая большой успех,

* "О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической" (лат.).

первые номера "Телескопа" и "Молвы" выходят двумя изданиями. Призывая Шевырева к сотрудничеству с Надеждиным, Погодин удивляется: "Не постигаю, как у него 800 подписчиков, а у "Московского Вестника" было триста ... Уже у него не моды ли?"⁶⁰

Однако, не столько появление нового журнала, сколько преподавание в университете нового профессора вызывает любопытство и интерес, ибо под предлогом эстетических соображений, Надеждин вводит новый предмет философию. Склонность к изучению философии одновременно подавляется и возбуждается отсутствием лекций по этому предмету в университете. Профессор Иван Давыдов защитил в 1815 году докторскую диссертацию "О преобразовании в науках, произведенном Бэконом". В 1816 году он дал вступительную лекцию "О возможности философии как науки". Вскоре курс был отменен, и Давыдов с тех пор перестал вступать на эту опасную территорию и преподавал лишь общую литературу, риторику и красноречие, руководствуясь "Курсом риторики" Гуго Блэра, вышедшим в 1783 году, приправляя свои лекции туманными заметками в духе Шеллинга. Косвенное, но истинное посвящение в философию осуществлял Павлов, профессор физики и естественных наук, у которого поселился Станкевич. Обычно его аудитория состояла из студентов физико-математического отделения. Герцен пишет, что дело университета - "возбуждать вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М.Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский". "Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудро научиться на его лекциях, сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: "Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?<...>. Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ"⁶¹. Студенты словесного отделения тоже приходят на лекции Павлова, среди них Станкевич, о чем свидетельствует записка Неверову, без даты, от 1831 года: "Сегодня Павлов читает у себя лекцию опытной физики, на которую съедутся много; я сказал, что буду"⁶².

Будучи "прислугой богословия", философия признавалась предметом обучения в Сорбонне со средних веков; таковой ее и преподают в России в начале XIX века. В Московской духовной академии профессор Кутневич заказывает последние работы Канта, Фихте, Шеллинга, Якоби. Профессор Голубинский организует

кружок "Ученые беседы", где излагаются новые положения "трансцендентального идеализма". Правда, Голубинский доводит их всегда до истин, уже открытых отцами православной церкви. Герцен сожалеет об этом: "... наша молодежь, вступающая в Университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие о философии, зато совершенно превратное"⁶³. Превратное, но, тем не менее, академическое, тогда как Герцен и его товарищи остаются самоучками, предоставленными самим себе.

Поколение Любомудров непосредственно приобщалось к этой "новой науке", но не предавалось истинному философскому размышлению по поводу вопросов, которые априори считались решенными, и сразу переходило к выводам. Это поколение едва ли было знакомо с Кантом, с его "Критикой чистого разума" где разум (*Vernunft*) сам себя судит: где признаются его права, как и осуждаются чрезмерные его претензии, где определяются границы, в пределах которых разум может на законных основаниях применять априорно свои начала. Предостережения Канта уже кажутся бесполезными перед грандиозными перспективами "новой науки" - *Натурфилософии*, которая, в силу таинственной внутренней причинности, наделяет материю имманентной жизнью и проповедует телеологию, предполагающую действие "разумного духа" всюду, где проявляется целесообразность. Внешне она не стремится восстановить *теологию Откровения*. Термины, которые она использует, относятся скорее к философской лексике, нежели к богословской: Я (свобода), отождествляется с абсолютным, с бытием (*Sein*), с субстанцией или противопоставлена не-Я, существованию (*Dasein*), представлению, природе; однако проблематика ее строжайшим образом остается религиозной. Во всяком случае, она отвечает в России на надежды поколения, жаждущего знания и колебавшегося между скептицизмом и верой. *Шеллингианство* предоставляет ему в готовом виде *Weltanschauung*, мировоззрение, в форме более эстетической, чем научной, более романической, чем исторической, но приемлемой в глазах властей, допускающих философию исключительно в официальных рамках духовных академий. Семинаристу Надеждину дается возможность переселить философию из академии в университет.

В своем толковании *натурфилософии* Надеждин не опирается, как Павлов, на космогоническое видение, полагающее одновременно тождество и борьбу между абсолютной свободой и хаосом, над которым господствует Слово: "Да будет свет!"

При невозможности использовать *теологию Откровения*, которая была бы, впрочем, неуместна в его лекции, он излагает *эстетику Откровения*, основываясь на знаменитом труде Ваккенродера "Сердечные излияния монаха, любящего искусства". Эта основополагающая работа была переведена на русский язык в 1826 году Любомудрами Шевыревым, Титовым и Мельгуновым. Искусство, расцвет человеческого чувства, таинственное явление, иррациональное по своей природе, эмоциональное, как любовь, ускользает от какого-либо теоретического определения. Его шедевры следует принимать с любовью и почтением, а не анализировать ради тщетных логических принципов, построенных на предубеждении. Вдохновение художника является состоянием ясновидца, эстетическим созерцанием, восхождением к бесконечному. В "Видении Рафаэля" Ваккенродер рассказывает, как божественный Рафаэль, преследуемый желанием написать Деву Марию, фиксирует на полотне ее небесный лик, явленный ему в мимолетном озарении, но навсегда запечатлевшемся в его сердце.

Надеждин полагает Идею прекрасного абсолюта, благодаря которой осуществляется гармония бытия в бесконечной любви Бога к своему созданию, в стремлении созданного существа к божественному. В своем акте творения художник, побуждаемый неудержимым вдохновением, осуществляет гармоничное слияние между воображением и разумом, свободой и необходимостью. Его гений соперничает с природой, и в своем произведении он неосознанно выходит за пределы тех противоречий, которые рассудок не способен преодолеть. В отличие от Любомудров, искавших философскую интерпретацию этой *эстетики Откровения*, лекция Надеждина имеет несомненный религиозный характер⁶⁴. Его студенты, в частности Станкевич, воспримут это толкование. Ведомый сильным религиозным чувством, он ждет от философии ответов, которые, увы, Надеждин не способен будет ему дать. Позднее он сможет самостоятельно судить о нем, осознать его недостатки, напыщенность его речи, но добавит при этом, что Надеждин пробудил его, и если он, Станкевич, попадет в рай, то этим он будет обязан Надеждину.

Станкевичу, как студенту первого курса, не разрешено присутствовать на пробной лекции Надеждина. Естественно, он обращается к Мельгунову, чтобы раздобыть номер "Телескопа". Любитель искусства и музыки, Мельгунов является "покровителем" Неверова и приглашает его иногда на эти вечера. Вслед за ним и

для Станкевича открывается круг знакомств этого уважаемого "взрослого". Мельгунов становится для него постоянным поставщиком выходящих в свет трудов, в частности, он дает ему два тома "Курса истории философии" Виктора Кузена (1828-1829 гг.).

В начале 1831-1832 учебного года Станкевич уже не "новичок", опекаемый доброжелательными "старшими". Вокруг него собираются студенты, оставшиеся, как и он, на повторительном курсе из-за холеры. После занятий, без устава и программы, на ежедневных встречах, обсуждаются самые разнообразные темы. "Кружок" отличается большой пестротой, что отражает одновременно социальный состав и "политические направления" студентов: бывший юрист Почека, замешанный в предыдущем году в деле Малова, прилежный Сергей Строев, младший брат П.М. Строева, известного историка и археолога, Василий Красов, сын священника, бывший семинарист из Вологды и поэт. О нем оставил красочный портрет Ф. Боденштедт, воспитатель детей князя М. Голицына: "... по своему происхождению, по своим симпатиям и по роду занятий глубоко коренился в русском народном мире и представлял живой контраст с высшим русским обществом, болтавшим по-французски; его своеобразная речь и обращение внушили мне совершенно новый взгляд на русский народный дух и на его отличные свойства. ... В своих рассказах, выливавшихся постоянно в форме отдельных сценок и эпизодов, он умел передать чрезвычайно метко разговор людей разного типа, но выпешдших из народа, начиная с простого мужика и кончая священником и мелкопоместным дворянином старого закала, причем он передавал неподражаемо верно все особенности их речи и самое выражение их лица, но положительно не мог представить мало-мальски сносно лиц высшего круга".

Будучи постоянно в экзальтированном состоянии, Красов частая жертва трагикомических приключений. Заболев, не имея средств чтобы расплатиться с хозяйкой, доведенной до крайности, он старается разъяснить ей, что в ее собственных интересах терпеть и ускорить его выздоровление а не выгонять его в халате и туфлях зимой на улицу! Она не успокаивается. Тогда он срывает со стены маленькое зеркальце, обращает к ней и восклицает: "Смотри, негодяйка, и трепещи перед твоим собственным изображением!" Мгновенно хозяйка замирает от ужаса. В этот момент приходит добрейший доктор Дитрих. Красов объясняет ему ситуацию, бедная женщина падает на колени, просит прощения и объясняет, что с горя слишком много выпила, но что теперь пришла в себя и готова сделать все, что от нее требуется⁶⁵. Ошеломлять своих современников, предлагая им, как в

зеркале, отражение собственных пороков, - фантазия Красова достигает здесь уровня воображения Гофмана и Гоголя, но, к сожалению, он полагает, что молодому поэту приличествует больше элегический тон или воспевание подвигов Дмитрия Донского. Его "Куликово поле" появляется в "Телескопе", Станкевич в журнале Надеждина публикует перевод "An den Mond" Гете и свое "Мгновение", толкующее религиозное преображение действительности. В "Молве" появляется "Калмыцкий пленник", пародия на "Кавказского пленника" Пушкина, написанная Станкевичем вместе с Мельгуновым.

Наступили другие времена. В альманахе "Полярная Звезда", до его закрытия в 1825 году, Александр Бестужев еще восклицал по поводу Пушкина: "Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностью <...>. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов - это музыка!"⁶⁶ Отныне стало модным чернить талант Пушкина и считать его конченным поэтом, не способным к обновлению из-за отсутствия "подлинной культуры". Вернувшись из ссылки, Пушкин, оказавшись под опекой царя, его личного цензора, представляет лишь только самого себя или в лучшем случае то, что осталось от аристократического просвещенного общества, верного петровским заветам, но уязвленного катастрофой 14 декабря 1825 г. Закатилось ли вдохновение Пушкина? По мнению Полевого, публикация "Евгения Онегина" это подтверждает. Она растягивается с 1825 по 1832 год. При появлении в 1830 г. главы VII "Московский Телеграф" заявляет: "Ныне требуют от писателя не одной подписи знаменитого имени, но достоинства внутреннего и изящества внешнего". Опираясь на это мнение, Булгарин в "Северной Пчеле" лицемерно восклицает: "Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудит гений наших поэтов и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять "Онегин", бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину <....>. Разумеется, автор часто говорит о себе, о своей скуке, томлении, о своей мертвой душе. Великий Байрон уж так утомил нас всеми этими выходками, что мы сами чувствуем невольное томление, слыша бесперывное повторение одного и того же".

*"К месяцу" (нем.).

Защитник классицизма и ученый семинарист Надеждин заходит еще глубже: "Талант, особенно не закупоренный печатью истинного образования, скоро очень выдыхается". Пушкин, по его мнению, как пленник байронизма, не способен обновиться: "Нет! Воля ваша! А Пушкин не мастер мыслить!" Пушкин был всего лишь легкомысленным и капризным поэтом минувшей эпохи, золотого века поэзии в стиле Анакреона. Его музой якобы была только пародия. "Это есть резвая шалунья, для которой весь мир не в копейку. Ее стихия - пересмежать все худое и хорошее". Сам Погодин поддается этой лавине критики. Он поверяет Шевыреву: "Надеждин вооружился против Пушкина и говорил много дела между прочим, хотя и семинарским тоном". Неужели Погодин забыл, что присутствовал на чтении "Бориса Годунова"? Полевой, он не забыл, что его не приглашали; с высоты своих претензий историка он постановил в "Московском телеграфе": "Сущность этого творения Пушкина запоздалая и близорукая. И могла ли она не быть такой даже по исторической основе, когда Пушкин рабски влекся по следам Карамзина в обзоре событий, и когда посвящением своего творения Карамзину он невольно заставляет улыбнуться в детском каком-то раболепстве, называя Карамзина, Бог знает чем! Это делает честь памяти и сердцу, но не философии поэта"⁶⁷.

Тем временем, Белинский, тот, кто вскоре станет самым пылким защитником Пушкина, попадает в беду. Страдая от *catarrus pulmonalis chronicus cum febris irregulari*, он лежит в больнице с января по май 1832 года. Бесконечный кашель изнуряет его и мешает работать. Его средства ничтожны, а зимняя форменная одежда, военная шинель достойна пера Гоголя: она лишь годна, чтобы просеивать муку. Будучи на плохом счету у начальства, Белинский опасается, что станет жертвой дисциплинарных взысканий, введенных Дмитрием Голохвастовым: всякое нарушение устава может быть сочтено проявлением оппозиционных настроений. Опасаясь, что его отдадут в солдаты, он отказывается от поездки домой, проводит лето в Москве и упорно готовится к переводным экзаменам, назначенным на осень. В июне старшие из студентов, Неверов и Ключников, покинули университет со степенью кандидата. Неверова ждет место в Санкт-Петербурге, в Министерстве народного просвещения. Сдав успешно и легко экзамены, позволившие ему перейти на второй курс, Станкевич поздравляет Неверова: "Теперь прилагай свои теории в практическом Петербурге или мечтательной Москве", и сам уезжает "младенчествовать" в деревню к своим⁶⁸.

В августе, перед началом учебного года, новый министр народного просвещения, граф Сергей Уваров приезжает в Москву для ревизии университета. Погодин записывает в своем дневнике, что все профессора гуськом отправляются к министру. Уваров им заявляет: "Я хочу восстановить Университет, как он был при моем тесте графе Разумовском". Погодин приписывает ниже: "Тогда были только пьяницы и лентяи!" Тем не менее, в честь министра, он читает весьма благонамеренную лекцию "Взгляд на русскую историю, хранительницу и блюстительницу общественного спокойствия".

В истории человечества Российская империя самая просторная и объединенная, у нее один язык, одна мысль, одна вера. Тогда как другие народы обратил в христианство Рим, Россия восприняла христианство от Константинополя, где духовенство подчинялось монарху. Реформу в России провел Петр Великий, он заставил людей учиться. Русское дворянство не феодального происхождения и "не может иметь той гордости, которая течет в жилах Испанских грандов, Английских лордов, Французских маркизов и Немецких баронов, называющих нас варварами. Оно почтеннее и благороднее всех дворянств Европейских, в настоящем значении этого слова; себе приобрело свои отличия службой отечеству". И Погодин заключает: "Изучая Историю, мы изучаем самих себя, достигаем до своего самопознания, высшей точки народного и личного образования. Это книга бытия нашего". Уваров очень доволен⁶⁹. В сопровождении Пушкина, гостившего тогда в Москве, Уваров присутствует на лекции Надеждина. Вспоминает о ней студент Прозоров: "Предметом лекции было объяснение идеи безусловной красоты, являющейся под сферою гармонии жизни, о ее осуществлении в Боге под образом вечной отчей любви к творению и проявлении в духе человеческого стремлением к бесконечному, божественным восторгом, а в душе художника образованием идеалов. Студенты <... > бросили свои перья, чтоб через записыванье не проронить ни одного слова, и только смотрели на профессора, которого глаза горели огнем вдохновенья <...>; даже посторонние посетители, вместо тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекциях других профессоров, невольно обратились к профессору и смотрели на него, как будто на оракула"⁷⁰. Уваров, удивленный серьезностью темы, хочет знать, поняли ли ее студенты. Надеждин заверяет его в этом. "В первый раз вижу, - признает министр, чтобы человек, который так дурно пишет, мог говорить так прекрасно"⁷¹.

Уваров приводит также Пушкина на лекцию по литературе Давыдова. Иван Гончаров рассказывает об этом памятном посещении: "Вот вам теория искусства, сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам и указывая на Давыдова, - а вот и самое искусство", - прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о "Слове о полку Игоревом". Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу "Слова о полку Игоревом", разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. "Подойдите ближе, господа, - это для вас интересно", - пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение видеть и слышать нашего кумира, Я не припомню подробностей их состязания, помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным"⁷².

Правда, вот уже десять лет, как Пушкин и друзья его донимали Каченовского эпиграммами, называли его ревнивым Зоилом, бесплодным педантом, клеветником без дарования за то, что он систематично критиковал исторические труды Карамзина. Ставя под сомнение подлинность их источников, он разбирал их на страницах "Вестника Европы", журнала, созданного самим Карамзиным! Своей жене Пушкин излагает менее драматическую версию этой исторической встречи: "На днях был приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления"⁷³.

Споры эти вовсе не беспокоят министра. Напротив. 14 октября он пишет Бенкендорфу: "Покуда я могу с удовольствием уверить Вас, что самое полное спокойствие не перестает господствовать среди молодежи, и что я могу лишь похвалить те чувства, в которых я ее оставляю при моем отъезде. Мне только что подтвердили это местные власти, а под именем местных властей я разумею генерал-губернатора и полицию. Я сочту себя очень счастливым, если

результатом моего здесь пребывания будет восстановление в среде молодежи порядка и возможность успокоить в этом отношении Нашего Августейшего Государя"⁷⁴.

Ревизия заканчивается в конце ноября, а 14 декабря Уваров направляет доклад Николаю I. Он признает, что до отъезда относился предвзято к Московскому университету; но отныне он убежден в прекрасном поведении студентов; неблагонадежность некоторых студентов вызвана влиянием извне. "Весьма часто случалось мне, - сообщает Уваров, - прервав лекцию профессора, закончить оную собственным нравоучением, всегда приводя речь к лицу государя, к преданности трону и церкви, к необходимости быть русским по духу прежде, нежели стараться быть европейцем по образованию <...>, и всегда, смею сказать, общий восторг встречали случайно и неожиданно сказанные слова". В этом докладе Уваров формулирует знаменитые начала, им же разработанные и отражающие зарождающуюся официальную идеологию, "последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества": Православие, Самодержавие, Народность.

Чтобы успокоить профессоров, он заявляет во время обеда у князя Голицына: "Не думайте, господа, что государь вас не жалует; если бы это было так, то я не беседовал бы с вами". К печати он суров, считая, что подлая полемика журналистов уничтожает само понятие полной свободы в литературных беседах. "Влияние журналов на публику, особенно на университетскую молодежь, не безвредно и с литературной стороны; разврат нравов приуготовляется развратом вкуса; студент, не имеющий книг, не имеющий сообщения с обществом, бедный, одинокий студент с жадностию читает журналы и ищет в них пищи для ума и сердца". Министр вызывает по этому случаю Полевого и Надеждина и обращается к ним с серьезными предостережениями. Нельзя позволить безнаказанно оскорблять почтенных и высокопоставленных лиц. Уваров предлагает профессорам издавать научный журнал, обещает покровительство и финансовую поддержку, "ибо, - добавляет он между прочим и не без лукавства, - вероятно, что журнал ученый и учебный, журнал без политических новостей и литературных ругательств, по избалованному вкусу публики, не найдет много подписчиков".

Уваров высказывает свое пожелание по поводу изучения отечественной истории, направления, которое "усмирило бы бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии". "Политическая религия

имеет свои догматы неприкосновенные, подобно христианской религии; у нас они: самодержавие и крепостное право, - напоминает он ректору Двигубскому, ответственному за цензуру, - зачем их касаться, когда они к счастью России утверждены сильною рукою?"

После отъезда Уварова начинает издаваться, под руководством профессора Давыдова, научный журнал "Ученые Записки". Отражая, безусловно, умонастроения студентов, он станет почти исключительным органом Каченовского и его учеников. Станкевич готовит в 1834 году исследование "О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III", в котором он подвергает сомнению подлинность старых летописей, отрицает существование законов в X веке и отдает предпочтение уставам. Его друг С.М. Строев развивает любимый тезис учителя: "О пользе изучения российской истории в связи со всеобщее". Едва ли это скептическое направление отвечает пожеланиям министра! Погодин записывает в своем дневнике: "Читал с досадою выходки молодых глушцов об истории. Я начинаю и начну преобразования в русской истории, а они говорят о Каченовском, который долбит им только без всякого основания: не верьте. Досада"⁷⁵.

Другим следствием этого посещения стало исключение из университета 57 "неблагонадежных студентов". В их числе Белинский, которого не допустили к экзаменам в начале учебного года. Он отчислен не по политическим причинам, а из-за "болезни и безуспешности в науках". Несостоявшийся студент временно устраивается в городе у друга и намеревается выжить благодаря переводам французских романов. Наконец счастье улыбается ему в феврале 1833 г., когда Надеждин предлагает ему место переводчика в редакции "Телескопа" и "Молвы". Тогда только он решает сообщить родителям о своем исключении, придав ему утешительный смысл: "Я теперь уверен, что не попаду без всякого суда в солдаты за какую-нибудь безделицу". Мать его в этом не уверена: "Это происходит все оттого, что ты не имеешь истинной веры в Бога и надежды на Создателя и не просишь Божию Матерь; обратись-ка лучше к Богу и имей веру, молись, больше ходи в церковь". Несмотря на то, что будущее кажется Белинскому мрачным, он не впадает в отчаяние. Вскоре ему мать сообщает, что его отец начал пить, подумывает "бросить, на старости лет, дом, жену, детей и определиться в армию". Белинский напоминает ей, что терпение - высшая христианская добродетель и умоляет ее не лишать себя надежды⁷⁶.

Для Станкевича и его друзей учебный 1832 год начался благополучно. Теперь их кружок окреп; в нем появились новые лица: Осип Бодянский, сын священника, бывший семинарист, Александр Ефремов, поступивший на словесное отделение в тот же год, что и Станкевич; Константин Аксаков, сын Сергея Тимофеевича Аксакова, он оставляет ценное свидетельство о кружке: "У Станкевича собирались тогда каждый день дружные с ним студенты его курса и, кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Ключников <...>. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир - воззрение большею частью отрицательное. Искусственность русского официального патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, - все это породило справедливое желание простоты и искренности <...>. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности <...>. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще много не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет". Но Аксаков уточняет: "Кружок Станкевича отличался самостоятельностью мнения, свободой от всякого авторитета<...>. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если и случались, то очень редко. И, что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которая была ему ненавистнее всего"⁷⁷ .

"Общее воззрение на Россию", ничего общего ни с фрондерством весельчаков "Арзамаса", ни с богохульством студентов двадцатых годов, описанных Пироговым; мало общего у них с однокурсниками физико-математического и нравственно-политического факультетов, собиравшихся вокруг Герцена и его неразлучного друга Николая Огарева, сына богатого помещика. Эти вольнодумцы предаются "застольной революции, à la Béranger"; согласно либеральному ритуалу двадцатых годов, они поднимают тосты и распевают по этому случаю неблагонадежные песни, даже оскорбительные. Но зато у Станкевича и его разнородной компании, много общего с любомудрием просвещенных юношей, 10 лет тому назад готовившихся к "комитетским экзаменам".

Тем временем, другие студенты, заточенные в московских казармах, ждут, когда будет решена их участь. Это члены организации Сунгурова. Они вместе читают Гердера, Геерена, Шиллера, Гете. Их не забывает Погодин и посылает им книги. Их навещают товарищи, в том числе Почека и Оболенский. Слишком либеральная следственная комиссия приговаривает их лишь к высылке из Москвы. Царь недоволен, он велит отправить их в военный трибунал. 6 февраля они узнают приговор: для Сунгурова - каторга, для Гурова - Сибирь, для других - отправка в солдаты. 13 марта Костенецкий и Антонович отправляются на Кавказ с партией каторжников, закованных в кандалы; сами они получают место на телегах. На первой стоянке их ожидают Почека, Оболенский, Огарев и Сатин, товарищ Герцена по физико-математическому отделению. Они привезли с собой провизии, вина. После трапезы они расстаются со слезами. Надолго.

Приехав в Ставрополь 10 мая, Костенецкий имеет неосторожность послать письмо с благодарностями своим московским друзьям. Полиция перехватывает письмо, и в июне начинается расследование с целью установления лиц, связанных с политическими заключенными. Бенкендорф заключает, что Костенецкий не отказался от своих планов, наносящих ущерб интересам страны. В Москве князь Дмитрий Голицын, генерал-губернатор Москвы, и генерал Лесовский намерены задушить дело. Лесовский принимает "подозреваемых" поодиночке, поучает их и вынуждает подписать обязательство порвать все связи с заключенными. "Беседуя с каждым из них по несколько часов, докладывает он Бенкендорфу 25 июля, - я нашел их отлично образованными и людьми хорошей нравственности; а из особенной откровенности ко мне мог заметить, что они не только не участвовали во вредных замыслах Костенецкого, но совершенно не имеют связей и даже короткого знакомства с ним и сделали жертвами невыгодного о себе нареkania единственно через самопроизвольное сношение с ними Костенецкого письмом"⁷⁸.

Об этом письме 30 августа Мельгунов пишет в Санкт-Петербург Неверову, которого тоже допрашивали; он его успокаивает: Костенецкий либо дурак, либо безумный; он называет по имени всех тех, кого благодарит, включая Станкевича, сообщает, что подкупил конвойных офицеров (их, вероятно, уже привлекли к суду). Почека, кому было адресовано письмо, ответил умело и откровенно на все вопросы генерала Лесовского и дал свое мнение о Костенецком: весь университет считает его милым, но пустым"⁷⁹.

В июне, в то время, пока Станкевич и его друзья готовятся к экзаменам и проводят прекрасные вечера в саду семейства Бееров, купаются в реке, гуляют по паркам или по Кремлю, в Витебске открывается новое расследование. Губернатор Витебской губернии, князь Хованский установил, что "возмутительное воззвание поляков против государя-императора" было отправлено в Витебск студентом Заблоцким. Студент, допрошенный сначала в Москве, затем отправленный в Витебск, называет имена своих московских знакомых: Чистякова, Савинича, Белинского, короче говоря, жильцов "11 номера" во время эпидемии холеры. Он рассказывает, как они познакомились с акушеркой Бордеглио, затем с поляками, живущими в Москве. Он признает, наконец, что вместе с Савиничем они основали "тайное польское литературное общество". Целью этого "тайного общества" было издание альманаха на польском языке, дающего возможность познакомиться с польской литературой. Князь Голицын не хочет возиться с новым заговором, который, более того, был обнаружен не московскими властями, а витебскими. Он отказывается начать полицейское расследование. "В сем новом показании, - пишет он коллеге из Витебска, по поводу последних показаний Заблоцкого, я ничего не вижу, это пустословие и что поляки, когда они между собою поговорят о России не похвально, то проследить и запретить трудно"⁸⁰.

Белинский и Чистяков уже не числятся в университете, но Савинич все еще там. У него произведен обыск (не полицией). Прошел уже месяц после ареста Заблоцкого, у него было достаточно времени, чтобы уничтожить компрометирующие документы. Голицын сообщает Хованскому сведения, которые оправдывают Савинича и не подразумевают проверки других членов "тайного общества", которые еще остаются в университете. Следовательно, дело сводится только к связям Заблоцкого с его витебскими друзьями. В 1834 году их приговорят к каторжным работам, затем сошлют в солдаты на Кавказ.

В июне же трагически заканчивается история, в которой печальным "героем" оказался Яков Почека. Умирает, при странных обстоятельствах, Эмилия, дочь известного музыканта Франца Гебеля. Тотчас идут сплетни. Герцен сообщает Огареву: "Почека обманул Гебелеву дочь, самым гнусным образом оболгив ее, поверг все это семейство в отчаяние, и дочь Гебеля после 5-дневного сумасшествия умерла. Говорят, что и смерть он ей причинил, давши ей лекарство от беременности"⁸¹.

Станкевич привязан к Почеке: "Проклят тот, кто первый осмелился осквернить память чудесной девушки, и заставил других усомниться в благородстве Почеки!" Неверову он излагает свою версию: Почека жил в квартире Золотухиных, в одном доме с семейством Гебелей. У Золотухиных сын и дочь; они будто бы хотели, чтобы дочь вышла замуж за Почеку, и все препятствовали его встречам с Эмилией. "Бывало, чуть Эмилия и Почека явятся на галерею, Золотухиных дочь тут и есть". Когда Золотухины переменили квартиру, Почека переехал с ними. Эмилия подарила ему на память изображение, вырезанное из черной бумаги: береза свесилась над памятником, мужчина преклоняет перед ним колени. Станкевич сомневается, что Эмилия была дочерью Гебелей: "Что за девушка! Как таинственна судьба ее! Она рассказывала Почеке, что одна женщина раз в год приходила к ней и говорила ей об отце". Она не знала его имени, он ей однажды снился: он просил молиться за него. "Это новая Миньона! Кроткий гений, смущенный земными тревогами и отлетевший от людей"⁸². На немецком кладбище Станкевич, в сопровождении Почеки и сына Золотухиных, ищет могилу Эмилии. Он хочет покончить с клеветой, в которой Герцен отчасти виноват. Эти разговоры дошли до Петербурга, поскольку сам Неверов об этом упоминает. Со своей стороны, Герцен описывает Огареву свою встречу с Почекой: "... он защищается сильно, заставил меня выслушать, я говорил ему с твердостью и доволен собою". В этой стойкости Герцена есть что-то театральное. Однако он несколько поколеблен: "Может, разговор наш не кончится словами". Герцен и Почека не сразятся на дуэли, но воспоминание о драме потревожит Герцена, когда он, в свою очередь, несколько лет спустя, совершит "ошибку"⁸³. Станкевич же сочинит элегию "На могиле Эмилии":

Какие тайные законы
Тебя б в сей жизни ни вели,
Но участь горькую Миньоны
Ты испытала на земли"⁸⁴.

Станкевич проводит лето в родном имении, читает "Сцены частной жизни" Бальзака и "Оберона" Виланда, размышляет о поэтическом творчестве, интересуется историей. Алексей Беер, приехавший делить со Станкевичем жизнь в деревне, сопровождает его на охоту. Станкевич предсказывает ему, что он станет отменным охотником.

Они устраиваются в палатке, раскинутой в саду, и строят планы на будущее. Станкевич встречается с молодой женщиной, подругой его сестры, с которой он предыдущим летом пережил начало романа. Это "белокурая красавица с голубыми глазами, наполовину закрытыми, томными и заставляющими томиться". Пока ее муж мучался от острой зубной боли, поверяет он Неверову, - "она мне подарила первым поцелуем, орошенным слезами; это случилось в беседке, с одной стороны свидетелем была луна, с другой - молния, на фоне туч". Он изучает ее поведение: кокетство ли это? или любовь? Чего стоят ее слезы?

При этом случае, шутливо, Станкевич задает себе три вопроса из "Критики чистого разума" Канта: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? "Теперь два крайне метафизических вопроса решены: Was kann ich wissen, was darf ich hoffen; остался средний: Was soll ich thun? Теперь она у себя в деревне, больна, что очень меня беспокоит, но обещалась скоро приехать". Они встретятся в Москве в сентябре. Не заслуживает ли снисхождения эта женщина без радостей, которая предалась первому отрадному чувству? "Которому, впрочем, она не должна была предаваться", добавляет Станкевич. Он не намерен запутаться в сетях светской интриги; ее продолжение только искренняя любовь могла бы оправдать. Увы, он ничего такого не испытывает. Пока муж ее был в театре, она пригласила его к себе. Но стоило ей прижаться к нему, он воскликнул: "Я боюсь за Вас и за себя", - и удалился⁸⁵.

Герцен остался в Москве. Сдав кандидатский экзамен, он может "расслабиться" и посвятить себя изучению других предметов: "История и политические науки в первом плане. Естественные науки во втором", пишет он Огареву. Его друг советует прочесть произведения Лерминье и Сен-Симона. "Ты прав, - отвечает ему Герцен, - saint-simonisme имеет право нас занять". В свою очередь, он рекомендует Огареву прочесть Фурье и осуждает его шеллингианство. "Фихте и Спиноза - вот крайности, соединенные Шеллингом. Но нашему брату надлежит идти далее, модифицировать его учение <...>. Причина: Шеллинг дошел до мистического католицизма, Гегель до деспотизма! Фихте, этот Régime de terreur* философии (как называет Кине) по крайней мере хорошо понял достоинство человека." Эти решительные суждения Герцена извлечены из публикаций французов, Виктора Кузена, главы эклектической школы, Эдгара Кине, переводчика Гердера, Шарля Дидье, автора статьи "Три начала: Рим, Вена,

* террористический режим (фр.).

Париж", появившейся в "Revue encyclopédique". Герцен, опираясь на эти работы, строит свою собственную систему. Наследие древнего мира? Особенно он его не уважает.

"Платонова республика вполне показывает даль тогдашней философии от истины. Аристотель хвалит рабство <...>. Римлянин, как скоро вселенная пала к его ногам, стал рабом в республиканском платье; просто Рим начал гнить; в это время являются кимвры и тевтоны, девственные народы Севера начинали выливаться в Италию, чистые, добродетельные. Должны ли они были погубить себя без возврата в смердящем Риме? Обновленья требовал человек, обновленья ждал мир. И вот в Назарете рождается сын плотника, Христос. Ему (говорит апостол Павел) назначено примирить Бога с человеком. Пойми его, не хочет ли он, великий толкователь Христа, сказать сим, что Христос возвратил человека на истинный путь, ибо истинный путь есть и путь Божий. "Все люди равны", - говорит Христос. "Любите друг друга, помогайте друг другу" - вот необъятное основание, на котором зиждется христианство. Но люди не поняли его. Его первая фаза была мистическая (католицизм) <...>. Вторая фаза переход от мистицизма к философии (Лютер). Ныне же начинается третья, истинная, человеческая, фаланстерская (может быть, сен-симонизм?)".

Сен-симонизм открывает поколению Герцена путь к раннему христианству; философия Просвещения XVIII века, которую воспринимали старшие, лишала их религиозного приобщения "Я теперь пристально занимаюсь христианством. Огарев, с каким стыдом должны мы думать, что доселе не знали Христа! Какая высота, особенно в посланиях Павла". Но о каком же христианстве идет речь? Безусловно, не о римском католицизме, носителе не его идеи, а материальной силы христианской религии. Не дано чувственности южан воплотить "невещественную религию Христа, рожденную в погибающих племенах семитических, религии, не свойственной Азии, религии народов германских и славянских по преимуществу". Начавшаяся Реформацией эпоха анализа и разрушения окончилась революцией во Франции. Бесполезно ждать от нее обновления, поскольку нечист ее народ, невежда и развратник в прошлом столетии. Также обособлена, живя в стороне от Европы, Англия патриотов и эгоистов. Обновления Герцен ждет от Германии, страны чистых тевтонов, от *Burschenschaft** и от призыва: *Alle für einen, ener für alle!*

* студенческая ассоциация (нем.).

** Один за всех и все за одного! (нем.).

** Парадоксально, что эту веру в Германию Герцен обосновывает чтением французских публицистов и историков. Прочитав Мишле, его "Римскую историю" и "Введение во Всеобщую Историю", он хочет приняться за Огюстена Тьерри. Философия, история, философия истории: по силам ли ему это задание?⁸⁶

Начинается последний учебный год для Станкевича и его друзей. Никто из них не выступал в пользу польских патриотов, но возросла их симпатия к польской культуре. Мицкевич в моде в семье Бееров и в университете: "Язык так же хорош и литература так же прекрасна, как не хорош и не прекрасен народ". Надеждин поручает Станкевичу писать либретто на "Конрада Валленрода" Мицкевича; музыку сочинит Варламов. Станкевич принимается за польский язык с помощью Яна Савинича, бывшего члена литературного кружка "11 номера" и "Тайного польского литературного общества", друга Белинского. Со своей стороны, Константин Аксаков становится другом Александра Белецкого, тоже члена Тайного общества; чтобы отвлечь его от пути к возмездию, он посвящает послание своему польскому товарищу, живущему не под родным небом и окруженному бастионами и башнями русской славы. Иная слава, слава ума, ему, тем не менее, доступна⁸⁷. Итак, осенью 1833 года, обездоленные польские студенты оказываются на некоторое время в орбите кружка Станкевича. Вероятно, благодаря этим обстоятельствам, в сентябре, Белинский становится членом кружка. Там он находит бывшего товарища по учебе Ключников. Покидать Москву ни тот, ни другой не намерены.

Укрепляются дружеские связи между членами кружка, и одновременно слабеют отношения между Станкевичем и Мельгуновым. Однако сколько перспектив, чтобы их усилить! Вернувшись из Москвы осенью 1832 года, после трехгодичного пребывания в Италии, Шевырев поселяется у Мельгунова с намерением завоевать снова свое положение среди просвещенного общества. Его возвращение стало настоящим событием. Его всюду принимают, он представлен Уварову, который вскоре предлагает ему место адъюнкта у Давыдова, на кафедре русской литературы. Не имея никакого университетского звания, Шевырев предпочитает написать сначала диссертацию, посвященную Данте, и только потом претендовать прямо на кафедру. Станкевич представлен Шевыреву и сообщает об этом Неверову: "... поверь, друг мой: из людей совершенных, т.е. не юношей, и притом из умных людей, они одни только истинные люди! У других эгоизм вытеснил все благородные побуждения, опытность загасила душевный огонь".

Тем не менее, он проявляет некую сдержанность по отношению к идеалу красоты, которому остаются верны уцелевшие представители любомудрия. "Каковы бы ни были их мнения, одно это должно привязать к ним всякую чуждую мелкого эгоизма душу! Но я, разделяя издавна во многом (я не говорю образ мыслей: наши образы мыслей вровень становить нельзя, я еще далеко отстал от него в образовании) чувства Мельгунова, должен своею душою привязаться к нему и к его доброму товарищу, которого я еще не знаю очень коротко, как первого, но который принимает во мне не меньшее участие". Излагая свои убеждения, Станкевич слишком часто использует слово "должен". Должен ли он следовать советам, щедро раздаваемым этим блестящим старшим поколением? Заявляет ли он о намерении написать историю театра? Ему возражают, что было бы лучше написать историю живописи: "Мельгунов говорит мне, что время драмы и театров проходит, и представлял на это остроумные причины, но я с ним не согласен. Мне кажется, наступает время возвыситься театру. Искусство не погибнет, не достигши возможного развития".

Шевырев непременно хочет пристроить свою "историю живописи", тогда как Станкевич, погруженный в чтение "Драматургии" Шлегеля, упорствует в своем театральном проекте. Красов фактически переехал к нему; Станкевич передает ему обширную документацию, любезно предоставленную Шевыревым, и соглашается взять эту тему, чтобы выручить его. Рекомендации знаменитого ученого мало влияют на Станкевича! Шевырев советует ему обязательно побывать на Западе сразу после кандидатских экзаменов. Станкевич предпочитает подождать год и подготовить магистерскую диссертацию: "Мне нужно бы и поучиться до отъезда. Я стыжусь своего невежества во многих вещах, да и хочется пожить в России, на воле, без стеснений ферульных"⁸⁸.

В июне 1833 года Шевырев прочел пробную лекцию: "Изящные искусства в XVI веке". Слава о нем облетает всю Москву. Аристократические семьи, даже Сухово-Кобылины, просят его давать частные уроки. Вскоре он избран секретарем "Общества Истории и Древностей Российских". Видя столь стремительное восхождение, его друг Погодин, несколько уязвленный, испытывает к нему зависть.

Наступает зима. Государь пребывает в Москве. Станкевич наблюдает за ним, подобно тому, как Герцен двумя годами раньше: "Я его видел в первый раз и, поистине, нельзя не сознаться, что он красавец собою! Надоела мне только одна девчонка, которая сзди

меня кричала во все горло, в то время как государь, в нескольких шагах от нас, говорил с Долгорукою: *Ah, que l'empereur est beau! C'est le plus bel empereur du monde! Ah, la dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas si beau! Ah, il est superbe!*"* Накануне Нового года Шевырев первым поздравляет Станкевича, он теперь может посещать аристократические салоны. "Павлов и Шевырев познакомили меня недавно с кн. Горчаковой и я плясал у нее. У нее было очень одушевленно, как говорится. Кавалеры милы, дамы... тоже довольно милы. Это прекрасное общество... но, увы! Я все более и более сознаю, что это не моя сфера". Поза романтика? демократа? Станкевич далек от подобных соображений; он искренне сожалеет, что не может делить удовольствия общества, в котором вращаются бывшие любомудры. Он не осуждает их. "Вчера был у Мельгунова. Он играл мне увертюру и несколько арий из Дон-Жуана. Это прелесть! Хотя фортепьяно его ни на что не похоже. Как бы хотелось мне слышать его в оркестре!" В том же письме он восторгается вступительной лекцией Шевырева, посвященной истории западного искусства: "Дай Бог, чтобы он продержался у нас долее. Он должен, кажется, уничтожить и безотчетный трансцендентализм некоторых из наших собратий и, вместе с этим, пробудить верования в науку в тех, которые, досадуя на рьяные ристания тройки в бессущной пустоте, всюду порывающейся и всюду протыкающейся, предаются скептицизму. Многим студентам ни от чего ни тепло, ни холодно; они во всем влекутся за большинством ... эти по крайней мере из самолюбия станут уважать честного профессора и заниматься. А там, может быть, способность воскреснет в ином из них"⁶⁹. Шевырев осуждает "нигилистские" крайности шеллингианства. Защищая исторический метод, он хочет показать, что мир поэзии не пустая, бесцветная сфера мечтаний, а что, наоборот, он созируется из самой человеческой деятельности, схваченной в лучших ее мгновениях.

В равной степени и старшие, и младшие возмущены появлением в Петербурге первого номера "Библиотеки для чтения". Выход в свет журнала, которым будет руководить Осип Сенковский, блестящий профессор, выдающийся востоковед, является крупным событием, подготовка к которому привлекала всеобщее внимание. С осени 1833 года были расклеены афиши на витринах магазинов А.Ф. Смирдина, финансирующего это мероприятие, меркантильная

*"Ах, как император красив! Это самый красивый император на свете! В прошлый раз, как я его видела, он не был так красив! Ах, он великолепен!" (фр.).

затея: первый русский толстый журнал объемом до 30 листов: "журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод", в котором, как предполагалось, будут сотрудничать все великие отечественные писатели. Он обращается к широкой публике из провинции, жаждущей чтения и знаний, до сих пор непростительно забытой чересчур "элитарными" редакторами обеих столиц.

"Сенковский основал свой журнал, как основывают торговое предприятие", - напишет позднее Герцен в своем очерке "О развитии революционных идей в России". Мы не разделяем все же мнения тех, кто усматривал в журнале какую-либо правительственную тенденцию. Его с жадностью читали по всей России, чего никогда не случилось бы с газетой или книгой, написанной в интересах власти. <...>. Сенковский с презрением отзывался о либерализме и о науке, зато он не питал уважения и ни к чему другому <...>. Поднимая на смех все самое святое для человека, Сенковский невольно разрушал в умах идею монархии. <...> Сенковский целиком принадлежал своему времени; подметая у входа в новую эпоху, он выметал вместе с пылью и вещи ценные, но он расчищал почву для другого времени, которого не понимал"⁹⁰.

Провокации барона Брамбеуса - этим псевдонимом Сенковский подписывает свои статьи, - создают много врагов. Само название журнала абсурдно: *Библиотека для чтения*? А для чего другого может тогда служить библиотека? Гоголь находит для нее достойное применение, в письме Погодину: "Начальники отделений и директора департаментов читают и надрыдают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: "Сукин сын, как хорошо пишет!" Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать. Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства"⁹¹.

"Надобно быть невеждою, - восклицает Станкевич, чтобы писать подобные вещи в наше время". Белинский негодует: "Новый журнал дебютировал следующими глубоко философскими идеями: изящное не существует само по себе, как абсолютная сущность, но есть понятие относительное, которое основывается на личном ощущении всех и каждого". Он заявлял также, "что прогресс человечества - вздор, что, следовательно, история тоже вздор; что разум - просто надувает человечество; что знание невозможно, наука и ученье - ни к чему не ведут"⁹².

Давать отпор этим кощунственным заявлениям, этой демагогии, лстящей полуобразованной черни, аплодирующей всем на-

смешкам над просвещенным обществом, вслепую отождествляемым с привилегированным классом? Осложняло положение то, что "Библиотека для чтения" пела дифирамбы "новому поэтическому гению", "юному русскому Гете", призванному сменить угасающего Пушкина. Нестор Кукольник является автором исторической драмы "Торквато Тассо". Наивное самодовольство автора вызывает раздражение Станкевича: умирающий Тассо предвидит, что некий молодой поэт, в котором все узнают Кукольника, опишет однажды его жизнь. Тем не менее, он сдержанно признается: "Несмотря на детскую обработку, он показывает и талант и любовь к искусству". Однако, прочитав новую пьесу Кукольника "Рука Всевышнего Отечество спасла", он меняет свое мнение. 7 марта 1834 года он пишет Неверову: "Без сомнения, автор мыслит, как следует русскому, чувства похвальные! На каждой строке видна преданность престолу и отечеству, но недостает поэзии: это проза, переложенная в дурные стихи, нет связи, нет идеи"⁹³.

Эту же точку зрения разделяет Полевой. Он выражает свое разочарование на страницах "Московского Телеграфа". Увы! он узнает слишком поздно, что патриотическая драма Кукольника благосклонно встречена властями и будет поставлена на петербургской сцене! Его вызывает к себе губернатор Голицын и тотчас отправляет в Петербург, где его допрашивает Бенкендорф в присутствии Уварова. Министр народного просвещения опровергает доводы Полевого, который якобы судил о поэтических качествах автора, а не о его патриотических чувствах. "Драма Кукольника, - возражает министр, - была для вас как будто поводом к осмеянию самого возвышенного чувства". На следующий день Уваров вынимает толстую тетрадь, в которой собраны статьи из "Московского Телеграфа", и обвиняет Полевого в неуважении к властям и восхвалении французской революции. Журнал запрещен, запрещено упоминать в печати как журнал, так и его редактора⁹⁴.

Исчезает, таким образом, несомненно, лучший журнал той поры. Разночинец-самоучка Полевой создал его в 1825 году; он сумел освободиться от опеки родовитых "покровителей" и, став истинным профессионалом, захотел дать журналу, если не "буржуазное", то разночинное направление. Он стал ориентироваться на широкую публику, не преследуя ни меркантильных, ни циничных целей, как впоследствии Сенковский. Имея от 1200 до 1500 подписчиков, значительная цифра для того времени, он страстно отстаивал романтизм, полемизируя одновременно с

Булгариным и Гречем, с друзьями Пушкина, "аристократами" из "Литературной Газеты", и с "классиками"-любомудрами из "Московского Вестника". Самая главная его заслуга в том, что он познакомил своих читателей, в переводах, с произведениями Шиллера, Вальтера Скотта, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе и других западных писателей.

Приближается Пасха. Станкевич готовится к причастию, как это принято в Страстную неделю. Однако он с отвращением думает о "презренных тварях", рядом с которыми он должен стоять в церкви, с теми людьми, которые причащаются только "по долгу службы". "Сейчас я читал Евангелие Иоанна. Сын Человеческий является мне в каком-то недоступном величии; давно не испытывал тех блаженных минут, когда чувствуешь Его присутствие в душе! Только в такую минуту прилично торжественным обрядом запечатлеть соединение с Ним!" Ощущая свою неспособность приобщиться к этому "Величию", Станкевич пыгается отпраздновать Пасху "по-человечески". Вместе с Красовым, он проводит субботний вечер Страстной недели за чтением... Шиллера! В половине двенадцатого они выходят во двор, дымя трубками. Погода стоит прекрасная, небо и ясно и усыпано звездами, незадолго до этого прошел дождь. Вдруг ударили колокола, и Москва наполнилась этими звуками. В этот момент приходит Белинский. Он увлекает их в Кремль. Приближаясь, они услышали пушки; Василий Блаженный озаряется их светом, а их грохот распространяется по Кремлю. После этого зрелища все трое возвращаются к заутрене в Козмодемьянскую церковь. Отныне Белинский, как и Красов, является его близким: "... эти люди, заверяет Станкевич Неверова, способны вспыхнуть, прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига!"

Незадолго до этого он таинственно поверял тому же Неверову: "Дай Бог, чтоб нашлось существо, которое бы достойно заменило для меня красоту всего создания, сосредоточило бы на себе и усилило бы святое, врожденное чувство любви!"⁹⁵ Когда Станкевич высказывает это пожелание, несомненно, что-то уже произошло. В ту весну 1834 года барышни Бакунины из Прямухино пребывали в семействе Бееров. И он познакомился с этими "Божьими созданиями".

Глава 2

МОСКВА. СОВРЕМЕННОСТЬ И СВЕТСКОСТЬ (1834-1837 гг.)

"Божьи создания" из Прямухино - дочери Александра Бакунина, помещика в Тверской губернии. Семья Бакуниных небогата, но находится в родстве с самыми известными русскими фамилиями: Мордвиновыми, Муравьевыми, Полторацкими. Многие члены этой семьи занимают высокие посты на царской службе. Брат Александра - сенатор в Москве. Сам Александр Бакунин, просвещенный консерватор, долгое время выполнял дипломатические миссии в Европе и удалился к себе в имение, чтобы посвятить себя исключительно воспитанию детей. Его супруга Варвара, урожденная Муравьева, младше мужа на 24 года; с 1811 года по 1824 год она производит на свет 11 детей. "Божьими созданиями" названы старшие дочери: Любовь, Варвара, Татьяна и Александра. Между Варварой и Татьяной, в 1814 году, рождается мальчик, Мишель.

К воспитанию детей Александр Бакунин готовился серьезно. Как педагог, верный идеям XVIII века, он хочет заслужить любовь и доверие своих детей, не злоупотребляя отцовской властью, но и не позволяя им сидеть без дела; он желает приобщить их как можно раньше к управлению семейным достоянием, убедить их, не прибегая к ханжеству, что религия - единственная основа добродетели и счастья. На прогулках они собирают гербарии, бабочек, открывают тайны природы. Вечером, после ужина, читают "Швейцарского Робинзона". Вместе с тем, к Пасхе готовятся не менее торжественно, читают вместе Евангелие. Фортепьяно и скрипка в большом почете, здесь также любят петь хором.

Внешне либеральный, этот проект воспитания содержит в себе грозные противоречия; его применение встретит на своем пути и предписания, которыми авторитет отца пренебречь не сможет, и растущую настороженность детей. Даже после разрыва сам Мишель, вдохновитель бунта детей, признается отцу: "Самым счастливым временем нашей прямухинской жизни были для нас наши детские

годы; во мне остались еще живы все впечатления моего детства; что посеяно в детстве, то может быть потрясено, но ничем, никакими силами искоренено и разрушено быть не может. А любовь моя к Вам, любезный батюшка, любовь полная, неограниченная, началась с моим детством"⁹⁶.

Когда Станкевич и его друзья знакомятся в Москве с девицами Бакуниныными, легенда о Прямухинской гармонии царит уже давно. Она напоминает немецкую идиллию в стиле Гете. Наши московские Вертеры поочередно отправляются в паломничество в Прямухино, но там не одна, а четыре Шарлотты, и не только почтенный патриарх, просвещенный самодур в русском духе, но и брат Мишель, упрямее отца, оспаривающий у него право на "Божьих созданий". Кроме того, четверо младших братьев, периодически охваченных ветром бунта, посеянным неисправимым старшим братом. Необходимо упомянуть о скорбящей матери в роли жертвы или главной виновницы семейных раздоров.

Согласно дворянским обычаям, Мишель в возрасте четырнадцати лет послан вместе с младшим братом Николаем, в Санкт-Петербург, в Артиллерийское училище. Жесток контраст между семейной обстановкой и строгой казарменной дисциплиной, и зачастую безжалостным поведением товарищей. Выходные дни Мишель проводит у своего дяди, П.З. Нилова, который навязывает ему чтение Четвѣй-Миней, житий святых, и принуждает его верить безоговорочно во все чудеса, в них описанные. Религиозный кризис, вызванный подобным с ним обращением, не ослабляет, однако, патриотизм Мишеля. Во время польской революции он с восторгом читает поэму "Клеветникам России", в которой Пушкин отказывает иностранцам в праве вмешиваться в "старую семейную ссору" и напоминает им, что, освободив их от тирании Наполеона, Россия выкупила своей кровью свободу, честь и мир Европы. Мишель пишет по-французски своим родителям: "Эти стихи прелестны, не правда ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского <....>. Этот старик Лафайет большой болтун и гений-разрушитель: быв одним из первых деятелей революции в Соединенных Штатах и в обеих французских революциях, он хотел бы поколебать и русских! Но нет! Русские не французы, они любят свое отечество и обожают своего государя".

После производства в прапорщики в 1833 году, Мишель пользуется большей свободой, сторонится "пошлых и подлых" то-

варищей и начинает посещать высшее общество Санкт-Петербурга. Влюбившись в свою кузину Марию, он ведет себя как Альцест Мольера, осуждает кокетство женщин и ничтожество мужчин. Во время Страстной недели его тетушки заставляют его читать вслух проповеди Массильона в присутствии возлюбленной кузины! В надежде с ней встретиться, он усердно посещает церкви. Увы, его рвение быстро вызывает подозрения, и их вынуждают расстаться.

В июне, в летнем лагере под Царским Селом, Мишель с волнением читает поэмы Веневетинова и его "Письмо к графине N.N. о философии". Обращаясь к своей собеседнице, княжне А.И. Трубецкой, Веневетинов пишет: "Вы знаете, вы всякий день слышите, что философию называют бредом, пустой игрой ума; но в этом случае верно никому не поверите, кроме собственного опыта". Он приводит ее слова: "Не то ли я чувствую, удивляясь превосходной мадонне Рафаэля и слушая музыку Бетховена? Не так же ли наслаждаюсь прелестной статуей древности и глубокою поэзией Гете? Это заставило меня спросить: как могли бы различные предметы породить одно и то же чувство, если это чувство, эта искра изящного не таилась в душе моей прежде, нежели пробудили ее предметы изящные". Веневетинов отвечает, что всякая наука, история, как и арифметика, стремится связать случайные события в одно для ума объятное целое; чем более наука привела частные случаи в общую систему, тем ближе она к совершенству. "Если философия должна свести все науки к одному началу, то предметом философии должно быть нечто, общее всем наукам <...>. Итак, содержание ее будет познание, не устремленное на какой-нибудь особенный предмет; но познание как просто действие ума, свойственное всем наукам, как простая познавательная способность". Веневетинов рекомендует княжне читать Божественного Платона. "В нем найдете вы столько же поэзии, сколько глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли"⁹⁷.

Не забыть Бакунину слова Веневетинова о философии, о единственной самобытной науке, заключающей в себе самый предмет свой; какое пространство они открывали его врожденному самоволию! Но каким путем воспитаннику Артиллерийского училища приобщиться к тайнам трансцендентального идеализма? Он сам себе его откроет своим непокорным поведением. Вскоре он объявляет родителям, что он задолжал - всего 1900 рублей - он обязуется их уплатить из своего жалованья. В августе он возвращается в Прямухино. Встреча проходит трогательно, но вскоре

вспыхивает первый конфликт. Родители упорствуют в своем намерении выдать старшую дочь Любу за кавалерийского офицера, барона Ренне. В сущности, речь идет о том, чтобы прервать зарождающийся роман между Любой и ее дядей Алексеем Полторацким. Мишель вмешивается, отстаивая упорно свободу выбора и святость брачных уз. Растерявшись, барон спешит исчезнуть.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Мишель сходится с родственниками гораздо более просвещенными, чем дядя Нилов, с семьей Муравьевых. Он сообщает своим сестрам в письме от 26 января 1834 г., что переживает духовную революцию. Увы, он тоже переживает серьезную неприятность, которая повредит его карьере. Выйдя из училища не в форменном мундире, он получил выговор от генерала Сухозанета: "Уж если надел ливрею, то носи ее, как полагается". На что он ответил, что вовсе не думает надевать таковой. Он дорого заплатит за эту наглость. Его выпускают из училища с указанием, чтоб в течение трех лет обходили чином, и с обязательством служить, по меньшей мере, до чина подпоручика. Об этой грустной новости, отец узнает, читая "Русского инвалида". Он извещает сына о семейном положении: пятьсот душ крепостных, заложенное имение, за которое приходится платить в год 12 000 рублей процентов. Он просит сына загладить проступок. Но как?⁹⁸

Приглашенные в Прямухино, Станкевич и его друзья ничего не знают об этих семейных заботах, они только мечтают о "Божьих созданиях", хотя в мае месяце они еще поглощены подготовкой к экзаменам. Все они их успешно сдают и получают диплом. "Курс университетский окончен, кончена жизнь университетская", - пишет Красов Беерам, уже уехавшим в деревню. - "Товарищи разлетелись, общий интерес исчез". Оставшись в одиночестве, Красов раздумывает о будущем, к которому он совсем не готов: "Я посвящаю себя моей Родине, дорогой моей Родине, человечеству. Сделаю ли то, чего бы я пламенно желал, по крайней мере сладко жить и умереть по-человечески, без упрека, без раскаяния". Станкевич приглашен Неверовым в Санкт-Петербург. Почему бы не заехать по дороге в Прямухино? "По дороге я очень охотно заехал бы к Бакуниным, но признаюсь, мать их ужасает меня! Ее притворная ласка, пересахаренные комплименты в горло не идут, и какую роль я буду играть у них? Ведь в женихи я не гожусь, а близких отношений между нами нет". Однако он признает: "Но мне, друг мой, приятно будет, если они узнают, что я проехал, но не заехал к ним, не имея чести быть знакомым короче!"

В Прямухино Станкевич не заезжает. Строгий, стройный вид Петра творенья волнует душу москвича: "Где наша пестрая, беспорядочная, раздольная Красная площадь, с своими бабами, извозчиками, каретами, с своим лобным местом, кремлевской стеною и чудачком Василием Блаженным?" "Я еще ни разу не был в полном восторге", - пишет он Красову. - "Я еще новичант, оглашенный, во храме образовательных искусств, и боюсь, как бы век не остаться у преддверия по недостатку руководителя в настоящее время и по недостатку образцов на будущее"¹⁰⁰. Тем не менее, он посещает музеи, ходит по городу в сопровождении Неверова и художника Венецианова. "Восхитительно! Не-обычайно!" - восклицают его спутники. Он же старается усвоить и довольствуется пока "общими местами" о классической гармонии Петербурга и о романтической красоте Москвы.

Тем временем, в Москве, 9 июля арестован Огарев за дело "о лицах, певших пасквильные песни". Причиной был ужин с обильным возлиянием, задуманный студентами, окончившими курс и пригласившими приятелей. Пели хором известную песню поэта Владимира Соколовского:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.

Плачет государство
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин урод¹⁰¹.

Студенты - жертвы грубой провокации - захвачены полицией. У Владимира Соколовского, близкого знакомого Герцена, находят письма Николая Сатина, друга Огарева и Герцена, и таким образом добираются до них; они арестованы, как "соприкосновенные" по делу праздника, хотя сами не принимали в нем участия. У кружка Герцена тоже есть свой "Мельгунов", это Василий Зубков, советник Московской палаты гражданского и уголовного суда. Тогда как наставник Станкевича увлекается поэзией и искусством, Зубков слышет вольнодумом, либералом. Не сидел ли он в Петропавловской крепости по делу 14 декабря? Студенты считают его государственным

человеком, "деловым" революционером. Герцен просит его обратиться к губернатору Москвы. Князь Голицын, с которым он знаком, рассказывает Герцен, "любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски." "Помилуйте, зачем же это - восклицает либерал, изменившись в лице. Я вам советую дружески, и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны! <...> Вот оно самовластье, - какие права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?"¹⁰² Герцену некогда слушать эти "смелые суждения"; он берет шляпу и уезжает. Он арестован 21 июля.

Москва переживает беспокойное лето. Со всех сторон совершаются поджоги; население беспокоится; обвиняют польских офицеров; люди больше не спят; войска находятся в боевой готовности; производятся аресты подозрительных лиц. Герцен наблюдает за этим волнениям из окна своей камеры.

Белинский остался в Москве. Теперь все свои надежды он возлагает на Надеждина! Переселившись к нему, он живет за его счет, но не дармоедом. МА. Максимович, будущий профессор в Киеве, описывает обстановку: "Помню я, в университетской квартире Надеждина, сидит бывало пишущий, встрепанный юноша за письменным столом, на котором лежал французский лексикон, и с его помощью, переводит статьи разные для Телескопа. Что это за фигура? - спрашивал я. Это исключенный из университета студент Белинский"¹⁰³. В середине августа Надеждин предпринимает инспекционную поездку в Рязань и Тулу. Он доверяет Белинскому руководить "Телескопом" и "Молвой" до конца сентября. По его возвращении еженедельное приложение "Молва" начало публикацию серии статей "Литературные мечтания"; она продлится до конца декабря, легко преодолев цензурные преграды. Из десяти неподписанных статей датирована только последняя: 12 декабря 1834 г., Чембар: это родной город Белинского, куда он больше не вернулся после 1830 г. Благодаря этой уловке, Надеждин снимет ответственность со своего журнала, дав понять, что речь идет о произведении непрофессионала из глубокой провинции. Впрочем, в чем эти "Литературные мечтания", написанные студентом, исключенным из университета из-за безуспешности в науках, могли бы показаться подрывными? Благодаря подзаголовку "элегия в прозе", Белинский принимает притворный тон читателя, вспоминающего с грустью о потерянных иллюзиях, о счастливом прошлом. Тогда царило убеждение, что Россия может гордиться своими писателями

и соревноваться с европейскими литературами. Среди предшественников Белинского уже задавался вопрос: есть ли у нас литература? Белинский подходит к нему по-новому, разграничив два понятия: русский термин "словесность", совокупность устного и писанного, и заимствованный из латыни термин "литература", совокупность произведений, отвечающих эстетическим целям, которые можно признать способом выражения общества или народа. "История нашей словесности есть ни больше, ни меньше, как история неудачных попыток, посредством слепого подражания иностранным литературам, создать свою литературу; но литературу не создают; она создается так, как создаются, без воли и ведома народа, язык и обычаи"¹⁰⁴. Верный учению Каченовского, Белинский не снисходит до сочинений, написанных до XVIII века, и рассматривает историю русской словесности только начиная с Петра Великого и Ломоносова. Эпоха Ломоносова отмечена слепым подражанием западным моделям, особенно французским. *Eхеunt*, эти корифеи русского классицизма: Сумароков, Кантемир и Тредиаковский, эти русские Вольтер, Расин и Буало, которых все еще восхваляют, во славу России, отсталые умы. Он приписывает их к произведениям *псевдоклассицизма*, термину, заимствованному у немцев, чтобы дискредитировать влияние Франции, и сохраняет только имя Фонфизина, автора сатир, осуждавшего чрезмерное увлечение французской культурой той поры, и имя Державина, безусловно, придворного поэта, но ума независимого, прославляющего царствование великой Екатерины.

За эпохой Ломоносова следует эпоха Карамзина. Большой заслугой этого прозаика было приобщение русской публики к чтению; он писал для детей и по-детски. *Eхеunt*, эти многочисленные почитатели Карамзина, в частности Пушкин, его плеяда и его аристократическое окружение. Белинский Карамзина упрекает в несбывшихся надеждах, возложенных на него: он не сказал, не сделал того, на что был способен и пал в глазах современников из-за отсутствия искренности и естественности: "Век фразеологии для нас проходит; по нашим понятиям, фраза должна прибираться для выражения мысли или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звонкой фразы". Из этого периода *сентиментализма* Белинский сохраняет лишь имя Жуковского, не столько русского поэта, сколько переводчика, открывшего соотечественникам немецкую и английскую литературы нового времени. А Пушкина? Он царствовал в ту воодушевляющую эпоху, когда Россия бурно

переживала кризис европейской культуры, принимала участие в борьбе классицизма с романтизмом. "Пушкин был выражением современного ему мира; но мира русского, но человечества русского". И Белинский, без шуток, добавляет: "Ему недоставало только немецко-художественного воспитания". *De profundis* и Пушкин. Создав свои лучшие произведения, "Евгений Онегин" и "Борис Годунов", он умер для литературы, Ехеunt лирические поэты из его окружения; их слишком легкомысленная муза не смогла привлечь внимания современного читателя, поскольку: "Ныне требуют стихов выстрадаанных, стихов, в коих слышались бы вопли души, исторгаемые неземными муками".

Белинский продолжает этот печальный перечень упоминанием о тридцатом годе, о холерном годе, когда умерли многие журналы. Причина этой внезапной смерти? Отсутствие настоящей литературы: "Они почти все родились без всякой нужды, а так, от безделья или от желанья пошуметь, и потому не имели ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни влияния на общество, и неоплаканные сошли в безвременную могилу". Белинский пользуется случаем, чтобы воздать хвалу своему учителю, главе скептической школы, и предлагает выбор между мировоззрением Карамзина, основанным на уважении к авторитету, и мировоззрением историков Шлецера и Каченовского, основанным на здравом смысле и глубокой учености.

Что остается от этого коренного пересмотра общепринятых идей? *Tabula rasa**. Она дает возможность Белинскому коснуться острой темы, *народности*, под знаком четвертого периода. Министр Уваров ввел этот модный термин в свою триаду, не уточнив: идет ли речь о патриотической преданности монарху? о национальном чувстве, укоренившемся в сознании русских, то есть о термине, эквивалентном германскому *Volkstum*? Православие, самодержавие, народность, отражают ли эти официальные ценности волю царя продолжать европеизацию, Просветительскую революцию, предпринятую Петром? Не является ли наоборот народность тем, что просвещенное общество якобы потеряло, а народ, оставшийся в стороне от петровских реформ, сохранил, пусть даже в весьма примитивных формах? Белинский рассуждает исключительно в литературной плоскости: нужно ли искусственно восстанавливать допетровское русское общество, в духе Вальтера Скотта? Это значит, снова

* Чистая доска (лат.).

впадать в подражательство. Только верное изображение русской жизни в ее целостности сможет передать народность, достойную истинной *национальной* литературы.

При этом Белинский отмечает восход пятого периода, меркантильного, "Смирдинского", ибо главой его является А.Ф. Смирдин, который "одобряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты". Его "Библиотека для чтения" поощряет выдвижение таких стихотворцев, как Кукольник и потакает грубым вкусам необразованной публики; она "виновата не в том, что дорого платит "российским" авторам, а в том, что надеялась, разумеется, для благосостояния собственного кармана, наделать талантов посредством денег".

В заключение Белинский сбрасывает маску: "У нас нет литературы; я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов". Когда же наступит эта эпоха? "Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почве"¹⁰⁵.

Не литература нужна России, а просвещение? А какое? В русском языке современный термин *просвещение* заимствован из древнеславянской, религиозной лексики. Стоит в глаголе просвещать заменить букву "е" буквой "я", чтобы очутиться в совсем другом измерении, переступить границу между мирским и духовным, между телесным светом и духовным. Духовный свет исходит от Бога, освещает, дарует свет, поучает истинам и добру. Отцы церкви были просветителями. В XVIII веке этот термин секуляризируется, применяется к западной цивилизации, к философии *Просвещения* (la philosophie des Lumières), наряду с подобными терминами Aufklärung и Aufklärer в немецком языке. Просвещение становится эквивалентом "образования". Уваров, министр народного просвещения, вовсе не является духовным просветителем. Просвещение? Православная духовность? Les Lumières du XVIII siècle? Французский сенсуализм? Aufklärung или немецкая "новая наука"? Белинский не вдается в эти нюансы, немецких терминов он никогда не использует, и не без причины: он не знает этого языка, но его предпочтение "мудрой Германии" несомненно. "Литературные мечтания" - верный отголосок лекций Надеждина, они пропитаны трансцендентальным идеализмом, шеллингианством.

* Просвещение XVIII века (фр.).

"Весь беспредельный, прекрасный Божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечного Бога), проявляющийся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии". Или: "Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который согревал ее." Или еще: "Поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, доколе он нравствен, доколе он и поэт; но как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование"¹⁰⁶.

Эта абсолютная свобода, предоставленная поэту, которому дано божественное вдохновение, эта невинность, эта безответственность в выявлении истинного хотя и опирается на религию, может вызвать некое опасение со стороны властей. Поэтому, предотвращая все сомнения, Надеждин побуждает Белинского ввести в заключение любимую триаду Уварова "Православие, Самодержавие, Народность". Таким образом, просвещение находится в полном согласии со священной волей монарха. При этом, между министром и профессором отношения прекрасны. Будучи осенью в Москве, Уваров лично приглашает Надеждина. По свидетельству Погодина, он восхищен встречей и проявлением к нему добрых намерений министра.

Несмотря на верноподданнические уверения, "Литературные мечтания" представляют собой не только литературный манифест. Автор не посягнул на авторитет власти, не держал бунтарских речей. Его разбор касается только публицистов или писателей, которых власть не склонна защищать и которые являются в соответствии с нравами печати того времени мишенью перекрестного огня. Написанные во имя истины и искренности, узаконенные культом Искусства и любви к Родине, "мечтания" Белинского, тем не менее, расшатывают власть в особенно шаткой области, в области русской культуры в поисках своей *идентичности* через конфронтацию с Европой. Их публикация привлекает внимание всей московской литературной общественности. Старик Каченовский одобряет, приглашает своего бывшего студента, крепко жмет ему руку и говорит: "Мы так не думали, мы так не писали в наше время".

Тем временем, его покровитель Надеждин принимает рискованное решение, соглашается стать учителем в семье Сухова-Кобылиных и переезжает в их аристократическое поместье. А Белинский, благодаря своей известности, начинает посещать по субботам литературные вечера Николая Селивановского, издателя "Телескопа" и многих других публикаций; у него собирается разночинная московская элита. При этом он готовит детей из состоятельных семей к вступительному экзамену в университет и становится даже на время личным секретарем некоего богатого дилетанта, пишущего под псевдонимом свои рассуждения об обществе и литературе. Поскольку Белинский вскоре убеждается, что разделять их он не может, он предпочитает отказаться от "материальных благ", от хорошего стола, от музыкальных вечеров, от богатой библиотеки и возвращается в убогое жилье, сохранив свободу писать на свой лад статьи, скудно оплачиваемые в "Телескопе". Девизом "Молвы" стала строка Державина: "Стоять и правду говорить"¹⁰⁷.

Вернувшись из Петербурга, Станкевич уехал в родное имение. Как Герцен, годом позже, он расслабляется: "Деревня мне по сердцу, я нежусь в семействе, хочу младенчествовать, забывая все неприятное". Однако он не забывает своих обязательств и требует у Красова три тома Мицкевича и двухтомный словарь, одолженный Белинским. Но его отвлекает чтение других авторов. Он читает Шеллинга и почти извиняется за это перед Неверовым, который по-прежнему воодушевляет его следовать поэтическому призванию и осуждает философские умозрительные построения, напрасные, как поиск философского камня в эпоху Средневековья: "Прочел я "Систему трансцендентального идеализма", понял целое ее строение, тем более, что оно было мне наперед довольно известно, но плохо понимаю "цемент", которым связаны различные части этого здания и теперь разбираю его понемногу. Не смейся! это одушевляет меня к другим трудам, ибо только целое, только имеющее цель может манить меня. Например, если бы я не читал "Практической философии" Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю, как примусь за нее теперь". Во время этого шестимесячного пребывания в деревне он изучает Геродота, Фукидиду, восторгается афинской демократией и готовится к чтению "Римской истории" Мишле. Он заверяет Неверова: "Шеллинга не читаю больше, кончил и отложил надолго. Нельзя же было не прочесть, да, и нужно"¹⁰⁸.

Еще в 1833 году, под влиянием "Натурфилософии" Шеллинга, Станкевич написал "Мою метафизику". В этом наброске нет ничего оригинального: оптимистическое видение мира, природа есть разум, жизнь - разумный процесс, строгая иерархическая лестница ведет от минерала к человеку, задуманному по образу Божиему. Вершина творения, человек, неспособный к дальнейшему совершенствованию, должен только избегать падения. Увы, он пал! Станкевич намеревается писать дальше, но набросок на этом прерывается. Станкевич не поддается "системомании", как Герцен и многие другие. Белинскому, убежденному в том, что открыл идеальную философскую систему, он пишет: "Новая система, вероятно, удовлетворит тебя не более старой, хотя и удалит многие вопросы, не разрушив их, впрочем, вполне. Между бесконечностью и человеком, как он ни умен, всегда остается бездна, и одна вера, одна религия в состоянии перешагнуть ее, одна она в состоянии наполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании. Но та система хороша, которая не мешает верованиям, составляющим интегральную часть человеческого существа, и содржит побуждения к добрым подвигам".

С налетом некоего пессимизма, Станкевич весной 1834 г. пишет повесть "Несколько мгновений из жизни графа Т." Сколько общего в ней с его собственной жизнью! До пятнадцати лет его герой жил в деревне. "Природа была его наставницею; он свыкся с нею, сочувствовал ей, считал ее разумной и любящей". В городе молодой граф убеждается, что мир обманчив. Он жестоко разочарован и испытывает лишь сострадание и презрение к падшим существам. Единственный его друг, Мануил, покидает его, едет служить, а он напрасно ищет создание, которое воплотило бы здесь красоту и любовь. Учение в университете усиливает беспокойство: "Система за системою созидалась и разрушалась в уме его; он уже начинал сомневаться, не слишком ли много надеется на мощь своего ума <...>. Как согласить непреодолимое влечение ума к истине с потребностью любить и верить? Как отвратить от чувства удары ума, как спасти ум от обольщений чувства?" Граф Т. путешествует по Европе, тоже поступает на службу. Его рвение встречает лишь непонимание, зависть и враждебность. Он оставляет службу, отказывается от какой-либо деятельности и отдаляется от мира сего. Земля стала для него пустыней, а небеса по-прежнему недостижимыми. Благодаря искусству, музыке, он стремится лишь сохранить внутреннее чувство, которое не смогло расцвести в окружающей среде. Он снова едет в Вену, в Рим, не в силах излечить душевных

ран. На концерте, слушая "Пастушескую симфонию", он ловит ее взгляд: она сидит задумчиво и одиноко, но он в этом убежден, она читает в душе его. Граф пишет своему другу Мануилу: "Да! я чувствую в себе присутствие Божества. Ни одного сомнения! все ясно! В последние минуты образ ее будет мне ответом на все вопросы души <...>. Пусть же рухнет мой организм, во мне есть другое существо - любовь; оно вечно, оно однородно с творящею природой и ощутит себя в лоне ее!" Граф умирает. Мануил молится одиноко в церкви перед распятием: "Отче! Ужасна безответная пустыня мира! Страшно шумит океан житейский, воздвигая безумные волны на одинокого пловца... И Ты сам был в мире, и на Тебя воздвигалось житейское море! Отче! И Ты скорбел о друзьях! <...> В доме Отца Твоего обители многи суть, прими его в свою тихую обитель"¹⁰⁹.

Но поднимается вопрос об избрании Станкевича почетным смотрителем уездного училища Острогжска. Он расстается со своим "двойником" и делится с Неверовым: "Если у меня теперь есть какая-нибудь idea fixe, то это о воспитании в духе нравственности и религии". "На первый раз, если утвердит меня министр, я намерен вывести наказание, так называемое, палями, т.е. линейкой по рукам, ввести поблагороднее обращение между учителями и учениками, невзирая на звание последних, и, наконец, понаблюдности за учением". Он рассчитывает ввести ланкастерскую систему обучения, сочинить самому очерк всеобщей истории... и тем самым способствовать продвижению человечества к небесному царству, к чести и вере. "Педагогические мечтания" Станкевича сформулированы в духовном плане; будь они изложены на светском языке, просвещение и образование согласуются в общем стремлении к справедливому обществу, к достоинству человека, к вере в прогресс.

Но Станкевич, по правде говоря, очень упоен прелестями деревенской жизни. Он проводит целые дни на охоте, хотя дичь встречается редко из-за засухи, свирепствовавшей тогда. Он беседует с домашними и поддается нежной атмосфере праздности с оттенком меланхолии, которую Пушкин передал в стихотворении: "Зима. Что делать нам в деревне?" Чувство юмора не покидает его. 19 сентября, у острогжских друзей, он участвует в традиционном ночном гадании вместе с сестрами, их подружками и нянями. В то время как бабушка наводит магическое зеркало, он берет лиру, настоящую лиру (!), настраивает как гитару и принимается петь: "неси, уныла лира..." Он останавливается, боясь спугнуть черта.

Приближается Новый год, Станкевич страдает от головных болей и почти не может работать. Приезд братьев, к праздникам, рассеивает его болезненное состояние. "Мы не спали пять ночей, пели, плясали, пили, играли театр и все это в дружеском, многочисленном обществе, где не было ни одного чужого. Этого не бывает в Петербурге, едва ли возможно и в Москве"¹¹⁰.

Однако в январе Станкевич возвращается в Москву. Он одобрительно отзывается о статьях Белинского и докладывает Неверову о реакции Шевырева на публикацию "Литературных мечтаний". Пока его самого не трогают, он хвалит, но когда Белинский позволяет себе написать, что поэтические труды этого корифея нового поколения, "при всех их достоинствах, часто обнаруживают более усилия ума, чем влияние горячего вдохновения", Шевырев взбесился: как смеет он так говорить? Чрезмерная обидчивость или проявление самодурства? "Да разве он власть какая-нибудь, чтоб о нем судить нельзя?" - возмущается Станкевич¹¹¹. Тем не менее, отношения между "старшими" и "младшими" не расстраиваются. Великим проектом поглощен мирок "старших". После закрытия "Московского Телеграфа" в Москве остается только "Телескоп", выходящий, к сожалению, нерегулярно. Тогда как в Петербурге, после появления "Библиотеки", образовался "триумvirат", союз между Булгариным, Гречем и Сенковским; он основывается на общих финансовых интересах: 5 000 подписчиков, приносящий каждый по 50 рублей. Чтобы противостоять этой меркантильной затее, этой продажной журналистике, Москве надлежит выпустить новый журнал. Таково мнение Мельгунова и его друзей, бывшихлюбомудров. Они находят ему название "Московский Наблюдатель". Имея поддержку губернатора Голицына, они собирают средства, намереваются доверить редакцию экономисту Андросову. Разрешение на издание приходит в конце 1834 г. Можно рассчитывать на сотрудничество Шевырева, Киреевского, Хомякова, поэта Языкова и даже Гоголя! Гоголь обещает свою помощь, но с существенными оговорками: "Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать!.. И на первый номер до сих пор нет еще статей. Да вам должно быть стыдно, имея столько голов, обращаться к другим, да и к кому же? ко мне. Но ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, среду, четверг и другие дни. Если вас и дело общее не может подвинуть, всех устремить и связать в одно, то какой в вас прок, что у вас может быть? Признаюсь, я вовсе не верю в существование вашего журнала более одного года"¹¹².

Станкевич, по настоятельной просьбе Шевырева, соглашается вести отдел хроники зарубежной библиографии, но также очень скептически настроен. Он опасается сотрудничества с Киреевским. В своем недолговечном "Европейце" Киреевский сожалел, что критики постоянно ссылаются на иностранные модели, от Лагарпа до Шлегеля, и неспособны судить о "Борисе Годунове" с чисто русской точки зрения. Эта "славянофилия" коробит Станкевича. Кроме того, Киреевский чрезмерно хвалил Баратынского, поэта, которого Белинский вскоре прозовет "светским". Единственная надежда, что Мельгунов возглавит журнал. Хотя Станкевич больше не признает его своим руководителем, он продолжает его любить: "он умен, добр, честен, чувствует, играет на фортепьяно и пишет повес". Он также привязан к Шевыреву, несмотря на то, что бывший любомудр намеревается заключить новый союз с московской аристократией: "Он женится на племяннице князя Дмитрия Владимировича, Зеленской. Говорят, что она не так уж молода, но не дурна, умна и с хорошим приданым"¹¹³.

По каким причинам образуются постепенно расхождения между старшими и младшими? По многим, но еще трудно их определить. Амбиция Шевырева вступить в "высшее общество" вызывает больше смех, чем возмущение. Бывшие любомудры, хотя и общались в 20-е годы с просвещенными аристократами, с Волконскими, с Трубецкими, коренные москвичи. Они продолжают собираться среди "своих": Киреевские. Хомяковы, Свербеевы, Шевырев, Погодин, Баратынский. Кошелев женился, проводит зиму в Москве и присоединяется к ним: "Беседы наши были самые оживленные; тут высказались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствующим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков, ибо и Киреевский и я и многие другие еще принадлежали к последнему"¹¹⁴. Киреевский женился в апреле 1834 на Н.П. Арбеновой и вскоре после свадьбы познакомился со схимником Новоспасского монастыря, отцом Филаретом. Во время предсмертной болезни старца он ходил заботливо за ним, просиживал в его келье целыми ночами. С супругой он читает Шеллинга. Лучшие его мысли ей уже знакомы: отцы церкви их давно уже проповедовали. Он продолжает читать Гегеля и возмущается, когда Шевырев уверяет, что в философии религии Гегеля нет места для Бога.

Хомяков тогда действительно является исключением. Вообще жизнь его своеобразная. Отец его, просвещенный человек, но при этом расточитель и страстный игрок, разорил семью: положение

спасла мать, урожденная Киреевская. После домашнего обучения, он окончил Московский университет со степенью кандидата математических наук. По совету отца, в 1822 г., он поступил в Астраханский кирасирский полк, перешел в Кавалергардский, познакомился с будущими декабристами, с Рылеевым, но не разделял их идею военного переворота; он писал стихи, но "он не увлекался направлением века к поэзии чувственной, у него все нравственно, духовно возвышенно"¹¹⁵. В 1824 г. Хомяков вышел в отставку и провел полтора года в Париже, у брата Федора, служившего при посольстве; он посещал театры, занимался литературой и живописью. Он вернулся в Москву в ту пору, когда выносили приговор декабристам. С Веневитиновым он дружил, хотя никогда не примыкал к любомудрию, сохраняя свое раннее религиозное мирозерцание. Елагин пишет о нем: "... ревностный исполнитель обрядов православной церкви - желание идти наперекор принятых обычаев света (неверие считалось признаком либеральности), чтобы вызвать на спор и в споре потешить свои блестящие диалектические способности"¹¹⁶.

В Москве Хомяков присутствовал на чтении "Бориса Годунова" у Веневитинова. "На другой день", - рассказывает Погодин, - "было назначено чтение "Ермака", только что конченного и привезенного А. Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. "Ермак", разумеется, не мог произвести никакого действия после "Бориса Годунова", и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти не слышали его. Всякий думал свое". Тем не менее, "Ермак" будет ставиться на сцене и пользоваться успехом. В 1832 г. он заканчивает другую трагедию - "Дмитрий Самозванец", но вскоре убеждается, что лишен поэтического призвания.

В Петербурге братья Хомяковы ухаживали за больным Веневитиновым. Когда врач вдруг объявил, что он не проживет до другого дня, предстояло Хомякову приготовить умирающего к сознанию своего положения. "Хотя", - говорит Муханов в своих воспоминаниях, - "он был бледен, как смерть, но одна только тяжелая слеза выкатилась из его глаз, посреди всех присутствующих. Тут только я мог заметить силу этого характера, зная до какой степени нежно он его любил"¹¹⁷.

"У него был перстень, найденный в гробнице в Геркулануме; он носил его на часах и называл своим талисманом; в своих очаро-

вательных стихах, в которых он к нему обращался, он говорил, что он его оденет или на свадьбу или перед смертью. Хомяков, который это знал, одел ему кольцо на палец, когда он был уже в агонии.

В тот момент, когда он пришел в себя, он почувствовал перстень и спросил:

- Разве я женюсь?

- Нет, - отвечал торжественно Хомяков.

Тогда он залился слезами и умер спустя несколько часов¹¹⁸.

Слишком правдиво это мифическое описание смерти любознатолюбивого перстень, наследие древнего мира, талисман - ключ к земному счастью или пропуск в потусторонний мир. Ни слова тут о помазании тела, о соборовании, о присутствии священника. Неужели "ревностный исполнитель обрядов православной церкви" довольствовался этим языческим ритуалом? Неужели не помолился он "посреди всех присутствующих", как друг "графа Т." Станкевича: "В доме Отца Твоего обители многи суть, приими его в свою тихую обитель"? Трудно еще определить духовное развитие будущего славянофила. В 1828 г., когда разгорается война с Турцией, он снова берется за оружие "на защиту Святой Православной Церкви и Отечества". Он отличается в битве под Шумлой, но, преследуя бегущего неприятеля, дважды не решается ударить его. Радостный прием братьев славян в Болгарии его поражает. После смерти брата от тифа в Тифлисе он просится в отпуск, чтоб семью утешить и окончательно покидает военную службу, после заключения мира в 1830 г.

В январе 1835 г., когда выходит "Московский Наблюдатель", Хомяков принимает участие в "журнальной складчине" вместе с Баратынским, Киреевским, Кошелевым, Мельгуновым, Шевыревым, Погодиным. Речи нет о каком-либо славянофильском направлении. "Наблюдатель", журнал энциклопедический, создан для борьбы с "коммерческой журналистикой". Главным поборником считается Шевырев, руководитель литературной части журнала.

К этому времени многие товарищи Станкевича по учебе уже покинули Москву. Почека уехал оканчивать обучение в Харьков. Алексей Беер отказался продолжать университетский курс и пошел служить в уланы. Красов, дрожащий от одной только мысли служить чиновником, нашел себе место учителя в какой-то семье на Украине, но не замедлит вернуться обратно в Москву. Строева ждет блестящее будущее. Как ученик Каченовского, он отличился серией полемических статей, направленных против Погодина и подверг сомнению подлинность "Летописи временных лет". Он

оспорил *официальную народность*, усердными поборниками которой стали Погодин и Шевырев. Это не мешает ему быть назначенным секретарем археологической комиссии в Санкт-Петербурге, совершать поездки в Европу, исследовать архивы во Франции и Германии. Демидовская премия, присуждаемая Академией Наук, вознаградит его труды. Естественно, что оставшиеся в Москве собираются у Станкевича. Он дает уроки истории братьям Белинского, приехавшим в Москву в январе, и погружается в "Историю евреев" Сальвадора. "Никто еще не пробовал взглянуть на нее человечески, но без кощунства, со всем уважением к заслугам евреев для человечества". В умеренных дозах, раз в неделю, он продолжает читать Шеллинга вместе с Ключниковым, которого ценят в кружке за юмор, неиссякаемые каламбуры, импровизации и пародии. Он сопровождает философские чтения комментариями, которые очень смешат Станкевича¹¹⁹.

Драматическую пародию "Олег перед Константинополем" сочиняет Аксаков. Олег мечтает о вечной славе, заслуженной его миротворной политикой, но прорицатель возвещает ему, что потомки забудут его и что какой-то ученый, в пока еще неизвестном городе, поставит даже под сомнение его существование. Видя растерянность князя, он побуждает его совершить подвиг, чтобы оставить свой след в истории: занять Константинополь! После многочисленных перипетий и интермедий, спетых в "народном стиле", Олег под Константинополем является жертвой классической дилеммы: завоевать славу и бессмертие или отдаться любви к дочери византийского императора? Прорицатель советует компромисс. Олег ограничится тем, что повесит свой щит на ворота города. Увы! эпилог переносит нас на тысячу лет вперед, в университетскую аудиторию, где профессор Каченовский отрицает все эти деяния и заключает:

"Помилуйте! какой Олег? Все сказки!
Олег никак не мог существовать.
...Впрочем,
И времена позднейшие сомнению
Подвержены; и весь период этот
В тумане. Да! Ну, да об этом после"¹²⁰ .

В "Молве" Белинский публикует отрывок из этой незаконченной "трагедии", подписанной К. Эврипидиным и сопровождает

комментарием: "Сюжет ее взят из отечественной истории (источником служила "История Государства Российского" Карамзина); характер чисто народный, русский, ибо вследствие глубоких соображений молодого автора, когда пьеса будет даваться на театре (что очень скоро совершится), персонажи будут с бородами, в зипунах и лаптях (источником служил Нестор)". Автор гордо добавляет, что эта трагедия не похожа нисколько ни на одно из творений Шиллера: наш автор хочет быть совершенно оригинальным, ибо пора безусловной подражательности уже миновала для русской литературы. На кого нацелена эта пародия? Только на противников *скептической школы*? Не попадает ли, в заключение, и самому Каченовскому, "вечному отрицателю"? Когда в 1858 г., примкнув, с бородой и зипуном, к лагерю славянофилов, Аксаков опубликует полностью произведения своей молодости, он не откажется от этой пародии, в которой он осмел "стихотворные идеализации истории", нередко встречавшиеся в иных "патриотических драмах"¹²¹.

Ни квасной патриотизм, ни радикальный скептицизм. Младшим еще предстоит выбрать самостоятельно свой путь, тогда как старшие сами еще его ищут.

В марте 1835 г. семья Бакуниных снова гостит у Бееров. "Весело прошли эти дни", - пишет Станкевич Неверову, - бескорыстно любуешься этими девушками, прекрасными созданиями Божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтоб глядеть на них, когда тяжело на душе <...>. Хочешь уважения от них, чтоб они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей" Как приступить к этим чистым девушкам, когда ты посещал проституток? Что общего с "гадкими тварями, которые служили нам средством к удовлетворению, забывая, в минуты греха, что у груди твоей лежит проданное тело!" Станкевич упрекает себя в том, что в этой нездоровой обстановке он не испытал чувства отвращения. Не являются ли пагубным следствием былых шалостей, его теперешние головные боли, эта мнительность, похищающая духовную энергию?

Мало того, отношения неожиданно осложняются. Станкевичу уже давно известно влечение к нему Натальи Беер, чувство, которое он не разделяет. Во время пребывания барышень Бакуниных, Наталья, желая пожертвовать своей любовью к нему, воображает, что он найдет свое счастье с Любой и решает убедить ее полюбить Станкевича! Решила ли она действительно пожертвовать собой? Не стремится ли она покорить его своим жертвоприношением?

Подозревая о заговоре, Станкевич хочет прояснить ситуацию, выспрашивает ее сестру Александру и узнает правду! Наталья оказывается вдруг в невыносимой роли сводницы. Она заболевает: нервные срывы, головная боль, боли в боку. Станкевич удручен. Он во всем виноват, нечего было ему разузнавать! Более того, Бакуниным все известно!¹²² Вмешательство третьей стороны осложнит ситуацию, поскольку вскоре появится Мишель, чтобы "навести порядок" в семье. После барона Ренне, отец Бакунин навязал старшей своей дочери Любе нового жениха, некоего Загратского. Варвара, еще девочкой, дала себе обет, по религиозным причинам, никогда не выходить замуж. Чтоб обратить на себя родительское ожесточение, она решила в этот критический момент принести свою "часть жертвы" и попросила разрешения выйти замуж за некоего Быкова. Брак не состоялся, но Варвара приняла затем предложение соседнего помещика из Тверской губернии, знакомого и славного Николая Дьякова.

Пока развивались эти события, Мишель томился от скуки в гарнизоне. В начале 1835 года он отправлен в Тверь на конезавод. Заехав в Прямухино, он объявляет себя больным, отказывается вернуться в бригаду и уезжает в Москву. Там он застаёт сестер Беер в отчаянном положении: Наталья запуталась в своих чувствах к Станкевичу, а у ее сестры Александры столкновение с матерью, упрекающей ее в слишком нежной привязанности к кузену Федору. В гарнизоне Мишель убедился, что истинное внутреннее счастье зависит не от обстоятельств и первого встречного, оно основано на чистоте и невинности сердца, на беззаветной преданности тем, кого любишь; он готов приложить свои умственные и духовные силы для достижения предоставленной ему этой высшей цели. Мишель знает сестер Беер с детства. Он целую неделю беседует с Натальей. Она растеряна "Это был хаос, пропасть чувств, идей, которые меня совершенно потрясли". Мишель возвращается к родным в Тверь. Наталья пишет сестрам: "Дорогие друзья, ни одна из вас не знает Мишеля <...>. Вы до сих пор упорствуете в своем взгляде на него, как на ребенка". Пророческое мнение? она добавляет: "Это один из тех людей, которых сила характера и пыл души могут многое, и эти свойства тем для него опаснее, что долго были под гнетом"¹²³. Осудив ее проступок, он рекомендует ей приступить к самосозерцанию.

У Бееров Бакунин знакомится со Станкевичем. Устанавливается взаимопонимание, завязывается переписка между этими проти-

воположными натурами: природная сила, наделенная чрезмерной доверчивостью и жизненностью, и душа, стремящая к добру и при этом сокрушающаяся, что болезнь похищает ее духовную энергию. Станкевич излагает свои намерения: "Надеждин, отъезжая за границу, передает свой журнал одному из нас, а мы все беремся помогать ему. Но журнал этот так упал в общем мнении, что трудно посредством его сделать какое-нибудь добро, поэтому наше участие в нем довольно страдательно. Мы намерены сделать его чисто переводным, за исключением библиографии, которая требует у нас прямого человека, с образованием и добрыми намерениями: таков Белинский, которого Вы, кажется, у меня видели"¹²⁴.

Надеждин уезжает за границу, потому что жизнь его расстроилась. Подобно Жюльену Сорелю, заблудившемуся в аристократическом доме, он не имел мудрости Погодина, влюбленного в княжну Трубецкую и ограничившегося мечтами о ней в своем дневнике, он не преуспел, как Шевырев, женившийся на воспитаннице князя Голицына. В Москве не смолкают слухи о недопустимой любовной интриге между бывшим семинаристом и его знатной ученицей, Елизаветой Кобылиной. Надеждин хочет возвысить себя в глазах семьи и помышляет о более блестящей карьере, в Министерстве иностранных дел. В марте 1835 года он едет подавать в отставку к Уварову в Петербург и ищет покровителей. Елизавета советует ему прочитать "Коварство и любовь" Шиллера. "Мы в том положении, как Фердинанд и Луиза, - отвечает Надеждин. - Но, милая моя, роли должны быть переставлены... Ведь Луиза - это я!" В этом варианте драмы Шиллера существует свой "Вурм": эту печальную роль занимает Морошкин, профессор права, сотрудник Надеждина по "Телескопу", он тоже влюблен в Елизавету и при этом он доверенное лицо ее матери! На предложение Надеждина именно его рукой написан ответ: категорический отказ¹²⁵.

Надеждину остается одно: покинуть Москву. Прекратить ли издание "Телескопа"? Друзья - Киреевский, Погодин советуют ему доверить на время редакцию одному из них. В конце концов оказывается, что никто не хочет браться за дело. В 1831 г. у многообещающего журнала было 800 подписчиков, но положение значительно ухудшилось; он не способен конкурировать с "Библиотекой". Более того, "старшие" прекратили сотрудничество, когда решили выпускать свой собственный журнал, "Московский Наблюдатель". Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства,

обезглавленный "Телескоп" не тонет. Капитан бесславно покинул свой корабль, бросив свой экипаж. Он превращается в пиратское судно: никакого заговора, никакого взятия на абордаж, все происходит мирно и естественно: в оглавлении (на мачте) появляются имена тех, кто теперь управляет журналом. Это члены кружка Станкевича! Сам он публикует в нем свою повесть "Несколько мгновений из жизни графа Т.", стихотворения, перевод статьи Вильма "Опыт о философии Гегеля". Бакунин переводит для журнала "Лекции о назначении ученых" Фихте. В "экипаж" Белинский включает сына богатого чаеоторговца, с которым он познакомился на вечерах у Селивановского, Василия Боткина со своими впечатлениями "Русского в Париже". А сам Белинский завладевает огнестрельным орудием и превращает доверенный ему библиографический отдел "Литературная хроника" в грозную литературную критику.

Раскол между "старшими" и "младшими" намечается в эту весну 1835 г. Первый номер "Московского Наблюдателя" разочаровывает друзей Станкевича. Новому "Телескопу" предстоит быть "полезным журналом, хотя для иногородних". Станкевич подтверждает свое сотрудничество: "По крайней мере, будет отпор "Библиотеке" и странным критикам Шевырева! Как он мелочен стал!" Однако он не намерен журналистику признать главным своим занятием: "Разумеется, что не стану тратить времени на "Телескоп", но каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые могу заняться для него; кроме того, мы всегда будем обществом совещаться о журнале"¹²⁶.

В ту же весну Герцену, Огареву и их друзьям, арестованным в июле прошлого года, наконец, становится известно, к чему они приговорены. Герцен убежден, что полиция следила за ними уже давно, и что дело "о лицах, певших пасквильные стихи", в котором никто из них не был замешан, послужило только предлогом для их ареста. Следственная комиссия под председательством генерал-губернатора князя Голицына выносит приговор в присутствии всех обвиняемых. Виновные в оскорблении Его Величества: поэт Соколовский, предполагаемый автор кощунственной песни, и ее исполнители приговорены к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. За неимением улик, Герцен и его друзья, подозреваемые, тем не менее, в принадлежности к тайной организации в духе сен-симонизма, приговорены к ссылке в удаленные города для исполнения административных функций. Ввиду их молодости,

царь проявляет снисходительность. Огарев отправлен в Пензу, недалеко от имения его родителей, Сатин в Симбирск, а Герцен в Пермь, преддверие Сибири. Вскоре его переведут в Вятку, вдали от Ивана Оболенского, сосланного тоже в Пермь. Вятка ближе к Москве, чем Пермь! С начала своего заключения Герцен переписывается со своей кузиной Натальей Захарьиной, она младше его на пять лет. Взаимная привязанность перерастает в любовь. Переплетаются откровенности, признания, впечатления о прочитанном, живописные описания провинциального быта в письмах ссыльного, не потерявшего надежду вновь обрести свое место в обществе, от которого он отлучен по абсурдным и мелочным причинам. Он покинул Москву в коляске, в сопровождении жандарма, и убедил его остановиться в трактире, расположенном в семи верстах от Москвы, там ему назначил прощальное свидание близкий друг. После напрасного ожидания Герцен уезжает с тяжелым сердцем. Бурное прощание с Костенецким два года тому назад послужило, должно быть, уроком. В переписке между Белинским, Станкевичем и их окружением, нигде не упоминаются имена Герцена и его друзей.

Приближается лето. Станкевич уезжает из Москвы, несмотря на запрет своего нового врача, Дядьковского, которого ему рекомендовал Ключников. Врач обнаружил у Станкевича отверждение брюшной полости (?), простуду и указал, что его головные боли вызваны нервным расстройством. По дороге в Удеревку Станкевич проезжает через Мценск и навещает Бееров в их имении, в Шашкино. Девушки поглощены обычными для деревни занятиями: варят варенье, принимают гостей, читают романы, переписываются с друзьями.

Только Белинский остался в Москве, чтобы руководить "Телескопом" и "Молвой". Он сразу сталкивается с трудностями. Разрешение на публикацию, данное "временной редакции" Главным управлением цензуры в Санкт-Петербурге приходит только в конце июля. "Душевно жалею, что тебе позволили издавать "Телескоп"; одна "Молва" завалит тебя делом", - пишет ему Станкевич. В июльском номере "Библиотеки" появляется "Плюшка", повесть Василия Ушакова. Это сатирический портрет Белинского, несостоявшегося студента, рассуждающего о Фихте и Гегеле и называющего невежами тех, кто не понимает тождества реального мира идеальному. Воейков, редактор "Инвалида", преждевременно объявляет о кончине "Телескопа" на руках у его опекуна Белинского. Но журнал Надеждина не погиб! Полновластный капитан Белинский

бьет залповым огнем университетских и литературных знаменитостей. 26 июня утвержден новый устав университета. Кому доверить кафедру русской истории? Главе скептической школы или защитнику подлинности "Повести временных лет"? Министр Уваров доверяет ее последнему. Возможно, по этой причине, в 36 номере "Молвы" Белинский нацеливается на "Начертание русской истории для училищ" Погодина: "Эта книга решительно недостойна имени своего автора, от которого публика всегда была вправе ожидать чего-нибудь дельного и даже прекрасного". Он обещает "целую критику" этой сделанной на скорую руку работы, обещание, которое никогда не было выполнено, и заключает: "Мы вполне уверены, что г. Погодин увидит в этом подробном отчете об его книге, как и в нашем отзыве, то же беспристрастие, ту же благонамеренность, ту же любовь к истине и желание общего добра, которые руководили им в его отзывах, например, об исторических трудах г-на Полевого и прочих"¹²⁸. Все удары тщательно рассчитаны. Ссылаясь на Строева и скептическую школу, смертельного врага Погодина, Белинский обвиняет последнего в небрежности, напоминает о том, как он набрасывался на своих собратьев, в частности на Полевого, которым Белинский продолжает восхищаться, несмотря на оговорки Станкевича.

Очередь Шевырева наступает в седьмом номере "Телескопа". Шевырев долго лелеял проект просодической реформы. В 1827 году он отправил Погодину из Италии свой набросок "О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение" с переводом седьмой песни "Освобожденного Иерусалима" Тассо. Погодин не решился представить этот набросок в университете: враги не дремали! Он был опубликован только в 1831 году в "Телескопе". Предусмотрительный и себе на уме, Шевырев сочинил по этому случаю эпиграмму на себя, "Октава", которую намеревался поместить в "Московском Телеграфе":

Рифмом, стихом Российским недовольный,
Затеял в нем лихой переворот,
Стал стих ломать он в дерзости крамольной,
Всем рифмам дал бесчиннейший развод,
Ямб и хорей пустил бродить по вольной
И всех грехов, какой же вышел лад?
Дождь с воплем, ветром, громом согласился
И стройный мир гармонии огушился¹²⁹.

Несмотря на всю эту постановку, проект просодической реформы Шевырева не имеет никакого отклика. В 1835 году, располагая, наконец, журналом, он возобновляет попытку и публикует свой перевод седьмой песни "Освобожденного Иерусалима" в надежде, что итальянская октава совершит наконец долгожданную революцию в русской поэзии. Белинский неистовствует: "Между тем как англичане с таким участием и уважением говорят о нашей новой обсерватории, между тем как Купер пишет сатиры на политические теории, а г-жа Лебрен портреты знаменитых людей XVIII века, и мы, москвичи, не остаемся без дела. В первой июльской книжке "Московского Наблюдателя" громко возведена реформа... в русской просодии <...> в наш век какие интересы могут быть выше? Смотрите! может быть, явится эпическая поэма! Эмансипация женским стихам!"¹³⁰ Станкевич одобряет: "Осмелились пошутить над Шевыревым, который с важностью говорит о реформе в русской просодии и хочет ввести итальянскую! Не говоря уже о нелепости этой мысли, подумай, как не стыдно в наш век, богатый человеческими интересами, думать о переменах в просодии?"¹³¹

Разногласие между старшими и младшими превращается в открытый конфликт между "светскими", "желтыми перчатками", и молодыми "радикалами". Впоследствии объяснение свое даст Погодин: "Политическое направление, которое тогда начало обнаруживаться в московских кружках, сделалось главною причиною перемены в расположении молодежи к Шевыреву. Он думал только о науке и искусстве, а для передовой молодежи важнее всего была политика, и так произошло разделение лагерей. И мы занимались политическими вопросами, но совершенно в другом роде. Взаимного объяснения не было и не могло быть: мы составляли старший профессорский кружок, а те младший студенческий. Мы обращались преимущественно к прошедшему, а противники наши к будущему"¹³².

Сводя вопрос к противостоянию старших и младших и придавая ему политический характер, Погодин в своих воспоминаниях отстает от действительности, вернее, он опережает ее. В этом разногласии по поводу восприятия прекрасного и искусства отсутствует пока всякая политическая ориентация. Во имя искренности вдохновения младшие выступают против отклонения старших к светскому вкусу, к ложной риторике. Белинский уже уколол "светскую, паркетную" музу Баратынского, видя "езде

ум, везде литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку и больше ничего." И он провозглашает: "В наше время, холодное, прозаическое время, надо в поэзии огня да огня; иначе нас трудно разогреть <...>. Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени"¹³³.

В Москве и в Петербурге молодежь увлекается Владимиром Бенедиктовым. Является ли он сыном своего времени? Афанасий Фет, бывший тогда московским студентом, вспоминает: "Как описать восторг мой, когда после лекции, на которой И.И. Давыдов с похвалой отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой. Что стоит Бенедиктов? - спросил я приказчика Пять рублей, да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет. Я заплатил деньги и бросился с книжкой домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении"¹³⁴. В августе Шевырев публикует в "Московском Наблюдателе" большую статью, посвященную Бенедиктову, "первому русскому поэту-мыслителю". Пора отозваться Белинскому: "Где-то было сказано, что в стихотворениях г. Бенедиктова владычествует мысль: мы этого не видим". Намекая на Шевырева, он добавляет: "Простота языка не может служить исключительным и необманчивым признаком поэзии, но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии". Белинский тщательно выписывает десятки причудливых выражений, обнаруживающих отсутствие у Бенедиктова вдохновения и заключает: "У него нельзя отнять таланта стихотворческого, но он не поэт". Он предлагает читателям найти пять подобных выражений во всем творчестве Пушкина. Именно на Пушкина, несмотря на его так называемый "закат", продолжают непосредственно ссылаться те, кто отказывается признать поэтами новых звезд Петербурга. Этому же мнения придерживается Станкевич, расходясь с Неверовым, обвиняющим Белинского в пристрастности: "Чувство выражается просто. Ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он поэт"¹³⁵. Фальшивый блеск, набор фраз, написанных на тему, заданную умом, все эти недостатки характерны для самого Шевырева, как автора и критика, хотя имя его не упоминается. Его еще обходят. Ведь в статье "О критике вообще и у нас в России" не сочувственно ли отозвался он о "Литературных Мечтаниях"? "Мы недавно читали в одном московском журнале статью, одушевленную огнем и свежою мыслию, которую приятно было встретить, особенно после долгой отвычки от мыслящего чтения в журналах"¹³⁶.

Булгарин в "Северной Пчеле" высмеял "ученого" анонимного критика, разрушающего русскую литературу и критику. Белинский ему гордо отвечает: "В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это всеобщее правило посредственности <...>. Посредственность видит мятежников во всяком, кто выше ее <...>. Как! кто говорит, что у нас нет литературы, тот ренегат? Кто находит в своем отечестве не одно хорошее, тот тоже ренегат?" Белинский настаивает на слове ренегат: "Китайцы, персияне и другие восточные варвары, которые презирают всех иностранцев и не видят никого выше и образованнее себя, только они одни не ренегаты?" Удар попадает в цель, ведь всем известно прошлое Булгарина, либерала, поляка, оппортуниста, пособника самодержавия!¹³⁷

Свое мнение по поводу литературы Белинский излагает в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя", в "Телескопе", в сентябре 1835 года. Ссылка на Гоголя естественна в кружке, где не выносят два главных порока: лжи и претенциозности. Константин Аксаков рассказывает, как однажды Станкевич раздобыл рукописную копию "Коляски" Гоголя, появившейся чуть позже в "Современнике": "У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: "Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк..." и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя!"¹³⁸

Гоголю охотно приписывают беззаботное веселье. Белинский предпочитает говорить о комическом одушевлении, вечно побеждаемом чувством глубокой грусти. Станкевич разделяет это мнение, он восхищается в "Старосветских помещиках" тем, как схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой жизни. В мае 1835 года Гоголь проездом останавливается в Москве. Он приходит в театр, в ложу Аксаковых. Отец Константина описывает это событие: "Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: "Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь". Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость... Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились в нашу ложу, и слова "Гоголь, Гоголь"

разнеслись по креслам!"¹³⁹ Отныне они видят именно глазами Гоголя русскую действительность, в частности провинциальную жизнь; верно также и обратное: дано смехом освободиться от грусти, вызываемой действительностью. Станкевич дает пример. Как воспринять должность "почетного зрителя"? "Я желал бы привести Гоголя в наш Острогжск и показать ему наше училище". А вечер, проведенный у соседей? "Но я хотел бы быть Гоголем вчера: он схватил бы всю фламандскую прелесть бала"¹⁴⁰.

В своей статье Белинский определяет черты истинной современной поэзии: она воспроизводит жизнь, как в выпуклом стекле, выбирая те аспекты, которые позволяют дать живое представление о ней. Только искренность, безжалостность скальпеля позволяют выявить из нее и безобразие, и красоту. Этот подход не исключает "идеальной поэзии" при условии, что она отвечает тем же требованиям искренности. Все еще с позиции шеллингианства, Белинский характеризует акт творчества: "Поэт есть раб своего предмета, ибо не властен ни в его выборе, ни в его развитии, ибо не может творить ни по приказу, ни по собственной воле, если не чувствует вдохновения, которое решительно не зависит от него: следовательно, творчество свободно и независимо от лица творящего, которое здесь является столько же страдательным, сколько и действующим". Приводя в качестве примера Гете, Байрона, Шиллера, Пушкина, Мицкевича, Белинский отмечает при современных условиях преобладание повести и романа: это единственный литературный жанр, появление которого в России не вызвано подражанием. Из новых русских прозаиков Белинский выделяет имена Любомудра Одоевского, Полевого и Погодина, но, прежде всего, возвышает Гоголя, поэта жизни. Определяя ее в литературном плане как "верное изображение нравов и традиций народа", он противопоставляет народность заимствованию, литературному подражанию нравам другого народа. Таким образом, Гоголь занимает место, оставленное Пушкиным; в своей статье Белинский даже не упоминает имени Пушкина, автора "Повестей Белкина" и "Пиковой дамы". Правда то, что "Библиотека" опубликовала последнюю повесть и чрезмерно хвалила. Белинский ограничивается констатацией: "Я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил крут своей художественной деятельности". Гоголь положительно отзываясь о суждении Белинского по поводу его творчества, но добавляет полуробко, полунасмешливо: "Только не понимаю, чем он после этого восхищается в повестях Полевого"¹⁴¹.

Тем временем, Бакунин уединился в Прямухино и отказывается ехать обратно в бригаду. Это грозит военным судом, но, благодаря могущественным семейным связям, отцу удастся добиться отставки для сына. Он тотчас пристраивает его на гражданскую службу, записывая его в штат графа Толстого, тверского губернатора. Поскольку это необходимо для "спокойствия" отца, Мишель соглашается, в свою очередь, "жертвовать собой для семьи".

Станкевич узнает обо всем этом, поздравляет его и делится с ним: "Я хотел бы вступить за одностороннюю умственную деятельность. Есть обстоятельства, в которых она должна заменить, на несколько времени, гражданскую. К несчастью, теперь утвердилось оскорбительное для человека мнение, что государство должно быть машиною. Но машина портится от работы и времени; машину ломают, чтобы поправить. Не беда полежать дереву, пока люди трудятся под него, но каково членам государственной машины во время починки? Мы видели этому примеры на Западе, который страдает в пример прочим. Состояние машины не есть образцовое состояние общества: оно должно быть органическим телом, развиваться, не разрушаясь, от полноты сил и внутренней необходимости. Зачем же не пойти прямо к этому идеалу общества? Зачем не содействовать пробуждению этой внутренней необходимости, этих сил органических?"

Можно ли придать политический, "подрывной" смысл этим словам? Едва ли. Желание отстать от государственной машины восходит еще к философии Просвещения, к намерению обучать, а не разрушать: "Почему ж бы не позаботиться о том, чтоб народ сам стал думать, сам искать средств к своему благосостоянию? Во всех европейских журналах пишут о средствах восстановить нравственность в простом (у нас не в одном бы простом это нужно было) народе, механически, посредством разделения работ, а не подумают поднять образованием. Несколько святых мыслей бродит еще в Европе о воспитании народа наукою, искусством, религиею, мысли эти пока не выходят из романов, тысяча голосов против них: это мечты, этого никогда не было! Но, во-первых, похожее на это было, а, во-вторых, есть ли два совершенно сходных факта в истории? Я очень мало изучал ее, а успел овладеть одним результатом, который меня очень радует: в каждом веке бывает то, чего никогда не бывало и я уверен, что будет то, о чем никто и не думал".

Ответ не заставил себя ждать. Мишель настоятельно приглашает Станкевича в Прямухино. Он извещает Неверова: "Не

принимай вида Минервы, не улыбайся, как Мефистофель мы едем просто: Ефремов как короткий знакомый и друг дома, а я как человек, желающий ближе познакомиться с этим почтенным семейством". Мишелю он заявляет: "Вы мне делаете слишком большую честь, говоря, что я совершенно исторг себя из жизни материальной <...>. Правда, разные обстоятельства, расстроенное здоровье и какая-то своя, особенная цель, которая темна для меня самого, удалили меня несколько от того, что называется светом, но я тем более нуждаюсь в обществе людей, близких мне по отношениям и по идеям".

Проведя неделю в Прямухино, Станкевич пишет Беерам 26 октября: "За это время я очень подружился с Мишелем и решил делить с ним мои занятия, потому что мы выбрали с ним одну дорогу". Путь этот - изучение философии. Он сообщает об этом Неверову: "Ты давно уже подшучивал над моим стремлением к философии, но это стремление спасло во мне многое. Оно занимало меня более, нежели что-нибудь другое, и всякое занятие казалось мне одно-сторонним, если оно не имело философского значения". И он уточняет: "Она, может быть, ступень, через которую я перейду к другим занятиям, но, прежде всего, я должен удовлетворить этой потребности. И не столько манит меня решение вопросов, которые более или менее решает вера, сколько самый метод как выражение последних успехов ума. Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь, хотел бы убедить потом других и пробудить в них высшие интересы". Для Станкевича не может быть и речи о том, чтобы удовольствоваться, подобно Герцену, научно-популярными работами. Он будет изучать немецкую философию, и не эпигонов, а главу критицизма самого Канта. Вернувшись в Москву, он посылает Мишелю свой экземпляр "Критики чистого разума" и заказывает Неверову два экземпляра, себе и Клюшникову. Он больше не хочет видеть кого-либо, кроме Клюшникова и Белинского. Опасаясь, что Мишель будет обескуражен трудностью текста, он советует ему продвигаться медленно: "Ты говоришь мне, что мало знаком с языком философии и с отвлеченностями вообще. В таком случае Канта надобно изучать медленно и основательно. Подвигайся потихоньку вперед, не оставляя ничего непонятым". Он воображает, как Мишель с красным лицом сидит в своей комнате, курит трубку и размышляет о Канте: "Всякая другая жизнь измучила бы тебя! Не отказывайся от людей, но ограничь свое знакомство; отдыхай почаще в семействе, делись с ним душою и не изнуряй себя лишними трудами"¹⁴².

Окружением Станкевича завладела философская лихорадка. Заболел даже добряк Ефремов. Он сообщает Мишелю, что читает "Логику" Бахмана, чтобы "отдохнуть" от изучения Канта: "Как идут твои дела с Кантом? Кто кого одолел? Станкевич напугал меня, он говорит, что не понимает Канта <...>. Страшно! Но что делать; я боюсь трудности до ее наступления". Действительно, что делать остальным, когда лучшему из них не удастся одолеть Канта? Станкевич пишет о своих трудностях Мишелю: "Сначала все шло так ясно, просто, - нет, нейдет! Бросишь, идешь гулять, голове тяжело, мучит отчаяние и оскорбленное самолюбие, видишь, что все твои мечты, все жаркие обеты должны погибнуть". Он ищет какого-нибудь профессора семинарии, который объяснил бы ему основы элементарной психологии, давно знакомые всякому порядочному семинаристу, тогда как они, воспламененные идеями, спотыкаются на каждом шагу, оттого, что не мучились в школах.

Граф С.Г. Строганов стал попечителем Московского учебного округа, и Погодину наконец выдается долгожданное разрешение! Летом 1835 года, он выезжает из Петербурга пароходом и прибывает в Германию. В Берлине он принят у Риттера, основателя "Исторической географии", присутствует на лекциях Савиньи, Ранке. Побывав в Лейпциге, в Дрездене, он, наконец, доезжает до Праги! В тот же день, вечером, он у Шафарика. Погодин описывает его скромное жилье и восклицает: "Здесь-то живет и с такими-то малыми средствами действует великий муж, один из первых представителей миллионного народа, пекующийся о судьбе его на будущие времена, без его ведома, не только без благодарности, без славы, признаваемый вполне может быть десятью, двадцатью человеками во всей Европе, работающий до упаду с утра до вечера над сими тяжелыми, изнурительными сочинениями, коих никто почти не понимает, не читает, не знает. О, как ничтожными мне показались разные европейские либеральные восклицания, как мелкими показались мне всякие нелепые проекты и мечтания. И неужели в Славянских землях, неужели на Святой Руси не найдется таких богачей, которые бы уделили хоть по крохотной частице от своих сокровищ для содействия ученым трудам Шафарика, не для его пользы, но для пользы всех Славянских племен, присно и во веки веков?"

Погодин знакомится с Юнгманом, Палацким, Челаковским и любит ими: "Честь вам и слава, знаменитые подвижники, украшение человечества! труды ваши не пропадут!" "Сохранить язык в устах народа - вот наше предназначение, и больше ничего.

Ни о чем другом мы не должны заботиться. Это не наше дело. Да будет, что угодно Богу", - утверждает Шафарик. "Ни одного имени, ни одного лица не упомянул Шафарик; только племена, народы занимали его, - отмечает Погодин. Он не удостаивал почти вниманием ежедневных происшествий и говорил о вековечных последствиях. Что за величественное спокойствие <...>. Казалось, что я слышу голос с того света, что предо мною стоит муж времен апостолов". Шафарик оканчивает тогда свои "Славянские Древности". С ним Погодин посещает Вышеград, место жительства первых чешских государей. В Королевском Замке внимание его привлекают не роскошные залы времен Габсбургов, а Собор святого Вита, где хранятся черепа святых Людмилы и Войтеха, и рука святого Кирилла, скончавшегося в Риме, которую папа подарил императору Карлу IV в 1340-х годах. "Мы все, Шафарик, Коллар. Ганке, я <...> приложились к священным останкам".

Будущий филолог Федор Буслаев описывает возвращение Погодина в университет: "Это было в светлый осенний день в аудитории, <...> является Погодин на кафедру, и вместо исторической лекции, начинает нам рассказывать о Шафарике, Палацком, Ганке, Вуке Караджиче и других ученых Славянских, с которыми он познакомился в свою поездку за границу, откуда только что воротился. Тридцатые годы было время самое бойкое для возрождения Славянской народности в науке, литературе и политике. Это великое дело только-то тогда начиналось: и вот мы студенты в первый раз в жизни услышали имена знаменитых Славянских деятелей от Погодина. и тогда же мы узнали, что Шафарик готовит к печати свои "Славянские Древности", в которых он докажет всему миру, что не Немцы, а Славяне были старожилками и хозяевами всех тех областей, где потом очутились наследниками и господами Немцы. От него же мы узнали, что Палацкий работает над Историей Чешского народа, и что искалеченный Вук Караджич, подпираясь своими костылями, пешком исходил всю Сербскую землю и собрал сокровища Сербской народной поэзии".

От имени Строганова, Погодин предлагает Шафарика кафедру в Москве. "Пусть пощадят меня и не осыпают почестями, титулами, орденами и дипломами", - отвечает филолог; - "представляю эти смешные детские забавы другу моему Ганке, благо сердце его жаждет всего этого, для меня же гораздо ценнее будет присылка Русских книг, которые я не в состоянии купить, но которые однако необходимы для моих занятий и работ"¹⁴³ .

Станкевич, в поисках ответов, "давно знакомых всякому порядочному семинаристу", идет советоваться с Погодиным: каково состояние наук в Германии? Погодин сообщает о запрещенной книге "Die Seherinn von Prevorst", произведении Ю. Кернера, врача и поэта. Он посвятил книгу видениям одной ясновидящей, раскрывающей потусторонние секреты. Шеллинг, Эшенмайер и другие философы будто бы подтвердили подлинность наблюдений, собранных в этом труде. Станкевич относится очень недоверчиво ко всем этим католикам и говорит, что хотел бы убедиться во всем этом сам: "Я никому не верю, а напрасно обвинять Шеллинга в легковерии или иезуитстве, он был велик и едва ли может упасть так глубоко; его католицизм основан на какой-нибудь мистической идее, едва ли на расчетах". Погодин не способен вразумительно все объяснить: Эшенмайер изменил будто бы что-то в его системе, а Иннокентий, киевский архиепископ, считает это откровением века. В Берлине он прослушал курс лекций Стеффенса о религиозных таинствах, но не может сказать, является ли он шеллингианцем. Он советует Станкевичу поехать слушать Шеллинга и Баадера в Мюнхен; их католицизм искренен. Он уверяет, что протестанты обращаются в католицизм в массовом порядке. Он сам был с визитом у Шеллинга, объявив ему: "Русский пилигрим, я пришел к Вам на поклонение". Тот спросил его о преподавании философии в России; Погодин заговорил тотчас о духовных академиях и сказал Шеллингу, что там процветает философия, и что большая часть его сочинений переведена в рукописях. А как продвигается просвещение в России? Погодин гордо отвечал, что в этом году на 6 000 учеников и 90 учебных заведений больше, чем в прошлом.

"Я плохо верю Погодину", - заключает после совещания Станкевич, - во-первых, потому, что он не в состоянии возвыситься ни до одной чистой, мировой идеи, а во-вторых, потому, что у него на все одна причина: Богу так угодно!" Он возвращается к чтению Канта вместе с Ключниковым, который продолжает язвить: "С адскою усмешкою смотрит он на мою попытку отыскать счастье в идее всеобщей жизни и говорит: "... жаль Николашу!" Надобно знать его, чтобы понять всю прелесть этого сожаления. Не совсем потеряв веру в достоинство немецкой философии, он, однако же, иногда сомневается и говорит, что немец до тех пор хитрит и думает над своим предметом, пока сам забудет, о чем он думал.

*"Ясновидящая из Преворста" (нем.).

На эту идею навело его психологическое явление с ним самим: он положил в рот бумажку, жевал, жевал ее часа два, вынул и не помнит, что такое было у него во рту?"¹⁴⁴

Доктор Дядьковский запрещает Станкевичу работать по вечерам и советует ему гулять днем. Такой режим отнимает у него несколько рабочих часов: "Иногда выйдешь, голове тяжело, не успел сделать чего хотел, ночь спал дурно, сны видел неприятные, и вот ропот на жизнь, на судьбу, на баб и извозчиков, которые попадаются навстречу, на весь крещеный мир, который катается, пользуясь теплою погодою. В голове - Кант; начинаешь передумывать, решать какой-нибудь вопрос из него - вдруг вспомнишь, что надобно дать отдохнуть голове. На чем же успокоить мысль? Смотришь на широкую Москву с Дмитровского бульвара, на тучи, на церкви, на галок, не надеешься ни вылечиться, ни выучиться, ни жить..." Что же извлек Станкевич из этого мучительного испытания, из этого приобщения к критицизму Канта?

"Уничтожив догматические попытки метафизики, он указал ей новую дорогу. Он вывел, что чистые, преждеопытные понятия нашего ума суть только формы, которые должны быть наполнены опытностью и вне ее теряют свое значение. Следовательно, эти чистые понятия не могут служить органом для решения вопросов о Боге, свободе, бессмертии, предлагаемых обыкновенно в метафизике. Эти три предмета постигаются практическим умом, им веруют. Итак, Кант с одной стороны навсегда оградил религию от ударов свободного мышления, с другой указал новую дорогу философам: отыскать начало и возможность знания, как прежде отыскивали начало и возможность мира. Шеллинг взялся за решение этого вопроса. С строгою последовательностью отыскал он, что основное начало нашего знания есть самосознание. Оно выше всего, ему нет причины, оно не доказывается, а чувствуется и служит опорой всякому другому знанию. Из этого начала (я = я) он должен был построить все человеческое разумение по закону необходимости и нашел, что между чистым, отрешенным самосознанием лежит целая природа как необходимое звено, как условие, под которым простое самосознание может развиваться в полное разумение. Он исследовал одно только знание, но как будто мимоходом решил происхождение природы. До Канта философия была только поэзия или пустая диалектика; с Канта она стала наукою, ибо исследованием умственных способностей положил он ей прочное основание".

И Станкевич добавляет: "Гегеля я еще не знаю"¹⁴⁵.

Со своей стороны, Бакунин спешит подобрать идеи, которые подтвердили бы его собственные убеждения и не принимает во внимание основ новой философии: "Шеллинг основывался не на врожденных идеях, - объясняет ему Станкевич, - а на чистом самосознании, я-я, которое отыскал сам Кант. Новая философия не в противоречии с ним. Он ее основатель". Он настаивает на разнице между чистыми формами и врожденными идеями, которым Мишель придает слишком большое значение: "А врожденного чувства у нас нет никакого! Когда мысль и воля приходят в человеке в равновесие, тогда он чувствует человечески! Отсюда и чувство своего достоинства, и чувство прекрасного <...>. Ты все толкуешь о врожденном чувстве; но оно есть не особенная способность духа; оно есть гармоничное состояние всех сил его. Ты спрашиваешь, есть ли разум следствие организации? Разумеется. Вся природа есть организация, постепенно совершенствующаяся, идущая к разуму и в человеке достигшая полного развития. Тут нет ничего обидного для разума и ничего антирелигиозного"¹⁴⁶.

Станкевич в этом убежден: перенести идеал в жизнь, произвести его на свет - духовная задача, подвиг, куда важнее, чем бесплодные полемики с педантами или мошенниками, которые ведет Белинский. Он хочет только мыслить, однако *чувство*, врожденное ли оно или нет, продолжает мучить его сознание. Тщетно пытается он избавиться от "глухих, ничтожных надежд", отказаться от человеческого счастья: "Всякий пустяк смутит, напомнит, собьет с толку и на серых страницах Критики чистого разума нарисует такие очаровательные картины!". По какой же причине? Он поехал в Прямухино с надеждами, которые поощрялись в его окружении. Он вернулся оттуда грустным и подавленным. Люба проявила по отношению к нему лишь холодность и равнодушие. Но что сделал он сам, чтобы завоевать ее расположение? "Целые дни просиживали мы с ним наверху, с трубками в зубах и горячими планами на будущее", - рассказывает он Беерам. <...> Между тем Ефремов своею любезностью увеселял дамское общество, среди которого мы являлись иногда тоже для хора или для какой-нибудь игры"¹⁴⁷.

Надлежит ли отказаться от любви, чтобы следовать своему призванию? Станкевич отвергает физическую близость с женщинами: "Я полтора года не имел их, - признается он Мишелю, - а теперь мне кажется, что я не должен иметь их" ... Ему остается лишь одно - удвоить свое рвение, чтобы усвоить Канта. 4 ноября он советует Мишелю изучить прежде всего введение, затем "Транс-

ценденальную эстетику". Это самая легкая часть. Сам он уже начал "Трансцендентальную логику", "Аналитику понятий". 15 ноября он остановился на "Трансцендентальной дедукции категорий". С этого момента продвижение вперед замедляется. 24 ноября он отмечает, что вместе с Ключниковым они принялись за "Аналитику основоположений", не закончив "Дедукцию категорий". Они намерены продолжать. 30 ноября, добравшись до "Чистых основоположений (Reine Grundsätze)", Станкевич решает прерваться: "Я намерен не продолжать несколько времени, а подумать самому на свободе о категориях и потом спросить какого-нибудь знающего человека".

На самом деле, он должен готовиться к магистерскому экзамену, взяться снова за латынь, за историю. Тем не менее, он находит время, чтобы перевести статью Ж. Вильма, опубликованную в "Revue germanique" и посвященную философии Гегеля, и ближе познакомиться с ней: "С радостью увидел у Гегеля несколько любимых мыслей. Это была не радость самолюбия, нет, я радовался, что человек с крепким умом, прошедший все мытарства мысли, не чужд этих верований"¹⁴⁸. Гегель обнадеживает? Безусловно, в соответствии с положениями, выделенными Ж. Вильмом:

- философия Гегеля претендует на то, чтобы примирить мысль с позитивной религией, государством, всеми существующими религиозными и политическими институтами;

- религия может обойтись без философии; философия не может обойтись без религии, она непременно содержит религию;

- все философские системы содержат долю истины. Наиболее удовлетворительной станет та, которая найдет способ примирить их между собой;

- философия является религией, постигнутой разумом, верой, перешедшей в разум.

На Рождество Станкевич возвращается в родительское имение. Отныне он убежден, что должен ехать в Берлин или отказаться продолжать заниматься философией. Ему остается лишь уговорить родителей: "Представь себе! - сообщает он Бакунину. - Против моего ожидания, мой проект не встретил ни малейшего сопротивления в семействе: отец мой давно сам об этом думал, но не ожидал моего отъезда так скоро; дядя тоже согласен и мы не условились только в подробностях. Они, может быть, надеются, что я еще оттяну дело на год, но я постараюсь их убедить и приучить к мысли, что еду в сентябре"¹⁴⁹.

В Твери сезон начался в октябре. Мишель упорно отказывается выезжать куда-либо, он сидит взаперти с трубкой и книгами.

В конце января 1836 г. он неожиданно покидает родной дом, не предупредив даже сестер. Это - "бегство из Мекки в Медину". Он останавливается у Станкевича, вернувшегося в Москву в середине января, и посылает письмо отцу. Тот отвечает: "Быть душою семьи значит для тебя господствовать, и тебе обидно, что не согласились вступить в твое подданство; положительно же действовать в пользу семейства мог бы ты, исполняя волю нашу, а не твою собственную". Он упрекает сына в отказе провожать сестер на балы, в лишении его самого чтения, тогда как он почти ослеп, в неблагодарности за все усилия устроить Мишелю карьеру. "А ты еще воображаешь, что для нас делал пожертвование твоей духовной жизнью!" Наконец, он советует сыну не рассчитывать слишком ни на покладистых товарищей, ни на его собственные способности: "Ты не бережешь и легко занимаешь деньги, не зная, чем и когда платить будешь <...>. Богатые могут философствовать, а небогатые должны быть деятельными по службе людьми, а по закоренелым во мне предрассудкам всякий из нас должен по званию своему служить верою и правдою государю и отечеству". И он заканчивает следующими словами: "Дорога эта, если не блистательная, то безопасная, а на той, которую ты избираешь, много кочек и ухабов".

Мишель восстановил против себя всю семью. Татьяна думает, что он уехал, потому что родители отказывали ему в деньгах, необходимых для поездки за границу. Она упрекает его в том, что он обидел отца: "Он уверен, что ты эгоист, что ты считаешь себя гением и любишь только льстецов, что у тебя никогда не будет друзей, потому что ты не переносишь людей, которые решаются говорить тебе правду". Она умоляет его оставить свои "химеры" и советует ему повидать в Москве дядей и графа Строганова¹⁵⁰. Он слушает мудрые советы сестры и отправляется к графу Сергею Строганову, либералу, только что назначенному попечителем Московского учебного округа на место князя Голицына. Он разрешает Бакунину давать частные уроки по математике и физике и предлагает ему перевести с немецкого учебник истории. Мишель спешит заказать себе визитные карточки: "Maître de mathématiques M. Bacounine"* и занести их своим аристократическим дядюшкам.

Хотя он пишет: "Я нашел трудовую жизнь. Я много работаю, я делаю большие успехи, я в своей сфере, я живу", Мишель не довольствуется частными уроками и изучением философии; он не

* "Учитель математики М. Бакунин" (фр.).

отказывается от своего "апостольского призвания", вмешивается в личные проблемы Натали. Чуть не состоялась дуэль с кузеном Владимиром Ржевским. Он проповедует бунт Александре, по-прежнему влюбленной в своего кузена Федора и намеревающейся уйти в монастырь. Он просит свою сестру Варвару приютить ее у себя: "У нее не та религия формальностей и обрядов, которая требуется для монастырской жизни, ей нужна религия более возвышенная и никакого отголоска той религии она не найдет <...>. Нет Бога в рабстве, Бог только в свободе, а монастырь - рабство".

Изучать Канта слишком трудно, взамен он выбирает Фихте не основные его работы, как "Die Bestimmung des Menschen"*, которую тогда читает Станкевич, или "Die Wissenschaftslehre"', к которой Станкевич приступит лишь в 1838 году в Берлине, а более популярные произведения, сборники лекций, как, например, "О назначении ученого" или "Наставление к блаженной жизни". В Фихте для него открывается мировоззрение, вполне соответствующее его стремлениям. Из противопоставления "Я" и "не-Я" он выделяет лишь утверждение о господстве первого над вторым, и не стремится его определить: Бог ли это, или абсолютное знание, или гармония в Боге? Неважно, является ли это "Я" коллективным или индивидуальным? Неважно. Главное в том, что предстоит ему, пророку этого "Я", противостоять "не-Я", т.е. родителям, их предрассудкам, обществу, его эгоизму, его формализму. Утвердившись против "не-Я", остается ему обязать несведущее и отчужденное человечество узнать себя в "Я", иначе говоря, признать Мишеля своим пророком.

Обратившись в "фихтеанство", сестры Беер вызывают ревность сестер Мишеля. Он их успокаивает: "У них нет еще этой религии, которая ставит человека выше всех внешних обстоятельств, которая заставляет искать счастья внутри себя, в своем совершенствовании, в своем родстве с Богом". И добавляет: "Страсть - их сфера, но когда эта страсть остается неразделенной, когда она никому не нужна, тогда она становится источником жесточайших страданий". Страдая сам от нервных любовных припадков Натали, Мишель говорит со знанием дела!¹⁵¹ Более всего он делится с Татьяной; с ней он всегда поддерживал особые отношения и стремился завоевать ее доверие: "Я вновь вижу себя любимым той, кого я люблю больше всего на

* "Назначение человека" (нем.).

** "Наукоучение" (нем.).

свете, я вижу, что она меня не игнорирует". Татьяна отвечает: "Вот ты опять наш, ты опять принадлежишь твоим сестрам, которые тебя обожают, которые тебя понимают". И она ему поверяет свои мысли: "Ты хорошо знаешь, что человек, которого я могла бы полюбить, который должен наполнить все мое сердце, все мое существо, существует лишь в моем воображении. Может быть, я встречу его лишь на небе". "Я не создан для жизни внешней, для внешнего счастья, и я его не желаю, - вторит Мишель. - Я доволен своей судьбой. Вся жизнь моя сосредоточена внутри меня. Я не выхожу наружу, я весь сосредоточен в себе, и лишь это мое "я" связывает меня с Богом, и лишь Бог связывает меня с остальными людьми"¹⁵².

В апреле 1836 года Станкевич покидает Москву. Задолго до этого его отец предусмотрел для сына поездку на Кавказ. Дядьковский, убежденный сторонник лечения в Пятигорске, всячески поддерживает эту идею. Станкевич откладывает экзамен на декабрь. Загадочный Кавказ привлекает его. Он надеется, что там возродится не только физически, но и душевно. "Ты помнишь, как я оставил Москву, - пишет он Красову, - ночью, в тихую, прекрасную погоду после дождя; по улицам горели плошки; поля я не увидел, а почувствовал слышал жаворонков, нюхал траву". Он берет с собой труд Фихте "Die Bestimmung des Menschen". В первой части, "Zweifel"^{***}, говоря о всеобщем детерминизме, Фихте, в частности, пишет: "Сам я вместе со всем тем, что я называю своим, представляю собой одно звено в этой цепи строгой естественной необходимости. В непосредственном самосознании я кажусь себе свободным; размышляя обо всей природе, я нахожу, что свобода совершенно невозможна". Дорогой, в бричке, он погружается во вторую часть, "Wissen"^{***}, и убеждается, что освобождение, которое предлагает Дух, явившийся побеседовать с измученным "Я", может его разрушить. "Ты дрожишь перед страшными образами, которые ты сам себе с трудом создал, - говорит Дух. - Во всяком восприятии ты воспринимаешь исключительно свое собственное состояние". Но "Я" понимает коварство Духа: "Ты уничтожаешь меня и все находящееся вокруг меня, от чего бы я мог зависеть". В крайнем случае "Я" смирилось бы с тем, что реальный мир превратится просто в представление, но самому "Я" предстоит тоже исчезнуть в конце этого процесса! "Я", став лишь не-вещью,

* "Назначение человека" (нем.).

** "Сомнение" (нем.).

*** "Знание" (нем.).

исчезло бы и возобновлялось бы в каждом новом представлении, все превратилось бы в постоянное превращение, созерцание стало бы грезой, а мысль грезой об этой грезе. Чтение второй части "Wissen" потрясает Станкевича: "Вечер был прекрасный но тяжкое состояние совершенной неизвестности, совершенного сомнения не давало мне им воспользоваться. Мне как-то чужда, как-то мертва казалась эта природа, призрак меня самого, все было обманчиво, враждебно. Напрасно старался я убедить себя, что во всем этом должна быть своя сообразность с целью, свое добро. Эти мысли были для меня слишком убедительны и слишком новы, чтоб я мог овладеть ими по-своему. Теперь я мирюся с ними. Все утешительные мысли жизни - подвиг, искусство, знание, любовь - все теряло для меня значение, сам не знаю, почему. Это состояние прошло, но тень его еще лежит на мне; уже я верю мысли и успеху знания, но все, что касается до меня, вся будущность моя представляется мне в каком-то холодном, неприязненном свете!"

А что извлекает он из чтения третьей части, "Glauben"*¹⁵³, где Фихте утверждает преимущество практического разума над теоретическим? Лишь эту фразу: "Из Фихте я уже провижу возможность другой системы". 5 мая он сообщает Бакунину: "Во-первых, я убил одну утку; во-вторых, я прочел "Die Bestimmung des Menschen", вышел из прежнего неприятного состояния, помирился с Шеллингом, не читавши, начал лучше понимать Гегеля и одного жду, чтобы скорее убежать в Берлин". "Весна только начинается, уже несколько лет не видел я ее в нашей деревне и готов был сделаться дитятею; привычка надо мною еще не утратила власти, и я люблю смотреть на наши поля, где каждый куст мне знаком". Ему больше не хочется покидать свою деревню. Кавказ его больше не привлекает¹⁵³.

Путешествие длится десять дней. Путешественников задерживает переправа через Дон во время паводка: "Когда мы к нему подъехали вечером, вид был очаровательный: на берегу множество народа, возы, бочки, скот, лошади, шум, крик, на воде суда с распущенными парусами, выстрелы казаков, отправлявшихся в поход". Степь сначала пленяет его, затем утомляет. Сам Кавказ его почти разочаровывает: "Эта дикая природа производит на меня враждебное впечатление. Надобно больше привыкнуть, сосредоточиться, чтобы почувствовать эту суровую красоту. Дикий край и дикие люди, далеко от образо-

* "Вера" (нем.).

ванного мира и родины - грустно". В Пятигорске Станкевич лечится: пьет минеральную воду, принимает ванны, подвергает себя строгой диете, ведет размеренную жизнь. С отцом и братом Саничкой он совершает экскурсию на Машук, которая очень утомляет его. Приближается лето, и Пятигорск оживает. С июня на бульваре дают концерты. Станкевич взбирается на гору, возвышающуюся над городом. "С одной стороны, вблизи, Машук, который, кажется, уперся в тучи и полукружием обогнул центр города, в стороне - трехголовый Бештау, подернутый туманом, внизу куча народа, дамы, черкесы, музыка, все полно жизни и гражданственности. С другой - равнина, на ней уступами идут горы за горами и теряются в тумане". Эта столь живая картина производит тягостное впечатление: "Здесь Азия - Азия с беспредельностью, с печальными красотами. От этих гор начинается тот край, о котором нам так много говорили еще в школе, где люди остались до сих пор такими же, какими были за четыре тысячи лет. Это царство природы. Отсюда она высылает в другие страны света детей своих достигать совершенства. Азия вечно была колыбелью, и люди ее вечно детьми. Грустно подумать, что эта даль, которая невольно манит душу, ничем ее не порадует: там невежество и животные страсти; под тем прекрасным небом нет существа, которому бы мог сочувствовать, нет ни любви, ни мысли, но за всем тем, прекрасен этот первобытный край, эта первая степень земной жизни, это одинокое величие, которое в Европе преобразовалось в величие мысли".

Вместе с другими курортниками он совершает экскурсию в два кавказских аула; их сопровождают черкесские всадники, стреляющие в свои папахи, подброшенные в воздух: "Среди множества вооруженных азиатов мы казались пленниками и некоторые из нас до того живо почувствовали это сходство, что немножко перетрусили, но мне все это нравилось своею необыкновенностью". Они приехали к местному султану, сносно говорящему по-русски. Его старший сын живет в Петербурге. Они присутствуют на представлении; музыка монотонная и грустная. Им объясняют, что татарин воспевает подвиги Тамерлана и Мамай, но нет переводчика. Мужчины танцуют живо, хотя при этом их лица почти не меняются. Танец девушек разочаровывает, они топчутся с ноги на ногу, разводят руками, неловко наклоняются вправо, влево с напряженным лицом, как автоматы. Станкевич отметил только их глаза. "Ух, какие глаза! - вот что можно сказать с Гоголем". В следующей деревне те же празднества. Один черкес играет на свирели,

другой стучит по куску дерева и мычит. "Толпа била такт в ладони с припевом: а-га! а-га! Эта дикая песня, эта дикая толпа странно на меня действовали: мне грустно было смотреть на человека, так близкого еще к животному, который чужд лучших, благороднейших чувств; который не знал и не узнает ни одной чистой радости, но меня радовала противоположность нашей перехитренной гражданственности, отсутствие убийственных претензий и эта дисгармония, которая делает приятные судороги в нервах и тревожит душу, усыпленную холодной стройностью нашей жизни и наших праздников"...

Другими глазами, год спустя, будет глядеть на Кавказ Лермонтов, бывший товарищ Станкевича по университету! Стать "героем нашего времени", окруженным дикой природой, ему совсем не подходит; его интересует другое, он посещает колонию шотландцев и немцев: "Опрятная европейская жизнь в этой глуши делает приятное впечатление, но богатство земли и дороговизна обыкновенных колониальных произведений освобождает немцев от необходимости слишком заниматься хозяйством". 3 августа он возвращается в Удеревку. Излечившись от своих головных болей, он принимает разумное решение ничего не делать во время своего пребывания в деревне и отложить свою подготовку к магистерскому экзамену до возвращения из Германии¹⁵⁴.

В Москву, когда там находился Станкевич, приезжал, чтобы уладить последние формальности, другой кандидат на поездку в Германию, Тимофей Грановский, сын помещика, советника соляного управления в Орловском уезде. Отец, слабый и беспечный человек, ведет семью к разорению после кончины супруги; он заложил имение, а за ипотеку не выплачивает. Грановский - упорный труженик, он окончил университет по праву в Петербурге, живя литературной деятельностью, переводами; при этом он заботился о сестрах, оставшихся с отцом, и поправлял по возможности семейные расходы. В 1835 г. он уже сотрудничает в различных столичных журналах, в частности в "Журнале Министерства Народного Просвещения". Он знакомится с Неверовым. В конце 1835 года его орловский земляк, Владимир Ржевский, кузен Бееров, находясь в столице проездом, останавливается у него. Он на службе у графа Строганова и представляет ему Грановского. Новый попечитель Московского учебного округа предлагает ему занять кафедру истории в Москве, но до этого закончить обучение в Германии. Грановский приезжает с письмом от Неверова к его

московским друзьям. "Это милый, добрый молодой человек, - отзывается Станкевич, - и на нем нет печати Петербурга". Бакунин с ним согласен: "Кажется, прекрасный молодой человек". Оба признали в нем "своего". Позднее Станкевич напомнит Грановскому: "Ты сам подал нам руку, и мы прочли в душе твоей, что ты наш". Хватило этого краткого пребывания в Москве, чтобы навсегда привязать Грановского к Станкевичу¹⁵⁵.

В декабре 1835 г. Надеждин вернулся в Москву. В форме отчета о литературных событиях во время его пребывания за границей Белинский излагает свое мнение о роли журналов в России: "Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер; альманачная безличность для него всего хуже <...>. У нас в России могут быть только два рода журналов - ученые и литературные; говоря: могут быть, я хочу сказать - могут приносить пользу. Журналы собственно ученые у нас не могут иметь слишком обширного круга действия; наше общество еще слишком молодо для них. Собственно литературные журналы составляют настоящую потребность нашей публики <...>. У нас еще мало читателей; в нашем отечестве, составляющем особенную шестую часть света, состоящем из шестидесяти миллионов жителей, журнал, имеющий пять тысяч подписчиков, есть редкость неслыханная, диво дивное. Итак, старайтесь умножить читателей: это первая и священнейшая ваша обязанность <...>. Потом, вторая ваша обязанность, развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного. Это чувство есть условие человеческого достоинства <...>. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума остается один пошлый "здравый смысл", необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма <...>. Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности. Пусть процветает в Северо-Американских Штатах гражданское благоденствие, пусть цивилизация дошла до последней степени <...>, но если там, как уверяют нас, нет искусства, нет любви к изящному, я презираю этим благоденствием, я не уважаю этой цивилизации <...>. Где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только благоразумны (...). Цивилизация тогда только имеет цену, когда помогает просвещению, а, следовательно, и добру <...>. Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится; но будет ли у нас религиозное чувство, будет ли нравственность - вот вопрос!" "Чувство изящного

развивается в человеке самым изящным, следовательно, журнал должен представлять своим читателям образцы изящного; потом чувство изящного развивается и образуется анализом и теориею изящного, следовательно, журнал должен представлять критику"¹⁵⁶.

Пиратским судном снова управляет Надеждин, но он сохраняет направление, взятое Белинским, публично выражает ему признательность и продолжает военные действия против "Наблюдателя". По случаю выхода первого тома "Истории поэзии" Шевырева, он сильно задевает его самолюбие. Он упрекает его в бессистемном изложении фактов, в определении персидской религии как политеистической, в пренебрежении историческим развитием еврейского народа и рассмотрении только его пастушеского периода. Шевырев высокомерно возражает, что его критику неизвестны источники, на которые он сам ссылался *ex officio*^{*}, и обвиняет его в ограниченности. Не тут-то было. Надеждин, знающий древнееврейский язык, подавляет его своей эрудицией. Станкевич и его друзья одобряют, но обвинительная речь Надеждина кажется им неубедительной. Шевырев заслуживает более радикальной критики.

В первом номере "Московского Наблюдателя", в марте 1835 г., Шевырев, вдохновленный предстоящей борьбой против петербургского триумvirата, опубликовал свою статью "Словесность и торговля". Он принимал иронический тон: "На журналы я смотрю, как на капиталистов. "Библиотека для чтения" имеет для меня пять тысяч душ подписчиков. "Северная Пчела", может быть, вдвое <...>. И эти души подписчиков гораздо вернее, чем твои оброчные: за ними никогда нет недоимки; они платят вперед, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнации. Вот едет литератор в новых санях: ты думаешь, это сани. Нет, это статья "Библиотеки для чтения", получившая вид саней, покрытых медвежьей полостью, с богатыми серебряными когтями". Шевырев возмущается: кто посмел поставить под опеку нашу литературу?

В первом номере "Современника", в апреле 1836 г, в своей статье "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году" Гоголь внимательно исследует нелитературные причины успеха "Библиотеки для чтения" и убеждается, что бой неравен между этим слоном и мелкими четвероногими; он перечисляет недостатки московских журналов: неаккуратность издания, отсутствие определенного направления со стороны критики, старания со

^{*} по должности, по службе (лат.).

стороны издателя, внимания к ожиданию читателя - и указывает на слабые места выступления Шевырева: "Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых, он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. <...> Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта <...> Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бедных покупателей, а не продавцов <...>. Г. Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления <...>. Выходка "Московского Наблюдателя" скользнула по "Библиотеке для чтения", как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое"¹⁵⁷.

В свою очередь, выступает Белинский в статье "О критике и литературных мнениях "Московского Наблюдателя": "Вы очень верно изображали состояние современной литературы, - заявляет он Шевыреву, - но вы неверно объяснили причины этого состояния: у нас нет литераторов, а деньгами нельзя наделать литераторов, вот что вы доказали, хотя и думали доказать совсем другое"¹⁵⁸. Крестовый поход светского человека, Шевырева, под видом благородного, бескорыстного любителя прекрасного во имя литературного идеала против "Библиотеки", так же бесполезен, как и предыдущие попытки честных московских писателей. Осуждая цинизм Сенковского, Белинский признает, что "Библиотека" пользуется успехом у многих провинциальных читателей, доверчивых и нетребовательных. Она отводит место критике, этой "корыстной, неблагодарной, но необходимой, которой другие журналы пренебрегают. Наконец, "Библиотека" хорошо платит своим сотрудникам, что является значительным прогрессом в эпоху, когда, что бы об этом ни думал Шевырев, много поэтов и писателей умирает от голода"¹⁵⁹.

По мнению Шевырева, критике следует предшествовать литературе и руководить ею, и он приводит Германию в качестве

примера: Лессинг, Винкельман, Гердер опередили Шиллера, Гете, Жан-Поля. "Пушкин, Грибоедов и Гоголь явились, не дожидаясь критики", - возражает Белинский. - Точки зрения полностью противоположны. Для Шевырева критика, то есть "хорошее общество", должна управлять писателями согласно правилам приличия и хорошего вкуса, царившим в "большом свете", к которому он принадлежит и этим гордится. Белинский утверждает: "Наша критика должна быть гувернером общества и на простом языке говорить высокие истины". Он заботится уже не о салонной публике, а о провинциальных читателях, доверчивостью которых пользуется столь пагубная словесная промышленность. Цель этой просветительской деятельности - развивать вкус к чтению и чувство изящного, условие человеческого достоинства.

Покладистый Шевырев хочет избежать конфликта между свободой вдохновения и правилами: "Согласить закон и жизнь, не нарушать первого и не попустить убийства второй: вот дело истинной критики!" "Вдохновению не нужна наука, оно учнее науки, - отвечает Белинский, - оно никогда не ошибается". Шевыреву желательно щадить общество, не обижать его, когда оно не расположено слушать слишком жестокие истины. "Мы уже пережили этот аркадский период человеческого возраста, когда глаза страшатся света истины", - возражает Белинский. Шевырев желает, чтоб женщина заняла достойное место в обществе: "Она едва ли не лучше мужчины; она его образованнее, потому ли, что образование женское не так сложно, как мужское; потому ли, что ей больше досуга предаваться свободным занятиям ума, чем мужчине, рано увлекаемому службою". "Крестьянка еще менее образована, у жены торговца еще более досуга, не призваны ли они еще лучше воплотить идеал женщины?" - иронизирует Белинский. Шевырев приглашает писателей изобразить женщину, готовую следовать за своим возлюбленным в Сибирь, умереть за него: "...изобразите мне ее во время такого бала в своей детской, у колыбели, с младенцем у ее груди, в ту очаровательную полночь, когда все о ней думает, все полно ею...". "Честь и хвала г. Шевыреву! - одобряет Белинский. - Он нашел, наконец, эту утопию, эту землю обетованную, где женщина презирает мелочами суетности и самолюбия <...>, где она жена и мать, а не светская женщина или поэт" ... "Place aux dames!"* - галантно провозглашает Шевырев в надежде на их благотворное влияние на нравы и литературу. "Пусть дамы

*"Место дамам!" (фр.).

станут профессорами, судьями и генералами!" - соглашается Белинский, но при условии, чтобы довести до логического конца эту эмансипацию, эту идею сен-симонистов, но не останавливаясь в дверях в гостиную. Осуждая "литературные мнения" "Наблюдателя", Белинский выносит обвинительный приговор *светскости*.

"Я говорю не о "светских" людях в частности, а о "светском" обществе вообще, где умолкает ум, боясь оскорбить своим превосходством глупость, где притаивается чувство, боясь оскорбить приличие, где самый гений спешит принять на себя вид посредственности и ничтожества, чтобы не показаться смешным и странным. "Светскость" еще сходится с образованностью, которая состоит в знании всего понемножку, но никогда она не сойдется с наукою и творчеством <...>. Аристократия таланта не есть аристократия общества: Шекспир не на паркете приобрел свой мирообъемлющий взгляд на человеческую природу; Шиллер не на паркете нашел небо и рай своих божественных видений". Перечислив произведения, которыми восторгается Шевырев, Белинский восклицает: "Слава Богу! наконец-то я добрался до идеи "Наблюдателя"! Он хлопочет не о распространении современных понятий об изящном; теория изящного не входит в него, искусство у него в стороне: он старается о распространении светского в литературе, о введении литературного приличия, литературного общежития; он хочет, во что бы то не стало, одеть нашу литературу в модный фрак и белые перчатки, ввести ее в гостиную и подчинить зависимости от дам; цель истинно похвальная: кто не поревнует ей! Там, в Западной Европе, светскость не новость, рыцарство, даже и литературное, уже сделалось пошлостью. Но у нас другое дело, мы еще недавно надели белые перчатки и потому ходим, поднявши руки вверх, чтоб все их видели".

Восстание младших против авторитета старших?

"У нас особенно все авторитеты щекотливы и притязательны, точь в точь мелкие уездные чиновники. У нас еще важность авторитета определяется не заслугой, а выслугой, не достоинством, а летами. Кто начал свое литературное поприще с *двадцатых годов* и начал его с надутыми стишками, продолжал журнальными статейками ? тот уже авторитет, тот уже смотрит на человека, осмелившегося сказать ему правду, как на буяна, приставшего к нему на улице"¹⁶⁰.

Или война разночинцев против "аристократов", представителей света? Полевой пишет Селивановскому: "Итак, война? Уже

бьются на Аустерлицком мосту? Кому-то пасть, а что Шевырев дурак, - воля ваша, - теперь сомнения прочь. Надеждин его целиком проглотит; Пожалуйста, подбивайте нашего Орланда не уступать и биться. Я радуюсь, как старый забияка"¹⁶¹.

Станкевич узнает о последнем подвиге Орландо еще в Пятигорске: "Ты решительно убил Степана Петровича и что он сам от себя отрекается... в час добрый!" Тем не менее, он продолжает считать второ-степенной деятельностью эти ссоры журналистов и поучает Белинского: "Но вспомни, что Погодин всех нас называет "рецензентами" и ждет, чтобы мы сами что-нибудь сделали, начиная же что-нибудь делать. Пошла ли в ход твоя грамматика? Был ли ты у Строганова? учишься ли по-немецки?"¹⁶² Но Белинский продолжает свое наступление против *светскости* и теперь резко выступает против "Современника", нового журнала Пушкина: "Нам известно, что в нашей литературе есть точно какой-то "светский" круг литераторов, который не находит нигде приюта для сбыта своих мнений, которых никому не нужно и даром, заводит журналы, чтоб толковать о себе и о "светскости" в литературе; и, по нашему счету, "Современник" есть уже пятая попытка в этом роде <...>. Что сказали нам нового об искусстве, о науке "светские" журналы? Ровно ничего. Публика остается холодной и равнодушной к этим жалким анахронизмам, сияющим воскресить осмнадцатый век". "Милостивые государи, к чему эти беспрестанные похвалы самим себе за знание "светскости"? к чему эти беспрестанные уверения, что вы люди "светские"? Мы и так верим вам, склоняемся перед вашей "светскою" мудростью"¹⁶³.

Современной публике нужна культура, а не "светское" образование. "В то время литература была уделом привилегированного класса, сегодня пишут сапожники, пирожники, чиновники, лакеи". Белинский захлопывает двери современности перед носом "ископаемых" XVIII века, среди которых числятся и сотрудники "Современника" Пушкина и литературный критик "Наблюдателя". Талантливый неистовый Виссарион определенно переборщил. Защищая достоинство личности, он выставляет на первый план чувство изящного, которое должно самостоятельно управлять умственной и духовной жизнью человека и открывать ему путь к добру и к правде; самостоятельно, и от устарелых "светских" правил, и от предрассудков невежд. Это дело просвещения. Не обладая еще необходимыми для этого знаниями, не бьет ли он в слепую? Раздражаясь даром.

Изнуренный этой постоянной борьбой, "Орlando" нуждается в ласке, в любви и понимании. Весной 1836 г., вдали от Станкевича, он переживает "интригу с гризеткой" и находит в Мишеле участливого слушателя. Он делится с ним своими переживаниями и признается, что имена его сестер глухо и таинственно носились в кружке как осуществление таинства жизни. "Увидев тебя в первый раз, с трепетом и смущением пожал тебе руку, как их брату". Мишель приглашает его в Прямухино и сам уезжает туда 15 мая, бросая на произвол судьбы ученика, которого готовил к поступлению в университет. Не этим проступком потрясен Белинский, а приглашением: "От этого приглашения (как теперь помню) у меня потемнело в глазах, и земля загорелась под ногами. Но я не умел представить себя в этом обществе, в этой святой и таинственной атмосфере"¹⁶⁴. Как определить его место среди более обеспеченных друзей? Мелкий ли он рецензент, выполняющий неблагодарную работу в редакции "Телескопа" или отважный искоренитель "аристократических предрассудков" Пушкина и светской касты? Прежде всего, это добрый мальчик, о котором заботится Станкевич: "Мишель уже начал исправление Белинского, - сообщает он Неверову, - пригласил к себе в деревню". Мишель задумывает о "возрождении", посылает семьдесят пять рублей Белинскому, оказавшемуся без средств, и пишет ему, что горько видеть в грязи человека, в котором он обнаружил зародыш великого. Станкевич радуется, что это животное, "которое, наконец, спущено с цепи, покинуло "Молву", свою грязную конурку и теперь вертит хвостом и высовывает язык, как благовоспитанная собака. Итак, этот циник, этот Диоген, эта бестия, говоря языком хорошего общества, в Прямухине! Судьбы небесные! Дай мне прижать его к моему сердцу... разбойник! а я думал, что он, погрязший в нечестии и распутстве, бродит по улицам московским и высматривает, не мелькнет ли платице...". Неверову, по поводу Прямухина, он пишет: "Нам надо ездить туда исправляться..., но я боюсь испортиться <...>. Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского: я слишком верю в семейное счастье; а иногда с сердечной болью думаю, что это одно возможное... Мне надобно больше твердости, больше жестокости"¹⁶⁵.

Белинскому предстоит прожить незабываемые дни. Он становится предметом всеобщей заботы. Он быстро примыкает к "новой религии" и убеждается, что внутренняя гармония возможна. В своем усердии он превосходит даже своего учителя. Чтение посред-

ственного труда Алексея Дроздова "Опыт системы нравственной философии" возбуждает у него желание написать статью, осуждающую эмпиризм и его эклектические варианты, предсказывающую триумф спекулятивного мировоззрения, мысли над чувством и т.д. Татьяна с восторгом берется за переписку этой статьи и восклицает: "Он говорит так хорошо об истинной Святой Религии. Он представляет вам эту религию во всей ее возвышенной простоте". Она спешит сообщить об этом своим младшим братьям в Тверь: "Дорогие друзья, вы все будете когда-нибудь апостолами Иисуса Христа; вы будете распространять Его святое слово в обществе, испорченном ложными принципами, ложными идеями, погруженном во мрак, в несчастья жизни". Она добавляет: "Мнения наших родителей очень часто расходятся с нашими <...>. Их взгляд на вещи часто бывает ложен, они считают себя обязанными принуждать нас к выполнению обязанностей, которые они считают священными, хотя обязанности эти вовсе не таковы для нас"¹⁶⁶.

Белинский выставляет себя напоказ. За столом, желая произвести впечатление на хозяев, он всячески перебарщивает. По поводу якобинцев, он восклицает: "A leur place, j'aurais exécuté Louis XVI? Louis XVI trois fois plutôt qu'une!"* Впоследствии он признается Мишелю: "Самый важный период моего распада и отвлеченности был во время моего пребывания в Прямухине, в 1836 г. <...>, но знаешь ли что? я несколько не раскаиваюсь в этой фразе и несколько не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил я совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой природы тогдашнее состояние моего духа. Да, я так думал тогда, потому что фикштеанизм понял как робеспьеризм, и в новой теории чувя запах крови". Белинский, плебей, щеголяет якобинством, революционной убежденностью, что не соответствует, он в этом признается, идилической и патриархальной обстановке, привычной в Прямухине! "Когда я забыл приличие, за ласку и внимание почтенного и благородного старца начал платить дерзким и оскорбительным презрением его убеждений и верований, <...> когда учительским тоном и с некоторою ироническою улыбкою говорил с твоими сестрами, которые без мыслей и рассуждений своим глубоким и святым чувством жили в той истине, которой я в то время даже и не предчувствовал, тогда я был недобросовестен, пошел, гадок".

* "На их месте я бы казнил Людовика XVI трижды, а не единожды!" (фр.).

Пустые светские условности или дворянское воспитание, с одной стороны? Плебейская честь или грубые провокации с другой? Поведение Белинского-террориста настойчиво напоминает о поведении, которое Тургенев припишет четверть века спустя своему герою, Базарову-нигилисту, принятому в аристократической семье своего друга Аркадия. Впрочем, автор "Отцов и детей" посвятит свой роман именно памяти Белинского. Подобно Базарову, неподкупный Белинский будет побежден любовью. Но следует признать, что в течение этого идиллического пребывания в Прямухино Мишель не проявляет по отношению к Белинскому той же деликатности, что Аркадий оказывает Базарову. Его сестры принадлежат ему, и он дает это почувствовать при каждом удобном случае: когда он выговаривает Белинскому по поводу того, что тот говорит дерзости Татьяне под видом комплиментов; когда он прогуливается, обнявшись с Александрой, именно с той, в которую Белинский влюблен; когда он унижает Белинского, приглашая сестер на чтения на немецком языке, зная, что Белинский в нем не разбирается!

"Какая-то подлая злоба на всех, и даже на невинный немецкий язык, давала мне знать о моем глубоком унижении, глубоком падении", - признается он впоследствии Мишелю. "Твои неделикатные шутки и намеки довершали мое мучение; я очень хорошо понимал, на что ты намекаешь, и то, что должно было заставить меня гордиться собою, то унижало меня, как человека, который бы вздумал надеть на себя царскую порфиру, тогда как настоящее и достойное его одеяние было - один разве рогожечный куль".

Но после ада - рай, мгновения незабываемой гармонии: "Когда все собирались в гостиной, толпились около рояля и пели хором. В этих хорах я думал слышать гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа моя замирала, можно сказать, в муках блаженства, потому что в моем блаженстве, от непривычки ли к нему, от недостатка ли гармонии в душе было что-то тяжкое, невыносимое". "Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе"¹⁶⁷.

Тем временем, в Твери трое младших братьев, воодушевленных известиями из Прямухина, в частности посланиями Татьяны,

совершают побег с тем, чтобы их исключили из гимназии. Они нанимают извозчика, который отказывается в последний момент. Их к себе вызывает бабушка, Варвара Михайловна Полторацкая, они возмущаются: "Как, она приказывает к ней явиться, чтобы нас, как детей, побранить, она думает, что мы, как прежде, будем стоять, потупя глаза, в землю, да слушать ее рацеи! Нет! Этому не бывать!" В Прямухино их энтузиазм не находит поддержки. "Поступок ваш навлек на Мишу множество неприятностей, - пишет им Татьяна, - и лишит его совершенно и без того уже слабой доверенности родителей". Мишель объясняет им разницу между нравственной свободой, которая заключается в искоренении дурных привычек силой духа, и свободой, недоступной для них из-за их возраста, которую они захотели завоевать. Братья в ответ цитируют Шиллера; они признают свое поражение, но сохраняют свои убеждения и требуют, чтобы с ними не обращались, как с детьми.

Отец в большом гневе посылает зятя, Николая Дьякова, навести порядок в Твери, разрешая прибегнуть по мере необходимости к телесным наказаниям. Эта карательная экспедиция вызывает возмущение среди последователей Мишеля, но мирный супруг Варвары действует весьма осмотрительно. Он увозит подростков в свое имение, мирит с их бабушкой и возвращает их в гимназию¹⁶⁸.

Пока в Прямухине нарушается патриархальная гармония, в Москве, в октябре 1836 года, вспыхивает неожиданный скандал. В пятнадцатом номере "Телескопа" появляется "Философическое письмо" Петра Яковлевича Чаадаева. Этот друг Пушкина участвовал в военных кампаниях 1812 года; в царствование Александра I отличался независимостью суждений. Увлекаясь мистицизмом и философией, он стал после событий 1825 года красочным завсегдатаем московских салонов, где он распространял в рукописном виде свои сочинения, "Философические письма", написанные по-французски, всего восемь писем. Надеждин не видел никакой опасности в опубликовании одного из этих писем, уже широко известных московской публике. Однако опубликованное письмо, очень неудачно оторванное от целого, представило Чаадаева как "западника", сторонника католицизма, отрицающего какую-либо политическую и культурную ценность и саму историю своего отечества. Настроенный патриотически, Чаадаев предвидит великое будущее для России, но, прежде всего, он ждет духовного обновления, радикального пересмотра иллюзорных основ, на которых

было создано современное могущество, под действием петровских реформ. Западноевропейский католицизм представляется ему полезным противовесом неограниченной монархии в России, которую он характеризует столь страшными фразами: "Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, вот печальная история нашей юности <...>. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда"... "Мы принадлежим к тем народам, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру"¹⁶⁹.

12 октября Надеждин пишет Белинскому: "Я нахожусь в большом страхе. Письмо Чаадаева, помещенное в 15 книжке, возбудило ужасный гвалт в Москве, благодаря подлецам-наблюдателям. Эти добрые люди с первого раза затрубили о нем, как о неслыханном преступлении, и все гостиные им завторили. Ужас что говорят. Андросов бился об заклад, что к 20 октября "Телескоп" будет запрещен, я посажен в крепость, а цензор отставлен: и все "светские" повторяют: "Да! Это должно быть так непременно!"¹⁷⁰ Действительно, граф Строганов направляет министру рапорт, где он перекаладывает всю вину на Надеждина и советует закрыть "Телескоп". Уваров поддерживает это предложение; 22 октября Николай I приказывает закрыть журнал и вызывает Надеждина и цензора Болдырева в Петербург. Власти опасаются провокации, которая может возбудить общественное мнение против режима, деятельности подпольной партии, которая будто бы уже имела результатом "скандал", вызванный "Телеграфом" Полевого. Уваров передает дело Бенкендорфу, извещая его, что бумаги Надеждина находятся в руках некоего "Билинского", его сотрудника. "Государь приказал, дабы князь Голицын немедленно велел бы схватить все бумаги В. Билинского, обыскав бдительно и узнав, не спрячены ли у кого-либо другого, за что впоследствии времени Билинский строго бы отвечал"¹⁷¹.

Станкевич осведомлен Ржевским и Неверовым. Он принимает дело всерьез и с помощью Мишеля хочет убедить Белинского. В его интересах был бы скорейший отъезд из России. Но каким образом? Почему бы ему не сопровождать за границу русскую семью как воспитателю? "Ты узнаешь хорошо языки это для

тебя чрезвычайно важно. Мы с Мишелем поломаем голову в Берлине, увидимся с тобою и, может быть, скажем что-нибудь убедительное и ясное тебе, если самого тебя не достанет на этот труд <...>. Искусство и история все-таки будут занимать тебя; все-таки ты будешь находить в них истинную пищу, потом воротись в Русь, тогда будь чем хочешь, хоть журналистом, хоть альманашником, все будет хорошо, только будь помирнее"¹⁷². Строганов, когда было опрошено его мнение, не одобрил этот проект. Между тем в квартире Белинского был произведен обыск; однако, благодаря расторопности его друзей, все компрометирующие бумаги исчезли. Белинский получает письмо, весьма туманно составленное и подписанное "Друг", в котором сообщалось, что его почта задержана, а имущество конфисковано, здесь же содержался совет явиться самому к властям, пока его не вызвали официально. Итак, он покидает Прямухино и, приехав в Москву 15 ноября, задержан на заставе и препровожден к обер-полицмейстеру. Ввиду того, что в имуществе его не обнаружили ничего сомнительно, он быстро освобожден¹⁷³. На самом деле эти полицейские придирки волнуют Белинского гораздо меньше, нежели его любовные переживания, его чувство к Александре. Он все доверяет Станкевичу: и свое "новое чувство", и жалобы на Мишеля, продолжающего заниматься его "воспитанием" с намерением направить его в разумное русло, чтобы он не истощился в пустых выходках¹⁷⁴. С тем, чтобы смягчить нерасположение к нему Строганова и добиться от него разрешения уехать за границу, Белинский принимается за свой старый проект по составлению грамматики.

Неужели эти мечты исполнятся и все трое окажутся в скором будущем в Берлине? Именно в этот критический час Станкевич принимает роковое решение. В октябре, когда завершалось пребывание Любы с Татьяной в Москве, он завязывает с ней "тайную переписку". Решение это вызвано глубоким духовным кризисом: он только что прочитал главу, посвященную Гегелю в "Истории философии" Рейнгольда: "Вообрази, - пишет он Бакунину 7 ноября, - Гегель отвергает бессмертие - но: или Рейнгольд его не понял (хотя по началам Гегеля я сам иначе не мог думать), или надежда наша есть следствие нашей испорченности, или мы, узнавши Гегеля, выдумаем что-нибудь лучше. Можно забыть совершенно свое земное я, можно наслаждаться жизнью всеобщую... но, друг мой! при смерти, как бы ты совершен не был, в тебе должна остаться

потребность вечно знать и вечно любить, это потребность я всеобщего, это жизнь Бога". При этом Станкевич хворает; благотворное влияние его лечения на Кавказе иссякло. Он задумывается о близкой смерти: "Я готов пожертвовать собою, но пожертвовать для живого существа, которое может знать и любить, а для рода, который поддерживается, уничтожаясь, и не воспитает ничего вечного в одном виде... это горько! или я слишком далек от совершенства! Теперь Гегель пашет на меня холодом"¹⁷⁵. Не является естественным и мудрым решением отдаться *чувству*, полюбить Любу, позволить ей любить себя и отвернуться от пустых химер? Станкевич вскоре опомнится, но отступить он уже не сможет.

В начале декабря Мишель возвращается в Москву; в Прямухине он одержал победу в борьбе за "освобождение" своей сестры Варвары. Сомневаясь, что ее супруг, кроткий Николай Дьяков, может духовно переродиться, он побудил ее покинуть свой очаг и вернуться к родителям в Прямухино. Ее супружеская жизнь отныне сломана: "Воспитание твоего сына вот твоя святая миссия". Для Мишеля "роман" Станкевича с сестрой открывает новые перспективы. Своей "религии" подчинить его, как он подчинил сестер Беер, собственных сестер и самого Белинского, он не может, зато он намеревается осветить жизнь своей "общины" живым свидетельством. "Любовь совершенно переродила индивидуальную жизнь этого человека в жизнь абсолютную. Я это знал в теории, теперь я это вижу на практике"¹⁷⁶. Остается только убедить тех, кто сомневается в искренности чувств Станкевича, тем более что вскоре все, в том числе родители, уже в курсе дела. Станкевич все больше и больше запутывается, уверяет свою возлюбленную в твердости своих намерений и в благосклонном расположении родителей, но его изъявления любви выражаются в очень абстрактных терминах: "Для любви забываются все отношения жизни, все связи, все обязанности; она разрывает все оковы".

Мишель настаивает, преувеличивает: Станкевич любит сильнее, чем Люба. "Нет, - возражает Татьяна, - Любинька горячо, свято любит. О, ежели бы он вознаградил ее такую же любовью!" Разрывает ли эта любовь обязанности, цепи? Не уместнее ли полагать, что Станкевич жертвует собой? Не пытается ли он, с душераздирающей иронией, хотя бы намекнуть на это Любе? "Уже мы рассуждали, какую блистательную будущность представляет мне должность почетного смотрителя - и коллежский асессор и дворянский предводитель, а какой у меня мундир! Боже! Какой

мундир! Вы будете от него в восхищении!!!" Отец Станкевича, разуверившись после поездки в Москву в серьезности этого чувства, медлит с разрешением на брак. "Жених поневоле" упорствует и изгоняет сомнения из сердца своей возлюбленной: "Когда же Вы поверите моей любви? Когда перестанете тревожить себя сомнениями? Каждое Ваше страдание для меня несчастье". Он мечтает о будущем: "Мы бы опять стали строить домики и играть в пяточки. Да! Эти карты и пяточки наполнят мою душу больше, нежели Фихте"¹⁷⁷.

22 января 1837 года в Москве проходит премьера "Гамлета" в переводе Полевого с Мочаловым в главной роли. Станкевич присутствует на втором представлении, 27 января. "Тут мы сидели рядом с Белинским, - пишет он Любе, - это удваивало для меня наслаждение - мы так хорошо понимаем друг друга, я во многом так ему сочувствую, что в иные минуты, право, бывает одна душа с ним".. Когда он признается Белинскому, что Офелия, ее безумие, вызывают в нем грусть, тот рассмеивается и отвечает ему, что он сочиняет этот характер по живому образцу. В самом деле, Станкевич находит много общего в своем положении с ролью Гамлета. Он признается в этом Любе почти открыто: "Офелия душа чистая, нежная, неопытная и одна из тех душ, которые никогда не делаются опытными; она детски привязана к отцу и брату; эта привязанность составляла всю жизнь ее, все счастье, и когда в ней темно, бессознательно явилось новое чувство, она старается согласить его с прежней жизнью, готова даже навсегда заключить его в себя, чтоб не выйти из пределов покорности отцу; совет брата (этот глупый народ везде вмешается) усиливает ее решение, она не совсем ему верит, она знает благородство Гамлета и спрашивает брата: не похож ли он на тех, которые любят только указывать путь, а не ходить по нем..." Сравнивая положение Любы с судьбой Офелии, Станкевич настаивает: "Я знаю Вашу привязанность к семейству, чувствую, как тяжело Вам будет оторваться от него и боюсь, что Вы сгруститесь в нашей глухой, татарской стороне, что, сблизившись со мною короче, Вы увидите меня в другом свете, нежели теперь, что Вами овладеет тоска. Тогда мне не для чего будет жить". Представляя Мишеля в роли Лаэрта, он неловко пытается уменьшить свою личную ответственность. Гамлет признался, что не любит Офелию, но этого мало. "Эти слова могли огорчить ее глубоко, но не лишили рассудка. Для этого нужна была смерть отца, внезапная и насильственная, слабый состав ее не мог вынести этого удара".

Сцена безумия взволновала его: "Вы не можете себе представить, как действует на меня эта безумная Офелия! Бледная, с растрепанными волосами, убранная соломою, приходит она на сцену и начинает петь".

О чем идет речь? Об искренности любви Станкевича к Любе или об угрызении его совести? Он дает советы, упрекает Любу в том, что она изнуряет себя, работая над своим усовершенствованием. Ведь общим источником всех слабостей является недостаток любви. "Пусть растет, растет эта любовь ... дайте простор душе - есть минуты, когда музыка, поэзия, необходимы для нее - не отказывайте ей в этой пище, поменьше думайте о своем несовершенстве, побольше о всем, что есть прекрасного в мире". Убежден ли Станкевич, что участь женщины - оставаться "чистой и неопытной" прекрасной душой, обреченной только любить? 22-го февраля 1837 г., узнав из Петербурга от Неверова подробности о трагической смерти Пушкина, он делится с Любой по поводу "подлых слухов" о причине дуэли и заключает: "За всем тем очень вероятно, что жена его не любила". Привлечена ли она была его талантом, а потом разуверилась? "Но женщина, чем выше, чем святее, тем она склоннее к ошибкам. И если говорят, что она не может никогда понимать вещей в настоящем их виде, так это потому, что душа ее нуждается в лучшем".

Путаясь в противоречиях, Станкевич жалуется на судьбу: "Вы сомневаетесь в моей любви, - пишет он Любе 27-го февраля, - другие все уверены, что я не люблю Вас ... неужели уже никогда не возможно это прочное убеждение, эта спокойная, блаженная вера друг в друга, которой не нужно больше никаких доказательств и которую смутить ничто не может?"¹⁷⁸ Варвара объясняет "холодность" Станкевича смущением, которое он испытывает будто бы при мысли, что его письма будут читаться и обсуждаться сестрами. Родители обеспокоены. "Маменька не переставая плачет, и слезы ее искренни, потому что она всячески старается их скрыть. Папенька старается казаться спокойным, принимает на себя безоблачный вид, чтоб подкрепить Любашу, но как только думает, что на него не смотрят, он тотчас же становится печальным, тревожным, хмурым". Мишель не перестает отправлять в Прямухино свои рекомендации. Сам Станкевич находит, что он невыносим: "У этого человека страсть всех учить"¹⁷⁹.

Назойливая властность Бакунина касается также Белинского, "червя, влюбленного в звезду": "... я узнал рай, для того чтобы

удостовериться, что только приближение к его воротам - не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов - есть естественно возможная моя жизнь.". Властность хозяина по отношению к рабу, который бьет с такой стороны, "с какой и врагов не бьют", даже если потом утешения искупают эти страдания, пишет Белинский. После закрытия "Телескопа" он остался без всяких средств, работает над своей грамматикой, проводит свободные вечера в "кругу женщин", с сестрами Беер; они добродушно шутят над ним и утешают. Отныне Белинский убежден, что для него, как и для старших его товарищей, Полевого и Надеждина, спасением станет Петербург. Они уехали за неимением лучшего служить петербургским магнатам¹⁸⁰.

Честолюбивый Андрей Краевский захватил власть в "Литературных Прибавлениях к Русскому инвалиду". Программа на 1837 г. обещает сотрудничество Пушкина, Гоголя, Жуковского. В. Одоевский поддерживает это начинание. Цель Краевского похвальная борьба с "кликлой Смирдина", хотя правила его напоминают диктаторские притязания Сенковского: по своему усмотрению, он переделывает произведения сотрудников, в зависимости от ожиданий публики и требований цензуры. Он заявляет ясно: "Поступают статьи прямо ко мне, печатаются, если хороши по моему мнению и иногда по мнению Одоевского, и авторы получают за них деньги от 100 до 150 р. за лист"¹⁸¹. Открываются переговоры между Белинским и Краевским. Последний получил "дружеские предостережения" от Андросова; он советует Краевскому не давать Белинскому заговариваться: этого человека чрезмерно расхвалили, и он воображает себя провидением журналов - *la Balzac*¹⁸². Белинский требует разрешения подписывать свои статьи и вести борьбу с "петербургским триумvirатом" не как с литературной партией, а как с литераторами, "вредными для успехов образования в нашем отечестве". Станкевич одобряет его и критикует отставание журнала Краевского от своего времени: "Что за критика! Что за язык!". Бакунин сообщает своим, что Белинский, лишенный всего необходимого, отвергает тем не менее выгодные предложения Петербурга: "...он не смотрит на литературу как на игрушку и скорее бы согласился умереть с голоду, чем торговать своими мнениями и своею совестью"¹⁸³.

В программной статье патриотического характера "Мысли о России" Краевский опровергает кощунственные размышления Чаадаева: не дискредитировал ли он себя в глазах общественного

мнения, осмелившись подвергнуть сомнению само существование России? Автор "Философических писем" признан сумасшедшим и не подвергается преследованиям, ему "только" запрещается печататься. Заботливое участие царя предусматривает даже регулярное посещение дома Чаадаева врачом. Другое дело с Надеждиным; его сочли вменяемым, и он сослан в Усть-Сысольск, на север России. Краевский дает ему возможность себя оправдать, опубликовав статью в своем журнале. Перед отъездом в ссылку Надеждин объясняется со Станкевичем и его друзьями именно по поводу этой статьи. В своем усердии бывший профессор дошел до заявления о том, что русская национальная гордость заключается в полном смирении перед царской властью. Официальная народность, которую провозглашает министр Уваров, нашла новый рупор! Расстаются они холодно. Станкевич упрекает Надеждина в приспособленчестве, в поверхностном взгляде на философию, сведенную к расплывчатому "любомудрию", в его осуждении французских или немецких мыслителей на благо русской философии, которая еще грядет. Однако Станкевич, как всегда, отказывается полемизировать, особенно с человеком, у которого нет убеждений¹⁸⁴.

Первые известия о смертельном ранении, нанесенном Пушкину Дантесом на дуэли, пришли в Москву 1 февраля. Краевскому, с которым он тогда ведет переговоры, Белинский пишет: "Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания. Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь?" Друзей его, поглощенных собственными заботами, новость почти не волнует. Бакунин занят освобождением Варвары, обращенной в "новую религию", но все еще связанной семейными обязательствами. Ее муж, слабый человек, неспособный понять ее веру, старается завоевать ее материальными знаками внимания, соглашается жить с ней "как брат". Варвара воображает, что небо поручило ей обратить супруга в новую веру, открыть его сердце истине, и раздражается, когда Дьяков в нетерпении "требует вознаграждения". Столкнувшись с таким непониманием, Варвара решает уехать: "Я позволила человеку, чуждому мне, профанировать меня своими ласками, но Бог, который видел мое сердце, пощадил меня в моей слабости, я омыла свой грех моими страданиями"¹⁸⁶.

Станкевич снова тяжело заболевает. Он пытается осведомить об этом Любу в шутовском тоне: он превратился в восковую фигуру; все, кто видят его, начинают смеяться; профессор Погодин, который до сих пор никогда не приезжал к нему, нанес ему визит: "Теперь

я понял, что он приехал навестить умирающего или, по крайней мере, отчаянного больного". Эта ирония не может скрыть глубокой депрессии, вызванной невыносимой ситуацией, которую он сам создал. Может ли он пожертвовать своим философским призванием ради мнимого земного счастья, любовной идиллии, являющейся всего лишь жалкой карикатурой его самых тайных чаяний? Однако процедура, ведущая к заключению брака с Любой, начата. Отцовское согласие наконец получено, и Станкевич решается написать будущему тестю: "Я желал бы отправиться в Прямухино и лично просить у Вас руку Вашей дочери, Любви Александровны. Но судьба расположила иначе: болезнь приковывает меня к постели и скоро заставит покинуть Россию на несколько месяцев"¹⁸⁷. Подозрения отца Бакунина вспыхивают вновь. Он вообразил, что сын его задумал это путешествие, чтобы самому отправиться в Берлин! Мишель спешит в Прямухино чтобы оправдаться; убедить отца ему удастся, но Варвара сомневается, она предчувствует, что от нее что-то скрывают; ее единственная надежда — что жених ее сестры не ошибся в своих чувствах: "О Боже, избавь нас от этого нового несчастья! Большая часть его писем кажутся мне натянутыми, мало естественными". Она не может понять, по какой причине он должен уехать на целый год от той, которая уже является "его женой пред лицом неба". "Любаша будет его другом, его сестрой — пусть они вместе едут в Карлсбад. Любаша также слаба, воды Карлсбадские и ей будут на пользу, я в этом уверена".

Люба же никаких оправданий не ждет и отвечает полным самоотречением: "Мишель, моя единственная надежда, единственная утешительная мысль, которая мне остается, это что ты с ним, что ты сумеешь утешить его, поддержать его дух <...>. Будь его ангелом-хранителем, Мишель! ради Бога, пусть он выполняет все предписания врача, пусть едет в Карлсбад и пусть возвращается оттуда лишь после полного выздоровления. Если бы ты знал, Мишель, как хотела бы я быть теперь в Москве, но я чувствую, это невозможно. Родители никогда этого не дозволят"¹⁸⁸. На самом деле, печальный исход романа, завязавшегося между Станкевичем и Любой, известен лишь Мишелю и Белинскому: их связывает отныне "ужасная тайна". Станкевич не влюбился в Любу, он не может отказаться от своих химер; он едет не только лечиться в Карлсбад, он ищет исход из невыносимого положения и стремится в Берлин. Но нужно сохранить приличия; Станкевич должен уехать, не разрывая отношений с Любой, и продолжать играть перед семьей

Бакуниных роль любящего жениха. Эта тайна отделяет друзей от остальных членов кружка, особенно от Ключникова, Мефистофеля группы. "Как открыть ему свои задушевные обстоятельства, когда он, бывало, или опрофанирует их ледяно-ядовитой насмешкой, или создаст из них свою фантазию"¹⁸⁹. Этот ипохондрик вскоре впадет, в свою очередь, в депрессию и потеряет рассудок.

Посреди всеобщей скорби Бакунин торжествует. Он считает, что пережил свое "падение" из-за неудавшегося религиозного пафоса в Прямухине, но теперь воспрянул и нашел выход: "Я думаю, что мое личное я совершенно убито, оно ничего более не ищет для себя, его жизнь отныне будет жизнью в абсолютном". "Но, в сущности, мое личное я выиграло более, нежели утратило", - добавляет он, поразмыслив. Бакунин разрушил свое "я", чтобы восстановить его тотчас в принципиальной безответственности по отношению к внешнему миру. Уверенный в своем праве, он может теперь царить над больными умами, упрекать их в падении и побуждать их встать снова на ноги¹⁹⁰. Он начинает с того, что приглашает их участвовать в коллективном труде. За год до того граф Строганов доверил ему перевод учебника истории. Мишель еще ничего не сделал. Он добивается отсрочки, членит произведение и доверяет по кусочкам Каткову, Боткину, Ключникову, Аксакову, сестрам и братьям для перевода. Наивный Константин Аксаков пишет брату: "С Бакуниным я часто выдаюсь. Я помогаю ему теперь в одном деле; он переводит, или, лучше sic!, перевел Историю Шмидта; на этом основывает он свои денежные надежды, а на денежных надеждах поездку за границу"¹⁹¹.

После отказа графа Строганова финансировать издание его грамматики Белинский принимает неблагоприятное решение издать ее за свой счет, правда, с щедрой помощью Сергея Аксакова и разрешением, которое Каченовский как цензор ему охотно дает. Работа должна выйти в мае 1837 года. Мишель продолжает играть с чувствами, которые испытывает еще Белинский по отношению к его сестре Александре. Вопреки всему он надеется до тех пор, пока Боткин, его наперсник, ему не заявляет: "Мишель мне сказывал, что ты любишь его сестру, но что, по несчастию, она тебя не любит; не это ли причина твоего бессилия перейти в полную жизнь духа?" Сраженный этим открытием, после шести месяцев воздержания Белинский возвращается к проституткам. "Мне было грустно, почти со слезами наслаждался я и увидел ясно, что это мнимое наслаждение, что я уже выше его". Несмотря на это, три

недели спустя он берет девку на содержание! В своем падении он опускается до того, что увлекается игрой в карты - занятием, еще незадолго до этого категорически запрещенным в кружке! Он играет не в кабаке, а в семье Беер. "Я играла почти целый вечер с Белинским в свои козыри, это его новая страсть, - пишет Наталия. - Наконец бросила карты и села усмирить несколько душу за фортепиано"¹⁹². Время оживленных дискуссий, великих планов на будущее закончилось. Карты стали необходимым развлечением. "Эти пошлые удовольствия, - признается Белинский, - доставляют мне много пользы: они заставляют меня забываться в какой-то пустоте, которая все же лучше отчаяния". За границу ехать он не может, он отправляется лечиться на Кавказ с Ефремовым, занимает у него денег, занимает тоже у Боткина, у Аксакова. Он покидает Москву в начале мая, холодно расстается с Бакуниным и Станкевичем, и заключает из этого, что сам он ничтожен.

Вернувшись отдохнуть к себе в имение, Станкевич пишет длинную исповедь Мишелю, он обвиняет себя в прекраснодушии, в неспособности испытать истинное чувство любви. Он стремится к конкретной жизни, когда божественное осуществляется в действительности, в конкретном чувстве любви к женщине; жестоким уроком послужит ему плачевная история с Любой. Готовясь к отъезду, он отказался от чтения Гегеля, к которому он приступил еще в марте, до того, как заболел¹⁹³. Тем временем, в Прямухино идут приготовления к другому отъезду. Варвара с сыном отправляются в Карлсбад. Мишель полагает, что этой ценой сестра его окончательно "освободится". Намерен ли он сопровождать ее? Весьма вероятно. Станкевич готов помочь ему, ссудить денег для оплаты его долгов, оплатить его путешествие до Карлсбада. Вместе с тем, он предупреждает его, что не сможет давать ему более 1000 рублей в год во время его пребывания за границей, так как у него самого будут большие расходы на лечение. Этот денежный вопрос не перестает мучить его. А сама Варвара борется с мужем, с его колебаниями. Дьяков то и дело передумывает, то делает вид, что согласен на отъезд жены и сына, то одумывается, умоляет взять его с собой или угрожает помешать отъезду. Варвара учитывает положение мужа, когда она умоляет Мишеля не занимать денег у Станкевича для нее: "Не знаю почему, он не любит Станкевича - он считает его гордым"¹⁹⁴.

Со своей стороны, Станкевич призывает Мишеля к сдержанности в поведении со свояком: "Дело не в том, чтобы мстить

за нее, а спасти ее; не давай руководить собою чувством ненависти, лучше прости ему то, что не прощается, старайся лишь об освобождении сестры твоей от его власти". Создается впечатление, что судьба Варвары занимает Станкевича больше, чем судьба Любы. Очевидно, что он надеется встретить ее за границей: "Мишель писал мне, что Варвара Александровна собирается в Карлсбад, - упоминает он в конце письма, которое он посылает родителям Любы. - Мне бы утешительно было с ней увидеться, мне не хочется расстаться с этой надеждою"¹⁹⁵.

Подтверждения своей отставки с поста попечителя Станкевич получает 11 августа, а паспорт 12-го, и тотчас покидает Россию, не полагая, что больше никогда не вернется.

Откуда столько страданий? Не лучше ли глазами Гоголя смотреть на поведение Станкевича и видеть его скорее в роли Подколесина, чем Гамлета? в дилемме "вкусить блаженство или бежать в окно?" скорее, чем в знаменитом "быть или не быть?" Не русского ли Гамлета, смывающегося с "ужасной тайной", судит Фекла: "Еще если бы в двери выбежал ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно - уж тут просто мое почтение!" А с другой стороны, как далеки от разочарованности Онегина и демонизма Печорина Станкевич и его товарищи. Не сидится им в России. От чего-то своего родного, близкого они отрываются и куда-то стремятся, выбирая крутые пути и преследуя какой-то абсолют, какие-то недостижимые цели. Почему такой раскол с бывшими любомудрами, несмотря на общие интересы, на любовь к изящному, на стремление к просвещению, на желание бороться с магнатами Петербурга, несмотря на открытость и доброе расположение старших к младшим?

Старшие раздражают пылких юношей. Их пристрастие к изящному приняло светский характер, они увлеклись Пушкиным, отжившим ныне свой век, увлеклись немецкой философией, не предавая ей насущного значения, они совершили необходимую поездку в Европу, присутствовали, как на спектакле, на лекциях великих мыслителей, и преспокойно вернулись к себе восвояси. Отказавшись от службы, они стремятся занять независимое положение в общественном пространстве, которое им открывает печать. Но они не способны овладеть читателями. У "Европейца" Киреевского всего 50 подписчиков, у "Библиотеки" Смирдина 5000, склонных скорее к шуткам Булгарина или Сенковского, чем к завоеванию новых знаний. Неистовый Белинский и его друзья в

этом убеждаются; им необходимо помериться силами на литературном, художественном поприще со старшими, москвичами и петербуржцами; долго будут их еще принимать просто за "мятежников без повода" (*rebelle without a cause*), что их предохранит от полицейских преследований.

Впадая в порок "болтунов-французов", Герцен несправедлив и смешон, когда он сравнивает свой круг с кругом Станкевича: "Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами. Мы их - сентименталистами и немцами <...>. Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич естественно должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был "победный венок", выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, не смотря на все пострижения в монахи, берет свое"¹⁹⁶.

На себе испытывает мощь гегелевской диалектики "болезненный, тихий по характеру поэт и мечтатель". Она еще покажет себя, когда, на пути "примирения с действительностью", неминуемый этап *отрицания* опустошит безжалостно окружающий мир мыслителя.

Глава 3

БЕРЛИН. ЛОГИКА И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ (1837/1839 гг.)

Наперекор обычному маршруту до Германии по морю, Станкевич путешествует по суше. 24 августа он приезжает в Киев и сразу пишет Любе: "Вы, верно, подумаете, что я подъезжал к Киеву с волнением, что святыня России, которая явилась мне воочию, объяла меня трепетом, нет!" На следующий день он присутствует на молебне Варваре Великомученице: "Монах кричал божественную песню во все горло и самым диким голосом". Он спускается в знаменитые пещеры: "Прикладываясь ко гробу Нестора, я невольно вспомнил Каченовского, который отвергал подлинность летописи, приписываемой ему, Ключникова, у которого эти сомнения были одним из любимых предметов для остроумия". Мишелю он пишет, что при виде мощей Иоанна, зарывшего себя в землю по пояс, чтобы защитить свою чистоту и веру от дьявола, искушавшего его плоть, он подумал о Виссарионе. Перед мощами Исаака, плясавшего с бесом, принявшем божественный лик, затем впавшего в бессилие и учившего заново "Отче наш", он признает: "Чуть ли и со мною того же не будет. Я с чертом не плясал, это правда, но *Schönseeligkeit*, в виде всего высокого, так ошеломила меня и привела к такой бездне, что сам не знаю, когда опомнюсь"¹⁹⁷.

Болезнь *прекраснодушия*: вот от чего страдает этот вольнодумец, щеголяющий неверием, достойным Вольтера! Прекраснодушие, калька немецкого термина *Schönseeligkeit*, прежде чем получить, по мнению Станкевича, статус болезни, означало достоинство, добродетель, позволяющую исключительным существам сохранить в сердце первоначальную невинность, врожденное чувство божественного. У Шиллера прекрасная душа идет стихийно, естественно, как бы инстинктивно, на самопожертвование. Таковы Макс и Текла, незабываемые герои шиллеровской трагедии "Валленштейн": им не дано выжить в жестокой окружающей действительности, они подобны "цветочкам слишком рано сорванным, но

^{*} Прекраснодушие (нем.).

подобающим расцвести снова в райских полях". Склонные скорее к созерцанию, нежели к активной жизни, прекрасные души не только идеальные создания Шиллера. Загадочна судьба Эмилии, приемной дочери Гебеля, наподобие судьбы Миньоны Гете, в "Годах ученичества Вильгельма Мейстера" она проявляется в потребности природы, лишенной земных радостей, счастливой любви, вернуться в свою небесную отчизну. Ее страдание преобразуется в *Sehnsucht*, в *стремление*, озаренное смутными воспоминаниями детства.

А ведь эти чистые девушки с судьбой, предначертанной таинственной рукой, эти хрупкие создания, существуют только для того, чтобы любить, любить стихийно с полным самозабвением, вплоть до полного отречения. Неужели жестокая действительность неисправима? Именно на встречу с прекрасными душами Станкевич и его друзья отправлялись в паломничество в Прямухино. Там, может быть, невинное и крайне женственное божье создание любовью и самоотверженностью поможет им преодолеть сомнения, завершить духовный поиск и воспринять небесную отчизну, о которой, развращенные жизнью в обществе, Станкевич, Красов и Ключников сохранили лишь смутный отзвук в тоскливых стихах об утерянной невинности.

Что общего между потусторонним миром христиан и *Jenseits**, небесной отчизной идеалистов? Он уже не является предметом веры, а ностальгией души, стремлением, *Sehnsucht*. Если земное счастье, вопреки уверениям просветителей XVIII века, оказывается эфемерным, потустороннее блаженство является. лишь предметом упования. В своей поэме "Отречение" Шиллер безжалостно приводит судьбу юного мечтателя, рожденного в Аркадии и обладающего "кредитом на счастье"; он поверил легенде, о том, что вознаграждается после смерти тот, кто пожертвовал земным счастьем; неосторожный мечтатель требует награды на пороге вечности. Отвечает ему Дух: у человека выбор между двумя цветками, Упование и Наслаждение, в каждом своя доля счастья и нечего ждать от другого:

"Что у тебя минута отобрала,
То никакая вечность не вернет".

Станкевич часто цитирует "Отречение" в своей переписке. В 1832 г. он его комментирует в виде поэмы. Не ожидая никакой награды ни от неба, ни от земли, он восклицает:

* Загробным миром (нем.).

Забуду ж свет! К безвестной цели
Пойду через тернистый путь!
К гробам! чтоб страсти омертвели,
Чтоб охладела к миру грудь!..
Благословил я мрачный вход:
Что нужды? Жизнь ведет ко гробу
Быть может, к жизни гроб ведет¹⁹⁸.

"Забуть свет" означает не только отказаться от московских светских развлечений, это духовное испытание, это подвиг. Он не ведет Станкевича к смирению, к "отупению", к послушному восприятию церковных заповедей. Более чем убедительно его поведение в Киеве. Станкевич в поисках иного пути к Богу, через самопознание; само-совершенствование дает возможность "спасти чувство" тому, в ком сохранилось "зерно величия". Спасая чувство, сохраняешь природную искренность и обладаешь личной свободой. Вольный тон, каким Станкевич и его друзья общаются со старшими, с "властями", вовсе не приводит их к осуждению политического строя в России, по примеру "сен-симонистов" Герцена, Огарева и прочих. Свобода оправдана выбором "тернистого пути". Кант убедительно доказал, что чистые понятия рассудка не дают ответа на основные вопросы, стоящие перед верующим, которого терзают сомнения. Сама вера недоступна критицизму, зато не менее, чем путь политической борьбы, "тернистый путь" усеян угрозами. Путь самопознания - путь самоотрицания. С одной стороны, Sehnsucht*, абстракция, бездна неосязаемого, с другой, разложение духа, падение в конечность и сомнение: не сводится ли к тривиальности супружеского счастья ожидаемое "воскрешение", благодаря посредству прекрасной души? Вроде "Старосветских помещиков" Гоголя, этой пародии на идиллическую судьбу Филемона и Бавкиды?

На этом этапе чтение Гегеля становится решающим; он безусловно осуждает Sehnsucht, тоскливое чаяние прекрасной души. Совсем не являясь надежным посредником, это лишь "церковная служба, совершаемая над самим собой, ибо целью ее является не Бог, а созерцание своего собственного божества". Гегель категоричен: это сознание - лишь умирающее эхо самого Себя, для которого мир сводится к собственному дискурсу. Объект без сущности, чистая прозрачность, она становится несчастной прекрасной душой, угасает и "испаряется, как пар в воздухе".

* чаяние (нем.).

Является ли Станкевич "несчастной прекрасной душой" или же "несчастливым сознанием"? Значительна дистанция между этими двумя "несчастиями" в "Феноменологии духа". Привлекаемая незыблемой сущностью (Богом), еще в недоступном своеобразии, "чуя лишь себя", прекрасная душа испытывает чувство бесконечной ностальгии: либо идеал во мне и тогда это не идеал, либо он вне меня и поэтому он мне недоступен. Будучи истиной для предшествующего сознания (скептического сознания стойка), "несчастное сознание" открывает бездну своей частной жизни и предпринимает свое восхождение к незыблемости, к освобождению от своей бездны при помощи сначала разума, а затем духа. При выходе из феноменологии, прекрасная душа проявляется в фазе "действующего духа", в нравственности. Чтобы спастись от саморазрушения, прежде чем достичь абсолютного знания, то есть спасения, примирения с Богом, прекрасная душа должна примириться с "моральным сознанием", действительным сознанием (Gewissen) благодаря отпущению грехов.

До весны 1837 года, до кризиса в кружке, Станкевич был "несчастливым сознанием", он неустанно боролся за освобождение от своей конечности, своей бездны. Теперь он обвиняет себя в неспособности любить "конечное создание" (свою нелюбимую Любу) и в невозможности примкнуть к реальности. Schönseeligkeit характеризует этот застойный период, это болезненное состояние. Слабость души своей Станкевич хочет исправить силой духа и с этой целью приезжает в Берлин лечить свое "несчастное сознание". Достигнет ли он в конце предсказанного "феноменологического развития" примирения со своим "действительным сознанием"?

В Киеве Станкевич посещает московского знакомого, профессора Максимовича. "Он начал было говорить довольно решительно о Гегеле и с некоторым презрением. Я вступился, пугнул его немножко, что он мне отчасти известен и он поскромнел, говорил против философии, но о Гегеле уж ничего решительного. Я его старался убедить так же, как некогда Надеждина, но у него меньше логики <...>. Убедить, возбудить в нем веру - это уж решительно невозможно. Он одряхлел душою, измельчался страшно! Избави Боже! Но он искреннее других; я ему сказал: "Философия Гегеля должна убить слабый характер или сделать его сильным. Он отвечал: "так меня же убьет". "Но вы слабы физически". "Нет, и ум слаб, чтобы пускаться в такие глубины. Я отстал от науки, у меня переменчивый характер, я так создан, что не могу одним заниматься". А между тем, все-таки говорит против философии"¹⁹⁹.

Со своей стороны, Максимович уверяет, что он старался убедить Станкевича: счастья он не найдет в философии Гегеля, на что тот ответил: не хочу тогда жить в этом мире, ежели не найду счастья в Гегеле²⁰⁰.

Станкевич покидает Киев 27 августа. В Радзивилове он останавливается у русского помещика, присутствует на вечеринке, танцует кадрили и мазурку. Польские девушки целуют руку хозяйке дома, явно сконфуженной. Еврейские менялы покупают его рубли по курсу, который оказывается невыгодным: "Без мошенничества жиду прожить невозможно", - заключает Станкевич. Границу он пересекает в Бродах: "...мне казалось, что я въехал совсем в другой мир, что и трава тут не так растет и небо не так смотрит: а как почталион* заиграл в рожок, я сам не знаю, что со мною сделалось: так весело, что хоть плясать. Все, что я видел на картинках, читал, теперь делалось передо мною". Но Галиция разочаровывает его. Лемберг, в котором преобладает польское население, с узкими улочками, запахами еврейской кухни не нравится ему. 2 сентября (14-го по новому стилю) он подъезжает к воротам Кракова, вольного города, последнего осколка независимой Польши. Австрийские власти выдают ему трехдневный пропуск. Панорама, открывающаяся с вершины древнего замка, стоящего на холме Вавель, очаровывает его больше, чем посещение исторических памятников. Тем не менее, он спускается в склеп собора осмотреть могилы Собеского, Понятовского и Костюшко. На следующий день он посещает знаменитые соляные шахты Велички. С облегчением он покидает Галицию, ее запахи, ее грязь и вступает в "немецкую" землю. Он проезжает по селам с чистыми площадями, смеющимися домами. На почтовых станциях он замечает красивых Stubenmädchen^{**}; в дороге он беседует со студентом из Лемберга, который полагает, что Греция в Азии и никогда не слышал о Гегеле. "Was spricht Hegel vom Firmament?"^{***}, - беспокоится он.

В Олмюце он восхищается мощеной мостовой, гладкой как паркет, и впервые слышит орган. "Когда я услышал первые аккорды, то испугался: мне казалось, что среди самой церкви ударили в огромный колокол. Потом пошли такие полные, густые звуки, что, без фразы, можно сказать, волнами обдавали душу, - в них есть что-то пловучее, прохлаждающее; они дают бодрость и надежду"²⁰¹.

* "Почталион, почтарь присяжный почтовый служитель, для провожания, отвоза почты и разноски писем, гонец". В. Даль. Толковый словарь в 4-х т. Т. 2.

** Горничные девушки (нем.).

*** "Что говорит Гегель о небесном своде?" (нем.).

Приехав в Прагу 11/23 сентября, Станкевич отправляется в дворец Валленштейна и беспрестанно думает о героях трилогии Шиллера. Он посещает церковь св. Фомы и рассматривает картины немецких примитивных художников. Он наносит визит Шафарику, для которого Максимович передал ему пакет. У него он знакомится с М.И. Касторским, студентом Петербургского педагогического института. Шафарик и славянский поэт Челаковский утверждают, что немецкие лингвисты не могут обойтись без славянских языков в своих работах. Станкевич остается равнодушным к этим проявлениям славянофильства: "Ну да, ведь только лингвисты, - замечает он, имея в виду философию. - Эти господа в претензии, что у нас поставлено студентам обязанностью знать немецкий язык?!! Говорят, что полезнее было бы, если б немцы учились порусски!!" У Палацкого он встречается с богемскими литераторами: "Добрые, усердные, ревностные люди. Нельзя не тронуться, когда все они хором вторят какому-нибудь припеву в богемской песне". Но он скептически относится к их национальному энтузиазму²⁰². "Чего хлопочут люди о народности? Надобно стремиться к человеческому". "Язык утвердится только тогда, когда утвердится человеческое образование, а оно утверждается идеями, не энциклопедическим лексиконом, который они хотят издавать - хоть и это дело полезное".

Этим "фантазиям" он предпочитает прогулки по городу с соотечественниками, со скульптором Н.С. Пименовым и художником Ф.С. Завьяловым. Прага для него немецкий город, с немецкими названиями улиц; он любит красивые женские лица, на улице их видно больше, чем в праздничный день в Москве. Женщина ведет здесь активную и свободную жизнь, она придает ей уверенность и здоровье.

"Подходя к рынку, Вы тотчас заметите, что особа, казавшаяся Вам отрывком из романа Вальтера Скотта <...>, с невыразимой приятностию тащит провизию в корзинке: это жена или дочь какого-нибудь ремесленника, а, может быть, содержательница трактира ... ; а дальше моя собственная штубенмедхен идет с книгою в церковь, в пух разряженная, так что боишься, как бы она не обиделась, что я не подал ей руку <...>. Жена ремесленника не стыдится сама сходить на базар, потому что она не чиновница; ремесленник не проживает последней копейки, потому что у него дома есть другого рода удовольствие: ему приятно провести часть досуга с женою, которая всегда почти грамотная женщина, следовательно, все-таки не грубая мужичка.

А захочет мужского общества он идет выпить "свой стакан пива", за которым он почитает себя царем".

Прибыв в Германию в поисках духовного спасения, Станкевич знакомится с прелестями мещанского счастья!

"Я думал, что я уж навсегда простился с Schönseeligkeit, с проклятым фантастическим направлением души, которое портит ее в основании, но ошибся: у меня родилась какая-то болезненная привязанность к Германии; я представляю себе, как я ворочусь домой, как она мне будет сниться, и мне хочется плакать в таком случае, а между тем я не помню ни одного могучего чувства, ни одного сильного душевного наслаждения, которое могло бы освятить для меня память этих мест. Но я много надеялся на Германию, в ней ожидал я и еще ожидаю душевного возрождения; кроме того, мечты детства, старые рыцарские романы, новые фантастические повести, все это сделало для нас Германию привлекательною, да и природа хороша, и следы цивилизации, встречаемые на каждом шагу, в самых мелких подробностях жизни, привлекательны".

Но Станкевичу следует прежде всего лечиться не духовно, а телесно. Когда он прибывает в Карлсбад 16/28 сентября, сезон уже заканчивается. Он решает остаться тут три недели и сразу же начинает лечение: восемь стаканов воды в день. Курортники уже покинули Карлсбад. В театре показывают лишь слезливые драмы. "Вчера записался в Lesesaal и пресерьезно читаю "Journal des débats" и "Gazette de France": хозяин думал, что я охотник до политики, и от всей души принимал участие в моем положении, тот же час дал мне два номера "Débats" на дом, говоря: "Ohne Politik zu lesen ist man doch todt*". Но я умираю от скуки, читая большую часть этих политических толков".

Он обращается к Неверову и Грановскому в Берлин: "Вы с Грановским думаете, что вы важные люди, потому что стоите в Friedrichstrasse и потому что у вас хорошенькая Stubenmädchen!.. Да мне что за надобность! Зная ваши шашни, знаю и то, что ты даже в университет не ходишь, а только шляешься по библиотекам и смеешься над Грановским, который начинает признавать достоинство Егора Федоровича Гегелева <...>. О нечестивцы! дайте мне приехать в Берлин, я вас отпотчую!"²⁰³ Получив сообщение о прибытии Ревизора в Берлин, друзья прыгают от радости. Они пережили трудный период. В августе, во время новой эпидемии

* "Ведь не следить за политикою - смерть" (нем.).

холеры, Неверов перенес два приступа лихорадки. Грановский тоже болел, при этом у него нет денег. Они ищут для Станкевича жилье неподалеку: "Боюсь только, чтобы ты не изменил нашим надеждам, - пишет Грановский. - Это будет очень скверно с твоей стороны". А Станкевич не унывает; незадолго до отъезда из Карлсбада, воскресным утром, он вальсирует в коридоре с Фанни, гостиничной служанкой, затем отправляется в церковь в одном сюртуке, несмотря на ветер и риск простудиться! Вернувшись в гостиницу, он пьет чай, болгает с Фанни в ледяном коридоре, затем отправляется в Schützenhaus, приглашенный своим другом, часовым мастером Гофманом на соревнование по стрельбе. Зал прокурен, пиво течет рекой, танцуют. Станкевич возвращается в отель. Фанни приглашает его погулять. Дорогой она смеется, прохожие тоже.

Любе, своей "невесте", он не сообщает о своих невинных развлечениях, но описывает ей жизнь этих мещан, которые не мечтают о дворянстве, не краснеют от своего положения, наслаждаются мирной семейной жизнью, занимают свое свободное время музыкой или соревнованиями по стрельбе. Однако эти идиллические картины начинают утомлять его: "Все этим они восхищаются, как дети. Если б эту жизнь дополнить большею любовью к искусству, любовью вообще, немножко сбавить расчетливости это были бы люди. Но, посмотрим дальше, может быть, найду немцев, ближе подходящих к моему идеалу".

17 октября он покидает, наконец, Карлсбад и под Теплицем останавливается перед памятником в честь воинов, погибших в Кульмской битве: "Было где потешиться молодцам в широкое поле <...>. Если б не эти горы и леса, ни один француз не ушел бы от союзников". Он пересекает границу и проникает "in Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen"*. 20 октября, к вечеру, он приезжает в Дрезден, отправляется в знаменитую картинную галерею и с отчаянием убеждается, что Сикстинская Мадонна оставляет его равнодушным. 24 октября он снова в пути. В Потсдаме, на почтовой станции, "вдруг к окошку кареты подходит мужчина в длинном, теплом сюртуке; мне вообразился тотчас Фридрих Великий, о котором я думал, смотря на этот военный городок; но это был Януарий Михайлович, выехавший мне навстречу из Берлина". В компании с Неверовым он въезжает в Берлин вечером 25 октября²⁰⁴.

Станкевич будет жить на Neukirchenstrasse, в доме, где его друзья уже занимают скромную квартиру за 18 талеров. У него

* "В Саксонию, где произрастают красивые девушки" (нем).

будет отдельная квартира, из-за его нездоровья: две комнаты, "прекрасно меблированные", и крошечная спальня, все за 20 талеров (75 рублей) в месяц. "Утром ученье, потом обед, потом что-нибудь читаем, - сообщает Грановский, - в шесть часов театр, в девять возвращаемся домой, болтаем и смеемся, как сумасшедшие, пока Неверов, благоразумнейший из нас троих, потому что ему скоро будет двадцать шесть лет, не прогонит нас спать"²⁰⁵.

Повсюду они ходят вместе, но Станкевич ужинает один, опять-таки из-за нездоровья. Он выбрал "Jäger", лучшую гостиницу Берлина, пока его друзья питаются за гроши у Фридберга. Станкевич приглашает их, хотя бы раз в неделю в "Егер", и придумывает тысячу предлогов, чтобы они приходили чаще. После обеда кондитерская у Кранцлера, расположенная на Unter den Linden, где они пьют кофе и читают газеты. Менее обеспеченный, Неверов ходит реже в театр, чем его друзья, но ведет более активную "светскую" жизнь. Станкевич иронизирует: Неверов посещает "Мендельсонова зятя, у которого даются концерты, какую-то Fräulein von Solmar, которая поит его чаем, и здешнюю литературную знаменитость Варнгагена фон Энзе, большого охотника писать биографии. Из этих трех мест доходят до нас идеи художественные, литературные, общественные, а наша жизнь расположена между университетом и театром". Неверов бывает также в доме богатого негоцианта, г-на Сигмунда, одна из его дочерей выйдет замуж за поэта Гервега, а другая за француза Пиаже, который переведет на французский язык книгу Кенига "Literarische Bilder aus Russland". В этом гостеприимном доме, в воскресенье вечером, собирается молодежь для танцев; там поляки избегают русских, нередко случаются столкновения. Иногда Грановский сопровождает Неверова, прежде всего, чтобы побеседовать с умной и образованной Эммой. Станкевич воздерживается и комментирует: "Неверов простер свою любезность до того, что пек им русские блины". При этом они не поддерживают никаких отношений с русскими педагогами, находящимися в Берлине, "прежалкий народ"²⁰⁶.

В декабре из Швейцарии прибывают супруги Фроловы. Николай Григорьевич закончил Пажеский корпус, отслужил в гвардии, затем, желая "посвятить себя науке", поехал учиться в Берлин. Его супруга, Елизавета Павловна, старше его на десять лет, приехала для консультации с врачами. Они направляют визитные карточки всем русским

* "Очерки российской литературы" (нем.).

в Берлине. "Приезд этого замечательного семейства не только изменил нашу жизнь, но имел обширное влияние на ход и направление наших занятий, - рассказывает Неверов. - Мы были очарованы не только умом, любезностью, образованием, но даже научными познаниями этой необыкновенной женщины"²⁰⁷. Фроловы привлекают к себе не только русских, а интересных лиц Берлина: Беттину фон Арним, Варнгагена, композитора Мендельсона-Бартольди, профессоров Ганса, Вердера и даже А. Гумбольдта, работу которого, "Космос", Фролов переведет позднее для "Современника". Неверов будет проводить у них почти все вечера. Иван Тургенев, прибывший в Берлин год спустя, также станет усердным гостем. Он оставит портрет Елизаветы Павловны: "...женщина очень замечательная. Уже немолодая, с здоровьем совершенно расстроенным (она скоро потом умерла), некрасивая - она невольно привлекала своим тонким женским умом и грацией. Она обладала искусством *mettre les gens à leur aise**, сама говорила немного, но каждое слово ее не забывалось. В ней было много наблюдательности и понимания людей. Русского в ней было мало, она скорее походила на очень умную француженку, *un peu de l'ancien régime*** , Стефания Баденская считала ее в числе своих приятельниц, Беттина часто ходила к ней, хотя в душе ее побаивалась. Г-жа Фролова обходилась с Беттиной *un peu de haut en bas*"²⁰⁸.

Тургенев добавляет, что Варнгаген дразнит Беттину, которая называет его *Giftesel****. О Фролове, которого он не очень признает, Тургенев пишет, что он "никогда не вмешивался в разговор сидел в углу, разливал чай, значительно мычал, поводил глазами, подергивал усы, но не раскрывал рта". Если позволяет состояние здоровья, Станкевич в сопровождении Грановского присоединяется к Неверову, и они просиживают иногда вчетвером целые ночи, потому что г-жа Фролова ночью чувствует себя лучше, засыпает только на рассвете и целые дни проводит в постели. "Знакомство Фроловых заменяет нам все, - отмечает Станкевич, - кроме того, что с ними не наговоришься, пришедши к ним запросто, у них мы видим людей, которые чрезвычайно интересны"²⁰⁹.

Но Станкевич приехал в Берлин не для того, чтобы посещать салоны: "Нынешний семестр, - сообщает он своим московским друзьям, - профессор Вердер и проф. Ранке преимущественно

* вызывать у других ощущение непринужденности (фр.).

** немножко старорежимную (фр.).

*** немного свысока (фр.).

**** ядовитым ослом (нем.).

займут нас с Грановским. Несколько посещений решат, можно ли и нужно ли взять еще кого-нибудь. Вердер читает логику и метафизику (так называют популярно гегелевскую логику) по утрам, а после обеда историю философии от Декарта. Ранке - новейшую историю, начиная с XVIII столетия. Чтобы подготовиться к первому, я купил "Пропедевтику" Габлера; прочетши ее, увижу, не нужно ли мне будет *privatissime** прослушать феноменологию, потому что на веру я ничего не принимаю. Несколько страниц из "Пропедевтики", несколько из Гегеля, опять пробудили во мне то *unentwöhntes Sehnen***... Опять полное доверие к Гегелю, опять стремление к истине. *Zucht des Denkens**** - вещь необходимая; содержание ничтожно, ложно без формы, составляет с нею одно; оно не истинно, пока не в истинной форме в наше время, на нашей точке, нет удовлетворений, нет полной жизни без этой формы".

Тем, кто мог бы удивиться, что они лучше не используют "сокровища" университета, он заранее возражает. "Вердер и Ранке - два таких сокровища, над которыми нам придется работать до кровавого пота, потому что заниматься не значит ходить только на лекции. Представьте, что нам придется думать над логикою, читать Декарта, Лейбница, Фихте и проч. Признаюсь, Бог привел меня в Берлин, что б я делал в Италии? Философия и современный мир - вот два господствующих занятия на нынешний семестр". 2 ноября он пишет Бакунину: "Сейчас приехали мы с Грановским от Вердера, любезный Мишель. Можешь представить, как интересно мне было увидеть в первый раз гегелиста <...>. Лицо неестественной белизны, светло-русые волосы, глаза совершенно голубые, следы сидения на лице явные, видно, что и лимфа прихватила голубчика. Но он говорит о предмете с теплотою, рисует пальцами по воздуху, расставляет их, когда говорит о разделении и складывает очень живописно в пучок, когда дело идет о целом. Все знакомые жесты человека мыслящего даже я, бывало, отвечая Надеждину из эстетики, чертил пальцами по столу, а говоря что-нибудь о Гегеле и стараясь не удалиться от главного основания, крепко держался пальцем за свой нос, как будто бы в нем была вся философия!"

Гегеля, скончавшегося в 1831 г., заменил Г.А. Габлер, скучный "старик", долго преподававший в гимназии. Желая сделать понятной систему Гегеля, он выбрал наиболее доступную его работу, "Энци-

* частным образом (лат.).

** прежнее влечение (нем.).

*** дисциплина мысли (нем.).

клопедию", и педантично разделяет ее по частям. Тем не менее, Станкевич, заинтересованный методом, посещает его лекции и переходит от *Moralität* * к *Sittlichkeit* **, "хоть умнее не сделался". Он снова запишется к нему на следующий год в надежде, что Габлер займется Феноменологией помимо антропологии и психологии, заявленных в его программе. Обращаясь, вслед за Станкевичем, к оглавлению "Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss"****, изданной при жизни Гегеля (первое издание в 1817 году, второе в 1827 и 1830 годах), мы узнаем, что третья часть, "Философия духа", состоит из трех разделов:

1/ субъективный дух: антропология, феноменология, психология;

2/ объективный дух: право, моральность (*Moralität*), нравственность (*Sittlichkeit*);

3/ абсолютный дух: искусство, религия откровения, философия.

Следовательно, Габлер следует своему собственному плану. Его курс зимой 1837-1838 учебного года посвящен "объективному духу". Затем он переходит к "субъективному духу", не касаясь феноменологии. Станкевич легко ориентируется в этом лабиринте: "В особой книге Гегель дал этой части более обширное значение. Немудрено, что Габлер не назвал ее, не желая подать повода к недоразумению. Но вероятно, что он прочтет феноменологию в тесном смысле, т.е. свою пропедевтику! Виват!"

Свои сомнения Станкевич излагает именно Вердеру: "Могу ли я прямо приступить к логике, не изучивши феноменологии, и будет ли мне понятно начало? Он отвечал утвердительно: начало *ansich***** оправдывает себя. Мы, говорит он, только покажем сначала: когда человек начинает *rein Denken******. Потом, *anders kann man nicht rein Denken******, как при этом начале. Разумеется, что в таком случае логика все-таки предполагает феноменологию, но как феноменология, наконец, разрешается в логику, так логика ведет к феноменологии. Учиться поневоле надо с логики". Вердер уточняет, что феноменология нуждается в переделке; это первое сочинение Гегеля, где его мысль высвободилась с напряжением порождения:

* Моральность (нем.).

** Нравственность (нем.).

*** "Энциклопедия философских наук" (нем.).

**** в себе (нем.).

***** чисто мыслить (нем.).

***** иначе нельзя чисто мыслить (нем.).

"Так что изучать ее - значит долго оставаться в пределах явления, не схватывая чистых законов, выраженных логикою". Он добавляет, что феноменологию нелегко преподавать в университете из-за ее внутренней организации, бесконечного соединения и разъединения конкретного с абстрактным, а также из-за ее содержания: совокупность наук о духе - право, история, эстетика и т.д., которые необходимо изложить отдельно как части феноменологии, прежде чем дух достигнет чистой сферы мысли, где начинается логика"²¹⁰.

Становится ясно, что Вердеру преподавать "Феноменологию" не по душе! Глядя на человека, выступающего одновременно как поэт и как актер, Станкевич может, хотя бы, представить себе, в чем заключается примирение прекрасной души с "моральным сознанием". "Это редкий человек. Ему 30 лет от роду, но он так наивен, как ребенок. Все его радует, как нельзя больше. Кажется, на целый мир смотрит он, как на свое поместье, в котором добрые люди беспрестанно готовят ему сюрприз. Нельзя не позавидовать этой тишине и ясности в душе, этой вечной гармонии с самим собой". Объясняя и комментируя "Логику", чтобы оживить абстрактные формулы Гегеля, он постоянно прибегает к цитатам из второй части "Фауста" и стремится поднять их на уровень моральных правил, признающих достоинство человека и его эстетическое воспитание.

Вердер излагает Станкевичу свою концепцию всеобщей гармонии: человек, освободившийся от пошлого быта, должен считать, что каждый удар судьбы обусловлен игрой богов (Spiel der Götter). "Он не должен смотреть на удар как на чуждое, под властью которого он находится, но принять его под свою власть; он общее, все другое в нем, если он не сумеет удержаться в этом общем силою своей любви, если он не покорит внешнего, то внешнее покорит его, изгонит из самого себя!" Станкевич одобряет, признавая, что сам не обладает еще такой силой характера: "Его беседы имеют на меня всегда спасительное влияние, самому становится лучше, и даже сам становишься лучшим". Он видится с Вердером почти ежедневно, на его утренних лекциях и после обеда наедине. Вскоре между ними устанавливаются дружеские отношения, и возникает чувство взаимного уважения. Вердер заверяет его, что у него истинно немецкая душа: "Моя докучливая пытливость внушила ему обо мне, по крайней мере, одно доброе мнение: что я сам хочу думать - это он замечал и в Грановском, и потому сознался, что до сих пор он увлекался общим мнением о русских, что они

способны только одеваться в чужое образование, а теперь видит самостоятельные мысли"²¹¹. В свою очередь, Станкевич славит Вердера в Москве: "Что за человек твой Вердер! - восклицает Боткин. Ты написал только две мысли его <...>, но эти две мысли сделали то, что Виссарион и я горячо и глубоко любим Вердера и понимаем твою привязанность к нему"²¹².

Этот восторг не все полностью разделяют: "Жаль только, что он с одним собой знаком", - сказала Тургеневу Фролова однажды, после ухода Вердера. Находясь в Берлине в 1844 г., Огарев сообщит Герцену и Грановскому: "Вердер добродушное и глубоко innerliches* существо. Мне кажется, что я буду его откровенно любить; но боюсь, что он остановился на ортодоксии в науке и до такой степени успокоился верой в грядущее, что вся действительность ему кажется призраком, о котором не стоит того и говорить"²¹³. Жестоким, но близким к истине будет приговор, вынесенный позднее Иваном Киреевским: "Вердер пользовался некоторое время репутацией особенно даровитого мыслителя, куда ничего не печатал и был известен только по своему преподаванию берлинским студентам; но издав логику, наполненную общих мест и старых формул, одетых в изношенное, но вычурное платье, с пухлыми фразами, он доказал, что талант преподавания еще не порука за достоинство мышления"²¹⁴.

Спрашивая Вердера о том, с чего лучше начать изучение Гегеля, с логики или с феноменологии, осознавал ли вполне Станкевич важность этого выбора? Представится возможность в этом убедиться в августе 1838 года, в Бонне, при встрече с сыном Фихте: "Говорили о Вердере, и он спросил, что он- держится ли Гегеля или selbstständig**? Тут бы можно было поразвернуться, но я был вял, не мог много говорить и отвечал, что он, ни в чем не противореча Гегелю, selbstständig, ибо сделал систему своею и умел нам представить ее живо. - Есть ли для него логика вместе и метафизика? - Да. - Это главный пункт". Только впоследствии Станкевич задается вопросом: "Все в этом: может ли логика быть метафизикой?" Достижение абсолютной истины через "поэтическое и живое" представление "Логики" Гегеля - неужели он сам выбрал этот путь? Не ставил ли он себе целью открыть, прежде всего, истинные возможности, заложенные у самого себя в душе? Путь к Богу, который он исследует, проходит через познание самого себя. Без

* внутреннее (нем.).

** самостоятелен (нем.).

этой пропедевтики, без этой дисциплины ума всякое усилие мысли оказывается тщетным и обманчивым. Человек несовершенное создание, он не может иначе достичь чистой мысли. Больше, чем когда-либо, Станкевич уповает на гармонию между верой и разумом, но отступать он больше не может: "Мы так далеко зашли, противоречие развилось слишком сильно, струны на душе порвутся, если им не дать этого строя; нет исхода, нет спасения. Если мне теперь хуже, нежели было прежде, то я должен благословлять судьбу свою - это указание на другую жизнь, в которую я еще не перенесся совершенно". Подвиг Станкевича заключается в погружении в мир чистых форм, в "Логику" Гегеля. Необходимо провести мысль через все мытарства диалектики, Станкевич в этом убежден: гармонии он достигнет только такой ценой²¹⁵.

Но это погружение совершается под руководством Вердера, а "независимость" (Selbständigkeit) Вердера состоит в его искусстве обходить, в ходе его "поэтического и живого" изложения, трудности, порожденные философским критицизмом. Советы его Станкевич передает своему брату Ивану, желающему приобщиться к философии: "Он советовал отложить Канта: с ним, говорит он, никогда не придешь к философии, а взять "Об эстетическом воспитании" Шиллера и изучать отчетливо, а не перелистывать, или Шеллинга, "Ueber die menschliche Freiheit", или, всего лучше, несколько разговоров Платона в переводе Шлейемахера". По свидетельству Огарева, Вердер намеревался сделать "живой" и доступной критику Канта, показывая, как взаимно обуславливают друг друга живой индивид и построение его мысли: "Я было и поверил; но, по достоверным известиям, о живом человеке ни слова не было, а только о мертвой системе, а то было только у него в уме. Ах! немцы, немцы! Право, люблю их очень, но бесят они пуще всех народов на свете"²¹⁶.

Приводят ли чистые формы гегелевской логики к "откровению" "истинной" действительности в поэтических образах? Или же они являются орудием критической мысли, диалектическим методом познания? Вердер, поэт-философ, будучи более шеллингианцем, чем гегельянцем, явно придерживается первого положения. Не является ли "поэтизация" Логике отступлением от иерархии, установленной самим Гегелем, между образом в искусстве, религиозным сознанием и абсолютным философским познанием? Тут предлагается выбор между поэтизированным видением и строгой дисциплиной ума. Скорее,

* "О свободе человека" (нем.).

чем в мир "Логики" Гегеля, Вердер заводит Станкевича в волшебное царство "Матерей", где Фауст с помощью треножника оживляет образы Париса и Елены. Но, еще при чтении Канта в Москве, в поисках Бога, Станкевич приобрел другие понятия. Его тернистый путь не ведет к овладению треножником Гете, а к восприятию Идеи, к самопознанию, к примирению с собой, с действительностью, с Богом.

Давая советы своим друзьям в Москве, Станкевич четко различает подходы к изучению Гегеля. Боткину он рекомендует начать с "Эстетики", изданной Г. Гото, профессором истории искусства, лекции которого он слушает летом 1838 года, и с одобрением отзываясь о ясности его изложения и его любви к поэзии и искусству. Бакунину он советует начать изучение Гегеля с "Rechtphilosophie". Гегельянскую школу права защищает Ганс, в постоянном конфликте с Савиньи, главой школы истории права. За ученым спором юристов скрывается столкновение либералов и консерваторов. Не интересуясь политикой, Станкевич не придает внимания этому существенному моменту деятельности Ганса: "Ганса я слушал, когда он говорил о переходе из средних веков в новый мир, о пороке и пр. Ничего нового здесь не может быть, но он очень ясен, отчетлив и даже brillant*". Его добродушная физиономия, жидовские черты лица все в нем очень мило"²¹⁷.

Богословскими проблемами Станкевич тоже не интересуется. Однако "Философию религии" Гегеля опубликовал в 1832 году Маргейнеке, учитель Бруно Бауэра; однако это как раз время горячих споров о книге Давида Ф. Штрауса "Жизнь Иисуса", изданной в 1835 году; она подвергает сомнению историчность Христа; Евангелие будто изображает его символически, в соответствии с мифами, отвечающими религиозным чаяниям еврейского народа. Штраус рассматривает заново высшее, трансцендентное начало - тождественность, постулированную Гегелем и подтвержденную Вердером, между метафизикой и логикой, между религией и философией.

Уже давно Е.Б. Генгстенберг, профессор богословия в Берлинском университете, оспаривает Гегеля в "Газете евангелической Церкви". Он видит в работе Штрауса подтверждение своих опасений: гегельянство претендует на роль учения об абсолютном откровении Бога в исторической действительности; оно лишь отрицание и

* "Философия права" (нем.).

** блестящ (фр).

скептицизм, ведущее к пантеизму и далее к атеизму. В журналах "Zeitschrift für spekulative Theologie" и "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik"* ортодоксальные гегельянцы и особенно Маргейнеке и Бруно Бауэр защищают учение их учителя одновременно от нападок непреклонных лютеран и "ложных" интерпретаций, выводимых такими рационалистами, как Давид Штраус. Бруно Бауэр полагает, что критика не имеет права затрагивать христианские догмы. Философские понятия, завершая свое развитие, совпадают с этими догмами; критический анализ должен остановиться у входа в храм религии. Штраус возражает полемическими заметками (Streitschriften).

Работы гегельянских богословов, напротив, увлекают Бакунина в Москве. Из Швейцарии Варвара сообщает ему о беспокойстве, вызванном у нее от чтения Штрауса: "Не бойся книги Штрауса, - отвечает ей Мишель, - это последнее и самое могущественное проявление скептицизма, и это благо. Мефистофель должен проявиться во всей полноте своей силы для того, чтобы быть вполне побежденным. Гегелисты не только что не молчат, но распались даже на две партии, из которых одна приняла сторону Штрауса, а другая могущественно и торжественно противостояла ему и они победят, в этом нет никакого сомнения". Он сам читает книгу Штрауса летом 1839 г. Верный своему правилу никогда не бояться правды, он советует своему окружению прочитать эту книгу: "Милые девочки, - пишет он сестрам, - читайте Штрауса, любите его, но не совсем верьте ему; сколько я могу судить, то мне кажется, что он находится в моменте Werden** и что в нем все преобладает еще отрицательная деятельность рассудка, за которою положительный, разумный результат виднеется как заря будущего солнца"²¹⁸. Эта смелость, эта неколебимая вера в торжество правды противостоят осторожному, пугливому отношению Грановского. Он пишет Станкевичу, что это сочинение "отличается необыкновенной ученостью и красноречием, но главная идея автора разрушительна: он решительно отвергает божественность Иисуса Христа. Я прочту сначала возражения, а потом саму книгу"²¹⁹.

Если Станкевич не захвачен богословскими вопросами, то это тоже оттого, что у него, как ни странно, возникли иные интересы. Он и Вердер обнаруживают, что у них общие вкусы; оба они увлечены

* "Журнал умозрительного богословия" и "Ежегодники научной критики" (нем.).

** формирования, становления (нем.).

театром: "Мы с Вердером иногда вместо философии целый час беседуем, кто как играл". Это общее увлечение в Берлине, поощряемое прессой, где театральные новости выгодно заменяют политические новости²²⁰. "Тогда соперничали две певицы, - вспоминает Тургенев, Леве и Фассман, признаться сказать, обе довольно плохие, Грановский был поклонником Леве, высокой и красивой брюнетки, Станкевич предпочитал Фассман, блондинку"²²¹. Леве особенно хвалили в "Норме" Беллини. А Станкевич сначала нашел ее "чудовищной" (etwa ungeheures): "Представьте высокую, худую брюнетку, с огненными черными глазами, в белой одежде, с золотым поясом, с золотою диадемою, удивительна! <...> Первый хор, так незначительный на фортепьяно, в пении, с оркестром делает fugue. Его заставляют всегда повторять. Куча басов грозит Риму погибелью: так бы встал да и пошел. Хорошо, что Константина взята, а то Грановского ни за что бы не удержать. И, вслед за этим, обольстительная, изнеженная каватина Нормы "du keusche Göttin"; впрочем, нет пяти хороших номеров, болтовни пропасть!"²²²

Если Неверов как истинный меломан изучает композицию в музыкальной академии, то Грановский, несмотря на похвальные усилия, не способен прочувствовать красоты "Дон Жуана": "Я не понимаю Фиделио и зеваю на ораториях Себастьяна Баха, которых, Бог даст, уже никогда не услышу. Но что из этого следует? - только то, что я не получил музыкального образования. Зато простая мелодия немецкой или малороссийской песни может довести меня до слез"²²³.

Кто лучше: Фассманн в роли донны Анны? или Леве в роли Эльвиры? Эти бесконечные споры становятся приятным развлечением для Станкевича, помимо экскурсий в мир чистых форм. Тем не менее, предпочтение, оказываемое им Фассманн, неслучайно. Итальянскую оперу он не очень оценивает и предпочитает немецкую музыку, произведения Глюка. По мнению Вердера, это наиболее моральная музыка: она не порождает грусти, терзающей душу, не преображает религиозного чувства. Mademoiselle Фассманн имеет успех именно в операх Глюка "Ифигении", "Армиде".

В марте 1838 г. в Берлин приезжает знаменитый Зейдельман. Он ангажирован королевским театром Schauspielhaus и производит фурор в ролях Мефистофеля, Натана Мудрого, Полония; роли холодных и коварных людей особенно ему подходят. Станкевич сообщает о нем сестрам. Он также с одобрением отзываясь о комических

* "Ты целомудренная богиня" (нем.).

актерах Герне и Бекмане и сравнивает первого с Живокини, завсегдаем кафе Печкина в Москве, где бывали интеллигенты и артисты. Бекман, другой комик Кенигштадтского театра, очень популярный среди либералов, сторонников движения "Молодая Германия", играет тоньше: "Не улыбнется, ни одного фарса, играет просто и морит со смеха".

При этом, в равной степени, Станкевич умеет оценить спектакль, предлагаемый улицей. По дороге в университет, он проходит по бульвару Unter den Linden: "Здесь чудесный дворец принца Вильгельма, по-моему, самое красивое здание в Берлине. Против него, вкось университет, немного похожий на старый московский, подде - Orpernhaus, дальше площадь, которую окружают: арсенал, музей, церковь и огромный замок наследного принца, напоминающий Зимний Дворец. Отсюда, через мост в Königsstrasse, самую живую улицу в Берлине: здесь всякий, ничего не платя, может иметь удовольствие толкаться локтями с торговками и даже быть сбиту в грязь, что также очень приятно. Тротуары никак не вмещают пешеходов, а по улице никому идти не хочется. Почта - предел моих путешествий. Далее начинается для меня неизвестная страна, которую я собираюсь посетить в хорошую погоду. На противоположной стороне города стоят Бранденбургские ворота и растет Tiergarten*, сокровище берлинских жителей"²²⁴.

За несколько лет до этого, французский публицист Э. Лерминье въезжал в Берлин через Бранденбургские ворота и восхищался силой и величием зрелища: "Первый памятник, поражающий вас это арсенал со статуями генералов Бюлова и Шарнгорста, Блюхер один стоит напротив. Университет находится за цейхгаузом. Далее виден музей". Он считал символичной близость университета с арсеналом: "Пруссак дисциплинирует и облачает в форму свои идеи, подобно тому как ведет свои войска и военное учение"²²⁵. Другой публицист Сен-Марк Жирарден сравнивает Пруссию с казармой: "Такова эмблема Пруссии: университет и арсенал, пушки и образование, студенты и солдаты"²²⁶. Лерминье превозносит немецкие добродетели: "Поезжайте в Берлин, если вас привлекают зрелище силы, благородство оружия, глубина мысли, непоколебимое и постоянное почитание науки, горделивое неистовство ума". Жирарден предчувствует, но не предвкусывает уже наступающую угрозу прусского милитаризма. Станкевича, приехавшего в Берлин в поиске дисциплины мысли (die Zucht des Denkens), нисколько не коробит зрелище организованной

* Зоологический сад (нем.).

и дисциплинированной Пруссии. Он охотно любит военные церемониями, сменой караула: "Для меня величайшее наслаждение выйти в 11-ть часов в ясный день перед Opernhaus, посмотреть на памятник Блюхера, на бульваре, на Schloss, - подойти к кордегардии, глядеть на толпу и слушать музыку, которая тут ежедневно играет. Синие мундиры мелькают перед глазами, торговки останавливаются и разевают рты; студенты в шапках, похожих на дыню, бродят с портфелями изредка выдается между ними бородастая, глупая физиономия, на которой написано уважение к самой себе; запачканные бурши* и Strassenjungen довершают картину".

Зимой дети катаются на коньках в Тиргартене; от резиденции принца Вильгельма отъезжают "аристократические" поезда: "Впереди саней скачут жокеи в парадных куртках разных цветов, вышитых галунами; лошади убраны страусовыми перьями, кавалеры правят большею частию сами, но у одного из принцев сидит русский кучер, с бородою, и перед санями скачет русский казачок, бабы в восторге кричат: "Sieh, doch, sieh, doch! da kommen die Russen! Du Jott (вместо Gott) im Himmel! Schön! Wunderchön!"** Студенты проводят карнавальные шествия, пародируя эти процессии: "кавалеры в вывороченных шубах, шафироках: почти половина их наряжена в женские платья. Кроме этих фальшивых "дам", студенты ведут прачку или торговку. Они даже приглашали Неверова, который отказался"²²⁷.

Согласно официальным директивам, русских принимают в Берлине очень благосклонно. Фридрих III является шурином Николая I и не забыл, что его королевство было освобождено Россией. Несмотря на усилия либералов, мечтающих о союзе немцев с французами и ради "спасения цивилизации", чтобы сдержать русских, укрепившихся в Варшаве, чтобы вынудить царскую империю "отвернуться в сторону Востока", механизмы Священного Союза действуют по-прежнему эффективно. В 1830 г., несмотря на общественное недовольство, прусское правительство закрыло свои границы перед обозами с оружием, отправленными польским повстанцам.

Торговцы, портные и владельцы книжных магазинов с легкостью продают русским свой товар в кредит. Впрочем, традиционное раболепие перед притягательными наградами делает многих профессоров очень снисходительными по отношению к русским. Это

* Бурш (от сл. Бурса) - так называются студенты в Германии (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

** "Смотрите, смотрите: Вот едут русские! О Боже, на небесах! Как красиво! Как удивительно красиво!" (нем.).

шокирует Грановского: "Недоступные для немцев, они сами вызываются служить нам своими советами. Причина такой милости делает им не много чести. Эти господа большие охотники до крестов и подарков: помогая русским студентам, они надеются обратить на себя внимание нашего правительства и получить от него какую-нибудь награду. Вообще здесь большие спекуляции на Россию. Нам до этого дела нет..."²²⁸

18 декабря 1837 г., в день св. Николая по православному календарю, вся русская колония спешит в церковь, чтобы чествовать царствующего императора. Ради такого случая приезжает известная актриса Шарлотта фон Хагн! Она имеет успех в роли кокеток, но невыносима в трагических ролях. Станкевича она морально "оскорбила", сыграв Теклу в "Валленштейне". Вероятно, она впервые была в русской церкви и, не зная, что ей надо делать, беспрестанно кланялась попу; в заключение, она подошла ко кресту, как и люди, и потом сказала посланнику, что она так обязана русскому государю и так уважает его, что не могла пропустить случая за него помолиться".

Осенью 1838 г. императорская семья находится в Берлине. Она присутствует на представлении балета "Корсар". Станкевич восхищается великими княгинями. "Мария очень хороша собою, но Ольга такая красавица, какую только может нарисовать воображение". Присутствует много немецких принцев: баварский крон-принц, великие герцоги: Веймарский и Маклембургский. Чуть позже Берлин получает пушки, присланные Николаем I в подарок прусскому королю. Пушки и русские солдаты, которые их сопровождают, обращают на себя внимание всего Берлина: "Король приказал дать им бал в казармах, потом повезти их в театр, где все на них оборачивались, тем больше, что они ужасно стучали своими саблями"²²⁹.

Неверов уверяет Станкевича, что вообще большая мода на все русское. "Здесь самый лучший чай называют русский, и на мой вкус он настоящий русский Иван-чай". Но вскоре его начинают раздражать беспрестанные расспросы о России, которые ему задают в ресторане: "Многие здесь знают о России столько же, сколько мы знаем об Японии". Его раздражение объясняется недоброжелательным тоном его собеседников. Эту враждебность вызывает царская политика по отношению к Польше. Со своей стороны, Грановский пишет по-французски своей кузине: "Русское гражданство усиливает мое неприятное положение; как правило, здесь настроены против нашей страны и наших соотечественников и,

истинно, не без оснований. и что я могу только похвастаться своими отношениями с немцами, но это исключительное положение от этого становится еще тягостнее, потому что вынуждает меня слушать всю глупую клевету о России. Они думают, что оказывают мне доверие и не считают меня виноватым, откровенно говоря со мной о моей родине. В начале я спорил почти каждый день по этому поводу, но как только я понял бесполезность моих усилий внушить немцам лучшее мнение о России, я лишь посмеиваюсь над их невежеством"²³⁰.

С высоты кафедр нередко высказывается опасение перед "гунами, угрожающими Европе новым варварством". Не в силах вмешиваться в дела более удаленных стран, царская власть может серьезно запугать берлинских профессоров. В частности, она придирается к Фридриху фон Раумеру, профессору политических наук, автору истории Гогенштауфенов. За свою стойкость, он заслужит должность делегата в парламент Франкфурта в 1848 году. Варнгаген записывает в своем дневнике 11 июня 1837 года, что некий слушатель Фридриха Раумера, поляк, повторяет родным несколько фраз о разделе Польши, услышанных на лекции: "Письмо было перехвачено русской полицией, и император Николай передал его содержание правительствам Пруссии и Австрии, потребовав от первого, чтобы оно приняло меры против возмутительных речей, произносимых с университетской кафедры". 22 июня Варнгаген добавляет: "Мы надеемся уладить дело Фр. Раумера. Он действительно заслужил выговор за некоторые выражения, но другие были выдуманы самим поляком. Даже самые вопиющие могли быть дурно истолкованы только вследствие недоброжелательства или смехотворного недоразумения со стороны русских полицейских властей"²³¹.

Неверов описывает, что в ресторане Ягерь, после чтения какого-то французского памфлета против России, группа польских аристократов поднимает тост, возмутительный для присутствующих русских. Грановский, в свою очередь, приказывает подать шампанского, поднимает бокал и взволнованно обращается к "славянским братьям". Он призывает их не думать больше о прошлом и принять решение Провидения, поставившего Россию во главе славян с тем, чтобы они вместе вошли в историю. Если верить Неверову, Грановский был так красноречив, что поляки и русские обнялись по-братски, и более не было столкновений!

Безусловно, на эту проповедь во имя *панславизма* Грановского вдохновило пребывание в славянских землях летом 1838 г. Между

ним и Станкевичем появятся разногласия, выражающие дилемму, с которой сталкиваются за границей молодые русские ученые в поисках духовных союзников, помимо каких-либо политических связей: объединение либо вокруг такой философской системы, как гегельянство, либо вокруг славистики, славянского союза. Философов-германофилов, таких как Станкевич, привлекает Берлин; славистов, таких как лингвист Бодянский, привлекает Прага. Министр Уваров с симпатией относится к этому сближению: "Путешествия молодых наших ученых, отправленных для словенской филологии, доставили мне ближайшие сведения о настоящем положении словенского мира, о движении там умов и словесности, о домашних, так сказать, делах словенских литераторов, и я невольно сделался как бы поверенным их тайных чувствований и желаний. Развитие возрождающейся словесности, словенских племен сопровождается, тем не менее, замечательным усилением привязанности и стремления к соплеменной России. При перемогающемся влиянии германской жизни, постепенное исчезновение национальности словенской заставляет дорожить всеми еще уцелевшими памятниками родного языка и словенской старины, открывать, объяснять и обрабатывать их; но хладнокровное отчуждение германских правительств обращает умы и сердца к России, где словене надеются найти утешительное сочувствие и верное содействие. В России видят они единственную представительницу самобытности словенской; в правительстве русском могущественного блюстителя словенской народности... Щедроты русского царя, изливаемые на представителей словенской учености на Западе, будут приняты признательными соплеменниками нашими как благодеяние целому народу, еще более укрепят благотворные связи между нами и ими, и приобретут России новых друзей"²³³.

Завоевание новых друзей, с одной стороны, приводит к потере проверенных союзников, с другой. Подобно тому, как прусская монархия не стремится основать германское единство на опасном союзе с немецкими либералами, царская Россия не испытывает симпатии к попыткам сближения с "угнетенными братьями". Узы Священного Союза были подтверждены в 1833 году мюнхенгрецким съездом между Петербургом, Веной и Берлином, они придают законную силу русскому присутствию в Польше и возможному общему выступлению против польских и прочих революционеров. Чтобы не вызывать недоверия австрийского правительства, помощь чешским литераторам может осуществляться лишь неофициально,

при посредничестве таких людей как Погодин, поддерживающий дружеские отношения с Шафариком.

Закончив второй семестр, Грановский уехал изучать славянские нравы и диалекты в Богемию и в Вену. Его сопровождает С.М. Строев, приехавший с Неверовым в Германию предыдущей весной. "Он хочет также пробыть в Берлине месяца четыре, но, - восклицает Станкевич, - несчастный, он о сю пору не мог выучиться по-немецки и, несмотря на свою претензию на ученость, не в состоянии даже полюбопытствовать, что делается в знаменитом европейском университете".

Вердер уехал отдыхать к своим родным в Силезию, поблагодарив студентов за то удовольствие, которое они ему доставили своим вниманием. Станкевич записывает: "Прощаясь, мы немножко расстрогались, хоть мысль, что теперь целое утро свободно, была довольно утешительна. Я читаю теперь "Философию права" и до возвращения в Берлин намерен заняться более конкретными частями, логика должна идти исподволь рядом с нами". Озабоченный его здоровьем, Вердер порекомендовал ему доктора Ашерсона, советующего пройти курс лечения в герцогстве Нассау, в Эмсе и Висбадене, а не в Карлсбаде: "Этот совет порадовал меня, потому что Рейнские земли гораздо интереснее Богемии, которую я притом же и видел. Теперь мне удастся видеть самую прелестную часть Германии, которую я не думал посетить в нынешнем году, располагая по-прежнему провести зиму в Италии, что, впрочем, будет зависеть от обстоятельств".

Сообщая родным о своих планах, Станкевич не признается им, что этой зимой страдал от холода, что сидячее положение его утомляет, что он часто устает и особенно, что две струйки крови пошли недавно. Он ограничивается заявлением: "Требования мои увеличились: я хочу решительно помолодеть и сделаться, если не Геркулесом, то, по крайней мере, чем-нибудь не похожим на схимника и затворника"²³⁴. Не хочет ли он просто возмужать? С недавних пор у него появилась любовница, Берта, молодая немка. Связь продлится до его окончательного отъезда из Берлина в 1839 году. "Станкевич жил в то время один, - вспоминает Тургенев, - но у него с утра до вечера гостила одна девица, по имени Берта, недурная собой и неглупая <...>. Она была довольна остра и забавна по-берлински. Помню я одну ее остроу, переданную Станкевичем: у ней была сестра, которой

* "полная свобода печати" (нем.).

пришлось раз ночевать у Станкевича, Берта объявила, что она не хочет, чтобы в эту ночь была "allgemeine Pressfreiheit"*, хотя она и либералка²³⁵.

Несмотря на свой либерализм, девушка не лишена религиозных предрассудков: "Вчера она почувствовала, как говорит сама, *moralischen Katzenjammer**, по случаю Страстной Пятницы. Но я утешил ее, приняв торжественно грех на себя". Берта выезжает с ним в окрестности Берлина. Они посещают Потсдам. Станкевич восхищается простотой быта королевской семьи: "Король с фамилией отправился туда вслед за мною и так как у них просто, то я почти могу сказать, что мы с ним пили вместе кофе. Он сидел под окошком во дворце, а я тоже под окошком в гостинице, против него".

Они едут в замок Сан-Суси ** Фридриха II, аплодируют Герну в театре. Станкевич не решался поехать из-за недавнего кровохарканья, но Берта настояла, посоветовав выпить вина или шоколаду для восстановления сил. Она дарит ему прядь волос в золотой оправе с надписью: "Bertha". "Bürgerlich und romantisch"***, комментирует Станкевич. Грановскому он пишет, что Берте сшили по заказу, по случаю наступления весны, новое платье, легкое, как пух: "Onkel**** называет ее Флорою, а я боюсь, чтоб не вышла Помона". "Дядя" Берты, барон фон Фриш - вовсе не барон, но Берта объяснила ему, что величать всех благородных *heg* Вагон вошло у берлинцев в привычку. Станкевича самого наградили этим титулом его банкир Эльснер²³⁶.

Грановский, со своей стороны, останавливается в Дрездене ради неизбежного посещения его знаменитой галереи: "Картины Корреджио заставили меня в первый раз от роду задуматься над живописью. Это так хорошо, просто, понятно! Меня чрезвычайно обрадовало новое чувство, которое я в себе разбудил. Рафаэлева Мадонна слишком высока для моего разума, по крайней мере теперь. Я долго смотрел на нее, смотрел с благоговением, но думаю, что если бы мне ее не указали, то я прошел бы мимо". Он пересекает австрийскую границу: "Всякий чиновник смотрит здесь ястребом, нельзя ли к чему придраться. Еще противнее их собачья вежливость по получении денег. Уважение мое к Пруссии утроилось". В Праге он встречает украинца О.М. Бодянского. Граф Строганов послал его на Запад, потому

*утрызения совести (нем.).

** Загородный дворец Фридриха Великого.

*** Мещански и романтично (нем.).

**** Дядя (нем.).

что новый статус Московского университета предусматривает создание кафедры славянских наречий. Выполняя задание по археологии, Бодянский нашел в семинарии Переяслава два Евангелия, датированных 1545 и 1561 годами на "чистом" русском языке: "Под языком русским здесь должно разуметь язык малороссийский и в этом Евангелии, язык малороссийский чист как звезды небесные"²³⁸.

Грановский видится также с Шафариком: "Я не знаю, чему удивляться более в Шафарике: его великому учености или истинно великому характеру. Он не просто бедный человек, а буквально не знает сегодня, что завтра будет есть. Мы удивляемся самоотвержению, с каким немцы отдаются науке, но у Шафарика это еще удивительнее, потому что его, кроме бедности, давят еще тысячи других обстоятельств, которых в Германии нет. И при всем том он спокоен и тверд. А знаете ли, чем он живет теперь? Тайными пособиями Михайла Петровича Погодина. Это должно остаться между нами, потому что Погодин так благороден, что не хочет, чтобы это было известно"²³⁹.

Грановский не хочет отстать. Он предлагает Станкевичу и Неверову провести подписку в пользу Шафарика: нужно было бы найти человек двадцать, дающих в год по 25 рублей. Он обращается также к В.В. Григорьеву в Петербург, который одобряет этот проект, сообщает о нем Погодину и публикует в "Журнале Министерства Народного Просвещения" статью, прославляющую просветительскую деятельность Шафарика, затем отрывки из его переписки с Бодянским, свидетельствующие о его трудном материальном положении. Узнав об этом, Шафарик разуверяет во всем Погодина и выражает сожаление о бестактном поступке. Он надеется, что его корреспондент спутал потребность в книгах с другими потребностями и отрицает, что находится в стесненных обстоятельствах.

В Берлине проект Грановского не вызывает восторга. Шафарик уж не так беден, как предполагают. Судя по словам Варнгагена фон Энзе, он будто бы даже отказался от кафедры славянских языков в Берлине или в Бреславе! За год до этого в Праге Станкевич не принял всерьез богемских славистов. Он смотрел на город глазами немца. Он сожалел о судьбе императора Рудольфа II, "который страстно любил Прагу и, оставляя все государственные дела для ученых занятий, не оставлял своего любимого города и постоянно украшал его". Он восхищался городом с высоты дворца на Градчинской горе, в котором император за-

пирался со своими артистами, астрологами, астрономами и своими "миньонами". На замок Валленштейнов он смотрел глазами не историка, а читателя трагедии Шиллера. Для описания города он систематически использовал немецкие термины: Altstadt, Neustadt, Kleinseite, Teiskirche, Lorenzkapelle, так что трудно, читая его, представить, что он описывает не чисто немецкий город; он упоминает лишь вскользь, что старый город (Altstadt) населяют евреи, чехи и немцы. Поэтому нечего удивляться суровости и ласковой иронии Грановского в письме от 29 апреля 1838 г.: "Летом сюда приедет Погодин, которого чехи чрезвычайно уважают не как ученого, а как человека. Я познакомился со всеми знаменитостями Богемской литературы и с некоторыми молодыми литераторами. Обо всем этом будет подробно писано, тем более, что Станкевич в бытность свою в Праге смотрел духовными очами (буде у него таковые есть) совсем не туда, куда надобно. Да, Николай Владимирович, Вы хороший человек, я Вас крепко люблю, Вы многое во мне переменили, чего и сами не знаете, а при всем том иногда бываете ослом Валаамовым, равняетесь глупостью Шарлотте, а остроумием Неверову. Вы прошли мимо Шафарика, как мимо дюжинного человека, и нашли его односторонним, Вы назвали книгу Коллара: Litter. Wechelseitigkeit пустой, не прочтя десяти страниц в ней, и убедили в этом меня; наконец Вы, находясь в обществе чешских ученых, сделали пренелепую выходку против местного патриотизма и, как мне рассказывал Челаковский, которому, впрочем, вы не по заслугам понравились, заставили их молчать при Вас о том, о чем они собирались говорить. Кто вас создал таким? И на какой конец? Вы гоняетесь за конкретным, а сами отвлечение, худое больное отвлечение. У Вас только и конкретного, что нос Ваш, без шуток, душа моя, ты очень абстрактно посмотрел на этих людей и не отдал им справедливости. Можно не согласиться с ними, находить их идеи неисполнимыми и преувеличенными, и в этом я с тобою согласен. Но вменять им убеждения в недостаток, в односторонность несправедливо. Меня заставили прочесть книгу Коллара, и мне кажется, что, несмотря на болтовню, которой в ней много, она содержит много истинного и важного для нас. Выходки против философии очень простительны"²⁴⁰.

Опираясь на работы Шафарика, Коллар утверждает, что славяне представляют собой самый крупный европейский народ. Не формулируя политических требований, он заявляет, что славянская культура должна занять подобающее ей место наряду с четырьмя родственными

языками: русским, польским, чешским и иллирийским. Есть ли у славян настоящее историческое прошлое? или только будущее, в данном случае, с тех пор, как Россия поднялась на уровень исторических народов? Таково мнение Грановского после его беседы с Шафариком: "При всем моем уважении к его огромным сведениям, я не могу согласиться, что славяне не менее немцев участвовали во всемирной истории. Мне кажется, что нам принадлежит будущее; а от прошедшего мы должны отказаться в пользу других. Мы не в убытке при этом разделе. Как ни говори, а все-таки история германцев теперь важнее славянской, в связи со всеобщей. Через два-три столетия другое дело". Вместе с тем Грановский способен воспринять аргументы Иванишева, петербургского студента, собирающего в Праге документы по славянскому праву: "Он вовсе не энтузиаст и не славянофил, но уверял меня, что древнее славянское право несравненно выше современного ему немецкого по строгой системе и духу свободы, которым оно проникнуто. В самом деле, сколько я теперь знаю, чехи XIII и XIV века были гораздо образованнее в конституционном смысле после тогдашних немцев".

Грановский знакомится с одним сербским писателем, получившим европейское воспитание, который уверяет его, что сербы, относящиеся к южным славянам, только и думают о том, чтобы свести счеты с Константинополем (Царьградом). "Сербы очень привязаны к России: единственной земле, где славянин дышит свободно". Одному немцу, сказавшему, что в России свирепствует рабство, от которого вся Европа отказалась, этот серб возразил: "Славянская натура все крепка, стерпит все: мне легче быть рабом славянина, чем подчиненным немца". Наконец, по польской проблеме Грановский получает обнадеживающие заверения: "Говорят здесь, что они своею революцией наделали беды себе и всему славянству". Помимо немца и турка, врагом славян является венгр. Грановский пишет, что власть Австрии основывается лишь на вражде между венграми и славянами: "Шафарик, долго живший в Венгрии, уверял нас, что простые венгры вовсе не отличаются от предков своих, которые в X веке грабили Европу, те же дикие нравы"²⁴¹.

Месяц, проведенный в Праге, позволит Грановскому собрать богатый урожай информации и, вероятно, несколько поколеблет непреклонное германофильство Станкевича. Год спустя, в 1839 году, он лаконично сообщит Грановскому: "Я поехал через Прагу, был у Шафарика, как тебе уж, чай, известно через Драшусова". Мы ничего больше не узнаем об этой встрече²⁴².

Наконец, 6 мая 1838 г. Станкевич и Неверов уезжают из Берлина в Дрезден, они снабжены рекомендательными письмами от Фроловых и Варнгагена фон Энзе. В дилижансе они устраиваются возле кучера: "В течение двух, трех дней вдруг развились и зацвели деревья. Мы не могли надивиться на это внезапное превращение <...>. Вечером они распространяют совершенно медовый запах в воздухе". Они останавливаются в Эрцберге. Ночь прекрасна, они входят в задымленный танцевальный зал и восхищаются усердием, с каким вертятся танцоры под звуки трубы и скрипки. Они вновь пускаются в путь, и Станкевич просыпается только на границе Саксонии. На следующий день он отправляется взглянуть на коллекции фарфора; гид держит их два часа в ледяном подвале, где пяти минут было бы достаточно. "Я вспомнил рассказ одной дамы, которая была у Фроловых, про англичанку в мюнхенских галереях - elle gisait par terre*, - жертва своей любознательности, насилию отвели ей душу шоколадом"²⁴³.

Чтобы доставить удовольствие отцу, Станкевич посещает под Дрезденом королевские овечьи заводы, описывает способы стрижки и промывания шерсти, приводит цены. Он встречает русского купца из Одессы, который приезжает ежегодно в Дрезден продавать шерсть, купленную у русских заводчиков: "Это меня удивило. Я очень хорошо знаю, при всем моем невежестве, как дорого ценятся у нас саксонские овцы, и вовсе не ожидал, чтобы здесь нуждались в нашей шерсти. Но он говорил мне, что причиною этому есть многочисленность фабрик и потребность в шерсти среднего разбора". Станкевич не верит, его собеседник умалчивает о своих ценах и тем не менее он говорит правду. Благодаря развитию торговли в ганзейских городах, немецкое производство шерсти было известно еще в средние века, но организовано кустарным способом. Крупное механизированное производство производит переворот на рынке. Чтобы удовлетворять растущие потребности внутреннего спроса и противостоять иностранным конкурентам, особенно английским (импорт колониальной шерсти вскоре вызовет понижение цен в Европе), немецкие производители должны ввозить шерсть из России и Австрии. Качественное местное производство не может больше удовлетворить их потребностей.

В Лейпциге путешественники присутствуют на последних днях знаменитой ярмарки. Они совершают маленький проезд по железной дороге, проезжают дистанцию в четырнадцать верст

* лежала пластом (фр.).

менее, чем за полчаса на первом отрезке линии Лейпциг-Дрезден, которая будет торжественно открыта 7 апреля 1839 года. Тогда Станкевич проедет этот путь менее чем за четыре часа. Он получил серьезный выговор от отца, не желающего больше ничего слышать о Мишеле Бакуanine и угрожающего лишить сына средств, если он будет упорствовать в намерении финансировать его приезд в Германию. Бакунин устал ждать "средства" и послал письмо с угрозой разрыва отношений. Так порвать Станкевич не может, не связан ли он с ним "договором о молчании" по поводу Любы? Он отвечает сухо и в заключение пишет: "Прощайте, ваше абсолютное высочество! не пренебрегайте вполне человека, который по вашей системе развития стоит на степени сущности или отношения, т.е. в котором один момент не теряется в другом, но отражается <...>. Единство остается еще не положенным, скрытым. Прощай! Надеюсь увидеться с тобою и много, много, много переговорить"²⁴⁴.

В его письмах к Любе чередуются описания путешествий с наставлениями: "Ради Бога, будьте осторожны, берегите себя, помните, сколько людей соединили с Вашим счастьем свое!". Ни слова любви в последнем письме, который дойдет до Любы, а призраки его преследуют, чтобы их изгнать необходимы дорожные развлечения, вечера, проведенные в театре. Едва приехав в Дрезден, Станкевич сетует: "Не знаем, куда деваться вечером; театра не будет дней 8 или 10". Путешествуя по Европе, чтобы излечить свои телесные и душевные раны, он никогда не перестает шутить - над собой. Неверов ухаживает за ним с чрезмерной преданностью-Станкевич жалуется: "Он кутает меня, запирает двери, бранит за лишнюю трату денег и приобрел уже такую власть надо мною, что я боюсь его и иногда лгу ему - ей, ей, правда!"

В Дрездене они отправились к Людвигу Тику с рекомендательным письмом от Фроловых. Тик передает им, что не может принять их, потому что у него болит горло, и просит их прийти через день. "Неверов заключил из этого, что он собирается сказать нам речь". Через день Тик представляет их гостям, но, забыв их имена, спрашивает "Herr baron von...?" Станкевич вспоминает сцену в произведении Тика "Der junge Tischlermeister"*, где барон представляет своим родственникам своего друга, столяра, и, чтобы не оскорбить их аристократические чувства, выдает его за "профессора", а поруганный молодой столяр покоряется²⁴⁶.

* "Молодой столяр" (нем.).

Из Лейпцига, под проливным дождем, оба путешественника отправляются в Веймар. Они ищут дом Гете. Благодаря рекомендации, они приглашены на вечер к Frau von Gothe, вдове сына Гете. Во время разговора о литературе, музыке, Станкевич погружается в созерцание портрета Гете. На следующий день они идут поклониться могилам Гете и Шиллера, они тронуты заботой немцев о месте погребения. Затем они посещают дом Гете и восхищаются коллекцией медалей, минералов, статуями, все тут свидетельствует о богатой интересами жизни. Не достиг ли Гете идеала, к которому стремится Станкевич? В кабинете он рассматривает рукописи "Римских элегий", "Геца фон-Берлихинген" со следами помарок, поправок и, наконец, кресло, на котором автор "Фауста" умер.

Все так же, под дождем, Станкевич и его спутник проезжают Готу, Эйзенах и прибывают во Франкфурт-на-Майне. Там они знакомятся с доктором Ф.В. Карове, известным тогда своим очерком "Papismus und Humanität", посвященному "делу кельнского архиепископа". Арест архиепископа Дросте, за год до этого, прусским правительством, за его несогласие с компромиссным решением о смешанных браках, принятым Пием VII и Фридрихом III, волнует всю Германию и особенно рейнские земли, верные католическим традициям и присоединенные с 1815 года к протестантской Пруссии. В этом конфликте между ультрамонтанскими католиками (новой партией гвельфов) и протестантами, сторонниками просвещенной Пруссии и национальных интересов Германии, выступают Геррес, реформатор христианской мистики и защитник немецкой церкви, независимой по отношению к "заграничной" Пруссии ("Athanasius", 1838 г.) и Генрих Лео, представитель ортодоксального лютеранства, обвиняющий Герреса в поддержке папы против Германии ("Épître à Göres"*, 1838 г.).

В спор вступают, во имя Просвещения (Aufklärung) и Реформации, во имя миссии Пруссии, редакторы журнала "Hallische Jahrbücher"*** Арнольд Руге и Теодор Эхтермейер, представители течения "младогегельянцев". Подобно Гегелю, они хотят видеть в прусском государстве воплощение разума, а в протестантизме - момент развития мысли, ведущий к философскому примирению религии и разума. В отличие от А. Руге и его друзей, стремящихся прежде всего к воссоединению прусского правительства с либеральной позицией против "политической и религиозной реакции",

* "Послание Герресу" (фр).

** "Галльские записки" (нем.).

доктор Карове изучает проблему смешанных браков саму по себе. Станкевич придерживается такой же точки зрения: "Карове рожден в католической вере, от которой остался какой-то радужный, поэтический Anstrich* на его понятиях: в сущности, он протестант или, лучше сказать, философ, сколько я мог заметить. У меня лежит книжка его "Papismus und Humanität", из которой я успел прочесть введение". Как Карове, Станкевич хочет остаться только в рамках религии и хочет избежать политических рассуждений: "Когда я говорил ему, что последовательный протестантизм не может остановиться в положительной форме и должен перейти в философию, он отвечал: но ведь это лишнее говорить, что философия не есть религия. Иначе, что такое была бы философия? Религия есть требование философии, но философия должна кончить тем, чем начала; первая есть стремление (я говорю об окончательной форме философии), а что такое обладание, когда нет стремления, любви?"²⁴⁷

Станкевич верен первоначальной своей проблематике: философия имеет смысл тогда, когда она подтверждает основы веры. Стоит ли изучать ее без этого убеждения? Однако, не сводится ли гармония, к которой он стремится, к пассивному созерцанию в удовлетворенности обладать Истиной? Не заключаются ли, наоборот, сила любви и сама жизнь в вечно неудовлетворенном стремлении? В Лейпциге Станкевич знакомится с Кюне, издателем "Zeitschrift für die elegante Welt**": "Свидание наше было коротко, предметы разговора обыкновенны. Но к нему приходил Echtermeyer (sic), издатель "Hallische Jahrbücher", очень интересный человек. К несчастью, имя его узнал я, когда он уже ушел"²⁴⁸. Таково неудобство кратких встреч; беседа с Эхтермейером позволила бы Станкевичу осознать серьезность кризиса, переживаемого младогегельянцами. В представлении Густава Кюне гегельянство - кошмарный мир, кладбище, скопление костей, груда камней, самая грандиозная развалина человеческого мышления! Неужели погружение в сферу форм, одиссея сквозь страшный мир Логике, в надежде увериться в истине религиозного откровения, оказывается напрасной затеей, окончательно подорвавшей и авторитет философской спекуляции и основы веры? Как выбраться из этих обломков? как вернуться к конкретной реальности? Не в политике ли спасение? Политика для Станкевича существует только в анекдотичном виде: "Французы

* налет (нем.).

** "Журнал элегантного мира" (нем.).

хотят выгнать молодого Людовика Наполеона из Швейцарии; голландцы тягаются с бельгийцами, австрийский император коронуется в Ломбардии, Везувий отличается в Неаполе, но изо всего этого до сих пор видно одно: Везувий легко потешит глаза неаполитанской публики, не сделав никакого вреда, а Европа сохранит надолго мир, потому что войны, кажется, никто не хочет". Его симпатии обращены к Пруссии, единственному государству Германии, способному обеспечить порядок и благополучие. Он безоговорочно одобряет решения Zollverein*, отменившего внутренние таможи. Он восторгается корректным поведением прусских чиновников. Приехав из герцогства Нассау в Бонн для консультации у доктора Нассе, он не захватил с собой паспорта. По требованию полиции в гостинице, он вынужден отправиться в комиссариат. Он может лишь предъявить билет на пароход до Бонна и обратно. Чиновник ему доверяет: "Его вежливость и предупредительность сделали бы честь любому дипломатическому чиновнику. Может быть, имя русского дворянина и благородство физиономии немало сему содействовали, но, право, это мне понравилось: такая исправность в надсмотре и такое снисхождение к путешествующим!"²⁴⁹

А Грановский, со своей стороны, резко критикует Австрию: "Нечего делать. Тяжело смотреть на этот народ: едят, пьют и веселятся, а до остального им дела нет. О себе высокое мнение <...>. И между тем невежды в высокой степени. Университеты, кроме медицинских факультетов, хуже наших, и студенты спят на лекциях. Политического интереса нет: в кофейнях читают только театральные рецензии, а политические газеты лежат так. Скотство. До смерти хочется в Берлин". Еще в Праге один австриец признался ему: "Man hat uns sensualisiert; wir sind verloren für ein höheres Leben"²⁵⁰. И Грановский подтверждает: "Здесь это видишь своими глазами". Благодаря рекомендации, данной Варнгагеном, он бывает в высшем венском обществе. Его часто принимают в доме банкира Вальтера.

"Вчера я обедал у Вальтеров: за столом завязался разговор о смерти M. d'Abrantès, потом перешли к французской революции. Поверите ли, что некоторые из гостей не знали, в каком году началась революция, впрочем, все они люди comme il faut, с титулами и славно говорят по-французски. Хозяйка вывела их из

* таможенного союза (нем.).

²⁵⁰ "Нас превратили в сенсуалистов, мы негодны для возвышенных чувств" (нем.).

затруднения. Мне стало страшно при мысли о подобных обедах, которые предстоят мне в Москве. Я молчал во все время: у меня душа сжалась, слушая, как эти несчастные ломали святые имена и события. Хуже чем в России, это не невежественная вражда русского помещика, а какое-то холодное, бесчувственное презрение ко всему благородному, совершенное отсутствие нравственных интересов. Меня часто упрекали в недостатке терпимости, но как терпеть таких людей? Заключение разговора было также очень хорошо: "Mais savez-vous que Mme d'Abrantès a été la maitresse du prince Metternich? Vraiment? Mais oui, elle en dit tant de bien dans ses mémoires"*. Уверяю вас, что я не выдумываю. Был тут также земляк наш, граф Бук-н: годится в австрийцы. Вообще эти земляки распространяют самые нелепые понятия о России; например, одна русская аристократка уверила Mme Walter, что наши крестьяне очень счастливы и не чувствуют никакого желания другой участи. Мне стало досадно, слушая это, я заспорил, разгорячился и, какжется, разыграл пресмешную роль. С тех пор я стал осторожнее"²⁵⁰.

Не вдаваясь в политику, Грановский, тем не менее, применяет политические убеждения в своих исследованиях: "Меня почти исключительно занимает развитие политических форм и учреждений. Это одностороннее направление, но я не могу из него вырваться. Литературы нет ни у чехов, ни у сербов; исторических источников также. Все это истреблено, а новое только *im Werden*** Мне полезнее было бы выучиться по-итальянски и по-испански. Я теперь более всего занимаюсь историей Испании. Чудный народ! Они понимали конституционные формы тогда, когда об этом нигде не имели понятия. В 1305 году кортесы испанские определили, чтобы во время их заседаний войска королевские оставляли город: "иначе голоса не свободны". Таких законов у них было много. Теперешняя Европа еще борется за то, что у них тогда было. Для диссертации я выбрал предмет: об образовании и упадке городских общин в средние века. Позволят ли?"

Интерес Грановского к вольным городам, ведущим борьбу за свободу, означает возврат к любимым темам просвещенной России при Александре I, к истории Новгорода и Пскова, русских "свободных городов", связанных торговлей с Ганзой и противостоящих татарскому и московскому деспотизму. Но Грановский

* "А знаете ли Вы, что Mme d'Abrantès была любовницей кн. Меттерниха? Неужели? Ну да, она так положительно отзывается о нем в своих мемуарах" (фр.).

** В становлении (нем.).

не хочет, по примеру чехов, восхвалять "мнимые свободы", которыми пользовались славянские предки; для изучения политических свобод, он предпочитает обратиться к более надежному Западу²⁵¹.

Тем не менее, приобщение к философии ему кажется по-прежнему необходимым, чтобы не пасть под грузом эмпирических данных, он собирается преподавать историю. Станкевич неустанно повторяет: прежде чем нести истину другим, сначала следует найти ее самому, достигнув внутренней гармонии. Бакунин говорит то же самое Белинскому, когда он упрекает его в пренебрежении "внутренней объективацией", а Белинский передает этот совет своему двоюродному брату Иванову. Именно это советует Гегель: "Примирение должно сначала совершиться в самом субъекте, в сознании, что дух поселился в нем". Он заканчивает свою "Философию истории" напоминанием о всей важности изучения развития идеи, действительного становления духа через меняющиеся исторические формы: "Это подлинная Theodizee, оправдание Бога в Истории". В этой перспективе миссия преподавателя выступает поистине как священнодействие, к которому подобает подготовиться духовно. В Берлинском университете у Станкевича была возможность слушать противника этого положения, профессора Штура, оспаривавшего у Гегеля его берлинскую кафедру и получившего известность благодаря полемике с Нибуром: "На лекции хохочет и дурно говорит, но богатая голова. Гегельянцы говорят, что его философия истории шагнула дальше Гегелевой. Он читает о падении язычества. В последнюю лекцию он смеялся над Лейбницевою Теодицеею, называл ее dummes Buch*, хохотал ужасно: как вздумалось человеку защищать Бога? Вопрос о происхождении зла в мире он называет не христианским. Чудак!" Грановский жалеет, что ему не удастся ходить на его лекции по философии истории: это гений, но у его мало слушателей: "ворчит про себя, а не говорит". Зато труды, достойные Гегеля. В 1846 г., посещая Берлинский университет, Погодин заходит на лекцию о мифологии Штура. Всего один студент! Погодин его утешает: в России продолжают им интересоваться. Ждут вместе Вердера, Штур, "... кажется, был рад, что тот долго не являлся, как будто хотел мне сказать: у меня был хоть один слушатель, а этому и читать видно не для кого". Вердер появляется полчаса

* глупая книга (нем.).

спустя, "он обладает даром слова, говорит последовательно, ясно, живо - но что за отвлеченность! Только немцы могут держаться в этих воздушных или лучше, безвоздушных пространствах"²⁵².

"Защищать Бога", эта мысль пока не смущает Станкевича, он еще слишком верит в силу философской спекуляции. Не намерен ли он прежде всего защитить Бога от самого себя, от сомнений своего собственного рассудка? Ожидаемая гармония может быть лишь плодом безусловного примирения. Как расположить, связать друг с другом эмпирические факты, вовлеченные в ход истории и осевшие в сознании человечества? Лето 1838 г. отмечено дискуссиями о "Философии истории". Грановский прочел труд Гегеля от начала до конца: "Начало, все введение и древний мир отлично, хорошо, но далее много субъективных мнений, особенно в отделе о средних веках. Он несправедлив к этому отделу истории". Станкевич в Майнце встречается Шевырева, который заводит с ним разговор на эту тему: "Он находит противоречия в "Philosophie der Geschichte"^{**}, но не хотел сложить вины на Гегеля, а складывал на издание Ганса. <...> Я оправдывал Ганса, но говорил, что не выучившись (hineinstudieren) вполне в Гегеля, легко можно впасть в недоразумение; говорил смиренно, вежливо. Степан Петрович ничего, говорит, что гегелизм распространяется в России, что он рад, что молодые люди имеют какой-нибудь интерес, но жаловался, что они сами себе вредят смешными повторениями двух, трех слов: Schönseeligkeit^{**} и проч. Это похоже на правду! Потом в Эмсе я говорил с ним подробнее; он хвалил, что я хорошо излагаю, советовал мне написать и, шутя, говорил, что, может быть, я его обидеализирую".

С Грановским он делится впечатлениями, вызванными этой встречей: "Шевырев есть то, что я прежде об нем думал. Я, наконец, сделаюсь ужасно упрям, перестану всех слушать <...>. И как все это странно делается! Я сказал первый Белинскому, что Шевырев надувается в стихах, потом заметил отсутствие логики в его лекциях и т.д. Все это Белинский принял с болью, согласился; Ключников, независимо от меня, читал своего рода филиппики (à propos^{***} - Белинского гонения надо назвать Шевыревика <...>. Между тем Шевырев, черствея в самолюбии и педантизме, смешил и досадовал народ. Не видя его, видя его только в этом жалобном, печальном костюме, кто б

* "Философия истории" (нем.).

** Болезнь прекраснотушия (нем.).

*** Кстати (фр.).

еще сохранил память о его человеческом достоинстве? Но в нем есть капля ума, есть добрые намерения, все это придавлено самолюбием. Я уверен, что он, точно, несколько подался, но верно опять впадет в свое болото; отбросив самолюбие, которым здесь ничего не мог выиграть, он должен был понравиться Вердеру. Полного освобождения души не жду для него, и молю Бога сам об нем!"²⁵³

Неужели главной причиной расхождения между любомудрами и кружком Станкевича, оказывается частное случайное явление: самолюбивый характер профессора Шевырева? Не будь этого несходства характеров? Еще рано искать ответ на этот вопрос.

Любе, в Эмсе, Станкевич описывает Рейн и его окрестности: "Я видел эту чудную реку в Кобленце, две мили отсюда. Его берега очаровательны, крепость Эренбрейтштейн по правую сторону с своими правильными, мрачными укреплениями и смеющимися домиками внизу. Кобленц и дальние деревушки сливаются в волшебную картину". Эмс, стиснутый скалами, менее живописен. Когда Станкевич приезжает туда 30 мая 1838г., сезон только начинается, и курорт еще пустует. Как в Пятигорске в 1836 г., как в Карлсбаде в 1837 г., Станкевич подвергает себя диете, пьет воду, принимает ванны. Лечение его очень утомляет вначале, он почти не способен писать. Плохая погода, отъезд Неверова в Кельн на музыкальный праздник усиливают его страшную тоску. Для развлечения курортников организуются экскурсии на ослах, Eselspartien, позволяющие осматривать окрестности, руины замков и восхищаться видами Рейна. Станкевич вдруг задается вопросами о судьбе людей, живущих на этих прелестных берегах: имеют ли они досуг, чтобы любоваться своим Рейном? Чем они удовлетворяются? В Нассау земли принадлежат царствующим фамилиям, роль чиновников незавидна, крестьяне от этого страдают. Как в России, что добыл, то проел и пропил: "В иных деревнях не нужно спрашивать о бедности, она видна на каждом лице, на каждом домике, но это не везде. А в прусской полосе решительно этого не заметно"²⁵⁴.

По окончании лечения Станкевич консультируется у доктора Нассе в Бонне. Где провести зиму, в Италии или в Берлине? Климат Италии был бы благотворен, но лечить душу не столь же важно? И Станкевич стремится вернуться в свой любимый город! "Ammer Man", - вздыхает добрый доктор Нассе, подымая глаза к небу. Итак, он советует Берлин и посылает его, прежде всего, в Аахен лечить геморрой. Станкевич вновь садится на пароход вместе с датским ботаником и его

* "Бедняга" (нем.).

светловолосой племянницей, самым прекрасным цветком его гербария. Он беседует с барышней по-французски, но ее коварный дядя похищает ее, чтобы осмотреть кабинеты естествознания в Нейвиде: "Долго махал он мне с берега шляпою, а она кланялась; я подумал, что когда б это было в XVIII веке? Можно бы написать очень чувствительное повествование, русский и датчанин встретились на Рейне, сказали несколько слов и не увидятся более..."

Другая короткая встреча: по дороге в Веймар: он путешествует с прелестной девушкой, которую сопровождает брат. На последней почтовой станции он заказывает сладкую воду, но забывает взять ложечку. Неожиданно она обращается к нему:

Wollen Sie doch den Löffel haben*?

Danke schön,** - отвечает он... и это все.

"Но я уверял Неверова, что она влюблена в меня. Сомневаться заставляет одно, борода была не брита, но это ничего, зато волосы были причесаны прекрасно, - *à la parisien**** (sic)". Он начинает лечиться в Аахене 18 июля. Кроме собора и воспоминаний о Карле Великом, нет ничего интересного. Поэтому он принимается изучать английский язык с каким-то британским путешественником, трижды посетившим Китай. За неимением сносных театральные представлений, он посещает открытые суды присяжных: "В Рейнской провинции, по присоединению ее к Пруссии, удержано французское публичное судопроизводство. Мне будет чрезвычайно любопытно видеть их". С Неверовым 27 августа он идет слушать певицу Полину Гарсия. Та, кто станет супругой Виардо и близкой знакомой Тургенева, только что начинает свою карьеру: "Первый речитатив, пропетый ее могучим голосом, поразил меня. В нижних нотах это что-то необыкновенное. По крайней мере, так кажется мне, пфушеру, незнатоку <...>. Притом есть в ней что-то нервное, итальянское, которое в другую минуту и в другом роде, может быть, и не понравилось бы ... "La leçon tyrolienne" заставили ее повторить, но она, вместо него, запела "rataplan, plan, plan", и так мило, шутя, как будто в гостинной, с прекрасными гримасами"²⁵⁵.

Станкевич уезжает, наконец, из Аахена в Бельгию: "Белые дома и красные крыши в густой, темной зелени деревьев веселят глаза, прелесть настоящего и следы бодрой и трудолюбивой повседневной жизни! Но эти приятные впечатления разрушаются

* Не хотите ли взять ложечку? (нем.).

** Очень благодарен (нем.).

*** На парижский манер (фр.).

видом босых, оборванных детей, беспрестанно бегущих за каретой. Что за причина этой бедности? Земля образец плодородия; работ, кажется, много. Или нет сестра католицизма или католицизм - потворство нищим, плодит их?" В Льеже он пленен военными мундирами, напоминающими наполеоновские походы, французской речью, омнибусами, но радость испорчена при виде многочисленных сутан на улицах. Церковь св. Жака ему не нравится отвратительным смешением священного и мирского. Он путешествует в дилижансе, сидя рядом с кюре, шляпа или сутана которого издает невыносимый запах. В Брюсселе, в театре, представления посредственные. Зато он с одобрением отзывается о бесконечных насмешках по поводу кюре и монахов. Он присоединяется к аплодисментам зрителей при каждой пущенной стреле. Церковь св. Гудулы, покровительницы Брюсселя, очаровывает его внутренней гармонией и единством, что так чуждо для обычных католических "лавочек". Он слушает проповедь одного "шута", не способного связать двух слов и часто останавливающегося, чтобы шумно сморкаться и плевать в платок. Он встречает там пассажиров из омнибуса, которыми накануне восхищался. Какое разочарование: "Католички! Молились очень усердно".

Он посещает музеи, картинные галереи, особенно интересуясь картинами на исторические сюжеты. Во дворце Beaux-Arts* картина, изображающая казнь Эгмонта, напоминает ему о драме Гете и заставляет прочитать "Историю отпадения Нидерландов от испанского правления" Шиллера, чтобы воссоздать в воображении "это гигантское прошедшее". Другая картина, изображающая смерть Мероде во время бельгийской революции, вызывает у него желание изучить ее историю, о которой он ничего не знает.

В сопровождении проводника он посещает поле битвы под Ватерлоо, место, особенно любимое англичанами. Он покупает форменные пуговицы, пули, медных орлов, узнает, что под Неем было убито пять лошадей (он заслуживал того, чтобы умереть здесь!), что после сражения поле было покрыто ранеными, кричавшими "Да здравствует император!" и, наконец, что его проводник не очень любит победителей, пруссаков; он одобряет революцию и конституцию, которые избавили от непосильных налогов. Может ли она вызвать симпатию Станкевича, эта маленькая Бельгия, дитя революции, которая потрясла основы Священного Союза, находилась под угрозой Пруссии во имя германского союза и оказалась под защитой западных

* изящных искусств (фр.).

либеральных держав? У него смешанные чувства. Его восхищение Пруссией, ее организованностью, ее наукой, ее склонностью к протестантизму (не почитающему бородатого Бога) делает привлекательным в его глазах дело Оранского дома, в соответствии с тем, как охотно он отождествляет голландцев с пруссаками. Мог ли он полюбить это католическое население, "поработанное" своим духовенством? этих либералов, случайных союзников католиков, авторов "пошлых, площадных публикаций" в печати? этих бельгийских революционеров? этих браконьеров с городских окраин, которые, по словам проводника из Ватерлоо, хвастаются тем, что подстреливали голландских солдат при лунном свете, как кроликов? Конечно, нет. Но между *статусом кво*, навязанным Европе Священным Союзом, и воспоминанием о великих событиях, о борьбе Фландрии за свободу, о Французской революции, о наполеоновской эпопее, не колеблется ли его сердце? Грановский, тот не сомневается. В опере красота итальянских голосов приводит его в восторг; он хочет верить в восстание Италии; он следит за борьбой карлистов и сторонников Марии-Христины в Испании и радуется поражению дона Карлоса.

4 сентября Станкевич любит полотноми Рубенса в Анвере, 6-го видит "Поклонение мистическому агнцу" ван Эйка в Генте. 7-го сентября в Брюгге, залитым дождем, он поднимается на рыночную башню, видит раку св. Урсулы, расписанной Мемлингом и многочисленных "Мадонн", 8-го сентября, в Остенде, он смотрит на море: "Мелкий дождь моросил без умолку, облака неслись как дым и вдали сливались с морем, мне было скучно с утра и раньше море примешало к скуке грусти. Мне хотелось опрометью бежать опять в Германию, в Берлин; принятьсь скорее за какое-нибудь дело, освободиться от этой тяжелой игры впечатлений, от влияния неба и погоды". лето уже закончилось. Станкевич плывет в последний раз по Рейну, из Кельна в Майнц. Закутавшись, он следит за движущимся мимо пейзажем, окутанным туманом, и оказывает мелкие услуги англичанам, не способным изъясняться на неродном языке. Он может, наконец, сообщить родным 5-го октября: "Наконец я опять в Берлине и, въезжая в него, радовался как старому знакомому: каждая улица, каждый уголок, мимо которого проезжал дилижанс, смотрели так приветливо, как будто хотели сказать "здравствуй!"²⁵⁶

Станкевич переезжает в новую квартиру на Friedrichstrasse, прямоугольной улице, самой длинной в Берлине, которая тянется, как лента, от одних городских ворот до других. Грановский живет

отдельно, в доме 47 на Kronenstrasse; у его хозяйки три дочери, хорошенькие и непритворные. Он говорит с ними без церемоний, играет в шашки; если он проигрывает, он платит конфетами или билетами в театр, если выигрывает, его награждают поцелуями. Неверов также располагает отдельным жилищем; у него сначала останавливается, приехав в Берлин, Иван Тургенев. "..Когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, - вспоминает Тургенев, - я спросил его, не "виршеплет" ли этот Станкевич, и Грановский, смеясь, представил мне его под именем "виршеплета". Рассеянный и неуклюжий девятнадцатилетний юноша, Тургенев несколько подавлен личностью Станкевича: "Я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхожденья со мною, которое было весьма ласково, как со всеми, но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости".

Станкевич сходитя снова со своей любовницей Бертой, несмотря на временное охлаждение отношений между ними, в течение лета. Охваченный подозрениями, он сумел, тем не менее, противостоять мукам ревности. Она ему новые создает: "Берта была отчасти причиной холодности Станкевича ко мне, - рассказывает Тургенев, - я раз поехал с ней кататься верхом в Тиргартен, она очень со мной кокетничала, а вернувшись, уверила Станкевича, что я делал ей предложения: а она просто мне не нравилась".

Фроловы вновь открыли свой салон. Станкевич посещает его чаще, чем в предыдущем году; он меньше ходит в театр, из-за посредственного репертуара. По утверждению Тургенева, он проводит почти все вечера у Фроловых: "Между им и г-жой Фроловой существовало отношение весьма дружественное <...>. Станкевича Фролова очень любила и уважала. Она сходилась с ним в мнениях. Впрочем, я не слыхал, чтобы она с ним говорила о философии"²⁵⁷. В компании Фроловых, Станкевич посещает три раза в неделю лекции по сельскому хозяйству. Он регулярно дает о них отчет своему отцу. Он интересуется прусскими законами о земледелии, учится отличать глину от песка, исследует глубину пахоты в зависимости от сорта пшеницы, записывает цены на зерновые культуры и занимается учеными подсчетами, чтобы перевести немецкие меры в русские. 25 апреля 1839 года, записав, что его преподаватель очень любил разделения и подразделения, он подводит окончательный итог: "Я познакомился хоть с тем, что ново для одного меня, хоть известно всякому, кто сам год похозяйничал в деревне". Его преподаватель

особенно настаивал на вопросах управления и бухгалтерии, "более полезных здешним жителям, нежели иностранцу, решительно заявляет он, у нас другие условия и отношения"²⁵⁸.

Утренние лекции по философии он не посещает и предпочитает встречаться с Вердером с глазу на глаз и думает о будущем: будет ли он сразу писать докторскую диссертацию, обойдя магистерскую степень? Будет ли он готовить себя к преподаванию или, согласно воле родителей, проведет несколько лет в деревне? Здоровье остается его главной заботой, несмотря на бодрые заверения, которые он расточает родителям. Отец советует ему съездить во Францию: выдержит ли он это физически? Однако его не нужно уговаривать, так как его внимание к "французским делам" только усиливается. Теперь дебаты во французском парламенте интересуют его гораздо больше, нежели скудные политические новости Германии. В "Journal des débats" он следит за ходом "Клермонского дела".

Церковь отказала в совершении христианского обряда графу Монлозье, находящемуся при смерти, поскольку тот не отрекся от своей публикации "Mémoire à consulter", направленной против иезуитов. Этот почтенный дворянин, галликанец и антиклерикал, бывший член Учредительного собрания, эмигрировавший в Лондон, затем вернувшийся в родную Овернь, заявлял, что духовенство не имеет никакого права вмешиваться в политику и проповедовать мораль. Осуждая миссионерскую деятельность, интриги набожных людей, иезуитов, он намеревался в своем докладе "О религиозной и политической системе, способной опрокинуть религию" привлечь к судебной ответственности "партию священников". Королевский суд признал себя некомпетентным в 1826 году, но труд графа Монлозье имел такой успех, что вынудил правительство запретить иезуитам преподавать в семинариях. Население Клермона возмущено поведением своего епископа, оно толпой отправляется на кладбище. Консервативное правительство графа Моле как раз подвергается нападкам либеральной коалиции, возглавляемой Тьером и Гизо. Она вызовет его падение в апреле 1839 года. "Клермонское дело" - объект дискуссий с Фроловыми, которые по-прежнему видят в католицизме "могучий двигатель прогресса". Они покидают Берлин 1 января 1839 года, но Станкевич продолжает с ними спор перепиской: "Я должен сказать повторенное сто раз: что католицизм есть старые изношенные помочи, на которых

* само по себе (нем.).

водили ребят и которые могут быть защищаемы только людьми этого возраста или лицемерами! Много, если папу будут уважать как старую кормилицу и давать ему на водку, когда он придет поздравить нас с Новым годом. Дело Монлозье, конечно, неважное для него, если он имел довольно светлого убеждения, чтоб обойтись без напутствия людей, облеченных наружным характером святости, чтоб самому в духе примириться с Богом, это дело важно потому, что обнаруживает всю нечистоту, всю кривость этих людей и их дерзость, их чувство силы. Дело их проиграно, aber nur an sich*. Нет сомнения, что еще не одному поколению они испортят жизнь своим началом несвободы"²⁵⁹.

Когда наступает время празднования Рождества, "анти-клерикал" Станкевич подробно описывает родным германские традиционные Christbäume*, эти елки, украшенные сладостями и свечами, обставленные игрушками, всем, что составляет блаженство детей. Он посещает "Христов рынок", обставленный лавочками и сотнями этих Christbäume. "В магазинах выставлены за окнами самые блестящие товары; весь Берлин от придворных до кухарок, все закупает подарки, которые на эту пору составляют истинное разорение бережливому немцу и сделались почти законом. Ненависть к привилегиям так сильна, что взрослые не хотят ничего уступить детям и распространили права их на себя. Но, несмотря на это, праздник остался семейным торжеством; только к игрушкам прибавились шелковые материи, меха и т.п."

В Кенигштадте Станкевич смотрит фарс "1739-1839-1939". В 1739 году один немец покидает заплаканную жену и отправляется в Лейпциг; он даже написал завещание. В 1839 году некий старик едет на бал ухаживать за дамами. В 1939 году фиакры заменены аэростатами, молодые люди с длинными напудренными волосами, в белых фраках, по сцене передвигаются в паровой обуви, больные лечатся воздухом, приданое в миллион уже кажется недостаточным, безработный ученый ищет место чернорабочего при помощи объявления. Этот фарс очаровал Станкевича; он подробно описывает его братьям, сестрам и даже Фроловым. В феврале, во время карнавала, он присутствует на костюмированном бале: "В одной из соседних зал, освещенной лампами темно-красного цвета, была расположена Prophezeiungs-Comptoir**. Седой отшельник сидел в хижине, окруженный астрологическими инструментами; в длинную трубу шептал он свои предсказания

* "Христово дерево" елка (нем).

** Кабинет прорицаний.

дамам, которые хотели знать свое будущее". Сам он воздерживается²⁶⁰.

Зная, что он проводит последний год в Берлине, он пытается прояснить, к чему привело его изучение Логике Гегеля. К разочарованию? "Она наводит на меня иногда страшную досаду, но я терпеливо иду вперед, говоря себе: не все же разом! Иногда я предпринимал не отрываться от страницы, пока не поймешь ее вполне". Нелепое упорство? Приехав в Берлин, он готов был пожертвовать "сладостями жизни" ради суровой учебы. Другьям своим, Неверову и Грановскому, которые отправились на бал в Coliseum, он пишет послание:

Поспешайте, юноши,
Наслаждаться жизнью!
Предоставьте дряхлости
Логике печальную!
Пусть она пытается
Измерять количество,
Наслаждайтесь качеством
Юных уст и щек²⁶¹.

Не принимая в учет свое расстроенное здоровье, он начинает всерьез сомневаться в своих возможностях осуществить намеченные планы: "Не знаю, может быть, моя неспособность виновата, но мне кажется, что трудно и невозможно начинать изучение философии широкою логикою Гегеля в 3-х частях, наполненную множеством рефлексий... и, как говорит Вердер, *Philosophischer Unterhaltungen**. Я до сих пор редко в нее заглядываю, это изучение нельзя отделать разом, по крайней мере, для меня, теперь я посвятил на это большую часть времени - это было бы насилие над собою, которое и не привело бы ни к чему тем более, что у меня много других требований, которые не дали бы покойно отдаться этой отвлеченной работе. Боже меня сохрани советовать то же другим: нет! Кого влечет это, кто чувствует в себе довольно своей жизни, единства, полноты, чтобы броситься в этот мир скелетов - тот иди смело. Я же руководствуюсь лекциями Вердера и "Энциклопедиею" - пишу, вывожу и читаю только кое-что в большой "Логике", по указанию".

Овладев "миром скелетов", можно ли достичь абсолютного знания, найти в окружающем мире блаженство? Станкевич осознает,

* Философскими развлечениями (нем.).

что куда скромнее и разумнее амбиции берлинских профессоров. И речи у них нет - испортить себе жизнь и погубить себя путем героического преодоления самого себя! Сверх того, скрупулезный дух немецких эрудитов раздражает и обескураживает его. Когда-то он надеялся уйти от научного педантизма, благодаря полету свободной поэтической фантазии, затем посредством умозрительных построений, и вот *книга Мугрости*, большая "Логика" Гегеля оказывается вершиной педантичной эрудиции! "Человеку нужно объяснить себе категорию во всей ее чистоте, а она у него разработана на 50 страницах, со всеми мелочами, которые нужны для применения к особому вопросу в естественных науках и т.п."²⁶²

Немцы явно начинают утомлять Станкевича, несмотря на любовь, которую он к ним испытывает. Он чуть ли не жалеет, что лишен здесь разнообразия шуток в "Библиотеке для чтения". В Берлине ничего подобного, несмотря на обилие таких юмористических публикаций, как: "Berliner Witze", "Buntes Berlin", "Berlin wie es ist und trink". "В них найдете сцены частной жизни берлинских ремесленников, их parties de plaisirs, рассуждения о политике и т.п., написанные берлинским наречием, на котором я могу также говорить; главное дело: надо изворачивать падежи: ich liebe dir, вместо dich** и т.п., а вместо g говорить j; Gotte Jott и т.п. На берлинском наречии сочинена фраза: eine jute jebratene Jans ist eine Jab Jottes***. Но с этими произведениями я уже слишком знаком, а вновь ничего не является в этом роде!"²⁶³

Иван Киреевский более суров, чем Станкевич: "Я вслушивался в разговоры простого народа на улицах, заметил, что он вообще любит шутить, но с удивлением заметил также, что шутки их почти всегда одни и те же... Оттого нет ничего глупее, как видеть смеющегося немца, а он смеется беспрестанно"²⁶⁴.

Неужели пребывание в прусской столице сводится к посвящению в категории "Логики" Гегеля и к усвоению берлинского диалекта? К счастью, салон Фроловых стал местом интересных встреч. Неверов дает уроки русского языка Варнгагену, и побуждает его перевести по-немецки произведения Пушкина, Лермонтова, Одоевского и особенно писать статьи о русской литературе. В октябре 1838 года, по случаю посмертного издания сочинений Пушкина в

* "Берлинский юмор", "Красочный Берлин", "Берлин, как он ест и как он пьет" (нем.).

** Я люблю тебе вместо тебя (нем.).

*** хорошо поджаренный гусь - Божий дар (нем.).

трех томах, посланного П.А. Вяземским, он пишет статью, опубликованную в "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik". Эта статья в корне противоречит отрицательным суждениям, высказанным в России о последних произведениях Пушкина, его прозе и о трагедии "Борис Годунов". Варнгаген оспаривает привычные упреки в подражании. Как Шиллер, как Байрон, Пушкин сын своего времени; как они, он болезненно пережил разлад между мечтой и действительностью, испытал те же сомнения, ту же грусть перед недостижимым счастьем, но благодаря духовной гармонии сумел слить эти противоречия в своем поэтическом творчестве. Варнгаген сравнивает его поэтому с Гете. Неумолимое действие Немезиды достигает такого величия в "Борисе Годунове", что Варнгаген называет его шедевром исторической драмы.

Адольф де Сикур переводит эту статью на французский язык, она появляется в "Revue française et étrangère", русский перевод появляется в Петербурге в "Сыне Отечества". Именно тогда Полевой публикует в том же журнале "Критический обзор русской литературы". Суровый по отношению к Пушкину, он тотчас набрасывается на работу Варнгагена, обвиняет его в незнании и пристрастности. По его мнению, эта статья иллюстрирует упадок современной немецкой критики. Не тут-то было! Мнение Варнгагена сформировалось в основном под влиянием его русских друзей: Фроловых, Неверова и Станкевича! В Москве Белинский не прощает такого оскорбления. Отныне Белинский будет донимать этого оппортуниста, неудачника из Петербурга, "последователя Шеллинга", согласно французским журналам и осмеливающийся нападать на Гегеля:

"-Да читали ли вы Гегеля? - Зачем читать, мы и так знаем. - Изучали ли вы современную немецкую литературу? - Когда нам! Мы пишем водевили"²⁶⁵.

Вмешательство иностранного авторитета в "дело реабилитации", предпринятое уже Белинским, оказывается весьма действенным. Восприятие Пушкина как таланта непосредственного, ограниченного своей культурой, не способной возвыситься до всеобщего мировоззрения, уже не в ходу, Белинский больше не утруждает себя ограничениями: "Пушкин предстал мне в новом свете, как один из мировых исполинов искусства, как Гомер, Шекспир и Гете, - пишет он Станкевичу 19 апреля 1839 года. Тебе, знающему только его "Цыган", "Полтаву" и "Онегина", но не знающему его посмертных сочинений, может показаться мое мнение странным, экзальтиро-

ванными". Русская литература начинается с Пушкина, - таков его постулат. Теперь настала пора Европе открывать Россию, а не России открывать Европу²⁶⁶.

Варнгаген уже в 1837 г. при содействии с Г. Кенигом издавал в Штутгарте "Очерки российской литературы". В этом сочинении, написанном под влиянием Мельгунова, с которым Варнгаген познакомился во время его пребывания в Германии в 1836-1837 гг., выражались мнения бывших любомудров: осуждение петербургского триумвирата, меркантильного направления, восхваление умственной жизни в Москве, деятельности Шевырева, "великого критика и теоретика искусства". Пушкину придавалось уже большое значение. Из-за цензуры этот труд будет переведен на русский язык только в 1862 году, но в России его быстро читают в подлиннике. Булгарин лицемерно удивляется, что на него нападает человек, которому он сам не сделал ничего плохого, и коварно намекает, что имя Мельгунова, упомянутое в предисловии, является псевдонимом. На своих публичных лекциях Греч открыто рассыпает доносы: он сомневается, что русский человек мог оказать влияние на такое сочинение! Немецкая общественность призывается в свидетели. Все вмешиваются в это дело. Критик Менцель, в целом выступающий против России, защищает Булгарина от Кенига, тогда как Варнгаген называет Греча Staatsspion*. Мельгунов отвечает брошюрой "История одной книги" (Москва, 1839 г.), Кениг новой книгой (Ганау, 1840 г.), в которой он объясняет немецкой публике, что в русской литературе существуют две партии: партия бескорыстных великодушных писателей и партия продажных журналистов, потворствующих государству и пошлости. Даже А. Гумбольдт принимает участие, чтобы защитить репутацию Мельгунова, благородного и умного писателя.

Белинский, вечный враг "светскости", не может одобрить подобные начинания. Он намеревается написать для немцев свою собственную историю русской литературы и угрожает "суфлеру Кенигу". Несмотря на суматоху, отношения, завязавшиеся с Берлином, расширяются, особенно благодаря обмену статьями, заметками, переводами между Варнгагеном и Неверовым, который, возвратившись в Россию в мае 1839 года, станет инспектором гимназий в Риге. Краевский обращается к Неверову в поисках корреспондента в Германии для своего журнала "Отечественные Записки". Он хочет привлечь к сотрудничеству Варнгагена, этого

* государственным шпионом (нем.).

доброто немца, который не смотрит на нашу литературу, как на медвежье рычание. Ставка велика. Ежели в Германии некоторые оптимисты, такие как Варнгаген, верят в существование в России "либеральных" сил, то другие, большинство, по-прежнему считают, что "историческим народом" Россию назвать нельзя. Даже у либерала Ганса на его лекциях выражается предвзятое мнение по отношению к России и к славянам.

Вскоре, по собранным данным, Краевский узнает, что идет речь об издании в Берлине журнала на немецком языке, финансируемым русским правительством и предназначенным оповещать Европу о России. Говорят, что редактором его будет Греч. Неутешительная перспектива! Действительно, в июле 1841 года выйдет первый номер журнала "Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland", получающего субсидию от министра финансов Канкрин. Но возглавляет его не Греч, а профессор Эрман. Более того, Варнгаген публикует в нем статью, посвященную новой русской литературе. Она вскоре переведена в "Отечественных Записках". В ней Варнгаген приветствует успехи независимой литературной и просвещенной критики, во главе с Белинским и его друзьями, и опровергает мнение об упадке русской литературы после смерти Пушкина: его гений, напротив, открыл ей блестящее будущее.

Станкевич участвует умеренно в этих предприятиях. Он соглашается написать статью о Гегеле для "Энциклопедического лексикона", издаваемого Плюшаром. Краевский узнает об этом через Неверова и проявляет интерес, но Станкевич отказывается изложить "сухую и неровную схему". "Когда-нибудь я постараюсь, сколько возможно, изложить сжато содержание этой философии. Разумеется, что это будет во многом адресоваться к чистому чувству, во многом потребует только веры"²⁶⁷. Тургенев вспоминает: "Здоровье его уже тогда было плохо, мы знали все, что он страдает грудью, и к нему ездил д-р Баре (Barez), который обращался с ним очень дружелюбно. (Он тогда был первым врачом в Берлине)"²⁶⁸. Со своей стороны, Станкевич старается ободрить и успокоить своих родителей: "Бог даст, в августе 1840 года, возвращусь к Вам. Мой доктор, Баре, посылает меня в Зальцбрунн, в Силезию, на несколько недель. Я теперь очень здоров; зимою, наравне со всеми берлинцами, наслаждался отчасти катаром (простудным кашлем), но это давно прошло, с первым теплым днем, и Баре говорит, что грудь моя обещает, по крайней мере, 70 лет жизни"²⁶⁹.

* "Архивы для научного знакомства с Россией" (нем.).

В Зальцбрунн на лечение также, с мая, едет Грановский. Его врач запретил ему какое-либо переутомление из-за болезни, которая настигла его в феврале. 9 июня, наконец, из Берлина уезжает к нему Станкевич. Расставание с Бертой мучительно: "Она плакала, я сдерживал слезы". В Дрездене, куда он приехал для консультации с врачами, ему не нравится номер в гостинице, и он садится в берлинский дилижанс. Грановскому, который ждет его вот уже месяц в Зальцбрунне, он объясняет эту задержку стихами, в которых нет речи ни о Гегеле, ни о Вердере:

Туда зовет меня мой сплин,
Рассудок, сердце, медицина,
И овладели мной они!
В Берлин! В Берлин! Мне нету мочи!
О друг! В Берлине шумны дни!
О друг! В Берлине сладки ночи!
Там Берта, доктор Ашерсон,
И доктор Вольф, и женский слон...
Там Гропиуса диорама,
Ее хочу увидеть страх!
Тиргартен там, на лошадях
В нем скачут кавалер и дама!²⁷⁰

С Грановским он, наконец, видится в начале июля. Последний уезжает в Россию 13 июля, оставляя Станкевича в компании старичка, генерального консула России в Данциге. Курортники здесь в большинстве своем настоящие больные, а не отдыхающие, как в Эмсе. Из 700 семей, находящихся в Зальцбрунне, много евреев польского или немецкого происхождения, польские аристократы, живущие отдельно, незначительные немцы, мало русских Станкевич много кашляет и вначале не может выпить прописанное количество стаканов воды из-за раздражения в горле. Его заставляют пить козью сыворотку: "Имел удовольствие выплюнуть несколько капель крови, - признается он Ефремову, уехавшему из России, чтоб сменить при нем Неверова и Грановского, - но это вздор и уже случалось со мною, лишь бы не увеличилось и не стало часто повторяться". Ефремова, не видевшего его уже два года, он предупреждает: "Рожа сухошава и морщиновата хуже прежнего".

В конце пребывания кашель немного утих, Станкевич набрался сил, но не питает иллюзий насчет врачей курорта: "Боль-

ной говорит: Доктор, у меня аппетита нет! Ага! Кризис! Ну, это хорошо, прощайте! Доктор, у меня лихорадка. Хорошо благотворное действие природы! Вот увидите, как после хорошо пойдет. Здешний главный лекарь показывает, по крайней мере, много внимания к больным, но он, по большей части, советует то, что хочется пациенту".

3 августа празднуют день рождения короля; гимн исполняется перед его бюстом, в галерее на источнике; пастор произносит речь; организован обед по подписке. Станкевич, который не может просидеть без движения три часа, выпив пять стаканов воды, довольствуется тем, что слушает издали приглушенные Hoch*, затем видит красные и веселые лица на прогулке. Во время ночной иллюминации он не встает с кровати²⁷¹.

Станкевич уезжает из Зальцбрунна в середине августа. Ему рекомендовали пройти курс лечения в Интерлакене, питаясь виноградом на берегу озера Комо, затем провести зиму в Италии. Но, прежде всего, он стремится в Швейцарию, чтобы встретиться с Варварой. Она там находится с сыном с осени прошлого года.

* Да здравствует! (нем.).

Глава 4

МОСКВА. ГЕГЕЛЬ И ПРИМИРЕНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ (1837-1840 гг.)

В то время как Станкевич пересекает Европу по направлению к Берлину, Мишель уединяется в Прямухино: "Гегель дает мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им. Я все больше и больше сознаю, что наука есть истинная стихия моей жизни, что она должна быть основным принципом всех моих поступков".

Он пишет сестрам Беер: "Вам, мои милые друзья, известны более чем неприятные обстоятельства, которые приключились со мною в связи с любовью Станкевича к Любаше. Его нерешительность, моральная и физическая болезнь, Любаша, мои родители - все это, как вы знаете, сильно меня угнетало. Но вы также знаете, какую силу я проявил. Вы знаете, что, не поддаваясь обстоятельствам, я имел достаточно сил, чтобы смело смотреть им в лицо, чтобы стать выше их, чтобы управлять ими по своей воле". И он доверяет им тайну своего могущества: "Царство Божие существует для того, кто отрекся от своей индивидуальности и чья воля совпадает с волею Божией; оно существует для тех, кто связал себя теснейшими узами во имя Божие. Это царствие есть истинная жизнь, а жизнь есть блаженство. Разве мы этого не чувствовали? Разве мы не провели вместе много блаженных часов?"

Мишель обращается к ним, как Христос к своим ученикам: "Составьте между собою особый маленький мирок и живите в нем; я всегда буду среди вас". Он уточняет: "Не забывайте, что я являюсь и навсегда останусь его невидимым членом, благославляющим ваше счастье". Учеников и учителя связывает взаимное чувство: "Вы не знаете, насколько ваша непоколебимая вера в меня придала мне силы для того, чтобы вести вас к истинной пристани. Она сделала меня почти всемогущим". Согласно этой неумолимой диалектике, ученики должны быть счастливы, дабы обеспечить высшее счастье их учителя: "О, как я счастлив, что могу читать в ваших сердцах. Да, я ощущаю в себе чувство святой гордости при

мысли, что эти прекрасные и столь богатые любовью души, некогда столь страдавшие, от меня получили истину и счастье..." Сомневаются ли они, что он действительно достиг состояния абсолютной гармонии, он возражает: "Нет, дорогие друзья, во мне нет больше двух сторон, я составляю нерасторжимое единство; во мне больше нет противоречий, нет больше борения <...>. Я спокоен, силен и уравновешен; теперь я господин, а не раб, я уже не вынужден, как прежде, задышаться в темном уголке моего я. Нет, я наслаждаюсь всею полнотою, законченным познанием моего я"²⁷².

Переписка продолжается в том же духе; шестнадцать писем за два месяца до внезапного прекращения. Тем временем Бакунин принялся за "Феноменологию духа". Он пренебрег предисловием и введением и сразу начал первую главу, "Чувственная достоверность". Он работает над ней до середины июля, пытается приступить ко второй главе, но 20 июля отступает. Условия работы тяжкие: кроме Виктора Кузена и Varchou de Penhoën, ненадежных комментаторов, у него нет трудов по Гегелю. Он обращается тогда к "Энциклопедии философских наук", выбор, несомненно, разумный, и параллельно изучает лекции Гегеля о "Философии религии", собранные его учеником Маргейнеке. В августе он прерывает изучение "Энциклопедии", берется за нее снова в сентябре, и одновременно за "Феноменологию". До того, как из Берлина Станкевич мог бы помочь ему советами, он пытается самостоятельно постичь Гегеля. Результатов мало: разрозненные записи по поводу отдельных параграфов, никакого резюме изученных глав.

В конце концов, молчание Мишеля беспокоит его друзей. Письма, посланные Белинским с Кавказа, остались без ответа: "Бога ради, выведи нас из этой томительной неизвестности", - просит его Белинский 15 октября. "Я хочу все знать, потому что хочу за все страдать, как страдаешь ты"²³⁷.

Свое долгое молчание учитель прерывает, наконец, обращением к своим любимым ученицам, сестрам Беер. Вера их поколеблена? "Моя миссия по отношению к вам далеко еще не закончилась и никогда не закончится". Они сомневаются? "Тот, кто вкусил от абсолютной жизни, не может больше знать никакой апатии. После длительного напряжения мне необходимо было взойти в самого себя, дабы почерпнуть во внутренних тайниках своего существования новые силы ..." Никаких поспешных выводов: "Вы говорите: раз у меня нет того, что я хочу, стану жить в абсолюте". Но абсолют не является приютом для утраченных иллюзий! Это сама жизнь во

всей ее полноте. Полнота означает абсолютную духовную свободу, а не подчинение моральной системе: "Что действительно, то разумно. Дух есть абсолютное могущество, он источник всякого могущества. Действительность его жизнь, а следовательно, действительность всемогуща, как воля и дело духа"... Нравственный человек еще отличает добро от зла, а религиозный, одаренный спокойной совестью, видит лишь призрак во зле. Как индивид он бессилец, но от Бога он ждет просветления и благодати²⁷⁴. При помощи ссылок на Гегеля, сводить роль сознания к примирению в духе фидеизма весьма парадоксально, но Бакунин, в первую очередь, озабочен своим предстоящим возвращением в Москву, где ему предстоит противостоять яростным упрекам друзей, во главе с Белинским.

С 20 июня, на Кавказе, вместе с Ефремовым, Белинский лечится сероводородной водой. Он много читает, открывает с восторгом посмертные произведения Пушкина, знакомится с Лермонтовым у Николая Сатина, друга Герцена и Огарева, получившего разрешение приехать на лечение в Пятигорск. Белинский завязывает дискуссию о Вольтере и Дидро, Лермонтов возражает шутовскими репликами. Белинский обижается и удаляется. Он называет Лермонтова пошляком, хотя Сатин напоминает ему, что он написал поэму "Смерть поэта", вдохновенную трагической кончиной Пушкина, и что это обвинение против власти стоило ему ссылки на Кавказ. Но Белинский заботится тогда совсем о другом. В письме двоюродному брату Иванову от 7 августа он рассыпает благонамеренные соображения: "Россия еще дитя, для которого нужна нянька <...>. Дать дитяти полную свободу значит погубить его. Дать России, в теперешнем ее состоянии, конституцию значит погубить Россию. В понятии нашего народа, свобода есть воля, а воля озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, т.е. людей, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах, хотя бы, впрочем, у большей части этих дворян не было ни дворянских грамот, ни копейки денег. Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции". Он продолжает: "Итак, оставим идти делам, как они идут, и будем верить свято и непреложно, что все идет к лучшему, что существует одно добро, что зло есть понятие отрицательное и существует только для добра <...>. Быть апостолами просвещения вот наше назначение". "Итак, к черту французов: их влияние, кроме вреда, никогда ничего не приносило нам <...>. Германия - вот Иерусалим новейшего человечества <...>, вот откуда

придет снова Христос <...>. Доселе христианство было истиной в созерцании, словом, была верой; теперь оно должно быть истиной в сознании - философией. Да, философия немцев есть ясное и отчетливое, как математика, развитие и объяснение христианского учения, как учения, основанного на идее любви и идее возвышения человека до Божества, путем сознания". И он заключает: "Совершенство себя, ты необходимо будешь совершенствовать и все, что близко к тебе".

Эти примирительные соображения, со ссылками на "философию немцев", вполне совпадают с мировоззрением Бакунина. В чем же тогда причины разногласия? В личных отношениях. Белинский возлагает на Бакунина ответственность за кризис, пережитый кружком весной: "Ты говоришь, что в последнее время мы все ужасно пали и что наши отношения поэтому опошались, - это правда. Потом ты говоришь, что ты теперь встал и встал так, чтобы уже никогда не пасть <...>. Ты похож на человека, которому удалось взобраться на высокую гору и который, вместо того, чтобы именем любви и счастья убеждать своих дальних братьев победить трудности и с долины взойти на гору, с которой видна пристань спасения, ругает их и бросает в них грязью и камнями". Он продолжает: "Я и вы, говоришь ты беспрестанно: стало быть, ты уже не заключаешься больше в мы? Говоря об общем нашем уничтожении, ты как будто выгораживаешь себя из вины и всю ее складываешь на нас. Мы уехали и ты восстал, именно потому, что мы уехали".

Белинский ставит свой диагноз: "Что же, спрашиваю я тебя, что же причину бесплодности моих порывов, моего душевного жару и многих прекрасных даров, в которых не отказала мне природа? Вот вопрос, который я окончательно решил во время моего пребывания на Кавказе. Внешняя жизнь, или, лучше сказать, дисгармония внешней жизни с внутреннею. Какая причина этой дисгармонии? Беспорядок жизни и гривенники, которыми ты так презираешь, что не велишь даже писать тебе о них, чтоб не разрушить твоего блаженства". Он перечисляет Мишелю губительные последствия его презрения к внешней действительности: безответственность во имя свободы, постоянные долги, дурное мнение графа Строганова. Какое противоречие между намерением жить исключительно внутренней жизнью и "офицерские замашки", когда он чувствует себя оскорбленным! Приписывая этой дисгармонии причину общего уничтожения, Белинский ничуть не выдает себя за моралиста: "Неужели ты мог подумать, что я,

бессильный вырваться из моего ничтожества, хочу прибегнуть под защиту честности, аккуратности, пуританизма и здравого смысла? Как же ты мало и худо меня знаешь! Я презираю и ненавижу добродетель без любви, я скорее решусь стремглав броситься в бездну порока и разврата, с ножом в руках на больших дорогах добывать свой насущный кусок хлеба, нежели, затоптав свое чувство и разум ногами в грязь, быть добрым квакером, пошлым резонером, пуританином, раскольником, добрым по расчету, честным по эгоизму". Зато он готов признать свою вину по отношению к отцу Бакунина в Прямухино, когда он рисовался "робеспьеристом" в его присутствии. Станкевич слишком снисходительно приписывает "любви к истине" его желчность: "Во мне не было любви, потому что, что за любовь, которая проявляется в ненависти?" Отныне, продолжая защищать истину, в своих статьях он откажется от полемики: когда Гегель хочет избавиться от презренных противников, он не сердится, он отмахивается от них, как от мух²⁷⁵.

Критические замечания, особенно те, которые касаются его "неделикатности", не оставляют Мишеля равнодушным, он даже возвращает некоторые долги. Отстраняя пустую полемику, он поражает Виссариона "ужасной исповедью": стремясь рассеять недоразумения, накопившееся со времени пребывания в Прямухино, он признается в "непростительной любви" к своей сестре Татьяне! Ревность терзала его беспрестанно во время пребывания Белинского в Прямухино. Ошеломленный, уничтоженный, Белинский испытывает одновременно чувства отвращения и восхищения: "Ты падал ужасно, но потому, что должен был падать, потому, что только таким путем мог ты дойти до своего настоящего развития". Значительность падения придает правдоподобие моральной победе, которую потом он будто бы одержал. "Ты подозревал, что Татьяна Александровна меня любит, и, зная, что мои статьи есть лучшая, блестящая и самая сильная моя сторона, что только-то могу я высказать мой энтузиазм, мою прекрасную душу, и ...увлечь женщину, и ты, ты хвалил мои статьи, ты улаживал их чтение. Ты, Мишель, просто велик"²⁷⁶.

Насколько он, Белинский, далек от этого величия! Как сестры Беер, он способен постичь мгновения блаженства, но оставаясь прекрасной душой, он приговорен вновь пасть в прозаическую действительность. Неужели для него остается только чувство долга, признание необходимой упорядоченной жизни? Это чувство долга, во имя внутренней свободы, Мишель упрямо отбрасывает. Взгляды

радикально противопоставлены, будто каждый находится на ином этапе своего становления (Werden) Спасаясь от пагубных последствий внешней жизни, благодаря чрезмерному богатству внутренней жизни, Мишель уже одержал великую победу над самим собой и достиг самопознания и Откровения absolute Religion. Виссарион готов этому поверить. Он его приглашает в Москву поделить с ним свое скромное жилье. Мишель тотчас соглашается и поселяется у Белинского в начале декабря. Он полон оптимизма и убежден, что решил все семейные проблемы.

Но стоило Мишелю уехать, как его родители, полагавшие, что путешествие Варвары за границу станет прелюдией к ее разводу, мобилизуют всю семью, за исключением, естественно, сестер, против этого "безумного проекта". Отец Мишеля советует Дьякову угрожать Варваре, что он отнимет у нее сына, если она не вернется в супружеский дом. Он пишет Мишелю, упрекая его в разрушении семейного счастья, в извращении душ сестер, под маской христианства, преступными софизмами сен-симонизма. Мишель отрицает эти обвинения и приводит слова Христа: "Не думайте, чтоб Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее". Он осуждает "лжехристианство", которому учит церковь и перечисляет страдания, перенесенные семьей из-за отцовского произвола: "Сестры поневоле перестали быть откровенными с Вами, потому что откровенность детей состоит не в том, чтобы говорить то, что родителям хочется, чтобы они говорили, а в том, чтобы говорить то, что думаешь и чувствуешь, а они не смели". Он заверяет своих сестер: "На нас нападают именно за то, что мы отвергли от себя все непросветленное духом истины и любви"²⁷⁷.

Измученная Варвара готова вернуться в Ивановское. Александра Беер тревожится: "Варенька может умереть, если ее оставить долго в этом варварском положении". Станкевич осведомляется у Любы: "Ваша сестра отправляется в Ивановское; разве мир опять нарушен? Хоть бы до отъезда продолжился мир". Он с неодобрением отзывается о разрыве семейных и социальных уз, за который ратует Бакунин: "К чему приведут спекуляции, отвлеченности, когда человек оторвется от круга, где ему назначено осуществить свои убеждения? Нет, Слава Богу, прошло время, когда нужно было оставить отца и мать для своего спасения. Идти против своего призыва бесполезно. Да и как можно вдруг оторваться от всего, присесть и выводить категории? Мышление требует покоя, душевной гармонии"²⁷⁸.

Мишель уезжает из Москвы 29 декабря. Прямухино под запретом, отец предоставил ему выбор: либо стать сыном-христианином, либо прекратить свои "философские визиты". Следовательно, он отправляется в соседнее имение своей тети Анны Михайловны. Белинский описывает эту экспедицию Боткину: "Тетка приняла его холодно и начала было читать ему поучения насчет его семейства. "Пора идти к обедне, тетушка, сказал он ей, сперва помолимся, а там Бог устроит все к лучшему". Тетушка тотчас переменяла свою холодность на ласковость. Приезжают сестры; тетушка завоевана и открыто берет их сторону. Лишь только сестры Мишеля уехали обратно в Прямухино, как приехал Дьяков. Тетушка советует Мишелю не показываться Дьякову, как человеку, который его ненавидит; Мишель уверяет ее, что, напротив, Дьяков очень его любит; выходит к нему и заставляет его обнять и поцеловать себя, а через полчаса наш Дьяков начал бегать по комнате и кричать, что Мишель его истинный друг. К вечеру пришло письмо от дражайших родителей, в котором они просят у Мишеля прощения и самым недобросовестным образом уверяют его, что он не понял ни их письма, ни их намерений, что они хотели только уговорить Варвару Александровну, а отнюдь не думали принуждать ее силою жить со своим мужем. Мишель отправился в Прямухино, и теперь там все идет чудесно"²⁷⁹.

В конце января Мишель возвращается в Москву победителем. Дьяков решил сопровождать жену до Мариенбада. Желая воспользоваться случаем, Мишель ищет средства. Варвара доверила ему продажу ценных вещей. "Серебро уже продано, вещи также будут проданы через несколько дней, сообщает он ей в начале февраля. Общая сумма составит около 1200 или 1300 рублей ассигнациями". Убежденный в неизбежности своего отъезда, Мишель едет прощаться к сестрам Беер в Шашкино. Встреча начинается плохо: "Наталия и Александра не поняли или не хотели понять меня. Особенно Александра очень путала... Потом чтение Марбаха, Беттины, записок Лютера, некоторых стихотворений Гете, а особенно чтение его "Эгмонта" разрушили все эти призраки рассудка, и мы соединились опять"²⁸⁰.

В результате этого свидания Александра, безнадежно влюбленная в Мишеля, пишет ему: "Мне не стыдно, что я так глубоко пала при Вас; напротив я рада, что Вы узнали всю крайность моего ничтожества." Александра испытала чувство Откровения когда вместе они читали "Эгмонта", а потом сестра играла, а Софья пела, вы ходили по комнатам, а я молилась перед образом Божией Матери

<...>, о чем же была молитва моя? Все погруженная в Вас, я все поверила ей, и голос ваш мне слышался, и чудные звуки отзывались во мне ..." Александра отождествляет Мишеля с Эгмонтом, но считает себя недостойной быть Кларой, этим гетевским идеалом женственности, который находит счастье в самопожертвовании. Однако другого исхода у нее не оставалось при полном отсутствии взаимности. Мишель пишет сестрам: "Моя ретивая жена (Фило-софия) кланяется Вам, Alexandine, она велела Вам сказать, что Вы немножко дерзки, позабывая, что она только имеет право на мою любовь"²⁸¹.

Тем временем отъезд Мишеля становится проблематичным. Станкевич все более и более сдержан. Не послал ли он уже в августе 1837 года сумму денег для оплаты долгов Мишеля и расходов по поездке? Он вынужден объясниться с отцом по поводу финансирования поездки Варвары. Рассчитывать на него Мишель больше не может: максимум еще 2 000 рублей. Утаивая все эти неприятности от Варвары, Мишель ограничивается тем, что пишет ей: "Я с крайне неприятным чувством снова написал ему письмо с денежною просьбою. Я получу ответ в середине мая. Я сделал это, дорогая Варинька, единственно для того, чтобы поехать с тобою, зная, что мое присутствие будет тебе за границую необходимо. Если бы дело шло обо мне одном, я предпочел бы умереть с голоду, чем просить у него денег". Однако он сообщает ей, что удержал 300 рублей из суммы, которую должен послать ей после продажи ее имущества: "Я их возвращу тебе в Карлсбаде, там Станкевич мне даст денег". В письме от 6/18 марта 1838 года, Станкевич предупреждает Мишеля, что тот не сможет сопровождать его в Швейцарию и в Италию, так как переезды уже сами по себе разорительны. Он советует ему быть осторожным; Варвара не должна ссориться с семьей; 5 000 рублей, которыми она будет располагать, позволят ей провести в Карлсбаде только один сезон. Он обещает Мишелю возместить на месте расходы по его поездке и взять его с собой в Берлин. Чтобы утешить его, он обещает представить его Беттине фон Арним.

Произведение Беттины фон Арним "Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde"^{*} хорошо известно в Москве. Мишель прибегает к чтению Беттины, как и к чтению Гете и Марбаха, чтобы поднять дух своих учениц; он постоянно упоминает ее имя в переписке и обещает им перевести ее: "Теперь сочиняю предисловие к Беттине,

* "Переписка Гете с ребенком" (нем.).

которое будет так хорошо, что вы будете плакать, сестры и братья". На самом деле, он переводит лишь часть дневника (Tagebuch) Беттины, опубликованного с ее "перепиской", и пишет краткое предисловие, в котором он противопоставляет избранных людей заурядным: "Одни, сами проникнутые той благодатной, всеобъемлющей любовью, которая переносит человека в созерцание бесконечного <...>, приняли эту книгу с восторгом, узнали в ней печать вечной истины, голос вечно юного духа. Другие, закованные в жалкие цепи конечного рассудка <...>, не поняли и не могли понять этой глубокой женской души, посвященной величайшим человеком нового мира (Гете) в святые таинства жизни"²⁸².

"M-me Arnim (Беттина) интересовалась очень, кто ее перевел, и твоё имя ей известно, - пишет ему Станкевич. - Если тебе удастся быть в Берлине, она тебе будет покровительствовать; муж ее министр". Позже, утомленный "проектами" Мишеля, он воскликнет: "Если уж пошло на Беттину, занимайся ею побольше, а то, ведь, я знаю тебя, у вас все так, не кончишь, как Шмидта". В письме от 16 (4) мая 1838 года, последнем перед перерывом в два года, он сообщает Мишелю, что должен сам просить денег у родителей, чтобы иметь возможность остаться дольше за границей; в конце он пишет: "Пиши о ваших средствах, какими располагаете, хоть советом помогу"²⁸³.

Варвара уезжает из Петербурга в Германию с сыном в середине мая 1838 г., мужу не разрешается ее сопровождать, а Мишелю просто невыносимо за неимением средств. Отъезд задержан из-за пожара в районе Травемунде судна "Николай I" (пассажиром в предыдущей переправе был Тургенев). Варвара проводит несколько тягостных недель в Петербурге во враждебном окружении семьи. Только ее тетушка П.М. Нилова тепло ее принимает.

За неимением лучшего Мишель снова устраивается у Белинского. Они, вероятно, живут на деньги Станкевича и Варвары. Это апогей их дружбы: "Ты приехал, переехал ко мне, разделил со мною все, что у тебя было, и еще так, что большую часть предоставил мне. Я тратил твои деньги, и это было для меня пыткой <...>. Часто, бывало, видя, с какою легкостью отдавал ты мне последние деньги, я спрашивал себя: так ли я готов отдавать тебе свои, и находил, что нет, и в этом видел свою гадость, а твоё величие". В этой дружеской обстановке они переживают фазу "Откровения", описанную Белинским Станкевичу в письме от октября 1839 г.: "Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Ба-

кунин - мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила, - нет, не могу описать тебе. С каким чувством услышал эти слова - это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности, и кончилась моя тяжкая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде. Я раскланялся с французами <...>. Слово "действительность" сделалось для меня равнозначительно слову "Бог" <...>. Бакунин первый (тогда же) провозгласил, что истина только в объективности и что в поэзии субъективность есть отрицание поэзии, что бесконечного должно искать в каждой точке, что в искусстве оно открывается через форму, а не через содержание, потому что само содержание высказывается через форму, а где наоборот там нет искусства. Я осwirепел, опьянел от этих идей, - и неистовые проклятия посыпались на благородного адвоката человечества у людей Шиллера. Учитель мой возмутился духом, увидев слишком скорые и слишком обильные и сочные плоды своего учения, хотел меня остановить, но поздно, я уже сорвался с цепи и побежал благим матом <...>. В это же время начались гонения на прекраснодушие во имя действительности <...>. Новый мир! новая жизнь! Долой ярмо долга, к дьяволу гнилой морализм и идеальное резонерство! Человек может жить - все его, всякий момент жизни велик, истинен и свят!"²⁸⁴

Ликование раскрепощенной души? Вернее, крайнее выражение отчаяния. Страдание дает возможность познать действительность. Познать и при этом примириться с ней? Неужели примирение с действительностью ценою невыносимых страданий, это точка зрения Гегеля? В предисловии к "Философии права", в пламенной защите философии, Гегель иронизирует: "Этим простым домашним средством, сводящимся к тому, чтобы основывать на чувстве то, что представляет собой работу разума и его понимания, - работу, совершавшуюся в течение многих тысячелетий, мы, правда, освобождаемся от всех усилий разумного понимания и познания, руководимого спекулятивным понятием. У Гете (достоверный авторитет) Мефистофель говорит об этом примерно следующее, я уже это цитировал (в Феноменологии Духа): "Лишь презирай свой ум, да знания светлый луч, Все высшее, чем человек могуч, Тебя освоит дух лукавый". Интуиция непосредственное знание, она не может ни определить что-либо, ни определить саму себя.

Гегель осуждает непрерывные атаки, которые ведутся против философии и разума в благочестивых трудах. "Ибо тем, что так называемое философствование объявило познание истины глупой затеей, оно нивелировало все мысли и все предметы подобно тому, как римские императоры в своем деспотизме уравнили патрициев и рабов, добродетель и порок, честь и бесчестье, знание и невежество, так что понятия истинного, законы нравственности оказываются не чем иным, как мнениями и субъективными убеждениями". Гегель защищает истинную философию как "основу разумного, постижение наличного и действительного, а не как возведение потустороннего мира, которое Бог знает где существует, вернее, можно с уверенностью сказать, где, а именно в заблуждении одностороннего, пустого резонирования".

Гегель ссылается на "Государство" Платона, дидактический труд, утопию, "которая вошла в поговорку как образец пустого идеала и, по существу, отражала не что иное, как природу греческой нравственности". Платон осознал более глубокий принцип, скрывающийся в этой нравственности, но на этом этапе он мог быть лишь неудовлетворенным стремлением и, следовательно, разлагающим началом. Пытаясь определить этот принцип за пределами нравственности, он уязвлял ее суть, бесконечную свободу личности. Воздавая должное этому великому уму, Гегель отмечает, что принцип, вокруг которого вращается Идея Платона, не что иное, как стержень, вокруг которого вращался неминуемый тогда перелом в мире, и он формулирует свое знаменитое положение: "Что разумно, то действительно; и что действительно, то - разумно"²⁸⁵.

Гегель намеревается, в сущности, применить идею Платона к своей концепции современного государства. Он развивает ее в конце третьей части "Энциклопедии философских наук", после того, как он определил место семьи и гражданского общества. По Платону, истинная конституция и государственная жизнь должны быть более глубоко основаны на идее, на в-себе-и-для-себя всеобщих и истинных принципах вечной справедливости. Знать и познать эти принципы, безусловно, являются назначением и делом философии. Эта точка зрения действительно со всей силой высказывается Платоном в знаменитом и часто критикованном месте, где он заставляет Сократа с большим воодушевлением высказать ту мысль, что философия и государственная власть должны слиться воедино, что идея должна стать правительницей, если только несчастьем народов когда-либо должен быть положен

конец. Платон имел при этом определенное представление, что идея, которая в себе, правда, есть свободная, сама себя оправдывающая мысль, может доходить до сознания только в форме мысли, как некое содержание, которое, чтобы быть истинным, должно возвыситься до всеобщности и проникнуть в сознание в абстрактнейшей форме этой всеобщности.

Гегель преследует политическую цель, реформу религии благодаря введению гражданской правовой системы, замену святости ее ценнейшей нравственностью, "вместо обета слепого послушания значение получает теперь повиновение закону и основанное на законе государственным учреждениям. Это повиновение само есть истинная свобода, ибо государство есть подлинный, сам себя осуществляющий разум, нравственность в государстве. Только таким образом и может быть налицо вообще право и нравственность. Недостаточно, чтобы религия только повелевала: отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу; ибо речь и идет как раз о том, чтобы определить, что, собственно, представляет собой кесарь, т.е. что же, собственно, относится к светской власти²⁸⁶.

Именно в этом стремлении "определить, что представляет собой кесарь", Гегель выдвигает свой тезис: "Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно". И он продолжает: "Если рефлексия, чувство или какая бы то ни было форма субъективного сознания рассматривает настоящее как нечто суетное, считает, что она превзошла его и обладает лучшим знанием, то она пребывает в суетности, а так как она сама обладает действительностью лишь в настоящем, то она сама лишь суетность... Все дело в том, чтобы в видимости временного и преходящего познать субстанцию, которая имманентна, и вечное, которое присутствует в настоящем"²⁸⁷.

Примирение с действительностью Гегель выражает в этой формуле: "Познать разум как розу на кресте современности и возрадоваться ей, это разумное понимание есть примирение с действительностью". Мудрец (Гегель?), обладающий универсальным знанием, плодом тысячелетнего процесса, примиряется с действительностью; но обратное утверждение неистинно: примирительное отношение к действительности, даже ценой самых больших страданий, не позволяет достичь рационального знания и гармонии. Личная жизнь Белинского, увы, продолжает развиваться в дисгармонии, все последствия "насильного" примирения с действительностью он еще не постиг, но слова Мишеля, что истина только в объективности, что в поэзии субъективность есть отрицание поэзии,

что бесконечное открывается через форму, а не через содержание, открывают ему возможность применить новые понятия к литературной критике. Но для этого ему необходим доступ к печати. Переговоры с честолюбивым Краевским, новым хозяином "Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду" в Петербурге, ни к чему не приводят. Краевский рассчитывает на его сотрудничество, чтобы бороться с "кликкой Смирдина", но при этом предупреждает Белинского, что не допустит нападков на почтенных людей и что он оставляет за собой право изменять или отклонять статьи, которые он сочтет недоброжелательными. Кроме того, Белинскому придется хранить анонимность! Единственной надеждой остается Н.А. Полевой, уехавший в Петербург в октябре 1837 года. Там Смирдин заботится об улучшении своих публикаций, "Северная Пчела", тираж которой упал до 2 500 экземпляров, и "Сын Отечества", издаваемый всего лишь в 300 экземплярах. Он рассчитывает, что Полевой исправит положение. При враждебно настроенном министре Уварове, он может быть лишь тайным редактором. Встреча старых врагов проходит трогательно. "Булгарин расплакался, Греч обнял меня, Смирдин сказал, что с ним ничто не разлучит." Будучи подозрительной личностью с точки зрения властей, ренегатом и перебежчиком в глазах других, Полевой не может ни в каком случае рекомендовать Белинского, он пишет ему: "Я и сам теперь не знаю, какой принять тон, какое выражение... смотрю, наблюдаю, кланяюсь скромно." Он даже не смеет высказаться в пользу его грамматики!²⁸⁸

В марте 1838 г. Сергей Аксаков назначен директором Московского Межевого института, он предлагает Белинскому пост преподавателя в этом учебном заведении, подчиняющемся Министерству юстиции и, следовательно, ускользающем от бдительного ока попечителя Строганова: девять часов в неделю за 1300 рублей в год и жилье. Ввиду отсутствия документов и университетских званий, Белинский с радостью соглашается. Шаткое положение продлится лишь благодаря соучастию директора. Белинский будет вынужден подать в отставку в декабре, когда добрейший Аксаков откажется от поста по состоянию здоровья. А за этот промежуток времени положение "периодических" изданий в Москве не улучшится. Судьба "Наблюдателя" весьма печальна, в 1837 году его содержание сводится к статьям Шевырева и к переводам. Во время своего пребывания в Москве со Двором, поэт Жуковский, наставник цесаревича, поддерживает проект издания нового журнала, "Москвитянина". Строганов сообщает Уварову, что можно

рассчитывать на сотрудничество Шевырева и Погодина. Надеждин предостерегает последнего: "Ни ты, ни Шевырев, ни кто-либо из вас, Москвичей, мне известных, не могут быть журналистами в том смысле, какой нужен для успеха в публике. Что ни говори, а с Сенковским и Полевым трудно тягаться на этом поприще. Кроме личной способности этих людей к базарному тону и проделкам, они ворочают если не капиталом, то кредитом Смирдина. Где все это вы возьмете? Журнал ваш будет умен, благороден: так, но этого мало! Вспомни судьбу "Московского Вестника". Жалкая тень "Наблюдателя" и теперь перед нашими глазами"²⁸⁹.

Андросов, официальный редактор "Наблюдателя", напрасно пытается продать его А.А. Плюшару, издателю "Энциклопедического лексикона". В конце концов, при смерти, журнал выкуплен московским книготорговцем и издателем, Н.С. Степановым. Последний не смотрит на вещи масштабно, как Смирдин в Петербурге; он надеется лишь подработать, эксплуатируя бескорыстие молодых "добровольных" сотрудников. В действительности, он неофициально вверяет редакцию журнала Белинскому, который тотчас привлекает к делу своих друзей Константина Аксакова, Бакунина, Ефремова, Ключникова, Каткова, поэта Кольцова и многих других. В своих воспоминаниях пишет Погодин: "Телескоп" и "Молва" после известной катастрофы из-за письма Чаадаева погибли, Андросов едва мог тянуть "Наблюдатель" и решился передать его компании тогдашних прогрессистов, в коей участвовали Бакунин, Белинский, Кудрявцев. Андросов был очень резок и остер. Я помню, как он смеялся над первыми книжками. "Прежних сотрудников, говорил он, я едва мог с места двигать, а с новыми удержу нет"²⁹⁰.

Как только он стал редактором, Белинский объявляет в своей программе, что критика станет основной частью журнала, обещает публиковать переводы Шекспира, Гете и других английских и немецких авторов, а также что "несколько молодых русских, находящихся в Берлине и других местах Германии, изъявили желание быть корреспондентами "Московского Наблюдателя"²⁹¹. Со своей стороны, Бакунин приглашает своих сестер в Москву: "Мы будем вас потчевать музыкою, театром; я познакомлю вас с своим другом В.П. Боткиным, с которым я теперь живу, потому что В.Г. Белинский переменял квартиру, и, кстати, вы знаете, что он опять взял в руки журнал. Первый номер выйдет на днях, и я пришлю вам его тотчас же. Там будет моя статья, под которой я преважно подписал "Михаил Бакунин", хорошая статья. В третьем

номере будет другая моя статья "О том, как у нас понимают философию", а в четвертом еще статья о Гегеле да другая статья о Гете и потом прощайте, уеду далеко, далеко"²⁹².

Лишь первое из этих сочинений выйдет в свет: предисловие к "Гимназическим речам Гегеля". Опубликованное в первом номере нового "Наблюдателя", это предисловие будет рассматриваться как его программная статья.

"Да, счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности, - восклицает Бакунин. - Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни одно и то же. Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете - главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны, что в знании царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными русскими людьми"²⁹³.

В том же номере Белинский публикует первую часть своей большой статьи "Гамлет Шекспира. Мочалов в роли Гамлета". После отъезда Станкевича он по-прежнему присутствует на представлениях. По его словам, любимый москвичами актер то вдохновен, то мерзок, но он бросил ошеломляющий свет на Гамлета и заставил усомниться во мнении Гете; в "Годах ученичества Вильгельма Мейстера" тот утверждает, что Гамлет лишен личных амбиций, довольствуется тем, что он сын короля. Описав великое деяние (месть за отца), Шекспир доверяет его слишком слабой душе. Подобно тому, как в драгоценную вазу для цветов посадили дуб, корни которого разобьют вазу, в данном случае потребовали невозможного от существа духовно чистого, но хрупкого. По мнению Белинского, ключевую фразу шекспировской драмы произносит Гамлет, когда он восклицает: "Наш век расстроен: о, несчастный жребий! Зачем же я рожден его исправить!" Гамлет не является слабым существом от природы. Слабость его воли вызвана переходом от неосознаваемой, детской, гармонии, к дисгармонии, к конфликту с самим собой. Однако это является необходимым условием достижения мужественной и сознательной

гармонии: "В жизни духа нет ничего противоречащего, и поэтому дисгармония и борьба суть вместе и ручательства за выход из них: иначе человек был бы слишком жалким существом. И чем человек выше духом, тем ужаснее бывает его распадение и тем торжественнее бывает его победа над своею конечностью, и тем глубже и святее его блаженство".

Работая над статьей, Белинский вдохновлен "Эстетикой" Гегеля, благодаря Михаилу Каткову. Этому новичку в кружке всего лишь 20 лет, он заканчивает филологическое образование и выделяется своим знанием языков и способностями переводчика. По мнению Белинского, у Гамлета ничего общего с "эпическим героем" древнегреческой трагедии; эпический герой, по мнению Гегеля, действует под влиянием своего пафоса, в непосредственном единстве субстанционального с индивидуальным, в незнании различия между самим собой и нравственным началом. А Гамлет "есть только прекрасная душа, но еще не действительный, не конкретный человек. Он пока доволен и счастлив жизнью, потому что действительность еще не расходилась с его мечтами; он еще не знает того, что прекрасно только то, что есть, а не то, что бы должно быть по его личному, субъективному взгляду на вещи". Чтобы достичь абсолютной гармонии духа вместо того, чтобы довольствоваться мимолетными мгновениями экзальтации, за которыми следуют апатия и отчаяние, прекрасная душа должна пройти испытание долга, признать всю мощь внешней действительности, значение необходимости; одним словом, ей следует пройти тем путем, который Белинский сам себе назначил!

Достигнет ли Гамлет "мужественной и сознательной гармонии"? Увы, он гибнет, оставшись пленником собственной субъективности, но, по мнению Белинского, "зритель выходит из театра с чувством гармонии и спокойствия в душе, с просветленным взглядом на жизнь", он примирен с нею, потому, что, сквозь борьбу конечных и личных интересов, "он увидел жизнь общую, мировую, абсолютную, в которой нет относительного добра и зла, но в которой все - безусловное благо!" На театральном представлении зритель испытывает чувство очищения, аристотелевский катарсис. Белинский отождествляет это блаженство духа с тем душевным спокойствием, к которому стремится читатель Гегеля! Гений Шекспира объективный, но не бесстрастный, уточняет Белинский: "... бесстрастие разрушает поэзию, а Шекспир великий поэт. Он не только жертвует действительностью своим любимым идеям, но его грустный, иногда болезненный взгляд на жизнь доказывает, что он дорогою ценою искупил истину своих изображений"²⁹⁴.

Белинский стремится навести порядок в своей жизни; когда-то, под влиянием фихтеанства и Бакунина, он заявлял, что всякая действительность иллюзорна; теперь, ради необходимости признать внешнюю действительность, он отрицает идеал. Желая опередить упреки друзей, Бакунин, со своей стороны, приглашает их отказаться от пустой болтовни и примириться с действительностью, которой слишком долго пренебрегал. Оба пишут статьи в журнал, но ни тот, ни другой не обращается, собственно, к какой-то внешней публике читателей, оба выступают перед "своими". С удивительным простодушием они сводят личные счеты с прошлым, осуждают излишества Schönseeligkeit*, стараются сами себя убедить. Духовный кризис, пережитый в кружке, великодушные ошибки таких прекрасных душ, как Станкевич, отсутствие любви и внутренней гармонии, вся эта интимная жизнь выставляется теперь на страницах журнала, призывая в свидетели публику, едва ли готовую оценить подобную исповедь. При этом, если общей целью является примирение с действительностью, то на самом деле в редакции журнала царит разногласие! О какой действительности идет речь?

"Главным источником всех наших недоразумений, - жалуется Мишель Станкевичу, - было то, что сначала я, а потом и Боткин стали уверять Белинского, что без знания и без познаний нельзя быть дельным редактором дельного журнала; что выводить из себя историю, искусство, религию и т.д. смешно и нелепо... Он очень рассердился на нас, говоря, что мы, "пигмеи", осмелились поднять руку на его субстанцию, которую даже ты глубоко уважал"²⁹⁵.

Белинский убежден, что против него "образуется сепаратная коалиция" с тех пор, как в марте Бакунин "как бы украдкою" переехал из его квартиры к Боткину: "Он опрокинулся на меня за то, что я издаю журнал, а не занимаюсь объективным наполнением. Я его не послушался, он стал меня ругать заочно, подкапываться под мою сущность, чтобы объявить ее конечною, наконец, не стал скрывать от меня своего презрения". Не способный воспользоваться "тысячелетним трудом ума и рассудка" и подняться, как Бакунин, до "сознательной мысли", Белинский упрямо продолжает доверять своей субстанции, своему эстетическому чувству и опровергает его авторитет: "Мы ставили тебя высоко, очень высоко, невольно увлекаясь сильным движением твоего духа, могуществом твоей мысли, этим тоном непоколебимого убеждения в своем образе мыслей ..., но мы подгадали дело унижением самих себя на твой счет, робкою, детскою добросовестностию..., и твоя ошибка состояла в том, что

* прекраснородушия (нем.).

ты никогда не хотел дать себе труда вывести нас из ложного понятия о нашем ничтожестве перед тобою... Так (отчасти, впрочем) принял я от тебя фихтеанизм; так Боткин убедился, что ему надо учиться философии, бросить амбар и не сметь писать статей о музыке".

Станкевичу Белинский объясняет: "Статья Бакунина погубила "Наблюдатель" не тем, чтобы она была слишком дурна, а тем, что увлекла нас (особенно меня за что я и зол на нее), дала дурное направление журналу и на первых порах оттолкнула от него публику и погубила его безвозвратно в ее мнении <...>. Человек хотел говорить о таком важном предмете, как философия Гегеля, в значении сознания разумной действительности, а не произвольного и фантазерского построения своей действительности и начал говорить размашисто, хвастливо и нагло, как в кругу своих друзей, с трубкою во рту и в халате <...>. Вместо живого изложения одна сухая и крикливая отвлеченность. Вот почему эта статья возбудила в публике не холодность, а ненависть и презрение, как будто бы она была личным оскорблением каждому читателю"²⁹⁶. "Мишель хотел услужить "Наблюдателю", - подтверждает Боткин. - Да и удружил, как медведь пустынноiku. Нет, такие вводители в философию Гегеля хуже врагов его!"²⁹⁷

"Враги" же не дремлют. С июня 1838 г. в "Северной Пчеле" Булгарин перечисляет непонятные термины в новом "Наблюдателе": абсолют, прекраснодушие, конкретность, конечность, призрачность, объективность, субъективность, субстанция и т.п., и заключает: "Ей-Богу, это субъективная и объективная галиматья, отрицательный абсолют, ноль!" Благосклонный Сергей Аксаков пишет сыну Константину, уехавшему за границу: "Булгарин обругал первые книжки и, к сожалению, сами дали ему орудие: выставили несколько слов и фраз, истинно смешных, которые всем кинутся в глаза"²⁹⁸. Белинский еще не уловил комизм ситуации и высокомерно отвечает: "Г-н Булгарин не понимает, что такое внутреннее распадение и внутренняя разорванность, и мы нисколько не удивляемся, что он не понимает этого". Только в сентябре 1839 г., в письме Станкевичу, Белинский признается, что смешная сторона журнала "в обилии философских терминов (очень поверхностно понятых), которые и в самой Германии, в популярных сочинениях, употребляют с большою экономию. Мы забыли, что русская публика не немецкая, и нападая на прекраснодушие, сами служили самым забавным примером его"²⁹⁹.

Тем не менее, в Петербурге статьи о Гегеле и Гамлете понравились молодому и богатому дилетанту, который вскоре сделает

карьеру в журналистике и литературе, родственнику Краевского, Ивану Ивановичу Панаеву. Он предостерегает Белинского: "Вы забываете о массе, с которой Вы должны говорить непременно. Зачем пугать ее языком кабинетным? Нам надобно стараться изо всех сил доказать нашей премудрой публике, что немецкая философия не готический бред, как уверяет ее Сенковский, зло играющий ее доверенностью"³⁰⁰. Белинский отвечает ему: "Совершенно согласен с вами насчет философских терминов, что делать, погорячились". Но при этом добавляет: "Журнал с таким направлением, которое я могу дать, всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы". Даже сестры Мишеля, признает Белинский, шутят по поводу слов "объективность" и "субъективность", они заявляют, что неспособны их произнести и находят их необычными, даже в устах мужчин³⁰¹.

Несмотря на все, "Наблюдатель" отныне является органом гегельянства, наиболее совершенным выражением новой философии и, следовательно, германофильского течения, который не стесняется восхвалять Пруссию. Во втором номере журнала, в мае 1838 года, можно прочесть, что Пруссия, самое могущественное протестантское государство Германии, собирает ее лучших представителей, что прусская культура является образцом для Европы, а Берлинский университет ее хранителем, куда из Иены переселился великий Гегель. Нет ничего крамольного или возмутительного в этом отношении, полностью совпадающим с официальной политикой, которая заключается в отправке в Германию и, в частности в Берлин, столицу самого верного союзника России, будущих преподавателей для завершения их образования. Они поступают в Педагогический институт в Петербурге, упорно работают, подчиняются требованиям, подчас абсурдным и формальным, в надежде получить возможность двухлетнего пребывания за границей! Не все непременно становятся гегельянами. Некоторые, особенно юристы, оказываются под влиянием исторической школы права Савиньи, соперницы гегельянской школы, представленной Э. Гансом. Например, Алексей Куницын, происходящий из семьи священника, прослушавший с 1831 по 1834 г. в Берлине лекции Савиньи, защитивший диссертацию о наследственном праве и преподававший право в Харькове. Сергей Орнатский, тоже сын священника, идет по тому же пути, пишет диссертацию по гражданскому и уголовному праву и преподает в Киеве, Харькове, затем в Москве. Напротив, Петр Редкин, сын богатого украинского помещика, изучавший право

сначала в Москве, затем в Дерпте, посещает в Берлине лекции Гегеля, Ганса и Савиньи, преподает право в Москве с 1835 года. Как убежденный гегельянец, он строит лекции в соответствии со знаменитым принципом триады: моменты абсолюта, детерминации и единства. Он опубликует в 1841 году в "Москвитянине" "Обзор гегелевой логики". Его товарищ по учебе, Константин Неволин, бывший семинарист, защищает по возвращении из Берлина диссертацию "О философии законодательства у древних". Став преподавателем, которого студенты ценили, несмотря на некоторый схематизм, затем ректором Киевского университета, он находится под сильным влиянием Гегеля и публикует "Энциклопедию законоведения" (1839-1840 гг.). С другой стороны, Никита Крылов, преподаватель римского права в Московском университете, несмотря на свое пребывание в Берлине с 1831 г. по 1834 г., почти не испытал влияния гегельянства.

Именно юридические и исторические дисциплины оказываются особенно благоприятными для распространения гегельянства в университете. В этом учении нельзя видеть какой-либо "разрушающей" ориентации, при условии, что эта рациональная концепция государства соответствует пожеланиям просвещенного монарха.

Что касается собственно "новой философии", накануне приезда Грановского, то ее представитель на филологическом факультете - притягательная личность, Дмитрий Крюков (1809-1845), преподаватель классической философии и античной истории; он учился в Дерпте, затем в Берлине с 1832 г. по 1835 г. Он будет блистать перед студентами и в московских салонах, но вскоре преждевременно умрет, оставив лишь несколько статей, среди которых "О трагическом характере истории Тацита" и исследование о религиозных верованиях патрициев и плебеев в Риме.

Будучи сами бывшими студентами, редакторы "Наблюдателя" приветствуют появление этого поколения в университете: "Они попали в Берлинский университет в самую интересную эпоху науки, когда юное могучее поколение, образованное основателем новейшей философии Гегелем, деятельно трудится в приложении его глубоких мирообъемлющих идей ко всем отраслям знания. Дивная эпоха, начало новой, могучей и бесконечной жизни, которой простодушное легкомыслие, воспитанное на фразах Кузена, Лерминье, Мишле, Кине и сен-симонистов, даже и не подозревает! И между тем, ложно понимаемый патриотизм, родной этому простодушному легкомыслию и поставляющий свое достоинство

в отрицании чужого достоинства, провозглашает от души, что Запад кончил свой круг, и теперь томится в смертной агонии"³⁰².

Направление журнала заключается в примирении, под влиянием берлинского философа, русского патриотизма, приверженности к национальным ценностям (которые остается еще определить) с германофильством, в ущерб Франции и ее пагубному влиянию. Однако, стараясь, безусловно, осудить материализм французских философов XVIII века, "болезнь" Франции, лишенной религии, отданной во власть сен-симонизму и другим нелепым сектам, Бакунин не убеждает ни благонамеренных людей, ни бывших любомудров. Призыв к примирению с действительностью скептически воспринят православными богословами и философами Киева. К счастью, они видят в этом "апостольском рвении" только гордыню. "С удивлением читали мы, - пишет один из них Погодину, - неблагоприятную статью неблагоприятного ученика немецкой школы, помещенную в "Московском Наблюдателе". Вероятно, она написана не по внутреннему убеждению, а только для упражнения языка и пера, по подражанию тем мудрецам, которые поставляли верх искусства в том, чтобы о каждом предмете говорить pro и contra"³⁰³.

К счастью, поскольку использование "философской тарбарщины" позволяет Бакунину и Белинскому публично выступать и заботиться о судьбе "блудного сына", скептика и вольнодумца, рассорившегося с российской "великолепной действительностью", благосклонные намерения московских гегельянцев пока еще не вызывают политических опасений. Тем не менее, Погодин беспокоится за Константина Аксакова. Во время обеда у Аксаковых он хочет отговорить несчастного Костю от увлечения философией. Тот возражает: "Сделайте милость, пришлите мне с этим человеком портрет Гегеля, который висит у вас на стене. В училище его срисуют". Погодину приходится отступить. Однако в "Журнале Министерства Народного Просвещения" начинают пристальнее следить за дебатами, вызванными в Германии богословскими проблемами, создаваемыми гегельянством. Январский номер 1836 года заинтересован работой Эшенмейера "Философия Гегеля в сравнении с христианской философией": "Это превосходное исследование, так как оно раскрывает антихристианскую направленность Гегеля, несмотря на его усилия скрыть это за заумной логикой"³⁰⁵.

Эти тучи не угрожают существованию "Наблюдателя", переживающего главным образом материальные трудности.

Прежде всего, крупный долг: нужно восполнить отставание, созданное бывшей редакцией и опубликовать в 1838 году номера за предыдущий год. Сроки изданий постоянно переносятся издателем Степановым, который загружает свою типографию другими заказами, обеспечивающими ему стабильный доход. Кроме того, не заставил себя ждать цензор, старый знакомый, профессор Снегирев! Придя на смену Шевыреву, Белинский с 1838 г. по 1839 г. выполняет самую большую редакторскую работу, более 120 статей и отчетов. Бывшие члены кружка сотрудничают время от времени. Боткин публикует статьи по музыкальной критике, а именно об оратории "Павел" Мендельсона-Бартольди. Аксаков переводит стихотворения Шиллера и Гете, даже пишет начало статьи о грамматике Белинского. Красов публикует в "Наблюдателе" десяток стихотворений, навеянных тоской и сожалениями. По рекомендации Погодина, он уехал служить ассистентом в Киевский университет и вернулся в Москву на обозе с табаком после того как его диссертация, посвященная английской и немецкой поэзии конца XVIII века, была отклонена! Живя частными уроками, он сомневается в своем призвании.

Поэт-самоучка Кольцов не разделяет этого пессимизма. Прожив два месяца, в Москве, весной 1838 года, он пишет Белинскому, что они дороже ему, чем пять лет, проведенные в Воронеже. "Где эта бессменная моя печаль, убийственная тоска, эта гадкая буря души, раздор самого себя с собою, с людьми и с делами??" Примирение с действительностью его ободряет: "Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта". Вызывая всеобщее любопытство в Воронеже, он философствует: "Кривое дерево не разогнется прямо, а в лесу более кривого и суковатого, чем ровного". Тем не менее, он надеется обратиться отца в новую веру: "Мы ездили с ним вместе на степи; дорогою я взялся ему все доказывать, рассказывать философски; рассказал, как умел, и он со мною совершенно во всем согласился; даже согласился, что он самый большой фанатик, то есть почитатель одних призрачных правил без чувства души". Кольцов хочет, благодаря книжному магазину, ознакомить Воронеж с "Наблюдателем", уговорить знакомого полковника подписаться. А в журнал он посылает стихотворения на привычные темы: горе, одиночество, отчаяние³⁰⁶.

Катков, со своей стороны, переводит стихотворения Гейне, сцены из "Ромео и Джульетты", статью Ретшера "О философской

критике художественных произведений", которая повлияет на Белинского, и статью Варнгагена фон Энзе, посвященную Пушкину, публикацию которой Снегирев запретит. Под угрозой вызова к Строганову, Катков оставляет журнал, принимает предложение Краевского перейти в "Отечественные Записки". Белинский не обижается: Катков беден, в "Наблюдателе" он работал бесплатно.

Намечается начало сотрудничества с бывшими членами кружка Герцена и Огарева. Звеном между ними является Николай Кетчер. Сын шведа, директора завода в Москве, он вел себя героически во время эпидемии холеры, будучи студентом-медиком. Сатин пишет ему из ссылки в Ставрополе: "Я хотел послать кой-что для "Наблюдателя", но остановился за леностию переписывать и еще потому, что я совершенно не знаю этого журнала. Еще с начала года послал в Московскую газетную экспедицию деньги и до сих пор не получил ни одной книжки. Здесь его никто не получает. Да уж жив ли он? Что фанатик Белинский? За что он на меня дуется?"³⁰⁷ Тогда же, находясь еще в ссылке в Вятке, Герцен интересуется "Наблюдателем" и обещает Кетчеру послать "Лициния" (Из римских сцен) и другие статьи, отрывки из своей биографии; этот план сотрудничества не осуществится.

Своим необычным тоном "Наблюдатель" привлекает новое поколение студентов, поколение Фета, Григорьева, Самарина, восторженных читателей Белинского. Вокруг гегельянства, которое проповедают бывшие студенты, не всегда обладающие учеными степенями, создается легенда окрашенная неким мученическим ореолом. Философский "подвиг", совершенный кружком Станкевича, обеспечивает им несомненное моральное превосходство. Несмотря на то, что вопросы, которые закономерно возникают по поводу их *Weltanschauung*, их мировосприятия, остаются открытыми, Белинский и его друзья завоевали внимание и некую симпатию, говоря напрямую с читателями, не вдаваясь в пустой полемику с кем-либо. По примеру Гегеля, следует избавиться от презренных противников, отмахиваясь от них, как от мух.

В апреле 1839 года Белинский вручает семье Ховриных, которая готовится к отъезду на Запад, номера "Наблюдателя" и письмо для Станкевича. Он дает пылкую рекомендацию г-же Ховриной: "Это премилая и преумная женщина, в которой мне особенно нравится то, что у ней есть живое чувство изящного: она понимает Пушкина и Гоголя"³⁰⁸. Из Зальцбрунна, 8 июля, Станкевич общается Ефремову: "Белинский прислал мне с Ховриными листки из Наблюдателя. Мы с Грановским все почти прочитали. Лучшая

часть - стихи. Всего лучше - переводы Каткова из Гейне - отличные, как нельзя лучше желать, и Аксакова из Гете и Шиллера. Из оригинальных особенно хорош "Петр Великий" - Ключникова!"³⁰⁹

До его появления в печати стихотворение Ключникова вызвало в кружке "целую историю с объяснениями и экзальтациями". Он хотел ответить на вопрос, заданный Пушкиным в поэме "Медный всадник":

Куда ты скачешь, гордый конь?
И где опустишь ты копыта?

Россия ответила Петру, что она поняла его, что она осуществит его мечты, и Ключников заключает:

Будет время... Но что будет
Знает Бог да знаешь ты!³¹⁰

Эта уловка не убедила Белинского; Станкевичу он сообщает, что "Мефистофель" их кружка стал жертвой своей чрезмерной пронизательности, своего сардонического настроения. Он резко сдал, поддался навязчивому чувству виновности и приближения смерти. Однако, осенью 1838 года он возрождается, утверждает, что достиг гармонии и блаженства после неизбежного периода страдания и дисгармонии, говорит дрожа о возвышенном и прекрасном, со слезами восторга, в состоянии экстаза сочиняет стихи, затем обходит друзей, читает их и сердится, если они не вызывают восторга: "Наконец он стал очень откровенно поговаривать, что он выше Пушкина (sic!..), ибо-де Пушкин поэт распада, а он (Ключников!..) поэт примирения"³¹¹.

Белинский только что до этого ознакомился с посмертными произведениями Пушкина, опубликованными в 1837 году в "Современнике". Он именно видит в Пушкине поэта трагического примирения, объективно созерцающего действительность. Мировоззрение Пушкина не имеет ничего общего с искусственным "примирением", предложенным Ключниковым. Вдали от друзей, Станкевичу трудно оценить суть спора, вспыхнувшего в Москве. Провозглашать примирение с действительностью ему кажется похвальным философским и эстетическим стремлением. Вот почему он одобряет и поэзию Ключникова, и статью Бакунина. Он упрекает их только в том, что они обращаются к публике, как к своим друзьям, с трубкой во рту и бесконечными цитатами для подтверждения каждого

теоретического положения. Белинский оправдывается: по крайней мере, публика впервые услышала истинные вещи; не лучше ли это того вздора, что несет Шевырев, в белых перчатках и графином со сладкой водой?

Клюшников, в свою очередь, пишет Станкевичу: "Я помню, я думаю о тебе больше всех твоих знакомых; даже (жаль, если я ошибаюсь) и понимаю тебя лучше всех твоих знакомых и при всем том, я не писал к тебе - не мог писать к тебе. Что ж это значит? А вот что: ты часто пророчил мне передрыгу; она случилась со мной и была ужаснее, нежели я мог вообразить себе, смотря на твои страдания: два или три месяца я был сумасшедший, потом медленно (почти год) оправлялся, и теперь уже в дверях, уже в передней новой жизни". В стихах, он описывает свое одиночество:

Друзья мне скучны: прихожу в их круг
И говорят с участием: "Здравствуй, друг!"
"Здоров ли?" и протягивают руки.
"Ну, как дела?" и прочее. От скуки
За трубку, развалюсь, болтаю вздор,
А мне кругом рукоплескает хор:
"Вот мило! Вот забавно! Молодец!
Скажи еще!" Не в мочь мне наконец:
Не с тем я шел, не то сказать хотел.
Я не сказал - зачем же? - так, не смел..
Друзья мне скучны; не пойду в их круг
Не дружный сам с собой кому я друг?³¹²

Желая оздоровить обстановку в кружке, Бакунин пытается возглавить его и терпит полную неудачу. "Равенство условие дружбы, напоминает ему Белинский. <...> - Станкевич никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда и для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно признавали превосходство его натуры над своею"³¹³. Больных субъектов, страдающих от "рефлексии" и внутреннего разлада, Бакунин хотел привлечь своим "здоровым духом"; он также пытался их разъединить, уверял Белинского, что их дружба основывалась на "сродстве сущностей", и что Боткин всего лишь навязчивый человек. А перед Боткиным он извинялся, и тот отвечал: "Напрасно ты просишь прощения. Это так глупо, что из рук вон". Одержав окончательную победу над иллюзиями чувства и над ложью, он друзьям заявлял: "Тот не может быть счастливым, кто не

страдал.... Кто не страдал, тот не жил, тот не выходил еще из отвлеченности жизни". А своим ученицам он советовал: "Верьте своему чувству, предайтесь ему вполне, безгранично, безусловно и постарайтесь понять его. Мыслите, но не рассуждайте; мысль питает, просветляет душу; рассуждения убивают ее". Покидая Москву в середине июня, Мишель едва мог скрыть от сестер Беер, что потерпел неудачу перед друзьями: "Вы не можете себе вообразить, с какой радостью я простился с Москвою и удалился от всякой литературной суеты и производительности и уединился в Прямухине, где все теперь спокойно и мирно <...>. Мне нужно жить в самом себе и с теми, с которыми я могу быть, не выходя из себя"³¹⁴.

Не успел он вернуться в Прямухино и окунуться в "таинства сельского хозяйства", как в Москву уезжают Александра и Татьяна в сопровождении матери. Александра испытывает только стеснение и холодность в присутствии Белинского. Отрезвев, он сообщает Боткину: "Теперь-то я вижу, что моя дружба с Мишелем была мечта, отрывок из фантастической повести Гофмана!" Потеряв последнюю надежду на взаимную любовь, он "окончательно" освобождается от влияния Бакунина и спешит сообщить ему об этом..., домогаясь в конце письма его помощи и советов! А в ежедневных встречах в Москве, он следит за Александрой; за ней ухаживают Ефремов, Лангер, немецкий музыкант, способный оценить Гоголя, и Поль, другой музыкант; но проделки милого Боткина он не замечает! Сияющий от радости жизни и от рейнвейна, Боткин, его друг, его наперсник, куда-то метится и что-то доверяет... Мишелю!

Но пребывание в Москве вскоре прервано тревожными новостями из Прямухино: состояние здоровья Любы ухудшилось. Она медленно угасает, но пытается это скрыть от своих и особенно от своего "жениха". Станкевич продолжает регулярно переписываться с ней и расточает рекомендации и мягкие упреки: "Вы больны, больны опасно, и я ничего не знал об этом ... я пишу Вам, когда у меня болят пальцы, а Вы молчали, когда жизнь Ваша была не безопасна?" Люба живет лишь ожиданием его писем. 13 июня 1838 года она ему сообщает: "Наконец Миша приехал из Москвы и сказал, что есть письмо, но что оно не у него, а едет с Егором, который отправился с обозом. Я всякий день ездила ему навстречу, это продолжалось около недели". Это письмо от 20 мая, из Лейпцига, в котором Станкевич описывает свое путешествие по Германии и предстоящий приезд в Веймар. "Берега Рейна должны быть великолепны, - продолжает она по-французски. - Пусть только все это не побудит вас забывать и

презирать нас, бедных жителей более сурового климата. Наши сердца, хотя и воспитанные среди снегов, горячи, они требуют, чтоб их любили. Впрочем, я с ума сошла, ходатайствуя таким образом за интересы нашей холодной и дорогой России, обращаясь к вам, который также может гордиться своим рождением среди льдов и снегов ее"³¹⁶.

16 июня Мишель пишет матери в Москву и просит ее вернуться: Люба страдает от бессонницы, семейный врач прописывает ей настои и порошки. Мишель настаивает на приезде Петра Ключникова, хорошего врача и приличного человека. Брат поэта служит в то время в Венево, в Тульской губернии. Происходит всеобщая мобилизация кружка. Белинский просит его, бросив все дела, ехать в Прямухино; к нему присоединяются Ефремов и Боткин, который предлагает оплатить его дорожные расходы: он побуждает его совершить подвиг и посылает 100 рублей аванса. Белинский сам едет за ним в Венево. Вслед за Боткиным, 5 июля он приезжает в Прямухино и объявляет о предстоящем прибытии врача с Ефремовым. Бакунин решает выехать им навстречу в Торжок. "Ты писал, напоминает ему позднее Белинский, - что, сидя в комнате трактира, обдумываешь свое предисловие к Беттине, поешь, грустишь, понимаешь всю затруднительность дел, весь ужас будущего - и счастлив. Я это понял и оценил - и ты предстал мне во всей своей глубокой сущности, во всем свете своего значения, могущий, просветленный, львообразный"³¹⁷.

Львообразный Мишель - либо вампир, новый "герой нашего времени", либо новый Фауст, который сестрам своим приводит слова героя Гете, при заключении договора с Мефистофелем: излечившись от жажды познания, я хочу изведать все страдания, выпавшие на долю человечества, и испытать в своем внутреннем "я" и радости его, и горести?

В Прямухине, невзирая на трагическую атмосферу, возобновляются все любовные интриги. Ревнуя к Лангеру, Боткин влюблен в Александру, она падает в обморок в его присутствии. Мишель собирает тайные сообщения. Белинский решает вернуться в Москву, Там он покупает пятнадцать горшков с цветами, расставляет их в своей квартире при Межевом институте и намеревается приобрести маленькое животное, чтоб кого-нибудь любить. Храня, как можно дольше, букет, подаренный Александрой, он мечтает о Прямухине: если он разбогатеет, он купит себе поместье, которое будет точной его копией: дом, церковь, кузница, фабрика, мельница, сад. Внутренние, недоступные комнаты, останутся закрытыми; он будет

довольствоваться другими, обставленными, как оригинал. Он там будет жить в ожидании чуда: "Вот не откроется ли дверь святилища и не выйдет ли кто-нибудь разливать чай..."

Петр Ключников приехал "слишком поздно", чтобы спасти Любу. "По крайней мере, он облегчил ее страдания, и она так полюбила его, что ей становилось легче от его присутствия. Если бы не Станкевич (говорила она ему за день до смерти), я вышла бы за вас замуж". Она умирает 6-го августа. Потрясенный, Белинский смотрит на покойную, как на святую. Он умоляет Мишеля: "Опиши мне все подробности ее кончины: после подробностей смерти нашего божественного Спасителя для меня всего интереснее, всего священнее подробности ее смерти"³¹⁸.

Мишель пишет Варваре: "Вера в бессмертие индивидуального духа еще более усилилась во мне. Нет смерти, все рождено для жизни и все исполнит великое назначение жизни". Он не решается сообщить Станкевичу, не зная, "куда ему писать, что и как ему писать. Он должен быть еще в Эмсе на Рейне; может быть, ты увидишь его, я желал бы, чтобы вы увиделись"³¹⁹. В конце концов, Станкевича извещает Белинский: "Она умерла, как умирают святые - спокойно и тихо. Катастрофы не было: *тайна осталась для нее тайною*. Болезнь убила ее"³²⁰.

Станкевич узнает эту новость, вернувшись в Берлин, и, одновременно - о кончине своего дяди Николая Ивановича. Грановскому поручено ответить Белинскому, поблагодарить его и успокоить: Станкевич перенес удар легче, чем можно было опасаться: "Несколько месяцев назад это известие, конечно же, убило бы его. Ее смерть стала для всех нас ужасным сюрпризом. О такой развязке никто не думал, а между тем, другая едва ли была возможна. Один из двух должен был очистить своею смертию жизнь другого. Разумеется, что это не утешение"³²¹. Станкевич добавляет к этим страшным словам: "Вы слишком много за меня боялись: смерть ее наполнила меня грустью, но не отчаянием. Она оживила во мне ее образ, сделавшийся страшным сном <...>. Я не снимаю вины с себя, хоть слова: "*тайна осталась тайной*" сняли половину горя с души". Своему брату Ване, в Москву, он пишет: "В ней я потерял не ту, которую любил, но которой жизнь, может быть, сделал бы безотрадною. Судьба поделила все, как обыкновенно кончает она: она разложила вину. Ее память освящает душу мою, которую сушила неестественность моего положения; я хотел бы долее удержать образ ее, который потускнел в моей памяти"³²².

Если Станкевич пережил "абстрактно" смерть своей невесты, в Прямухине агония Любы привела присутствующих в болезненную экзальтацию, особенно сестер. Это поражает Петра Ключникова, он выслушивает слезные откровения матери Любы. Она упрекает Мишеля в том, что он отнял у родителей любовь дочерей, они сами в этом прямо признаются. Вернувшись в Москву, он пишет матери медицинский отчет о состоянии девушек. Он затрагивает в нем интимные вопросы. Как врач, он понял, что важную роль играет пол и тот факт, что девушки в брачном возрасте находятся под влиянием брата, в постоянном мозговом напряжении, которое душит всякий естественный порыв, всякое живое чувство. Мишель знакомится с этим отчетом и воображает, что стал жертвой заговора. Не посылал ли уже Белинский его отцу теплое письмо, в котором он воздавал должное его терпимости, делу, которое он совершил в Прямухине? Но на этот раз коснулись его субстанции! его сестер! В ярости, он отвечает ему целой диссертацией, которая никакого впечатления не производит на молодого врача, не восприимчивого к философским аргументам. Он доверяет Белинскому, что он вернулся из Прямухино с необъяснимым чувством враждебности по отношению к Мишелю, притеснителю и истязателю своего окружения. На вопросы Белинского он не способен в ответ привести хоть один конкретный факт и повторяет только: "Все его обвиняет!"

Ведение процесса против Мишеля Белинский берет на себя. Задача сложная; сестры никогда не согласятся признать его их адвокатом. Что касается Мишеля, то он отвергает какое-либо обсуждение: для него сестры священны. "Куда девалась твоя философия, обращается к нему Белинский, твоя вера в могущество истины и мысли? Ты, три года твердивший нам, что истинно только то, что действительно, а действительно то, что выдерживает всякое отрицание и не боится истины?" Ошибочным заключением собственной субъективности Бакунин хотел подчинить живую действительность: "Действительность не лошадь, которою можно управлять по воле". Сам не отдавая себе отчета в последствиях своего учения, Мишель вырвал сестер из состояния невинности и покорности, которое в конечном счете предпочтительнее, нежели трагическая пустота, создаваемая философским рассуждением, оно разрушает утешительные иллюзии и разумные запреты. "Ты их ввел в царство мысли и дал им новую жизнь, но я имею сильные причины думать, что им сильно, сильно хочется "туда". Когда еще они не знали достоинства мысли, их спасало от этого желания простое

чувство покорности провидению. Последнее мне лучше нравится. Такой уж у меня образ мыслей теперь"³²³.

Это стремление "туда", Jenseits, в потусторонний мир испытывает именно тогда Александра Беер. Она пишет своей сестре Наталье, находящейся тогда в Прямухине, что она отправляется в паломничество в Оптину пустынь для встречи со знаменитым ее настоятелем, отцом Леонидом. Письмо вызывает волнение, Наталья просит Мишеля ей срочно написать. Он уверяет Александру, что она не может найти удовлетворения в мертвом формализме искаженного христианства и предлагает свое вероисповедание: "Не Бог оставил вас, а вы оставили Его. Раскаяние, сознание своего падения есть необходимый элемент христианской жизни <...>. Но раскаяние есть только одна сторона христианства и если оно из одностороннего захочет сделаться полнотой жизни и оторвав себя от всего другого сделаться независимым и самостоятельным - тогда оно само становится грехом". Мишель оправдывает грех: "Христос воплотился не для праведных, а для грешных. Кто не грешил, тот не может быть в единстве с Богом, потому что для того нет благодати, благодать же - единство человека с Богом". "Человек должен принять в себя Христа - не одно только страдание Христа, которое есть только один момент его, это делают католики и потому их религия есть вечное стремление без удовлетворения - нет, должно принять страдание, увенчанное его воскресением. Христос воскрес, а не остался в гробу, и смерть, и грех, ведущий к ней и страдание, их необходимая спутница, - побеждены воскресением Спасителя". "... Где нет греха, там нет благодати. Кто не страдает, тому не нужен Христос". Бакунин ей подсказывает то, что ей поручено испытывать: "... я не только, что не отделена от Бога тем, что я грешна, но этот грех именно соединяет меня с Ним и без греха я никогда не узнала бы Его".

Александра отвечает Мишелю 19-го ноября 1838 г.: "Там я видела свет и красоту, но недолго, они озарили меня, - мое падение становилось между мной и этим чистым, прозрачным, незатемненным, светлым и не пускало меня в храм"³²⁴.

Белинскому не до проповедей, он сознает опасность, которая подстерегает их всех: "Действительность есть чудовище, вооруженное железными когтями и железными челюстями: кто охотно не отдается ей, того она насильно схватывает и пожирает". Свои обвинения против Бакунина он соберет в письме Станкевичу, написанном между 29 сентября и 8 октября 1838 года: "Не говоря уже о поколебленном до основания семейственном счастье и гармонии, он

привел своих прозелиток в какое-то напряженное и несвойственное их святым женственным непосредственностям состояние геройства и бегтинства; он повлек их по всем моментам, или, лучше сказать, мытарствам развития своего духа, забыв, что они женщины и что им это совсем не нужно. На покойницу он всегда смотрел с некоторою иронической улыбкою, потому что ее простота и действительность были слишком не под силу его разумению, и разъединил ее с ними".

Обвинительную речь против своего учителя он составил в двух огромных письмах в сентябре и октябре 1838 года: "Ты первый уничтожил в моем понятии цену опыта и действительности, втащив меня в фихтеанскую отвлеченность". Белинский уточняет позднее: "Фихтеанизм принес мне великую пользу, но и много сделал зла, может быть, оттого, что я не так его понял: он возбудил во мне святотатственное покушение к насилчанию девственной святости чувства и веру в мертвую, абстрактную мысль". Он перечисляет категории: "Человек, который живет чувством в действительности, выше того, кто живет мыслию в призрачности (т.е. вне действительности); но человек, который живет мыслию (конкретною мыслию) в действительности, выше того, кто живет в ней только своею непосредственностью". Живя в сфере "огненных слов и живых образов", он помещает самого себя в первую категорию, во второй ему душно и гадко. Бакунин принадлежит ко второй категории: он понимает действительность, но живет совершенно вне ее, подобно метафизику из басни, рассуждающему о субстанции веревки вместо того, чтобы воспользоваться ею и выбраться из колодца, в который упал. Его знание не имеет никакой практической ценности: "Без руля и компаса не годится пускаться в море; но, по моему мнению, лучше пуститься в него совсем без руля и компаса, нежели, по неведению, вместо руля взять в руки утиное перо, а вместо компаса оловянные часы". И Белинский настойчив и жесток: "В жизни твоей ничего не вижу, кроме какого-то фантастического скачка через действительность". Насмешливо он спрашивает его, сохранил ли он еще свою невинность? В таком случае, как согласовать это неведение с его общеизвестным любопытством во всех областях?³²⁵

"Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно", знаменитая формула Гегеля, - обоих одновременно объединяет и противопоставляет. Диалектически. "В самом деле, между нами есть что-то общее, - замечает Белинский. - Это разрушительный элемент; и в то же время в нас есть что-то противоположное,

враждебное: что для меня составляет сущность, значение жизни, то для тебя хорошо между прочим; основа и цель твоей жизни для меня хорошо между прочим. С обеих сторон отчаянная субъективность". Каждому достается лишь один элемент; Белинскому: "Что действительно, то разумно", следовательно, то, что нравственно необходимо и поэтому подчинено долгу; Бакунину: "Что разумно, то действительно", в первую очередь, чистая философская спекуляция, освобожденная от всякой эмпирической случайности. Оба предложения радикально противоположны; каждый провоцирует другого своей односторонностью. Тем не менее, формула Гегеля для обоих была истинным откровением. С этого момента их пути расходятся. Бакунин далек от того, чтобы интересоваться политикой, он упорно провозглашает возврат к "истинному христианству". Ведь не сам ли Гегель уточнял во введении к своей "Энциклопедии", что с религиозной точки зрения его знаменитая формула была бесспорна, но, добавляя, что надо предполагать у людей достаточно культуры, чтобы они не сомневались в том, что Бог существует действительно, что лишь он истинно действительный, тогда как существование частично феноменально, частично действительно³²⁶. Столкнувшись с феноменологическим подходом, ведущим от несчастья прекрасной души к несчастью сознания, Станкевич вообразил, что сможет постичь абсолютную истину напрямик через "Логику", опозитизированную Вердером, и его интерпретацией второй части "Фауста". Бакунин - тот низводит феноменальное до уровня видимости, призрака и отождествляет свободу и истину во имя своей "новой религии". Белинский осуждает этот деспотический абсолют: "... ты пламенеешь неистощимою любовью к Богу, но к Богу как субстанции всего сущего, как к общему, оторванному от частных явлений, и еще никогда не любил субъекты и образы индивидуальные. Как в индийском пантеизме живет один Брами, все рождающий и всепожирающий, и частное есть жертва и игрушка Браммы - тени преходящие, так и для тебя идея выше человека, его образ мыслей выше его непосредственности, - ты приносишь его на жертву всерождающему и всепожирающему Брамме своему".

В письме от 7 августа 1837 г. Белинский писал Иванову: "Еще раз забудь самое слово польза, но помни твердо слово любовь; а любовь существует не для пользы, а для самой себя <...>. Не любовь к отечеству должна заставлять нас делать добро, но любовь к добру, не польза от добра, но самое добро". Любовь, по словам Белинского Бакунину - это чувство сострадания к ближнему, чувство, благодаря

которому перестаешь презирать "человека, погубившего себя женьтибою, затершего свой ум и дарования службою, потому что такой человек нисколько не виноват <...>. Иной всю жизнь мечтал о какой-то небесной женщине, а женился на тряпке; иной всю жизнь мечтал о благе общественном, а потом преспокойно, добившись тепленького местечка, берет взятки. А между тем оба эти человека могли бы далеко уйти. Но видишь ли, в чем дело: есть коллизия, род полиции или смирительного дома судьбы, который наказывает тех, кто отклоняется от господствующей идеи общества <...>. Чем выше были мечты человека, чем важнее был бунт человека против общества, к которому он принадлежит, - тем ужаснее смирение и наказание за это <...>. Действительность мстит за себя насмешливо, ядовито, и мы беспрестанно встречаем жертвы ее мести. Личное свободное стремление, не примиренное с внешнею необходимостью, вытекающею из жизни общества, производит коллизии. Это для нас то же, что *fatum* древних. Да, живи не как хочется, не как кажется должным, а как начальство велит, а это начальство - общество гражданское".

Смирение или примирение? С действительностью? С обществом гражданским? С волей Божией? Белинский ограничивается упоминанием "высшей воли": "Есть простая мысль, принадлежащая бессмысленной толпе: "Все в воле Божией"; я верю этой мысли, она есть догмат моей религии". Воля Божия есть предопределение Востока, *fatum* древних, провидение христианства, необходимость философии, наконец, действительность. Я признаю личную, самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю. Коллизия есть результат враждебного столкновения этих двух волей. Поэтому все бывает и будет так, как бывает и будет. Устою - хорошо; упаду - делать нечего. Я солдат у Бога: Он командует, я марширую. У меня есть свои желания, свои стремления, которые Он не хочет удовлетворить, как ни кажутся они мне законными; я ропщу, клянусь, что не буду Его слушаться, а между тем слушаюсь. И часто не понимаю, как все это делается. У меня нет охоты смотреть на будущее; вся моя забота что-нибудь делать, быть полезным членом общества".

Не стремиться "быть полезным", т.е. прислуживать, а испытывать любовь к добру, "быть полезным обществу", но при этом не обязательно на государственной службе, покоряясь тому, что "начальство" велит, но оставаться свободным, - как совместить столь противоречивые стремления? Смириться, это признать, что действительность сама решает неразрешимое для сознания.

Примириться, это воспринять сознательно то, что рассудок не способен усвоить. Каким путем? Заклучая прения, окончательно разорвавшие дружеские отношения между ними, Белинский пишет Бакунину в октябре 1838 г.: "Да, я по-прежнему буду делать, буду жить, *чтоб мыслить и страдать*, многим, может быть укажу на возможность блаженства <...>, но сам, кроме минут, буду знать одно страдание. Так, видно, Богу угодно"³²⁷.

В элегии "Безумных лет угасшее веселье", Пушкин восклицал

" Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслаждения
Меж горестей, забот и тревоженья;
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь. . ."

Жить, мыслить, страдать, творить и примирять, вот назначение поэта. Именно таково назначение автора "Медного всадника". В этой "петербургской повести" Пушкин любит суровой красотой столицы, ее берегами, белыми ночами, военными парадами, ее праздниками, но при этом он "испытывает чувство сострадания к ближнему", к скромному чиновнику, потомку знатного рода, молодому Евгению. Унесенная разбушевавшейся стихией, погибла его возлюбленная Параша. Стихия бросила вызов установленному порядку, триумфу разума, которому император подчинил природу. После бедствия жизнь возрождается в опустошенном городе, "кумир с простертою рукою" продолжает сидеть на бронзовом коне, а Евгений, с помутившимся рассудком, бродит по улицам и однажды ночью обращается к статуе гордого всадника, воздвигнутой на Сенатской площади. Едва ли промолвил он угрозу, как бросился бежать, преследуемый конем грозного царя, грохотом его копыт по пустынной мостовой. В памятнике Фальконе Мицкевич видел воплощение деспотизма. Однако именно вокруг него собрались бунтовщики 14 декабря 1825 года во имя свободы. Кем же является Петр Великий? Дерзким строителем, просветителем, открывшим окно в Европу? Тираном, Антихристом, пирующим с природой, невзирая на жертвы своей славы? Пушкин не высказывается. Охватывая взором поэта и славное, и трагическое и жалкое, он возносит город Петра до степени мифа. В Пушкине, постигшем российскую действительность во всей ее полноте, Белинский видит искупителя, "в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих".

Первенство созерцанию, а не рефлексии! Пушкин, поэт трагического примирения с российской действительностью во имя Просвещения, он равен Шекспиру и Гете и отныне занимает в глазах Белинского место прежнего его кумира, Шиллера. В пылкой и искренней душе Шиллера философ слишком часто побеждает поэта, тогда как достаточно Гете созерцания сорванного цветка, а Пушкину увядшего цветка, чтобы открыть читателю бесконечный мир. Безжалостный приговор: со своими "Идеалами" Шиллер фразер, певец тривиального прекраснодушия.

Вернувшись в Москву летом 1839 года, Грановский сообщает Станкевичу о взглядах Белинского: "Меня он презирует за недостаток художественности, за уважение к Шиллеру и Уланду и проч. Катков (человек с большим талантом) разделяет эти понятия. Вообще философия наделала им много вреда. Ты не поверишь, какие вещи они говорят и пишут: "Валленштейн жалкое, ничтожное произведение, декламация без жизни". Зато Борис Годунов "равен всему, написанному Шекспиром, ничуть не ниже Отелло или Ромео". О французах не позволено говорить без: "с позволения сказать": "народ без чувства, без глубины, фигляр". Не читают ничего почти, кроме собственных произведений. А при всем том славные, даровитые люди"³²³.

Станкевич представляет себе Виссариона "задирающим ноги до седьмого неба", если ему скажут, что необязательно малейшее человеческое проявление тотчас должно превратиться в объект рефлексии и страданий: "Что им дался Шиллер? - восклицает он. - Что за ненависть? Нелепые люди! Так как они не понимают, что такое действительность, то я думаю, что они уважают слово, сказанное Гегелем. А если авторитет его силен у них, то пусть прочтут, что он говорит о Шиллере в "Эстетике", в разных местах, также о "Валленштейне" в мелких сочинениях"³²⁹.

В октябре Белинский объясняется со Станкевичем, в последнем им посланным письмом: "Шиллер тогда был мой личный враг, и мне стоила труда обуздывать мою к нему ненависть и держаться в пределах возможного для меня приличия. За что эта ненависть? За субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью - за все за это, от чего страдал я во имя его <....>. Его "Разбойники" и "Коварство и любовь" вкупе с "Фигаро" - этим произведением немецкого Гюго - наложили на меня дикую вражду с общественным порядком, во имя абстрактного идеала общества,

оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе". "Когда я принялся за "Наблюдатель", я был помешан на идее объективности как необходимого условия в творчестве и идее искусства, понимаемого не в романтическом смысле со стороны содержания, а в первобытном и чистом значении классической формы. Разумеется, я неистово бросился в новую открывшуюся мне сферу мысли и на Шиллере вымещал досаду на свою прошедшую слепоту".

О Грановском Белинский отзывается добродушно, но весьма резко; он полюбил его от всей души, несмотря на то, что убеждения их диаметрально противоположны: "Ух, каким он идиотом воротился! Стоило зачем ездить на три года в Берлин, да еще на казенный кошт: поглупеть до такой степени можно б было и в Москве, на собственном издвигении!" По поводу его отзывов о Лермонтове: "какой чудак стихи гладкие, а в стихах, черт знает что", или Пушкина: "куда ему до Шиллера!" он потерял охоту спорить: "не значит ли это того, что у него для искусства есть только непосредственное чувство, не развившееся и не возвысившееся до вкуса?"³³⁰

Переписку со Станкевичем, Бакунин возобновляет весной 1839 года. Он признается ему в крушении своих честолюбивых замыслов: "Мы не христиане и не язычники, а Бог знает что такое; такое, что только поплевать да и бросить. Другая сторона общей болезни нашей состоит в том, что мы совершенно оторвались от русской действительности...". Он не упоминает больше о примирении с "прекрасной русской действительностью, а говорит о "внутреннем, идеальном мире, который мог бы служить нам прибежищем от ударов чуждой и беспрестанно окружающей нас действительности". Этому идеальному миру, построенному на религии и философии, он придает лишь оборонительную и освободительную роль: "Я крепко верю словам Спасителя: "И познаете истину, и истина освободит вас". Полемика с Белинским оставила в нем глубокий след, но еще более, быть может, повлияла на него картина отношений в кружке, обрисованная Иваном Ключниковым: "...безобразный хаос грязных сплетней, мелочей, пошлостей. Он развил передо мною всю внешнюю жизнь нашу с такою адскою логикою, в такой адской последовательности, что у меня волосы стали дыбом". Он жалуется Станкевичу: "Боткин, Ключников, Катков и я вот все, что осталось от многочисленного кружка, когда-то собравшегося вокруг тебя. Белинский совсем оторвался от нас; я, Боткин и Катков сделались предметами его ненависти, и если верить его словам, то он даже презирает меня и Боткина"³³¹.

Именно этот критический момент выбирает Иван Панаев, чтобы познакомиться с Белинским и его "друзьями". Этот молодой и богатый петербуржец приезжает в Москву 13 апреля 1839 года с молодой супругой. Он хорошего мнения о статьях Белинского, слышал о нем от Кольцова и выступает посредником в переговорах, которые Белинский возобновляет с Краевским. Чтобы нанести ему визит, он нанимает карету, запряженную четвернею на вынос, и с грохотом останавливается перед скромным жилищем, окна которого были почти наравне с тротуаром. Он понимает слишком поздно свою бестактность; первая встреча со смущенным и раздраженным Белинским длится недолго, но недоразумение быстро рассеивается: "Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали примирения во всем - и в литературе и в жизни, примирения во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примириться". Грановский подтверждает эту точку зрения: "Они легко оскорбляются, затаивают оскорбленное чувство, и потом оно переходит в нечто похожее на вражду. Незадолго до моего приезда сюда Мишель, Боткин и Белинский все трое были в самых неприятных отношениях друг к другу. Я не привык к этому и потому боюсь за будущее"³³³.

Панаев и не думает вмешиваться в эти философские конфликты; он принимает всех "действующих лиц", но порознь. Водевильная ситуация: один входит с парадной лестницы, тогда как другой выходит по черной лестнице. Панаев готовит будущее. В июле практически заключено соглашение с Краевским по поводу регулярного сотрудничества Белинского в "Отечественных Записках". Его переезд в Петербург предусмотрен в конце октября. Краевский также надеется на сотрудничество других членов кружка: Каткова и Боткина в прозе, Аксакова и Ключникова в поэзии.

Вокруг кружка создалась атмосфера тайны и легенды: "Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича,- описывает Панаев. Каждый благоговейно вспоминал о нем. "У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем: Станкевич был душою, жизнью нашего кружка; теперь уже не то...". Бакунин производит впечатление на Панаева не только силой своей диалектики и обширными философскими познаниями: "Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пылкий и в то же время беспокойный - все это поражало

в нем с первого раза. Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В нем было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей. Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о *примирении* и о *прекраснодушии* на совершенно непонятном мне философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом"³³⁴.

Константина Аксакова с бывшими друзьями еще связывает общий интерес к философии Гегеля. Фанатично влюбленный в Москву, он хочет сделать из каждого вновь прибывшего "настоящего москвича". Драматург и романист патриотического толка Загоскин, друг дома Аксаковых, увлекает Панаева на Воробьевы горы. Панорама Москвы, восторг Загоскина, грустные звуки народной песни восхищают молодого петербуржца: "Ты настоящий русский, ты наш, - восклицает Загоскин, - только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу". Панаева настойчиво уговаривают пойти в театр посмотреть на восхитительную игру Мочалова. Его устраивают в директорской ложе Загоскина. Увы, Мочалов в тот день играет отвратительно: "Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?" Сергей Аксаков уязвлен, он упрекает Загоскина, который перекладывает вину на Шекспира!

В июне Панаев, Белинский и Кетчер едут с визитом к Щепкину и его семье, на их дачу в Химках. Актер, находящийся в тот период в зените славы, производит сильное впечатление на Панаева своей сердечностью, своим талантом рассказчика и своей отвагой пловца. У Аксаковых Панаев пользуется преимуществом встретиться с Гоголем, но вынужден выслушать декламацию местной поэтессы Каролины Павловой; одним словом, он знакомится со всеми знаменитостями и достопримечательностями Москвы. В июле Панаевы уезжают в Казань.

В то лето 1839 года официальная годовщина Бородинского сражения принимает исключительный размах. 26 августа происходит торжественное открытие памятника на поле битвы. 120 000 военных участвуют в больших маневрах. 3 сентября приезжает в Москву Николай I. Маркиз де Кюстин находится в то время в Москве, но

отказывается от приглашения на церемонию. По его мнению, все эти ветераны, которых собирают по всей империи, участвуют в маскараде, напоминающем танец мертвых. "Ложное описание" битвы под Москвой вызывает у француза возмущение; он возвращается в Петербург. Празднества продолжаются; 10 сентября в присутствии императора закладывают первый камень храма Спасителя. Одновременно с этими церемониями ходят настойчивые слухи о предстоящих императорских решениях; они касаются освобождения некоторых категорий крепостных и облегчения участи крестьян. Наступил час для Николая I предпринять политику решительных реформ, по следам Петра Великого. Уже едва придя к власти, он призвал Сперанского, впадшего в немилость при Александре I, и доверил ему важнейшую задачу: кодификацию бесчисленного множества указов, зачастую противоречивых. Их беспорядочное накопление с давних времен мешает эффективному правлению административного аппарата и правосудия. Исключительно сведущий труженик, Сперанский начинает с публикации "Собрания" законов, затем превращает его в "Свод Законов", сохраняя русские начала, но при этом допуская в будущем законодательные нововведения. В 1831 году его выносит на обсуждение весьма консервативного государственного совета лично Николай I. Он приобретает статус закона с 1835 года. Эти юридические меры намечают постепенный переход русского политического строя к правовому государству. Александр II будет опираться на него для проведения великих реформ во время своего царствования и особенно для освобождения крепостных.

Эта задача еще не по силам его отцу, царю самодержцу при молчаливом сопротивлении большинства землевладельцев и нежелании содействующей им администрации. Николай I не разделяет ни мнения крепостников, заявляющих, что крепостные довольны своей судьбой, которая соответствует нравам России, ни мнения Жозефа де Местра, писавшего в 1811 году: "Рабство есть в России, потому что оно необходимо и потому что император не может править без рабства", и пророчившего: "Пусть только появится какой-нибудь Пугачев из университета, и государство рухнет, как подточенное бревно". Николай I признает, что крепостничество — это зло, но опасается, что поспешное освобождение подвергнет опасности общественный порядок. Одному из немногих либералов в своем окружении, графу Киселеву, он поручает управление V Отделением своей канцелярии для преобразования состояния государственных крестьян. Эти двадцать

миллионов крепостных столь же многочисленны, как те, кто принадлежит частным владельцам. Улучшить их судьбу при помощи законов и разумных налогов, обеспечить их личную свободу, сохраняя при этом их состояние "прикрепленных к земле" в интересах государства, одним словом, создать новую категорию "зависимых крестьян", в которую можно было бы включить затем негосударственных крепостных. Такова задача, которую Киселев, министр государственных имуществ, настойчиво выполняет, несмотря на враждебность высшей администрации и большинства своих коллег. Вместе с тем, Киселев пользуется полным доверием царя. Герой наполеоновских кампаний, адъютант Александра I, он стал генералом в 29 лет. Когда России было поручено правление дунайскими княжествами, Валахией и Молдавией, Киселев в должности наместника обеспечил их конституционным законодательством, основой будущего румынского королевства. Во время празднования годовщины Бородинского сражения состояние "зависимых крестьян" обсуждается в одном из многочисленных тайных комитетов, в присутствии высокопоставленных лиц. Закон, который позволит помещикам освобождать своих крепостных на этих условиях, будет утвержден в 1842 году. Увы, поскольку применение закона зависело полностью от доброжелательства крепостников, его последствия окажутся чрезвычайно незначительными, несмотря на усилия, предпринятые царем и его министром.

Белинский ищет обнадеживающие мотивы в атмосфере экзальтации, созданной церемонией. Годовщина Отечественной войны 1812 года должна праздноваться как великое народное событие. Бородинское сражение (*bataille de la Moskowa*, по-французски) было дано, потому что такова была воля народа. Народное ликование обращено к царю: "Наше русское народное сознание вполне выражается и вполне исчерпывается словом "царь". Белинский хочет верить, что законна в России только "революция сверху", подобно тому, как реформы проводил Петр Великий; он восстает против притязаний "непризванных опекунов человеческого рода", которые вмешиваются в ход истории: "Всякий шаг вперед русского народа, каждый момент развития его жизни всегда был актом царской власти; но эта власть никогда не была абстрактною и произвольно-случайною, потому что она всегда таинственно сливалась с волею провидения, с разумною действительностию"³³⁵. Признавая тезис о трагическом примирении с действительностью, выразителем которого был будто бы Пушкин, Белинский присоединяется, в сущности, к политическим взглядам

Карамзина, вдохновителя "Бориса Годунова". Автор "Истории Государства Российского" желал доказать, что только монархический строй, основанный на имплицитном соглашении между государем и его народом, без какого-либо общественного договора, какой-либо официальной конституции, может обеспечить могущество, безопасность и счастье Отечества. Такое соглашение предусматривает тяжелые нравственные обязательства с обеих сторон. Их несоблюдение влечет за собой бесчисленные несчастья. В главах, посвященных Ивану IV, пребывавшему во власти "мерзких страстей", его преемнику Федору, склонному больше к паломничеству, чем к государственному совету, и, наконец, Годунову, незаконному властителю, опороченному жаждой власти и убийством наследника, Карамзин, достойный представитель века Просвещения, употребляет и злоупотребляет термином "тиран". Апологет самодержавия, он безжалостно осуждает деспотизм. Читая Тацита, молодой Карамзин писал в 1797 году:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Рим заслужил свои несчастья. А Россия? Под пером автора "Истории государства Российского" злодеяния множатся, потомство именитых и верных служителей государства истребляется, города опустошаются, их население уничтожается. И, однако, не обнаруживается ни одного заговора, ни малейшего сопротивления. Как объяснить, как оправдать подобное "непротивление злу насилием"? Подлым смирением? Рабской покорностью? Нет, отвечает Карамзин, он приводит множество примеров величия и героизма: бояре жизнью платили за правду, высказанную тирану, слуги отказывались от помилования и предпочитали умереть с хозяином. Все, тем не менее, признают власть царскую милостью Божьей и всякое сопротивление незаконным. "Гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная". От Византии ли унаследовала послушно Россия теократическую форму правления? Или же произвела она на свет особый политический строй, которым русские могут гордиться? Что бы там ни говорили "критиканы",

заслуга Карамзина заключалась в ясности его позиции. На основе его тезисов могла открыться общественная дискуссия, которая касалась бы не только обязанностей народа, но также и обязанностей царя, наделенного столь великой властью. Таково было мнение Карамзина и элиты просвещенного общества накануне событий 14 декабря 1825 года. После восстания об этом не могло больше быть и речи. Тем не менее, романистам и драматургам всегда остается привилегия продлить дискуссию и воплотить в вымысле, в фикции, крах политических проектов. Вскоре после 1825 года появляется мода на произведения о законности или незаконности власти, в первую очередь, в Смутное время. А именно: "Дмитрий самозванец", роман Булгарина (1830 г.), "Юрий Милославский, или русские в 1612 году", роман Загоскина (1829 г.), "Князь Мих. Вас. Скопин-Шуйский" и "Рука Всевышнего Отечество спасла", драмы Кукольника (1834 г.), "Дмитрий самозванец", драма Хомякова (1833 г.), не забывая о произведении Пушкина, написанном в 1825 году и опубликованном в 1830 году.

Белинский покидает Москву в конце октября, вскоре после публикации в "Отечественных Записках" своей нашумевшей статьи "Бородинская годовщина", первой из серии статей, в которой он разовьет с разными вариациями тему примирения с действительностью. "Вообрази, душа моя, пишет Грановский Станкевичу, что мне везде приходится защищать его от упрека в подлости. Более всего мучит меня то, что студенты наши и лучшие стали считать его подлецом вроде Булгарина, особливо после последней статьи его. Дело все в поклонении действительности. Ты знаешь, с каким остервенением защищает он свои мнения, до каких крайностей доводят его противные мнения. Он в самом деле говорит дичь. Статья действительно гнусная и глупая"³³⁷. Неужели в этой первой статье, опубликованной в петербургском журнале Краевского, Грановский видит неизбежное проявление "лояльности" литератора, отказавшегося от своих собственных идей? Если так, то он плохо еще знает Белинского! Виссарион никогда не действует из расчета, а всегда по искреннему убеждению!

В полемических намеках, усеивающих его статью, нетрудно найти отзвук тех резких слов, которыми он обменивался в Москве с Герценом. По окончании долгой ссылки Герцен, наконец, получил разрешение провести в Москве пять недель со своей супругой Натальей, кузиной, с которой он завел нежную переписку вскоре после ареста. Несмотря на несогласие семьи, не дожидаясь окончания ссылки, он приезжает, за год до этого в Москву, встречается с ней

тайком и с помощью Кетчера и прочих друзей похищает ее и приводит к алтарю, где их венчает некий услужливый священник. Герцен и Огарев оба возвращаются из ссылки женатыми. В марте 1939 года состоялась их встреча в деревне, в атмосфере религиозной экзальтации и надежды на будущее. В ссылке Огарев открыл в себе поэтическое призвание. Что касается Герцена, то, находясь слишком долго вдали от Москвы, он отстал от своих собеседников. Он воображал, что вернется в ореоле мученика, и займет заслуженную роль лидера среди бывших своих товарищей! Первый разговор с Белинским его глубоко возмущает. Белинский "проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед каким моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

Знаете ли, что с вашей точки зрения, сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

Без всякого сомнения, отвечал Белинский и прочел мне "Бородинскую годовщину" Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами"³³⁸.

Ссылка на Пушкина невыносима Герцену оттого, что Пушкин писал во славу русских войск, о взятии Праги, предместья Варшавы, 26 августа 1831 года, в день годовщины Бородинского сражения! На либеральные доводы Герцена Белинский возражает: "Пора сознать, что мы имеем разумное право быть горды нашею любовью к царю, нашею безграничною преданностию его священной воле, как горды англичане своими государственными постановлениями, своими гражданскими правами, как горды Северо-Американские Штаты своею свободою". Тогда как его друг Аксаков испытывает ностальгию по допетровской России, Белинский является безоговорочным почитателем реформ Петра I и защищает мысль, что царская власть решительно обращена в будущее: "Петр Великий, приобщив Россию европейской жизни, дал чрез это русской жизни новую, обширнейшую форму, но отнюдь не изменил ее субстанционального основания, точно так же, как представители нового европейского мира, усвоив себе роскошные плоды, завещанные ему древним миром, отнюдь не сделались ни греками, ни римлянами, но развились в собственных, самобытных

формах". Трагическое примирение с настоящим совершается во имя лучезарного будущего: "Необъятно пространство России, велики ее юные силы, беспредельна ее мощь, и дух замирает в трепетном восторге от предощущения ее великого назначения, ее законной наследницы жизни трех периодов человечества!"³³⁹

Спор с Герценом возобновляется в Петербурге, в декабре, когда Белинский заявляет ему: "Пора нам, братец, помирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история". Герцен, онемев от ужаса, поднимается и уходит³⁴⁰. Белинский развивает эти "кощунственные" мотивы в своих статьях: "Есть особый род сердобольных людей, которые более занимаются другими, нежели самими собою, а потому всегда несчастны, всегда обременены хлопотами и заботами. Им кажется, что и в мире все идет худо, что и отечество их вот сейчас готово погибнуть жертвою превратного хода дел, а вследствие такого взгляда на вещи им кажется, что они призваны и мир исправить и отечество спасти Для этих маленьких-великих людей государство не есть живой организм, которого части находятся в зависимом друг от друга взаимодействии, которого развитие и жизнь обуславливаются непреложными законами, в его же сущности заключенными".

Белинский опровергает идеи, которые он приписывает французской мысли XVIII века. Нет, язык не является изобретением человека, он дан ему как откровение; нет, государство рождается не от общественного договора, а после кровопролитной борьбы племен и народов; государство высший этап в жизни общества, его разумная форма. Это гегелевское кредо несколько искажено культом, который Белинский воздает родине-матери: "Какая глубина мысли и какая поэзия в русском выражении "мать сыра земля"! В самом деле, она мать нам, наша родная мать, ибо она есть первоначальная, первосушная форма духа, хранительница всех сил, всей сущности (субстанции творящей природы)!" Следовательно, он осуждает космополитизм, "уродливый и отвратительный, как все амфибии; вот почему человек, для которого *ubi bene ibi patria**, есть существо безнравственное и бездушное, недостойное называться священным именем человека". Это возможность для Белинского, еще одна, намекнуть на прошлое Булгарина, двойного ренегата, по отношению к польской родине и по отношению к бывшему либерализму!

* где хорошо, там родина (лат.).

Власть патриархов в античном мире Гердер считал естественной; поскольку всякая власть исходит от Бога, отеческая власть царя законно приходит на смену власти патриарха. Белинский узаконивает самодержавие, но не осложняет свои доводы историческими фактами: "Нельзя вывести из опыта, каким образом из отеческой власти явилась царская власть, отец стал царем; но в умозрении это очень понятно"³⁴¹. Умозрение! Невзирая на расхождения, Белинский и Бакунин продолжают провозглашать превосходство спекулятивного знания над эмпирическим, органического видения над механистическим, присущим XVIII веку. Разумному и реальному предмету спекуляции следует строго отвечать критериям живого организма, содержащего в себе исключительно собственные возможности развития, осуществляемые по его собственным законам. Всякий предмет, лишенный этих существенных признаков, тотчас отстраняется, определяется либо как призрак, либо как частица, случайно или искусственно отделенная от целого, и исключается из области спекуляции.

"Органическая" модель, с политической точки зрения, может показаться новаторской реакцией против "механической" модели, свойственной бюрократическому государственному аппарату; она предполагает самоуправление, демократические учреждения. Но она тоже ведет к "деспотизму", если, отождествляя биологические и общественные функции, она лишает самостоятельной ответственности исполнителей этих функций, во имя предполагаемой гармонии самого организма. Обсуждать подобные вопросы на политическом уровне, конечно, немисливо, но открытое исповедование "примирения с действительностью" в печати, в николаевские времена, весьма парадоксально. С одной стороны, оно воспринимается как проявление раболепия перед властями и вызывает возмущение и презрение со стороны противников "чудовищного самодержавия"; но с другой оно поражает своей смелостью и находчивостью: основать свою верноподданность на "немецкой науке", которая обещает "абсолют", полное слияние веры и разума, при условии переоценки всех традиционных авторитетов и ценностей, и превозносить верного союзника Российской империи - Прусское королевство и его столицу Берлин, куда доверчивый самодержец посылает своих студентов. Риск огромный, неисчислимый и для государства, и для русских гегельянцев, не сознающих еще тогда последствия неудачного похода на Абсолют. Во всяком случае, примирение с "российской действительностью" во имя "Просветительской революции сверху" не светское развлечение, а истинный подвиг,

пропитанный трагизмом. Белинский ничуть не заблуждается в ложном толковании Гегеля. Он и Бакунин пытаются извлечь крайние выводы умозрительной философии, тогда как их наставники, филистеры-немцы ограничиваются общими понятиями.

Бакунин уехал в Петербург осуществить химерический проект: добиться развода для сестры Варвары. Он рассчитывает на влиятельные семейные связи, на Муравьевых, на Мордвиновых. Он бесцеремонно устраивается у своего кузена Сергея, обращается за советом к сенатору Александру Мордвинову, управляющему грозным Третьим Отделением императорской канцелярии, и даже знакомится с генералом Дубельтом, шефом жандармов! Его философские доводы в пользу освобождения Варвары не имеют ожидаемого успеха у петербургских вельмож. "Да, друзья, пять дней пребывания в Петербурге удостоверили меня более, чем что-нибудь другое, что религиозное стремление и знание как венец его заключают в себе весь мой внутренний мир, что внешний мир ограничивается моими святыми отношениями с вами". Он имеет большой успех у Краевского, который отказывается оплатить его путешествие в Германию, но побуждает его написать очерк для "Записок". Первая часть этого очерка, "О философии", выходит весной 1840 года; она является, несомненно, первым посвящением в гегельянство, написанным по-русски, русским.

Используя доводы Станкевича, Бакунин начинает с того, что выступает в защиту философии: она только способна рассеять сомнения, примирить с действительностью, с небом и землей ум, охваченный скептицизмом. Осудив атеизм и очертив границы эмпиризма XVIII века, Бакунин утверждает, что философия не что иное, как поиск Бога, разумного и вечного порядка. У Гегеля она перестает быть любовью к мудрости и становится познанием истины. Усвоив кантианскую проблематику, Бакунин задает себе вопрос: дано ли нашей познавательной способности постичь истину? После Аристотеля, Кант ограничился тем, что предложил "категории", но при этом не вывел их из опыта, то есть не свел их к субъективному значению, по подобию эмпиризма, не способного возвыситься до первопричины и доказать необходимость общих законов. Только философская спекуляция позволяет достичь абсолютного знания: "Такая уверенность возможна только тогда, когда все законы поняты как чистые мысли, необходимо развивающиеся из одной единой и всеобщей мысли так, что число и отношение их определено бы необходимостью самого развития"³⁴².

Бакунин пишет ценный научно-популярный очерк, тщательно избегает употребления необычных философских терминов и намеревается показать во второй статье, как поставленная задача решается, благодаря самостоятельному и необходимому развитию самого сознания. Грановский читает статью в рукописи и одобряет: "Это умно, дельно и просто". Белинский также: "Статья Бакунина прекрасна, так прекрасна, как гадка наблюдательская: выше этой похвалы я ничего не знаю. Этот человек может и должен писать, он много сделает для успехов мысли в своем отечестве"³⁴³. Краевский восклицает, что лучше этого по предмету философии он не желал бы ничего ни читать, ни печатать по-русски и, ради Господа, торопит Бакунина с продолжением. Тем не менее, этим ограничилось сотрудничество. Краевский не публикует второй части, по объему вдвое больше первой³⁴⁴. Возвращение Бакунина в Москву сопровождается слухами, распространенными Надеждиным: кузен Мишеля, Сергей Муравьев, испытывающий материальные затруднения, якобы выгнал его из квартиры.

В Москве отношения не улучшаются, хотя отныне инициатива принадлежит славному Боткину. Ключников охвачен постепенно безумием и нуждается в утешении; во имя дружбы, он добивается от Боткина разрешения приходить изливаться перед ним. К Боткину приходит Аксаков рассказывать о своей поездке в Германию: он путешествовал по следам Шиллера и пил кофе из той же чашки, что и создатель Теклы! На долю Боткина также выпадает разбираться в любовных интригах. В октябре 1838 года, после долгих и мучительных размышлений, Белинский решил найти смысл жизни в "семейном счастье" и заключить "брак по расчету"; он остановил свой выбор на Александре Щепкиной, дочери знаменитого актера, тоже актрисе, и сестре Дмитрия, близкого к кружку. Она только что испытала разочарование в любви с Катковым. Посвященный в тайну, Боткин утешает Каткова, охваченного отчаянием и рыдающего у него на диване. После ночного обсуждения с Боткиным, Белинский идет "унижаться" перед Катковым. Тот высокомерно третирует его, Белинский уточняет, что он готов "унижаться" перед истиной, а не перед ним. Катков потрясен, они мирятся, но Белинский по-прежнему остается нелюбим: "Я тяжело страдал и между тем упивался моим страданием, как пьяница в запое, потому что в нем много было человеческого"³⁴⁵.

Выбившись из сил, Белинский не хочет далее посвящать свою жизнь журналистике без поддержки широкой публики. "Московский Наблюдатель", журнал, преследуемый цензурой, не приносящий ему никаких доходов, перестает выходить весной 1839 года. "Жаль, если

справедливо, - пишет Погодину из Петербурга А.В. Никитенко. - Белокаменная Москва останется совсем без журнала. До какого состояния мы дошли! все в руках одной "Библиотеки для Чтения". Грустно видеть, как вся образованная часть публики опять принимается исключительно за французскую литературу³⁴⁶. Сергей Аксаков тоже жалуется: "Несмотря на то, что Белинский завирается и журнал односторонен, я нахожу в нем очень много хорошего; только сомневаюсь, чтоб большинство было согласно со мною". Его младший сын Иван, петербургский студент, одобрительно отзываясь о журнале, который, по его мнению, создает Москве репутацию: "Здесь он редкость, и все с жадностью читают его". Его мать, Ольга Аксакова, придерживается абсолютно противоположного мнения: "Белинский уезжает в Петербург: журнал прекращается, и все рушится <...>. Терпение и выживание всюду надобны...". Константин порвал с кружком: "Я расстался со всем их кружком, без ссоры, без вражды, отдавая им полную справедливость в том, что у них хорошего, расстался сам, по истинному своему влечению"³⁴⁷. Белинский остается его лучшим другом, но отныне их пути разойдутся.

Бакунин думает только об одном, о Берлине, но, за неимением лучшего, обращается, по обыкновению, к сестрам Беер. Он пишет Александрине, что, хотя его внутренний мир не нашел еще себе проявления, ему кажется, что он находит его в ней. Объяснение в любви? или недоразумение? Он при этом добавляет: "Вы первая, Alexandrine, отдали мне меня самого. В вас я нахожу себя и потому мне так легко, весело говорить с вами". Александрину теперь больше не проведешь, она отвечает: "Вы хотите дать мне местечко в ваших огромных владениях, еще мало населенных - постройте мне избушку. Смотрите - когда выстроятся палаты - не ломайте ее <...>. А вы хотите, чтоб я была свободна, чтоб я с вами предавалась просьбам своего сердца? Я не хочу, чтоб вы ехали, я не могу расстаться с вами, мне присутствие ваше - условие жизни; останьтесь или возьмите меня! Ага! Не можете отвечать? Не можете дать удовлетворения? Зачем же просите! Нет - вы можете иметь меня только тихую, молчаливую, без просьб, без жалоб, без слез, без страданья, и я даю то, что необходимо вам. Не просите же, как дитя, того, что оно не в силах принять - и дадут ему, а оно невольно выронит из рук... то - игрушка, и дитя-дитя".

"Дитя" не хочет больше встречаться с непреклонным отцом; он считает, что его планы, связанные с журналистикой, провалятся, как работа над Беттиной: "... если ты не имеешь твердой решимости

заняться настоящим образом сельским хозяйством, которое требует неусыпного надзора и неумолимого терпения, то надобно тебе думать о службе, и в таком случае, для вступления на службу и успешного служения, должно дорожить связями с благорасположенными к тебе аристократами, - а на литературные доходы не полагайся. Как не скучно наше русское в строгом климате хозяйство, но зависимость от редактора еще скучнее".

Заявляя сестрам, что он очень любит и уважает отца, но не намерен жертвовать своей субстанцией во имя его убеждений, Мишель советует им прочесть стихотворение Шиллера "Würde des Frauen": "... вы найдете в нем полное определение женщины. Женщина имеет в душе своей полное откровение истины, откровение в конкретном, нравственном чувстве (Sittliches Gefühl), которое можно назвать духовным инстинктом и которое должно быть ее руководителем в ее дальнейшем развитии <...>. Отбросив свое нравственное чувство женщина теряет гораздо более, чем мужчина; она теряет все, потому что нравственное чувство женщины гораздо полнее, богаче, чем нравственное чувство мужчины". Татьяна в восторге от новых идей Мишеля: "... все элементы, которые должны составить сущность женщины - я чувствую в груди своей в каком-то темном, страшном хаосе - погоды, друг, они отделятся друг от друга и все достигнуто определения своего". Она добавляет: "Миша милый, только не бросай своих девочек; как ты не говоришь, как ты не рассуждаешь о нашей самостоятельности, но мы, право, без твоей помощи, без опоры твоей не можем жить" ³⁴⁸.

Большие сомнения вызывает у Бакунина романтическая идилия, которая зарождается между Боткиным и его сестрой: "Если ты любишь, Alexandrine, то любовь твоя должна была освободить тебя от твоей прежней болезненной рефлексии. О, милые друзья, бойтесь рефлексии, не давайте воли этим сухим, бездейственным рассуждениям о себе"³⁴⁹. Боткин завязал "тайную" переписку с Александрой по случаю своего отъезда на нижегородскую ярмарку в июле 1839 года. Он пишет ей: "Вы мне всегда представляетесь девушкою Оссиана, образом, слинным из эфира и лучей месяца, образом, который улетучится при малейшем грубом прикосновении, и я прикасаюсь к вам с трепетом, все мне кажется, что я своим прикосновением профанирую вас". Или: "О, как я вас много оскорбил! Вы сами не знаете. Как много я вас оскорбил. Целой жизни моей не

* "Достоинство женщины" (нем.).

достанет искупить мою вину перед вами". Или: "Вы обновили меня своим чистым, девственным дыханием и сняли с меня прах земного, до того тяготивший меня". Его тревожит один вопрос: "Я не могу решить, религиозное ли состояние моего духа дает мне чувствовать вас или, чувствуя вас, я прихожу в религиозное состояние?"³⁵⁰

Это "вымоленная любовь" - объявляет Александра Беер. Мишель доверяет Белинскому, что его сестра выйдет замуж за Боткина лишь при условии, что не будет иметь с ним супружеских отношений: "Где же полнота женственной натуры, где же вера любви, которая впереди ничего страшного и гадкого не допускает? - восклицает Белинский. - Такая девушка копается в таких смрадных рефлексиях!"³⁵¹

Вскоре вспыхивает скандал: дядя Полторацкий перехватил письмо племянницы и спешит предостеречь родителей. Александра тотчас заболевает. Не повторит ли она трагической судьбы Любы? Не к мезальянсу ли клонится дело? Отец Бакунин направляет послание Боткину: дворянский титул - не простой предрассудок; признанный во всех европейских странах, он открывает доступ к особым гражданским правам. Должна ли отказываться от этого его дочь? Отказаться от общения с большей частью своей семьи? Приспособиться к другим нравам, согласиться обслуживать родителей супруга, работать вместе с ним, не стыдясь, увы, недостойного положения? Сын торговца чаем отвечает с достоинством: хотя он не имеет знатных предков, круг его знакомств ни в чем ему не уступает в сфере культуры. Более того, он богат, и его жене не понадобится работать.

Боткина, естественно, поддерживают друзья, возмущенные поведением родителей. Демократа Грановского убеждать не приходится, он наперсник Боткина. Он сообщает Станкевичу, что, в случае отказа родителей, Боткин похитит свою возлюбленную, при его содействии. С подобными людьми поступать иначе нельзя: "Что, брат, церемониться с бесхарактерным стариком". Очевидно, Грановский толкает на подвиг кроткого Боткина, который довольствуется вздохами: "Неужели судьба возьмет вас от меня? Беден, беден я тогда буду!" Родители приказывают дочери прервать всякую переписку с ее возлюбленным и следовать за ними в Тверь на весь сезон и выступать там при любом случае, чтоб рассеять слухи. Они с ней прерывают разговоры, она пишет матери, та отвечает: "Ты пишешь, что идешь своей дорогой и что совесть твоя чиста и что тебе никакой нужды нет, что скажут люди. Все наше несчастье

именно от того, что каждый из вас идет помимо нас своей дорогой, что вы от нас таитесь, что советы наши вам не нужны и что, следовательно, мы в числе людей, мнение которых ничего для вас не значит и которых вы презираете, и что для вас совершенно стали чужими. Братья ваши пишут к нам тогда только, когда им нужны деньги, а вы не советуется с нами, а только объявляете нам вашу волю, на которую хотим, не хотим должны мы же согласиться"³⁵².

Грановский надеется, что Мишель, уехавший в Прямухино, прочит, как тот того заслуживает, этого Полторацкого, доносчика и болтуна. Тогда останется лишь найти священника, чтобы обвенчать молодых. Но отец Бакунин из предосторожности косвенно связался с Боткиным и попросил его подождать год без переписки с его дочерью; если по окончании срока обе стороны будут настаивать на своем решении, родители дадут свое согласие. Боткину оставалось лишь согласиться. Мишель возвращается в Москву, скандала он не устроил. Боткин во время сезона бегает по балам и маскарадам, попивает вино и строит смешные гримасы при виде хорошеньких мордашек. Грановский решил защитить "демократический принцип" и столкнулся с прозаической действительностью. Смогут ли "угнетенные" влюбленные остаться верными своим обещаниям? Мишель этого желает. Эта "любовь", как некогда связь Станкевича с Любой, должна служить ему свидетельством в его апостольской миссии: "Прямухино останется для нас всегда священным, - пишет он сестрам, - но для того, чтобы снова завоевать его, для того, чтобы очистить его от греха и гнилости, нам должно собраться вокруг другого центра, и этим другим центром должен быть дом Боткина и Александрины"³⁵³.

Хотя Александру осаждают сомнения, она не перестает верить братьев и сестер и подтверждать свою преданность Боткину: их любовь должна победить. Она молится, чтобы рассеять все сомнения. Ее письма читают и комментируют все родственники. Мишель убежден, что его сестра, просветленная, посредница, способна установить среди близких гармонию, уже царящую в ее душе. Возвышенный тон волнует Грановского, он пишет, однако, Станкевичу: "Я боюсь в этом деле рефлексии: резонируют до бесконечности. Между Боткиным и Мишелем тайные разлады. Они просто не любят друг друга <...>. Мишель перестал действовать: в науке он может совершить великое (без тебя он много сделал: истинно спекулятивный талант), но в сферах деятельной жизни он никуда не годится. Для него нет субъектов, а все объекты. Чудная натура!..

Любить его теплым чувством нельзя, но он у каждого вынудит удивление, уважение и участие. Что из него будет? Дай Бог ему скорее попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности, иначе его убьет вечная внутренняя работа"³⁵⁴.

Ничего романтического ни трагического не случится в развязке идиллии. Несмотря на запреты родителей, "тайная" переписка тянется еще несколько месяцев; она окончательно прерывается в конце года. Ни Александра, ни Боткин не требуют от родителей выполнения их обещания. Боткин признается Белинскому, что призрак любви отлетел от него, и что у него в сердце не осталось даже сладостного воспоминания. Белинский ничуть не удивлен. Эта страшная развязка кажется ему естественной и необходимой, в соответствии с трагическим примирением с действительностью, тем, что он сам испытывает в одиночестве, в Петербурге: "Да, он настал - грозный расчет с действительностию, пишет он Боткину в феврале 1840 года, - завеса с глаз спадает <...>. Внешние обстоятельства ужасны, и мысль о них жалит душу, а поправить их нет возможности: чуда не совершается, а обыкновенным образом надо сперва переродиться. Что ж в будущем? Одно: слезы и грусть о потерянном рае, и то минутами, и всегдашнее сознание своего падения насмерть, на вечность. Жизнь ловушка, а мы мыши, иным удастся сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве понюхает"³⁵⁵.

"Потерянный рай"- это бывшая жизнь в кружке, среди "своих". Станкевич теперь слишком удалился от него, Грановский его не понимает, Бакунин, "рожденный на свою и на чужую погибель", занят только любовью Боткина и Александры, Катков - своими сердечными огорчениями. К. Аксаков ничуть не верит в "патриотизм" Белинского, искажающий истинную народность, о которой он знает лишь понаслышке. Остается Боткин, верный друг, который, зевая, читает его бесконечные статьи. Остаются также вечные враги, встревоженные его приездом в столицу. Уже в апреле 1839 года давали водевиль, в котором студент Виссарион Глупинский для решения всех задач применяет гегелевскую философию. В декабре, на своих лекциях, Греч смешит аудиторию, цитируя отрывки из статьи "Годовщина Бородино" и называет диким, темным, непонятным язык, который, под названием "философский", вторгается в литературу. Не отстают от петербуржцев представители московского света. Одоевскому, упрекающему их в слабой помощи по распространению "Отечественных записок" в Москве, Николай Павлов, супруг

поэтессы, отвечает, что бывшие любомудры готовы сотрудничать с Краевским, но отчего же он дал такую власть этому могильщику московских журналов? "Если вы не знаете, то довожу до вашего сведения, что Белинский не смыслит ни одного иностранного языка, пишет о Гегеле по наслуху, наобум, поступок, конечно, совершенно национальный, тут много народности, много русской сметливости <...>. Из этого выходит, что положения Гегеля перепутаны, не так переданы, что вас на каждом шагу поражает какая-то ребяческая самоуверенность и наглость невежества". Павлов цитирует фразу Белинского: "Но для людей, духовному ясновидению которых открыта глубина и внутренняя сущность вещей и проч." и он задается вопросом: "Кто же эти люди, кому бы такого рода статьи были приятны. Нельзя вообразить читателя, кому бы такого рода статьи были приятны. Человек не размышляет, а без доказательств, без выводов навязывает вам свое мнение и утверждает, что если вы не примите этого мнения, то вы скотина, дурак. Так писать можно только в России". И Павлов добавляет: "Если уж начинает хвалить, то именно по русской пословице: заставь дурака Богу молиться и проч."³⁵⁶

В декабре, после столкновения с Белинским, Огарев упрекает Герцена в недооценке Гегеля: "Я убедился, что надо читать его, а не учеников, а тем паче не гнусные статьи Белинского, который столько же ученик Гегеля, сколько я родной брат китайского императора". Напрасно Герцен называет язык своих собеседников-гегельянцев искусственным, тяжелым и схоластическим, характерным для немецких академий, этих "монастырей идеализма", на него произвели впечатление их эрудиция, философские ссылки. Он, отставший, вернувшийся из долгой ссылки в провинции, должен признать, пусть временно, свое поражение: "Они так улыбались "французским" возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал, и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского жаргон". Огарев опередил Герцена на этом пути. В ноябре 1839 года он объявляет ему, что ждет труды Гегеля, чтобы приняться за его "Философию религии", затем за его "Логик". В феврале-марте 1840 года он начал чтение "Феноменологии": "Страшно читать Гегеля, без шуток страшно того гляди, впадешь в формализм, а именно заслуга Гегеля состоит в том, что у него нет формализма. Формализм берет готовую схему и прилагает ее ко всему, а у Гегеля само содержание живет и дает себе форму". Огарев не ищет, подобно Станкевичу, метод мышления, дисциплину, чтобы упорядочить стихийность своего сознания. Он не стремится, подобно Герцену, исследовать источники,

основы этой, внешне неуязвимой, логической мысли, чтобы ее осудить. Он признает ее "живое содержание", тождество задач религии (истина в представлении) с задачами философии (истина в понятии), необходимость для христианства постичь путем философии разумное осознание себя самого. И речи нет о том, чтобы создавать "новую религию", задерживаться на "конкретной", допонятийной форме истины. Выступая за сен-симонизм, стремясь к "социализму", Герцен и он сам, до ссылки, бесплодно стремились дать миру новую форму религии, а Гегель доказал необратимость процесса развития от религии к философии!³⁵⁷

Отказываясь от "своей религии", от "социализма", от "политических надежд", не примыкает ли Огарев к точке зрения Бакунина и Белинского, к примирению с действительностью? Считая, что богатый Огарев достаточно близок к его взглядам, Белинский, посредством Боткина, просит его в апреле 1840 года оказать финансовую поддержку изданию "Записок". Его просьба имеет императивный характер: "Пусть г. Герцен меня не жалует - я плюю на него; пусть г. Бакунин защищает меня перед ним так, что Каткову хочется плюнуть ему в философскую физиономию это меня даже радует, ибо оправдывает мое чувство к этому человеку, которого я прежде всех вас разгадал; нет, не это все, а то, что ты и с Огаревым хочешь разъехаться. Но - Бога ради - несмотря на все, ты таки употреби все, пусть это будет жертвою мне от тебя..."³⁵⁸

Тем временем Грановский выступает впервые в университете. Перед более чем двумястами студентами, он сначала теряется, затем овладевает собой. Он признается Станкевичу: "Голос мой слаб от природы и этому помочь нельзя. Зато мне весело - признаюсь, брат, - смотреть на студентов, сидящих на ступенях моей кафедры или на стульях кругом, чтобы лучше слышать и записывать <...> все-таки недаром проживу я на Божием свете. Мне, по приезде сюда, советовали держать себя подальше от студентов, потому что они "легко забываются". Я не послушал и хорошо сделал. В исполнении моих обязанностей я не сделаю никакой уступки, но вне этих обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами. Примером мне служит в этом отношении Редкин, который давно ординарный, хорошо знает нравы студентов и позволяет им обращаться с собою как с товарищем: они говорят ему, когда он дурно читал и т.д. Это не мешает ему на экзамене ставить приятелям своим нули и единицы, за что они вовсе не сердятся потому что привыкли. Каждый знает, чего он стоит и не требует более".

Грановский сближается со студентами, но от "хорошего общества" держится на расстоянии. "Бывал раза два у Чаадаева. Скучно! Перестал ездить; тем более, что там всегда встретишь генерала Орлова, самого несносного болтуна в мире, он очень любезен со мной, несколько раз звал к себе, но я не поехал. Пусть Крюков наслаждается аристократической беседой. Орлов везде доказывает теперь "que la science est athée"*. Разумеется, что я не принимаю участия в подобных спорах. Профессора теперь в моде, и Крюков пользуется этим. Добрый, но малодушный и слабый человек. Смеется над Шевыревым, который ужасно упал в общем мнении, а сам идет по следам его. Говорит "mon ami le général Orloff"*** и читает лекции для дам." Словом: "У меня нет вовсе охоты разгонять скуку и забавлять праздность этого народа".

"Орлов и прочее аристократическое общество хотят слушать курс истории; в особенности дамы хотели бы поучаться. Крюкова просят читать древнюю, меня среднюю и новую. Я отказался начисто. Несмотря на скверное положение дел моих, я не хочу показывать себя за деньги. У нас это значит торговать собою: эти люди, заплатив 100 руб. за билет, подумают, что купили и меня. Досадно даже, что они сделали предложение. Крюков едва не согласился. Добрый, но слабый человек. Его соблазнили не деньги, но слушательницы"³⁹.

Грановский бывает у своих коллег: у Редкина, его курс по философии права кажется ему серьезнее, чем курс Ганса; у Крюкова, несмотря на его слабость к аристократкам; у Корша, лучшего из них всех, проживающего с больной сестрой. Из "стариков" он предпочитает Каченовского и сурово судит о Давыдове, - интриган, избалованный министром. Он встречает Новый Год у Боткина, в компании с Бакуниным, Кетчером, Катковым, Лангером, Гебелем, квинтеты которого исполняют. На масленицу, в Дворянском собрании, на благотворительном бале-маскараде, Грановский, Кетчер, Боткин, Редкин, Крюков и другие, иначе говоря, друзья Станкевича и молодые профессора, устраивают без подготовки, прогегельянскую демонстрацию: "Начали тостом за *reines Sein****, провозглашенным Крюковым, - рассказывает Грановский Станкевичу. - Прошли все категории: я удрал, когда еще стояли в сфере *Wesen*****, но Боткин

* "что наука атеистична" (фр.).

** "мой друг генерал Орлов" (фр.).

*** чистое бытие (нем.).

**** сущность (нем.).

der hat es bis zu der Ideen gebracht*. А весело было, кутили как-то от души. Под конец Гофман, Гильдебранд (сын старика и также профессор) затянули Burschenlied**, в присутствии публики. Подозреваю, что Боткин отплясывал под эту песню, но наверное не знаю."

Грановский знакомится с Огаревым и посещает его еженедельные музыкальные вечера. В марте 1840 года он обсуждает с коллегами издание научного журнала с серьезным содержанием, на языке, доступном любому образованному человеку, по образцу английских Reviews: "Дрянной публике мы угождать не будем: лучше иметь 600 подписчиков, более и не желаем на первый раз". Друзья колеблются, Огарев же предлагает деньги: "У Огарева много приятелей пустых людей, и они, пожалуй, вздумают также вмешаться в дела". Кто эти пустые люди? Вероятно, светское окружение, которое Мария Львовна, супруга Огарева, старается создать вокруг себя. Огарев с трудом переносит это окружение, друзья осуждают, Грановский не хочет видеть в Огареве русского барина, разъезжающего по Европе для развлечения; он стремится убедить его, что можно быть полезным в России³⁶⁰.

Бакунин пытается снискать дружбу Грановского: "Он хотел, чтобы я объяснил ему кое-что в Логике: я отказался, потому что в этих вещах он гораздо далее меня ушел. Мы часто сходимся. Редкин, которого я втянул в наш кружок, затеял было чтения по субботам. Мы хотели разработать вместе Логику, но это не состоится. Я терпеть не могу условленных сходбищ для занятий. Душа любит волю. Зато мы с Мишелем читаем Шиллера". Грановский хотел бы восстановить обстановку кружка Станкевича: ни устава, ни определенных целей, ни установленных дней, но сдержанность его по отношению к Бакунину вызвана другими причинами с тех пор, как он стал бывать у Киреевских, ничуть не одобряя при этом, их идеи: "Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творении св. Отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам. Киреевский говорит эти вещи в прозе, Хомяков в стихах.

* дошел до Идеи (нем.).

** студенческий гимн (нем.).

Досадно то, что они портят студентов: вокруг них собирается много хорошей молодежи и вливают эти прекрасные идеи. Иван Киреевский ищет теперь места профессора философии. У него много покровителей, но мешают воспоминания о "Европейце". Бесспорно, он человек с талантом и может иметь сильное влияние на студентов; последнее даже верно, потому что он фанатик и славно говорит"³⁶¹.

Бакунин осуждает Грановского за то, что он отказался от субботних чтений со "своими", чтобы участвовать в собраниях по средам с противниками! Грановский шокирован: "Вчера, - пишет он Станкевичу 13 февраля 1840 года, - была у нас схватка с Бакуниным. Он дал мне понять, что я дурно делаю, посещая общество Киреевских. Станный человек! Я понимаю теперь, что Боткин и Белинский называют его абсолютизмом". Грановский познакомился со славянофильством во время своего путешествия по славянским землям; хотя он отрицает идеи московских славянофилов, он испытывает уважение к братьям Киреевским, к Ивану, "философу", к Петру, собирателю русских народных песен: "Как преподаватель, я всегда буду нападать на подобные мнения <...>, но как частный человек я с удовольствием бываю у них. Что ни говори, они люди образованные, мыслящие (хотя и вкось), с глубокими интересами и высокой честности <...>. Я не помирюсь с нравственным безобразием, в какой бы форме оно не явилось, но думаю, что человек может быть лучше своего мнения. Я тебе писал об Иване Киреевском; ты сам знаешь его. Мне грустно видеть его отклонение от истины, больно видеть влияние на молодых людей. Однако я уважаю в нем благородство и независимость характера (чего я видел доказательства), соединенные с теплотой души. Скажи мне свое мнение, но прямо. У Киреевских, я встречаюсь с Хомяковым. Это человек совсем другого рода. Умен, много знает - но нет интереса, я с ним знаком и в хороших светских отношениях но больше ничего"³⁶².

Сомневаясь по другим причинам, Погодин пишет Максимовичу в начале 1840 года: "Иван Киреевский живет в Москве, обабился и изменился, а иногда и занимается. По средам в вечеру у него собираются знакомые и читают разные потабенки, которых настоящий смысл объяснил мне только П.Г. Редкин. На лето уезжает в деревню. Иван Киреевский сделался очень набожен". Погодин тоже сожалеет о влиянии, оказываемом Киреевским на студентов, особенно на его "протеже", Константина Аксакова: "Философия погубит бедного малого, а растолковать это нет возможности... Константин и его товарищи не понимают Гегеля, но представляют

своим лицом дух ее, гордыню. Жаль, что пропадает этот талантливый мальи³⁶³.

А в глазах Грановского Киреевский обладает той нравственной полноценностью, которой очень не хватает его друзьям, диалектикам, заблудившимся в абстрактных рассуждениях, не способных и шагу сделать, не споткнувшись в окружающей действительности. Именно в этом он упрекает больше всего Бакунина: "Умен, как немногие, с глубоким интересом к науке и без всяких нравственных убеждений. В первый раз встречаю такое чудовищное создание". Он опасается, что, оказавшись за границей, Бакунин измучит Станкевича, как он измучил Белинского и Боткина. Он даже возлагает на него ответственность за "скандальные статьи", написанные Белинским. "От Белинского вчера пришло письмо грустное и тяжелое, - уточняет он. - Ему нехорошо в Петербурге. Бешеное уважение к действительности проходит". Белинский горько сожалеет о статье, получившей комплименты в Английском клубе! Грановский жалеет его, но добавляет: "Приятели наши, сделав пакость, извиняют ее потом моментом развития, в котором находились. Но ведь таким образом всю жизнь можно разбить на моменты абстрактные, без связи между собою и ответственности один за другой. Надобно же, чтобы была одна основная, неизменная идея в деятельности. Все эти вещи я говорю им ежедневно. Прав ли я? Да отвечай на все вопросы. Им нужен авторитет. Гегель умер, ну так хотя ты говори за него, тупой гегельянец"³⁶⁴.

Нуждается ли Белинский в "авторитете", чтобы отказаться от своих "преступных заблуждений"? Несколько месяцев, проведенных в Петербурге, коренным образом изменили его мнение о действительности, на которую он постоянно ссылается, о публике, к которой он неустанно обращается: "Мы не так прекраснодушны, как и теперь еще думаем о себе, - пишет он Боткину в феврале 1840 года, - нас губил китаизм, а не прекраснодушие. Мы весь Божий свет видели в своем кружке. Появилось стихотворение, повесть - восхитили тебя, меня, Каткова и прочих чудаков, а мы и говорим, что публика поняла это сочинение. Чтоб узнать, что такое русская читающая публика, надо пожить в Петербурге". Боткину, который намерен издать переводы сочинений Шекспира, он напоминает, что превосходный перевод "Макбета", вышедший в 1834 году, был продан лишь в пяти экземплярах! "Потчевать нашу российскую публику Шекспиром - о милое, о наивное москводушие! Да это все равно, что в салоне, танцуя галопад, говорить с своей дамою о религии; все равно, что в кабаке с пьяными мужиками рассуждать о гегелевской философии!"

Что любит русская публика? "Чем больше всего взял "Телеграф"? Либеральным душком. Чем взял Сенковский? - Основную мыслью своей деятельности, что учиться не надо и что на все в мире надо смотреть шутя. Русский человек любит жить на шаромыгу. Но главная страсть его - ко всему запрещенному цензурой. Если бы, например, после суда над Надеждиным "Телескоп" продолжался - у него было бы верных 3000 подписчиков. Пушкин однажды сказал, что вместе с прекращением его запрещенных стихов прекратилась и его слава. И между тем все наши либералы ужасные подлецы: они не умеют быть подданными, они холопы: за углом любят побранить правительство, а в лицо подличают, не по нужде, а по собственной охоте <...>. Потом, кого любит наша публика? Греча, Булгарина - да, они, особенно первый, в Питере, даже при жизни Пушкина, были важнее его и доселе охраняют свой авторитет. О публичных лекциях Греча и теперь говорят, как о чуде, с восторгом и благоговением. Вот наша публика: давайте ж, о невинные московские души, скорее давайте ей Шекспира - она жаждет его. Нет, переводите-ко лучше всего В. Гюго с братиею, да всего Поль де Кока, да издайте великолепно с романами Булгарина и Греча, с повестями Брамбеуса и драмами Полевого: тут успех несомнителен; а бедного Шекспира печатайте в журналах - только в них и прочтут его".

Дойдя в провокации до крайности, Белинский становится циничным: "Никто так пошло не врет о религии и своим поведением и непосредственною не оскорбляет ее, как русские попы, и однако ж из этого не следует, чтобы религия была вздор. Литература имеет великое значение: это гувернантка общества. Журналистика в наше время все: и Пушкин, и Гете, и сам Гегель были журналисты. Журнал стоит кафедры. За что ж на них сердиться? Разве за Греча и Булгарина? Но это так же нелепо, как сердиться на поэзию и презирать ее за Сумарокова или Бенедиктова"³⁶⁵. Примирение с действительностью, в первую очередь, заключается для Белинского в признании горьких истин, в примирении с непросвещенной публикой.

В то время как Белинский прилагает героические усилия, чтобы постичь "истинную действительность", Бакунин пытается вырваться из нее, из мира, в котором он сам себя заточил; он больше не участвует в спорах, волнующих еще его друзей: "Бакунин погружается в философию Гегеля, когда один, но как скоро с ним кто-нибудь вдвоем, погружается в шахматную игру - так, что уже

не слышит, что говорят", - пишет Огарев Герцену³⁶⁶. Он думает только об одном - уехать в Германию: "Золотой период настанет тогда, когда я вырвусь наконец из тесных пределов нашей действительности и весь без раздела погружусь в живую атмосферу европейской жизни, где все дышит божественной мыслью: наука, религия, искусство, природа, люди". Насколько Белинский ищет примирения с действительностью, настолько Бакунин стремится к отрицанию: "Теперь, - пишет он Наталии Беер, - нужно довести отрицание до крайности. Что сохранится в этом отрицании, то истинно; все же остальное пусть рухнет как ложь, не стоящая даже внимания". Что теперь должно "рушиться", так это та духовная община, которую он старался создать вокруг себя. Теперь он будет писать отдельно каждой из сестер; не достаточно ли они повзрослели, чтобы не нуждаться больше в нем? Он сделал важное открытие: "В конце концов я нашел, что роль Атланта мне совсем не подходит, и я стряхнул с своих плеч и отбросил далеко от себя этот возвышенный мир, полный лжи и фраз, и уверяю вас, что не имею никакой охоты снова к нему возвращаться"³⁶⁷.

В феврале 1840 года он пишет Станкевичу письмо, безусловно, самое искреннее из всех, что написал. Поссориться со Станкевичем? Это означало бы для него поссориться со всем лучшим, что есть в нем самом, отказаться от самых светлых воспоминаний. Станкевич смог развить свои богатые возможности: "А я, вся моя жизнь и все мое достоинство состояли в какой-то абстрактной силе духа, да и та разбилась о грязные мелочи моей семейной ежедневности и пустых семейных и дружеских междоусобий, а, может быть, и о свое собственное ничтожество <...>. Теперь делаю последнее усилие для того, чтобы как-нибудь попасть в Берлин, от которого я ожидаю перерождения, крещения от воды и духа, но не знаю, удастся ли мне; если ж не удастся, то я не стану много хлопотать о своей внешней будущности, я к ней совершенно равнодушен: окончить жизнь свою прапорщиком артиллерии или действительным статским советником для меня решительно все равно: не я первый и не я последний, срезавшийся в своем идеальном стремлении, которое очень часто бывает не более, как движением волнующейся юной крови. Я остался тем же добрым и нелепым мальм, каким ты меня знал, с тою только разницею, что во мне было тогда более веры в жизнь, чем теперь, и что тогда мне было 23 года, а теперь 26"³⁶⁸.

В той же успокоительной обстановке он пишет родителям. Он начинает с того, что ему нужны деньги для удовлетворения "жажды знания". Даже ради семьи он не смог бы от этого отказаться. Ему предстоит выбор между хозяйством, военной, государственной или ученой службой. Он хочет стать профессором университета. Чтобы достичь этой цели, чтобы приобрести классическую культуру, которая ему так не хватает, чтобы получить докторскую степень существует только один путь: трехлетнее пребывание в Берлине. И речи не может быть о Московском университете в его возрасте, с опозданием на год, вслед за младшими братьями! Ссылаясь на предусмотрительные советы "профессора Грановского", он просит у родителей 2000 рублей в год на обучение и обещает больше не беспокоить их просьбами о деньгах, по возвращении из-за границы. "Если, позабыв мои прошедшие вины против вас, вы согласитесь на мою просьбу, то я буду смотреть на это как на величайшее благодеяние и никогда не позабуду, что вы первые освободили меня из тяжелого положения, которому я сам много способствовал"³⁶⁹.

Приходит отцовский ответ. "Ты, как новый Дон Кихот, влюбился в новую Дульцинею и, увлекаясь мечтательными ее прелестями, совершенно позабыл все твои обязанности". Обремененный заботами об имении, отец Мишеля не может ничего выделить в настоящий момент, но соглашается с планами сына, не ставя условий. В постскриптуме его мать обещает ему в будущем 1500 рублей. Мишель отправляется в Тверь, не может больше ничего добиться и обращается к единственному человеку, который обещал ему помочь, к Герцену: он просит у него 2000 рублей на поездку и 1500 рублей ежегодно в течение двух лет. Он уточняет, что решается на эту поездку не для удовлетворения пустых и глупых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели своей жизни³⁷⁰.

В июне 1840 г., в Прямухине, Мишель общается в радостной обстановке со всей семьей. Он сообщает Белинскому, что придет в Петербург объяснить с ним перед отъездом. Эта перспектива раздражает и беспокоит Белинского. В переписке с Боткиным выражается его непреодолимое отвращение, враждебность, граничащая со слепой ненавистью к "лжепророку". Ему хотелось бы, чтобы Бакунин поплатился за свои бывшие нравственные наставления, за осуждение естественных физических потребностей и т.д. Тот, кто слыл исключительной натурой,

способной подчинять себе "презренные" чувственные инстинкты, оказался всего лишь импотентом, безнравственным существом, лишенным какой-либо непосредственности, какого-либо эстетического чувства.

К середине июня Катков приезжает в столицу. Гостя у Панаева, он постоянно встречается с Белинским. Он также питает неприязнь к Бакунину, но по причинам более непосредственным, из-за отношений с г-жой Огаревой. Как люди обеспеченные, Огарев и его супруга организуют свою жизнь вокруг приемов, ужинов, музыкальных вечеров. Встречи происходят в салоне, а также в будуаре. Быстро возникают недоразумения. Огарев несчастлив в супружестве: Марья Львовна, с ее светскими претензиями, не одобряет "истинных" друзей супруга. Герцен выражает по-французски свое разочарование: "Госпожа Огарева еще ниже моего мнения о ней, она бессердечна, легкого поведения; о ней уже идут слухи". Катков входит в число поклонников Марьи Львовны. Белинский категорически осуждает это "примитивное" отношение, недостойное духовно развитого существа: "А между тем, муж, благородный человек, доверчивый не по слабости, а по благородству души". Бакунин застаёт однажды Каткова у ног г-жи Огаревой в ее будуаре и, по своей привычке, спешит рассказать об этом. Он восстанавливает вскоре всех против себя, включая самого Огарева! В Петербурге Катков окончательно настраивает Белинского против Бакунина. Когда Бакунин появляется у него, то оказывается в настоящей западне. Катков ждёт его там с утра. После краткого объяснения, во время которого Катков называет его кастратом, между ними начинается беспорядочная схватка. Бакунин получает две оплеухи, угрожает, в разгаре борьбы, дуэлью. Катков на лету ловит это предложение и уходит, оставив Белинского наедине с его бывшим другом, опозоренным, с мертвенно-бледным лицом, покрытом красными пятнами. Белинский, по его собственным словам, сыграл мало привлекательную роль "мокрой курицы". Он восхищается Катковым: "В первый раз я узнал, что такое мужчина, достойный любви женщины". По отношению к Бакунину он испытывает смешанное чувство жалости и отвращения: "Я давно уже подозревал его безобразие, но тут вполне убедился, что он решительно безобразен. Трудно представить, чтобы какая-нибудь женщина могла полюбить его, и право не понимаю, как могут его целовать его сестры"³⁷¹.

Уступая худшим светским предрассудкам, Белинский соглашается быть секундантом Каткова! Бакунин передает ему письмо для своего противника: ввиду суровости законов, запрещающих дуэль в России, он предлагает перенести встречу на более поздний срок в Берлин. Бакунин уезжает, преследуемый ненавистью и презрением своих бывших друзей. Из Москвы Огарев спрашивает о деталях у Герцена: "Вероятно, один другого ударил в рожу, а тот обтерся. Мне ужасно жалко, что я протянул руку помощи этому длинному гаду". Огарев рисует его портрет: Бакунин играл роль "сводни" между сестрами и своими друзьями: в течение шести лет он жил в Москве полностью за чужой счет; когда Станкевич отказался жениться на его сестре Любе, не решаясь ему в этом признаться, Бакунин шантажировал его, потребовав 3000, затем 15000 рублей; он играл чувствами Боткина в своей сестре Александре, чтобы жить в течение года за его счет. Под предлогом, что он является единственной поддержкой Варвары, с которой он встретится в Берлине, он заставил Каткова окончательно отказаться от дуэли³⁷².

Единственный, кто проявляет некоторую симпатию к Бакунину, это Герцен, пребывавший с мая 1840 года в Петербурге. Его враждебность к Марье Львовне, несомненно, играет здесь определенную роль. У него и его супруги, Бакунин находит немного утешения. Он не сердится на Белинского: "При всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого". Он вкратце упоминает в письме к сестрам на французском языке о "большом объяснении", которое произошло с г-ном "Katkoff". "Белинский встретил меня очень холодно, я отвечал ему тем же. Теперь ясно, что отныне мы друг для друга не существуем. Я покончил со всеми этими господами за исключением Станкевича, которого я всегда от них отделял"³⁷³.

Бакунин уезжает из России, на встречу со Станкевичем и со своей сестрой Варварой. Герцен провожает его до Кронштадта. Дурное предзнаменование: не успев выйти из устья Невы, пароход вынужден вернуться в порт из-за неожиданного шквала. Бакунин решает остаться на борту до отъезда. Завернувшись в черный плащ, поливаемый дождем, он машет своей шляпой на передней палубе судна, прощаясь с Герценом³⁷⁴.

Это происходит 29 июня 1840 года. Мишель больше не увидит Станкевича. Тот умер в Нови, в Италии, в ночь с 24 на 25 июня.

Глава 5

СМЕРТЬ ИДЕИ И ВОЦАРЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ

По дороге в Швейцарию, где он надеется встретиться с Варварой, Станкевич останавливается в Праге, наносит визит Шафарiku и сообщает об этом Грановскому. 30 августа из Нюрнберга, где он восхищается средневековыми фасадами, наивной росписью часовни св. Морица, он извещает Ефремова, что направляется в Швейцарию с частыми остановками. В Карлсруэ, напоминая ему своей правильностью Петербург, он идет в оперу, еще раз на "Сомнамбулу". По дороге в Базель, он едет вдоль Шварцвальда в обществе англичанина и француженки, чья веселость в общении украшает путешествие. Он не застаёт Варвару в Базеле, как надеялся; она уже уехала в Геную с сыном, оставив о себе незабываемые воспоминания в еврейской семье, приютившей ее.

Базель не нравится Станкевичу; постоянный дождь усиливает его меланхолию. К счастью, Ефремов прибывает накануне отъезда! Ночью 19 сентября они приезжают в Берн, город, чистота и богатство которого радуют сердце. Под арками они рассматривают в витринах изделия местных ремесленников. Изерна, вдоль Ааре, они отправляются на Тунское озеро. Станкевич вспоминает о трагической судьбе Леонарда и Амалии, о которой рассказал так трогательно в письмах Карамзин. Они восхищаются Стаубахским водопадом у подножия Юнгфрау. В Интерлакене они слушают швейцарские арии в исполнении молодых девушек, которым аккомпанирует на флейте их отец. Свежесть лиц заставляет забыть о фальшивых нотах.

Вдвоем отправляются на Женевское озеро, на "лечение" виноградом в Веве. Их предостерегают: Симплонская дорога скоро станет непроезжей из-за дождей. Поэтому, после краткого посещения Женевы и Лозанны они усаживаются в дилижансе, по направлению в Милан. Они проводят первую ночь в Сен-Морисе и под дождем доезжают до Сиона. Они не могут вечером добраться до Брига,

потому что долина затоплена. Следовательно, путешественники останавливаются в Туртманне. На следующий день, встав в 5 утра, они продолжают путь, но, не доехав до Брига, они вынуждены выйти из повозки и идти пешком под зонтиками. "Я, как старый охотник, был знаком с такими переходами и весело бежал вперед", - хвастается Станкевич. Они подходят к мосту, построенному когда-то наполеоновскими солдатами; его сломали, чтобы дать свободный проход воде, угрожавшей местечку. Мужественно встретив неудачу, они достигают гостиницы. "Ничто не могло теперь сравниться с нашим блаженством - все обращалось с любопытством к загрязненным путешественникам, все удивлялось их подвигу. Хозяйка растворяла комнаты, дочери ее топили камин, кондуктор, с рюмкою вина, бранил погоду, солдат, принесший депеши из Симплона, говорил, что дальше, хоть и худо, но пешком пройти можно; хозяин шутил над англичанами, которые отправились в путь по этой погоде и должны будут жить несколько дней в мерзкой гостинице в Симплоне". В то время как путешественники сидят за столом, жители суетятся, чтобы починить мост, но вечером вода прибывает; было решено, что разумнее перейти выше, в другую гостиницу; там с радостью встречают новых клиентов. Если наводнение будет продолжаться, останется лишь одно средство иезуитский коллегиум, возвышающийся над селением. "На другой день нельзя было думать о пути: дождь лил, и горы дымились в облаках. Но река была скромнее, хозяйка старой гостиницы, к которой мы зашли поутру, весело встретила нас и объявила, что на горах выпал снег и что это - добрый знак". За неимением лучшего, Станкевич со спутниками посещают иезуитский коллегиум. Один из монахов показывает им, как нужно пользоваться в горах палкой, окованной железом: "Его одежда так не шла к воинственному лицу, огненным глазам и этой позиции, что, с первого раза, можно было узнать в нем старого солдата. Скоро услышали мы от него, что он служил когда-то, а я сейчас догадался, что это тот самый молодец, который, накануне, был по горло в воде и работал для защиты берега". Устройство коллегиума нравится Станкевичу: "Жаль, что их начало не хорошо, а их заботы о воспитанниках заслуживают уважения".

"Переночевав еще в Бриге, мы, наконец, были вознаграждены чудесным, ясным днем, и как весело было смотреть на радостные лица жителей, отстоявших свое жилье! толпы теснились на разорванном мосту, топоры уже стучали, новый мост строился,

песни раздавались всюду, лавки открылись, и почтмейстер велел запрячь нам колясочку, потому что о дилижансе нельзя было думать. Весело покинули мы Бриг, и когда излучистая дорога подняла нас высоко над долиною, я дружески простился с этою деревушкою, из которой за полтора суток рад был бежать, Бог знает куда. С нашими спутниками мы теперь сделались неразлучными, и все предприятия замышлялись и выполнялись сообща".

Они катят в коляске по краю пропасти, восхищаются гигантскими работами, которые потребовалось осуществить для того, чтобы прорубить эту дорогу на горном склоне. В Симплоне они встречают англичан и решают продолжить путь на следующий день пешком, так как по дороге больше нельзя проехать. Вооруженные палками, окованными железом, они часами шагают по дну тесных ущелий, по камням, покрывающим дорогу: "Жаль было видеть разрушение такой чудной работы! помосты над пропастями стояли крепко и неподвижно, и их красивая отделка веселила глаза в этой пустыне".

Они проходят сардскую границу в Изеле; продвижение становится все более трудным. Рабочие, которых они встречают на пути, смотрят на них с удивлением. В итальянском кабаке они съедают баранину и пьют вино; они переходят горные реки по стволам деревьев (при первом Станкевич просит помощи у носильщика, затем справляется сам). Старая итальянка хватает его за руку, крича "Misericordia!"* Он гордо отвечает: "Люди проходят, пройдем и мы". Они прибывают, наконец, в Домо д'Оссола, сидя верхом на мулах, найденных по дороге. "Слух о нашем прибытии распространился в соседстве гостиницы, и девять дочерей городского префекта вышли на балкон смотреть на путешественников, перешедших Симплон, так что я, несмотря на свою усталость, надел сюртук..."

Вдохновленные собственным подвигом, друзья ходят по городу, глядя на вывески и слушая итальянскую речь. В церкви простая и веселая музыка их очаровывает. Станкевич особенно рад тому, что ни это путешествие, ни выпитое вино не вызвали недомогания. "Я не думал, чтоб моя поездка в Италию доставила мне столько удовольствия. Самые трудности, которые мы вытерпели, имели хорошую сторону: я не хотел бы проехать в дилижансе по чудесным местам, через которые должен был идти пешком. Кроме

* "Помилуй!" (ит.).

того, сколько наслаждения в преодолении трудности, как весело общими силами бороться с препятствиями и шутить над своим положением! Сверх того, это имело благотворное влияние на мое здоровье"³⁷⁵.

Какой контраст между этой легкой фигурой, карабкающейся по симплонским скалам, и меланхоликом, путешествующим в экипаже по дорогам Германии! Увы, Станкевич не мнимый больной, и этот рывок всего лишь эфемерная передышка. 10 октября путешественники прибывают в Милан, где еще царит летняя жара. Они добираются до Генуи, останавливаются на два дня в Павии из-за паводка на реке По и садятся на судно до Ливорно. На борту Станкевич страдает от морской болезни. Наконец, после двухмесячного путешествия, они добираются до Флоренции.

В ноябре 1839 года во Флоренции Станкевич и Ефремов встречаются не с Варварой, а с Ховриными, Фроловыми и сестрой г-жи Фроловой, супругой капитана Кенни. Все они живут на площади Санта Мария Новелла и постоянно видятся. Стоит великолепная поздняя осень, это время экскурсий в окрестности Флоренции, прогулок вдоль Арно, верховых поездок в парк Кашин, где встречается много англичан. Флоренция пленяет, несмотря на свои узкие улицы. Они восхищаются красивыми площадями и особенно площадью Дель Гран Дука с Палаццо Веккьо, лоджией деи Ланци и статуями. Они ходят по картинным галереям, созерцают фрески в церквях, могилы Медичи. Станкевич хочет познакомиться со страной, изучить ее историю, литературу: Макиавелли, его "Историю Флоренции", Тассо "для очистки совести", Данте; но он вскоре отказывается от этого, так как чтение по-итальянски доставляет ему больше труда, чем удовольствия. Он предпочитает вернуться к своим немцам.

С Фроловым он снова берется за чтение "Логики" Гегеля, но в Италии чувствует себя оторванным от "живых источников знания" и пускается в бесконечные сравнения: "В Италии ясное небо нужнее, нежели где-нибудь... Другое дело в Германии: там ведро и ненастье немного значат, и путешественник всегда может наблюдать, учиться и делить все свои мысли с добрыми немцами, потому что нет вещи в мире, которая бы не интересовала их и о которой бы они не рассуждали". В театр он ходит редко; итальянская опера наводит на него скуку, спектакль начинается поздно, в 8 часов; во время антрактов дают интермедии, балеты, что страшно его раздражает. Итальянские певцы, разумеется, одарены по природе своей; они

поют от радости, от удовольствия, но та же самая радость толкает их вдруг на крик, вой, шутовство и т.д. Инструментальная музыка очень отстала: "Маленьких концертов, как в Берлине, не ищи".

Станкевич охотно смеется на представлениях итальянской комедии, даже на спектакле, где персонажи принимают слабительное за соль, гримасничают, извиваются, затем поспешно убегают. Однако он констатирует: "Итальянцы во всем очень отстали от прочей Европы и живут, кажется, изо дня в день. Земля здесь лучше, нежели люди, впрочем, они довольно добры, предупредительны и сметливы; из высшего класса я не знавал итальянцев до сих пор, а в простонародье есть, между прочим, черты, очень напоминающие наших русских мужичков; сюда принадлежит между прочим обыкновение торговаться, которое существует во всех, даже лучших, магазинах". Он восхищается мелкими торгашами, кричащими оглушающим голосом, чтобы продать несколько серных спичек или капель для истребления клопов. "Нельзя не остановиться, проходя мимо этих героев, которые с жаром превозносят свой товар и предлагают его всем проходящим". Некоторые детали шокируют его. На площади Санта Мария Новелла находятся прекрасная церковь и два памятника, "на беду, крыльца, окружающие эти памятники, запакощены вечно мальчишками. Ефремов, обыкновенно, наблюдает эти операции с своею хозяйкой из окна".

Оттого, что Станкевич не может бывать у итальянцев, он общается с друзьями. Он уважает капитана Кенни, переводчика Жан-Поля и большого поклонника немцев. Он считает его выше его соотечественников в области рефлексии: "Как англичанин, он чрезвычайно эмансипирован". Хвалит непосредственность и простоту его супруги: "Она создана для семейной жизни, для того, чтобы разлить тихий свет на жизнь своего мужа, на его кабинет. Когда смотришь на нее, бредни фламандской школы невольно проходят по голове, und es wird mir auch mit unter ein bischen philisterhaft zu Muthe"*.

Станкевич привязывается также к Ховриным; их дочерям 17 и 12 лет: "Первая очень нравится Ефремову, но этот злокачественный дворянин уверяет меня, что я влюблен в мать. Я думал об этом и решил, что он лжет, впрочем, не обидно для моего вкуса. Несмотря на ее лета, она очень хороша". Госпоже Ховриной под сорок, это живая и увлекающаяся натура, она очень отличается от супруга,

* и порой меня слегка охватывает обывательское настроение (нем.).

бывшего гусара. "У ней осталось еще какое-то детское чувство к природе, она так рада зелени, что редко пропустит пустой садишко, чтоб не попросить позволения войти в него. В этом я уж вполне симпатизирую с нею, а старик ворчит: "ну, что ж тут смотреть? эка невидальщина - зелень". Станкевича раздражают замечания "полковника": "Он ворчит беспрестанно, резонирует и скупится, что хуже всего... "Ну что ж тут смотреть! пойдёмте! за что ж тут два поля"! ведь уж пора обедать! и т.п." Станкевичу хочется обратиться к нему, как Фауст к Мефистофелю: "Klurre nicht, Pudel!"**

Старшая из дочерей, Шушу, ему особенно нравится: "В ней есть врожденное женское чувство, которое (если не заглушат его годы пустоты или сообщество такого супруга, как ее папаша) никогда не позволит развиваться в ней чему-нибудь choquant*** - все это заставляет искренно жалеть о том, как мало в ней развито и как мало разовьется. Дай Бог, чтоб я ошибся".

С Шушу он играет в четыре руки на фортепьяно, открывает ей Шиллера и поддерживает особые дружеские отношения, в отличие от взрослых, от людей "серьезных". Он горячо возражает на подозрения г-жи Фроловой: он ничуть в нее не влюблен! Эти вечные намеки составляют одно из любимых развлечений общины, сначала во Флоренции, затем в Риме. "Признанным" поклонником Шушу является Ефремов, и все стараются в этом его убедить.

В январе Кенни и Станкевич едут с Ефремовым в Пизу и Ливорно: "Ховрины поручили ему привезти образчиков драдедама и он, сведущий в этом, как я в астрономии, потел целое утро, ходя по лавкам, набрал кучу такой дряни, что их только можно продать на бумажную фабрику. Я посоветую им сделать из них мячик и подарить Ефремову". Привезенные "образчики" приняты благосклонно, но Ефремов снова обеспокоен: барышня начинает слишком часто бывать на балах: "Задумался, бедняк. По приезде даже не спал после обеда, а ел яблоки, это он всегда делает с горя"³⁷⁶.

Вскоре прибывает Иван Тургенев и выступает новым претендентом. "Вчера сказал он нам, что видел во сне, будто женится на Шушеньке, но уверял, что он боялся этого брака. Разумеется, Ефремов принял это очень к сердцу, я нет, потому что флорентинская страсть, замеченная во мне Елизаветою Павловною, не возобновилась. Подожду, может, еще и родится. Для этого нужно,

* т.е. раоі (ит.) мелкая итальянская монета.

** Не ворчи, пудель! (нем.) - Известное обращение Фауста к Мефистофелю.

*** Неприятно поражающее (фр.).

чтоб стало теплее, и я поменьше кашлял". Тургенев, в свою очередь, пишет: "Она была очень мила и, кажется, втайне, чувствовала большую симпатию к Станкевичу, который отвечал ей дружеским, почти отеческим чувством". Но добавляет при этом: "Сам он тогда думал о Дьяковой, которая жила в Неаполе и с которой он съехался потом"³⁷⁷. Станкевич признается в этом Фроловым: "Чтоб довершить мою откровенность, я чувствую свою свободу и способность to fall in love, irgend wo anders*, т.е. не в эту, а в какую-нибудь другую если б уж это угодно было небесам". Станкевич с февраля переписывается с Варварой; поездка в Рим для него имеет не только туристическое значение, она приближает его к ней.

Своим родителям Станкевич объявляет, что его здоровье в превосходном состоянии. Его врач, тем не менее, запрещает ему провести следующую зиму в России и советует летом пройти лечение в Эмсе, затем вернуться в сентябре в Италию. Он упоминает только о "стойком катаре", который он еще должен вылечить. Он обещает вернуться окончательно в мае 1841 года. Но Грановскому он открывает истину: в середине января он вновь начал кашлять и в течение нескольких дней кашлял кровью, всего около двух кофейных ложек. Его родители, однако, начинают серьезно беспокоиться: почему бы ему не приехать лечиться домой? Он чувствует себя виноватым оттого, что слишком долго скрывал от них опасность своего состояния; он чувствует, как необходимо братьям его присутствие в России. Будут ли они продолжать обучение в университете?³⁷⁸

Из Флоренции Станкевич уезжает 6 марта: "После светлых, веселых окрестностей Флоренции, я был поражен дикою и живописною натурой, которая встретила меня при въезде в Папскую область. Прибавьте к этому людей, завернутых в длинные синие плащи, с меденной походкой, с длинными посохами все это воскрешает предание старых времен, напоминает картинки с римскими пастухами, так часто виденные в детстве, напоминает также Тита Ливия, которого тщетно Кубарев старался вдолбить нам в голову". Станкевич, наконец, оказывается в "Древнем мире". До этого он знакомился с Италией XV века, во Флоренции, в Пизе, с ее собором и баптистерием, с ее Campo Santo и фресками на библейские сюжеты. Что же он знает о древности? В 1834 году он с увлечением читал Фукидида, восторгался афинянами, спасителями Эллады, Фемистоклом, Аристидом и прочими героями. Их народилось так

* Влюбиться где-нибудь в ином месте (англ.).

много - за столь краткий срок! Им он охотно прощал их чрезмерность. Не они ли породили демократию, примирили человека с гражданином? Не они ли стремились объединить греков? Но особую симпатию афиняне вызывали из-за своих человеческих слабостей. В воображаемый Золотой век Станкевич переносил стремления, будто бы "неосуществимые" в настоящее время: политические свободы, гармонию тела и духа, полноценную и активную жизнь, позволяющие личности развивать свои прекрасные возможности.

В Риме он посещает Пантеон.

"Этот храм сохранился почти в первобытном виде: просторная ротонда освещена сверху. Светлый мир и спокойствие господствуют в здании. Мне отчасти понятна древность, если только я не сочиняю себе чего-нибудь о ней. Эта dokonченность, удовлетворенность, мир составляют прелесть этих творений. Конечно, они скоро помирились, слишком рано кончили, удовлетворились неполным; но когда знаешь это и когда в самом есть еще что-то другое, хоть в желании, хоть в стремлении, что приносишь с собою к этим творениям, они благотельно действуют на душу: чувствуешь простор, но не надобно хотеть постоянно, долго, а еще менее исключительно наслаждаться ими. *Modernität** тотчас берет свое".

Предосудительно ли плениться конечным характером античной красоты? Обманчива ли эта гармония для большого Станкевича, постоянно ограниченного в своих стремлениях? "Моя жизнь, мои потребности так спутаны, требования тела в такой оппозиции с требованиями души". Станкевич при этом вспоминает, как Гете восхищался древними: "Как чувствовал Гете, что мы много, слишком много, готовимся к жизни и не успеваем жить". Среди стихотворений Гете, Станкевич переводил "An den Mond"^{**}. До него, впечатляющие гетевские образы Жуковский переносил в банальную сентиментальную элегию; он любовался природой, тогда как Гете растворялся в ней; он призывал душу вырваться из своей "земной тюрьмы", тогда как Гете, поэт *Diessets*^{***}, стремился здесь все объять. Не отступая от Гете, избегая сентиментальности, Станкевич сохранил последнюю строфу, которую Жуковский убрал, гетевскую мысль "о голосе, говорящем с мечтами в смутный ночной час". Этот голос - эхо настоящего времени, *modernität*, сомнение,

* современность (нем.).

** "К месяцу" (нем.).

*** поюсторонне существование (нем.).

прометеевский бунт, пантеистическое опьянение, философская спекуляция. Гете прислушивается к миру, он вовсе не намерен "бежать его", он скрыто предается этому "таинственному дыханию" превращая его в источник своего вдохновения. Может ли гетевское откровение примирить, утешить?³⁷⁹

Станкевич вспоминает также слова Вердера: "Nur ruhig, nur ruhig! Nicht so und so - sondern immer so!"* Он сопровождал эти слова жестами. So und so означало у него беспокойство, Grübelei рефлексию и So спокойное вникание в самую вещь. Гете, которого Вердер так часто цитирует в своих лекциях по Логике, сумел овладеть "безумством юных лет" и застыл в олимпийском спокойствии. К этому ли голосу, к "молитве" пантеиста Гете, прислушивается Станкевич? Не скорее ли к "прорыву надежды христианина"? Но как отличить эту "надежду" от болезненного Sehnsucht**? К ожиданию чудес, к откровениям душу приучило чтение романов Жан-Поля, повестей Гофмана. Чтение Гегеля эту ностальгию по Jenseits*** разоблачило. Этому разоблачению способствовала опала светской поэзии, слащавых фраз Шевырева: "Жизнь должна улететь на небо и превратиться в комету, тогда она станет поэзией", стихов Бенедиктова, воспевающего свою музу, "Адель с черными очами":

Прочь, коварная мечта!
Нет, Адель, живи чиста!
Не довольно ль любоваться
На тебя, краса любви...

Держась на грани тривиальности, нежную томность Sehnsucht воспевал тоже Аксаков. А в Германии Станкевича беспокоит направление Sehnsucht, оно порождает мистический идеализм: не способствует ли он восстановлению католицизма? В Аахене чтение гетевских "Летописей" его успокаивает. Гете сожалел об обращении в католицизм поэта Ф.Л. Штольберга, о событии, наделавшем много шума в 1800 году в Германии: "Такие вещи, например, его отзыв об обращении Штольберга, несколько строк для меня особенно характеристичны; они обличают его высокий ум, его вражду к Коцебу..."

Станкевич желал бы глазами Гете познакомиться с древним миром, с Италией глазами истинного классика, сумевшего согла-

* "Медленно! Еще медленнее! Не так-сяк, а всегда так!" (нем.)

** чаяния (нем.).

*** потустороннее (нем.).

совать Север с Югом, христианство с эллинизмом. Во Флоренции, однако, он читает вторую часть "Фауста" и в журнале "Hallische Jahrbücher" статью профессора Фишера "Die Literatur über Goetes Faust"*, и высказывает свое мнение Грановскому: "До сих пор я прочел только о нефилософах, объяснителях "Фауста". Сам он смотрит на вторую часть как на произведение старости, чуждое поэзии, осуждает лощеные стихи, темноту, намеки на вещи, не идущие к содержанию, самый путь, которым он ведет Фауста к очищению - до сих пор нельзя было не согласиться с ним"³⁸⁰.

Белинский прочел статью Фишера в Москве, в августе 1839 года; он с восхищением получил подтверждение того, что испытывал сам: вторая часть "Фауста" не может рассматриваться как откровение системы Гегеля в искусстве. Гете потерпел неудачу там, где, по его мнению, Пушкин торжествует: "Какая поэтическая натура! Да, он не мог по своей природе написать ничего вроде 2-й ч. "Фауста"³⁸¹. Белинский и Станкевич предчувствовали у Гете это отклонение к "рефлексивной поэзии", к аллегории. То же самое они отмечали у молодого любомудра Веневитинова, чей талант питал столько надежд до его преждевременной кончины.

Но прежде чем их в чем-то упрекать, следует определить характер эпохи: остается ли еще место для искусства в современном мире? Гегель описывает парадокс, заключающийся в понятии *Modernität*, применяемом к индивиду: постепенно дух обогащается, расширяет сферу знания, человеческий разум освобождается, смеется в гипотезах и выводах, но его поле деятельности неуклонно сокращается, так как он все больше сталкивается с посторонним миром, то есть с правилами, с вмешательством третьей стороны, они узаконивают новые отношения; время и пространство больше ему не принадлежат и переходят под бдительность государства (всеобщего духа); оно не только ограничивает, распределяет плоды общественного труда, но и сами частицы времени и пространства, и оно их сокращает по мере того, как индивидуальный дух освобождается. Одним словом: жизнь сводится к *представлению* жизни. Введение к "Эстетике" не дает усомниться в глубоком пессимизме Гегеля: "У искусства больше нет того высокого назначения, каким оно раньше обладало. Оно стало для нас предметом представления и потеряло ту непосредственность и ту жизненность при его расцвете у греков. Можно сожалеть, что дивная красота греческого искусства или что

* "Литература о Фаусте Гете" (нем.).

понятие, содержание этого прекрасного времени пропали для нас; можно это объяснить ухудшением бытовых условий, ухудшением, причиненным осложнением нашего социального и политического быта, можно сожалеть, что вниманием нашим завладели мелкие интересы, корыстные точки зрения, лишаяющие душу спокойствия и независимости, необходимых для бескорыстного наслаждения искусством. Такова стала вся наша культура, что она целиком под властью закона". Тогда как стало привычным для современника определять частное на основании общих принципов, долга, права, правила, "то, что мы требуем от искусства, это его участие в жизни, и мы требуем, чтоб искусством не управляли отвлеченные понятия, как закон, право, правило, чтоб обобщение, которое в них выражается, не противостояло сердцу, чувству, чтоб образ принимал живую форму в нашем воображении. Но так как наша культура именно не отличается жизнерадостностью, а наш дух и наша душа не могут больше испытать то удовлетворение, которое доставляют предметы одушевленные живым порывом, можно сказать, что мы не способны по достоинству оценить искусство, ссылаясь на наш культурный кругозор <...>. Наши потребности, наши интересы перешли в сферу представления и, чтоб их удовлетворить, мы нуждаемся в рефлексии ... Поэтому в наше время мы склонны к рефлексии, к размышлению по поводу искусства. И искусство ныне таково, что само становится предметом размышления"³⁸².

Эта речь звучит, как надгробное слово; умерла навсегда культура, при которой искусство было потребностью духа, стремящегося познать себя объектом в царстве теней, "где одушевлялась плоть, ибо дух там воплощался". Отныне искусство приглашает нас к философской рефлексии не для того, чтобы обеспечить свое обновление, а чтобы стать объектом науки: "эстетики". Может ли Станкевич согласиться с этим безжалостным осуждением искусства? Оно вскоре вызовет бунт Белинского против всеобщего духа, против этого Молоха, беспощадно разрушающего на пути своего диалектического похода пройденные этапы, искусство, как и религию, избавляясь от них, как "от старых брюк", и углубляясь в абстракцию из-за гнетущей обстановки. Станкевич не поддается пессимизму: он не жалеет, что искусство становится объектом философской рефлексии, а, наоборот, радуется тому, что, наконец, это стало возможным. Он принимается в Италии за неоконченный очерк "Об отношении философии к искусству", первый и, увы, последний из тех оригинальных трудов, которые он намеревался написать.

Он принимает точку зрения Гегеля. Искусство, религия и философия, будучи тремя видами деятельности духа, имеют тождественное содержание, но различные формы; они организуются в диалектической последовательности: дух переходит от чувственного выражения сущности (через художественный образ) к своему разумному выражению (свободной и чистой мысли), религия является промежуточным этапом. До Канта, в работах Лессинга, Винкельмана, проблемы искусства казались чуждыми философии, тогда как в действительности ни одна сторона духовной жизни не развивается независимо от других; каждая живет и растет совместно со всем организмом.

"К глубоким плодотворным открытиям новейшей философии принадлежит то, что история искусства рассматриваемая разумно есть вместе и его теория и что роды его вполне соответствуют его эпохам, которые в свою очередь совпадают с эпохами общего духовного развития. Эта мысль делает совершенный переворот в эстетике; искусство, вместо того, чтоб терять, получает мировое значение, оно выходит из бессмысленного оцепенения, в котором оставалось разбитым, неизвестно почему и для чего на разные роды: оно является целым, которое живет с духом и из духа и переживает с ним все судьбы его". Используя это благоприятное совпадение между логикой и хронологией и опираясь на гегелевскую классификацию, Станкевич различает: символическое искусство, чувственные представления которого прибегали к символу, к аллегории, но были не способны выразить бесконечное; его вершина достигнута в архитектуре, в стремлении выстроить дом для божества; классическое искусство достигло гармонии формы и значения, выбрав человеческий облик, только он мог проявить духовное чувственным образом; этот антропоморфизм, тайна и величие греческой скульптуры, является также ее пределом, он ведет к обожествлению человека; романтическое искусство снова знаменует собой разрыв формы и содержания; дух не живет больше в чувственном образе. Искусство не способно более воспроизводить это содержание для человека, и главное для человека, подчеркивает Станкевич, вслед за Гегелем, заключается во внутренней борьбе с самим собой, ради примирения с Богом. "Новый вид искусства, где внешняя форма становится только отражением внутренней, незримой идеи - есть романтическое искусство". Станкевич соглашается с этим полным подчинением искусства религии, но подчеркивает, что оно возвеличивает новые формы живописи, музыки

и поэзии. Он хочет снять обвинение с Гегеля, объявившего, что "искусство - это прошлое для нас". Это можно было сказать так: искусство не есть более высшее для нас. Но и тут вышли бы недоразумения... Итак, я скажу наперед в утешение нетерпеливых, что есть непогибающий элемент в искусстве, который останется высшим и последним, элемент цельной индивидуальной жизни, прямого созерцания, нераздробленного значения элемент энергии и личности; этот элемент вечен, как вечна потребность человека в каждое мгновение сознавать всю нераздробленную полноту своей жизни".

Подчеркивая ту роль, которую Гегель уделяет человеку, Станкевич хочет защитить его от обвинений в спинозизме, который постулирует ничтожество всего единичного перед одной силой.

"Это одно есть род, которого жизнь есть смерть всего живого. Было время, когда это воззрение хотели сделать господствующим в философии и видели что-то грандиозное в этой жизни общего, забывая, что здесь гибель личности, следовательно, и духа, что это одно, неживущее, безличное есть только как понятие - следовательно, зарождается в лице, в духе. Еще забавнее, что это воззрение хотели приписать Гегелю, который с такой силой выводит дух и лицо победоносным из этого рода (в *Феноменологии Духа*) и который отдельно во многих местах полемизирует против этой безжизненной философии. Обвинители не читали его"³⁸³.

С этими убеждениями, Станкевич приезжает в Рим и любит его творениями. Он беседует с художником Марковым, который задает ему вопросы и делится с ним своими сомнениями. Его это удивляет: "Я никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего". Показная ли это точка зрения? Ведь Станкевич должен постоянно бороться с самим собой; он признается в этом в письмах к Варваре: "Полной свободы духа - вот чего мне недостает, и спокойствия (спутника этой свободы), я, может быть, еще недостаточно созрел для жизни, когда она мне поставила вопросы, разрешить которые я был слишком слаб, слишком сбит с толку <...>. Нужно время, чтобы собраться с силами, а неумолимая, внешняя жизнь преследует нас с своими вопросами, не дает нам времени, чтобы собраться с силами, указывает нам на обломки наших поступков и из будущего грозит нам все тою же путаницею". Станкевич добавляет: "Наши страдания - солнечные лучи из высших областей, стремление свободно рожденного духа". Кто же так выражается: дух,

черпающий свою уверенность в разумных соображениях или прекрасная душа в поисках проблеска надежды в своих страданиях? Кому верить Гегелю, философу примирения, или Христу, Искупителю?

Чтобы ближе познакомиться с древним миром, Станкевич намерен прочесть несколько трудов по римской истории, но мнение у него уже сложилось; он прочел главы, которые Гегель посвятил Риму в своих "Уроках по философии истории". В большой обвинительной речи, откуда враги "римского начала" будут черпать свои доводы, прежде всего русские славянофилы, Гегель противопоставляет греческий дух римскому и беспощадно осуждает этот народ, состоящий из разбойников, выросший в насилии и похищениях, вне привязанности к семье, этой основы жизни греков. Слуга при государстве, деспот у себя дома, римлянин не ведает той интуиции, которая позволила греческому гению одухотворить без принуждения свои отношения с природой. Римлянин, заключенный в сфере прозы, абстрактного понимания, конечности, не способен испытывать бескорыстное религиозное чувство, созидать из чистой любви к прекрасному и божественному, как это делает грек. Изображению духовных страданий в трагедии он предпочел жестокое зрелище физических страданий в цирковых играх. Богов и духов римский мир собрал в пантеон всемирного господства как абстрактный принцип своей системы порабощения. Он был не способен ответить на новые чаяния, возникшие с христианством. Эта историческая задача выпадет на долю германских народов.

Станкевич устраивается на *via del Corso*. Современный город ему нравится: "Там и сям торчат колонны, по одной, по три, по восьми; в углублении массивная арка Септимия Севера, вдали Палатинская гора с садами. Тут уж все отжитое, я не останавливался над исследованием, что здесь принадлежит храму Юпитера, что другому (хотя все это очень хорошо рассказано в дорожнике Нибби, в который я имею привычку заглядывать уж после)". Продолжая прогулку, он подходит к Колизею: "Я не думал много о его назначении, о народе, растерзанном зверьми в его стенах, я видел только огромную гармоническую развалину и темно-синее небо, просвечивавшее во все окна". Он хочет лишь наслаждаться сегодняшним зрелищем. Внутри Колизея старые ступеньки обрушились, и растительность заплонила эти развалины: "Кустарник растет на месте этих ступеней и делает эту развалину полною и удовлетворительною в самой себе". На *via Appia Antica* он

рассматривает могилы и среди них - гробницу Цецилии Метеллы и находит, что эти руины, поросшие кустарником, производят чудесное впечатление.

Станкевич достает сокращенное издание работы А. Фергюсона "История развития и упадка римской республики" на английском языке, что затрудняет чтение, и переходит к "Истории революций римской республики" Верто, которая его разочаровывает; он предпочитает "Параллельные жизнеописания" Плутарха во французском переводе. Фроловым, оставшимся в Венеции, он пишет: "Вы живете все-таки в новом мире; я записываюсь в *Cabinet littéraire*", чтоб не совсем отстать от него за римскою историей и древностями". Бродить по Риму, - это жить вне настоящего времени, но в приятной компании: Ховриных, артистов, художника Маркова, польского пианиста Брингинского, друга Листа, больного туберкулезом, как и он, Рунде, немецкого пианиста, который забрасывает его лечебными советами, и Ивана Тургенева, живущего в Риме с февраля. Станкевич находит, что Тургенев повзрослел: "Он говорит связно и хорошо; ничего не заметно, чтобы он мог, когда-нибудь, плести такую дичь, какую он плел у Вас. Право, он умен"³⁸⁴.

А сам Тургенев записывает: "Здоровье его значительно стало хуже, голос получил какую-то болезненную силу, сухой кашель часто мешал ему говорить. В Риме я сошелся с ним гораздо теснее, чем в Берлине, я его видел каждый день, и он почувствовал ко мне расположение <...>. Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривали памятники и древности. Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал; но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил о древнем мире, о живописи, ваянии и т.д., было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости"³⁸⁵.

К неожиданным ощущениям Станкевич восприимчив. "Раз, возвращаясь уже вечером в открытой коляске из Альбано, - рассказывает Тургенев, - поравнялись мы с высокой развалиной, обросшей плющом, мне почему-то вздумалось вдруг закричать громким голосом: "Divus Caius Julius Caesar"^{**}, в развалине эхо отозвалось будто стоном. Станкевич, который до того времени был очень разговорчив и весел, вдруг побледнел, умолк и погодя немного проговорил с каким-то странным выражением: "Зачем вы это сделали?" Позднее Тургенев использует этот эпизод в повести

* читальный зал (фр.).

** "Божественный Кай Юлий Цезарь!" (лат.).

"Призраки". Героя увлекла в фантастическое путешествие по свету Элис, женщина-вампир. Рим — один из первых этапов. Они замирают над одинокой руиной: "Никто не мог бы сказать, чем она была прежде: гробницей, чертогом, башней... Черный плющ обливает ее всю своей мертвенной силой, — а внизу раскрывался, как зев, полуобрушенный свод". Элис приказывает рассказчику прокричать имя любого знаменитого римлянина: *Divus Caius Julius Caesar!* И тотчас шелест, шепот, мимолетные видения предвосхищают приход Императора. Наконец появляется его венценосная голова. "На языке человеческого нету слов для выражения ужаса, который сжал мое сердце. Мне казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчас же умру. Элис! — простонал я, — я не могу, не надо мне Рима, грубого, грозного Рима... Прочь, прочь отсюда! — Малодушный! — шепнула она, — и мы умчались"³⁸⁶.

Не это ли впечатление пережил тогда Станкевич при упоминании о "грубом и грозном Риме"? не ощутил ли он предчувствие смерти? У него еще хватает юмора, чтобы обратиться в шутку тревогу, вызываемую состоянием его здоровья; он убеждает Тургенева, что боится умереть от рук воров. Когда у него спрашивают, что бы он сделал, если бы застал у себя вора, рассказывает Тургенев, Станкевич отвечает: "Самым нежным голоском, чтобы не подать ему даже мысли, что я могу защищаться, сказал бы я ему: *Carissimo signore ladrone!* (И Станкевич придавал своему голосу самое умоляющее выражение.) *Carissimo signore! Prendete tutto ci che volete — ma lasciate mi la vita!*"

Во время экскурсии вдоль *via Appia Antica* они посещают катакомбы: темное и сырое подземелье, похожее во всех отношениях на гробницу Сципионов, но Станкевич подчеркивает, что эти места богаче воспоминаниями, они служили для убежища, богослужения и погребения первых христиан. Тургенев восклицает: "Это были слепые орудия провидения!", на что Станкевич сухо отвечает, что слепых орудий в истории нет, как, впрочем, их нет нигде. В другой раз перед статуей св. Цецилии Тургенев цитирует Жуковского:

"И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя".

* "Дражайший господин грабитель! Дражайший господин! Возьмите, что хотите, только оставьте мне жизнь! будьте милосердны!" (ит.).

Станкевич замечает, что нельзя ждать ничего хорошего от того, кто по привычке любит прелесть, да еще в такие молодые годы. При всем этом, Тургенев - очень приятный спутник. Его способности к рисованию служат поводом для остроумных шуток Станкевича: "Станкевич задавал мне разные, забавные сюжеты и очень этим потешался. Особенно смеялся он одной карикатуре, в которой я изобразил свадьбу Маркова"³⁸⁷. Станкевич описывает Фроловым ночную экспедицию в базилику св. Петра, задуманную Рунде. Тот тщетно ждал ясной ночи. Все, кроме Станкевича, покорно следуют за ним холодной и темной ночью. Рунде описывает световые эффекты, которые можно было бы увидеть при лучшей погоде. Они, однако, восхищаются гробом св. Петра, статуями, освещенными фонарями, но "полковник" Ховрин ворчит: "Ну, что ж нам смотреть на них при свечке; мы их днем видели".

Погода по-прежнему отвратительна. В Ватикане Станкевич особенно восхищается Аполлоном Бельведерским: "Эти, сами по себе совершенные, формы, принимают еще сверх того, выражение определенного момента: это момент совершенной деятельности. Бог идет, может быть, готов остановиться; одна рука его простерта вперед: она только что нанесла удар и благородное негодование затихает на лице его. Все другое я едва видел".

"Что это за художник! - восклицает он перед Моисеем Микеланджело. - У него один идеал - сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукою". Лицо не очень соответствует классическому идеалу: "Правда, есть что-то уничижительное в этой гигантской силе; но не смело ли это сказать? В его искусстве нет этой мирящей силы, которая господствует и в греческом христианском искусстве. Он возвратился к Старому Завету; этот служитель Бога ревнивого". Станкевич затем возвращается в Ватикан: "Аполлон еще более мне понравился, что после этого абстрактная сила Микеланджело? Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах". В тот же вечер, 6 апреля 1840 г., у Ховриных, он упорно спорит с одним голландским скульптором: "Он говорил нам, что эта статуя, превосходная во всех отношениях, не принадлежит к первоклассной эпохе греческого искусства. Он видит тут какую-то мягкость, чуждую первым школам. Это для меня ничего: я упрям и имею свои понятия на это. Мне нравится, что Аполлон был идолом Винкельмана"³⁸⁸.

Станкевич не случайно вспоминает о Винкельмане, когда противопоставляет две концепции искусства: одну, основанную на желании показать свое знание, преодолеть почти непреодолимые трудности, выразить человеческую силу или страдание; другую сияющую красотой, покоем и любовью. Винкельман суров к Микеланджело, не способному, по его мнению, понимать красоту героев, по примеру греческих художников; у Рафаэля получается лучше, когда он рисует лицо Христа. Он противопоставляет группу Лаокоона Аполлону Бельведерскому и находит у автора Аполлона более возвышенный дух и более нежную душу. В Лаокооне движение мускулов переходит за грань истинного. У Аполлона эти мускулы, наполненные почти незаметными волнами, очень изящны. Для описания Аполлона Винкельман использует самые восторженные термины. В этом боге воплощается высшая идея мужественной юности, союз изящества прекрасных форм юности и мужественной силы; ничто не возбуждает это тело, обитаемое небесным духом. Бог только что безбоязненно соревновался с Пифоном, раздувшиеся ноздри выражают его гнев, а губы - его презрение, но лоб остается ясным и взгляд кротким; созерцание этой прекрасной статуи, пережившей нашествие варваров и испытание временем, погружает Винкельмана в экстаз, переносит его в воображении на остров Делос и в священные ликийские леса. Станкевич разделяет это мнение: он предпочитает восхищаться богом-победителем, который, совершив свой подвиг, красуется, нежели созерцать страдания человека, бессильной жертвы небесного гнева.

В группе Лаокоона Винкельман видит, прежде всего, парадокс: соединение наибольшей боли с наибольшей красотой, борьбу духа, который побеждает свое страдание и не кричит. Этому факту Станкевич придает значение. Не обуславливает ли он верность теории примирения? Лаокоон не кричит, это означает, что его дух осознал всемирный смысл трагического события, жертвой которого он стал. Вслед за героями античной трагедии, ради вечного Суда, он смиряется. От крика потускнело бы ощущение примирения, возникающее у зрителя при созерцании шедевра³⁸⁹. Примирение или смирение? В сущности, Гегель отбрасывает затруднительные вопросы и вспоминает с язвительной иронией о прошлых спорах: издает ли Лаокоон крик или нет? "С такими "важными" психологическими проблемами когда-то возились потому, что еще не одержал верх импульс, данный Винкельманом, и не восторжествовало подлинное понимание искусства". Гегель же принимает во внимание лишь одно: "Несмотря

на огромные страдания, высокую правдивость в их изображении, судорожное сведение тела, напряжение мускулов, в ней, тем не менее, сохранилось благородство красоты; нет ни малейшего намека на гримасу, искажение и уродство". Но, обращаясь к возможным оппонентам, Гегель добавляет: "Это произведение, несомненно, принадлежит более поздней эпохе, которая стремится заменить простую красоту и жизненность изысканным подчеркиванием познаний в области строения и мускулатуры человеческого тела и желает нравиться чрезмерно угонченной прелестью разработки. Шаг от наивности и величия искусства к манерности здесь уже сделан". Греческая скульптура, "бесстрастная и ясная", вершина классического искусства, "не призвана выражать индивидуальные чувства; она использует человеческую форму для представления субстанционального общего характера духа"³⁹⁰.

Станкевича доводы Гегеля не убеждают. В письме Бакунину от 21-го января 1838 года он признается, что он никогда не любил и сам себя обвиняет: "Любовь у меня всегда была прихоть воображения, потеха праздности, игра самолюбия, опора слабодушия <...>. Действительность есть поприще настоящего, сильного человека, слабая душа живет в *Jenseits**, в стремлении и в стремлении неопределенном". Но при этом добавляет, что думать *истинно* мудрено, не *чувствуя свободно*. Гегель сам называет это *herzloses Denken***. Станкевич выступает открыто против своего философского наставника: "Гегель во второй части своей эстетики упоительно говорит о любви в искусстве средних веков. "Это уничтожение своего сознания в другом, этот вид бескорыстия и *Selbstlosigkeit****", чрез который субъект находит себя и делается самим собой (*zum selbst*), это забвение себя, так что любящий не для себя существует, но в другом находит корень своего бытия и в этом другом совершенно наслаждается самим собою, вот что составляет бесконечность любви. - Прекрасное заключается здесь преимущественно в том, что это чувство не остается только стремлением и чувством; фантазия весь свой мир перерабатывает в это отношение; все другое, что только принадлежит к бытию и жизни, все интересы, обстоятельства, цели возвышает до украшения этому чувству, все увлекает в круг его и только в этом отношении дает всему прочему цену. Особенно хороша любовь в женских

* по ту сторону мира (нем.).

** бессердечным мышлением (нем.).

*** самоотверженность (нем.).

характерах, потому что для них эта преданность, это самозабвение (Aufgebung) есть важнейший пункт. В этом чувстве они собирают (zusammenziehen) и в это чувство расширяют (ausbreiten) всю духовную и действительную жизнь; в нем только находят опору бытия (Halt des Daseins) и если над ним пройдет беда, гаснут, как гаснет свет, от первого сурового дуновения".

Это перечисление общих мест вдохновляет Станкевича на то, чтобы развить по-своему продолжение этой темы: "Далее, похваливши любовь как не простую чувственность и признав "allerdings eine hohe Qualität an ihr", Егор Федорович нюхает табак и говорит: "Zugleich aber hat die romantische Liebe auch ihre Schranken"*. Ей недостает общности. Она не связана с объективным содержанием человеческого бытия, с фамилией, политическими отношениями, государством, религиею. In die romantischen Liebe dreht sich alles nur darum, dass dieser, diese, diese diesen liebt***. Это называет он *бесконечным* упрямством, в *этой* только видит свою жизнь, свое сознание - ему нравится здесь высшая свобода (внутренняя необходимость). Но она слишком индивидуальна, выбор является своенравием, Halsstarrigkeit der Particularität****³⁹¹. Гегель заботится о том, как уберечь субъекта (прекрасную душу) от бесконечной неопределенности Sehnsucht****, о том, как направить его в конкретную определенность; упорное стремление остаться частным, несущественным лицом препятствует разграничению понятием. Безусловно, индивидуальное действие героев античной трагедии - Агамемнона, Клитемнестры, Ореста, Эдипа, Антигоны, - представляет в своем *пафосе* всеобщий интерес, тогда как индивидуальность, сведенная к себе самой, не может принадлежать к какому-либо общему пафосу. Гегель иронизирует: отдать свое предпочтение одной, когда на свете столько красивых девушек! Это частное дело, требование, в ответ на которое упорствующему субъекту нечего ждать от абсолюта. Сами его страдания не представляют общего интереса, они интересуют только самого субъекта.

Станкевич не согласен. Он допускает, что сегодня почти невозможно верить в существование родственной души, превратить вер-

* "в ней все-таки высокое качество" (нем.).

** "Но романтическая любовь имеет при том и свои границы" (нем.).

*** В романтической любви все вертится на том, что этот, эта любит эту, этого (нем.).

**** Упрямство частного лица (нем.).

***** чаяние (нем.).

ность в любви в цель жизни, но он остерегается слишком разумных выводов, выдвигаемых Гегелем в "Rechtsphilosophie"*. Его положения о браке, о разумной любви (Vernünftige Liebe) слишком похожи на омерзительные аргументы некоторых отсталых родителей! Он ссылается на Гото, гегельянца, обвиняющего своего учителя в пренебрежении к неоспоримым правам личности в браке, когда тот утверждал, что брак заключается ради брака и что склонность придет сама! Может быть, слепая страсть - средневековье, но средневековье - это юность человечества, а диалектика Гегеля слишком беззаботно размалывает индивидуальные случаи и возрасты человечества: "Все, что было главной чертой человечества в известную эпоху, - восклицает Станкевич, - есть необходимый момент духа, он не исчезает, но переходит, соединяется с другими". Он видит в желании Гегеля подчинить субъективный характер всеобщим ценностям, даже в виде судьбы, наличие некоего "древнего греческого духа".

Несмотря на то, что он признает заслугу Гегеля в выделении роли искусства, Станкевич убеждается, что Гегеля интересует в первую очередь содержание произведения. Несомненно, он отводит художнику, его субъективному творению благородную задачу участия в выражении абсолютной истины, проявлении Идеи в ходе истории. Но он не ставит перед собой, собственно говоря, проблему вдохновения художника. Сознательно оно или бессознательно? естественного происхождения или сверхъестественного? Для него это ложная дилемма. Природа заключена в себе, человек, мыслящее существо, в себе, но также для самого себя. Следовательно, это двойственное бытие делает внешним, объективирует, благодаря искусству, то, чем оно является. Такова цель, которую ставит перед собой поэт; следовательно, творческая субъективность не может стать объектом философских рассуждений: нет ни законов, ни рецептов для создания художественного произведения, как и для сверхъестественного вмешательства³⁹².

Тогда проблема сводится к вопросу нравственного порядка; эстетическая перспектива не может скрыть "филистерских" намерений: деятельность художника может развиваться лишь между чистыми стремлениями, бескорыстным культом прекрасного и нечистыми побуждениями, самолюбием, желанием выставить себя в выгодном свете. Может быть, "живой абсолютом" Гегеля не имеет

* "Философия права" (нем.).

ничего общего с учением Спинозы, но неужели его притязания отвечают живым чаяниям индивида? Станкевич проявляет "упрямство" и настойчиво ищет в искусстве это "вечное, высшее начало" всеобщего значения, позволяющее оправдать непосредственное созерцание, столь же необходимое, как и "потребность постоянно воспринимать безраздельно полноту своего существования". Если *Modernität** заключается в том, чтобы предать искусство, устаревшую форму выражения истины, философской спекуляции, насколько эта "рефлексия" далека от непосредственных эмоций, чувств, делающих возможным бегство в поэтический мир, откровение свободного эстетического творчества!

На вилле Фарнезе Станкевич рассматривает фрески Рафаэля; на первом этаже - история Психеи. "Heiterer Sinn** господствует в целом; боги, летающие и пирующие, свободны, легки и довольны своим существованием". Он находит, что группа Меркурия и Психеи особенно удалась: "... он летит в небо, держа невесту Амура". На втором этаже он любуется другими картинами эпохи Возрождения. В его воображении, подобно античным скульптурам, они вписываются в общее воссоздание древнего мира. Он восклицает: "Это розы греческого неба", или судит: "Прелесть и нега дышат во всей картине, и везде господствуют это спокойствие и удовлетворение греческого мира, которые, если они еще и далеки от святости, все-таки вырывают душу из земного и переносят ее в мир поэзии". Станкевич, чье состояние здоровья только ухудшается, тут далек от философских спекуляций, он созерцает и обретает мировоззрение Винкельмана, его отчаянную ностальгию по древней Греции, утраченной навеки, и в тоже время любуется этой "природой", вечно юной, свободной, расцветающей в своей великолепной наготе и радости жизни. Возвышенное видение вырывает его на мгновение от растущего господства действительности. Такое вознесение позволяет пережить только искусство. Станкевичу остается жить всего лишь несколько недель. То "дыхание жизни", которое он так ценил когда-то в Шеллинге, в мертвых категориях Гегеля решительно отсутствует. В номере за август-сентябрь 1839 года "*Hallische Jahrbücher*" он читает "*Zur kritik der Hegelschen Philosophie*"***, статью молодого гегельянца Фейербаха, критикующего своего учителя. Он с удовлетворением отмечает, что Фейербах, говоря о Гегеле, использует слова Аристотеля

* современность (нем.).

** веселое настроение (нем.).

*** "К критике философии Гегеля" (нем.).

об Анаксагоре: "единственный трезвый между пьяными", и замечает: "При всех его недостатках, его весело читать. В нем есть начало жизни, которое веселит. Es ist Etwas wom alten Schelling in ihm, aber ohne Fantasterey"*.

Станкевич особенно запоминает утверждение, лежащее в основе критики: чистое бытие, неопределенное понятие, само начало, служащее высшим принципом в "Логике" Гегеля, неприемлемо³⁹³.

Фейербах упрекает Гегеля в том, что он заточил себя в круговую систему, начало которой вовсе не является необходимым, всеобщим, но обусловлено априорно потребностями доказательства, которое он намеревается произвести. Перед зрителями, одураченными его искусством, Гегель, "философский художник", откроет во время неожиданной развязки, долго подготавливаемой, что бытие не является вовсе истинным началом, что бытие в себе уже Идея. Следовательно, признать в начале это неопределенное бытие означает признать Идею, но важнее то, что Гегель схитрил перед публикой. Он никогда не был одурачен сам своим основным началом, никогда не выходил из пределов собственной мысли, никогда не забывал об абсолютной Идее, он ограничился тем, что во время доказательства доказал ее формально (в рамках своей логики), тогда как в действительности эта Идея вовсе не была выведена, а остается недоказуемой, "субъективной" для интуиции, для рассудка, не способных признать действительность неопределенного бытия. В то время как он должен был начать именно с опровержения эмпирической точки зрения своего оппонента (без ее определения бытие перестает быть чем-либо), Гегель избегает *действительной* дискуссии и заменяет ее *фиктивной*, раздваиваясь на мыслителя, обладающего абсолютной достоверностью (Идеей), и писателя, борющегося с формальной неуверенностью и вынужденного развивать свою защиту во временной последовательности. Одним словом, несмотря на свои претензии, гегельянство вовсе не является критической философией. Подобно другим современным философам, вместо того, чтобы начать с противоположного, он непосредственно предполагает свое содержание как истинное.

Предупреждая возможные возражения, Фейербах утверждает, что нельзя опираться на "Феноменологию" и сказать, что Гегель разрешил в ней критические проблемы, и что в "Логике" больше не придется к ним вернуться. Он опроверг в ней не объект чувствен-

* "В нем есть немного от старого Шеллинга, но меньше воображения" (нем.).

ного сознания, а мысль, логический Dasein*. "Феноменология" - не что иное, как феноменологическая логика. Гегель не критикует по-настоящему Шеллинга, реставратора абсолюта Спинозы. Хотя и ведет с ним полемику, он, тем не менее, предполагает, вслед за философом тождества, абсолютом как истину: философия Шеллинга истинна по существу, он упрекает его лишь в формальном несовершенстве (отсутствие моментов рефлексии, рассужда, отрицания)³⁹⁴.

Не это ли именно ценил Станкевич у Гегеля? Привлеченный, прежде всего, его методом (Zucht), чтобы упорядочить собственные чувства и устранить, благодаря строгому "приданию формы", сомнительные проявления субъективного воображения, он не подвергал сомнению сам процесс завоевания абсолюта, подобно тому, как усвоил его благодаря шеллингианству. Фейербах открывает новые перспективы: философия истории или история философии? Вот уже несколько лет Станкевич принуждает себя изучать одновременно оба предмета, чередуя спекуляцию и "эмпирическое" изучение фактов. Отныне они могут слиться в одну науку: "Философия теперь должна быть разработана и потом слита, так сказать, в одну точку. Фейербах требует, что как *бытие* есть мнимое начало, то почему не начать с истинного, с *ugeu*? Ход философии, как у Гегеля, необходим, но только zum Behuf der Erkenntniss; es ist die Wahrheit, wie sie den Andern ausgelegt wird**. Теперь надо вывести все из *ugeu*".

Станкевич восхищен этой мыслью: "Философия есть наука и, как всякая наука, работа, борьба ума с предметом; она ход от конечного к абсолютному. Как скоро найдена идея, так в ней совершилась fusion***. Идея, прозрачная себе самой, есть жизнь абсолютного; как мы дошли до идеи - нам не нужно больше никакой науки; требуют, чтоб показали жизнь *ugeu* в себе, а не поколику она постепенно объясняется еще незнающему. Нося жизнь в себе, без этой борьбы, она есть самосозерцание, *блаженство*. Наука исчезла. Но из идеи можно построить жизнь, т.е. идея непременно становится *делом*, знает свое дело и наслаждается им".

"Наукой" является философия, "Логика" Гегеля. Гегелевские категории - всего лишь этапы логического доказательства, строи-

* бытие (нем.).

** ради познания; это истина, в том виде, как она излагается другим (нем.).

*** слияние (фр.).

тельные леса педагогического процесса, ведущего невежду к абсолюту. Они даже не соответствуют объективным этапам исторического процесса, осуществленного человечеством. Идея - это завершение, объективизация мучительного интеллектуального усилия по преодолению жестоких противоречий между идеалом и действительностью, устремлениями сердца и сомнениями рассудка; одним словом, это примирение между религией и философией, конец рефлексии, устранение внутренней раздвоенности. Как только ум "находит" Идею, истинную цель, как только он осуществляет единство понятия и действительности, эта Идея, осознав себя, озаряется и начинает жить. Подобно Пигмалиону, философ может созерцать блаженство абсолюта, жизнь, которую он помог разбудить; созерцать, но никак не разделять, поскольку его задача не завершена. Ему ни к чему сетовать на свою собственную конечность, неспособность достичь столь близкого счастья, он должен превратиться в человека действия.

"Наука исчезла, - комментирует Станкевич. - Идея непременно становится делом, знает свое дело и наслаждается им. Есть брошюрка Цешковского, "Prolegomena zur Historiosophie; у него три периода в истории: Kunst* Wissenschaft** (мы в конце этого периода) und That***. Разделение неверно, потому что основано не на идее истории, но эта последняя мысль, что наука должна перейти в дело, исчезнуть в нем, справедлива. Теперь заметно это общее требование, связать теснее эти разбросанные категории с жизнью сердца, слить философию в [не хватает одного слова в рукописи] ощущение, чтоб она была не в голове, а в крови, в теле, во всем существе. Я люблю это законное требование: ему удовлетворять постепенно неосторожно, ему можно удовлетворить теперь, когда гений Гегеля распутал наконец чувственные представления и мысли. До него это было бы Phantasterei"****.

Человек на законном основании имеет право действовать. Ему разрешено это делать после того, как только завершилось огромное умственное усилие, позволившее избавить его от обвинений, накопившихся десятилетиями: в его гордости, его высокомерном сопротивлении тайным замыслам провидения против естественного хода

* Искусство (нем.).

** Наука (нем.).

*** Действие (нем.).

**** Воображение (нем.).

истории. Он не является больше слепым орудием непредсказуемой судьбы или жертвой завистливого божества. В чем же будет состоять его действие? Станкевич умышленно ничего не уточняет, а обращается к Цешковскому. Он, как Фейербах, начинает с того, что критикует Гегеля, не подвергая сомнению основы его подхода; гегелевская система дает окончательное объяснение мира. Благодаря ему, человечество может получить доступ к полному осознанию своего прошлого, глубинного смысла предприятия, в которое оно пустилось. Но Гегелю не хватило смелости; будущее, по его мнению, не принадлежит области философской спекуляции, оно непознаваемо в такой же степени, как абсолют для кантианского критицизма. Несомненно, абсолют проявляется непредсказуемо во множестве случайных фактов, тем не менее, существует разумная основа, которую разум может признать и постичь, та самая, по которой следует Идея в своем продвижении через природу и историю, до полного осознания себя самой. До настоящего времени, из-за отсутствия сознательного участия человека, это продвижение было несовершенным. В античный период, в эпоху прорицателей и пророков (период *Kunst*), исторический смысл был доступен только чувству; затем, в период *Wissenschaft*, он был воспринят религией и философией, благодаря мысли. Ошибка Гегеля состоит в том, что он рассматривал человеческую деятельность исключительно с точки зрения мысли: его философия, не способная оказать влияния на судьбы человечества, может лишь объяснить прошлое, помочь осознать бессознательную деятельность. Только воля позволяет мысли осуществиться; мысль - лишь момент воли. Третий период, период действия (*That*), должен стать этапом, когда будет сформулирована философия практического действия (*Praxis*), которая позволит дать априорно определение будущего, зафиксировать телеологию истории, без которой невозможно познать развитие всего мира³⁹⁶.

Как Станкевичу не быть согласным, ему, потратившему столько лет на исследование своего внутреннего мира в поисках подлинных человеческих способностей; ему, признающему историю наилучшей сферой для изучения их возможного развития? Не следует ли противопоставить то, что *есть* тому, что *должно быть*, чтобы придать историческому развитию одновременно органичный и объективный характер, чтобы заложить основы разумной всеобщности? Брошюра Цешковского - манифест, в котором доказывается необходимость для человечества построить теорию своей собственной истории, повество-

вание, которое позволит упорядочить, оправдать и направить сознательное его содействие, в соответствии с абсолютной целью.

Безусловно, Цешковский помышляет о применении своих идей в политике. Он интересуется Фурье, сожалея при этом, что современники помешаны на изобретении разных систем в пользу общества. Фурьеризм всего лишь утопия, но он принадлежит будущему как этап формирования будущей разумной действительности. Эти "социалистические" заботы, кажется, чужды Станкевичу; он не упоминает о них в своей переписке, но, по сути, у него нет существенных возражений против Цешковского. С другой стороны, даже если он одобряет предложение Фейербаха сменить "первооснову" и признать Идею отправной точкой, он осуждает его радикальную критику гегелевской теории примирения. Подвергая сомнению бытие, его основополагающий принцип, Фейербах утверждает, что невозможность осмыслить *ничто* является пределом, который разум сам себе устанавливает; противопоставление между бытием и ничто существует только в представлении³⁹⁷. Станкевич упрекает его в том, что он запутался в понятиях. Ему кажется необходимым сохранить то, чего достиг Гегель, чтобы начать жить и действовать: "Создание, умение нужны для духовных наслаждений! Только не надо учиться этому целую жизнь: осознал раз и марш в Божий мир!"³⁹⁸

Что же осознал Станкевич? Несмотря на все оговорки, его вера в то, чего достиг Гегель, остается незыблемой. Благодаря его "законному требованию" он сумел распутать свои чувственные представления и мысли, излечился от "прекраснодушия" и достиг познания самого себя. Нет уже речи об *откровении* или *примирении*, выступает на первый план *просвещение*: Станкевич "просветился". Долой сомнения и угрызения совести! Он готов теперь мыслить самостоятельно и творить помимо всякого направления, всякой предвзятой точки зрения. Он сожалеет о крайностях москвичей в толковании Гегеля, но особенно возмущается его хулителями. В роли хулителя отличается в Москве Шевырев. Это подтверждает ему Грановский в письме от 20 февраля 1840 г.: "Вчера прочли отчет Шевырева министру, напечатанный в "Журнале Министерства". Что за гадость! Ругает Гегеля как идиот за то, что в его системе нет Бога. Ведь это донос. Здесь опять высказалась прекрасная натура Ивана Киреевского. Он не любит Гегеля и восстает против него, но письмо Шевырева произвело в нем еще больше негодования, чем во мне. Я даже начинаю думать, что его мистицизм есть только момент: он

теперь крепко занимается Гегелевой логикой и Religionsphilosophie*. Признался, что это доставляет большое наслаждение после долгого удаления от философии и что Гегель величайший человек нашего времени. Это для него большая уступка. Недавно Хомяков начал витийствовать против Гегеля за его политические убеждения, *Preussenthum*** и т.д. Киреевский отвечал ему: "что это все в примечаниях, а не в системе". Помнишь, ты то же самое сказал когда-то. Меня очень обрадовала эта прямота"³⁹⁹.

Для Станкевича эти новости представляют значительный интерес, поскольку в своем письме Фроловым от 21 мая он воспроизводит их почти дословно, с удовольствием повторяет слова Киреевского и набрасывается на Шевырева, который "поместил в журнале министерства статью, в которой говорит, что в Гегелевской философии нет Бога; какая отвратительная тварь!" "Я жалею, что здесь нет его, чтоб высказать ему всю истину! Сам говорил мне, что не знает Гегеля, и смеет говорить так". Станкевич тем более так возмущен, что он встретил Шевырева в Риме за два месяца до этого. "Он желал очень видеть меня и не понимал, как я (подразумевается: такой хороший человек) мог отдаться философии Гегеля (подразумевается: сделаться негодеям). "Это совсем фальшивое направление, говорил он, особенно в России", то есть в Германии меньше фальшиво, а в России больше, то есть в Германии, может быть, немножко правды в этом направлении, а в России нет".

Шевырев объясняет все это госпоже Ховриной, которая передает Станкевичу. Последний заверяет ее, что не существует двух истин: что истинно для немца, истинно для русского; разумеется, можно приводить доводы против философии, но не клеветать на нее оттого только, что это философия. Шевырев выдал себя тем, что обвинил берлинцев в безнравственности. Станкевич тотчас узнал филистерскую природу этого выпада. Госпожа Ховрина должна признать, что нравственность прусского народа, в частности берлинцев, образцова, выше, чем у французов и англичан. Разъяснив это, Станкевич избегает встреч с Шевыревым; он опасается тем не менее, что кто-нибудь примется неуклюже защищать перед Шевыревым философию, давая ему еще один повод потешить свое тщеславие. В конце концов, они встречаются в присутствии художника Маркова, чтобы поспорить ... о живописи. Шевырев защищает новую школу немецкой живописи назарейцев, видит в ней возврат к церковной

* Философией религии (нем.).

** прусскость (нем.).

традиции, спасительную реакцию против языческого направления, развивающегося со времен Микеланджело. Он усердно молится на воскресной службе в православной церкви. "Он молится определенному, он чтит *предание, ганное* - он, с своим страхом Божиим, больше язычник, нежели он думает, и какой? Язычник догреческий, поклонник фетишей, читатель мумий!" Явно, понятия о Боге у Шевырева и Станкевича не сходятся. Они все же заговаривают о Гегеле. Шевырев цитирует Баадера; Станкевичу его понятия кажутся нелепыми, но он не теряет спокойствия, которое он всегда сохраняет в таких спорах. Его собеседник признает, наконец: "Ну, да вам, я знаю, это должно казаться побрякушками!" Он все-таки советует Станкевичу повидать Баадера в Мюнхене: "Он просил меня также быть терпеливым к его выходкам против Гегеля, которого он не любит. "Впрочем, эта снисходительность совсем в Вашем характере!" - прибавил он"⁴⁰⁰.

Атмосферу этих встреч описал Тургенев: "Шевырев был в то время в Риме и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним, хотя со всеми другими обходился, по обыкновению, с педантической самоуверенностью"⁴⁰¹. В этих римских встречах не только отражается обстановка бывших московских прений между "прогрессистами и консерваторами", но и выясняется их суть, непримиримость между просвещением и светскостью, современностью и отсталостью. Станкевич воплощает Идею, самопознание - начало смелого и просвещенного взгляда на современность. В жалком поведении "лже-любомудра" Шевырева уже отмечаются омерзительные черты грядущего поколения черносотенцев. Что общего с благородством Киреевского, подлинного любомудра? Неужели не сошлись бы Станкевич и Киреевский лицом к России, с общей целью - завершить ее самопознание?

25 апреля Тургенев с Ефремовым едут в Неаполь. Станкевич не может их сопровождать. Его состояние здоровья ухудшается, он бесконечно консультируется у новых врачей, которых ему рекомендуют знакомые, у врача папы римского, у врача датской королевской семьи. Ему предписывают пиявки, советуют поехать на курорт или просто успокаивают. Однако, один итальянский врач, доктор Матеис, резко объявляет ему, по-французски, что "*son mal n'est pas du tout léger et qu'il est difficile à guérir avec toutes les précautions possibles*"*. Станкевич называет его оригиналом, диагноза его не

* "болезнь его тяжелая, излечить ее трудно, несмотря на все предостережения" (фр.).

признает; это ему недопустимо: еще столько предстоит открыть и совершить!

Оставшись в Риме один, он присутствует на религиозных обрядах Страстной недели; в воскресенье он наблюдает площадь св. Петра; она наполнена народом и оцеплена войсками. Он любит илюминацией и фейерверком из замка св. Ангела. Он не по своему желанию отказался от поездки в Неаполь, с этим проектом он слишком связывает надежду встретиться с Варварой. Он писал ей уже из Флоренции: "Бы в Италии, в Неаполе, я Вас увижу и буду награжден за мою обманутую надежду в Базеле!"

Зимой 1837-1838 годов, когда она боролась за свое "освобождение", стремилась не уступать мужу, она признавалась брату: "Знаешь, Миша, когда во мне пройдет дурное чувство, я покраснею, как будто ты видишь его, и не смею поднять глаз", и добавляет: "Есть еще другой, который производит во мне почти то же, что и ты, хотя я мало его знаю... Но это останется глубоко, глубоко в твоём сердце и никогда не выйдет из него, этот другой - Станкевич... Может быть, это воображение. Я его знаю почти только через тебя и люблю его оттого, что ты его любишь. Я уверена в этом, и между тем, сердце так сильно забьется от страха и радости - и в ту же минуту мне станет гадко себя"⁴⁰².

Мишель беспрестанно желал этой встречи. "Он должен быть еще в Эмсе на Рейне; может быть, ты увидишь его, я желал бы, чтобы вы увиделись", - пишет он Варваре 24 августа 1838 года. "В жизни моей я встретил двух людей, которые имели решительное влияние на мое духовное, нравственное развитие. То ты и Станкевич, - напоминает он ей в письме от 15 марта 1840 года. - Встреча с Станкевичем была для меня спасительна; она составляет эпоху, решительный перелом в моей жизни <...>. Зима, проведенная с ним, до сих пор самый счастливый период моей жизни"⁴⁰³.

В свою очередь, вскоре после отъезда из России, 11 октября 1837 года в Карлсбаде, Станкевич писал Неверову о Варваре: "Представь женщину с самыми высокими потребностями, которая должна унижаться пред человеком, которого она не любит и даже не уважает". Нерасторжимость брака? "Если брак есть ошибка, то она должна быть исправлена, если человек должен страданием искупить свою ошибку, то он не должен сделаться животным". Физическая близость с женщиной без любви недопустима: "Ты профанируешь ее и себя, вы оба унижаетесь до животных". Какое будущее может ждать Варвару? "Женщина физически должна принадлежать одному

мужчине, так пусть она останется отшельницей в жизни, или, если будет любить, никогда не соединится с предметом любви своей, но она спасет свое человечество". Не думает ли Станкевич в данном случае о себе? Во всяком случае, он готов поднять Варвару, это совершенное воплощение прекрасной души, на недоступный пьедестал. Та, которая может отказаться от всего во имя любви, полагает Станкевич, способна решить проблему существования в "счастье, независимом от мира сего, полном забвения себя"⁴⁰⁴.

К этому ли философскому счастью стремится Варвара? Совсе не освобождая в ней "подлинной женственности", не ставит ли чрезмерное почитание, которым она окружена, в искусственное положение, при котором "кумиру" приходится отвечать чаяниям своих "почитателей"? Весной 1837 года Варвара распечатала пакет писем, адресованных Мишелю, и прочитала отрывок, касающийся ее, где Белинский осуждал ее "слабость" по отношению к мужу. Это обрадовало ее: "Мое главное мучение состояло в том, что я думала стоять в их мнении на высшей ступени, чем заслуживала. Увидя противное, мне стало весело и покойно". Она написала Белинскому: "Вы отдали мне справедливость, я благодарю вас за это, вы не знаете и не можете знать, какое добро вы сделали мне этим. Давно уважение людей тяготит мне душу. Да, Белинский, я слабое, падшее творение"⁴⁰⁵.

Белинский тут же удваивает свое восхищение перед бесконечным величием, бесконечной глубиной этой души, отрицающей действительность собственной сущности! Станкевич выбирает тот же тон в переписке, которую он заводит, почти исключительно на немецком языке, с Варварой: "Я Вас знаю. Но я знаю также и пропасть, отделяющую меня от той полноты, от той свободы, которой живет Ваше сердце". Тем не менее, он соглашается, чтоб она называла его братом, другом: "Ибо знаю, что мое сердце не изменит Вашей божественности". Присутствием в ней Бога он хочет оправдать свое почитание ее чистоты. "Нет! Мы не подчинены еврейскому принудительному закону. Не исполнения данной извне заповеди, а союза с Богом в любви требует религия духа и Бог не есть внешняя повелевающая и разрушающая власть: Он любовь, беспредельная любовь великого сердца!"

Когда же Варвара пытается протестовать, желая представиться в его глазах такой, какова она в действительности, он открывает ей главное: "Вы отымаете у меня последнее, что утешает меня, что заставляет чувствовать присутствие лучшей жизни во мне уважение,

благоговение к Вам". Варвара должна понять, что этот культ необходим ему, чтобы он смог поверить в действительность своего внутреннего мира. Он настаивает с трогательным простодушием: "Знать, что Вы понимаете все сочувствие, все благоговение мое к Вам, что Вы не можете более в нем усомниться, вот все, чего хочу я, вот что нужно, чтоб я спокойно мог остаться в моем любимом мире". Вместе с тем, он добавляет: "Вы для меня не далекое, прекрасное, явление. Вы живое, любимое существо, тесно связанное с моею жизнью, принадлежащее к тому священному миру, где началась моя духовная жизнь, которому я обязан всем тем, что есть во мне человеческого". Он хочет заслужить ее доверие, утешить ее, заменить родственников, помочь в воспитании сына: "Я не злой человек, мое сердце нуждается в любви, я стремлюсь к добру, к истине в свете, но мне не достает энергии, полета, способности распознать скоро и сильно что истинно, что именно нужно, найти это, совершить; жизнь наполовину прозябательная, на которую отчасти обрекла меня болезнь, имеет большое влияние на меня и все-таки я не могу не видеть и моей вины в этом".

23 апреля он объявляет Варваре, что из-за неожиданной лихорадки должен отложить поездку в Неаполь. Но она опередила его: она не советует ему жить в Неаполе и намеревается сама приехать в Рим. Станкевич хочет отговорить ее от слишком поспешного решения, которое может быть плохо истолковано "*par des gens soucieux de l'intérêt de leurs proches*"* но в то же время он дает ей понять, насколько он нуждается в ней. Она отвечает: "В ту минуту я забыла совершенно, что это могло быть истолковано иначе". В этом любовном дуэте, Станкевич вторит за ней: "Существо обрело друга из своего круга, знает, что оно болеет, стремится к нему, истолковать это могут лишь пошлые натуры <...>. Мы оба - из одного мира, из одной семьи"⁴⁰⁶.

Как только Ефремов приезжает в Неаполь, он бросается на поиски Варвары. 14-го мая она предупреждает сестер, что уезжает с Ефремовым в Рим, но просит скрыть это известие от родителей. 18-го, из Рима, она снова им пишет: "Никогда я не была так счастлива, но и никогда, никогда счастье не чувствовалось так горестно! <...> Я еду с ним вместе, я буду о нем ходить, о нем заботиться, он принимает мою любовь. Все остальное пусть решит Господь!"

* людьми, заботившимися о близких (фр.).

Приезд Варвары оказывает Станкевичу большую помощь; 19 мая он поверяет свои планы Мишелю: "Мой доктор советовал мне ехать в Эмс, но сегодня на общей консультации положено, чтоб я ехал на lago di Como и там пил эмскую воду. Варвара Александровна также намерена туда ехать, а зиму мы думаем провести вместе в Ницце. Эта будущность дает мне теперь силы и заставляет сердце трепетать от радости"⁴⁰⁸. "Это свидание, - пишет Мишель, - вознаградит вас обоих за множество перенесенных вами страданий. Знаешь, Варинька, он для меня - единственный человек, а ты - единственная женщина в полном смысле этого слова <...>. Я жажду вашего свидания - и вот, наконец, мое желание исполнилось. Это было необходимо для вас обоих"⁴⁰⁹.

Освобождение Варвары совершилось. После стольких испытаний, она, наконец, соединилась с человеком, которого, с первого дня, она любила, не смея в этом признаться. "Она, конечно, одинока, но независима, - пишет Станкевич. <...> Добрый Мишель! ты много, много сделал для нее; ты вернул ее самой себе и свету. Я никак не могу не поблагодарить тебя сердечно!"

21 мая он извещает Фроловых об их скором приезде во Флоренцию и уверяет их: в Риме каждый приличный человек страдает от лихорадки: "Брингинский по ночам, в бреду, воображает себя папою Львом X, Ефремов Брамою, а я, когда у меня была лихорадка, командовал кораблем и вооружался против Chien-Diable (из романа Марриэтта)". Он снова пишет им 1 июня: "Мое здоровье незavidно, но на грудь много жаловаться не могу, а бессонницу, лихорадочное и какое-то глупое, полусонное состояние доктор решительно приписывает Риму <...>. Я не в состоянии почти смотреть в книгу и, несмотря на это, у меня в голове планы работ ужасных". В ожидании приезда в Рим Саши, сына Варвары, и его гувернантки, Станкевич совершает последние экскурсии: "Колизей зарос еще больше; зелень на нем очаровательна, а небо, которое стало еще темнее, украсило его так, что трудно выйти оттуда". Варвара сопровождает его: "Все действует на нее прямо, просто и живо"⁴¹⁰.

2 июня он уезжает из Рима с Варварой, ее сыном и Ефремовым. Тургеневу, вернувшемуся в Берлин, он пишет из Флоренции 11 июня. В письме Грановскому от 4/16 июля Тургенев приводит отрывки из этого письма. Станкевич пишет о Варваре, поверяет свое отношение к Любе, просит Тургенева сходить к Берте: тягостное отношение к ней его мучит. Он также хотел бы узнать новости о Вердере, дружба которого остается для него святой. Сам он

сообщает: "Фроловых я застал еще здесь. Лизавета Павловна была ужасно больна; теперь, к счастью, стала поправляться". Он поверяет о своих планах: "Собираюсь зимой работать над Историей философии. Есть в голове тоже несколько статей"⁴¹¹. Путешествие продолжается, но с частыми остановками. 21 июня они в Генуе. В тот же день Варвара пишет сестрам: "Мало, может быть, нету надежды к его выздоровлению. Доктора уже выговорили свой страшный приговор <...>. Но нет, я еще не верю; я еще как будто держусь за что-то <...>. Эта дорога его утомила. Ему, казалось, было уже так лучше, это не был обман: все это видели. Теперь он страшно упал - жар, утомительная ежедневная дорога <...>. Но, может быть, ах, может быть - это опять пройдет. Теперь только три дня до Милана. Завтра мы выезжаем - оттуда до Комо, где мы проведем лето, только несколько часов езды - и мы найдем дом в деревне, на берегу озера, по совету докторов. Нет - у меня остается еще искра надежды <...>. Друзья, молитесь! Бедный его отец ничего не знает. Он не хочет ему писать, боясь за него. Он так спокойно говорит о своей смерти... О нет, он не умрет... Милые друзья, больно, тоскливо на душе"⁴¹².

27 июня Ефремов пишет Тургеневу: "Иван Сергеевич! Немного собравшись с духом, спешу уведомить вас о несчастье, случившемся со всеми нами. В Нови, городке миль 40 от Генуи, по дороге в Милан, в ночь с 24 на 25-е умер Станкевич. Он ехал в Комо. Не знаю, что писать, голова идет кругом, хаос. Кончивши все дела в Генуе, я располагаюсь ехать прямо в Берлин, если ничто не остановит. Теперь хлопочу, чтобы приготовить все для перевоза его тела в Россию. Прощайте. Надеюсь скоро с вами увидеться"⁴¹³.

Ефремов извещает также Белинского, чуть позднее, но более подробно: "Задолго, месяца за два, мы были уже приготовлены и докторами и его положением к грустному концу - но между малою надеждою и концом еще огромное расстояние. Он слабел, видимо таял; но ни он, ни мы не думали, что так близка страшная минута. Он ехал лечиться на озеро Комо, с планами на выздоровление, на работу, а в самой Флоренции кашель и слабость быстро усиливались, тело разрушалось; - но как только силы позволяли ему хоть сколько-нибудь говорить или лучше сказать шептать, потому что голос у него давно уж пропал, в нем опять видны были так же свежая, здоровая энергия, тот же живой интерес - он до конца остался тем Станкевичем, которого мы знали и свято любили в Москве. Болезнь совсем разрушила тело и нисколько не убила, не ослабила дух.

Виссарион! ты знаешь его благородное, прекрасное лицо; но никогда оно не было так дивно прекрасно, как тогда он мертвый лежал перед нами. Следы страдания изгладились, и на бледном лице осталась только немного грустная улыбка. Его открытые глаза никак не допускали думать, что он умер - он глубоко задумался, неподвижно устремив их на один предмет". Ефремов упоминает о Варваре: "Она приехала в Рим и с тех пор не оставляла его до последней минуты, она постоянно была вместе и поехала даже на Комо. В это последнее время они сблизились так, как могли и должны были сблизиться. Она была его Ангелом-утешителем"⁴¹⁴.

Само собой, возникает соблазн сравнить смерть Станкевича со смертью героя его повести "Несколько мгновений из жизни графа Т." Не становится ли она пророческой? Именно в Риме граф Т встречается взглядом с той, появления которой он так ждал, той, которая читает в его душе. Не она ли Варвара - небесная посредница, ангел смерти и откровения, истинной любви, совершающей "разрушение телесной оболочки, чтобы плод дался в другой земле, при свете весеннего солнца"? Но это описание созвучно с настроением, царящим в кружке во время *Schönseeligkeit*^{*}, и граф Т., прекрасная душа, имеет лишь отдаленное сходство со Станкевичем 1840 года, читателем Фейербаха и Цешковского, с головой, переполненной планами, и с сердцем, сильно бьющимся от истинного счастья. Дает ли его смерть основания для глубоких размышлений? Варвара первая стремится найти ей философское объяснение. Охваченная сомнениями, она точно следует схеме гегелевского рассуждения, несомненно, той, к которой прибег бы сам Станкевич.

28 июня она пишет по-немецки: "Впервые в человеке Дух пришел к познанию самого себя, и вдруг смерть, отменение (*Aufhebung*) его индивидуальности, погружение обратно в Общее, в Бога! Но эта мысль опять уже для меня то же, что небытие! Что такое мое я? Не есть ли оно тот самый бесконечный Дух, который принял конечную форму материи, чтобы проявить себя, чтобы таким образом понять себя. Материя сама по себе - ничто, но лишь через это внутреннее объединение ее с Духом мое существо, мое я получило свою действительность. Лишь при этом непонятном для меня соединении бесконечного с конечным - я становлюсь Я - живым самостоятельным существом.

Когда я говорю: "я", тогда я осознаю себя, я становлюсь известной себе. Через обратное впадение в Общее, я должна это

^{*} прекраснородушия (нем.).

сознание самой себе утратить - моя индивидуальность исчезает (hört auf) - я уже не я - остается лишь Общее, Дух для себя; таким образом, я ничто! Так вот что такое смерть? Это мало утешительно. Но такая мысль мне не только страшна, она для меня возмутительна, нелепа.

Где же жизнь Духа, Бога, если не в этом вечном откровении сотворенного - природы? Что называем мы природой? Что была бы она без вечно образующего ее Духа и что был бы Дух без этого вечного откровения живой природы?

Человек - первое самосознание Духа в природе, первая самостоятельная индивидуальность, самостоятельное я, - что же?

- При посредстве этого внутреннего объединения образующей бесконечности с образуемым, зарождающиеся формы материи должны вновь перейти в бесконечное, и так горестно, так ужасно, достигнутая самостоятельность должна потерять свое самосознание, снова раствориться в Общем, чтобы таким образом снова организовать новую низшую пылинку? И это была бы тоже бесконечность? Печальное колдовращение (Räderwerk)! Небывшие было бы блаженством в сравнении с таким бытием! Но может ли это быть? Вера говорит мне: нет! и говорит мне о новой бесконечности"⁴¹⁵.

Барвара не дала Станкевичу ответа на вопросы, терзавшие графа Т.; она ставит новые, страшные вопросы, которые расплывают основы науки, философии, узаконившей религиозные чаяния целого поколения. Станкевич был вдохновителем и бесспорным лидером этого поколения. Он пал в бою. Пробыл час, чтобы потребовать отчета. Не прав ли Шевырев: в гегелевской философии нет Бога?

"Мы часто говорили о смерти, - пишет Тургенев Грановскому 16 июля 1840 года. Он (Станкевич) признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался <...>. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь, он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России. <...> Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб". Тургенев задается вопросом о несправедливой судьбе, наносящей удар лучшим. Почему Станкевич, а не он? "До сих пор казалось, мысль была святотатством, и наказание неотразимо ожидает все, превышающее блаженную посредственность. Или возмущается зависть бога, как прежде зависть греческих богов?" Тургенев героически отказывается предаваться отчаянию: "Один из наших упал, быть может, лучший. Но возникают, возникнут

другие; рука Бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений и, рано ли, поздно свет победит тьму".

Профессор Штур, в Берлине, назвал глупой книгой "Теодицею" Лейбница: Как этому человеку пришло в голову защищать Бога? Тургенев идет еще дальше по этому пути: не защищать Бога он намеревается, а просвещать Его, убеждать Его, в собственных интересах, сохранять и спасать лучших. "Когда же придет то время, что более развитый дух будет непременным условием высшего развития тела и сама наша жизнь - условие и плод наслаждений Творца, зачем на земле может гибнуть или страдать прекрасное?"⁴¹⁶

Едва ли убеждает Грановского этот призыв: "Что тут говорить о моей печали? - пишет он Бакунину 21-го августа. - Разве не все мы равно его потеряли и равно любили. Но он унес с собою многое из моей будущности <...>. Не в состоянии ничего делать. Хотел привести в порядок его письма не могу. Из книг моих каждая чем-нибудь напоминает его. Стал читать Евангелие - бесполезно! Только теперь вижу, что во мне нет веры в жизнь за гробом. Вот почему мне должна быть тяжелей, чем кому-либо, смерть близкого человека <...>. Мысленно я привык отдавать ему отчет во всех делах и замыслах. Теперь кому? Если бы я еще верил в другую жизнь, в связь между *jenseit** и *diesseits***! Но этой веры нельзя пробудить в себе искусственным образом, а живая замерла во мне так, что я и не заметил"⁴¹⁷. Эту живую веру воплощал Станкевич, в образе посредника между *jenseits* и *diesseits*. Как к Христу, мысленно и духовно обращался к нему "идеалист" Грановский. Может ли философская спекуляция ответить на проклятые вопросы, вызванные смертью того, кто воплотил Идею, но не воскреснет?

А у Бакунина вера не только не гаснет, но даже укрепляется при тяжелом испытании. Из Берлина, 9-го августа, он повторяет родным доводы, которые он уже высказывал им после смерти Любы, но теперь его речь принимает некий "политический" характер. Его главная забота: "канонизацией" Станкевича сохранить свое господство: "Мы соединились с Варинькой, но мы слишком дорогой ценой заплатили за это соединение: Станкевич, этот святой, возвышенный человек, нас оставил. Я не знаю как, но его смерть не подавляет меня, напротив, в ней есть нечто возвышающее, внушающее веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами, он передал нам священное назначение и безмерно глубокую загадку

* потусторонним (нем.).

** посюсторонним (нем.).

своей жизни как единственную цель, к которой мы все должны стремиться и осуществление которой будет неисчерпаемым источником блаженной любви и наслаждения. Он теперь к нам ближе, чем когда-либо прежде, он нас не оставил. Такая смерть, как его, есть преодоление смерти, высокое откровение бессмертия и бесконечной мощи живого и поистине вечного духа"⁴¹⁸.

Чтобы сообщить Боткину о смерти Станкевича, Белинский начинает с длинного вступления: "Я все думал, что горе и страдание даны человеку для того, чтобы он лучше знал радость и блаженство; но теперь, как опыт заставил меня глубже заглянуть в жизнь, я вижу, что радость и блаженство даны человеку для того, чтобы он сильнее страдал, мучился, и жалок тот, кто ищет в жизни не минут счастья, а прочного счастья, кто видит в жизни не ряд бивуаков, а постоянный дом, с филистерским халатом!" - он признается, наконец: Станкевич умер. "Да, каждому из нас казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить ее в ничтожество. В ничтожество, Боткин! Увы! ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны! Бессмертна одна смерть". Против всякого ожидания, он утверждает затем Боткину, что смерть Станкевича его почти не тронула: "Я принял известие о ней довольно равнодушно. Думаю, что причина этого отчасти и долговременная разлука: Станкевич оставил меня совсем не тем, чем я стал теперь и без него. Он поехал в Европу, я в Азию - на Кавказ. Духовную жизнь мою я считаю с возвращенья с Кавказа, и все это развитие <...> совершалось без него <...>. Смерть Станкевича показалась мне тем более естественна и необходима, чем святее, выше, гениальнее его личность". Белинский не может больше скрывать свое возмущение: "Что такое общее (для познания которого Станкевич жил и умер вдали от нас)? Молох, пожирающий собственные создания, Сатурн, пожирающий собственных чад. Зачем родился, зачем жил Станкевич? Что осталось от его жизни, что дала ему она?"

5-го сентября он обращается снова к Боткину: "Ты говоришь, что при известии о смерти Станкевича тебя вдруг схватил вопрос: что же стало с ним? А разве это пустой вопрос? Разве без его решения возможно примирение? Если так, то ты не любил Станкевича и еще ни разу не терял любимого человека. Нет, я так не отстану от этого Молоха, которого философия назвала Общим, и буду спрашивать у него: куда ты дел его и что с ним стало? <...> Ты говоришь: ради Бога, станем гнать от себя рассудочные рефлексии

о там, о будущей жизни, как понапрасну лишаящие настоящее его силы и жизни. Прекрасно: но где достоверность того, что эти рефлексии - рассудочные, а не разумные?"⁴¹⁹ Смерть Станкевича Белинский воспринимает как личное оскорбление. "Не могу пока умолчать об одном, что меня теперь всего поглотила идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи - ужасное противоречие! М. Бакунин пишет, что Станкевич верил личному бессмертию, Штраус и Вердер верят. Но мне от этого не легче: все так же хочется верить и все так же не верится". Небывалый умственный подвиг позволил лелеять надежду постичь Идею, Истину, Общее. А вот этим Общим оказывается Молох! Белинский, во имя достоинства личности, открывает свое призвание: он будет защищать права человека. Боткин послал ему номер "Hallische Jahrbücher" за 1840 год, в котором появилась статья Эхтермейера, где он критикует труд Л. Сакса "К воспоминанию о Лессинге"; он ему отвечает 1-го марта 1841 г.: "Я давно уже подозревал, что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к ... не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать к тебе до получения твоего этого письма. Глушцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем. Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностию, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера <...>. Все толки Гегеля о нравственности вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском пантеизме, где Брама и Шива равно боги, т.е. где добро и зло имеют равную автономию). Ты - я знаю - будешь надо мною смеяться, о лысый! Но смейся как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (т.е. гегелевской Allgemeinheit*). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству,

* всеобщности (нем).

лезь на верхнюю ступень лестницы развития, - а споткнешься - падай чорт с тобою таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорыч, - кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, - я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суверения, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, - если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, - костей от костей моих и плоти от плоти моей"⁴²⁰.

Чтение "Hallische Jahrbücher" ободрило Белинского: наконец немцы опомнились, Эхтермейер бьет по философскому колпаку Гегеля! Сам он теперь готов преследовать с фанатизмом того, кто высказывает то, что он сам раньше защищал. Пруссия идеал разумного правительства? К черту гнусный тройственный союз палачей свободы и разума! К черту субстанциальные силы! Да здравствуют свобода и отрицание!

От этого призыва не отказался бы Бакунин, несмотря на то, что смерть Станкевича он воспринимает совсем по-другому, как "высокое откровение бессмертия", тогда как Белинский видит в ней смерть Идеи. Их разногласие проявлялась уже в спорах по поводу "примирения с действительностью". Белинский "дисгармонию внешней жизни с внутренней" приписывал беспорядку, упрекал Мишеля в расточительстве и толковал "что действительно, то разумно", то, что подчинено долгу. А Бакунин "жил в абсолюте", наслаждался жизнью в своей полноте, как Фауст, освободившись от эмпирической случайности и от подчинения моральной системе. "Что разумно, то действительно", т.е. истинно, в рамках философской спекуляции. Судя по Белинскому, Бакунин совершал "фантастический скачок через действительность", а Мишель возражал, что нечего бояться истины, что там, где нет греха, нет благодати, и кто не страдает, тот не нужен Христу.

Тогда как Бакунин, не заботясь о том, куда и почему пропал Станкевич, твердит обычные фразы о "священном назначении", Белинский ведет расследование: кто посмел дотронуться до божественной личности и обратить ее в ничтожество - безжалостный Молох? непримиримая Действительность? вечный Дух, превращающий самостоятельное существо в средство для выражения самого себя? Но самое главное - кто внедрил иллюзию, что,

смирившись, можно разуметь расейскую действительность и овладеть Идеей? Опять крайности москвичей, опять выступления хулителей Гегеля! К сожалению, за него некому больше заступиться. Идеи не стало со смертью того, кто создавал ее, как постепенное примирение с собой, с обществом, с Богом. Преждевременные расчеты! Настало время отрицания.

Журнал "Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst"^{*} является передовым отрядом в наступлении младогегельянцев, ради своего учителя, против его обычных противников, ортодоксальных христиан, а также против консервативных гегельянцев, выступающих за гармонию религии и философии. Журнал был основан в 1838 году профессорами Гальского университета: Теодором Эхтермейером и Арнольдом Руге, заключенным в 1826 году за участие в движении "Burschenschaft"^{**}. Требуя, чтобы прусское государство выполнило то высокое назначение, которое ему предначертал Гегель - "быть воплощением Духа", редакторы желают, чтобы государство оставалось верным своему прошлому, духу Реформы, веку Просвещения. Они противопоставляют себя органу издания старых гегельянцев "Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik"^{***}. Когда в 1835 году вышла книга Д.Ф. Штрауса "Жизнь Иисуса", правые гегельянцы увидели в ней более выпад против гегелевской системы, уподобление религии философии, нежели выпад против самой религии. На критику Бруно Бауэра в "Берлинских ежегодниках" отвечает в "Гальских ежегодниках" Давид Ф. Штраус, что вызывает нападки со всех сторон на либеральный журнал. В 1838 году, во время дискуссии между ультрамонтаном Герресом и ортодоксальным лютеранином Г. Лео по поводу конфликта между кельнским архиепископом и прусским правительством, за которым следил Станкевич, Руге упрекает участников спора в незнании рационалистической сущности прусского государства. Принцип свободы, обеспечивающий неуклонное развитие его учреждений, надежно укрывает его от беспорядков революции. Вскоре на стороне редакторов "Гальских ежегодников" в дискуссии принимают участие члены "Doktorklub", собирающегося в Берлине, в кафе на Französische Strasse; сначала Е. Мейен, затем Б. Бауэр, вернувшийся к младогегельянцам.

* "Гальские ежегодники, вопросы немецкой науки и искусства" (нем.).

** студенческое объединение (нем.).

*** "Берлинские ежегодники, вопросы научной критики" (нем.).

Тогда, продолжая и расширяя анализ Штрауса, на страницах "Ежегодников" выступает Людвиг Фейербах, сначала со статьей "К критике позитивной философии", затем "К критике философии Гегеля", которую Станкевич читает в Италии. Он хочет доказать, что всякая попытка примирить религию с философией может вести лишь к фальсификации как религии, так и философии: догматы религии противоречат философским понятиям, претендующим на то, чтобы их объяснять. Гегель строит свою умозрительную систему на духе как первооснове; правда, дух вскоре отчуждается в природе, но в природе одухотворенной, следовательно, подчиненной духу, а не в живом источнике для чувственного сознания. Впрочем, последнее - всего лишь объект для самосознания, которое само обнаруживает мысль, разум. Этим фокусом, разоблаченным Фейербахом, Гегель заранее обеспечивает себе победу над оппонентами. Чтобы привести его в замешательство, достаточно опрокинуть гегелевское построение и подчинить Идею конкретной действительности.

"Переворот", совершенный Фейербахом, ведет "Ежегодники" от философско-религиозной критики к политической. Младогегельянкам было легче вести либеральную критику религии, нежели нападать на прусское государство, по поводу которого даже Арнольд Руте не питал больше иллюзий. Левое крыло гегельянцев становится радикальным; цель его - не защищать больше разумность этого государства, а разоблачать его растущее реакционное направление. "Докторский клуб" принимает все большее участие в этой борьбе. Среди его членов - молодой Карл Маркс; в 1837-1838 гг. он посещал в университете лекции, где, пожалуй, он встречался со Станкевичем; как Станкевич, он был знаком с Бетгиной фон Арним, Варнгагеном фон Энзе; как Станкевич, он аплодировал в театре Зейдельману и Девриен. В будущем, не Станкевичу, а Бакунину суждено с ним познакомиться.

Едва приехав в Берлин, Бакунин погружается в "германское море", он отправляется знакомиться с Вердером и очаровывает его своей пламенной натурой до того что, когда он вернется из Дрездена осенью 1841 г., Вердер обнимет его и объявит, что скучал по его освежающему нахальству (Rücksichtslosigkeit). Бакунин ведет себя правым гегельянцем, хвалит Вердера за то, что он оживил гегелевскую систему, почившую на лаврах; ее используют "дельцы критики", в противоречии со свободным и глубоким мышлением. Одним словом, он примыкает к умеренному лагерю и осуждает младогегельянцев. В начале учебного года он записывается на лекции по логике Вердера, эстетике Гото, религии Ватке. При этом занимается фехтованием,

верховой ездой и завязывает дружбу с Тургеневым: "Я приехал в Берлин, предался науке, - признается ему Тургенев, первые звезды зажглись на моем небе и, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич - и смерть не разлучит <...>. Michel! нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, а вечером будем сходить к твоей сестре, ходить слушать хорошую музыку, составим чтения; Вердер будет к нам приходить". Он пишет на форзаце своего экземпляра "Энциклопедии философских наук" Гегеля: "N. Stankewitsch ist am 24-ten Juni 1840 gestorben"*, а ниже "Ich bin mit M. Bakunin am 25 Juli bekannt geworden"^{**421} .

Восторженный и великодушный Тургенев переоценивает свои финансовые возможности и обещает Мишелю помочь материально, ему и его брату Павлу, который скоро приедет в Берлин. Веря этим обещаниям, Бакунин входит в долги и затем борется с трудностями, которые ему, увы, знакомы. Это не вредит их дружбе. В Берлине оживает на время кружок, напоминающий тот, который образовался вокруг Станкевича; друзей объединяют интересы почти исключительно философского и литературного порядка. Прибывшая Варвара, поначалу серьезно больная, играет роль хозяйки. Но в мае 1841 года Тургенев покидает Берлин, чтобы подготовиться к магистерскому экзамену, который Станкевич, если бы позволило здоровье, должен был бы сдавать по возвращении в Россию. Он намерен добиться кафедры философии, вакантной в Московском университете с 1826 года. Своим в Прямухино Мишель горячо его рекомендует как друга, как брата: "В продолжении целой зимы мы жили с ним почти в одной комнате, целые дни от 6 час. утра и до позднего вечера были неразлучны и работали вместе - и это не только что не ослабило, но напротив, укрепило нашу связь. Каждый вечер проводили мы вместе с Варенькой и втроем с нею переживали чудные минуты. Варенька говорит, что она полюбила его как брата". Тургенев отправляется в Прямухино в октябре 1841 года. Он всех очаровывает. Особенно он воспламеняет воображение Татьяны, которая заклинает его вернуться к брату, уверяя его, что это для него необходимо и что Мишель непобедим. Взаимное влечение ослабевает, потому что Тургенев не поддается экзальтации той, которая хотела бы стать его

* "Н. Станкевич скончался 24 июня 1840 г." (нем.).

** "Я познакомился с М. Бакуниным 25 июля" (нем.).

тайной советницей. Татьяна тщетно пытается обратить его в новую веру. Она все же будет его музой, она вдохновит Тургенева на несколько поэм, но он слишком ценит свободу, чтобы подвергаться ложным заблуждениям. Когда он разберется в отношениях с ней и навсегда выберет роль наблюдателя, роль романиста, он сумеет использовать свои воспоминания: в романе "Рудин" он оживит Станкевича и Бакунина, одного в образе Покорского, другого - в образе Рудина. А что касается Татьяны, то она вдохновит его на злую карикатуру старой девы, ведущей переписку со студентом в повести "Татьяна Борисовна и ее племянник".

На прощание Бакунин пишет Тургеневу: "Мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не позабывай меня - я тебя никогда не позабуду <...>. Неужели мы в самом деле не увидимся прежде пяти лет? Как мы тогда увидимся? Что расскажем друг другу? Может быть, много горького - может быть, неудачи, несчастья? Но я уверен, что мы проживем жизнь нашу человечески, - и это главное". Лишь через много лет дано будет "неразлучным друзьям" снова повидаться - на противоположных путях, либералу Тургеневу и правому гегельянцу Бакунину, превратившемуся в русского максималиста. Как совершилась эта метаморфоза? Лучше всего обратиться к знаменитой "Исповеди", которую Бакунин напишет царю Николаю I в 1851 году, во время своего заключения в Петропавловской крепости.

"В первом году моего пребывания за границей и в начале второго я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции; мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки. Занимался же наукой, особенно германской метафизикой, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля. Впрочем, сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и

занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне наконец опротивела, я перестал ей заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастливая мысль не возвращаться в Россию уже начала мелькать в уме моем; я оставил философию и бросился в политику"⁴²².

Искренняя ли эта исповедь? Все же она представляет собой один из редких документов, позволяющий проследить интеллектуальную эволюцию Бакунина с 1840 года по осень 1842 года, когда он публикует в журнале *Rute* свою знаменитую статью "Реакция в Германии". Действительно, вначале его безграничное доверие к немецкой философии сопровождается чувством растущего раздражения по отношению к самим немцам. Как могут они оставаться столь пассивными и равнодушными к грандиозным перспективам, открытыми их собственной наукой? В письме Герцену в октябре 1840 года Бакунин отмечает, по случаю праздников, характерные черты этих неисправимых филистеров. Один портной украсил свою лавку прусским орлом и подписал: *Unter deinen Flügeln/Kann ich ruhig bügeln**. Другая надпись гласит: *Ein preussisch Herz, ein gutes Bier/Was wollen Sie noch mehr von mir**?*

Бакунин и Тургенев, правда, посещают не только университет, но и другие заведения под руководством, впрочем, того, кого Герцен назовет "Вергилием философского чистилища". Мюллер-Стрюбинг, бывший студент Гейдельбергского университета, был замешан во франкфуртском неудавшемся путче 1833 года, приговорен к смертной казни, помилован и амнистирован в 1840 году после восшествия на престол Фридриха-Вильгельма IV. Что касается "чистилища", то там посвящают русских новичков в берлинскую жизнь, открывая им одновременно двери чистой мысли и немецких кабачков (*Fegefeuer des reinen Denkens und des deutschen Kneipes*). Там комментируют спектакли, последние выступления актеров и певцов, произносят обличительные речи против официальной философии, читают анархистские стихи, глядят своими глазами на профессоров, на берлинских знаменитостей. Мюллер-Стрюбинг хорошо знает свой мир и сам хорошо известен в среде левых гегельянцев. Именно благодаря ему Бакунин знакомится с Арнольдом Руте.

* под твоими крыльями, я могу спокойно гладить (нем.).

** Прусское сердце, приятное пиво. Чего больше ждать от меня ? (нем.).

Арнольд Руте устроился в Дрездене после того, как его уведомили в июне 1841 года, что его "Галльские ежегодники", издаваемые в Лейпциге у Wieland'a, должны выходить в Пруссии и быть представлены прусской цензуре. Вопрос спорный, поскольку журнал вступил в открытую борьбу с патриархальным строем, который новый прусский монарх стремится установить в романтическом и пиетистском духе. Рассеялись надежды, порожденные первыми либеральными мерами: смягчение цензуры, амнистия заключенных, триумфальное возвращение поэта Георга Гервега, получившего признание немецкой общественности за свои "Стихотворения живого" ("Gedichte eines Lebendigen"); либеральная оппозиция отмечает, что прусское правительство приступило к реакционной политике, противоречащей разуму и прогрессу, залогам прусского государства. Бруно Бауэр публикует в июньском номере "Ежегодников" "Христианское государство и наше время" ("Der christliche Staat und unsere Zeit") - статью, в которой он, с использованием гегелевской терминологии, разоблачает устаревший характер государства, подчиненного церкви, тогда как государство в своем диалектическом развитии, как сознающее себя, не нуждается больше в опеке церкви, поскольку оно восприняло ее бесконечную сущность. Руте приветствует в стихах Гервега появление нового лиризма, призывы к свободе и революции; в "Старом и новом рационализме" он подвергает беспощадной критике учреждения, ставшие иррациональными: Идея, вступив в диалектическое движение, не может застыть в настоящем; критика должна показать путь будущему.

В Дрездене Руте продолжает издание своего журнала под новым названием "Немецкие ежегодники". На Бакунина, побывавшего проездом в Дрездене вместе с Варварой и Павлом, произвели большое впечатление решительность, боевитость этого человека, в котором он видит прежде всего журналиста: "Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического, - пишет он своим 3-го ноября 1841 года. Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что касается религии, искусства и философии. Но во многих других отношениях эта односторонность и абстрактное направление его приносит немцам большую пользу, вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся".

Бакунин по-прежнему очень серьезно изучает философию и религию. Вернувшись из Дрездена, он собирается представиться Шеллингу, которого новый прусский монарх, Фридрих-Вильгельм

IV, только что пригласил в Берлин для опровержения гегелевской системы. "Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга, - признается он своим. В продолжение лета я много читал и нашел в нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, что он и теперь откроет нам много глубокого". Чего ожидает Бакунин? "Когда мы говорим, что жизнь прекрасна и божественна, то этим самым мы говорим, что она полна противоречий; а когда мы говорим о противоречиях, то это не пустое слово. Мы говорим о таких, которые являются не пустыми тенями, а действительностями, кровавыми противоречиями. И эти противоречия и одни они являются теми, которые могут разрешаться в полной гармонии любви и блаженства <...> действительно только то, что развивается и бьется в гармонии целого. Противоречия составляют жизнь, и кто не в состоянии их преодолеть, тот не может одолеть и жизни"⁴²³.

Не один Бакунин ждет многого от лекций Шеллинга. В статье, написанной в декабре 1841 года, молодой Фридрих Энгельс восклицает: "Если вы теперь спросите у кого-нибудь в Берлине, кто имеет хоть малейшее понятие о влиянии духа на мир, где находится поле битвы, на котором сражаются, чтобы завоевывать, в области политики и религии, немецкое общественное мнение, а значит саму Германию, вам ответят, что это поле битвы в университете, точнее, в амфитеатре¹ б, где Шеллинг читает лекции о философии откровения"⁴²⁴.

Традиция требует, чтобы признательные студенты организовали факельное шествие для встречи со своим профессором. Во время такой церемонии в честь Шеллинга отличается Бакунин, произносящий "och" громче других. Но Шеллинг ограничивается тем, что упрекает Гегеля в краже его идей, набрасывается на его абстракции и противопоставляет им "живое откровение", которое он сам не был способен соотнести с современностью. Разочарование столь же велико, как ожидание. Энгельс издает брошюру "Шеллинг и откровение, критика недавней реакционной атаки против свободной философии" (Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reaktionsversuch gegen die freie Philosophie), в которой он критикует его мистицизм "второй манеры". В этой работе, опубликованной анонимно в Лейпциге, Руте видит руку Бакунина! Он рекомендует прочесть ее одному из своих друзей: "Она принадлежит русскому, Бакунину, который теперь живет здесь. Подумай только, этот симпатичный молодой человек превосходит всех старых ослов в Берлине! Но я думаю, что Бакунин, которого я знаю и очень охотно

принимаю у себя, не будет рад, если станет известно, что он ее автор, хотя бы вследствие положения дел в России. Он со временем уедет в Москву, может быть, в университет (профессором)"⁴²⁵.

Настоящее сочинение Бакунина выходит в октябре 1842 года в номерах 247-251 "Немецких ежегодников" под заголовком "Die Reaction in Deutschland". Предполагаемый автор француз Жюль Элизар; в примечании редакция расхваливает этого француза, пронизательность которого превосходит пронизательность немцев в анализе философии "золотой середины" и крайностей, и призывает их отказаться от ложного высокомерия и стать французами. На эзоповом языке редактора "стать французами" означает отказ от пустых рассуждений и переход к революционному действию. Франкофильство младогегельянцев объясняется опасностью, нависшей тогда над Францией - очагом либерализма перед усиливающимся Священным союзом, цели которого противоречат историческому призванию Пруссии.

В своем выступлении Бакунин воспевает сперва свободу, "лозунг, стоящий на первом месте в порядке дня истории", но сразу же подвергает сомнению искренность тех, кто ссылается на нее и перечисляет их: люди, имеющие опыт и занимающие высокие посты, для которых свобода никогда "не была религией, доставляющей величайшее наслаждение и высочайшее блаженство только на путях глубочайших противоречий, горчайших страданий и полного, безусловного самоотречения". Здесь легко узнаваем мотив тернового пути, знакомый московским ученикам Бакунина. К этим почтенным ветеранам следует, к сожалению, добавить множество молодых людей - аристократов, буржуа или чиновников, стремящихся к жалким целям и являющихся лишь тенью человечества, но, по правде говоря, не представляющих опасности для дела свободы, революции. Настоящий противник - это реакционная партия, появившаяся в период Реставрации, консерваторы, представители исторической школы и позитивной философии.

Термин "консерватор" слишком расплывчат, он применяется поголовно ко всем политическим противникам демократической партии, от имени которой выступает Бакунин. Но, упоминая об "исторической школе", он прямо указывает на Савиньи, противника Гегеля в Берлине, автора в 1815 году "Задач нашего времени в области законодательства и юридических наук", реставратора не естественного

* "Реакция в Германии" (нем.).

права эпохи Просвещения, а органического права, основы христианского государства, священного и незыблемого, по воле Божией. В 1840 году, сразу после вступления на престол, Фридрих-Вильгельм IV приглашает в Берлинский университет Фредерика Жюля Сталя, самого блестящего ученика Савиньи, как и Шеллинга, борца за позитивную и конкретную философию, против "негативной" и абстрактной философии Гегеля. Берлинский университет действительно становится полем битвы между реакцией и сторонниками прогрессивного и разумного государства, пока еще выстраивающимися под знаменем Гегеля, местом, где решается будущее Германии. Бакунин хочет вести диалог именно с этими консерваторами, стоящими теперь у власти. Предварительно он напоминает своим друзьям, демократам, что демократия заключается исключительно и целиком в абсолютной свободе духа и для того, чтобы победить, демократическая партия должна будет пройти через трудное знакомство с действительностью и осознать свою жреческую миссию. Последнее предупреждение: нужно победить не только внешнего врага, но также и внутреннего, и не только преобразовать политическую и экономическую действительность, но и лично подготовиться к "новой жизни". Демократическая партия победит лишь тогда, когда станет религиозной партией, когда поймет, что демократия - это религия.

Затем Бакунин пускается в блестящее диалектическое рассуждение, свидетельствующее о его замечательном владении логикой Гегеля. Большая часть статьи содержит доказательство того, что демократический принцип существует лишь как отрицание существующего порядка, отрицание, стремящееся лишь разрушить это настоящее и, следовательно, саморазрушиться. Основа критики его противников касается именно этого кажущегося отсутствия программы, кроме этого чистого разрушения; эта критика не учитывает того факта, что реакция позитивна лишь постольку, поскольку она противостоит отрицанию. Разрушение этого отрицания равносильно саморазрушению и освящению отрицания! Бакунин воздает должное этим непримиримым членам реакционной партии, ослепленным своими убеждениями, и напоминает, что демократы могут действовать лишь в религиозном духе, основывая свободу на справедливости и любви. Названные врагами христианства, они должны оставаться верными даже в пылу битвы завету Христа и сущности христианства - любви.

Если эти непримиримые, искренние враги достойны жалости, то этого нельзя сказать о соглашателях, формирующих другую фракцию реакции, для которой характерна теоретическая нечестность. Соглашатели не считают отрицание абсолютным злом, они являются сторонниками "золотой середины". Убежденные в том, что все изучили и все постигли, эти позитивисты не видят нужды поддерживать отношения с действительным миром. Подобно немецкой конституции, отнимающей правой рукой то, что дает левой, они никогда не говорят да или нет и ограничиваются словами: "В одном отношении, вы правы, но..." Опираясь на "Логику" Гегеля, являющуюся отныне неоспоримым и безусловным авторитетом, Бакунин хочет доказать этим упрямым собеседникам, что невозможно искать соглашения между двумя терминами отрицания. Противоречие является истиной, но его целостность пока остается тайной, она проявляется только разделившись надвое. Тщетно искать целостность, предшествующую раздвоению, в положительном, которое остается таковым лишь в своей неподвижности и, следовательно, определяется своей противоположностью, отрицательным, движением. Отрицать отрицательное означает для положительного отказ от характеризующей его неподвижности. Там, где соглашатели постулируют равновесие между противоположными терминами, в действительности доминирует отрицание при условии, что оно само не становится положительным, замыкаясь на себе, что, к несчастью, происходит сегодня. И Бакунин пользуется этим, чтобы поблагодарить соглашателей, не знающих того, что они делают: "Они думают, что отрицают отрицательное, а на самом деле они отрицают его лишь постольку, поскольку оно само становится положительным; они пробуждают отрицательное из филистерского покоя, к которому оно не предназначено, и возвращают его к великому призванию - безостановочному и безоглядному разрушению всего положительно-установленного". Соглашатели хотят убедить позитивистов уступить немного из их прогнившего и мертвого наследия отрицателям и побуждают последних отказаться от "слишком чистых" принципов, неприменимых в действительности, отказаться от желания все разрушить, и немедленно. Они утверждают, что действуют во имя прогресса, ради осознанных материальных интересов, культуры и мира, не понимая, что отрицание - само условие жизни.

На последних страницах своего очерка Бакунин цитирует Апокалипсис (3, 16): "Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих", затем обращается прямо к соглаша-

телям: "Разве вы не читали на фронтоне воздвигнутого революцией храма свободы таинственных и страшных слов: Liberté, Egalité и Fraternité* , и неужели вы не знаете и не чувствуете, что эти слова означают полное уничтожение существующего политического и социального строя?"

Чтобы поколебать своих собеседников, Бакунин с блеском использует всевозможные формы манипуляции:

- запугивание: "революционный дух... роется как крот Гегеля под землей... и скоро он явится, чтобы держать свой суд";

- провокацию: "Разве сами вы без исключения не представляете печальное и убогое явление нашего печального и убогого времени? Разве вы не исполнены противоречий?"

- обольщение: "И мы взываем к нашим заблудшим братьям: покайтесь! покайтесь! царство Божие близко!";

- искушение: "Предоставьте мертвецам погребать своих мертвых и убедитесь, наконец, что духа вечно-юного, вечно-рождающегося нечего искать в обрушившихся развалинах!"

Эта замечательная речь заканчивается знаменитой фразой, навсегда связанной с образом Бакунина-анархиста: "Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно-созидательный источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!"⁴²⁶

Бакунин сжег корабли. Возвращение в Россию, где он, несомненно, мог бы с блеском защитить магистерскую диссертацию, что открыло бы для него двери в университет, отныне немислимо. Даже до того, как власти опознали его под псевдонимом Ж. Элизара, он привлекает внимание русского посольства своими знакомствами. Его вину отягчает то обстоятельство, что Гервег, прибыв в Дрезден, останавливается у него по рекомендации Руте. Бакунин описывает свое положение в своей исповеди царю: "Я услышал, будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, и решил оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я

* Свобода, Равенство, Братство (фр.).

отправился с ним вместе в Швейцарию, если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним, и поселился в Цюрихе, в январе 1843 года"⁴²⁷.

Бакунин стал политическим эмигрантом, попадающим под надзор агентов русского посольства и местных властей всюду, где он останавливается. Бенкендорф просит Нессельроде, министра иностранных дел, чтобы консульство в Берне потребовало от Бакунина немедленного возвращения в Россию, как только он явится для получения визы. Бакунин спешно уезжает из Швейцарии в Бельгию, скомпрометировав себя еще более своими связями с Вильгельмом Вейтлингом. Найдя убежище в Швейцарии с 1841 года, Вейтлинг основал там различные коммунистические ассоциации и опубликовал, до ареста и высылки, свой теоретический труд "Гарантии гармонии и свободы". В Бельгии Бакунин знакомится с польским историком Лелевелем, политическим эмигрантом на Западе после революции 1831 года, и примыкает к полякам. В Париж он приезжает подбодрить Руте, который тоже там поселился и издает недолговечный "Deutsch-französische Jahrbücher"^{*}, сотрудничая с Марксом, Гервегом, Гейне, Энгельсом, Фейербахом и другими.

Бакунин посещает всех парижских знаменитостей: Кабе, Пьера Леру, Прудона, Жорж Санд, бывает у польских эмигрантов, у сенсимонистов, у фурьеристов, выделяясь своими взглядами. В частности, он выступает в радикальной газете "La Réforme" против монархии и крепостного права в России и демонстрирует свою симпатию по отношению к полякам. Безусловно, Бакунин разделяет радикально новые взгляды; отныне он видит в Вольтере и Руссо, во Французской революции образцы для будущего революционного движения в Германии; но, в сущности, неужели он настолько изменился? Не остался ли он горячим спорщиком, агитатором, способным подчинить своей речью собеседника, разделяющего противоположные взгляды? Не остался ли он Мишелем тридцатых годов, спорящим и курящим трубку в своем кружке или гуляющим по имению Бееров с "Эгмонтом" Гете? В Париже, накануне революции 1848 года, он встречается с представителями всех фракций революционного социализма, но не становится при этом коммунистом. Вероятно, он совершенно искренен, когда пишет в своей исповеди: "Я не мог принадлежать ни к одной секте социалистов или коммунистов, как меня в том несправедливо обвиняли. Разумея причину существования

* "Немецко-французский ежегодник" (нем.).

сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества...".

Бакунин по-прежнему ищет своего Бога, которого он отождествил с абсолютной свободой. В первом письме, которое он посылает своим из Парижа в марте 1845 года, он пишет: "Ты видишь, Павел, вера и идеальный азарт во мне не уменьшились; я тот же, что и прежде, отъявленный враг существующей действительности, с той только разницей, что я перестал быть теоретиком, что я, наконец, победил в себе метафизику и философию и весь всей полнотой души своей бросился в практический мир, в мир действительного дела и действительной жизни". Далее в письме следует длинное признание в лирическом тоне, в котором некоторые комментаторы усмотрели любовную страсть, испытанную Бакуниным в то время к неизвестной даме, кое-кто даже упоминал имя Жорж Санд! "Я люблю, Павел, я люблю страстно. Не знаю, могу ли я быть любимым так, как я этого хотел бы, но я не прихожу в отчаянье. Во всяком случае, я знаю, что ко мне питают большую симпатию. Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, любя ее религиозно, то есть деятельно. Она находится в самом ужасном и позорном рабстве, и я должен освободить ее, борясь с ее угнетателями и возжигая в ее сердце чувство собственного достоинства, пробуждая в ней влечение к свободе..." Бакунин уверяет, что любить это хотеть свободы, полной независимости от другого и вновь утверждает, что единственным, законным и благоприятным стремлением является освобождение человека. "Долой все религиозные и философские догмы!"⁴²⁸

Неясно, что общего могла бы иметь Жорж Санд с этой любовной страстью. Зато можно легко убедиться в постепенном расширении внутреннего мира Бакунина. Сначала он основывался на философско-религиозной проблематике, близкой к проблематике Станкевича, вдохновленной Фихте и Гегелем, затем политической критикой прусского государства, которую вели младогегельянцы, и, наконец, радикальным осуждением прогнившего и деградировавшего западного общества. Но в каждом случае Бакунин остается пропагандистом, главной заботой которого является сбережение личной свободы. Освобождение масс совершается не только за счет местной власти, но и вопреки той власти, которая возглавляет революционное движение, так как, по его убеждению, "seule la liberté peut assurer le

développement de la pensée, de la dignité humaine et du bonheur parmi les hommes"*.

Будущие разногласия между этим поборником абсолютной свободы и сторонниками авторитарного и государственного коммунизма очевидны сразу, как только Бакунин выступает на этом поприще.

Во время его ареста 10 мая 1849 года среди бумаг Бакунина было найдено письмо, адресованное им графу Илиодору Скуржевскому в Бреславль, в котором он описывал свою духовную эволюцию: "Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога; но я совершенно отказался от постижения Его с помощью науки и теории. Было время, когда я исключительно занимался одной философией. В продолжение нескольких лет подряд я не имел другой цели, кроме науки, голова моя была наполнена самыми пустыми отвлеченностями, и если бы Вы меня встретили тогда, Вы бы без сомнения стали смеяться над моими нелепыми претензиями и над моим непонятным разглагольствованием: я мыслил только об абсолюте и не мог произнести ни слова без самых абстрактных выражений: субъект, объект, самостановление идеи и пр., и пр. <...>. Я в конце концов убедился, что жизнь, любовь и действие могут быть поняты только посредством жизни, любви и действия. Тогда я окончательно отказался от трансцендентного знания denn grau ist alle Theorie** и, очертя голову, окунулся в практическую жизнь <...>. Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции⁴²⁹.

7 ноября 1842 года Белинский пишет Николаю, брату Бакунина: "И странно: мы, я и Мишель, искали Бога по разным путям и сошлись в одном храме. Я знаю, что он разошелся с Вердером, знаю, что он принадлежит к левой стороне гегельянизма, знаком с Ruge и понимает жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга. Мишель во многом виноват и грешен; но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки — это вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа"⁴³⁰.

Варвара вернулась в Россию в июне 1842 года и поселилась сначала в Прямухине; в конце августа она переезжает в дом супруга в Ивановском. В апреле 1843 года Белинский узнает от Тургенева, что Варвара вернулась к мужу; он выражает удивление. Объяснение Тургенева его ошеломило: "Я узнал от него, что Мишель внутренне давно уже разошелся с нею, видя, что она нисколько не понимает и

* "лишь свобода может обеспечить развитие мысли, человеческого достоинства и счастья среди людей" (фр.).

** ибо всякая теория сера (нем.).

только повторяет его слова. Наконец, дело дошло до того, что расстаться с нею сделалось для него необходимостью. А я так привык религиозно уважать эту женщину, это благоговение было передано мне Станкевичем. Все видели в ней феномен даже между Бакуниными, которые все казались феноменами. Вот что говорит Тургенев о всех Бакуниных, и сестрах и братьях, за исключением одного Мишеля: все они созданы быть не чем другим, как несчастными. Натуры пламенные и порывистые, они лишены глубокого религиозного чувства, и потому всегда наклонны наполовину помириться и с самими собою и с действительностью на основании какого-нибудь морального чувствованья или принципа; у них нет сил прямо смотреть в глаза чорту".

Жестокое признание: прямухинская гармония и ее Божьи создания - еще одна иллюзия, сон, рассеявшийся с исчезновением Станкевича? Белинский, тем не менее, желает вновь увидеться с Варварой и ее сестрами. Прямухино представляется ему теперь в ином свете; Мишелю здесь больше нет места: "Его могучему духу нет места здесь и тесно даже там, где необъятное пространство поглощает других, как море каплю воды!.. но будь так, как оно есть - ему лежит другой путь, и путь великий, он долго был безобразною кометою - теперь настало для него время трансформации в светлое лучезарное солнце"⁴³¹.

В октябре 1843 года Бенкендорф приказывает губернатору Тверской губернии провести расследование о семье Бакуниных и прежде всего выяснить, не получает ли Мишель Бакунин денег из Прямухино. Рапорт был представлен ему через две недели ... "Сообщив кое-какие данные о Михайле, Илье и Николае Бакуниных, автор сообщения продолжает: "О прочих сыновьях и даже дочерях все отзываются, что они умны, но странны образом мыслить, обращением и мечтательностью. Любя все отвлеченное, они занимаются исключительно изучением систем новейших философов, чем самым выводят себя из круга обыкновенных людей. Более прочих отличался восторженностью своего старший сын сего семейства Михаил, находящийся за границей, его внушениям приписывают нынешнее положение его братьев и сестер, которые, находясь при родителях, умствованиями своими, совершенно противными их правилам и образу мыслить, нередко нарушают семейное спокойствие.

Общее мнение хотя осуждает детей Бакунина, особенно в отношении к родителям их, но менее того никто не объясняет чего-либо, могущего опасаться, что они ищут приноровить свои фи-

лософские системы к нашему правительству или нашим узаконениям. Напротив того, все доказывает, что они мечтатели, надоедающие своими умствованиями".

На этом отношении Бенкендорф наложил резолюцию: "К отцу. Денег не посылать, его вытребовать. А когда придет - надзор". В ответ отец Бакунин заявляет, что денег он уже не высылал с мая 1843 - 1000 рублей в Дрезден, и что его призыв сыну вернуться в Россию остался без ответа. В январе 1844 года он пишет прямо начальнику жандармов; он излагает свой служебный стаж, объясняет, что отпустил сына, "увлеченного страстью к наукам", в Берлин, чтобы он довершил там свое учение под руководством знаменитейших профессоров и вернулся с пользой вступить на государственную службу. Но вскоре отец стал каяться, "заметив, что мнимая премудрость германских мудрецов увлекла его от полезной цели"; он тщетно советовал ему вернуться в Россию. "Гибельная фантазмагория увлекла, к крайнему прискорбию моему, молодого и пылкого человека, но никак не могу поверить, чтобы он, изменив долгу своему и присяге, действительно питал какие-либо вредные отечеству своему замыслы, и если завлечен был каким-то мнимым либерализмом за пределы своих обязанностей, то непременно поздно или рано возвратится на истинный путь...". Письмо заканчивалось просьбой о покровительстве и защиты его самого и его детей <...>. Граф Бенкендорф "изволил отозваться", что дело идет только о Михаиле Бакунине, сам же Александр Михайлович Бакунин и его семья - "на самом хорошем счету"⁴³².

Глава 6

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ.

ДУХОВНОСТЬ ИЛИ ПРОСВЕЩЕНИЕ?

В Петербурге, благодаря вмешательству отца, благодаря доброжелательности графа Александра Строганова, Герцену, наконец, открывается возможность прочно укорениться. Министр внутренних дел присуждает ему, учитывая его благородное происхождение, чин восьмого класса, звание коллежского асессора, и предоставляет ему должность в министерстве; ему поручено обобщение в надлежащем стиле содержания официальных рапортов, поступающих из провинции. Должность чисто бюрократическая, но Герцен совершает неосторожность, сообщив отцу о "слухах" относительно часового, ограбившего и убившего прохожего. Его письмо не ускользает от внимания полиции. Его вызывает к себе Леонтий Дубельт; помощник Бенкендорфа угрожает ему новой ссылкой в Вятку. Слабое состояние здоровья Натали, супруги Герцена, "чуткость" Дубельта позволяют поколебать суровость государя. Лишенный права жить в столице, Герцен может выбрать новое место назначения; он выбирает Новгород. Там ему поручены дела староверов и дела о злоупотреблениях землевладельцев по отношению к крепостным. Он вскоре убеждается в тщетности своих усилий на этом посту, отказывается брать взятки и этим вызывает враждебность коллег. Ему невыносимо видеть просителей, которых слишком часто отталкивают и которые могут вообразить, что он тоже берет взятки. Он объявляет себя больным и подает в отставку. Сенат, в конце концов, удовлетворяет его прошение и при этом повышает его до седьмого класса, но царское предписание заставляет его проживать в Новгороде, в "этом дрянном городишке с огромным историческим именем". Благодаря усилиям его покровителей, и особенно благодаря усилиям самой императрицы, проявленным перед августейшим супругом, и особенно ввиду "состояния здоровья Натали", Бенкендорф лично извещает супругу Герцена в июле 1842 года, что, если она желает проживать в Москве,

ее муж может последовать за ней; тем не менее, он останется под надзором полиции, уточняет шеф жандармов.

Лето Герцен может провести со своими в прекрасном родовом имении Покровское, в окрестностях Москвы, а затем устроиться в древней столице. Он тотчас усваивает тот образ жизни, который подобает ему, образ жизни московского барина, праздного и просвещенного, проводящего время за чтением или в философских спорах с близкими знакомыми, за обедами с изысканными блюдами в сопровождении отборных вин... Герцен воспевает будущего автора "Писем об Испании", щедрого и гостеприимного Боткина: "Да, ты прав, Боткин и гораздо больше Платона, ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти "пантеистическое" наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфелями"⁴³³.

Кроме Герцена, Боткин приглашает других верных друзей: Евгения Корша, редактора "Московских Ведомостей", официального журнала, выходящего с 1756 года, Петра Редкина, юриста, пытающегося вывести личного Бога на основе гегелевских категорий, латиниста Дмитрия Крюкова, чья преждевременная смерть в 1845 году вызовет траур в университете, и Грановского, недавно примкнувшего к этой группе интеллигентов, отныне отличающихся званием "западники".

Герцен следит за прениями в русской печати, ставит на первое место статьи Белинского в "Отечественных Записках", но интересуется также событиями в Европе, особенно, читая при случае, "Journal des débats". Он читает много, с виду беспорядочно, в зависимости от выхода книг на Западе. Помимо публикаций левых гегельянцев Бруно Бауэра, Арнольда Руте, Людвиг Фейербаха, Фридриха Энгельса, Жюль Элизара, (о настоящем авторе он узнает в начале 1843 г.), он читает правых гегельянцев, Карла Мишле и его "Уроки о личном Боге и бессмертии души", Филиппа К. Маргейнеке и его "Уроки о смысле гегелевской философии в христианской теологии". Вернувшись из ссылки, еще под влиянием либеральной фразеологии и сен-симонизма, он был поражен толкованием Гегеля Белинским и Бакуниным и не мог опровергнуть утверждения, которые казались ему чудовищными. Кроме "Hegels' Leben" Иоанна К. Розенкранца и "Allgemeine Kirchengesichte" Августа Ф. Гфререра, он обращается к различным трудам самого Гегеля и принимается за "Эстетику", "Феноменологию

духа", "Энциклопедию философских наук", "Историю философии", "Введение к истории философии". От изучения "Логики" он благо- разумно отказывается и приходит к заключению, что главный недо- статок немецкой науки в ее тяжелом, схоластическом языке и в школьном, книжном отношении к действительности: "Когда я при- вык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей <...>. Философия Гегеля алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя". Речи нет, конечно, о примирении с действительностью. "Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: "нет власти, как от Бога". Но, если все власти от Бога и если существующий порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции - чистая таутология, но таутология или нет, она прямо вела к признанию предрержащих властей, к тому, чтобы человек сложил руки, этого-то и хотели берлинские буддаисты".

Вопросу, который ныне его занимает, Герцен по обыкновению придает политический характер и заключает, что с Гегелем у него общее мировоззрение, хотя "редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалекти- ческой запутанности именно те вопросы, которые всего более за- нимали современного человека"⁴³⁴. Едва ли подобные доводы способ- ны поколебать мнение грозного диалектика, с которым ему придется состязаться в Москве, с Хомяковым.

При этом Герцен читает также Прудона, "Что такое соб- ственность", очерк маркиза де Кюстина "Россия в 1839 году", "Лек- ции по славянской литературе" Мицкевича в Париже, и "Мертвые души" Гоголя, которые Огарев привез ему в Новгород в июне 1842 г. Параллельно с чтением, он пишет статьи, они выходят в "Отечественных Записках" в течение всего 1843 года под заголовком "Дилетантизм в науке". Бывший студент-физик критикует дилетантов, "ложных друзей науки", находящихся под воздействием метафизики, это Боткин, Катков, его собеседники в Москве! Романтическому, мистическому, средневековому мирозерцанию он противопостав- ляет классическое, практическое, по образу великого Гете. Прочитав "Сущность христианства" Фейербаха, он решительно отказывается от всяческой схоластики ради перехода к активной жизни. Опасаясь

цензуры, Герцен применяет эзопов язык, говорит о "буддизме в науке" и осуждает одновременно тех, кто, во имя достоинства личности, отворачивается от науки, боится Молоха, торжества универсализма, и формалистов, "буддистов" науки, которые, дойдя до универсальности, не хотят больше с ней расстаться. Их "примирение" с наукой искусственно. Герцен прибегает к натурфилософии, к философии истории, чтобы примирить индивидуальное и универсальное. Уничтожаясь в науке, личность становится сосудом истины, умирает в своей непосредственности, чтобы воскреснуть в духе, а не погибнуть в небытии, как погибают буддисты. Герцен использует Шеллинга, Гегеля, св. Августина и Библию, жертвоприношение Авраама, пророка Даниила и самого Адама: "Примирение в жизни есть плод другого древа эдемского, его надобно было заслужить Адаму в кровавом поте, в тяжких трудах, и он заслужил его". Короче говоря, новый Адам возвещает новое Евангелие под знаменем сциентизма⁴³⁵. Герцен не безучастен, не равнодушен к вопросам, которые еще недавно так волновали Станкевича и его окружение, но он их решает по-своему, прибегая к грандиозным, религиозным заклинаниям.

"Философские дискуссии" Герцена не ограничиваются посещением своих *буддистов*, любителей осетрины и устриц. Московское просвещенное общество продолжает по понедельникам собираться у Чаадаева, по вторникам - у поэта Языкова, шурина Хомякова, по пятницам - у Дмитрия Свербеева, по воскресеньям - у Авдотьи Елагиной, матери Ивана и Петра Киреевских. Очень устарел Чаадаев со своими постоянными ссылками на католицизм, но Герцен продолжает восхищаться его "Философическими письмами", осуждавшими обманчивую европеизацию, которой кичится Петербург. Без традиций, вне времени, Россия не принадлежит ни Западу, ни Востоку! Тогда как любомудры объясняли это неловкое положение отсутствием классического наследия, Чаадаев отрицал какую бы то ни было ценность этого наследия: "Вовсе не варвары разрушили старый мир; он уже был истлевшим трупом; они лишь развеяли прах его по ветру". В средние века началась новая эра, католическая церковь создала нравственное, языковое и духовное единство Европы. Не знала Россия ничего подобного. Византия, недостойный патриарх Фотий. Христианизация прошла по России, не вызвав никакого возрождения. Чаадаев приходит к выводу, что не древнего мира, а средневековья Россия была лишена. "В сущности, - заключает он, - до Гомера, греков, римлян, германцев нам, русским, нет никакого

дела. Нам все это вполне чуждо. Но что поделаешь! Поневоле приходится говорить языком Европы"⁴³⁶.

Европеец по культуре и убеждениям, Чаадаев наносит сильный удар по петровской революции сверху, европеизации России, проведенной не во имя просвещения и цивилизации, а во имя ее могущества. Мало чем отличается его обвинительная речь от размышлений маркиза де Кюстина: "Соизмеряясь с Европой, Россия проявляет свои действительные возможности, - пишет Кюстин. - Но что думать о стране, чьи единственные замечательные проявления деятельности выражаются лишь в этих обременительных подвигах?" Он отмечает вкус императора к парадам, к военной дисциплине: "Русское правительство - это лагерная дисциплина, заменившая городской порядок, это осадное положение, ставшее нормальным состоянием общества". Он уточняет: "Тирания - это мнимая болезнь народов; тиран, переодетый врачом, внушил им, что здоровье - это неестественное состояние цивилизованного человека и что чем больше опасность, тем более сильным должно быть лекарство; именно так он поддерживает болезнь под предлогом выздоровления. Общественный порядок стоит в России слишком дорого для того, чтобы восхищаться им". Эту болезнь, насильственную европеизацию, Кюстин рассматривает как вызов, брошенный Западу, "неизбежное следствие системы ложной цивилизации, примененной 150 лет назад Петром I". Он восхищается великолепием Петербурга, трофеем, воздвигнутым русскими их будущему могуществу, но тотчас возникают сомнения: столица держится только волей государя; не исчезнет ли она вместе с режимом? "Этот тиран блага, когда захотел возродить свой народ, счел ничем природу, историю, прошлое, характер, жизнь людей". Глядя на петровскую Россию, Кюстин задает себе вопрос: действительно ли речь идет о современной стране, строящей свое будущее по европейскому образцу? "Мне кажется, что я нахожусь у народа из Ветхого Завета, и я останавливаюсь с ужасом, смешанным с удивлением, в ногах этого допотопного гиганта"⁴³⁷.

Является ли уже Россия государством, основанным на "городском порядке", иначе говоря, на законе? Или державой, империей, "допотопным гигантом", которого, ссылаясь на гегелевскую философию истории можно было бы определить термином "восточный деспотизм"? Снабдить московскую державу технологией, заимствованной у Запада, чтобы бросить ему вызов - было ли это целью петровского преобразования? Именно так думает маркиз де Кюстин, пренебрегая реальным стремлением России, хотя бы про-

священной ее элиты, сблизиться с Западом, вернуться в свою семью, найти себе место среди "своих", среди европейских народов, от которых веками ее отделяли злополучные обстоятельства? Во имя этого не следует ли Европе не только проявлять интерес к России, но стараться осмыслить процесс ее развития, а России примириться с временными требованиями "тирании блага", с "лагерной дисциплиной", при необходимости предохранять завоевания просвещения от возврата к темному прошлому?

Во время разговоров с Кюстином, царь уверяет его, что лишь нищету и варварство победить он намерен. Он уточняет: "У меня в стране административная машина очень проста; поскольку с расстояниями, которые все осложняют, не хватило бы головы одного человека, если бы форма правления была сложной". Наивное признание государя, убежденного, что можно упростить проблемы, сведя их к масштабам своей "головы". Но по мере того, как выросло его недоверие к просвещенному обществу, не увеличилась ли его зависимость от этой машины? Николай I искренне желает освобождения крепостных, но сталкивается с нежеланием администрации и со скрытой враждебностью тех, кто выдает себя за усердных верноподданных.

Кюстин отмечает: "Император не делает всего, что может, ибо если бы он это делал слишком часто, он не смог бы долго продержаться" ⁴³⁸. Что же он может? Только притеснять проявления непокорности? Триада Уварова: Православие, Самодержавие, Народность определяет официально основы современного российского государства. Приносит ли она окончательный ответ на спорные вопросы, которые продолжают волновать общественность? Должна ли она узаконить "допотопного гиганта"? Но тогда Просветительскую революцию, которой суждено, не останавливаясь, продвигаться вперед, ожидает неизбежное столкновение с отсталыми силами, с темной реакцией, черты и формы которой еще трудно предсказать, пока они еще скрываются за православием, самодержавием и народностью.

Даже при полной свободе слова трудно было бы ответить на политические вопросы, заданные маркизом де Кюстином. В попытке самооправдания Чаадаев пишет "Апологию сумасшедшего", он больше не осуждает прошлое, политику пересадки европейской цивилизации на русскую почву; он обращается к будущему и отмечает, что Европа, единый народ в средние века, раскололась на нации; все они завершили свою историческую миссию. Это вовсе не конец истории! То, что было неискоренимым недостатком России, станет ее главным достоинством. Царь-реформатор "понял, что нам незачем

тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков <...>; он передал нам Запад полностью, каким его сделали века, и предоставил нам всю его историю для истории, все его будущее для будущего <...>. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад <...>. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории был нам навязан, каждая новая идея почти всегда была заимствована". В то время как Белинский прилагает все усилия, чтобы доказать, что Россия не имеет еще литературы, Чаадаев утверждает, что Россия еще не имеет истории: "Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это... Настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым инстинктом, который ведет народы к их предназначению".

Чаадаев является создателем *русской идеи*, этого хлеба насущного будущей интеллигенции. Он провозглашает принцип, но содержания не определяет, поскольку торопиться нечего: "Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия". Преимущество России - "иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей... Будем помнить, что для нас не существует непреложной необходимости, что, благодаря небу, мы не стоим на крутой покатости, увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую идею, задевающую наш разум"⁴³⁹.

Увы, "непреложная необходимость" окажется вскоре на повестке дня для России. Суждено ли будет этой Идее смель с лица России полтора века ложной европеизации и позволит ли она России стать во главе человечества и удовлетворить его вековые стремления? Из уст убежденного западника Чаадаева не приходится ждать ответа. Другие об этом позаботятся.

Герцен быстро отдает себе отчет, насколько изменились его знакомые, Константин Аксаков, Иван Киреевский, Хомяков, Погодин, Шевырев. Их взгляды стали радикальными. Каждый причисляет себя либо к русофилам, либо к славянофилам. Герцен беседует поочередно с каждым из них.

Гегельянец Аксаков вызывает к себе всю его симпатию, он искренне отдается русофильству или, скорее, культу Москвы; правда, "русский наряд", который он носит, немного смешон; по мнению Чаадаева, он в нем похож на перса. "Я говорил долго с Аксаковым, желая посмотреть, как он примирит свое православие с своим гегельянизмом, но он и не примиряет, он признает религию и философию разными областями и позволяет им жить как-то вместе, это конкубинат *sui generis*"^{*440} .

Иван Киреевский также вызывает его уважение. Это глубокая, цельная, энергичная, но убежденная до фанатизма личность. Он рассматривает науку как чистый формализм, абстракцию, не способную постичь субстанцию. Всякая речь, по его мнению, формальна, имеет односторонний характер, не способна выразить то, что относится к невыразимому. После запрета его журнала "Европеец" на втором номере, Киреевский хранил молчание несколько лет. Он заговорил только после того, как Хомяков опубликовал в "Отечественных Записках" свою статью "О старом и новом", где он задавал вопрос: не была ли Русь до Петра I лучше современной России. В "Ответе А.С. Хомякову" в 1839 г. Киреевский замечает своему другу, что вернее поставить вопрос по-другому: лучше ли сегодня вернуться к прежним нравам или продолжать на пути европеизации? Подвергая сомнению начала, основавшие Европу, он задумывается над вопросом: в чем православие отличается от католицизма. В отличие от Чаадаева, сожалевшего, что христианство пришло в Россию из Византии, объекта презрения всех народов, Киреевский утверждает: "Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его находится". Это абстрактное знание, формальная отвлеченность и отвлеченная чувственность, пропитало мысль Римской церкви, отделило ее от православной церкви, привело к крайностям схоластики, унаследованной от Аристотеля, тогда как Россия, очищенная христианством, не была осквернена языческим миром.

Киреевский совершает полный переворот в своем мировоззрении, хотя и уверяет: "... я еще и теперь люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями". Все три основы европейской образованности ныне рассматриваются отрицательно: римская церковь, в уклонении своем от восточной, отличается торжеством

* своего рода (лат.).

рационализма над преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом. Завоевание варварами не обновило древний мир новой кровью, а создало государства, основанные на насилии. Россия, к счастью, не знает классовой борьбы, которая сегодня опустошает Европу. Восточная церковь обратилась к внутренней жизни, к молитвам и самосозерцанию, и Россия оказалась под прямым влиянием чистого христианства без примеси мира языческого.

"Частная личная самобытность, основа западного развития, была у нас так же мало известна, как и самовластие общественное. Человек принадлежал миру, мир ему <...>. Бесчисленное множество этих маленьких миров, составляющих Россию, было все покрыто сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти должны были переходить в общее убеждение, убеждение в обычай, который заменял закон, устраивая по всему пространству земель подвластных нашей Церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни ". В этом всеобщем единстве воплощается суть русского православия: *соборность*.

Не время тут оспаривать или подтверждать описание этого "светлого прошлого" Святой Руси; интересно то, что Киреевский придает ему те черты и качества, которые Чаадаев приписывал средневековой Европе, отдавая должное католической церкви. Киреевский строит даже по вертикали иерархическую лестницу: " ... личность подчинялась семье, семья миру, мир сходке, сходка вече, и т.д., покуда все частные крути смыкались в одном центре, в одной Православной церкви ". Он добавляет: "Даже самое слово: право было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду ". На Руси "сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное законодательство невозможным ", тогда как на Западе стремятся, еще теперь, установить "общественный договор" против самовластия правительственного класса.

"Княжеская власть заключалась более в предводительстве дружин, чем во внутреннем управлении, более в вооруженном покровительстве, чем во владении областями" . А рыцари на Западе, "опиравшиеся на личной силе, крепостях и железных латах, не признававшие другого закона, кроме собственного меча и условных правил чести, основанных на законе самоуправства <...>, пользовались превосходством своей силы над мирными земледельцами и горожанами, грабили, управлялись как хотели". Тогда как на Руси

богатыри были только до введения христианства, тогда как все святые отцы греческие были переведены, переписываемы и изучаемы в тишине монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов, католицизм породил рыцарство, аристократию и борьбу с низшими классами ... Православная церковь в то время не продавала чистоты своей за временные выгоды.

Воспев раздолье русской жизни, Киреевский задает себе главный вопрос: "Как возможен был Петр, разрушитель русского и вводитель немецкого? " Всю вину он возлагает на Стоглавый Собор при Иване IV: "... как скоро ересь явилась в Церкви, так раздор духа должен был отразиться и в жизни". Оттуда борьба между фракциями, отсюда раскол, причиненный реформами Никона. "Оттуда перед Петром правительство в разномыслии с большинством народа, отвергаемого под названием раскольников. Оттого Петр как начальник партии в государстве образует общество в обществе, и все, что за тем следует"⁴⁴¹.

Киреевский предлагает привлекательное описание древней Руси, но не отвечает на вопрос, который он сам задал Хомякову: лучше ли сегодня вернуться к прежним нравам или продолжать на пути европеизации? Верноподданному Погодину просто немислимо задавать подобный вопрос: подвергнуть сомнению творение Петра Великого? В 1841 г., при выходе 1-го номера "Москвитянина", созданного с поддержкой министра народного просвещения, Погодин, редактор-издатель журнала, публикует статью "Петр Великий", по совету Уварова. Восхвалив политический строй Византии, Погодин отмечает, что Россия получила от Константинополя одновременно вероисповедание и традицию подчинения духовенства монарху. На этом основалась ее народность. По воле своего монарха, Россия принялась учиться и познала реформу. Гений Петра признан во всем мире: " ... такие люди не являются без надобности или должно отвергнуть присутствие Десницы миродержавной над делами человеческими. Мысль нелепая! Видно, нужен был он, а не кто-либо иной! Смиримся и благоговеем!" Русское дворянство, напоминает Погодин, не имеет феодального происхождения; оно образовалось на службе государству!

В том же номере, в программной статье "Взгляд русского на образование Европы", Шевырев выражает всю свою ненависть к Западу: Италия живет лишь воспоминаниями о древности, ее земля кладбище прошлого; что касается Германии и Франции, то они продолжают страдать от двух болезней, Реформы и Революции.

Бывший любомудр предостерегает соотечественников: "Да, в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом, мы не примечаем, что имеем дело, как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства ...". "Гниющий Запад", - это выражение возмущает Никитенко в Петербурге: "Чудаки эти Москвичи ... Запад умирает, уже умер и гниет...". В своих статьях Погодин и Шевырев выражают крайние темы "официальной народности": смирение перед властью, осуждение западного влияния, "квасной патриотизм". Россия ничего не должна ждать от Запада и особенно от философии Гегеля, которую немцы сами осуждают. Россия всегда находила спасение в своей вере, в единстве народа с царем, в истинной народности.

Едва ли можно отождествить эти проявления раболепия с началами, изложенными славянофилами Киреевским и Хомяковым. Одни - поклонники самодержавия, другие - верующие православные. Их радикально разъединяет представление о народности. Шевырев уверяет, что "об это чувство разбиваются все частные, бесплодные усилия наших соотечественников привить к нам то, что не идет к русскому духу и к русскому сердцу". Все становится ясно, когда он добавляет: "Это чувство устремляет теперь нас к изучению нашей древней Руси, само правительство деятельно призывает нас к тому"⁴⁴².

Киреевский и Хомяков озабочены пробуждением веры, но также и судьбой крепостного крестьянства. Они вызывают подозрение властей: просто по недоразумению? Их лояльность не подвергается сомнению, но своими выступлениями они свидетельствуют о том, что существуют в России, со времен петровских реформ, два противоположных мировоззрения. Они ратуют за преобразование европеизированного общества, за его возврат к православию. В чем же их подозревать? Выдвигая понятие *соборности*, во имя восстановления единства, не ставят ли они под угрозу полномочие самодержавия? Для освобождения крестьян, славянофилы приводят исторический факт, непреходящий характер "неизменного обычая": крестьянскую *общину*, существующую с незапамятных времен; знакомая когда-то всем народам, она сохранилась до наших дней лишь среди славян. Этим объясняется, что они не стали жертвами пауперизма, классовой борьбы, общественного зла, от которого страдают западные народы. Не надлежит ли доверить славянам историческую миссию, указать верный путь спасения заблудившемуся Западу?

Герцен убежден, что ошибка "славян" заключается в их убеждении, что в прошлом Россия шла своим собственным путем развития, отставая только по разным посторонним причинам, и, наконец, была задавлена петровскими реформами. Привязанность, которую они питают к "мнимому развитию", к воображаемой народности, интерес, который они проявляют к крестьянскому быту, к вековой сельскохозяйственной общине, не должны вводить в заблуждение: этот своеобразный и жалкий образ жизни ни в чем не может ответить на мощные умственные потребности, которые испытывает современное общество; только европейская цивилизация может их удовлетворить.

На этом поприще, Герцен сталкивается с грозным противником, с Хомяковым; этот брeтер диалектики использует малейшие слабости своего собеседника, умело владеет и "казуистикой византийских богословов, и азиатской хитростью"; он вводит его в заблуждение, приводит в замешательство, шаг за шагом следует за ним в его рассуждении до того момента, когда он сметает его как картонный домик. Или же он доводит его до "материализма", до "атеизма". Поскольку цель Хомякова - доказать, что невозможно познать истину при помощи философской спекуляции, он дискредитирует усилия тех, кто упорствует еще в примирении религии и науки при помощи гегелевской философии.

12 декабря 1842 г. Герцен записывает в своем дневнике, что накануне у него был продолжительный спор с Хомяковым о современной философии: " ... он прямо говорит, что из гегелевых начал на *Persönlichkeit Gottes, die Transcendenz** вывести нельзя, не сделавши великой ошибки, что из нее необходимо *Immanenz*** и жизнь - *inneres Gähren****, приходящая в себя к идее. Но, говорит он, так как этот результат нелеп, след., последнее слово философии - нелепость". После долгого обсуждения роли случайности и субъективности сознания, Герцен приводит его результат: "Гегель и гегельяне представляют высший момент философии, совершенно последовательный и необходимый из всего предшествовавшего развития, но этот результат доводит до построения идеального, параллельного реальному - но не реального, доводит в последнем слове до имманенции и распадающегося хаотического атомизма. След., до нелепости. Но эта нелепость не есть субъективная ошибка лица или школы, а логическое необходимое

* основанных на личности Бога, трансцендентность (нем.).

** имманентность (нем.).

*** внутреннее брожение (нем.).

последствие всего движения науки. След, наука в последнем результате своем уничтожает себя и доказывает, что живой факт может только в абстракции быть знаем мыслью, построим его, но как конкрет, он выпадает из нее. Итак, логическим путем одним нельзя знать истину. Она воплощается в самой жизни - отсюда религиозный путь".

В конце разговора Герцен хотел узнать, какова за пределами негации внутренняя мысль Хомякова, но дальнейшего развития, видимо, он еще не сделал, он рассматривает возможность другой, более глубокой философии, корни которой лежат в чистоте веры, в православии. Это всего лишь интуиция, обещание.

Пребывая с семьей в Покровском летом 1843 г., Герцен читает "Историю десяти лет" Луи Блана, безжалостную обвинительную речь против Луи-Филиппа, рисующую мрачную картину Франции, отданной ворами и лжецам. Одновременно он с грустью смотрит на жалкое существование крестьян, которые его окружают. Не будь жадности землевладельцев и попустительства правительства, можно было бы найти решение! Он беседует с бароном Августом Хаштгаузеном; этот немец путешествовал по Европе, изучая положение славян, прикрепленных к земле; он первый придал значение *общине*, существующей у славян с незапамятных времен. Он категорически осуждает индивидуальное освобождение крепостных с землей или без земли, так как, ввиду отсутствия независимого правосудия, они безоружны перед произволом местных властей. Герцен возражает, что в России произвол царит всюду, что крестьяне не могут найти защитника в крестьянской общине, поскольку их судьба слишком зависит от богатства землевладельца, от его присутствия в имении или в городе, короче говоря, от постоянной случайности, мешающей, за неимением закона, какому-либо прогрессу.

Герцен переживает серьезные проблемы со своей супругой, с любимой Натальей. Страдает ли она упадком духа после пережитых испытаний с мужем? Или от последствий последней неудачной беременности? Или от супружеской неверности, впрочем, мимолетной, которую он совершил? Не потеряла ли она доверие к нему, веру в будущее? Она убедилась в том, что она ныне ему помеха, она даже желает умереть, чтобы его освободить. Чувствуя себя виновным, Герцен, тем не менее, размышляет: о поведении женщин, о женственности, о характере славян, в котором он видит много общего: апатичные, податливые, они нуждаются во влиянии извне, от постороннего, и тогда полностью отдаются своему делу, даже до крайности. Герцен черпает примеры в истории: Россия нуждалась в

варягах, чтобы стать княжеством, в монголах, чтобы стать государством. Европеизация превратила Московию в огромную империю. И теперь снова "вечно женственная" Россия нуждается в Европе. Герцен сожалеет о чувстве ненависти к Западу его собеседников, о слепой ненависти, осуждающей без разбора тысячелетнюю культуру, усилия и страдания европейцев в их борьбе за освобождение человека, за победу науки над мракобесием. Не скрывают ли славянофилы за этой ненавистью страх, опасение слишком глубоко задуматься и впасть в скептицизм?⁴⁴³

Партия православных, "дилетантов в религии", считает Герцен, попала в ловушку правительства, которое само подняло знамя *народности* и бдительно следит за тем, чтобы славяне не овладели им. Власти нужны рядовые, слуги, проявляющие свой патриотизм дисциплиной, раболепством, а не интеллигенты, самостоятельно примыкающие к ее взглядам. Среди "славянофилов" Погодин и Шевырев уже ведут себя угодливо по отношению к власти. Их, безусловно, нельзя отождествлять с Булгариным и Гречем, чьи проявления патриотизма никого не обманывают. Однако "Москвитянин" создан в 1841 году именно с поддержкой министра Уварова!

В Петербурге Белинский не дремлет; он выявил скрытое противоречие, содержащееся в речах по поводу Петра I. В своей большой статье "Россия до Петра Великого", опубликованной в 1841 году в "Отечественных Записках", он цитирует целую серию недавних публикаций для того, чтобы дать свою точку зрения на Петра Великого. Официально его хвалят чрезмерно; везде и во всем в современной России признают его деяния, но на этом и останавливаются, без подробного изучения его царствования. В то же время осуждают европеизм, гибельный путь, который ведет Россию к потере души и тела. Недавно, пишет Белинский, были осторожно высказаны сомнения по поводу его главного творения - преобразования России. Говорят, что оно не затронуло основ, так как оно было предпринято сверху, а не снизу; оно было лишь формальным. Не в силах пересадить в Россию подлинный европеизм, оно лишь исказило ее народность и подрезало крылья ее национального гения.

Чтобы снять противоречие, Белинский объясняет, что, хотя народность тесно связана с историческим развитием и общественными формами народа, не следует путать два разных понятия. Преобразование, совершенное Петром Великим, не могло исказить эту народность, оно лишь придало ей новый дух, более богатую жизнь, открыло ей огромную сферу деятельности. Как вид роду, Белинский

противопоставляет народность национальности, народ нации: "Под народом более разумеется низший слой государства, нация выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В народе еще нет нации, но в нации есть и народ. Песня Кириши Данилова есть произведение народное; стихотворение Пушкина есть произведение национальное <...>. Народность предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед; показывает собою только то, что есть в народе налицо в настоящем его положении. Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть. В своем развитии национальность сближает самые противоположные явления, которых, по-видимому, нельзя было ни предвидеть, ни предсказать <...>. Итак, Россия до Петра Великого была только народом и стала нацией, вследствие толчка, данного ей ее преобразователем <...>. Если бы русский народ не заключал в духе своем зерна богатой жизни, реформа Петра только бы убила бы его насмерть и обессилела, а не оживила и не укрепила бы новою жизнью и новыми силами... Только в таком народе мог явиться такой царь, и только такой царь мог преобразовать такой народ".

Недостатки русского характера, настаивает Белинский, не являются субстанциальными, это недостатки, привитые в прискорбных исторических обстоятельствах. В отличие от германских племен, славяне не унаследовали древней культуры. Обращенные в христианство Византией, они тотчас оказались в религиозном конфликте с Польшей и Богемией, которые должны были бы служить им посредниками с Западом. Киевская Русь, несмотря на воображение Карамзина, является лишь перечнем удельных войн, лишенных исторического интереса и смысла. Россия была объединена татарами, спаяна собственной кровью, но какой ценой! Затворничество женщин, рабство, кнут, скрытность, "азиатизм" в образе жизни: хитрость, лень ума, невежество, презрение к себе. Грубость и жестокость варварских нравов, право более сильного, бессилие слабых, таково печальное зрелище России до того, как Петр I искоренил все эти привитые татарами недостатки, противоречащие европейскому происхождению русских. Короче говоря, все это прошлое, предшествующее петровским реформам, достойно сожаления и не может быть подвергнуто положительному пересмотру. Татарские нравы даже отняли у русских бояр то чувство чести, которое воспитывало европейскую аристократию и которое послужило образцом другим

общественным слоям, чтобы осознать свои права и личное достоинство; они принимали палочные удары, утождали хозяину и заботились только, как занять лучшее место за его столом.

Белинский одобряет выбор новой столицы, открытой на море, на Балтике, лицом к Европе, а не на Азовском или Черномом морях, лицом к туркам и азиатам: "Москва, бесспорно, имеет свое значение для России, но Петербург - истинно европейская столица России, и Москва только тогда сравнится с ним, когда примет его в себя". Он осуждает ретроградную линию поведения, принятую редакторами "Москвитянина", их квасной патриотизм⁴⁴⁴.

23 ноября 1843 года, перед широкой аудиторией, в Московском университете, открывается курс публичных лекций Грановского. Он, в конце концов, уступил просьбам друзей и выбрал западную тему: "История Средневековья во Франции и в Англии". До этого только лекции по естественным наукам, с физическими и химическими опытами, могли привлечь такую многочисленную публику. Чаадаев считает это важным историческим событием. "Более 50 человек заплатили за вход по 50 рублей!" - восклицает Герцен. "Вчера Грановского встретили страшными рукоплесканиями - он не ждал и смешался. Долго не мог прийти в себя. Лекции его делают фурор; мода ли, скука ли - что бы ни вело большинство в аудиторию, польза очевидная, эти люди приучаются слушать. Публичные чтения пойдут в ход, *sui generis** публичность".

Герцен пишет тотчас отчет об этой первой лекции и отправляется к графу Сергею Строганову просить разрешения опубликовать его в "Московских Ведомостях", которыми руководит его друг Евгений Корш. Попечитель Московского учебного округа - просвещенный человек, ему присущ "рыцарский дух"; он поддерживает хорошие отношения с Герценом и соглашается на его просьбу, но просит его не упоминать имени Гегеля. Отчего эта гегелефобия? Оттого, что Шевырев и Погодин тотчас заявили о себе; они упрекают Грановского в том, что он не говорил о России и православной церкви в своей лекции о Средневековье в Европе, принял исключительно западную точку зрения, иначе говоря, далекую от христианства. Эти слухи обеспокоили Филарета, митрополита Москвы; он просит богослова Голубинского опровергнуть Гегеля, по крайней мере частично. По словам Герцена, Голубинский отказывается, мотивируя это тем, что Гегель может быть либо принят,

* своего рода (лат.).

либо отвергнут в целом: "Итак, крот прокапывает и в духовную академию", - радуется Герцен⁴⁴⁵.

Отчет Герцена выходит в виде письма, адресованного в Петербург, защитительной речи в пользу Запада, на который его современники слишком часто смотрят враждебно, опасаясь потерять русский дух в пользу какого-то "человеческого универсализма". Чтобы определить это понятие, которое он противопоставляет национальным особенностям, Герцен использует термин "общечеловеческое". Этот неологизм использован был уже Станкевичем и Белинским, утверждающими, что хорошо для русского то, что хорошо для европейца. Он сменяет термин "всеобщее", кальку с немецкого *allgemein* которым злоупотребляла идеалистическая философия при завоевании Идеи. Именно ради частного, личностного, а не ради национального, особенного восставал Белинский. Он восставал против "универсальности", германской *Allgemeinheit*, Молоха, уничтожающего частное, Сатурна, пожирающего своих детей. С этим универсальным, "присущим всем людям", спор переходит с религиозной, философской почвы на историческую и культурную. "Мы должны, - утверждает Герцен, - уважить и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая так много дает нам теперь; мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге брата, в расторжении мир: одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный потом и кровью Западом"⁴⁴⁶.

Грановский посвятил свою первую лекцию изложению истории как науки, объясняет Герцен, цитируя его ссылки: Кант, Гердер, Шиллер, Фихте, тщательно избегая, как и обещал, говорить о Гегеле. Шевырев отвечает на это возражением в "Москвитянине". Он обращается к провинциальному читателю, хвалит инициативу коллеги-историка, но сожалеет, что тот пожертвовал почти всеми историческими школами, известными трудами и именами ради единственной системы, единственного имени, Гегеля, которого он также сам не называет, подчеркивая, что он всюду отвергнут.

Грановский защищается публично на своей лекции: "Обвиняют, что я пристрастен к Западу, я взялся читать часть его истории, я делаю это с любовью и не вижу, почему мне должно бы читать ее с ненавистью". Под давлением благонамеренных людей, опасаясь увеличения доносов, Строганов не разрешает публикацию второго отчета Герцена. И, однако, публичные лекции Грановского продолжаются с тем же успехом. "Дело сделано, указан новый об-

раз действия университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться перед публикой в обвинениях щекотливых... и возможность возбудить симпатию".

Грановский вызывает аплодисменты публики, когда описывает процесс над тамплиерами; он признает их виновность, но осуждает гнусное поведение Филиппа Красивого и заявляет: "Так и в новейшей истории мы часто видим необходимость победы, но не можем отказать ни в симпатии к побежденным, ни в презрении к победителю". Как столь пылкая аудитория могла забыть такие благородные слова? - восклицает Герцен⁴⁴⁷. В первом ряду, со слезами на глазах, сидит молодая супруга Грановского.

Публичные лекции Грановского заканчиваются 22 апреля 1844 года в лихорадочном восторге, который разделяют те, кто сами удивляются неожиданной важности события. Коллеги тотчас организовывают торжественный ужин. Представители противоположного лагеря произносят примирительные тосты. Не празднуют ли они вместе успех Московского университета, признание его выдающегося места в просвещенном обществе?

"Дети, дети, - комментирует Белинский из Петербурга, - им бы только придаться к какому-нибудь случаю, чтобы лишний раз выпить и поболтать. Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может! Сколько не пей и не чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде - противны и гадки ..."⁴⁴⁸ "Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу", - пишет он Герцену. Позднее, узнав, что Грановский опубликовал статью в "Москвитянин" и хочет узнать его мнение, он отвечает Герцену: "Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видаться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания". Для Герцена фанатизм Киреевского не превышает фанатизма Белинского, хотя он вместе с последним разделяет те же западные взгляды: "Странный человек; он ищет любви, он полон нежности и между тем так раздражителен, так не веротерпим, что при малейшем разномыслии готов обругать человека"⁴⁴⁹.

В это же время ведутся переговоры между Герценом, Грановским и Киреевским, которому было доверено руководство "Москвитянином" с января 1845 года. Киреевский обращался к Хомякову 2 мая 1844 г.: "Ты пишешь, что противники издают "Галатею". Кто же эти противники? Неужели так называешь Грановского и пр.? Если

так, то не ошибаетесь ли вы и во мне? Может быть вы считаете меня заклятым славянофилом, и потому предлагаете мне "Москвитянин". То на это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского".

Постоянные ссылки на народность, по мнению Герцена, отзываются консерватизмом, то есть ретроградной точкой зрения; он готов, тем не менее, к переговорам с Киреевским. Позже он признает, что под знаменем православия и патриотического историзма славянофильство было формой сопротивления "германизации" государства, оторванного от живых сил страны. Разве не под знаменем народности поляки и итальянцы, поработанные иностранцами, борются за свою независимость? Несчастье московского славянофильства в том, что оно сошлось с "официальным славянофильством", или, скорее, с "официальной народностью", установленной Уваровым и разглашенной его пособниками как в Петербурге, так и в Москве.

Приближается время конгресса. В ноябре начинаются публичные лекции Шевырева "Введение в историю русской литературы". Киреевский отзывается в первом номере "Москвитянина". Сравнивать лекции Шевырева с лекциями Грановского он не может, потому что на них не присутствовал. Считали, что русская литература начинается с Ломоносовым и что памятники прошлого вызывают лишь филологический интерес, а Шевырев представил общую картину религиозной и светской древней словесности; это становится "новым событием нашего исторического самопознания": "В понятиях Шевырева словесность отражает всю сознательную и несознательную полноту народного быта, как он раскрывается в самых разнообразных сферах, умственной и гражданской, художественной и промышленной, семейной и государственной, в племенной и случайно-личной, в своеобразной и заимственной <...>. Воскресает вся древняя история нашего отечества, не та история, которая заключается в сцеплении войн и договорах, в случайных событиях и громких личностях, но та внутренняя история, из которой, как из невидимого источника, истекает весь разум внешних движений".

Несмотря на этот положительный отзыв, Погодин не допускает направления, которое дает Киреевский "Москвитянину"; он постоянно вмешивается и, в конце концов, берет на себя руководство журнала вместе с Шевыревым. Киреевский успел опубликовать в первых трех номерах незаконченный очерк "Обозрение современного состояния

литературы", своего рода ответ на лекции Шевырева. Европа остается для Киреевского предметом особого внимания; она заслуживает не только презрения. "Отдельные западные народности, достигнув полноты своего развития, стремятся уничтожить разделяющие их особенности и сомкнуться в одну общую европейскую образованность, но <...> это начало европейской образованности, развившееся во всей истории Запада, в наше время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения <...>. Это сознание неудовлетворенности европейской жизни вышло из сознания прямо ему противоположного, из убеждения недавно прошедшего времени, что европейское просвещение есть последнее и высшее звено человеческого развития". Европа оказалась в положении, подобном положению Римской империи, культура которой, развившись до противоречия самой себе, одна, по естественной необходимости, должна была принять в себя другое, новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значимости". Европа противостоит славянскому православному миру, но европеизированные элиты не способны его оценить. Киреевский приводит пример Польши, чья аристократия была самой образованной в Европе в XV и в XVI веках, но "эти цветы без корня, сорванные с чужих полей", вся эта богатая литература исчезла не оставив почти следа в польской культуре. "Может быть, справедливо думают те, кто утверждают, что мы, русские, способнее понять Гегеля и Гете, чем французы или англичане, но <...> мы не можем действовать на собственную даже литературную образованность, подчиненную прямо сильнейшему влиянию словесностей иностранных".

"Произведения нашей словесности, как отражение европейских, не могут иметь интереса для других народов, кроме интереса статистического, как показания меры наших ученических успехов в учении их образов". Этот жестокий приговор, достойный Белинского, не мешает Киреевскому находить оскорбительной для русского народа точку зрения Погодина, будто он всегда отличался мягкостью, податливостью, не знал сословной розни и легко покорялся всякому требованию. Культ "официальной народности" его раздражает. Он проводит параллель между двумя образованностями: " ... одна есть внутреннее устройство духа силой извещающей в нем истины; другая формальное развитие разума и внешних познаний. Первая - зависит от того начала, которому покоряется человек, и может сообщаться непосредственно; вторая есть плод медленной и трудной работы".

"Одна мысль отрицает в человеке всеобщность разума <...>, другая убивает в нем свободу нравственного достоинства". Православная славянская образованность дополняет европейскую, может очистить ее от исключительной рациональности и пронизать ее новым смыслом⁴⁵⁰.

Отзываясь на эту статью, Белинский бранит ее "немецкий характер", заключающийся в том, чтобы искусно, но фальшиво обобщать предметы: "Как же это, - говорил он, - Киреевский отыскал племя, способное дополнить развитие Европы свежими элементами своего изделия, а между тем предлагает ему идеалы цивилизации собственного своего измышления. Да ведь, идеалы-то цивилизации и есть само это избранное племя! Нет, уже если вы не обманываете самого себя, говоря, что сподобились читать в книге судеб о призвании русского народа, так не стыдитесь лежать перед ним в прахе. Я больше люблю Шевырева и Погодина, которые, не бродя по сторонам, просто режут: мы спасители, мы обновители! уж и знаешь, что им на это отвечать"⁴⁵¹.

В том же "Москвитянине" на подобные темы выступает Хомяков со статьями "Мнение иностранцев о России" (1845 г.) и "Мнение русских о иностранцах" (1846 г.). В первой статье он негодует на вздор, невежество, путаницу в понятиях в выступлениях тех, кто пишут о России: "... на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? " Хомяков удивляется: "Россия одна имеет как будто привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца". Однако, столько общего: и кровь индоевропейская, и кожа, и язык индоевропейский. " ... А все-таки мы своим соседям не братья". Отчего? от чувства досады "перед самостоятельной силой, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов"? "Отказать нам в наших правах они не могут: мы для этого слишком сильны; но и признавать наши права заслуженными они тоже не могут ... " Полной любви и братства ожидать не приходится, но хотя бы уважения.

Откуда исходят эти жалкие и ничтожные данные, на которых основываются все приговоры? Из описаний европейских писателей, не знающих даже русского языка? Вернее, из собственных показаний русских о себе. Западный путешественник испытывает чувство самодовольства, смотря на чужую жизнь, а смешно было бы русскому утверждать, что Россия сравнялась с Западом во всех отраслях. "Смирненно и с преклоненной главою посещает он западные святилища всего прекрасного, в полном сознании своего и нашего общего

бессилия". Смирение - чувство прекрасное, но оно мало внушает уважения. Хомяков признает народную скромность, и даже самоосуждение, но осуждает отречение, неуважение русского к нравственному и духовному закону своего народа, "Это не грех злой воли, а грех неведения. Мы России не знаем".

Ученическая доверчивость все принимает, все повторяет, всему подражает, не понимая свободы художества, которое не воспринимает, но творит. Ко всякому явлению западного мира проявляется та же доверчивость: к самобытности германской философии, к статистике отдельно от истории, к политической экономии, отдельно от чисто нравственных побуждений, к науке права, обработанной на несокрушимых основах. Осуждая западников, Хомяков отмечает, что некоторые мыслители, "проникнув в самый смысл науки, думают, что пора и нашему мышлению освободиться; что пора нам рабствовать только истине, а не авторитету западной личности ...".

В России только высшее сословие могло воспользоваться новыми приобретениями знания. К *счастью*, другие сословия остались им чужды; они не могли или не хотели ими воспользоваться. Темное чувство неведомой, неосознанной опасности? Это удаление "спасло нас от полного разрыва с всею нашею историческою жизнью". "Система просвещения, принятая извне, приносила с собою свои умственные плоды в гордости, которая пренебрегала всем родным, и свои жизненные плоды - в оскудении самых естественных сочувствий. Раздвоение утвердилось надолго". При гордом самодовольстве просвещенных людей формальное знание о России ограничилось тесными пределами и исчезло само желание знать Россию. Однако общество, как человек, сознает себя не по логическим путям, сознание есть самая его жизнь.

Раздвоение привело к тому, что в высших сословиях проявлялось знание, но отрешенное от жизни; а в низших - жизнь, никогда не восходящая до сознания. Только в духовной своей полноте - личной и общественной, человек может осознать законы своего духа. "Перенесенная в Россию, наука не была плодом местной жизни; при этом, она отторгалась от своих западных корней и от жизни, которая ее произвела. Просвещение и общество, оба носили на себе какой-то характер колоньяльный, характер безжизненного сиротства, в котором все лучшие требования души невольно уступают место эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости". От внутреннего раздвоения "нам не доступно то жизненное сознание России, которое

составляет необходимое и, может быть, главное средоточие народного просвещения".

"Просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний <...>. Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе". "Просвещение есть общее достояние и сила целого общества и целого народа. Этой силою отстоялся русский человек от многих бед в прошедшем, и эту силою будет он крепок в будущем".

Отрешаясь от иноземных начал, наука должна стремиться к соединению с русским просвещением, черпать из родного источника, чистого и раннего христианства, чтобы исцелить глубокую рану внутреннего раздвоения. От него произошли бессознательность и неподвижность в жизни, бессилие и безжизненность в науке. Мрачное заключение Хомякова отзывается на безрадостное суждения Чаадаева о современной петровской Руси⁴⁵².

Во второй статье Хомяков обращается к Самарину, упрекающему его в несправедливости и пристрастии. Он напоминает, что чувства, которые питает Запад к России, "это смесь страха и ненависти, которые внушены нашею вещественною силою, с неуважением, которое внушено нашим собственным неуважением к себе". Он не винил ни иностранцев, ни русских, ибо ошибка была плодом исторического разрыва. Ныне, не принадлежа больше никакой отдельной школе, просвещенные люди (западники) стали эклектиками в своем поклонении Западу. "Всеразлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе, - таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли". В этом описании нетрудно узнать черты, свойственные Герцену, особенно язвительная его ирония, насмешливый тон, которым он обижал даже близких.

В успехах науки, продолжает Хомяков, строгий анализ сопровождается творческой силой анализа. "У нас анализ возможен, но только в своих низших степенях. При нашей ученической зависимости от западного мира, мы только и можем позволить себе поверхностную проверку частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому допросу общие начала или основы его системы". "Проникнув в самый смысл науки", Хомяков убеждается, что в истории продолжает царить "грубый партикуляризм", "изложение происшествий в их случайном сцеплении, без всякой

внутренней связи". Гегель "старался создать историю, соответствующую требованиям человеческого разума, и создал систематический призрак, в котором строгая логическая последовательность или мнимая необходимость служит только маскою, за которой прячется неограниченный произвол ученого систематика". Историческая система Гегеля так же неразумна, как и его математические умозрения, по которым формула факта признается за его причину: ядро летит не вследствие порохового взрыва, а вследствие формулы параболоида. Хомяков заключает: "После неудачи великого мыслителя, прежний партикуляризм остался опять единственною системою". Открывается путь для русской историографии.

Хомяков подчеркивает, что разделение Римской империи не является делом грубой случайности, но происходило от древних начал, от разницы между просвещением эллинским и римским и было неизбежным и великим их последствием. Он сожалеет, что история Восточной империи не получила еще должного признания у "гордого Запада"; ведь она отстояла нашествие народов, элинизировала славян, пережила в продолжении целого тысячелетия своего западного брата. Труды русских историков пока еще лишь географическое прибавление к трудам западных ученых. Только в Карамзине, в живом и красноречивом рассказчике, "бьется русское сердце, кипит русская кровь и чувство русской духовной силы, и силы вещественной, которая в народах есть следствие духовной". Русские люди, принадлежащие к высшему образованию, которые без всякой необходимости оставляют Россию, более заслуживают сожаления, чем осуждения; они жертва ложного развития. Им не было дано познать свою родину, понять смысл развивающейся в ней постоянной борьбы. "Жизнь сопротивлялась влиянию иноземного или, так сказать, колониального начала, только своею неподвижностью <...>. Просвещение же действовало постоянно, признавая жизнь или, лучше сказать, состав народный за грубый материал, подлежащий обработке для того, чтобы вышло из него что-нибудь дельное и разумное. Оно действительно не признавало Россию существующею, а только имеющею существовать". Последствием "такого презрения к жизни было то, что наука и общество могли, без всяких упреков совести, без всякого внутреннего сомнения, беспрестанно стремиться к ее преобразованию <...>, ибо все наше просвещение отправлялось от глубокого убеждения в своем превосходстве и в нравственной ничтожности той человеческой массы, на которую оно хотело действовать".

"До сих пор все попытки, сделанные просвещением для преобразования жизни остались безуспешными", - заключает Хомяков, напоминая, что всякое учреждение Запада содержит в себе решение какого-то вопроса, заданного жизнью прежних веков и что перенесение его на новую почву небезопасно. Образуется неизбежный формализм "как подражание чужеземным образцам, понятым в виде готового результата". Он обвиняет в формализме, почти открыто, николаевскую Россию: " Жизненную гармонию заменяет он, так сказать, полицейскою симметриею в науке, где он более боится заблуждений, чем ищет истины". Скрытой причиной и скрытым содержанием истории и быта России является эта борьба между жизнью и иноземной образованностью, между двумя противоположными стремлениями: к самобытности и к подражательности. Но эпоха перерождения теперь наступила, тогда как Запад сомневается в себе и ищет новых начал, а русские начинают понимать всю шаткость и бесплодность духовного мира на Западе⁴⁵³.

При переводе терминов *Lumières et Spiritualité* с французского на русский язык бросается в глаза, что вековой конфликт между *raison et foi*** звучит совсем иначе при сопоставлении слова Просвещение со словом Духовность. Ведь стоит в глаголе просвещать заменить букву е буквой ѣ (ять), чтобы оказаться в совсем ином измерении, чтобы переступить границу между мирским и духовным, между телесным светом и духовным. Духовный свѣтъ исходит от Бога, освѣщает и озаряет. Просвѣтитель просвѣщает, дарует свѣтъ, поучает истинам и добру. К отождествлению понятий Просвещение и Духовность стремились славянофилы, но до упразднения буквы ѣ (ять) термин Просвѣщение относился и к духовному древнему церковному образу и к западному понятию "свет науки и разума". Произошла ли тогда *узурпация* русского духовного пространства со стороны западной образованности, форма *колонизации* русской жизни иноземным государственным и культурным аппаратом? Или просто недоразумение? Готовы ли были западники искать примирения со славянофилами на этом чутком поприще? По-видимому, нет.

"Официальный" разрыв между славянофилами и западниками происходит в декабре 1844 г. по случаю выпуска стихотворения "К не нашим" Николая Языкова. Поэт тяжело болен, он вскоре умрет; он мстит стихами на критику западниками публичных лекций

* Просвещение и Духовность (фр.).

** разумом и верой (фр.).

Шевырева: в их презрении к русскому народу они недооценили то, что Шевырев ясно доказывает: русская литература начинается не с Петра Великого, а тысячу лет тому назад, вместе с самой Россией. В своем послании "К не нашим" он называет Чаадаева жалким стариком, изменником и клеветником, Грановского - "сладкоречивым книжником", "оракулом юношей-невежд", а Герцена - "поклонником темных книг и слов и воспринимателем достослезным чужих суждений и грехов". Погруженные в свои вероломные мысли и кощунственные мечты, они чужды России; ее будущее им не принадлежит, и поэт восклицает:

Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!¹⁴⁵⁴

Не о доносе, адресованном властям, в стиле Булгарина, идет речь; эти стихи не опубликованы, они свободно ходят по рукам в салонах, как некогда "Философические письма" Чаадаева. Искренна реакция поэта, оскорбленного в своих сокровенных убеждениях, но слова несдержанны и оскорбительны. Они вызывают такое волнение, что чуть не доводят до дуэли между Грановским и Хомяковым или Петром Киреевским, готовыми поднять перчатку на месте поэта, ослабшего от болезни.

Константин Аксаков остается верным себе. В подобном послании Языков упрекает его, славянофила, в отношениях с теми, кто "немецчине лукавой передался" и "мать русских городов сменять на пышную блудницу на вавилонскую готов!". Он возражает стихами, что упрек его не всегда справедлив:

Но между нашими врагами
Другие есть; открытый бой
Ведут они; открыто с нами
Упорной тешатся борьбой...

Чтобы все стало ясным, он в послании "Союзникам" отмежевывается от сомнительных союзников из Петербурга, доносчиков и клеветников, и заключает свое послание:

На битвы выходя святые,
Да будем чисты меж собой!
Вы прочь, союзники гнилые!
А вы, противники, на бой!¹⁴⁵⁵

Чтить достойного врага - этого желают и Грановский, и Киреевский, Герцен, Аксаков, Самарин и другие, но возможны ли еще это благородство, эта терпимость, когда, покидая узкий круг общения среди "своих", выступаешь перед публикой? Большую аудиторию также привлекают лекции Шевырева. Открывает ли он "Америку", когда рассказывает о русской словесности допетровских времен? Конечно, нет, но он украшает ее, противопоставляет ее европейской литературе, которой наносит постоянно удары. В чем же его упрекают западники? В использовании благожелательного отношения властей к его благонамеренности, в вероломных его атаках на идеи, книги, имена, которые его противники защищать публично не могут, рискуя привлечь на себя гнев властей.

Герцен сочиняет неопубликованный памфлет "Ум хорошо, а два лучше", где он ставит на одну доску благонамеренных из Москвы и Петербурга: "Союз г. Погодина с г. Шевыревым *matrimonium secretum*"; союз г. Булгарина с г. Гречем - открытый конкубинат"⁴⁵⁶. Бой становится поистине неравным. Герцен ожидал от успеха, одержанного Грановским, решительного поворота в общественном мнении. Белинский настроен скептически: "Наша публика непременно останется всем довольною. Для нее хорош и Грановский, да недурен и Шевырев; интересен Вильмен, да любопытен и Греч. Лучшим она всегда считает того, кто читал последний. Иначе и быть не может, и винить ее за это нельзя"⁴⁵⁷.

Что общего у просвещенного человека с этой незавидной аудиторией? Оставаться, смириться или спасти свое достоинство, эмигрировать? Огарев проводит время в разъездах между Россией и Западом, он задает этот вопрос Герцену: "Человек, чуждый в своем семействе, обязан разорваться с семейством. Он должен сказать своему семейству, что он ему чужой <...>. Только выговоренное убеждение свято. Время тайн исчезло. Только явное свято. Жить несообразно с своим принципом есть умирание. Прятать истину есть подлость. Жертвовать истиной преступление". Он просит своего друга серьезно подумать"⁴⁵⁸.

Отказаться от эзопова языка, от запутанных формулировок, которыми злоупотребляет Герцен в своих сочинениях, чтобы их опубликовали? Эмигрировать, чтобы говорить правду, как Бакунин? С интересом они читают его статьи, опубликованную в "Réforme". "Вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему.

* тайный брак (лат.).

Мы привыкли к аллегории, к смелому слову *intra muros*^{*}, и нас удивляет свободная речь русского так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре". Вернувшись из Парижа, Панаев передает Белинскому совет Бакунина: ему лучше перенести свою деятельность за границу, чем неразумно растрачивать силы, работая под давлением цензуры. Белинский отказывается покинуть родную землю, где "лучше сделать мало, чем ничего"⁴⁶⁰.

В чем Герцен упрекает славянофилов, это не столько в их "измышлениях" о прошлом России и в их спекуляциях о ее будущем, сколько в систематическом поношении Запада. Необходимо ли это для того, чтобы исторически утвердить существование России? Религиозные убеждения Киреевского, его безоговорочное осуждение западной церкви не убеждают Герцена: "Неужели христианство, в начале имевшее 12 апостолов, через 1800 лет оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую-то, под спудом хранящуюся, истину в церкви, живущей, по их сознанию, во лжи?" Он сожалеет о ненависти славянофилов к Западу: "Оттого, что Руси общечеловеческое начали прививать неестественно, насильственно, они ополчились против общечеловеческой цивилизации Европы, считая ее одним блеском, пустым и ложным"⁴⁶¹.

Относится ли этот упрек к пустому и ложному блеску петровской столицы? Герцен одобряет маркиза де Кюстина, который особенно хорошо схватил искусственный и хвастливый характер псевдоевропейской цивилизации, империи фасадов, России полицейской, но не цивилизованной. Чаадаев описал печальные плоды европеизации, которая лишь усилила самодержавие, направила Россию в тупик. Не следует ли отвергнуть петровские реформы, не следует ли просвещенному дворянству, оторванному своим воспитанием от народа, вернуться к нему? Нужно ли, подобно Чаадаеву, осудить все прошлое России?

В письме от 19 октября 1836 года, написанном по-французски, Пушкин выражал свое полное несогласие с Чаадаевым: "Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы - разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе

* между стен (лат.).

и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть великая история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?"⁴⁶²

Не те же ли мысли упорно защищает Погодин? "Изучая историю, мы изучаем самих себя, достигаем до своего самопознания". России не нужно сожалеть о том, чего она не имеет. Пусть она осознает свои собственные ценности. "Наша история - это книга бытия нашего", - восклицает он, добавляя, что она "может сделаться охранительницей и блюстительницей общественного спокойствия". По мнению министра Уварова подобная "политическая религия" кстати дополняет христианскую религию. Погодина одобряют богословы из Киевской академии, они встревожены успехами гегельянства в России; один из них, Арсенов, пишет ему: "Как рада наша академическая философия, что мнимое суеверие народа принято вами в философию нашей истории. А мы с этим образом мыслей боялись остаться одни, особливо после гегелевского тумана. Есть философия в народе, которой доведомо то, что и не снилось германским мудрецам"⁴⁶³.

Ободренный такой поддержкой, Погодин намеревается написать историю России для великого наследного князя, будущего Александра II. В 1838 году он направляет, соблюдая иерархическое подчинение, первый проект графу Строганову. Восхваляя природные достоинства русского человека, он признает за ним глубокое знание Святого Писания и способность к философскому размышлению; он добавляет, что эта духовная сила служит царю, который может пробудить ее и направить по своему усмотрению. Будущее принадлежит славянам, поскольку только им еще не приходилось на смену других народов Европы служить человечеству. Сожалея о незавершенности западных начинаний, он уверяет, что России выпала роль показать человечеству, что призвание его не исключительно в науке, в свободе, во власти, в искусстве или в богатстве, а в христианской религии.

"Слов много", - высказывается Строганов и не передает этот проект в высшую инстанцию: "Это введение лирично. Здесь царят чувство и воображение"⁴⁶⁴.

Шевырев с давних пор разделяет убеждения Погодина. Он ему писал еще из Италии: "Русский последний в европейском человечестве, но на нем сбудется писание Иисуса Христа глаголюща: первые будут последними, а последние первыми. Эта мысль глубоко запала в душу;

наше будущее велико. Если уж русский полюбит образование, то водворит его во всем человечестве и счастье его собственное будет тесно связано с образованием последнего дикого". А пока, в ожидании этого, благодаря своему строю, Россия защищена от политических конвульсий, беспокоящих ее соседей, но, увы, она должна перенести непонимание и презрение Европы⁴⁶⁵.

Надеждин в статьях, которые должны были опровергнуть аргументы Чаадаева и оправдать его самого перед властями, доводил до крайности представление о народности: история России сводится к истории ее государей; он согласен с Чаадаевым только в том, что прошлое России равно нулю, что участие народа почти нулевое! "Добровольное отречение от государственной власти и безусловная покорность монарху - исключительная черта народа, свидетельствующая об отсутствии в нем политического элемента, об его негосударственности". Нет истории русского народа, но есть история его царей. Русский народ пока ничем не заявил себя, он всем обязан государям. "Народность" русского близка мышлению ребенка, ребенка упрямого, ленивого и беззаботного, несмотря на усилия отца, Петра Великого: "Он манит нас, как детей, наградами, чтобы мы только учились <...>. Нас до сих пор ничем не заманишь в школу; большая часть тех, которые, наконец, сели за азбуку, учатся только, чтобы сказать, что они учились". Всюду заимствование, лакированная поверхность. "Открывшаяся перед нами роскошь европейского просвещения ослепила нашу неопытность; мы захотели немедленно наслаждаться ею, позабыв, что она стоила Европе тьмочисленных трудов, вековых усилий. Чтобы приобрести законные права на сие наслаждение, надлежало обратить богатство европейской образованности в нашу собственность силами из внутренних соков русской жизни. Это требовало трудов, которые показались нам тяжелы и скучны".

Но отчаиваться не приходится: если мы сами ничего не достигли, мы сами ничего не представляем, тем лучше! "С нашей простотой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями, не засеянной никакими враждебными воспоминаниями и преданиями, можно сделать все без труда, без насилия; из нас, как из чистого, мягкого воска можно вылепить все формы истинного совершенства". Народность становится безучастным веществом в распоряжении сильной руки: "Не напрасно тысяча лет существования сводятся к пробелу в нашей истории, свитку истории, который европейские народы исчертили своими страстями, испачкали заблуждениями, забрызгали кровью!" И Надеждин опрокидывает страшное

обвинение Чаадаева и восклицает: "Мы существуем для того, чтобы преподать великий урок миру!" Перед бедствиями, от которых страдает Европа, клонящаяся к упадку, Россия может гордиться своей народностью или скорее отсутствием всякой народности, которая заключается в отречении от какого-либо проявления своей воли перед могуществом государя. Россия ничего общего не имеет с Западом. Русский народ самобытный, у него есть свой язык, свои самородные нравы, своя самообразная физиономия, - хотя еще не вполне определившаяся,- добавляет Надеждин. - Сама эта незавершенность позволяет убедиться, что у Европы есть прошлое, а у России есть будущее⁴⁶⁶.

В своих патриотических выступлениях Надеждин бессовестно перерабатывает всевозможные аргументы, и Чаадаева, и западников, и славянофилов. Станкевич отказывался полемизировать с человеком, у которого нет убеждений. Именно отсутствие убеждений порождает подобные выражения "официальной народности". Белинский в апогее своего примирения с действительностью писал тоже: "Безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность"⁴⁶⁷. Но у него были убеждения, по поводу которых можно было спорить.

Отныне можно ссылаться на официальный тезис: Россия не Европа, хотя Петр Великий предпринял реформы по образцу европейских государств; эти реформы не затронули нравственных и религиозных основ традиционной России. Высшей добродетелью русского народа является смирение. Чаадаев сам признает это, когда пишет по-французски Шеллингу в 1842 году: "Мы и далее будем держаться того мудрого смирения, которое всегда было глубочайшей основой нашего народного характера и, в последнем счете, причиной нашего быстрого развития"⁴⁶⁸.

Новым поборником вступает в спор молодой Юрий Самарин, убежденный гегельянец, близкий к Киреевскому и Аксакову. Летом 1840 года французский депутат Франсуа Моген находился в России и посещал московские салоны. Самарин встречался с ним, затем написал ему "открытое письмо" с целью изложить то, что он не смог высказать *de visu*: "... каким образом немцы избавили нас от ига Франции и приготовили, своими поэтическими произведениями и своей философией, к периоду разумной национальности". В своем "Письме к французскому депутату Франсуа Могену" Самарин дает

* лично (лат.).

свое толкование официального лозунга: Православие, Самодержавие, Народность: "Так же, как и католики, мы признаем авторитет церкви, но непогрешимость, следовательно, и безусловный авторитет мы признаем только за вселенскими соборами. Наша церковь не конфисковала в свою пользу, подобно церкви римской, обетование, данного Христом церкви вообще <...>. Лишенная власти светской, церковь наша принимала участие в истории нашей чисто нравственное <...>. Не будучи поставлена в необходимость вмешиваться в дела светские и блюсти мирские интересы, она не имела и случая уклоняться от своей задачи". Самарин упоминает о протестантстве, которое является не религией, а отрицанием католичества, которое логически привело к "Жизни Иисуса" Давида Штрауса. Затем он определяет абсолютную монархию как начало, от которого развилась вся история России. "Летопись временных лет" Нестора передает, как славянские и финские народы, разбросанные между Ладожским озером и Уралом, Карпатами и Черным морем, обратились к варяжским князьям с воззванием: "Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет; приходите княжить и владеть нами". Самарин считает, что это "событие единственное в истории мира; из него развивается вся последующая наша история". В этом заключается основное различие с западными народами: "У нас отношения двух племен туземцев и норманнов были совершенно иные, нежели во Франции и Англии. У нас не было и не могло быть завоевания, именно благодаря географическому положению страны и малочисленности пришлого племени, следовательно, не могло быть ни феодализма, ни военной аристократии, в смысле самостоятельного принципа, ни враждебных отношений побежденных к победителям, следовательно, не могло быть и революции и конституции". Следовательно, абсолютная монархия выступает как постоянно обновляемое выражение высшей народной воли, "она священное наследство нашей истории, и мы не хотим другой формы, ибо всякая другая форма была бы тиранией". Ставя в перспективу социализм и коммунизм, Запад исчерпал все возможности в отрицании всего, что существует. Славянам дано осуществить возрождение, необходимое человечеству: "Это дело (возрождения), мы знаем, придется совершить нам одним и без чьей-либо помощи; нам в этом деле не будут сочувствовать народы Запада, и долго еще придется нам мириться с мыслью, что в их глазах мы не более как предмет презрения или страха"⁴⁶⁹.

Герцен с любопытством наблюдает за гегельянскими попытками Самарина построить славяно-византийское здание, исходя из отрицания Запада и его истории: "Он согласен, что ясно не может развить логически свою мысль о имманентном сосуществовании религии с наукой <...>, что расторженность человека, который мышлением разрушает то, что принимает фантазией и сердцем, и, с другой стороны, усыпляя мышление, снова дает место представлению, непримирима". Среди славянофилов, признает Герцен, именно Самарин больше всего приближается к общечеловеческим взглядам, но он сожалеет: "Удивительный век, в котором человек до того умный, как он, как бы испуганный страшным, непримиримым противуречием, в котором мы живем, закрывает глаза разума и стремится к успокоению в религии, к квиетизму, толкует о связи с преданием"⁴⁷⁰.

Русские славянофилы признают лишь одну власть - православную церковь; они ожидают, что католичество и протестантство приблизятся к их истине, ибо их вера чистая. "Они не понимают, - замечает Герцен, - что абстрактное, не выходящее в жизнь существование церкви потому именно и чисто, что оно отделено от жизни, да в этом собственно определен недостаток, а не достоинство". Мицкевич утверждает, что "разгадка судеб мира славянского лежит сокрыта в будущем", а славянофилы все еще хотят отыскать отгадки в прошлом. Однако, - заявляет Герцен, "прошедшее христианство принадлежит Европе романо-германской, католицизму, феодализму и их разложению. Во всем этом славяне не участвовали. Разумеется, и Византия и Русь имели жизнь, и жизнь более близкую к Европе, нежели Китай etc; но для них история не была полным осуществлением всей скрытой в них мысли". Мессианство и папизм не спасут ни Польшу, ни другие славянские народы⁴⁷¹.

У Погодина диаметрально противоположное мнение, он записывает в своем дневнике: "Самарин читал письмо к Могену, в коем я увидел с удовольствием плод своих лекций". Самарин, гегельянец, начал с того, что испытал на себе влияние Ключникова, Мефистофеля кружка Станкевича; он спасся от него только бегством! Как бывший ученик Погодина, он воздает ему должное: до Погодина стремились искать в русской истории сходства с западной. Погодин первый доказал необходимость изучать ее саму по себе. До своего разрыва с западниками, весной 1845 года, Самарин не отделяет их от славянофилов и включает в лагерь "своих" Хомякова, Языкова, Свербеева, Киреевского, Герцена и Грановского. Но он избегает

Шевырева, он не выносит его авансы и лести. Он поставлен перед жестокой дилеммой: либо признать гегелевскую логику высшей истиной и придать религии лишь роль момента в развитии духа; либо признать невозможность познать истину логическим путем, поскольку она воплощается в самой жизни, и искать другой путь. Он полагает, что нашел выход, написав диссертацию, которую он защищает 3 июня 1844 года в Москве. Она посвящена двум проповедникам в царствование Петра I - Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу; оба находятся под западным влиянием, один под католическим, другой под протестантским. Их влияние будет оказывать долгое воздействие на православное богословие. Применяя диалектический подход к каждому из этих вероисповеданий, Самарин приписывает соответственно католичеству идею о единстве, а религиозное стремление к общему - протестантству, не способному его достичь. Православие воплощает полноту христианства. Католичество тезис, протестантство - антитезис, православие - синтез. "Демонстрация" Самарина вызывает протест среди присутствующих, особенно когда Самарин опирается на "Эстетику" Гегеля, чтобы определить специфику и католической и протестантской проповеди, и выявляет их сходство с проповедями обоих православных проповедников!⁴⁷²

Самарин после защиты своей диссертации, признает *in parte**, что ему удалось лишь дать отрицательное определение православия по отношению к католичеству и протестантству. Его положительное содержание осталось для него закрытым!

Грановский защищает магистерскую диссертацию 21 февраля 1845 года. Он изучает, как сначала средневековые летописцы, а затем историки, спутали Йомсбург, норманнскую крепость и Волин, славянское село. Эта ошибка позволила им вообразить существование Винеты, Северной Венеции, баснословного города, который поглотили волны в наказание за его гордость. Эта легенда дорога славянофилам, в частности Хомякову и Аксакову. Профессора Давыдов и Шевырев возражали против самой защиты подобной диссертации, но Грановский одержал верх. Несмотря на нападения Шевырева и Бодянского, но при поддержке аудитории, Грановский блестяще опровергает все возражения. Собравшись снаружи, на лестницах, студенты встречают его триумфально. Опасаются, что в университете будет мятеж! На следующий день его встречают аплодисментами и он должен умерить пыл своих почитателей. Он благодарит их за поддержку, но просит их прекратить демонстрации, чтобы не привлечь

* частично (лат.).

внимания властей: "Господа, я знаю, что страхом вас нельзя остановить. Меня заставляют говорить причины более разумные, более достойные и меня и вас. Мы, равно и вы и я, принадлежим к молодому поколению, в руках которого жизнь и будущность. И вам и мне предстоит благородное и, надеюсь, долгое служение нашей великой России, России преобразованной Петром, России, идущей вперед, и с равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются пред кумиром, созданным их праздным воображением. Побережем же себя на великое служение"⁴⁷³.

Шевырев очень задет тем, что его назвали старцем, от безделья падающим ниц перед идолом; он хочет ответить Грановскому. Погодин отговаривает его и пишет сам для "Москвитянина" ответ "За русскую старину", статью, которая станет едва ли не выражением кредо для славянофилов. Он упрекает западников за их неискренность. Как они могут ничего не знать о двадцати томах древних документов, изданных одной только археографической комиссией? Как они могут утверждать, что Петр Великий возник из ничего? Россия тоже пережила Средневековье, но, в отличие от Запада, это был золотой период, о котором Европа может только мечтать. По географическим причинам Петр Великий был вынужден придать на некоторое время особое направление России, чтобы победить ее врагов и обеспечить ей решающее место среди европейских наций. Отныне Россия поглощена новой задачей - самопознанием. Отвечая ожиданию Европы, она предстанет перед ней в соответствии со своим назначением. Погодин воздаст должное Западу, услугам, которые он оказал человечеству, но при этом отвергает обвинение в застое, в преклонении перед завянувшим прошлым. Он выдвигает вечную первопричину - *русский дух*, внушающий уважение и молитвы: пусть он никогда не покинет Святую Русь. "Старина драгоценна нам, как родимая почва, которая упитана, не скажу кровию, кровию упитана западная земля, но слезами наших предков, перетерпевших и варягов, и татар, и Литву, и жестокость Иоанна Грозного, и революцию Петра Великого..."⁴⁷⁴.

Западники тотчас иронизируют по поводу этих слез, которыми Погодин хотел бы оросить русскую землю. Для того, чтобы вырастить новые урожаи? Но какие? Призвана ли революция Петра, в соответ-

ствии с пожеланиями западников, иметь гражданское продолжение, завоевать права, к которым получили доступ народы Запада? Или речь идет о чем-то другом, о смутном процессе, затеянном против Запада диалектиками, опрокидывающими необоснованно его ценности, во имя мнимых начал? В 1844 году Шевырев посвящает свои лекции реформам Петра Великого, отношению между Россией Древней и Новой. Немыслимо осыпать упреками августейшую особу, противопоставляя свет и тени в его творении. Шевырев стремится доказать, что целью царя было сохранить Божественное начало Древней России и провести его целым и невредимым через жизнь, науку и искусство. Он придает Петру Великому двойной лик, образ царя в представлении на Западе и образ, сохранившийся в народных, устных преданиях в России. Петр уничтожает патриаршество, отбирает в кельях перья, бумагу и чернила, переливает колокола в пушки, приказывает перевести по-русски знаменитое "Аугсбургское Вероисповедание", обнародованное протестантами в 1530 году, но защищает при этом "истинную веру" от староверов, раскольников, обещает патриарху, что будет воевать с врагами Христовыми и освободит Гроб Христов. Он переносит мощи Александра Невского из Владимира на Неву, сам исполняет все обряды православной церкви, участвует в церковных ходах, читает сам Апостол и поет на клиросе с причтом церковным. Он ненавидит иезуитов, высмеивает папские церемонии, критикует лютеранство, покровительствует Стефану Яворскому, строгому противнику лютеранского учения. Он искореняет традиции древней русской жизни, насаждает западные нравы, защищает иностранцев, но при этом почитает историю Древней Руси, заказывает список "Летописи временных лет" с рукописи, сохранившейся в Кенигсберге. Учреждая Академию, он "приглашает мужей ученых из чужих краев, но велит быть при каждом иностранце двоим русским, для водворения наук между своими соотчичами"⁴⁷⁵.

Демонстрация Шевырева едва ли убедительна. Его аргументы можно легко опровергнуть: "народная традиция" сохраняет больше образ царя-антихриста, осквернителя Священного наследия; раскольники могут скорее сойти за защитников "истинной веры" от нововведений под влиянием Запада; интерес к истории Древней Руси, к "Летописи временных лет" придает большую значимость призыву к варягам, что оправдывает историческую роль иностранцев в России! Но главное не в этом. Цель Шевырева - представить идеал царя-просветителя, в котором смог бы узнать себя Николай I, считающий себя наследником Петра Великого.

Просветительской революции сверху противостоят уже не только безучастное сопротивление "народа", слепая оппозиция консерваторов, крепостников, невежд, простонародья, бесхозяйственность чиновников. Уже "философия истории" способствует образованию мировоззрений, благодаря доводам, которые еще предстоит оценить в свете диалектического умозрения; они часто еще могут служить и сторонникам продвижения вперед Просветительской революции, и хранителям духовных российских ценностей.

Развитию России недостает древней культуры? Об этом можно сожалеть, но можно также этому порадоваться, отвергая Гомера и Аристотеля.

Чистое христианство сохранилось в русском православии? Увы, оно было введено греками по византийскому обряду, предполагающему смирение церкви перед императорской властью.

В России из-за татарского ига не укоренилась гордая независимость аристократии, хранительницы основных прав и свобод на Западе? Тем лучше! Русское дворянство на службе государству!

Россия всем обязана реформам Петра Великого? Нет! Эти реформы посягнули на ее достоинство, унизили и оскорбили ее народность.

Ни древней культуры, ни церкви, независимой от светской власти, ни аристократии, способной уравновесить власть монарха! Что же общего с Европой у России, несмотря на петровские реформы? Неужели судьба ее сводится к чистой странице, которую завтра заполнит история!

Тем лучше? Нет, страницы уже заполнены, но ничего европейского они не содержат! Россия шла своим путем и прошлым своим может гордиться; о ней нельзя судить по европейским меркам.

По каким тогда? Прошлое России - это варварские нравы, унаследованные от татарского ига? Вовсе нет! Эти невзгоды позволили русскому народу преодолеть свои слабости, закалиться и заставили мир признать его великим народом.

Приходится ли, чтобы утвердить себя, отвергать и презирать все иностранное, поносить древнюю культуру, европейскую цивилизацию?

Называть Запад разлагающимся трупом и приписывать России причудливую миссию обновить его? Догнать европейских своих братьев и признать общечеловеческие начала - вот ее истинное задание.

Общечеловеческие начала - это западные нравы, которые все уравнивают, придают единообразию, уничтожают особенности

каждой народности? Нет! это ценности, которые мы, русские, должны усвоить для своего блага; эти человеческие права были завоеваны в поту и в крови народами, презираемыми теми, кто не признает эти права.

Каким путем их усвоить? Примиряясь с "действительностью", с самодержавием, в ожидании преобразований сверху?

Праздному, обезоруженному, просвещенному обществу оставалась еще возможность до бесконечности переставлять эти проблематичные фигуры в шахматных турнирах. Каждый из шахматистов знает, куда противник наносит удары, и сам к этому готовится. Досадные недоразумения, торжественные разрывы, злобные столкновения, мимолетные примирения между людьми, уважающими друг друга, принадлежащими к тому же кругу, вся эта игра могла бы еще продолжаться в московских кругах или на страницах журналов с ограниченным тиражом. Могла бы, до тех пор, пока эти душевные споры не переселились в "общественное пространство", открывающееся в амфитеатрах университета, на страницах многотиражных петербургских журналов и охватывающее постепенно другие сословия. Говорить о "партии" западников или славянофилов казалось преждевременно, пока чувства взаимного уважения продолжали связывать Киреевского, Грановского и Герцена, пока молодые славянофилы, привязанные к Погодину, отмежевывались от "официальной народности", от Шевырева и упорствовали в увлечении гегельянством.

Из Москвы непримиримость Белинского в Петербурге кажется чрезмерной. Он не дает никакой передышки своим противникам. В сентябре 1844 г. он воздает должное В.Ф. Одоевскому, отмечая в его критике Запада, пауперизма, царящего там, эксплуатации рабочих бессовестными капиталистами, славянофильский тон, который раздражает его: "Европа больна, - это правда, но не бойтесь, чтоб она умерла: ее болезнь от избытка здоровья, от избытка жизненных сил; это болезнь временная, это кризис внутренней, подземной борьбы старого с новым; это усилие отрешиться от общественных оснований средних веков и заменить их основаниями, на разуме и натуре человека основанными"⁴⁷⁶.

Летом 1845 и 1846 годов, в Соколове, в двадцати верстах от Москвы, на Тверской дороге, в старом имении, снимаемом Герценом, ведутся беседы, в которых участвуют Грановский, Кетчер, Анненков, Панаев, Некрасов, Алексей, брат Бакунина, Николай Павлов, Щепкин и другие западники.

"Время, проведенное мною в Соколове, - вспоминает Панаев, - я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям, Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far-niente* на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходящие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, - все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии! В этом поэтическом чаду, вероятно, никому не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединения, долгие, непредвиденные разлуки, и близкие преждевременные могилы"⁴⁷⁷.

Рассказ Панаева обходит содержание бесед и споров, которые велись между западниками в течение этих "съездов"; он ограничивается анекдотами и намеками. Воспоминания Павла Васильевича Анненкова гораздо более содержательны. Получив образование в Петербурге и прослужив короткий срок в министерстве финансов в 1833 г., он предпочел "пожить, как хочется" и перешел на положение бесчиновного "неслужащего дворянина". Увлекаясь живописью, театром, литературой, он познакомился с Гоголем и следил за выступлениями Белинского в Москве в защиту творчества Гоголя. С конца 1840 года по начало 1843 года он путешествовал по Германии, Италии, Франции и долго пребывал в Париже. Осенью 1843 г., проездом через Москву, он познакомился с Герценом, Грановским и со всем кругом московских друзей Белинского, о которых знал только понаслышке, благодаря Белинскому; он был с ним знаком с осени 1839 г., после его переезда в Петербург для сотрудничества в "Отечественных Записках". Белинский стал там, по словам Анненкова, "смутителем московской жизни; без его раздражающего слова, может быть, она сохранила бы долее тот наружный вид изящного разномыслия, не исключаяющего мягких и дружелюбных отношений между спорящими, который составлял ее отличие в первый период великой литературной распри, завязавшейся у нас. Белинский решительными афоризмами и прогрессивно растущей смелостью

* безделье (итал.).

своих заключений ставил ежеминутно, так сказать, на барьер своих московских друзей со своими врагами в Москве".

Анненков, умеренный либерал, преуспевает в роли "вечного спутника" своих друзей-западников, описывает и поясняет их высказывания и поступки, но сам избегает лично выступать и давать свое мнение. Он внимательно следит за развитием их отношений со славянофилами, отделяет их от последователей "официальной народности", Шевырева и Погодина, и пишет : " ... пока в славянской партии господствовало полное отрицание европеизма, невозможно же было никакое примирение и соглашение. Через это препятствие именно и перешагнули Киреевский, Хомяков и его друзья, когда в 1845 г. приняли в свои руки редакцию журнала "Москвитянина". Они сделали первый шаг навстречу западникам <...>. Тогда и оказалось с первого же раза, что для славянской партии *тип* европейской цивилизации столько же дорог, как и любому европейцу, но дорог не как готовый образец для подражания, а как надежный вкладчик в капитал собственных умственных сбережений русской народной культуры".

Анненков наблюдает, как "мирное сообщество друзей науки и просвещения" становится жертвой журналистских прений. Неужели в расколе между умеренными западниками и славянофилами виноваты в первую очередь "светскость" Шевырева и "неистовство" Белинского? Грановский отказывается осудить Белинского после публикации "Педанта", злой сатиры на его коллегу Шевырева, но в Соколове, на прогулке в полях, во время жатвы, Анненков рассказывает, как он сумел отмежеваться от некоторых суждений по поводу крестьянства и народности: "Крестьяне и крестьянки убирали поля в костюмах, почти примитивных, что и дало повод кому-то сделать замечание, что изо всех женщин одна русская ни перед кем не стыдится и одна, перед которой также никто и ни за что не стыдится", Анненков записывает возмущение Грановского: "Надо прибавить, что факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться, чтобы она хорошо делала, потворствуя косвенно этого рода цинизму, распространением презрительного взгляда на народность". Завязался спор. О чем? о народности? или о народе? О том, как Белинский оспаривал понятия о народности славянской партии, во имя петровских реформ, и обижал при этом

национальное чувство своих московских друзей? Или об отношении образованного общества к самому народу?

Кетчер заступает за автора "шутки": как можно обобщать каждое пустое замечание? "А если уж обобщать, Грановский, так ты бы лучше поставил себе вопрос: не участвовал ли сам народ в составлении наших дурных привычек и не есть ли наши дурные привычки именно народные привычки?" Грановский уточняет Кетчеру, что "во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам, я сочувствую гораздо больше славянофилам, чем Белинскому, "Отечественным Запискам" и западникам". Он добавляет: "Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная или невольная, похожа на оскорбление ребенка <...>, официальных адвокатов у них нет". Все соглашались, даже Грановский, что "все резкие антинациональные выходки Белинского происходят еще из горячего демократического чувства, возмущенного тем состоянием, до которого доведены народные массы".

Этот спор, отмечает Анненков, был первым крупным проявлением мысли о необходимости более разумных отношений к простому народу. "Литература и образованные умы наши давно уже расстались с представлением народа как личности, определенной существовать без всяких гражданских прав и служить только чужим интересам, но они не расстались с представлением народа как дикой массы, не имеющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя". Подчеркивая, что "тон горделивый, полубарского и полупедантического презрения к образу жизни и к измышлениям темного, работающего царства водворился незаметно в среде образованных кругов", Анненков видит в "кичливости образованностью" темную сторону западничества: "Спор, изложенный выше, был результатом давнишнего желания одного отдела наших западников заявить формальный протест против легкомысленного трактования вопросов народной жизни, каким погрешали некоторые ряды его собственной партии".

"Подвижной конгресс", по выражению Анненкова, из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, целью которых было перекинуться идеями и известиями, интересовался всеми современными вопросами. Обсуждение основных начал публичной жизни считалось делом

праздным: политические разговоры ограничивались юмористическими анекдотами. Зато европейские дела, учения, открытия, и особенно теории о "европейском социализме" составляли главную тему в разговорах. Именно на этой почве возникли разногласия между "главнейшими представителями", Герценом и Грановским. По поводу "русского социализма", состоящего из учения об общинном и артельном порядке производства, который славянофилы сочетали с христианским началом, они были согласны: нелегко признать эту первобытную форму производства и распределения земли, вызванную постоянной опасностью голода, образцом идеального экономического устройства; с развитием свободы и благосостояния русский народ неизбежно откажется от нее.

Но Грановский не одобряет идей Прудона, Вейтлинга, западных социалистов: они отвлекают от решения задач общественной жизни на политической арене, т.е. в перспективе правового государства. Со своей стороны, Герцен признает, что социализм должен потрясти все основы разлагающейся европейской цивилизации. Предчувствия этого переворота волнуют Грановского; он не испытывает никакой симпатии к надеждам и ожиданиям от этого мнимого перерождения. Тут уже намечаются будущие расхождения 50-ых годов между либералами и радикалами, но разрыв личных отношений между Герценом и Грановским вызван скорее религиозными, чем политическими причинами. Книга Фейербаха "Сущность Христианства" возбуждает у Герцена убеждение, что переворот, совершенный в области метафизических идей, связан с политическим переворотом, который возвещают социалисты⁴⁷⁸.

Не с целью убедить своих противников, а с желанием завоевать новую публику, Герцен пишет тогда для "Отечественных Записок" свои "Письма об изучении природы". В университете он присутствовал на лекциях по сравнительной анатомии профессора Глебова и на лекциях по зоологии профессора Рулье. Он ссылается на Бюффона, Линнея, Гумбольдта, Гете, Кювье, опирается на историю философии Гегеля и строит систему, которая должна одновременно опровергнуть метафизическое мышление (идеализм) благодаря эмпирическому подходу и избежать заблуждения во множестве фактов, благодаря логичному философскому подходу. Станкевич хвалил плодотворное открытие "новой философии": история искусства является одновременно его теорией. Герцен использует в свою очередь это "счастливое совпадение" между логикой и хронологией и отождествляет историю научной мысли с теорией познания. Он последо-

вательно рассуждает о греческой философии, о схоластике, о современности, но останавливается на Бэконе и Декарте. В своем восьмом и последнем письме, "Реализме", он осуждает крайности XVIII века, ведущие от Юма к скептицизму, от французских материалистов к грубому материализму, и выступает за примирение, к которому приступили Шеллинг и Гегель и которое со временем должно утвердиться⁴⁷⁹.

Реализм Герцена - форма историзма, он основан на вере в науку; для религии больше никакого места не остается. Хорошо это понял Грановский, он возобновил в 1846 году свои публичные лекции по истории Франции и Англии. Летом, с Герценом и Огаревым, вернувшимся с Запада после четырех лет отсутствия, он спорит об этом восьмом письме и заявляет, что воззрение Герцена исторический момент в развитии научной мысли, как и сочинения энциклопедистов: "Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед; ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?" Узвленный Герцен хотел бы, чтобы Грановский признал, учитывая современный уровень развития науки, обязанность, истину независимо от личных пожеланий. "Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души, - возражает Грановский. - Я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой". Огарев замечает ему, что он видит в этом бегство от несчастья; Грановский бледнеет, поднимается и просит, чтобы в его присутствии этих вопросов больше не затрагивали. Несмотря на дружбу, которая связывает их на протяжении многих лет, разрыв произошел⁴⁸⁰. Герцен и Огарев нетерпимые, заядлые полемисты. Не зашли ли они слишком далеко? В Москве, даже среди своих, среди западников, они начинают себя чувствовать отстраненными.

Решающий эпизод в том, что Анненков называет "большим литературным конфликтом", развернется теперь вокруг произведения Гоголя. Первая часть "Мертвых душ" вышла в мае 1842 года в издательстве Московского университета; она была встречена сразу же с невероятным успехом в столицах и быстро дошла до провинции. Герцен читал экземпляр, привезенный Огаревым еще в Новгород и записывал в своем дневнике 11 июня 1842 года: "Удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений,

там он видит удалую, полную сил национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее; но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование *ins Blaue**, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди"⁴⁸¹.

Белинский, как только появилось произведение, которое Гоголь назвал "поэмой", отзывается статьей в "Отечественных Записках". Краевский его бессовестно использует; Белинский расходует свои силы, нанося в библиографических отчетах, в кратких критических статьях, колкие удары своим вечным врагам, раболепным публицистам из Петербурга и светским славянофилам из Москвы. Но лучшее в себе он сохраняет, чтобы защищать при каждом удобном случае просветительские начинания Петра Великого. С 1843 по 1846 гг., он пишет серию объемных статей, посвященных Пушкину, что служит еще раз предлогом для опи_сания истории современной России через литературу. Он заговаривает о Пушкине лишь в шестой статье; предыдущие статьи посвящены его предшественникам: Державину, Карамзину, Жуковскому, Батюшкову и другим поэтам и прозаикам, послужившим проявлению подлинной русской литературы. Эта литература нашла свое воплощение в Пушкине, который "по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по своей натуре". И Белинский пророчествует: "Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать не только эстетическое, но и нравственное чувство". Это утверждение может показаться неуместным тем, кто продолжает почитать русских "Вольтеров", "Буало", "Расинов", этих знаменитостей риторической литературы XVIII века, лишенных уважения в "Литературных мечтаниях". Есть люди, признающие гений Пушкина, но обижаящиеся при мысли, что можно объединить имена Пушкина и Гоголя. Пушкин первый, напоминает Белинский, понял и оценил талант Гоголя; их отношения напоминают отношения Гете и Шиллера; именно Пушкин подсказал Гоголю сюжет "Мертвых душ".

По поводу "Мертвых душ", повторяя известную пушкинскую строку, Белинский восклицает: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!"

* ВВЫСЬ (нем.).

"Мертвые" души прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе многих причин есть и та, что "Мертвые души" не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом поженились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не "сюжет" <...>. "Мертвые души" требуют изучения <...>. "Комическое" и "юмор" большинство понимает у нас как шутовское, как карикатуру, и мы уверены, что многие не шутя, с лукавою и довольною улыбкою от своей пронизательности, будут говорить и писать, что Гоголь в шутку назвал свой роман поэмою <...>. Именно так! Ведь Гоголь большой остряк и шутник и что за веселый человек, Боже мой! Сам беспрестанно хохочет и других смешит!"

Белинский напоминает, что автор пообещал продолжить свою поэму, и цитирует заключение первой части, описание бешеной скачки тройки, увозившей Чичикова: "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади, остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?"

Поэт Гоголь застыл, пораженный ужасом, при зрелище видения, которое он сам породил, которое перекликается со грозным "Медным всадником", посланным Пушкиным вдогонку за бедным Евгением. "Россия, куда ты так несешься?" - спрашивает Гоголь. Она не отвечает. "Чудным звоном заливаешься колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства..."⁴⁸³

На этом и останавливается Белинский в своем "предварительном изучении"; он ограничивается сожалением о том, что возвышенный лирический пафос Гоголя остается недоступным большинству читателей, Куда идет Россия? К какому славному будущему? или к какой пропасти? Страшный вопрос задает себе поэт и не дает на него ответа. Пока что. А истолкование поэмы Гоголя становится решающей ставкой в рамках исторического спора между славянофилами и западниками.

Шевырев, конечно, выражает свое мнение в "Москвитяине". Белинский только что высмеял его в "Педанте", литературном порт-

рете: начитанный педант путешествовал по Европе, пока еще царила риторическая литература в России; вернулся он домой с брюшком и надутым от важности. На своих лекциях, запивая каждую фразу глотком сладкой воды, он хвастает, что встречался с Бальзаком, критикует немцев и сообщает аудитории, что пытался читать "Эстетику" Гегеля, но предпочел ей более развлекательные работы. Добрый малый, весельчак и любезный человек, когда ему льстят, он становится злым и подлым, как только считает, что его самолюбие задето.

Столкнувшись с нагромождением пошлостей, которыми Гоголь украшает рассказ о зловключениях своего антигероя Чичикова, Шевырев оказывается перед весьма сложной задачей, но заявляет, что именно ему, из-за личных его отношений с Гоголем, а не другим, принадлежит по праву осмыслить значение поэмы Гоголя. Он различает двух персонажей в романе, "поэт, увлекающий нас своею ясновидящею и причудливою фантазиєю, веселящий неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, и человек, плачущий глубоко и чувствующий иное в душе своей в то самое время, как смеется художник". Тот, кто тщетно пытался ввести итальянскую октаву в русскую просодию, видит в Гоголе прежде всего артиста: только в Италии, на родине Данте и Ариосто, он мог написать свою поэму! Он адресует ему, однако, упрек: "Комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском быте и русском человеке, которыми усеяна поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхват русского мира". Шевырев сожалеет об отсутствии заключения, примиряющего с русской действительностью, об отсутствии положительного героя в этой первой части "Мертвых душ".

Длительное знакомство с Гоголем должно было бы приучить Шевырева к дурной привычке автора "Ревизора", к привычке искать своего героя не в персонаже, способном послужить образцом, а в обличительном смехе публики. Шевырев пытается смягчить разрушительное действие этого смеха: "Все злоупотребления, все странные обычаи, все предрассудки облекает он одною сетью легкой смешливой иронии. Так и должно быть, поэзия не донос, не грозное обвинение. У нее возможны одни только краски на это: краски смешного"⁴⁸⁴. Парадоксально то, что Шевырев, упрямый хулитель Гегеля, которого он наверняка не читал, использует определение,

которое Гегель дает комической субъективности. Он противопоставляет ее сатире: она преобладает над обманчивой внешностью, Аристофан показывает, как глупость разрушает саму себя. "Комедия не должна представлять разумное под угрозой неминуемой катастрофы, а наоборот победителем всех глупостей, всего безрассудного в действительности". Шевыреву, несомненно, подобает филистерское мнение Гегеля, считающего, что принадлежат именно комедии веселость и уверенность, позволяющие человеку возвыситься над противоречием, вместо того, чтобы страдать от него⁴⁸⁵.

Белинский, напротив, не испытывает ничего подобного. Чтение "Мертвых душ" его воодушевило! Вместо того, чтобы видеть здесь игру ума со смешной внешностью, он обнаруживает решительное осуждение крепостничества, бюрократического аппарата, засилья коррупции, русской действительности как таковой. Не имея возможности выразить это открыто, Белинский оспаривает противоположные аргументы, иронизирует над манией комментаторов, безнадежно ищущих в галерее персонажей, предложенных Гоголем, "положительную" фигуру. Чичиков? это негодяй, которого Гоголь "запряг в свой роман", признавая, что ему, честно говоря, невозможно прибегнуть к услугам "добродетельного человека", этой старой клячи, которой все ребра можно пересчитать. Достойны презрения и Коробочка, недоверчивая, глупая и жадная, которая попусту волнуется и живет рядом со своим курятником, и Собакевич, хитрый и лишенный угрызений совести помещик, и Плюшкин, пародия на "Скупого рыцаря" Пушкина, чьи крепостные мрут, как мухи. Остается для выбора, может быть, Ноздрев, он ни добр, ни зол, он мот, сварливый старик, лжец по убеждению; или Манилов, прекрасная душа, волнуемая самыми благородными устремлениями, привлекательный фразер, но бездеятельный, оторванный от действительности? Белинский делает вывод, что, за неимением достойного кандидата, Шевырев проявляет восхищение по отношению к Селифану, кучеру Чичикова, "неиспорченная русская натура" - наверное, западной цивилизацией. Он говорит с лошадыми! Он напивается только за компанию, и всегда в хорошей компании! Он с готовностью принимает палочные удары! Правда, что, мертвецки пьяный, Селифан опрокинул бричку и вывалил из нее барина, но, защищает его адвокат (Шевырев), русский мужик способен также вытащить вас из передраги, на авось,

даже провезти по соломенному мосту. "Правда! Но правда и то, что много людей пропадает в оврагах, реках, на мостах и пр., благодаря авосу..."⁴⁸⁶.

Белинский оспаривает затем брошюру, автором которой стал его старый друг Константин Аксаков, утверждающий, что в "Мертвых душах" воскресает древняя эпическая поэзия. Смешно! - восклицает Белинский. - Оживить сегодня древний эпос? Современный роман со времен Сервантеса, Гете, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, Жорж Санд сменил тот литературный жанр, который поэты тщетно пытались обновить ... "В "Илиаде" жизнь возведена на апофеозу: в "Мертвых душах она разлагается и отрицается; пафос "Илиады" есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища: пафос "Мертвых душ" есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы". Белинский осуждает нетерпение Аксакова: "Истинная критика "Мертвых душ" должна состоять не в восторженных криках о Гомере и Шекспире, об акте творчества, о достоинствах Манилова, о неиспорченной русской натуре Селифана, о тройке и телеге: нет, истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения"⁴⁸⁷.

Стремясь не позволить славянофилам усвоить незаконно "русскую субстанцию", утверждая, что они узнали свою народность в поэме Гоголя, Белинский принимает отныне скептический тон. Отстраняясь от любой народности, он видит в гоголевской выставке пошлостей лишь трагическое свидетельство того, что в России отсутствуют общечеловеческие ценности, которые потом и кровью завоевал Запад. Гоголь - великий русский поэт, ни больше, ни меньше, его "Мертвые души" предназначены для России, только для России; в этом отношении они могут иметь огромное значение. Такова, в настоящее время, судьба всех русских поэтов, такова судьба Пушкина. Зато за Гоголем, этим великим поэтом, Белинский признает свободу выбирать свои сюжеты. Почему он не почерпнул в действительности другие характеры, нежели те печальные персонажи, которых он выставил на сцене? "Упрекать его за это все равно, что упрекать Лафонтена и Крылова, зачем они писали басни, а не оды"⁴⁸⁸. Гоголь является настоящим поэтом, его юмор благороден и спокоен; несмотря на тривиальность рассматриваемых сюжетов, нет ничего грубого,

вульгарного в его сочинениях. Попытки Булгарина и Сенковского валять его в грязи ничего в этом не изменят.

На этом дело не кончится. Живя в Италии, Гоголь ведет на протяжении всего своего произведения, в лирическом тоне, полусерьезный, полупародийный диалог со своим далеким читателем: "Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприятно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами..." и т.д. Или: "Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?" Чего хочет Россия? Продолжения первой части "Мертвых душ"? Гоголь в этом убежден и, осложняя еще свое положение, он раздаст обещания: "Может быть, в сей же самой повести почувются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божественными доблестями, или русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всею дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга перед живым словом"⁴⁸⁹.

Слишком много обещаний, комментирует Белинский, приводя весь этот отрывок. Где взять то, что еще не существует? "Нам как-то страшно, чтоб первая часть, в которой все комическое, не осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить трагические элементы, не сделались комическими по крайней мере в патетических местах... Впрочем, опять-таки, кто знает?"

Большой ошибкой Гоголя было бы, по примеру славянофилов, принять свои мечты за реальность. Опасаясь ложного вдохновения поэта, ограничивая его восприятием "возможного", а не "выдуманного", Белинский пересматривает начала эстетики Откровения, которая освобождала его от всякой ответственности и узаконивала все его нововведения. Во имя истины? Акт творчества остается могучей силой, несомненной, как математическая интуиция, но Белинский добавляет: "В наше время мерилом величия поэтов принимается не акт творчества, а *идея, общее*". Долгом критика становится напоминать художнику, что "великая для художника задача выбирать предмет и содержание для произведения; этот предмет и это содержание всегда должны быть осознанно определены; иначе художественное произведение будет неполно, несо-

вершенно, то, что французы называют *manquée**. И потому великая ошибка для художника писать поэму, которая может быть возможна в будущем⁴⁹⁰.

В литературном отчете, который он составляет каждый год для журнала Краевского, Белинский неустанно возвращается к своим любимым темам: осуждение риторической школы, противопоставление старого и нового, роль Пушкина в становлении истинной русской литературы, ссылки на мировую литературу. Произведение Гоголя является отныне его любимым оружием. В статье "Русская литература в 1843 году" он восклицает: "Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, и потом сатирический дидактизм". Он метит, с одной стороны, в Михаила Загоскина, автора популярных исторических и патриотических романов "Юрий Милославский или русские в 1612 году", "Рославлев или русские в 1812 году" и, с другой стороны, в "сатирика" Фаддея Булгарина, "обличителя пороков века", автора "злочлчений плута, Ивана Выжигина"⁴⁹¹.

Ослепленный своим конфликтом со славянофилами, Белинский не признает, что "Мертвые души" принадлежат литературному жанру, который так удался его личному врагу, Булгарину. Плутовской испанский жанр был введен в Россию в XVIII веке, правда, через посредство "Жиля Блаза" Лесажа. Французский писатель устранял религиозную и философскую проблематику испанского оригинала в пользу развлечения, вызвал много подражаний, а именно "Русского Жиля Блаза" Нарезного и "Выжигина" Булгарина. Белинский сомневается в нравственном воздействии такой "сатиры", он видит ее истоки в творчестве Сумарокова, "гонителя пороков", этого риторического автора прошлого века, забытого вместе с риторической школой. Россия ждет другого! Не Гоголя ли? Однако, не приписывает ли себе автор "Мертвых душ" ту же роль гонителя? Не представляет ли он своих печальных героев в утрированном виде, чтобы скорее их разоблачить? Вся разница в том, что он не прибегает к старым рецептам, к услугам резонера, добродетельного человека. Он хочет, чтобы его герои сами себя разоблачили. Кто может лучше способствовать этому, чем антигерой? Гоголь запряг в свою поэму загадочного персонажа, Чичикова, чья плутовская сущность полностью открывается нам только в конце. Он доверяет своему "сквозному

* неудачно (фр.).

герою" задание разоблачать пошлость, слабоумие, низость своих собеседников, подкупая их самым необычным способом. Упорное стремление Чичикова стать миллионером любой ценой не делает его антипатичным персонажем, скорее, напротив. Он так старается быть на высоте в самых небывалых ситуациях! Он проявляет такую деятельность, что автор вынужден использовать редкие моменты передышки, чтобы высказаться самому и разделить свои собственные впечатления с читателем. Они напоминают "лирические отступления" Байрона или Пушкина, но Гоголь не выдает себя. Маска "шутника" позволяет ему построить театр со всей видимостью реальности, только видимостью, поскольку злоупотребление зачастую ненужными деталями, привычными клише, пародическими портретами расчленяет на части и вновь собирает разношерстный набор персонажей. Инсценировка, созданная из обрывков бытовой действительности, приводит в замешательство посредственного читателя, к которому, как предполагается, обращается автор, но обольщает настоящего читателя, того, чье сердце и разум он хочет затронуть, того, кому он хочет помочь преодолеть предрассудки и овладеть собственным мнением. Гоголь уже так поступал в "Ревизоре", в "Петербургских рассказах", особенно в "Шинели", но в "Мертвых душах" возникает серьезное препятствие. Традиция плутовского романа требует, чтобы, в конце греховной жизни, негодяй, антигерой, пережил искупление, позволяющее ему исповедать свои печальные подвиги. Будь Чичиков не только движущей силой антигероической эпопеи, будь он также плутом, заслуживающим искупления, то адекватна ли оправа, выбранная Гоголем? Чичиков привлекателен, правдоподобен настолько, насколько он неисправим. Согласился бы читатель следовать за ним дальше, если бы он в самом деле намеревался искупить свои ошибки и предпринимал духовный подвиг? Гоголь в этом не уверен и колеблется. Все становится ясным, если прочитать подзаголовок "Мертвых душ": "Злоключения Чичикова". Зачем лишать читателя этих злоключений? Гоголь заканчивает первую часть, заверяя его: "Как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит читатель потом". Но тотчас спохватывается: "Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны

читатели". Какого читателя счел нужным заверить Гоголь? Не того ли, которого он чернит, "патриота", способного одновременно осудить его произведение: - "Зачем выставлять напоказ нашу нищету? Что подумают за границей?" и при этом оценить его как приятное развлечение: "Каков взгляд! должно быть, автор веселого нрава человек!"⁴⁹²

Назвав "Мертвые души" поэмой, Гоголь предупредил, что речь идет о фикции, а не о реальном описании. Гоголь моралист, он приглашает своих читателей пуститься в поисках блага по крепостнической Руси в тройке Чичикова, в сопровождении его лакея Петрушки и кучера Селифана. Найдут ли они брод между фикцией и действительностью, развлечением и нравственным уроком? Этот брод, Белинский считает, что он уже его нашел, но не в испанском плутовском романе, а во французском современном романе, у Эжена Сю, Поля де Кока, Жюль Жанена. В 1844 году он посвящает огромную статью "Парижским тайнам", в которой, вдохновляясь "Историей десяти лет" Луи Блана, он разоблачает эксплуатацию рабочего капитализмом, лицемерную филантропию буржуазии, иллюзорный характер конституционных гарантий; короче говоря, он предается осуждению режима Луи-Филиппа, что не может раздражать власть в России. Не осудил ли радикально короля узурпатора Николай I? Но, конечно, не о Франции, а о России думает Белинский, когда утверждает, что своих истинных поэтов народ вскоре найдет.

Своего народного поэта русский народ вскоре найдет в лице Николая Некрасова. Белинский начал с того, что разнес его за сборник "Мечты и звуки". Он полагал, что юный автор самоучка, запоздалый романтик, недавно приехавший в Петербург, подражатель Бенедиктова. На самом деле Некрасов, вечно оборванный бродяга в жестокой столице, рано состарившийся юнец, жаждет признания и богатства; в нем проявляются все черты подлинного испанского плута! Это его призвание, это его вдохновляет сочинить своего рода автобиографию, "Жизнь и похождения Тихона Тростникова", он показывает Белинскому отрывки, где, в трагикомическом стиле, он рассказывает о своей собственной "литературной карьере". Белинский выбирает один отрывок, "Петербургские углы", и приглашает Некрасова прочесть его в салоне Авдотьи Яковлевны, супруги Панаева, где собирается цвет просвещенного общества столицы. Выставление напоказ мерзостей и нищеты столицы, скабрёзные сцены, сильные контрасты, подчеркнутые саркастическим юмором автора, вызывают

более чем сдержанный прием. Он не умеряет восторг Белинского: не должна ли литература выявлять читателю истину, даже самые гнусные аспекты общественной жизни? Он видит в русском пикаро, в Некрасове - продолжателя Гоголя; его манера уловить одной существенной чертой манию, тик, представителей различных общественных слоев, напоминает автора "Шинели".

Изучение нравов, сцен повседневной жизни, списанных с натуры, визиты в вертепы Петербурга днем и ночью, в подражание "Парижским тайнам", все это в моде. Вовремя берется Некрасов за эксплуатацию этого жанра. После упорного труда, в 1845 и 1846 годах, он издает свои альманахи: "Психология Петербурга" и "Петербургские рассказы". Они собирают блестящую плеяду молодых "физиологов", надежду юной русской литературы: Федора Достоевского, Дмитрия Григоровича, Ивана Тургенева, Владимира Соллогуба, Герцена под псевдонимом Искандер, Владимира Даля. Литература, посвященная Петербургу, оживляется новыми персонажами: шарманщиком, швейцаром, кучером и т.д. Полемизируя именно по этому поводу, в январе 1846 г., в своей "Северной Пчеле", Булгарин называет "натуральной школой" это новое направление в литературе. Белинский благодарит его: "Г. Булгарин очень основательно прозвал новою натуральною школою, в отличие от старой риторической, или не натуральной, т.е. искусственной, другими словами ложной школы"⁴⁹³. Он ставит под покровительство Гоголя эту школу, единственным героем которой является истина. Красноречивым примером, в письме Кавелину, в декабре 1847 г., он ее описывает: "Что хорошие люди есть везде, об этом и говорить нечего, что их на Руси, по сущности народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами славянофилы <...>. Но вот горюто: литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в риторику и мелодраму, т.е. не может представлять их художественно такими, какие они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с тою общественною средою, в которой они живут <...>. Вот, например, честный секретарь уездного суда. Писатель риторической школы, изобразив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем, что за его добродетель он получает большой чин и делается губернатором, а там и сенатором. Это цензура пропустит с большою охотою, какими бы негодьями не был обставлен этот идеальный герой повести, ибо он один выкупает

с лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для которого всего дороже истина, под конец повести представит, что героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с бесчестием от места, которое он портил, и пустили с семьею по миру, если не сослали в Сибирь, а общество наградило его за добродетель справедливости и неподкупности эпитетами беспокойного человека, ябедника, разбойника и пр., и пр."⁴⁹⁴

В своих нападках на натуральную школу Булгарин не ограничивается обменом любезностями в прессе; он направляет в III Отделение секретную докладную записку "Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее 25-летие". Он выступает против направления "Отечественных Записок", разрушительной силы статей Белинского и утверждает, что "огромный класс, ежедневно размножающийся, людей - кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить - почитают "Отечественные Записки" своим Евангелием, а Краевского и первого министра Белинского (выгнанного московского студента) апостолами". Узнав, что Белинский собирается оставить "Отечественные Записки", поссорившись с Краевским, Булгарин поправляет: Ложь! это договоренность между двумя сообщниками для отвлечения внимания властей. Чтобы удалить Белинского из столицы, Краевский даже дал ему денег, будто бы на лечение в Крыму⁴⁹⁵.

Булгарин истолковывает по-своему информацию, являющуюся в конечном счете точной. Некрасов и Панаев, издатели успешного альманаха, приобретают "Современник" для регулярного издания. Этот литературный журнал был основан Пушкиным в 1836 году; его друзья: князь Петр Вяземский, князь Владимир Одоевский, поэт Жуковский, Гоголь сотрудничали в нем. Он раздражал братьев своим "аристократическим тоном", но вел непримиримую войну против продажной петербургской журналистики. После трагической смерти Пушкина "Современником" руководил один из его близких, Петр Плетнев, ректор Петербургского университета. В нем вышли неизданные прозаические произведения Пушкина, настоящее откровение для русской публики, особенно для Белинского. Но журнал угасал непоправимо и насчитывал всего лишь 233 подписчика в 1846 году! Новые редакторы действуют чрезвычайно осторожно, отдают журнал официально под начало Александра Никитенко, либерального профессора, члена цензурного комитета Петербурга, но при этом

обеспечивают себе сотрудничество Белинского, которого они "вырвали из-под ногтей" Краевского!

В октябре 1846 года Белинский, изнуренный и больной, возвращается в Петербург после длительной поездки по России. В апреле, удаляясь от столицы, от "Отечественных Записок", вместо того, чтобы лечиться в Крыму, он уехал сопровождать старого друга, актера Михаила Щепкина, в его театральные гастролях. Они едут из Москвы до Симферополя, проезжая Калугу, Воронеж, Курск, Харьков, Одессу. Он теперь окружен заботой и любовью нового поколения, которое видит в нем властителя дум, главу натуральной школы. Его переход в "Современник" встречен как историческое событие. Николай Чернышевский, будущий руководитель журнала, сообщает другу: "Все наши теперь действующие и пишущие знаменитые люди литературные - сотрудниками. Между прочими Белинский".

Поэт Языков сообщает Гоголю: "Современник" купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же, следовательно, с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием щелкоперов". Петербургский корреспондент Дмитрия Голохвастова сообщает о своем беспокойстве кузену Герцена, руководящему Московским цензурным комитетом: "Издание этого журнала будет последним соур de grâse* нашей нравственности и нашему монархизму. Увидят это: иные к своей адской радости, другие к скорби неутешной. Я не теряю из памяти 1788, 1789 и 1790 годов французского переворота. Не так ли французская литература переходила в руки Бомарше и Мирабо? У добрых людей останется одна надежда, хотя и макиавеллистическая: видеть столкновение Белинского и Некрасова с Краевским"⁴⁹⁶.

Тем временем в Риме, вдали от России, Гоголь готовит на 1846 год второе издание "Мертвых душ". Столкнувшись со столь резкими и противоречивыми реакциями, он его снабжает предисловием, которое начинается так: "Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте не стоял, в каком бы звании не находился, почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия, но если тебя вздумал Бог грамоте и попалась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь мне". Гоголь признает себя виновным: "В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и согую часть того, что

* смертельным выстрелом (фр.).

делается в нашей земле". Он желает, чтобы опытные люди, хорошо знающие среду, которую он описывает, сделали свои замечания по поводу всей его книги, не пропуская ни одной страницы, чтобы они читали ее с пером в руке, с листом почтовой бумаги, лежащей рядом, и послали затем ему свои замечания и собственные рассуждения с тем, чтобы он смог дополнить и исправить то, что сам написал⁴⁹⁷.

Прочитав это фантастическое предисловие, Белинский тотчас отзывается, он не может позволить автору обесценить образ, созданный им самим по поводу своей книги. Он представляет себе всех русских людей, особенно людей невысокого образования. невысокой жизни, простого сословия, сидящими над книгой "Мертвые души" и пишущими свои замечания Гоголю: "Писать не умеют, а надо". Не было бы лучше лично навестить Гоголя в Риме? "К чему весь этот фарс?" В заключение Белинский цитирует самого Гоголя, реплику из комедии "Женитьба": "Поди ты, спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает..."⁴⁹⁸

"Взгляд на русскую литературу 1846 года", вместе с этой критикой предисловия опубликованы в первом номере "Современника", в январе 1847 года. В том же номере выходят повести Тургенева, Достоевского, Панаева, стихи Некрасова и Огарева. В то же время в Петербурге выходит под редакцией П.А. Плетнева последнее произведение Гоголя, "Выбранные места из переписки с друзьями". Сочинение начинается с исповеди и с духовного завещания. Оправляясь от тяжелой болезни и депрессии, автор подводит итог. Он будто опережает тех, к кому он обращался в предисловии и отвечает на самые различные вопросы: о месте женщины в обществе, о поэзии в России, о церкви и духовенстве, о театре, о любви к России, о справедливости, о землевладельце, об администрации. Рука цензора, Александра Никитенко, вымарала все места, способные задеть власти, и существенно исказила искренность содержания. Смирный Гоголь, верующий и кающийся, заботится лишь о том, как раздать советы, наставления всем, кому надо. Стремится ли он выразить тут то, что ожидают от обещанной повести, в которой, может быть, "почуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа": долгожданное проявление народности или постыдная рисовка больного человека? То, что Константин Аксаков называет сатанинской гордостью, его брат Иван считает христианским смирением. По мнению Самарина, Гоголь нырнул в бездонный пруд, в мир, опозитизированный отсутствием самого идеала;

он сам принудил себя к испытанию, стремясь к самоочищению, раскаянию, в надежде найти человеческий отклик.

В чем бы то ни было, что общего между Гоголем и славянофилами? Ему чужда их привязанность к деревенской общине, он не нападает на Запад, он смиренно признает, что, как и его соотечественники, он не знает своей родины, он не намерен щеголять перед Западом и давать ему уроки. В его "христианской утопии" нет места ни государству, ни гражданскому обществу, Гоголь замыкается в патриархальном обществе, морально очищенном и живущем по-христиански. По поводу отрицательных суждений читателей, которых в первой части "Мертвых душ" шокировала пошлость персонажей, возникших будто бы из какого-то склепа, он пишет: "Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне". Пушкин, первый читатель "Мертвых душ", удивил Гоголя, воскликнув: "Боже, как грустна наша Россия!" Пушкин, так хорошо знавший Россию, не заметил, что это все были карикатура и плод его воображения. "Тут-то я увидел, - признается Гоголь, - что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света". Он не утверждает, что писал с натуры портреты незначительных персонажей, он заимствует у всякого отрицательную черту и собирает все эти черты в фиктивных лиц, чтобы их законные владельцы испытали от этого еще большее отвращение: "Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся пошлость и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, вот и все!" Время еще не настало русским любоваться своим духовным богатством? "Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: "Смотрите, немцы: мы лучше вас!" Это хвастовство губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим!"⁴⁹⁹

Незавидно положение Гоголя: он не освоился ни среди славянофилов, ни среди западников. Мог ли он ответить чаяниям и тех и

других? Должны ли "Мертвые души" считаться эпопеей, выявляющей народность России? Или социальным романом, осуждающим ее пороки? Или же "Божественной комедией", состоящей из Ада, Искупления и Спасения, но увы в сопровождении неисправимого Чичикова! Не в состоянии довести его до раскаяния, Гоголю остается одно, самому облачиться в костюм пикаро, исповедаться в личных прегрешениях и пригласить своих читателей сопровождать его в этом паломничестве. Белинский, естественно, не может с этим согласиться, он об этом не медлит сообщить в "Современнике". Упреки Белинского жестоки. Он оплакивает смерть художника, его превращение, вследствие болезни, в нечто вроде *suré du village**, сомневающегося в способностях, в желании русского народа вырваться из невежества. Он цитирует рапорт 1846 года министра государственных имуществ графа Киселева: " ... из него увидит он, как быстро распространяется в России грамотность между простым народом <...>. Да эта любовь к свету <...> составляет одно из лучших и благороднейших свойств русского народа". Он упрекает даже Гоголя в непростительном незнании об усилиях правительства в улучшении судьбы крепостных!

Но самое главное в том, что Гоголь - "ренегат", потому что он предаёт тех, кто защищал его творчество и отдаёт их во власть тех, кто поносили его; теперь они шумно торжествуют. Гоголь сбился с пути: "Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь!"

Боткину, упрекающему его за несдержанные речи там, где он должен был бы проявить умеренность и рассудительность, Белинский отвечает: "Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом полисьи <...>. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошо, если бы я в ней мог, зажмутив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству"⁵⁰⁰.

Время компромиссов прошло, судьба журналов все более зависит от публики, она пристрастно следит за дебатами, требуя твердости и смелости от выступающих. Белинский - не только убежденный человек, он журналист, он усвоил, в каких тяжелых условиях живет эта профессия в Петербурге. Именно в этой перспективе в апреле 1847 года он высказывает умеренному Боткину свою точку зрения. Предлогом служит его мнение о Н.А. Мельгунове. Бывший любомудр,

* сельского священника (фр.).

в прошлом - ментор Станкевича, "homme à projets", он стал активным посредником между Германией и Россией со времени сотрудничества с Кенигом над публикацией в 1837 году в Штутгарте "Literarische Bilder aus Russland"*: "Бог послал нам в нем сотрудника уже чересчур деятельного и плодовитого. Это с одной стороны хорошо, а с другой вовсе нехорошо. Николай Александрович человек умный и образованный, с кропотливым усердием он следит за всем новым, и нет ничего нового, чего бы не принял он к сведению. Но, по своей натуре, он не в состоянии усвоить себе никакого резко определенного, характеристического образа мыслей. Он примиритель; московский Одоевский. Он чуть не плачет, когда у нас при нем Шевырева называют поддецом (я сам был свидетелем этому), и я уверен, что он тоже чуть не плачет, когда Шевырев при нем честит меня по-своему. Ему хотелось бы всех нас свести и помирить. Он не понимает антипатии убеждений и натур. <...>. Это отражается и в его статьях: он хлопочет, чтобы в них не было односторонности, пристрастных убеждений, нетерпимости, узкости в созерцаниях и понятиях, а достигает только того, что в них нет закваски, крепости, что они бесцветны, ни то, ни се. В них все умно, дельно, современно, по большей части справедливо; но читать их скучно, и от них мало остается в голове. Они благонравны в отличие от статей Герцена, которые решительные повесы и сорви-головы. Видишь ли что, Боткин: благонравие прекрасная вещь; я всегда готов награждать уважением, похвалами, но не ...ДЕНЬГАМИ. Платить деньги можно и должно только за статьи, по поводу которых не может быть раздумья: поместить или нет? но которых было бы грустно, обидно, досадно лишиться и видеть, как ими воспользовался другой журнал. В отношении к таким статьям деньги вздор, потому что такие статьи поддерживают журнал, дают ему ход и кредит, а деньги возвращают с хорошими процентами"⁵⁰¹.

Несмотря на эти "циничные" слова, Белинский, тем не менее, не превратился в афериста. Эта жалкая роль выпадет вскоре на долю Некрасова и надолго запятнает его репутацию "истинно народного русского поэта". Белинский же заботится прежде о том, как ответить ожиданию той огромной публики, которая выросла у него на глазах. В 1845 году, в альманахе "Физиология Петербурга" он выразил свое мнение под предлогом

* человек с постоянными проектами (фр.).

** "Очерков российской литературы" (нем.).

разъяснения "литературного спора" между Петербургом и Москвой, старого спора по поводу предполагаемого превосходства одной столицы над другой. Сердце Москвы, гордой хранительницы русских традиций, неуклонно тяготеет к русофилам, она остерегается западников, отражающих, в ее глазах, властолюбивый Петербург. Западник Грановский своей независимостью перед властями завоевал симпатию фрондирующей Москвы, но Погодин, Шевырев и славянофильское большинство преподавателей сохранили свое влияние в университете.

Белинский эту проблему рассматривает по-другому. Не цитируя Герцена, он оспаривает его точку зрения, слишком близкую, судя по его мнению, к славянофилам. В свое время, в Новгороде, в 1842 году, Герцен написал очерк, который нельзя было опубликовать, но который широко распространялся в рукописных копиях. По его мнению, Петербург живет лишь настоящим, каждую осень его может потопить шквал. Эту метафору он предлагает в форме загадки, "где иной раз всплывет что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией: кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра". О Москве говорится не лучше, это омут, втянувший в себя все лучшие силы и ничего не умевший сделать для них. "Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная. <...> В Петербурге все литераторы торгаши <...>. Они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней"⁵⁰².

"Петербург не мог не продолжаться, - возражает Белинский, потому что с его существованием тесно было связано существование Российской империи, сменившей собою Московское царство". Отрицать историческую важность Петербурга - значит не признавать роль Петра в истории России! Это окно, через которое Россия смотрит на Европу. Белинский считает напрасным всякое сравнение новой столицы России с другими европейскими столицами; его нужно было бы сравнить с американскими городами, с той разницей, что Петербург - новый город, построенный в старой стране, следовательно, он является его надеждой в будущем, вопреки заявлениям слабоумных (он намекает на славянофилов), по мнению которых европеизм

превращает русского в нерусского. Только азиатский образ жизни, дикий и некультурный, позволил бы остаться русским? "Есть у нас люди, которые европейскую одежду носят только официально, но у себя дома, без гостей, постоянно пребывают в татарских халатах, сафьянных сапогах и разного рода ермолках". И, однако, именно в Москву, свергнутую столицу, удаляются аристократы - жертвы опалы, и именно ее университет, самый старейший и лучший, привлекает студентов со всей России. Те из них, которые остаются в Москве, образуют со студентами особое среднее сословие. "Среднее сословие такого рода - оазис на песчаном грунте других сословий. Такие оазисы находятся во многих, если не во всех, русских городах". Говоря о "культурном оазисе", Белинский вспоминает о незабвенном кружке Станкевича, но придавая ему уже общественное и культурное значение, по мере того, как подобные кружки распространяются постепенно по всей России. "Люди, поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды, и потом, - торжественно предупреждает Белинский, думая о своем личном опыте, - если вовремя не выедут из Москвы, делаются москвичами и тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь надежды <...>. Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и, между тем, именно в Москве и нет никакой литературной деятельности". Эти вечные москвичи походят тогда на немцев, они студенты до тридцати лет, затем филистеры до конца жизни, не успев вовремя очеловечиться. Нужно непременно уехать из этого провинциального города в столицу: "Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато уж нет и домашнего и семейного затворничества: Петербург любит улицу, гулянье, театр, кофейню, вокзал, словом, любит все общественные заведения. Этого пока еще немного, но зато из этого может многое выйти впереди. Петербург не может жить без газет, без афиш и разного рода объявлений".

Размышляя о русской литературе, Белинский замечает, что "литература служит у нас точкой соединения людей, во всех других отношениях *внутренне* разъединенных". Имея в виду кружок Станкевича, он отмечает: "Первые журналы русские, которых и самые имена теперь забыты, издавались кружками молодых людей, сблизившихся между собой через общую

им всем страсть к литературе. Образованность равняет людей. И в наше время ужу нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, - кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают в друг друге просто людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою!"⁵⁰³

Именно на литературной почве славянофилы оказались слабее западников, несмотря на пламенные заявления; они не способны привлечь к себе талантливых писателей. Их альманахи "Славянский сборник", "Московский сборник" кажутся бесцветными по сравнению с альманахами, издаваемыми Некрасовым. Журналы "Отечественные Записки" и "Современник", отныне конкурирующие в Петербурге, выставляют имена и произведения, которые ждет большое будущее: Достоевский и "Бедные люди", "Двойник", Гончаров и "Обыкновенная история", Герцен и "Кто виноват?". Тургенев, верный обещанию, данному Станкевичу: "бороться за отмену крепостного права", и "Записки охотника". Безусловно, нет никакой особой духовной связи между этими честолюбивыми, обидчивыми, ревнивыми молодыми людьми, но все они внимательно относятся ко мнению того, чья власть бесспорна. Заслужив репутацию "могильщика московских журналов", Белинский сумел в Петербурге противостоять страшной безымянной публике, завоевать ее доверие и привлечь ее к небывалой жатве. Почву, на которой выросли плоды просвещения, Белинский полон и перепахивал годами, славя имя Гоголя. Настал час общего торжества. Увы, не быть чествованию, разгорается война, от которой глубоко будут потрясены основы создающейся общественности.

Живя во Франкфурте, Гоголь узнает о "подвиге" Белинского и пишет ему: "Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором номере "Современника". Не потому что мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке, меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого

в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и нейтральные - все огорчились"⁵⁰⁴ .

Белинского нет в Петербурге, когда приходит письмо Гоголя. Благодаря средствам, собранным по подписке среди его приверженцев, благодаря заботе его друзей, Анненкова и Тургенева, он уехал по следам Станкевича лечиться в Зальцбрунн. После многочисленных заболеваний предыдущего года, от этой поездки зависит, по мнению его друзей, спасение его жизни, бывшей на волоске. Больному чахоткой петербургский климат решительно не подходит. Думают о том, как устроить его с семьей в Москве. Женившись в 1844 году на Марии Орловой, болезненной женщине, принесшей ему больше забот, чем радости, он стал отцом девочки с 1845 года и только что потерял сына, новорожденного; крестным отцом его был Тургенев. Белинский выезжает из Петербурга 5 мая 1847 г., пересаживается в Кронштадте на пароход "Владимир" и прибывает к Тургеневу в Берлин 9/21 мая. В Дрездене, с Тургеневым, они проводят несколько дней; 14 мая вечером, в опере, они слушают Полину Виардо в "Гугенотах". Прибыв с Тургеневым в Зальцбрунн 22 мая, Белинский начинает свой курс лечения. 29 мая приезжает в Зальцбрунн Анненков. Белинский строго выполняет предписанный режим и дружно проводит время с Анненковым и Тургеневым, который их покидает 28 июня/10 июля. Письмо Гоголя, написанное им из Франкфурта в ответ на статью о "Выбранных местах", приходит к Белинскому 30 июня/12 июля. Его переслал ему Тютчев из Петербурга. Анненков тоже получил письмо от Гоголя и обнаружил в нем его желание "если не утешения и поддержки, то по крайней мере тихой беседы" после неприятностей, вызванных публикацией нашумевшей книги. Анненков рассказывает о впечатлении, произведенном на Белинского письмом Гоголя.

Он ошеломлен: Гоголь пишет ему в первый раз! Но при его чтении он вспыхивает: "А! Он не понимает, за что люди на него сердятся, надо растолковать ему это. Я буду ему отвечать! "В течение трех дней, не прерывая курс лечения, он молчалив и сосредоточен: он пишет свое знаменитое "Письмо Гоголю".

"Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение. Я испугался и тона, и содержания этого ответа, и, конечно не за Белинского,

потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание"⁵⁰⁵.

3/15 июля, в день отъезда из Зальцбрунна в Париж, Белинский переписывает письмо набело и отправляет. Он не понимает, что автор "Мертвых душ" неловко пытался выразить свое смятение, свое горе перед гневом человека, которого он считает глубоко порядочным; он вообразил, что задел его самолюбие. Белинский подчеркивает, что исключительные обстоятельства - их пребывание за границей, вдали от усердных цензоров русской почты, дают ему возможность выразить Гоголю то, что он с давних пор имел на сердце. "Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России".

"Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса". Белинский упрекает Гоголя в том, что, зная Россию только как художник, он созерцает ее лишь издали: "Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр - не человек".

Белинский ведет процесс не против крепостной России, а против Гоголя. Гоголя, вдохновленного, но не истиной Христа, а охваченного Сатаной: проповедника кнута, апостола невежества, поборника обскурантизма, панегириста татарских нравов. Именно Вольтер, утверждает Белинский, самый лучший ученик Христа, а не поп, епископ или митрополит, эти объекты

презрения и насмешек в глазах народа, народа, который Гоголь представляет как самый религиозный в мире. Ложь! возражает Белинский. Русский народ по натуре глубоко безбожный. Суеверный, безусловно, но без следа религиозности; она не привилась в России, в отличие от таких стран, как Франция, где просвещенные люди, удаленные, однако, от христианства, продолжают верить в какого-то Бога. Но европейский католик, вдохновленный своей верой, этаким еврейский пророк, разоблачает произвол власти там, где, будучи жертвой *religiosa mania*, русский человек слишком усердствует в византийском поклонении своему земному богу.

Отягчающее обстоятельство, Гоголь знает все это. Тогда с какой целью он лжет? "Распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника". Не собирается ли он продать за эту цену звание, завоеванное им в глазах русской публики, которую он так плохо знает? "Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже заменило мишуру эполет и разноцветных мундиров".

Хотя некоторые могли опасаться, что "вредное" сочинение Гоголя окажет влияние на общественное мнение, Белинский отмечает, что русская публика не пошла за ним и осталась равнодушной к его проповедям, чему автор должен радоваться! И Белинский заключает: "Если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние"⁵⁰⁶.

Гоголь отвечает Белинскому из Остенде. Стремясь успокоить страсти, он признает некоторую часть истины, но не получил ли он, Гоголь, пятьдесят писем и столько же разных мнений от имени почтенных и умных людей? Те, кто упрекают его в незнании действительности, сами проявляют подобное незнание. "Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает все, принимая все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной середины вещей <...>. И вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом,

но сознаетесь ли вы?" Эти условные фразы Гоголь заключает рекомендациями Белинскому беречь себя и думать о своем здоровье; это всего лишь бледное отражение длинного послания, которое он не отправляет ему и в котором он разбирает пункт за пунктом его обвинения, хотя ему трудно, подчеркивает он, отвечать на утверждения, не имеющие никакого отношения к действительности.

Гоголь заверяет, что никогда не хотел польстить власти, даже когда он позволил себе напомнить царю о его священном долге. Где же нужно искать спасения России? В европейской цивилизации? Обратившись к Англии? Пруссии? Франции? в фаланстере? в коммунизме? Отвернувшись, во всяком случае, от православной Руси? От ее духовенства? "И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых святости жизни и подвигам я дивился, и видел, что они создание нашей восточной церкви, а не западной". И Гоголь продолжает: "Вы отделяете церковь от Христа и христианства, ту самую церковь, тех самых пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели истину всякого слова Христова <...>, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека".

Гоголь не думает, что принятие конституции избавит Россию от всех зол. "Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполняла должность свою <...>. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства <...>. Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612, и спаслась от поляков; она помолилась в 1812, и спаслась от французов".

"Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, - заключает Гоголь, - есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют близкие столкновения с народом, чем самый народ, всех этих мелких чиновников и власти, которые все грамотны и которые между тем делают много злоупотреблений. Поверьте, что для этих господ нужнее издавать те книги, которые, вы думаете, полезны для народа. Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население"⁵⁰⁷.

Но кому сочинять подобные книги? Самому Гоголю? Жуковскому, побуждавшему его написать "Переписку с друзьями", он признался, что не смеет больше открыть ее, поняв, что опубликовал ее слишком поспешно и повел себя как Хлестаков, герой "Ревизора". Поучать других ему не удастся. Тогда остается искусство. Со своей "Перепиской", своими "Мертвыми душами", своим "Ревизором" обратил ли Гоголь к общественному добру мелких чиновников, притесняющих народ? Лучше, чем Булгарин со своим "Иваном Выжигиным"? Неужели, тот, кто искренне смеется на представлении "Ревизора", уже больше ничего не имеет общего с осмеянными персонажами? Не стало ли искусство лишь развлечением для сведущих людей, несколько циничных?

Как выбраться из этой ловушки? Как убедить читателя в необходимости искупления? Как спасти своих жалких героев? Явить миру добродетели, которые славянофилы приписывают русскому народу? Увы, нельзя выявить то, чего не существует, что остается лишь плодом воображения, стремлением. Художественное творчество не подчиняется заказам.

Надо ли признать Гоголя бесподобным, отстранить его от всякой классификации, от всякой ответственности? Но согласится ли он с этим? Ведь он преследует те же цели, что и Белинский. Он вдохновитель натуральной школы, но к ней не принадлежит, он осуждает "риторическую" школу, как и Белинский, и сам себя называет Хлестаковым, когда "идеализирует" себя. Он обращается к той же публике, что и Белинский, с той же целью - просветить ее. Откуда придет это просвещение? От Вольтера, от французов? От новой науки, от немцев? От социализма? От православной веры? Гоголь задает эти вопросы и готов их обсуждать, но Белинский усвоил лишь "омерзительную" сторону его "Переписки", образ "Святой Руси",

отражающий мировоззрение славянофилов! Патриархальному обществу, живущему по-христиански, он противопоставляет те же начала, которыми граф Киселев пытается удобрить русскую почву: просвещение, гуманность, законность, правосудие, справедливость. Никаких других "общечеловеческих" просветительских ценностей, кроме этих, "письмо к Гоголю" не упоминает, но оно даром оскверняет духовные ценности, к которым сам Белинский не равнодушен. Но он залаял собакой и при этом в необычных условиях, позволяющих ему освободиться от эзопова языка. Отдавал ли он себе отчет о пагубных последствиях этого поступка? и для себя, и для глубоко уязвленного Гоголя, и для русской общественности, которая это задушевное высказывание, оторванное от своего контекста, воспринимает как крайний политический манифест, открывающий дорогу нигилизму, т.е. радикальному отторжению, полному осуждению наследия и западников, и славянофилов?

Глава 7

БАКУНИН И ГЕРЦЕН

О БУРЖУАЗИИ, О РЕВОЛЮЦИИ

НИКОЛАЙ I И ГРАФ КИСЕЛЕВ

ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

6 мая 1846 года угас Иван Яковлев, отец Герцена. После любовного раздела его наследства между наследниками, сын, "дорогой его сердцу", не думает ни о чем, кроме отъезда! В октябре он получает, наконец, разрешение отправиться в Петербург, что необходимо для оформления паспортов. Предлог для путешествия традиционный — шесть месяцев лечения минеральными водами в Германии. Долгое время Бенкендорф считал, что было "слишком рано" отпускать Герцена за границу; наконец он дает свое разрешение. Герцен и вся его семья покидают Москву 19 января 1847 года, чтобы никогда больше не вернуться в Россию.

Спеша поскорее прибыть в Париж, Герцен лишь проезжает по Германии. Он останавливается на Рейне, в Кельне, где сосуществуют романское и готическое, латинское и германское наследия. Так же, как галерея семейных портретов, вывешенных в древнем замке, смущает постороннего визитера, аристократическая патина европейского наследия приводит в замешательство "Скифа", но он спохватывается: "Разве родина нашей мысли, нашего образования не здесь? Разве, привенчивая нас к Европе, Петр I не упрочил нам права наследия? Мы не с пергаментом в руке являемся доказывать наши права... да мы их и не доказываем, потому что они неотъемлемы; завоеванное сознанием законно завоевано, его не исторгнешь никаким безумием. Былое наше бедно; мы не хотим выдумывать геральдических сказок, у нас мало своих воспоминаний, - что за беда, когда воспоминания Европы, ее былое сделались нашим былым и нашим прошедшим. Да, сверх того, европеец под влиянием своего прошедшего не может от него отделаться. Для него современность - крыша многоэтажного дома, для нас да для Северной Америки -

высокая терраса, фундамент; его чердак - наш rez-de-chaussée*. Мы с этого конца начинаем"⁵⁰⁸.

Прибыв в Париж, Герцен отправляется на поиски Бакунина; он сталкивается с ним прямо на улице. Увлеченный спором, Бакунин беспрестанно останавливается, размахивая сигареткой, чтобы лучше доказать что-то своим собеседникам. На Герцена тотчас обрушиваются вопросы о политическом положении в России; его собеседники ожидают, что он заговорит о партиях, об оппозиционных организациях и даже, может быть, о кабинетном кризисе! Герцен же может лишь кое-что сообщить о положении в университете, о кознях по поводу кафедр, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о "Мертвых душах" Гоголя. Бакунин и его товарищ по ссылке Николай Сазонов разочарованы. Они целиком живут в ожидании революции.

Бакунин очень изменился с тех времен, когда Герцен упрекал его в равнодушии к политике! В Париже он привлечен социализмом, но без предубеждения; он начал с того, что посещал немецких эмигрантов, ему не понравились их "коммунистические глупости", их споры, их мания следить друг за другом. "Французские коммунисты" - более гордые, более независимые, больше уважают свободу посторонних лиц. Однако Бакунин упрекает их в культе "регламентаций" и государства. Тем не менее, некоторое время он считал себя коммунистом и даже ввел Энгельса в какой-то коммунистический (немецкий?) клуб: "В Париже, по дороге на родину, пишет Энгельс, я посетил один коммунистический клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и очень искусно развивал взгляды Фейербаха". Бакунин питал надежды Энгельса: "Мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами". Речь идет, наверное, о Бакунине, о И. Головине, о Н. Сазонове и, вероятно, о Якове Толстом. Это ранний политический эмигрант, бывший член "Союза Благоденствия", который хвастает былой дружбой с Пушкиным и Грибоедовым, выехал из России в 1823 г., не порывая сношений с декабристами. Вращаясь в разных кругах в Париже, со временем он стал "осведомителем" русского правительства о проживающих за границей русских и поляках. Он происходит из помещицкой семьи Тверской губернии, его имя было знакомо в семье

* нижний этаж (фр).

Бакунина. Последний, конечно, ничего не подозревал о тайной службе своего соотечественника и познакомил его с Марксом и Энгельсом. Со своей стороны, Я.Толстой рекомендовал им Анненкова, будущего первого переводчика Маркса на русский язык, и обещал Марксу продать свои имения и посвятить вырученные деньги делу революции. В 1846 г. И. Головин, автор книги "La Russie sous Nicolas Ier"^{*}, разоблачает его. Энгельс из Парижа в письме от 19 сентября осведомляет об этом скандале Маркса, высланного из Парижа в Брюссель: "Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, тот самый дворянин, который наврал нам, будто собирается продать в России свои имения. Этот господин, кроме одной квартиры, в которую он нас водил, имел еще блестящий особняк на улице Матюрен, где он принимал дипломатов. Поляки и многие французы давно уже знали об этом, ничего не ведали только немецкие радикалы, в среде которых он считал более удобным втереться под маской радикала... Что после этого рекомендованный им Анненков - тоже русский шпион, c'est clair"^{**}. Даже Бакунин, который *должен был знать* обо всей истории, так как другие русские знали ее, тоже возбуждает большое подозрение"⁵⁰⁹.

Бакунин принимает сторону Толстого против Головина и временно Толстому удается оправдаться и завоевать заново доверие немцев. Только после февральской революции он будет окончательно разоблачен. Недоверие Маркса к русским усилится, и это сильно повлияет на будущие отношения его с Бакуниным. Лишь неразборчивостью в знакомствах нельзя объяснить поведение Бакунина в Париже. Правда, он мечтает основать в Париже революционную русскую колонию и в то же время поддерживает отношения в самых разнообразных кругах: с польской эмиграцией, в частности с Мицкевичем, желающим обратить его в свое мессианство; с парижской общественностью от таких умеренных либералов, как Эмиль де Жирарден, редактор "La Presse", до республиканца Марраста и газеты "National"; с различными политическими лицами от Беранже, Ламенне, Араго до Луи Блана и фурьериста Консидерана; с такими историками, как Мишле и Кине. Но едва ли он разбирается в тонкостях "классовой борьбы", в общественных программах и политических задачах, стоящих на повестке дня в Париже; он скорее поддается общему революционному настроению, питает преимущественно вражду к

* "Россия в период царствования Николая I" (фр.).

** это ясно (фр.).

самодержавию и прислушивается к крестьянским бунтам в России. Несмотря на все разногласия со славянофилами, идеализирующими первобытную общину славянских народов, этот образ самоуправления не мог не привлечь врага государства, мечтающего о стихийном восстании народа. Поэтому искреннюю симпатию вызывает у него анархо-федералист Прудон, который скептически относится к политическим партиям и враждебно настроен против самого понятия государства. Автора книги "Что такое собственность?" Бакунин приобщает к гегелевской диалектике, и Прудон восторгается перед своими друзьями "феноменом", обладающим исключительной диалектикой и блестящим восприятием идей в их сущности. Маркс тоже не пренебрегает приобщать Прудона к этой диалектике. Но в то время, как Маркс все ближе знакомится с рабочей революционной парижской средой и одновременно изучает политическую экономию, читая английских авторов, Бакунин не склонен к углубленному изучению тонкостей политической экономики, он предпочитает держаться за вольный образ жизни, более свойственный его натуре. В Париже он ведет богемную жизнь, в продолжение той, какую он вел в Москве: подрабатывая переводами с немецкого, живя в скромной квартире, которую он делит с музыкантом Рейхелем на rue de Bourgogne. Встав с постели не раньше полудня, он посвящает свое время чтению газет, спорам до рассвета в кафе, выдвижению планов, из которых лишь немногие осуществляются, среди них никогда не оконченный труд "Изложение и развитие идей Фейербаха". Герцен описывает красноречиво встречи между ним и Прудоном: "Бакунин жил тогда с Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля - философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes; его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь - Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор"⁵¹⁰.

* Ботаническому саду (фр.).

В 1844 году Бакунин узнает о приговоре, вынесенном в России ему и другому эмигранту, Ивану Головину: лишение дворянства и каторжные работы. Головин протестует письмом, опубликованном в "Gazette des tribunaux"*, в котором он оспаривает авторитет русской аристократии, считающей себя "обиженной" их поведением за границей. А Бакунин отзывается статьей, вышедшей в органе радикальной демократии "Réforme" 27 января 1845 года. Он осуждает абсолютную монархию, царство произвола, русскую аристократию, "пережиток Средневековья", и видит спасение России лишь в демократии, которой инстинктивно живет русский народ: "В его полуварварской природе чувствуется столько энергии и размаха, такое обилие страсти и ума, что, зная его, нельзя не быть уверенным в том, что ему предстоит еще выполнить в мире великую миссию. Все будущее России заключается в нем, в этой бесчисленной и внушительной массе людей, которые говорят на одном языке и которые, как я надеюсь, скоро проникнутся единым чувством, единою страстью". Бакунин ждет часа, возможно, уже близкого, когда еще эпизодические восстания крестьян против их хозяев "сольются в великую революцию, и если правительство не поспешит освободить народ, то прольется много крови". Надежда, высказанная в заключении, на политику царя, ни в чем не искажает этого символа веры в русский народ. Бакунин объединяет Россию и Польшу в общем демократическом будущем⁵¹¹.

Ни его материальное положение, ни его вкусы не побуждают Бакунина общаться с приезжими русскими, которые просто веселятся в Париже; они заняты ужинами, театральными представлениями, балами с "грязетками и лоретками". Тем не менее, он пытается обратить некоторых из них в свою веру. Тщетно. Они смотрят на него с иронией; некоторые оказывают ему иногда материальную помощь, от которой он, естественно, не отказывается. Но, как и прежде, он заботится о других в тяжелом положении, он посылает им деньги, обещает помощь.

Когда происходит разрыв между Прудоном и Марксом, между автором "Философии нищеты" и автором "Нищеты философии", Бакунин не колеблется и принимает сторону Прудона. Позже, в книге "Государственность и анархия", Бакунин признает заслуги Маркса: "Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления -

* "Судебная газета" (фр.).

абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс, в противоположность ему, высказывал и доказывал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса". И однако, Бакунин останется при своем мнении, что Прудон понимал и чувствовал свободу лучше, чем Маркс. "Прудон, когда он не занимался теорией и метафизикой, имел настоящий инстинкт революционера; он обожал Сатану и провозглашал анархию. Весьма возможно, что Маркс сможет подняться теоретически до еще более рациональной системы свободы, чем Прудон, но ему недостает инстинкта свободы. Как немец и еврей, он с головы до ног авторитарен"⁵¹².

Одного только, чтобы придать смысл своей жизни, ждет Бакунин: революции. Марраст, еще в 1844 году, предупредил его: "Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как произойдет французская революция; Франция подобна тому паровому котлу, который всегда готов взорваться и взрыв которого никто не в силах предусмотреть"⁵¹³.

Едва устроившись в Париже, Герцен принимается за свои "Письма с улицы Мариньи", опубликованные тотчас в "Современнике". Признавая себя подлинным и убежденным европейцем, он ничуть не растерян перед спектаклем, который предоставляет Европа. У Запада есть прошлое, история. В Генте *бефруа*, сторожевая башня, сзывавшая граждан своим колоколом, напоминает, как тут кипела муниципальная жизнь; рыцарские замки, соколиные гнезда на скалах и горах выражают еще страсти, царившие там когда-то. Допетровская Русь не оставила ни следа из жизни господ, из жизни крепостных; то был Восток с безнадежной повторяемостью одних и тех же событий: урожай, голод, чума, падеж скота; поколения чередовались, и ничего не менялось. Преимущество России над Азией заключается в том, что она поняла и отвергла этот образ жизни. Славянофилы называют иностранным все, что является общечеловеческим, и не понимают, что история России начинается петровским разрывом, породившем две России, одну восточную, другую западную. Герцен - "осведомленный европеец", он не довольствуется тем, что восхищается берегами Сены с Аустерлицкого моста, очередями у входа в театры, где торжествуют Фредерик

Леметр и Левассер в довольно посредственных пьесах. Он смотрит дальше и глубже, применяя знания, полученные благодаря чтению французских авторов, разоблачающих режим Луи-Филиппа; он отличает страну "легальную" (pays légal) от страны "действительной" (pays réel), людей, расположенных выше ценза, т. е. буржуа, и расположенных ниже, т.е. народ, детей революции и империи. "Во время Бомарше Фигаро был *вне закона*, в наше время Фигаро - *законотворец* <...>. У обоих Фигаро общее - собственно одно лакейство, но из-под ливреи Фигаро старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без его кожи". С одной стороны, Герцен, русский барин, жалуется снисходительной симпатией народ Парижа, его эксплуатируют, но он остался верным своим "народным нравам"; но с другой, он проявляет крайнее презрение по отношению к буржуазии, этой челяди, которая узурпировала власть и присвоила все привилегии. "Письма из avenue de Marigny" - обвинение просвещенного дворянина, обращенное против касты выскочек. Чтение Сен-Симона, Фурье, Луи Блана, Пьера Леру, Прудона подготовило Герцена к этому мнению еще в России: "Буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противоположность, как отстаивание себя. Дворянство имело свою общественную религию; правилами политической экономии нельзя заменить догматы патриотизма, предания мужества, святыню чести <...>. Наследник блестящего дворянства и грубого плебеизма, буржуа соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их. Он богат, как вельможа, но скуп, как лавочник. Он вольноотпущенный. Французское дворянство погибло величественно и прекрасно; оно, как могучий гладиатор, видя неминуемую смерть, хотело пасть со славою; памятник этого героизма - 4 августа 1789 г.; что ни толкуй, а в добровольном отречении от феодальных прав есть много величественного".

Герцен использует всевозможные модные клише против буржуа эпохи Луи-Филиппа: буржуа - страж общественного порядка, но тайком распутник; он фрондер в период Реставрации, но с 1830 года защитник "своего порядка" в форме национальной гвардии. Герцен критикует политическую экономию, она приносит пользу лишь собственникам, сводит человека к производительной силе, общество

- к фабрике, государство - к рынку. "Где же - заключает он, - буржуазия найдет силу, с своим *crédit et débit*", с своей биржей и банком, с своим политическим атеизмом - в одну сторону и религией монополя - в другую сторону? Короли царствовали во имя Божье, дворяне защищали государство во имя короля. Мещане обогащаются в свое имя, берут себе барыши, заставляя короля защищать свои капиталы детьми стариков, которых ограбили и разорили"⁵¹⁴.

Герцену все становится ясным: у буржуазного строя нет будущего, он тоже ждет революции. Не за этим ли приехал он в Париж? Вероятно, он еще не принял никакого решения по поводу возможной эмиграции. Бакунин и Сазонов побуждают его остаться. Его критика Франции Луи-Филиппа в "Письмах из *avenue de Marigny*" не представляет ничего крамольного в глазах самого государя, столь плохо расположенного по отношению к королю-узурпатору и к стране, ставшей центром польских "смутьянов". Но это обвинение против французской буржуазии вызывает большую тревогу и недовольство среди западников в России, в частности Боткина, который расхохотался, читая "глупости" Герцена: буржуа виноват в том, что в театрах представляют игривые водевили? Герцен не понял, какую важную роль во Франции играет буржуазия, которую он так презирает: "Дай Бог, - восклицает Боткин, - чтобы у нас была буржуази"⁵¹⁵.

Накануне революции 1848 года, в этом споре о будущем буржуазии будет тоже участвовать Белинский. После своего "зальцбруннского подвига", в сопровождении Анненкова, он отправляется в Париж. Прежде всего, чтобы лечиться. В Дрездене он смотрел на Сикстинскую Мадонну и не узнал в ней Божью Матерь: "Это аристократическая женщина, дочь царя, *idéal sublime du comme il faut*". Она глядит на нас не то, чтобы с презрением, - это к ней не идет, она слишком благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением <...>, она глядит на нас с холодной благосклонностью, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плееев, отворотившись от нас. Младенец, которого она держит на руках, откровеннее ее: у ней едва заметна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь рот дышит презрением к нам, ракалиям. В глазах его виден не будущий Бог любви, мира, прощения, спасения, а древний,

* кредитом и дебетом (фр.).

** высший идеал приличия (фр).

ветхозаветный Бог гнева и ярости, наказания и кары. Но что за благородство, что за грация кисти!"

Проезжая по Силезии, он потрясен бедностью, царящей там: "Только здесь, - пишет он Боткину, - я понял ужасное значение слов пауперизм и пролетариат. В России эти слова не имеют смысла. Там бывают неурожаи и голод местами, там есть плантаторы-помещики, третирующие своих крестьян, как негров, там есть воры и грабители чиновники; но нет бедности, хотя нет и богатства. Лениость и пьянство производят там грязь и лохмотья, но это все еще не бедность. Бедность есть безвыходность из вечного страха голодной смерти. У человека здоровые руки, он трудолюбив и честен, готов работать, - и для него нет работы: вот бедность, вот пауперизм, вот пролетариат"⁵¹⁶.

Прочитав эти строки, Боткин и Грановский заволновались, боясь, чтобы Белинский "с своей теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал писать о них, воротясь в Россию. В самом деле, это было бы большим торжеством для наших невежд и мерзавцев". Они неодобрительно отзываются о процессе против Запада и его буржуазии: "Как же не защищать ее, - пишет Боткин Анненкову, - когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве? Я понимаю такие гиперболы в устах французского работника; но когда их говорит наш умный Герцен, то они кажутся мне не более, как забавными. Там борьба, дух партий, заставляют прибегать к преувеличениям, - это понятно, а здесь вместо самобытного взгляда, вместо живой индивидуальной мысли вдруг встречать общие места, ей-Богу, досадно"⁵¹⁷.

Белинский и Анненков прибывают в Париж 29 июля. В тот же вечер, у Герцена, Белинский читает свое письмо к Гоголю. Герцен шепчет на ухо Анненкову: "Это - гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его". На следующий день к ним присоединяется Тургенев, затем Бакунин и Сазонов. Дискуссии продолжаются, но Белинский приехал в Париж, чтобы лечиться, он идет на прием к Тира де Мальмору, знаменитому специалисту, который тотчас берет его к себе в клинику в Пасси; он проживает там до конца августа. Друзья его постоянно навещают. Затем он устраивается в Париже на улице Комартен у Анненкова. Хотя лечение в Пасси принесло ему облегчение, бывать в театрах, посещать музеи, присутствовать на лекциях свыше его сил. Зато он активно участвует в дискуссиях с друзьями. Дискуссии касаются одновременно двух тем: будущего России и роли буржуазии

в Европе. "Письма", которые Герцен пишет тогда, служат предлогом. Белинский упрекает своих московских друзей - Боткина, Грановского, Корша - в нетерпимости к высказываниям Герцена; однако он признает, что нельзя упрекать французскую буржуазию во всех бедах, как это делает Луи Блан, доводящий свое доказательство до смешного: "Буржуази у него еще до сотворения мира является врагом человечества и конспирирует против его благосостояния, тогда как по его же книге выходит, что без нее не было бы той революции, которой он так восхищается, и что ее успехи - ее законное приобретение. Ух, как глуп - мочи нет!" Ошибка Герцена состоит в том, что он придает термину буржуа слишком общий смысл; он объединяет этим словом крупных капиталистов, средний класс и даже тех, кто не платит за ценз. Кто при таких условиях не является буржуа, кроме рабочего? Враги буржуазии, защитники народа, сами принадлежат этой буржуазии, совсем как когда-то Робеспьер и Сен-Жюст; вот в чем уязвимы "Письма".

"Это ему тогда заметил Сазонов, - продолжает Белинский, - сторону которого принял Анненков против Мишеля (этого немца, который родился мистиком, идеалистом, романтиком и умрет им, ибо отказаться от философии - еще не значит переменить свою натуру)". Нужно осуждать не буржуазию, а крупных капиталистов, когда они захватывают государственную власть: "Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов". Что касается буржуазии, нужно признать ее историческую роль, когда она не отделяла своих интересов от интересов народа. "Она выхлопотала права не одной себе, но и народу; ее ошибка была сначала в том, что она подумала, что народ с правами может быть сыт и без хлеба; теперь она сознательно ассервировала народ голодом и капиталом, но ведь теперь она - буржуази, не борющаяся, а торжествующая". Белинский выбрал свой лагерь: "Я не принадлежу,- пишет Белинский Анненкову, - к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуази - зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец - Мишель; так или почти так думает Луи Блан. Я с этим соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса, а как пока я видел только, что государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу заниматься решением априори такого вопроса, который может быть решен только опытом. Пока буржуази есть и пока она сильна, - я знаю, что она должна быть и не

может не быть. Я знаю, что промышленность - источник великих зол, но знаю, что она же - источник и великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом".

Ненависть к капиталу подсказывает Белинскому антисемитский куплет: "Недаром все нации в мире, и западные, и восточные, и христианские, и мусульманские, сошлись в ненависти и презрении к *жиговскому племени*: жид - не человек; он торгаш *par excellence*"^{*518}.

Прошло десять лет после того, как Белинский и Бакунин спорили о "примирении с действительностью". Белинский и Бакунин больше не спорят страстно, страсть испарилась вместе с дружбой, и однако оба остались на неизменных позициях. Белинский примирился с действительностью, уже не с действительностью в себе, а с той, какая открывается в исторической перспективе. Он может определить ее этапы, взяв за образец эволюцию Запада. Несмотря на свою симпатию к французам, он ставит на первое место английский образец, вскормленный патриотизмом и чувством величия, которых, к сожалению, не хватает Франции Луи-Филиппа. В Англии средний класс уравнивает аристократию. Когда власть аристократии исчезнет, пророчествует Белинский, народ придет ей на смену, чтобы уравновесить средний класс и обеспечить, таким образом, продолжение политики, соответствующей общим интересам. Бакунин - тот остался созерцательным умом, неотступно жаждущим свободы, глубоко враждебным к любой уступке по отношению к эмпирической действительности. Вера, вдохновляющая его, каков бы ни был предмет, оправдывает в его глазах любой риск и самый радикальный приговор. Называя Бакунина "верующим другом", Белинский возвращается к этим парижским дискуссиям в письме к Анненкову от февраля 1848 года: "Кстати, мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я, в спорах с Вами о буржуази, называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуази, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль!

* по преимуществу (фр.).

Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де Бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами <...>. Верующий друг и славянофилы наши оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг; они высосали эти понятия из социалистов, и в статьях своих цитируют Жоржа Занда и Луи Блана⁵¹⁹.

Белинский вскоре умрет. Его "Письмо к Гоголю" в копиях, сделанных Анненковым, вскоре разойдется по России и будет считаться его политическим завещанием. В действительности, его настоящее завещание содержится в этом письме Анненкову. Он разобрался в эволюции славянофилов и революционно настроенных эмигрантов. Прямо на глазах идет процесс скрепления объективного союза между противниками, которых все должно было разъединить: соединение противоположностей. Контрреволюционная идеология, которая положит конец петровской Руси, уже располагает козырными картами: не подлежащее обжалованию осуждение европеизации России, революции сверху Петра Великого; полный отказ от западной модели развития, от ее парламентской системы, ее капитализма, ее буржуазии; утверждение самобытности русского пути и приписывание русскому народу исключительных добродетелей, обеспечивающих ему историческую миссию в будущем человечества. Неважно, что содержание этих утверждений очень туманно, неважно, что славянофилы являются консерваторами, привязанными к православной вере, к своей соборности, что дворяне революционеры пропитаны демократическим чувством, их быстро обойдут "новые люди", более радикальные, чем они. "Ползучая контрреволюция", этот крот, подрывает не только основы самодержавия, но и подрывает примиренческие позиции умеренных, просвещенных умов, ибо контрреволюция питается постоянно все новыми чрезмерными притязаниями.

Авторитарный режим, созданный Николаем I, выявит теперь свои слабости и изъяны. Тайна, окружающая все проекты реформ, отсутствие какой-либо возможности их публично обсуждать даже открытой поддержкой со стороны просвещенной части общества, отсутствие общественного пространства вне растущей конкуренции между журналами, стремящимися привлечь читателей, хотя бы

шумными конфликтами между редакциями, сводят намерения государя в тот момент, когда он желает пойти по пути решающих реформ, к слухам, к необоснованным страхам, к необузданным надеждам. Общественному мнению нет места там, где нет свободы слова; там всякое выражение благонадежности отзывается отрицательно, как прислужничество, как подлость. России нужна гласность, чтобы обеспечить успешное продвижение вперед Просветительской революции.

Вернувшись в Россию, Белинский узнает, что правительство готовит новые меры для уничтожения крепостного права; он сообщает об этом Анненкову: "Государь император вновь и с большею против прежнего энергиею изъявил свою решительную волю касательно этого великого вопроса. Разумеется, тем более решительной воли и искусства обнаружили окружающие его отцы отечества, чтобы отвлечь его волю от этого крайне неприятного им предмета. Искренно разделяет желание государя императора только один Киселев, самый решительный и, к несчастью, самый умный и знающий дело противник этой мысли - Меншиков"⁵²⁰.

Белинский хорошо осведомлен: в мае 1847 года по окончании выборов предводителей дворянства в различных губерниях России царь изъявил желание принять делегацию Смоленска. В ее состав были избраны смоленский предводитель дворянства князь Друцкой-Соколинский и рославльский предводитель Фонтон-де-Вераион. История этой делегации сохранилась в письмах последнего к князю Друцкому, оставшемуся в Смоленске по болезни.

После того, как Николай I проявил свою любовь и уважение к смоленскому дворянству за его чувства и рыцарские правила, он заговорил об указе о "зависимых крестьянах", подготовленном графом Киселевым, подписанном царем 2 апреля 1842 года и оставшимся неприменяемым из-за отсутствия активной поддержки со стороны землевладельцев: "В указе Моем по этому предмету, Я ясно выразил мысль Мою, что земля, заслуженная нами, дворянами или предками нашими есть наша дворянская; заметьте, что Я говорю с вами как первый дворянин в государстве; но крестьянин, находящийся ныне в крепостном состоянии, утвердившемся у нас почти не по праву, а обычаем через долгое время, не может считаться собственностью, а тем более вещью; следственно, Мое желание при обнародовании известного указа было и теперь есть, чтоб дворянство помогло Мне в этом деле, столь важном для развития благосостояния отечества нашего, постепенным переводом крестьян из крепостных

в обязанные, хотя бы и на разных условиях примененных каждым в местности; ибо Я убежден, что такой переход должен предупредить крутой перелом. Со всем тем, доселе только некоторыми из помещиков представлены условия и между ними есть такие, кои не соответствуют предположенной цели. Знаю, что против обязанных крестьян есть возражение: кто дворянам поручится, что крестьяне будут исполнять принятые ими на себя обязанности? суды не хороши и проч. На это Я скажу, что порукою обоюдного исполнения обязанностей действительно должны служить суды, состоящие из дворян же, и если суды эти не хороши, то виноваты сами дворяне, опустив должности по выборам". В заключение Государь заявляет: "Я желаю, господа, чтобы вы, потолковав келейно, как Я делаю теперь с вами, написали Мне о том свое мнение"⁵²¹.

Перед отъездом из Петербурга делегация принята министром внутренних дел; объявив, что разговор их должно считать частным, он советует только одно: "... действовать на месте с крайней осторожностью, дабы не породить преждевременными толками беспокойств, коим мы видели примеры в моголевской и минской губерниях, и потом, что бы ни было написано нами к Его Величеству, он должен получить с того копию". Фонтон-де-Вераион, сообщив все эти сведения князю Друцкому, которому предстоит составить записку в ответ на слова Государя, добавляет: "Вам, ваше сиятельство, предстоит, скажу, не обинуясь, подвиг, сообразив все обстоятельства, направить это дело к хорошему исходу. При этом скажу вам, что я полагаю, что спешить не нужно и даже не лишнее бы было удержаться от всяких действий до нашего возвращения в Смоленск; быть может, я привезу сведения, нам нужные".

Князь Друцкой, не торопясь, принимается за дело; записка изготовлена только к началу 1848 года, и князь Друцкой отправляется с ней в Петербург. Выразив возвышенным слогом всю свою преданность монарху, престолу и отечеству, дворянство готово содействовать деятельно и усердно всеми зависящими от него средствами благотворным намерениям правительства.

"Если же никто из помещиков не воспользовался правом, представленным указом, то на это существуют причины, от них не зависящие".

"Во 1-х, низкое нравственное и умственное состояние народа, не имеющего понятия о свободе в смысле гражданском, а понимающего ее как *вольность*, в смысле естественного права (*sic*) - народа, не признающего, что земля есть собственность помещиков,

или даже общая их с помещиками, но убежденного, что земля есть Божья; убеждения такие грозят гибелью государству.

Во 2-х, затруднения материальные в необеспеченности договоров с крестьянами, в лишении вследствие этого доходов, последствием чего будет разорение и дворянства, и государственных кредитных установлений, где заложены почти все имения, и наконец разорение самих крестьян".

"Далее записка доказывала, что указ об обязанных крестьянах противоречит законам, и говоря, что крестьяне, получив свободу и землю, получают право собственности на землю, которая принадлежит собственно помещику, а так как последний обязан заботиться о благосостоянии крестьян, то, собственно, не крестьяне сделаются обязанными, а сам помещик".

Князь Друцкой представляет мрачную картину России после злополучного введения указа: нынешняя связь помещика с крестьянами, основанная на их общих интересах не только рушится, но обе стороны станут между собой во враждебное отношение: неминуемы бесконечные судебные процессы, повреждения в поместьях и лесах, уничтожение скота, понижение урожая, понижение производительности в промышленности, использующей труд крепостных и т.д.

Во второй записке, поданной 19-го февраля, князь Друцкой утверждает, что в России рабства нет, а существует лишь крепостное право, огражденное законодательством. Витии европейские усиливаются доказать обратное. "Но это *софизмы, вследствие зависти к могуществу и благосостоянию России - понятное стремление к погрыву и уничтожению этого могущества!*"

Князь Друцкой, тем не менее, предлагает свою реформу: во-первых, изменить форму купчих, завещаний и проч., не писать в них, что продаются души, но продается такая-то вотчина населенная крестьянами таким-то числом душ. Во-вторых, оставив право продажи крестьян на своз, писать в купчих для переселения. В-третьих, для предупреждения злоупотреблений помещичьей власти, учредить дворянские управы из предводителя и двух членов, избираемых дворянами",

"С освобождением крестьян образуется неведомый у нас класс пролетариев, который своими идеями и действиями нанесет гораздо более вреда, нежели можно ожидать пользы от свободного труда". "... Вместо дурного помещика будет дурной полицейский чиновник или окружной начальник, с той еще в добавок разницею, что

последний не будет нисколько дорожить благосостоянием поселян, потому что ему нет выгоды: богат ли поселянин или беден, ленив или трудолюбив".

Записка заканчивается едва скрываемыми обвинениями против графа Киселева: границ стремления к свободе нет. "И самые крестьяне казенного ведомства увлекаются также мыслью, по понятиям своим, о свободе, рассекающей все узы порядка и обязанности к обществам и государству. На западе Европы, где народы пользовались личною свободой и большими еще правами, они не удовлетворялись ими, и, как разрушительный поток, ниспровергли гражданское и государственное благоустройство". Задается страшный вопрос: "...изменив нынешнюю систему управления крепостными, можно ли поручиться, чтобы развитие новой законодательной системы не потребовало изменения государственного и, наконец, что всякое расширение свободы крестьян есть могучий рычаг для анархистов?"

Государь обращался к смоленскому дворянству, чтобы помочь ему в деле постепенного перевода крестьян из крепостных в обязанные, объясняя, что этот переход необходим и для развития благосостояния отечества, и для предупреждения крутого перелома. Смоленское дворянство отозвалось в лице своего предводителя совершенно отрицательно, доказывая, что крепостное право обеспечивает благосостояние и помещиков и крестьян, и что изменение его повлечет за собой пагубные последствия и в хозяйственном и в политическом порядке.

Граф Киселев считает необходимым дать подробные объяснения на обе записки комитету, учрежденному 10-го июня 1848 года под председательством цесаревича. Указ от 2-го апреля 1842 г. вовсе не имел в виду объявления свободы крестьянам или нарушения частных прав владельцев; он не был мерой окончательной, но "заклучал призыв к благонамеренным помещикам содействовать проектам правительства составлением образцовых или примерных положений, которыя могли бы послужить основанием к составлению положения общего для всей Империи".

"При всем том, нельзя оставить без замечания, что если намерение правительства искажается до такой степени в представлении столь значительного официального лица, каков губернский предводитель, то каких толков должно ожидать в массе частных владельцев, не имеющих точного понятия о существе дела. Подобное тревожное положение умов не может быть полезно для правительства ни в каком отношении. Поэтому я не могу не представить моего

убеждения комитету, что нынешний способ действия полумерами и полутайнами не может произвести ничего доброго. Намерения правительства чисты и в основании своем имеют обоюдные выгоды помещиков и крестьян, и выгоды государственные. Следовательно: нет причин скрывать этих намерений и возбуждать беспокойные толки". Во второй записке Киселев уже не видит благонамеренной искренности, а "слишком известные толки некоторых людей о пагубных последствиях предпринимаемого устройства крепостных крестьян, толки, не заслуживающие ни внимания, ни возражения"⁵²².

На самом деле, ни внимания, ни возражения не удостоился совет графа Киселева - действовать открыто в крестьянском вопросе, применять гласность, чтобы овладеть доверием людей благонамеренных и заглушить "известные толки" крепостников. Комитет не обсудил ни его объяснения, ни записки смоленского предводителя, которые были переданы в министерство внутренних дел, и где так и остались.

Ждали решения самого государя. В своем отчете за год царю граф Орлов, шеф жандармов, пишет, что в 1847 году главной темой дискуссий во всех сословиях было предстоящее освобождение крепостных якобы согласно воле императора с драматическими последствиями, волнениями и даже восстаниями крестьян. Орлов заверяет, что пытался собственными силами успокоить умы, заверить, что целью недавних указов было лишь улучшение судьбы крестьян, что не ставило под угрозу необходимую и умеренную власть владельцев в заботе о поддержании законности и общественного порядка. Но Орлов признает, что не способен усмирить брожение умов, поддерживаемое слухами, которым верит общественное мнение. Тем временем интерес государя к крестьянскому вопросу ослабел, внимание его было поглощено событиями в Западной Европе.

О толках по поводу предстоящего освобождения крепостных Белинский сообщает своим парижским друзьям, исходя из верных источников в окружении Киселева, вероятно, от его правой руки, Андрея Заблоцкого, его будущего биографа. Тайна, окружающая принятие официальных решений, производит обратный эффект тому, который предполагался - не питать преждевременных или необоснованных надежд, подчеркивает Белинский: "Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение. Все, что делается в Питере, доходит до их разума в смешных и уродливых формах, но, в сущности, очень верно. Они убеждены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным <...>".

Когда масса спит, делайте что хотите, все будет по-вашему; но когда она проснется - не дремлите сами, а то быть худу...".

Белинский надеется, что государь примет решительные меры. Вот почему он остается глух к доводам, развиваемым в Париже Бакуниным в пользу "мученика свободы", украинского поэта Тараса Шевченко. Он арестован под Киевом в апреле за предполагаемую связь с "Кирилло-Мефодиевским обществом", тайным братством, борющимся за независимость Украины и за создание демократической конфедерации славян по образцу Соединенных Штатов Америки. Шевченко, самый радикальный из членов общества, осужден особенно за написание памфлетов против царя и, что отягчает его вину, против супруги государя: "Читая пасквиль на себя, государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда государь прочел пасквиль на императрицу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: "Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?" И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры круглые и гибельные для литературы и просвещения".

Требовать независимости Украины относится к воображаемому, к неосуществимому, по мнению Белинского, и он заключает: "Вот опыт веры моего верующего друга. Я эту веру определяю теперь так: вера есть поблажка праздным фантазиям или способность все видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера!"⁵²³

Умеренная позиция Белинского в целом близка к взглядам окружения графа Киселева. Белинский пользуется доверием своих читателей, Киселев - доверием государя; оба стремятся, каждый в своей сфере, способствовать продвижению вперед петровских реформ, европеизации России, отмены крепостного права; увы, расстояние огромно между журналистом и министром, между этими

зародышами общественного пространства и правового государства, и немыслима идея сотрудничества между ними. Неужели верноподанные Булгарин и Греч в Петербурге, Погодин и Шевырев, в Москве - наилучшие посредники между властью и общественностью? Самостоятельные или ревностные посредники нужны России?

Вспыхивает февральская революция 1848 г. в Париже. Белинский поражен. "Она показалась ему, - пишет Анненков, - неожиданностью, оскорбительной для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции и не видели ее приближения. Горько пенял он на своих парижских друзей, даже и не заикнувшихся перед ним о возможности близкого политического переворота, который, как оказалось, и был настоящим делом эпохи. Этот недостаток предвиденья, по мнению Белинского, превращал людей или в рабов или в беззащитные жертвы одного внешнего случая"⁵²⁴.

Бакунин, естественно, отзывается совсем иначе; он находится тогда в ссылке в Бельгии. О нем заговорили не только в Париже, но и по всей Европе, после того, как 29 ноября 1847 г., по случаю празднования семнадцатой годовщины польской революции, он произнес на шумевшую речь. Собрание состоялось на улице Saint-Hippolyte, под председательством депутата А. Вовена. Перед многочисленной аудиторией, 1500 человек, устроившей ему грандиозную овацию в конце выступления, Бакунин держит речь, которую до сих пор никто не слышал из уст русского человека. Он начал с того, что признался в любви и верности своему отечеству, но тотчас объявил, что оно воплощает в глазах Европы грубое насилие и постыдное рабство. Он взошел на трибуну не для того, чтобы выступать против этого мнения. Внешняя политика России, увы, может только его подтвердить. Если поляки могут с гордостью праздновать героическое восстание своего народа в 1830 году, то он, Бакунин, как русский, может испытывать лишь чувство стыда. Стыда и горя, поскольку подавление восстания было самоубийственно для России, поскольку освобождение Польши означало бы спасение русского народа. Эти необычные слова, встречены сначала молчанием, но вызывают постепенно аплодисменты и приводят публику, в большинстве своем состоящей из поляков, в сильнейшее волнение, когда Бакунин обращается к ней с вопросом, не согласится ли она подчиниться власти царя в надежде на братское примирение? - Нет! Нет! - кричит аудитория, когда, под видом брата, он упоминает царя Николая I! Лучше смерть! - Да! Да! Аплодисменты усиливаются, когда Бакунин

утверждает, что враги императора, официальной России, являются друзьями русского народа, несчастного народа, которым он гордится, так как если бы он был счастлив при таком строе, смешения монгольской жестокости и прусского педантизма, это был бы самый подлый народ в мире. Нет ничего национального и даже патриархального в этой чудовищной машине, подданные которой - лишь винтики. Но, слава Богу, русский народ не испорчен этим строем. Всюду назревает бунт. При петербургском дворе поговаривают, что царствование Николая I напоминает царствование Людовика XV. Революция близка!

Присутствующие шумно одобряют. Вслед за этим Бакунин перечисляет причины упования на скорые перемены: внешний политический порядок представляется только для обмана общественного мнения за границей; всюду царит анархия, беспорядок, коррупция. Правда, что царь пытается провести реформы; безуспешно, поскольку причина его неудач - в нем самом. Его строй окружен врагами. Прежде всего, это огромная масса крестьян, которая уже ничего от него не ждет; затем "этот промежуточный многочисленный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов, класс беспокойный и буйный, готовый со всею страстью броситься в водоворот первого же революционного движения"; и, наконец, армия, которую царь считает своей самой надежной поддержкой, но которая состоит из детей, вышедших из народа, набранных несправедливо и насильно, обязанных служить двадцать лет. Именно бывшие солдаты руководят единичными народными восстаниями, заверяет Бакунин. Он добавляет, что среди молодых дворян великодушные патриоты горят ненавистью к императору и его правительству. Ему хватает врагов!

Бакунина внимательно слушает публика, его речь приводит ее в восторг. Он говорит уже не от своего имени, но от имени русского народа. Он предлагает полякам союз и напоминает, как готовившие восстание 14 декабря 1825 года первыми перешли пропасть между ними и поляками и протянули им руку. Он напоминает также, как в 1831 году польские революционеры написали по-русски на своих знаменах: "За нашу и за вашу свободу". Освободившись от цепей абсолютизма, русский народ проявит тотчас перед миром свое свободлюбие и свое величие. Примирение Польши и России - это освобождение не только шестидесяти миллионов русских, но также всех славян, притесняемых в Европе. Это конец деспотизма!⁵²⁵

Бакунин обращается к особой публике, к польской эмиграции. Не предполагало ли это чувство меры и дипломатичность со стороны

русского? Можно ли назвать попросту безответственной эту речь? Не увлекся ли оратор под воздействием собственных слов и энтузиазма публики? Тем не менее, следует признать, что идеи, высказанные при этих обстоятельствах Бакуниным, станут в последующие годы политическим фондом многих публичных выступлений русских политических эмигрантов. На Герцена эти идеи сильно повлияют, когда он будет писать по-французски свои статьи, обращенные к Западу, свои открытые письма и свой очерк "О развитии революционных идей в России". Снова Бакунин сжег свои корабли. Вскоре ему откроется возможность применять свои идеи на практике — участием на Славянском конгрессе в июне 1848 года, участием в Пражском восстании, "Призывом к славянам" в мае 1849 года, участием в Дрезденском восстании, где он прославится своим талантом бывшего артиллериста и своим "анархистским" предложением, чтобы задержать войска реакционеров: вывесить на стены города картины из знаменитой галереи, и среди них Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Его революционная эпопея окончится арестом, переводом в крепость Кенингштайн, осуждением саксонским трибуналом, выдачей, сначала Австрии, затем России, заточением в петербургской Петропавловской крепости. Там он напишет свою "Исповедь" царю, его приговорят к ссылке в Сибирь. Оттуда он сбежит в июне 1861 года, совершит кругосветное путешествие, доберется до Лондона и ввяжется в новые революционные затеи.

В своей "Исповеди" он описывает царю свою жизнь в Париже до шумного присоединения к делу поляков: "До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком; немцы, кажется, тогда еще решительно ничего не предпринимали; французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции меня по крайней мере столько же поразили, как и всю прочую публику".

Бакунин имеет в виду восстание в Кракове в 1846 году польских патриотов, подавленное с помощью галицийских крестьян, обманутых австрийскими властями, которые внушили им, что бунтовщики выступали против императора, подлинного защитника интересов

крестьян. С давних пор Бакунин старается установить надежные отношения с польскими демократами, но безуспешно. Он пользуется этим событием, чтобы поместить статью в ¹ 78 "Constitutionnel" от 18 марта 1846 года. Редактор, Мерюкан, заявляет ему: "Пусть мир вспыхнет со всех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения!" Бакунин берет под защиту католиков, преследуемых в Литве и Белоруссии и начинает с заявления: "Я - русский и люблю мою страну, вот почему я подобно очень многим другим русским горячо желаю торжества польскому восстанию. Угнетение Польши - позор для моей страны, а свобода Польши послужит, быть может, началом нашего освобождения". Это публичное выражение собственного мнения, второе после статьи, опубликованной в "Réforme" в 1845 году, не приводит ни к чему конкретному: "Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтись: во-первых, вследствие разногласия в наших политических понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели, кроме Польши, не понимая перемен, происшедших в самой Польше со времени ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они мне и не доверяли да и не обещали себе вероятно большой пользы от моего содействия"⁵²⁶.

Герцен и русские эмигранты, которые захотят сотрудничать с поляками, столкнутся впоследствии с теми же проблемами: "Надо вспомнить, что тогдашняя польская эмиграция, вслед за своими передовыми людьми и при явном и тайном одобрении Европы жила мыслию о необходимости польского верховенства, польской гегемонии в будущем федеративном союзе славянских племен, стояла за право Польши требовать от близких и дальних своих соплеменников, во имя своей высшей цивилизации и давней принадлежности к европейской культуре, добровольной покорности и нужных жертв для осуществления этого протектората"⁵²⁷.

"От конца лета 1846-го года до ноября 1847-го, продолжает Бакунин, - я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по-старому науками, следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича. В ноябре месяце я был болен и

сидел дома с выбритой головой, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831-го года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многочленном собрании 17-го/29-го ноября 1847 года⁵²⁸.

Разумеется, событие не прошло незамеченным. Речь Бакунина была опубликована в "Réforme" от 17 декабря, переведена на немецкий язык под заголовком "Russland wie es wirklich ist"* в Мангейме. Полномочный министр России в Париже, Николай Киселев, младший брат графа П.Д. Киселева, сообщает своему начальнику, министру иностранных дел Нессельроде, что "орация была самой выдающейся стороной этого вечера". Русское и австрийское правительство не могут остаться в бездействии, и оба требуют высылки Бакунина. Французская полиция интересуется уже некоторое время этим русским офицером, старающимся установить контакты с польской эмиграцией. Она располагает информацией, вероятно, из неофициальных русских источников, что этот человек, утверждающий, что является их другом, разжигает разногласия между эмигрантами и настраивает их против Франции. Должно быть, это агент, от которого русское правительство хотело бы избавиться.

Декрет о высылке за "нарушение общественного спокойствия" подписан 9 декабря и вручен "русскому беженцу" Бакунину 14-го. Перед тем, как покинуть Францию, Бакунин отправляет текст своей речи Жорж Санд. Общественное мнение, уже возмущавшееся правительством Гизо, поднимается против унижительной для Франции политики: ее подчинению требованиям России и Австрии, этих реакционных держав! На республиканских банкетах, проходящих повсюду тогда в протест против правительства Гизо, упоминают о Бакунине, этом русском публицисте, приехавшем искать убежище в великодушную Францию. Из Брюсселя Бакунин обращается в Палату депутатов и просит Вавена, бывшего председателем собрания 17 ноября, отправить запрос о нем в правительство.

Обсуждение состоится 4 февраля 1848 года. Вавен утверждает, что никогда русский эмигрант Бакунин не высказывал ни малейшей критики о внутренней или внешней политике французского правительства. Он ждет объяснений. Дюшатель, министр внутренних дел, отвечает, что Бакунин не является польским эмигрантом, в этом

* "Действительная Россия" (нем.).

случае он пользовался бы политическим убежищем, а просто русский подданный, проживавший во Франции. Впрочем, уверяет министр, русских эмигрантов не существует, нет русской политической эмиграции. У правительства были серьезные основания прекратить его пребывание во Франции, и наказание, примененное к нему, вовсе не направлено против польской эмиграции. Гизо сам лично высказывается и спрашивает у депутатов, какова была бы позиция Франции, если бы в Петербурге, во время публичного собрания, король Франции был бы назван палачом, тираном, угнетателем. Эти монархистские соображения не смущают редакцию "Réforme", которая на следующий же день осуждает гегемонию Священного союза в Европе; это объясняет, почему Бакунин, проповедуя свободу, равенство и братство одного народа по отношению к другому, вынужден покинуть французскую территорию, где теперь слышится только одно: "Каждый за себя, каждый у себя; да здравствуют трактаты 1815 года!"⁵²⁹

Июльская монархия рушится 24 февраля. Падение Луи-Филиппа почти не огорчает Николая I, который будто бы воскликнул: "Voilà la comédie finie en France, et le coquin à bas". Но когда в Берлине вспыхивает восстание, о чем новость доходит до Петербурга, императрица падает в обморок, обеспокоенная за своего брата, Фридриха-Вильгельма, а царь вспыхивает против лектора Гримма, находящегося рядом с ним с томиком "Фауста" в руках. "Таким образом, сударь, вы смеете читать эту нечестивую книгу моим детям и развращать их юное воображение! Это все ваши горячие головы, Шиллер, Гете и подобные им каналы, подготовили нынешний переворот!" Возможно, анекдот выдуман, но он хорошо передает новое настроение, которое будет преобладать до конца царствования⁵³⁰.

Глаза раскрылись. Греч торжествует: "Не Франция, а Германия сделалась теперь рассадником извращенных идей и анархии в головах. Нашей молодежи следовало бы запрещать ездить не во Францию, а в Германию, куда ее еще нарочно посылают учиться. Французские журналисты и разные революционные фантазеры - невинные ребята в сравнении с немецкими учеными, их книгами и брошюрами" .

В своей "Исповеди", по-своему, Бакунин рассказывает царю, как он пережил эти события: "Наконец грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но

"С комедией покончено во Франции, а подлеца свергли" (фр.).

паспорт был не нужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: "La République est proclamée à Paris"*. У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Валансьен пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные крики, красные знамена на всех улицах, плацах и на всех публичных зданиях <...>. Париж, этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные, как горы, и достигающие крыш, а на них между камнями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороку и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, *épiciers*** , с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетками, а на место их мои благородные увриеры, торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упеивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоенья все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь!"

Бакунин полностью погружается в революционный праздник. Он живет больше недели в турнонской казарме, бывшей казарме муниципальной гвардии, рядом с Люксембургом; ее занимает рабочая милиция под началом нового префекта, Марка Косидьера, еще недавно активного члена тайных обществ. Бакунин выступает за коммунизм, эгалитаризм, освобождение славян, уничтожение Австрии, перманентную революцию, вплоть до уничтожения последнего врага. По мнению Герцена, Бакунин переживает самый лучший период своей жизни. Необычайные новости приходят со всей Европы. Бакунин по-французски излагает это царю: "В Берлине дерутся; король бежал, произнося перед этим речь! Дрались в Вене. Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане, в Венеции австрийцы потерпели позорное поражение! Там провозглашена республика. Вся Европа становится республиканской. Да здравствует Республика!" И Бакунин продолжает: "Казалось, что весь

* "В Париже провозглашена республика" (фр.).

** бакалейщики, лавочники (фр.).

мир перевернулся; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное бессмысленными. Одним словом, ум находился тогда в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал: *"Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!"*, так все бы поверили, и никто бы не удивился"⁵³²

Бакунин чувствует, что его место уже больше не в Париже, но где-то в центральной Европе, среди славян или на русской границе. Новые власти Парижа способствуют отъезду Бакунина. По словам Герцена, они желают избавиться "с братской акколадой" от этого неудобного пропагандиста, поручив ему распространять благую весть за границей. Косидьер, префект баррикад, якобы высказался о Бакунине следующим образом: *"Quel homme! Quel homme!"* - В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять"⁵³³.

14 марта 1848 года обнаружен Манифест Николая I. В нем сообщается, что русское правительство готово выступить против бунта и анархии, противостоять революционной ситуации в Западной Европе. Последствия во внутренней политике не замедлили сказаться. III Отделение получает в середине февраля анонимный донос, направленный против вредного влияния "Современника" и "Отечественных записок"; он нацелен особенно против критика Белинского, посягающего на уважение к нашим старым писателям: "Нет сомнения, что Белинский и его последователи нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим".

23 февраля граф Орлов, глава III Отделения, передает царю докладную записку об "особенном характере новой нашей журналистики". Она почти слово в слово повторяет то, что утверждал анонимный доносчик и настаивает на роли Белинского: он всегда отличался грубым тоном и резкостью своих суждений, так что ныне "почти все молодые писатели наши считают за ничто старую знаменитость в нашей литературе". Обстановка требует постановку вопроса об "усилении строгости и цензурного устава и надзора за самими цензорами".

27 февраля государь учреждает Особый комитет по надзору над цензурой и повременной печатью под председательством кн.

* "Что за человек! Что за человек!" (фр.).

А.С. Меншикова. Это личный враг Киселева! Белинский ожидал еще в декабре, что его назначат на Кавказ, удалив от столицы сторонника крепостников. В своем дневнике А.В. Никитенко отмечает, что комитет учрежден для исследования нынешнего направления русской литературы, преимущественно журналов: "Панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникли в публику. "Отечественные Записки" и "Современник", как водится, поставлены были во главе виновников распространения этих идей".

"6 апреля, редакторы журналов "Современник" и "Отечественные Записки" дают "по высочайшему повелению" подписку в том, что впредь они под страхом наистрожайшего взыскания, как за государственное преступление, обязуются не допускать в своих изданиях "мыслей, могущих поселить в нашем отечестве правила коммунизма, неуважение к вековым и священным учреждениям, к заслугам людей, всеми почитаемых, к семейным обязанностям, повредить народной нравственности и вообще приготовить у нас те пагубные события, которыми ныне потрясены западные государства"⁵³⁴.

Уже с 1847 года намечалась политическая бдительность, которой события в Европе придали законную силу. Смещение графа Сергея Строганова с его должности попечителя Московского учебного округа было предвещающим знаком. 30 мая 1847 года Николай I велел направить всем попечителям распоряжение министра Уварова; он был предназначен защитить преподавателей от вредного влияния "разрушительных начал". Циркуляр объяснял, что народность состояла в безграничной преданности и подчинении самодержавию, что западный славянизм не должен вызывать никакой симпатии. Каждый у себя дома: и славяне, и русские. Министр настаивал на том, чтобы преподаватели с высоты своих кафедр развивали понятие народность только по этому направлению.

Граф Строганов, богатый вельможа, независимый либеральный ум, не проявляет большого усердия в выполнении этого поручения: зато он просит от министра разъяснений по поводу этого распоряжения. Он находит странным, что такие сложные и важные вопросы обсуждаются с использованием

двусмысленных и неточных терминов. Не останавливаясь на этом, он требует объяснений о запрещении произведений Шевченко и историков Костомарова и Кулиша, авторов исследований по украинскому фольклору, о казаках, по истории Малороссии. Он не нашел в них ничего предосудительного. Поскольку эти меры были приняты в связи со следствием по "Кирилло-Мефодиевскому обществу" и поскольку царь сам интересовался его ходом, речи попечителя-фрондера были сочтены неподобающими в высокой инстанции. Отправленный в отставку 20 ноября, обвиненный в либерализме Уваровым, Строганов позволяет себе вернуть "комплимент" своему притеснителю, направив царю докладную записку "о либерализме, коммунизме и социализме, царящими в цензуре и во всем министерстве". Уваров, в свою очередь, переживает трудные моменты!⁵³⁵

Новые меры по поводу публикаций, особенно перевода французских романов, приводят к противоречивым и зачастую к взаимоисключающим решениям со стороны цензуры. Журналу "Современнику" запрещено публиковать "Манон Леско" аббата Прево и "Леоне Леони" Жорж Санд. В своем дневнике цензор А.В. Никитенко беспокоится о будущем "Отечественных Записок" и "Современника", которым он руководит. Если доверие оказывают постоянным доносам Булгарина, выживет только "Северная Пчела"! 1 декабря 1848 г. он рассказывает о последнем подвиге Шевырева, способствовавшем отставке Строганова. В Москве "Общество Истории и Древностей Российских" под председательством Строганова предприняло публикацию в русском переводе сочинений Джильса Флетчера. "Издание это предпринято на основании статьи цензурного устава, разрешающей печатать без извлечения предосудительных для России мест все, что пишется и писалось о ней до водворения дома Романовых". Граф Строганов лично разрешил записки Флетчера, в которых невыгодно говорится об Иоанне IV, Федоре и о разных обрядах церкви, что, впрочем, давно напечатано в записках Бера. С.П. Шевырев некогда угодничал перед Строгановым, а теперь представил министру, как неблагоприятно в данную минуту печатать Флетчера и как дурно делает Строганов, допуская это. И, как то всегда бывает на святой Руси, он подкреплял свое представление заверениями в собственной преданности и усердии к Богу и царю. Уваров приказал остановить печатание и довел это до сведения государя. Последовало повеление: объявить графу Строганову строжайший выговор через

московского генерала-губернатора. Это неслыханный случай с генералом-адъютантом ... Строганов, по выражению Гоголя, "нагадил" Уварову, Уваров - Строганову. Это в порядке вещей на святой Руси, где такие явления между государственными людьми только доказывают обычную и глубокую безнравственность, к которой все привыкли. Но за что погибла книга Флетчера - книга, полезная для нашей истории? За что пострадал секретарь "Общества" О.М. Бодянский, которого велели удалить в Казань? За что парализовано "Общество", оказавшее немало услуг науке?⁵³⁶

Автор "Писем из avenue de Marigny" продолжает из Парижа писать московским друзьям. Он описывает драматическую эволюцию политического положения, колебания временного правительства, руководимого Ламартином и умеренными; он присутствует при провале народной манифестации 15 мая, которой руководили Барбес и Бланки против Учредительного собрания, недавно избранного, и предсказывает скорый конец республики. Кровавые июньские дни подтверждают его мнение. Очевидцем, свидетелем событий, он бредет по набережным Сены среди пожаров, развалин, среди руин демократии, окончательно похороненной на Западе, по его мнению. В начале июля он делится с московскими друзьями: "Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о соколовской жизни - и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования. - Я страшно люблю Россию и русских - только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел во французском работнике. - Это два народа будущего (т.е. не французы, а работники), оттого-то я не могу оторваться и от Парижа. Вот этих-то людей и расстреливали десятками, - найдется ли новый мученик, который спасет их память? Июньские дни нечего не имеют подобного в предшествовавших революциях - тут вопрос, громко поставленный 15 мая, вырос в борьбу между гнилой, отжившей, бесчеловечной цивилизацией и новым социализмом. Мещане победили, 8000 трупов и 10000 арестантов - их трофеи; разбежавшихся инсургентов травят, как зверей, по лесам, морят голодом. Надолго ли победа, не знаю. Может, на целые годы. Безнравственная дисциплина армии и дикая кровожадность Национальной гвардии - придавила, уничтожила, заставила взойти внутрь все хорошее. Никто не смеет говорить - Жорж Санд хотели посадить в тюрьму, другие разбежались.

Террор гадкий, мелкий - поймите, террор ретроградный - со всею трусостью французского буржуази, самой глупой части европейского населения, для которого какой-нибудь Каваньяк - гений оттого, что не остановился перед бойней, оттого, что в его душе отроду не было чувства чести. Все защитники буржуази, как вы, хлопнулись в грязь. Теперь нет транзакции, нет перемирья - читайте Прудонову речь в Ассамблее (я посылаю вам ее), читайте Ламенне, последний ¹ "Peuple Constituant". Революция 24 февраля была *coup de main**, журналисты вздумали сесть на трон. Василий Андреевич Ламартин и Андрей Александрович Марраст. Ха-ха. Люди фразы, люди интриг - украли корону у народа, буржуа сели царями, черт ли в их благонамеренности, они стугбили республику".

Что делать? Герцен растерян. К счастью, он располагает еще крупными материальными средствами. Тот факт, что Каваньяк возглавляет правительство, ему кажется оскорбительным и невыносимым, он собирается уехать из Франции. "Проедусь по Швейцарии, поеду в Италию, куда-нибудь в маленький город, может, в Сицилию, - и то, если Италия не сделается до тех пор Австрией. Я ужасно люблю итальянцев, удивительный народ. Не удастся это, проживу где-нибудь на Рейне. Каково положение, никуда не зовет, отовсюду толкает, так тяжело, как бывает после похорон. Если не будет ничего особенного, то, может, к будущему лету мы возвратимся. - А может и нет²⁹".

Герцену сообщают о смещении его старого московского собеседника, графа Строганова, когда, уже с января 1848 г., он находится в Италии. Он посетил Неаполь, Помпею, Геркуланум. В Риме он присутствует на манифестациях в поддержку революционной Франции. "Итальянцы ужасно близки к республике, и тосканцы с римлянами впереди. Здесь республика будет иная, никакой централизации федералистско-муниципальной и демократической. Рим - нравственный узел, но не столица, он даже по отсутствию торговли, жизненности, по положению не может быть столицей, Генуя, Палермо, Болонья, Неаполь, Ливурно и Флоренция - великие граждане, но у них слишком много местничества, им надобно почетного старейшину, и этот старейшина - Рим"³⁸.

Правда, Герцен путешествует по Европе и утешает себя, перенося свои надежды на Италию, тем не менее, не следует изображать его в виде богатого русского барина, влачащего свою

* путч (фр.).

хандру по курортам. За ним неотступно следят лица из русских дипломатических миссий, и он должен всюду, в Швейцарии, в Италии или во Франции объясняться с местными властями, избегать высылки, обосновывать свое присутствие. Его личную жизнь потрясет серия драм, особенно начиная с 1850 года, когда он устраивается с семьей в Ницце, тогда принадлежащей Италии. Его слишком гостеприимный дом станет этапом или убежищем для множества знакомых, оказавшихся в затруднительном положении. Сильную привязанность, которую он испытывает к поэту Гервегу, вскоре разделяет его жена Наталья; она ставит под угрозу их супружескую жизнь. Гервег, капризный и безответственный, как ребенок, грозит самоубийством, вызывает Герцена на дуэль; суду чести, в котором примут участие Мадзини, Орсини и другие революционеры, придется высказаться. Мать Герцена и его второй сын погибли во время кораблекрушения около Гиерских островов; Наталья, уже ослабевшая, не переживает этих испытаний, она угаснет 2 мая 1852 года, дав жизнь пятому ребенку, который вскоре скончается.

Герцен приводит в порядок текущие дела, уезжает из Ниццы, этой "обетованной земли", ставшей невыносимой, и прибывает в Лондон 25 августа со своим старшим сыном Сашей тринадцати лет. Воспитание обеих его дочерей, Таты и Ольги, поручено некоей знакомой в Париже. Герцен и не подозревает, что ему предстоит долго прожить в Лондоне. После мучительного самоанализа он примется писать свои мемуары "Былое и думы". Вскоре, по окончании Крымской войны, откроются новые перспективы, и Герцен найдет свое политическое назначение - издавать на свои средства, в Лондоне, в Вольной русской типографии, "Колокол", первую свободную русскую газету, накануне решающих крестьянских реформ.

Белинскому не дано будет прожить эту эру надежд и возрождения. Он угасает до трагических июньских дней 1848 года, события, которое, может быть, изменило бы его мнение о буржуазии. Сеть вокруг него начинает стягиваться. Относительная терпимость властей по отношению к аполитичной прессе, сводящейся к эстетическим, литературным и историческим спорам, не посягающей на официальные власти, уже неуместна. Роль Белинского была недооценена цензурой. Анненков отмечает, что цензура долго упорствовала рассматривать Белинского с точки зрения "Северной Пчелы" как автора неразборчивой тарабарщины,

заумного, терпимого, может быть, из-за своего чудачества, тем более безобидного, чем более оно усиливалось. Отныне поношение признанных авторитетов, даже если речь идет о псевдоклассических писателях прошлого века, является непристойным актом, плохим примером, могущим поощрить неуважение к установленной власти и распространение "коммунистических идей", то есть пагубных, революционных.

Благодаря своей прозорливой позиции, Белинский мог найти союзников в государственном аппарате, особенно в окружении графа Киселева, главы либерального меньшинства, борющегося в Государственном совете и различных тайных комитетах за отмену крепостного права, и на местах за соблюдение справедливости и законности.

Увы, одну лишь форму "сотрудничества" с властями, предлагают Белинскому; в связи с секретным дознанием об авторе "безыменного письма с возмутительными предсказаниями насчет будущего в России", управляющий Третьим Отделением, генерал Дубельт, вызывает его на "неофициальную беседу" и выражает желание его лично узнать и даже сблизиться с ним. Ссылаясь на свое тяжелое физическое состояние, Белинский просит о разрешении отсрочить визит. "Со спины моей не сходят мушки да горчичники, и я с трудом хожу по комнате"⁵³⁹. Удивительное совпадение, дело это ведет М.М. Попов, бывший любимый учитель Белинского в Пензенской гимназии, впоследствии служивший обер-аудитором в штабе корпуса жандармов, и переведенный в Третье Отделение с конца 1839 г. Этот образованный человек бережно обращается с Белинским, успокаивает его, устанавливает, что почерк Белинского не сходен с почерком "безымянного письма" о котором производится дознание. Учитывая его болезненное состояние, он предлагает ему не беспокоиться и прибыть в Третье Отделение, "когда дозволит здоровье, хотя бы через месяц или через два"⁵⁴⁰. Белинский умирает 26 мая 1848 года на рассвете.

Смерть позволяет Белинскому избежать неизбежного преследования, вызванного быстрым распространением его "Письма Гоголю". С августа 1847 года Боткин обращался в Париж к Анненкову, чтобы узнать, каким образом он может раздобыть переписку между Гоголем и Белинским. Достоевский будет располагать этими документами в 1849 году и будет несколько раз читать их перед кружком Петрашевского. Это будет главным мотивом приговора его к смертной казни, смягченной затем до ка-

торжных работ в Сибири; он осужден одновременно с другими членами кружка.

"Письмо к Гоголю" станет манифестом радикальной молодежи. Путешествуя по всей России, Аксаков будет жалеть, что все школьные учителя, с которыми он встречался, знают его наизусть! Его восприятие "новыми людьми" превратит литературного критика, западника, страстного защитника петровской России, основоположника натуральной школы, борющегося с мракобесием, в "демократа-революционера", убежденного в невозможном переходе к социализму без насильственных переворотов, в философа-материалиста, отражающего революционное настроение крепостных крестьян. Этот образ столь же далек от реальности, как и образ автора "Мертвых душ", зарисованный вспльчивым Виссарионом, - Гоголя, "охваченного Сатаной: проповедника кнута, апостола невежества, поборника обскурантизма, панегириста татарских нравов"! В своем "Письме" Белинский утверждал: "Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть"⁵⁴¹. Именно эти реформы пытался осуществить в пользу казенных крестьян в своем ведомстве и постепенно, при согласии землевладельцев, в пользу их крепостных, граф Киселев. Главный упрек Белинского автору "Переписки с друзьями" заключался в том, что Гоголь сдал своих самых искренних и самых пылких сторонников их врагам, которые были и его, Гоголя, врагами. Он напоминал ему о статье князя Вяземского "Языков и Гоголь", вышедшей в 1847 году в "Санкт-Петербургских ведомостях", где задушевный друг Пушкина приветствовал "Выбранные места из переписки с друзьями" как отказ Гоголя от навязываемого ему звания главы "какой-то новой литературной школы" и попыток "олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя". Упомянув "огонь и кровь", сквозь которые прошло французское общество во время революции, он полагал, что в России, благодаря Богу, исключена возможность революционных потрясений и нет оснований для успеха натуральной школы⁵⁴². Белинский назвал "чистым доносом" статью Вяземского; и, однако, этот консервативный аристократ-фрондер не принадлежал к лагерю, который имел в виду Белинский в своем "Письме", лагерю "мракобесов, пропагандистов татарских нравов, ханжеской

политики, устаревших патриархальных отношений", короче говоря, своих вечных противников, московских славянофилов, и худших среди них - Шевырева и Погодина, выставляющих напоказ свое удовлетворение от "отречения" Гоголя!

Откуда же происходят "новые люди", которые вступают в споры "западников и славянофилов" и занимают сразу же самые радикальные положения? В своей книге "Россия в 1839 году" маркиз де Кюстин задавал себе вопрос: какие общественные силы способны вызвать революцию? Он указывает на разночинцев, это "бедствие России", поповские сыновья, мелкие служащие и приказчики "образуют нечто вроде сословия безвестной знати, очень враждебной по отношению к крупным вельможам, знати с антиаристократическим духом в истинном, политическом значении слова и от этого не менее неприятным для крепостных: именно эти люди, пагубные для государства, плод раскола, позволяющего священнику жениться, начнут будущую революцию в России". Кюстин-католик придает, может быть, чрезмерное значение схизме церкви в 1053 году; она способствовала на Востоке усилению и ограничению авторитаризма церкви и размножению сект: "Именно из-за глубоких религиозных разногласий наступит однажды революция в России". А Кюстин-политик ясно видит разлагающую роль, которую играют эти разночинцы, "все более или менее пропитанные революционными идеями, настолько все дерзкие в мыслях, насколько угодливые в обычаях и в словах". Его представление о России близко гоголевской тройке Чичикова, в своем фантастическом беге. "Эти люди, - заключает Кюстин, - толкают нацию к цели, которой они сами не знают, которая неведома императору"⁵⁴³. Для Московского университета, до того, как стали туда поступать дворяне, стремящиеся к гражданской службе, разночинцы, как мы видели, составляли главный источник набора: внешнее их подчинение скрывало зачастую богохульное умонастроение.

Обращаясь к полякам накануне февральской революции, Бакунин упоминает "очень многочисленный промежуточный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов, класс беспокойный и буйный, готовый со всею страстью броситься в водоворот первого же революционного движения" . Правда, он думает то же самое о русском крестьянстве: пороховая бочка, готовая взорваться от малейшей искры, и намекает на молодых дворян, великодушных патриотов, ненавидящих монархический

строй. "Верующий друг" Белинского - неисправимый "оптимист", он забегают вперед, но его суждение о промежуточном классе, в данном случае, сходится с мнением Булгарина. В своем доносе в III Отделение Булгарин употребил подобные слова, говоря о тех, кто почитает "Отечественные Записки" как Евангелие: "огромный класс, ежедневно размножающийся, людей - кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников, - людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить..."

Во всех этих выступлениях речь идет об одном и том же общественном слое, о разночинцах, которых царская власть могла бы использовать с целью побороть гордость и фрондерство аристократии, по подобию королей, поощряющих буржуазию во Франции; но при условии, что этому "промежуточному классу" суждено быть зачатком в России "среднего класса", этих пресловутых британских middle classes, которым начертано столь великое будущее на Западе. Увы, хотя они не связаны узами крепостничества, разночинцы едва ли промышленники, как буржуазия на Западе, или торговцы, ибо почтенный промысел торговли остается еще монополией купечества, дорожащего своими привилегиями. Униженные и оскорбленные одновременно властью и дворянством, разночинцы не имеют пока еще иного выхода, как идти к ним на службу, "прислуживать" и в то же время развивать нечто вроде "субкультуры", питаемой чувством неудовлетворенности и "протеста" против всякого навязанного авторитета. На этой почве, в противовес просвещенному дворянскому обществу, еще в патриархальной обстановке возникнет интеллигенция со своей когортой "образованных, но непросвещенных" демократов-революционеров.

К кому обращаются толстые журналы и газеты, чтобы достичь рекордных тиражей, для тех времен: "Московский Телеграф" Полевого (1200-1500), "Библиотека для Чтения" Смирдина (5000)? Они обращаются к мелкопоместному провинциальному дворянству, к городскому мещанству, к чиновничеству, короче говоря преимущественно к разночинцам. Полевой славится своими антикритиками, спорами с "аристократами", Сенковский высмеивает просвещение, искусство и науку. Газета "Северная Пчела" Булгарина и Греча (3000-5000) обращается к той же публике, выступает против Пушкина и "аристократов" и пользуется сомнительной популярностью из-за своих печатных доносов. Проповедует "благонамеренность и преданность престолу", эта

печать расшатывает авторитет представителей "дворянской культуры" при всяком удобном случае, чтобы расширить круг своих читателей. Она поступает профессионально, тогда как ее противники, бескорыстные дворяне, любители искусства и поэзии, терпят неудачу за неудачей: издатели альманахов, московские любомудры, петербургские последователи Пушкина и пр. У Белинского, несомненно, много общего с разночинцами, когда он расшатывает авторитет риторической школы в "Литературных мечтаниях", когда он разоблачает светскость Шевырева и его кумиров; он не признает ни Кукольника, ни Бенедиктова и вскоре становится нерушимым поклонником Пушкина и Гоголя; его "примирение с действительностью" ничего общего не имеет с раболепием продажной печати. Критика Белинского растет на новой почве; в кружке Станкевича установились отношения свободы, равенства и братства между юношами самого разнообразного происхождения, они вдохновляются скорее "масонскими" отношениями, нежели "демократическими", что предполагает антиаристократизм. Прибыв в Петербург, Белинский покоряет и привлекает читателей "промежуточного класса", объединяя образованность и публичность, народность и национальность, набрасывая контур гражданского общества и сохраняя почти религиозное уважение к культуре, к шедеврам искусства, литературы, этим проявлениям бескорыстной свободы творчества. Если Белинский - революционер, то только как сторонник Просветительской революции, предпринятой Петром Великим. Под его влиянием "Отечественные Записки" Краевского и затем "Современник" Некрасова продолжают обращаться к "промежуточному классу", отзываясь на его чувство неудовлетворенности, скорее с корыстной целью, чтобы увеличить тираж и бороться с конкурентами. "Обличительная литература" в рамках цензуры открывает писателям натуральной школы возможность исследовать "физиологию" современного общества. Это направление волнует просвещенного князя Вяземского, который руководил изданием "Московского Телеграфа" наряду с братьями Полевыми и привлекал видных писателей 20-х годов. В своих "Записных книжках" он отмечает 28 февраля 1846 г.: "Отпевали Полевого в церкви Николая Морского, а похоронили на Волковом кладбище. Множество было народа. По-видимому, он пользовался популярностью. Я не подходил к гробу, но мне сказывали, что он лежал в халате и с небритой бородою, - такова была его последняя воля, Он оставил по себе жену, девять

человек детей, около 60 000 р. долга и ни гроша в доме. По докладу графа Орлова, пожалована семейству его пенсия в 1000 р. серебром. В литературном кругу - Одоевский, Соллогуб и многие другие - затевают также что-нибудь, чтобы прийти на помощь семейству его <...>. Полевой заслуживает участия и уважения как человек, который трудился, имел способности, - но как он писал и что он писал, это другой вопрос. Вообще Полевой имел вредное влияние на литературу; из творений его, вероятно, ни одно не переживет его, а пагубный пример его переживет и, вероятно, надолго "Библиотека для Чтения", "Отечественные Записки" издаются по образу и подобию его. Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотьери, ниспровергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина, Белинский - Полевой, объевшийся белены"⁵⁴⁵.

Тут речь уже не идет о Сумарокове, Кантемире, Тредьяковском, об отсталых представителях псевдоклассицизма, а о выдающихся писателях-просветителях. В феврале 1848 г. поступает в III Отделение анонимный донос на вредное направление журналов "Отечественные записки" и "Современник", подрывающее "уважение к нашим старым писателям". "Нет сомнения, что Белинский и его последователи нисколько не имеют в виду коммунизм, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое может от них сделаться вполне коммунистическим".

23 февраля граф Орлов в докладной записке государю характеризует направление упомянутых журналов теми же словами: Белинский "всегда отличался от других критиков грубым тоном и резкостью своих суждений", он и его последователи, "нисколько не имея во виду ни политики, ни коммунизма, в молодом поколении могут легко поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме". Ставится при этих обстоятельствах вопрос об "усилении строгости и цензурного устава и надзора за самими цензорами"⁵⁴⁶.

Провоцирование беспокойства общественности перспективой революции по образу французской, запугивание ее угрозой коммунизма приводит к одностороннему выбору: либо с нами, с самодержавным, карательным аппаратом, либо против нас с вдохновителями "брожения умов" и преступного переворота.

Неужели, чтобы сохранить порядок, чтобы обеспечить будущее, нет другого выхода? Неужели лишь заклинаниями: "Пожар! Горим!" и репрессиями, можно отстранить грядущую опасность? Увы, полвека спустя совершились предсказания сторонников жестких мер, но не они ли сами в этом виноваты тем, что напрасно и неоднократно напоминали о ней и усиливали этим убеждения "новых людей"?

С 1848 по 1855 год просвещенное общество переживает "мрачное семилетие". Политические волнения на Западе усиливают подозрение властей, особенно против славянофилов. Самарин арестован из-за своих "Писем из Риги", в которых он критиковал злоупотребления немецких крепостников на балтийских землях. Иван, брат Константина Аксакова, которому было официально поручено изучить проблему староверов, также арестован. Оба должны лично объясниться с государем перед тем, чтоб их освободили. Ношение бороды и "национальных одежд" дворянином является столь же пагубным, как и при Петре Великом! В октябре 1849 года Уваров уходит в отставку, Дмитрий Голохвастов увольняется с поста попечителя. Многие преподаватели хотят последовать их примеру, так как ходят слухи, что университет будет закрыт. Публикация докторской диссертации Грановского, посвященной аббату Сюже, министру Людовика VI, и борьбе короля с феодалами во имя справедливости и порядка, возбуждает недоверие: не оспаривает ли Грановский действие Провидения? Он вынужден объясниться по этому поводу с Филаретом, митрополитом Московским, который в конце беседы дает ему свое благословение. Отныне главной заботой Грановского является защита преподавания истории от самых нелепых проектов; например, запрета ссылаться на таких "языческих и республиканских поэтов", как Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Тацит во время лекции по истории древности! Тем не менее, Грановскому поручают составить новую программу, предназначенную подчеркнуть роль Римской империи от Августа и показать превосходство абсолютной монархии над всяким другим политическим строем. Грановский, продолжающий понимать историю России в перспективе эпохи Просвещения, петровских реформ, берется за эту задачу, ни в чем не отступая от своих принципов. Напрасно. Его проект похоронен.

Революция 1848 года, "мощное вторжение масс в ход истории" несмотря на всю симпатию, которую Грановский испытывает по

отношению к их требованиям, вызывает его беспокойство о будущем цивилизации. В 1853 году он сообщает об этом по-французски одной знакомой: "Революционные или разрушительные, как их сейчас называют, элементы не потеряли свою силу и могут разразиться со дня на день с яростью, вызванной, к сожалению, чрезмерной реакцией. Кажется, провидение приговорило современные поколения к постоянному временному состоянию, к состоянию борьбы, которое переведет их от одной крайности в другую. Это мнение думающих людей в Европе, и это самое убеждение, существующее в разной степени во всех классах общества, делает жизнь там столь ненадежной и малоприятной"⁵⁴⁷.

Здоровье Грановского расшатано дорожным происшествием в 1847 году и холерой в 1853 году. Во время Крымской войны он не разделяет патриотичного оптимизма, охватившего иных: -Готовы ли мы противостоять цивилизации, развернувшей свои силы против нас? Но аргументы пессимистов, тех, которые делают ставку на поражение ненавистного строя, оскорбляют его национальное чувство. Незадолго перед смертью, 4 октября 1855 года, он, наконец, получает заслуженное признание. Избранный деканом своего факультета, он заслужил похвалу нового министра народного просвещения, А.С. Норова, доверившего ему составление учебника по всемирной истории. Он окружен уважением и доверием коллег и студентов. Преждевременная смерть сорокалетнего Тимофея Николаевича Грановского, умеренного либерала, открытого к диалогу в час, когда, наконец, ему дается возможность развернуться, осознается современниками, как непоправимая потеря.

Год спустя умирает Иван Киреевский. В 1853 г., в "Московском Сборнике" И.С. Аксакова, запрещенном со 2-го номера, он публикует статью "О характере просвещения в Европе". Еще 10 лет тому назад, вместе с Хомяковым, он призывал западных ученых сотрудничать с ними в познании славянского мира и русской народности. С тех пор его убеждения упрочились. Он теперь безоговорочно противопоставляет Россию Европе: "... Ее разум, достигнув высшей степени своего развития, дошел до сознания своей ограниченности и, уяснив себе законы собственной действительности, убедился, что весь объем его самодвижной силы не простирается далее отрицательной стороны человеческого знания". "Европа высказалась вполне. В XIX в. она, можно сказать, dokonчила круг своего развития, начавшийся в IX <...>. Россия, хотя в первые века своей исторической жизни была образована не менее Запада,

однако же, вследствие посторонних, и, по-видимому, случайных препятствий, была постоянно останавливаема на пути своего просвещения, так что для настоящего времени могла она сберечь не полное и досказанное его выражение, но только одни так сказать намеки на его истинный смысл".

Киреевский переоценивает значение "пресловурых европейских начал".

Христианство: На Востоке богословские писатели обращали преимущественно внимание на внутреннюю жизнь человека, отрешенного от мира. Римские богословы занимались особенно стороной практической деятельности и логической связи понятий.

Образованность гревнего мира: на Западе до половины XV в. воспринималась в форме древнего языческого мира. Когда греческие изгнанники перешли на Запад со своими драгоценными рукописями, уже было поздно.

Общественный быт Европы: почти везде возник насильственно из борьбы насмерть враждебных племен.

В России церковь определила навсегда твердые границы между собой и государством, между безусловной чистотой своих высших начал и житейским устроением; она никогда не стремилась быть государством.

Россия, благодаря естественным отношениям мира, избежала насильственных столкновений, она не знала ни неподвижных сословий, ни "мечтательного равенства", ни стеснительных преимуществ. Личность есть первое основание, а право собственности лишь ее случайное отношение. "Право общины над землей ограничивается правом помещика или вотчинника; право помещика условливается отношением к государству".

Этим тройным взаимным ограничением Киреевский пытается, при цензурных условиях, приступить к обсуждению вопроса о земельной собственности. Что касается судьбы русского народа, т.е. отмены крепостного права, он ее подчиняет решению главной задачи - построению здания просвещения России: "... корень образованности России живет еще в ее народе, и что всего важнее, он живет в его святой Православной Церкви". Это построение "может совершиться только тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добыванием материальных средств жизни, до сих проникнутый западными пониманиями, наконец, полнее убедится в односторонности Европейского просвещения". Таким образом, Киреевский дает понять, что нынешнее сущест-

зование крепостных крестьян будет длиться до тех пор, пока "праздное сословие" не откажется от пагубного западного влияния и не повернется к своему народу.

В последней своей крупной работе "О необходимости и возможности новых начал для философии" 1856 г. Киреевский оценивает положительно *цельность* древнего греческого сознания; но с оговоркой: отвлеченная разумность и живая пестрая осознанность противоречащих учений веры могли мириться в сознании грека только в созерцаниях изящного. Греческая философия - полезная воспитательница ума приготовила поле для христианского посева, но система Аристотеля "разорвала цельность умственного сознания и перенесла корень внутренних убеждений человека вне нравственного и эстетического смысла, в отвлеченное сознание рассуждающего разума". Философия Аристотеля действовала разрушительно на нравственное достоинство человека, превратила его в "очень умного зрителя" и привела к стоицизму. Развитие разумного знания ограждает от лжезнания, но не спасает от отчаяния. "На земле человеку не оставалось спасения. Только сам Бог мог спасти его". Увы, на Западе невежество народов подвергло их влиянию позднего язычества и придало их мышлению рассудочный характер римской отвлеченности, заставляя их искать наружного единства церкви вместо единства духовного. "Отпадение Рима лишило Запад чистоты Христианского учения и в то же время остановило развитие общественной образованности на Востоке".

Признав отрицательные последствия великой Схимы для обеих сторон, Киреевский не идеализирует политический строй на Востоке. "Византия могла бы сделаться Христианскою. Но ее правители были по большей частью еретики или отступники и угнетали Церковь, под видом покровительства, пользуясь ею только как средством для своей власти <...>. Одна Церковь Христианская оставалась живой, внутренней связью между людьми <...>. Чтобы спасти внутреннее убеждение, Христианин Византии мог только умереть для общественной жизни. Так он делал, идя на мученичество, так делал, уходя в пустыню или запираясь в монастырь"⁵⁴⁹.

"В Православной Церкви Божественное Откровение и человеческое мышление не смешиваются; пределы между Божественным и человеческим не переступаются ни наукой, ни учением Церкви". "Такая неприкосновенность пределов Божественного Откровения, ручаясь за чистоту и твердость веры в Православной Церкви, с

одной стороны, ограждает ее учение от неправильных перетолкований естественного разума, с другой - ограждает разум от неправильного вмешательства Церковного авторитета". Эти пределы не отклоняют верующего от потребности согласить понятия разума с учением веры, но он "ищет не отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры, но самый разум поднять выше своего обыкновенного уровня". Истина Божественная обнимается не наружной ученостью, но внутренней цельностью бытия.

Киреевский не отвергает значение философии; она не есть одна из наук, и не есть вера, она основание всех наук и проводник мысли между ними и верой: "Покуда внешнее просвещение продолжало жить на Востоке, до тех пор процветала там и Православная Христианская Философия. Она погасла только вместе с свободой Греции и с уничтожением ее образованности". Возможно ли возобновить философию святых отцов в том виде, как она была в их время? Это невозможно, отвечает Киреевский, при отсутствии свободной Греции, без "столкновения с вопросами окружающей образованности". Намек тут ясен, без всякого индологического сказания: в России, при отсутствии свободного столкновения со светским обществом по всем современным вопросам, духовное возрождение неосуществимо. Учение древних святых отцов напоминает необходимость постоянно держать в уме связь истины с современной ей образованностью, "чтобы отличить то, что в ней есть существенное, от того, что только временное и относительное"⁵⁵⁰.

Разум в системе Шеллинга и Гегеля, в отличие от логического рассудка, выводит свое знание не из отвлеченного понятия, "но из самого корня самосознания, где бытие и мышление соединяются в одно безусловное тождество". Это понятие "не противоречило бы безусловно тому понятию о разуме, какое мы замечаем в умозрительных творениях Святых Отцов <...>. Все ложные выводы рационального мышления зависят только от его притязания на высшее и полное познание истины <...>, но это сознание ограниченности было бы смертельным приговором его безусловному авторитету: поэтому оно всегда боялось этого сознания, и тем более, что оно было близко к нему. Чтобы избежать его, оно беспрестанно меняло свои формы". Формализм новейшей философии выражается "в развитии диалектическом, исходящем из самой сущности предмета". Это разлагающее действие теперь составляет "высшую степень умственного развития Запада".

И Киреевский выносит приговоры, сначала в адрес Гегеля, лишь последователя Шеллинга: "Читая Платонова Парименида, кажется, будто в словах ученика Гераклитова, мы слышим самого берлинского профессора, рассуждающего о диалектике, как о главном назначении философии". Затем в адрес самого Шеллинга. Будучи от рождения протестантом, он "не мог не видеть ограниченность протестантизма, отвергающего предание, которое хранилось в Римской Церкви". От этого и слухи о его переходе в католицизм. "Ему оставалось одно: собственными силами добывать и отыскивать из смешанного христианского предания то, что соответствовало его внутреннему понятию о Христианской истине. Жалкая работа - сочинять себе веру!"⁵⁵¹

Со своей стороны, к столетнему юбилею Московского университета в 1855 г. кн. В.А. Черкасский читает свои воспоминания в кругу бывших университетских товарищей, на вечере у Юрия Самарина. Он был студентом юридического факультета с 1840 по 1844 г. Он напоминает, что тогда царило историческое направление, оказавшее огромное влияние на преподавание почти всех предметов: "... то была пора более или менее вежливых турниров и борьбы славян и западников. Счастливое время, когда турнир не был смешон, и между людьми мыслящими могло существовать искреннее разногласие. Все это прошло, дай Бог, чтобы не прошло безвозвратно, - но, во всяком случае, прошло для нашего поколения, оставив по себе единственным следом - несбывшиеся надежды и неутешительную действительность. Он вспоминает с любовью о чтении лекций Погодиным и Крыловым, деканом юридического факультета: "За ними, по художественной своей отделке и теплоте постоянно согревавшего их чувства отличались чтения Тимофея Николаевича Грановского"⁵⁵².

Рыцарские чувства и турниры. В воспоминаниях славянофила Черкасского "семейная ссора", которая в сороковые годы потрясла "мирное сообщество друзей науки и просвещения" и привела к разрыву, оставшемуся для России незаживающей раной, развивалась в особенно светлой обстановке. Можно только жалеть об этой парадоксальной эпохе - апофеозу самодержавия и просвещения! Просвещенное общество, которое Николай I отстранял от государства и притеснял своим недоверием, жило надеждами, ожиданиями, возлагая на "светлое будущее" уверенность в осуществлении особого идеала для России, хотя "русский народ" оставался загадкой. Являлся ли он легко управ-

ляемой, безучастной и послушной массой? Или хранителем утраченных подлинных русских ценностей? Или просто жертвой крепостного права, этого зла, которое осуждали и западники, и славянофилы? Он вызывал чувство виновности и возбуждал, питал любовь к России. Парадокс николаевских лет еще усилится, когда долго откладываемая перестройка всего общественного порядка повлечет за собой неожиданные последствия. Славянофилы, как и западники, окажутся в лагере "дворян-либералов", лицом к двум противникам: к землевладельцам-консерваторам и к разночинцам-демократам, - неравный бой, несмотря на то, что он разгорается в обстановке, наконец, благоприятной для расцвета Просветительской революции.

На эпическом пути самопознания, в поисках народности и личного достоинства, родства России и Европы любителям науки и искусства не доводилось общаться с государственными лицами, просвещенными, как они, вдохновленными теми же стремлениями, но отрезанными от них стеной непонимания и недоверия после 1825 г. Суждено наследнику Петра Великого продвигаться параллельно пути самопознания, по пути Просветительской революции сверху, лишая себя возможности объединить свои усилия с вечным спутником своим, не признавая его своим собственным сознанием. А на пути к просвещению стоит непоколебимое до сих пор препятствие: крепостное право; а оно растет, по мере того, как растет историческая и политическая необходимость для России избавиться от этого зла. Нельзя на пути самопознания обойти молчанием то, что совершается секретно, негласно сановниками - доверенными лицами царя-самодержца.

Благодаря трудам близкого сотрудника графа Киселева, А.П. Заблоцкого-Десятовского, "П.Д. Киселев и его время, материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II", можно восстановить объем деятельности министра государственных имуществ во имя Просветительской революции сверху. Не надо забывать при этом, что Киселев пользовался постоянно полным доверием и поддержкой со стороны Николая I. Поэтому все то, что можно ставить в заслугу министра, относится тоже к его покровителю.

Графу П.Д. Киселеву, участнику Отечественной войны, флигель-адъютанту Александра I, 28 лет, когда он обращается к запиской к царю:

Записка Киселева, об уничтожении крепостного права царю.
28 августа 1816, в Москве.

"Гражданская свобода есть основание народного благосостояния. Истина сия столь же мало подвержена сомнению, что излишним почитаю объяснять здесь, сколько желательно было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишенных оной".

Киселев предлагает следующие меры:

1)позволить капиталистам всех званий покупать у дворян имения, но с тем, чтобы отношения крестьян к новым владельцам были определены законом;

2)запретить увеличение дворовых, образовав из них особое сословие и обязав владельцев вносить за них подати;

3)крестьян при фабриках и заводах освободить;

4)разрешить дворянам устройство майоратов, с тем, чтобы крестьяне таких имений вошли в состав вольных хлебопашцев;

5)разрешить крестьянам выкупаться самим и с семейством, по определенной правительством цене;

6)перемерить вновь земли и, назначив к обрабатыванию нужное число крестьян, всех прочих по возможности выкупать правительству и переселять в многоземельные губернии, где, водворяя их на землях казенных, объявить вольными хлебопашцами.

При уменьшении прав властвующих и при росте прав поработанных, крепостное право само собой уничтожится без потрясения государства.

"Капиталистам" право покупать земли и впереди капиталовложение в сельское хозяйство, дворянам - охранять потомство свое от бедности и породу свою от унижения, и всем - независимое существование благодаря законной свободе.⁴⁶

Киселев, начальник главного штаба 2-ой армии

По возвращении из-за границы, 2-я армия была расположена в юго-западных губерниях и Бессарабии; главная квартира находилась в Тульчине Подольской губернии. Вскоре стали обнаруживаться большие беспорядки, в особенности по интендантской части. Разбросанная на громадном пространстве, армия, около 60 тыс. человек, ускользала от фактического контроля над действием командиров. В должности начальника главного штаба Киселев поддерживает тех, кто желает преобразования армии, и защищает их от "замечаний" министра Аракчеева. Он не сочувствует системе усиленных фронтовых занятий, которая приводит к жестокому

обращению с солдатами. Командир 6-го корпуса, генерал Сабанеев, делится с ним в своих откровенных письмах. Так как при Высочайших смотрах возможен лишь поверхностный обзор, то каждый начальник стремится к тому, чтобы часть имела красивый наружный вид. "Учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, скобка против рта (при держании ружья на караул), параллельность шеренг, неподвижность плеч и все тому подобные, ничтожные для истинной цели предметы столько всех заняли и озаботили, что нет минуты заняться полезнейшим <...>. Какое мучение несчастному солдату и все для того только, чтобы изготовить его к смотру! - Вот где тиранство! - Вот в чем достоинство Шварца, Клейнмихеля, Жултухина и им подобных!" Все указанные злоупотребления, как бы освещались мнением, что "того желает Государь"⁵⁵³. Упомянутый тут П. Шварц, командир семеновского полка, вызвал своими притеснениями "семеновскую историю", выход из казарм в одних шинелях, рядовых, которые были не в силах более переносить непомерную его строгость.

Занимаясь осмотром полков, Киселев целиком поглощен служебными делами. "В Петербурге у него был кружок преданных ему друзей (Орлов, Закревский, Меншиков, Булгаков), с которыми он привык откровенно делиться мыслями; в Тульчине он очутился один: он не мог себя поставить на дружескую ногу ни с главнокомандующим, несмотря на всю его доброту, ни с теми из молодежи, которые, очевидно, возбуждали в нем сочувствие: дисциплина, подчиненность, составляющая душу военной службы, мешали тому". Перечислив в письме Закревскому от 13 июля 1819 года то, что им достигнуто за четыре месяца, он заключает: "Исправление морального состояния армии подлежит времени и постановлениям, которые не позволяют деятельно к тому приступить; по сему предмету все войска российские в одинаковом положении и, по выражению Сабанеева, *палочки* наши долго таковыми останутся".

"Не показывая равнодушия к фронтовой части, Киселев старался сколь можно ослабить требования, посылавшиеся из Петербурга, и в этих видах преднамеренно возбуждал множество вопросов, разрешение которых восходило до Государя, находившегося за границей, так как ни Закревский, ни князь Волконский не были поборниками принятой системы. Государь, как кажется, понял намерение Киселева и упрекал его в пуризм". Князь Волконский писал ему из Тропау: "Государь находит, что

вы сделали страшным пуристом в фронтовой службе, как видно из всех ваших вопросов Закревскому, и на которые я вам отвечаю по приказанию Его Величества"⁵⁵⁴.

Благоразумное терпение, но при этом упорство в намерениях и настойчивость в проведении возможных преобразований и сохранение чувства личного достоинства, вот как можно характеризовать личность Киселева.

После смотра 7-го корпуса государь поздравил Киселева, присвоив ему звание генерала-адъютанта и приказал ему следовать за собой в военные поселения. Басаргин сопровождал Киселева и рассказывал: "Мы ехали с Государем и прибыли в Вознесенск. Там застали Аракчеева. Трудно объяснить то влияние, которое он имел на покойного Императора Александра. Я был свидетелем его стычки с Киселевым, который его (Аракчеева) не любил и не унижался пред ним, и где он его славно отделал. Услышав от Государя, как он остался доволен 2-ю армиею и вероятно будучи этим недоволен, Аракчеев в первое свидание с Киселевым, когда Государь ушел в кабинет, обратился к нему, при оставшемся многолюдном собрании, с следующими словами: "Мне рассказывал Государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич! Он так доволен вами, что я желал бы поучиться у вашего превосходительства, как угождать Его Величеству. Позвольте мне приехать для этого во 2-ю армию; даже не худо было бы, если б ваше превосходительство взяли меня на время к себе в адъютанты". Слова эти всех удивили и взоры всех обратились на Киселева. Тот без замешательства отвечал: "Милости просим, граф, я очень буду рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, то извините меня, - прибавил он с усмешкой, - после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю". Аракчеев закусил губы и отошел".

Басаргин подтверждает, что Киселев никогда не унижался и вел себя с достоинством, не теряя при этом расположение государя: "Раз как-то Государь спросил его: почему он, будучи небогат, не попросит у него никогда аренды или денег? - "Я знаю, что Вы охотно даете, Государь, отвечал он, но не уважаете тех, которые принимают от Вас. Мне же уважение Ваше дороже денег". Ответ прекрасный, но и придворный. Надо добавить, что Киселев был ловок и знал хорошо характер покойного Императора"⁵⁵⁵.

22-го февраля 1821 года, переходя через Прут из Бессарабии с небольшим отрядом греков, арнаутов и русских удальцов, князь Ипсиланти совершил вторжение в Дунайские княжества. "Чтобы разведать об истинном положении дел в княжествах и наблюдать за пропуском через границу жителей, бежавших, вследствие возникших беспорядков, в пределы России, Киселев командировал в Скуляны Пестеля <...>. Описав подробно в письме к Киселеву происшествия, случившиеся в княжествах вследствие восстания Владимиреско и вторжения Ипсиланти, Пестель, между прочим, писал, "что тогдашние события в то время еще только любопытные, могут иметь важные последствия. Если существует 800 тыс. итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целью. Вот что в первый момент я могу сказать. Сам Ипсиланти, я полагаю, только орудие в руках скрытой силы, которая употребляет его имя точкой соединения <...>. Предписанные вами меры хороши тем более, что они совершенно в духе трактата, по которому Россия провозгласила себя покровительницей Молдавии, и в то же время стремится сохранить согласие с турками. На этом-то основании я полагаю, что Государь эти приготовительные меры может только одобрить во всех отношениях <...>. Из Кишинева я предполагаю поехать в Тирасполь к генералу Сабанееву, чтобы сообщить ему все точные сведения, мною собранные, и оттуда я уже возвращусь в Тульчин, чтобы рассказать вам еще о многом лично. Эти дела очень интересны; но так как они еще не относятся ни до нашей армии, ни до данного мне поручения, то я не передаю их письменно. Я очень желаю, чтобы вы остались довольны тем, как я исполнил ваше поручение. Ваше одобрение для меня весьма дорого". Составив из письма Пестеля записку, Павел Дмитриевич препроводил ее князю Волконскому¹⁵³⁶.

Что собирался сообщить лично Пестель своему просвещенному начальнику? Он явно увлекался мыслью о всеобщем европейском заговоре, но едва ли мог увлечь Киселева каким-либо политическим проектом.

Введение правила заслуги

"Чтобы избавиться от неблагодетельных и невежественных офицеров, которые, поступая на службу из необразованных дворян, производились по праву старшинства и уже в офицерском звании причиняли вред службе, признано было необходимостью подвергать молодых людей, поступающих в военную службу, серьезным испытаниям, за чем должны были наблюдать лица, на обязанность

которых было предоставлено право приема". Введение в 1821 г. правила *заслуги*, а не *выслуги* отвечало высочайшей воле производить в штаб-офицеры не иначе как по способностям и заслугам.

Об этом заботился уже давно Киселев. "Еще во время своих командировок во 2-ю армию, Киселев проектировал устройство корпусных лицеев; один и был устроен при 6-ом корпусе у Сабанеева. Киселев в 1819 году возобновил ходатайство об устройстве лицеев, на что кн. Волконский отвечал: "Я очень рад сообщить вам, любезный Киселев, что Государь очень доволен вашим представлением об учреждении учебных заведений в корпусах, дивизиях, полках и батальонах и все одобрил; но в то же время Его Величество поручил мне передать вам, относительно лицей, что подобное учреждение, нет сомнения, принесет только пользу, если цель его будет точно выполнена и исключительно для военной службы; если не будут примешивать в преподавании молодым людям политику и разные конституционные идеи, которые теперь в большой моде".

Киселеву приходится оправдываться, уточнять: "Учитель языков, географии и истории, известный полковник Кюдер - старик 65 лет, знающий только требуемое для первого класса", и надеяться, что "клевета, сделавшая мне много зла, не осмелится заменить истину, которую я вам высказываю".

Необходимость образования для служебных должностей, занимаемых нижними чинами, побудило некоторых командиров приготовить наилучших из них по методе взаимного обучения. Киселев поддерживает эти местные инициативы. Деятельным учредителем ланкастерских школ был М. Орлов. Он писал 17-го ноября 1820 г. Киселеву по поводу его инструкции об учебных командах, что во многом с ним согласен: "Одна только разница: твой предмет только фронтальной, а мой и нравственный. Я хочу, чтобы все чины, выходя из сей команды, перенесли бы к себе другой образ действий и мыслей. Поймешь ли ты меня?"⁵⁵⁷

Не переступал ли неосторожный Орлов границы своих служебных обязанностей? Стремление "объять необъятное"? Просвещенный Киселев действовал по этапам, вводил просвещение и законность в область, ему предоставленную, не выходя из круга своих полномочий. Передовые люди, увлекавшиеся взаимным обучением, затем порой оказались замешанными в событиях 1825 года. На ланкастерские школы стали смотреть враждебно, как на источник "заразы", которая проявилась в разных частях 2-й армии. Этим оправдывается сдержанность, которую постоянно проявлял Киселев.

Киселев, наместник в Дунайских княжествах

После восстания Владимиреско в Валахии и вторжения Ипсиланти, Аккерманская конвенция в 1826 г. признала необходимость преобразовать административную машину в Молдавии и в Валахии, и обязала господарей, вместе с диваном, составить основные законы, "регламенты" для каждого княжества. В июне 1829 г. в Бухаресте был открыт комитет для составления регламента, но когда Киселев вступил в управление княжествами, он убедился, что комитет почти ничего не сделал из-за общего нерасположения бояр: реформа должна была коснуться не только злоупотреблений господарской власти, но и собственных их выгод.

В депеше графу Нессельроде от 14-го апреля 1830 г. Киселев сообщает о принятии комиссией его мыслей "о введении поголовной подати вместо обложения земледельцев по количеству скота, о народной переписи через каждые 7 лет, об улучшении положения цыган, о взаимных отношениях землевладельцев и крестьян, об установлении трех судебных инстанций по всем делам, об уничтожении смертной казни, о введении однообразного судебного процесса для всех сословий, о постепенном введении несменяемости судей"⁵⁵⁸.

Все эти мысли выражались в 9-ти главах регламента и были приняты 29-го апреля собранием, с незначительными изменениями. Дворянство лишалось доходов и произвольного влияния во всех делах, духовенство лишалось части своих доходов и теряло свое влияние на гражданские дела, купцы и весь промышленный класс были обложены налогом и подчинены положительным правилам, власть господарей и всех чиновников лишалась возможности из своих должностей извлекать выгоды незаконные, но "...Дух миролюбия и согласия, писал Киселев в депеше гр. Нессельроде, - господствовал в собрании, во время заседаний"⁵⁵⁹.

Парадокс? Самодержавная Русь вводит и обеспечивает основы правового государства в Дунайских княжествах, где царили произвол и коррупция, где постоянный беспорядок, при малейшем предлоге, вызывал восстания населения. Ведь одерживает тут победу Просветительская революция, и Россия занимает в ней первое место.

Киселев министр государственных имуществ

В воспоминаниях своих, 2 июля 1864 г., Киселев записал: "В 1834 году по возвращении моем из княжеств, Император Николай Павлович, при вечернем разговоре, изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть

на Наследника, Он признает необходимейшим *преобразование* крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может. Я, продолжал Государь, говорил со многими из моих сотрудников и не в одном не нашел прямого сочувствия: даже в семействе Моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно противны. Несмотря на то, Я учредил комитет из 7 членов, для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие. По отчету твоему о княжествах, Я видел, что ты этим делом занимался и тем положил основание к будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое Я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов и составлению проекта или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая Меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу".

Киселев отвечает, что в княжествах он мог, основываясь на коренных законах, никогда не отмененных, составить предварительное положение, которое хлебопашцами было встречено с восторгом, а боярами без особого неудовольствия. Он принимает с душевным удовольствием царское приказание, но сомневается в своих способностях. Государь его перебивает: "И Я неопытен, но твердо уповаю на внушение Всевышнего, который нас просветит и направит". Отпуская Киселева, он добавляет: "Ты можешь при объяснениях с Сперанским об учреждении V Отделения Моей канцелярии коснуться и крестьянского вопроса *вообще*, не упоминая о нашем нынешнем разговоре. Он одарен необычайной памятью и всегда готов отвечать положительным образом на все обстоятельства того времени; он *пострадал невинно*, я это слышал от Императора Александра Павловича, который говорил, что Он в долгу пред этой жертвой политических столкновений, которые тогда преодолеть не мог, но которые Он себя обязанным вознаградить считает. Покойный Государь начал, а Я должен это доверить" ¹⁵⁶⁰.

Еще в 1827 г. Сперанский считал, что первый шаг к преобразованию крепостного права - устройство казенных крестьян. "... Земские исправники чуть те же помещики, с той разностью, что они переменяются и что на них есть некоторые способы к управе; но взамен того, сие трехлетние владельцы не имеют никаких побуждений беречь крестьян, коих они ни себе, ни потомству не прочат".

Комитет по крестьянским делам 6 мая 1835 г. обсуждает проект Канкрина, где перечисляются переходные степени для крестьян. Государь желает, чтобы прежде всего провели размежевание земель. Канкрин возражает, что это дело невозможное! В записке Сперанскому от 25-го февраля 1836 г., после разговора с государем, Киселев пишет о состоянии крестьян: "Такое оскудение не происходит единственно от неразмежевания земель. Причина сему есть отсутствие, во-первых, *покровительства* и, во-вторых, *наблюдения*. От недостатка покровительства крестьяне обременены незаконными поборами и личными повинностями. От недостатка наблюдения разврат и пьянство уничтожают в самом источнике основание сельского благосостояния".

29 апреля 1836 г. принят указ об учреждении V Отделения собственной Е.И.В. канцелярии и передача в него всех дел, относящихся к управлению казенными крестьянами, оброчными статьями и лесами С.-Петербургской губернии.

3 мая 1836 г. в записке государя Киселеву перечисляются задачи: приведение в известность настоящего положения казенного имущества в С.-Петербургской губернии, образование конторы, приступ к межеванию, образование роты топографов. Передача всего дела об устройстве казенных крестьян в руки Киселева. В докладе комитета 4-го мая "был поставлен общий вопрос об улучшении сельского и волостного управления, но никаких не указано руководящих начал. Таким образом Павлу Дмитриевичу предоставлен был полный простор и возможность высказать собственный взгляд на дело".

После *обревизования* государственных имуществ в 4-х губерниях, Киселев представляет отчет в весьма неблагоприятном свете: "... безнравственность установленных властей и самих крестьян достигла высшей степени и требует усиленных мер для искоренения злоупотреблений, которые расстроили хозяйственный быт крестьян в самом основании, породили в них нерасположение к труду, и без того мало вознаграждаемому, и тем остановили, а в некоторых случаях уничтожили надлежащее развитие государственного богатства <...>. Образование крестьян в пределах, свойственных сельскому быту, составило бы важный шаг к улучшению их нравственности; но, к сожалению, дело сие пренебрежено совершенно. Духовенство не обращает на то ни малейшего внимания; учрежденные в образцовых губерниях волостные училища, не получив основных правил, не представляют желаемого успеха".

По поводу распространения расколов, Киселев замечает: "... люди, присоединяющиеся к расколу, обращаются в оны большей частью не по чувствам какого-либо убеждения в догматических началах, которых они мало или вовсе не понимают, но единственно для приобретения покровительства в кругу общества, которое, чем более усиливается разврат и безначалие в общей массе православных, тем более старается сохранить строгую нравственность и связь, основанную на взаимных пособиях. С водворением порядка и благоустройства в сельских обществах, стремление к расколам должно уменьшиться само собой".

Ни слова о каких-либо проявлениях недовольства среди сельского населения: дух крестьян вообще покорный. "Сколько, с одной стороны, беднейший и многочисленный класс земледельцев желает улучшений в настоящем их состоянии и, с полным доверием к правительству, ожидает его распоряжений, столько, с другой стороны, всякие изменения, особенно переложение податей с душ на землю и правильнейшее устройство сборов и расходов, будут противны существующим властям и богатейшим поселянам, для коих нынешний беспорядок управления доставляет особенные выгоды"⁵⁶¹.

Киселев убеждает государя в необходимости учредить особое управление государственных имуществ; это приведет в 1837 г. к образованию министерства государственных имуществ. Он убеждает его также заменить "крепостную" систему рекрутских наборов жеребьевой системой по примеру остзейских губерний; она постепенно распространяется и обнимает 14 губерний в 1842 г., но из-за ярого сопротивления крепостников, она будет окончательно утверждена только военной реформой в 1874 году. В программе преобразования управления государственных имуществ ясно выступают начала, которые вдохновляют Киселева: "При устройстве благосостояния столь многочисленного класса необходимо означить положительно пределы дарованных ему прав личных и по имуществу, указать ясно обязанности поселян и определить меру их ответственности, ибо полная известность сих условий более или менее обеспечивает самую неприкосновенность прав, предупреждает нарушение обязанностей, устраняет произвол и служит залогом нравственного улучшения"⁵⁶².

Совместить, в духе Просвещения, дарованные права с обязанностями, привить поселянам чувство личной ответственности являются решающими предпосылками для самоуправления, которым

будет обладать сельское общество после отмены крепостного права.

При этом важной мерой по влиянию своему на хозяйственное устройство крестьян является переложение подушной подати с душ на землю. Опыты в большом масштабе в С.-Петербургской и Воронежской губерниях указали необходимость в разных мерах для наделения земель или переселения крестьян и вообще для хозяйственного устройства на будущее время.

Для распространения сведений при министерстве издаются "Журнал Министерства Государственных Имуществ", "Лесной Журнал", "Земледельческая Газета". Ежегодно Киселев, до 1853 г., дает отчеты, приводит главные административные меры: постепенное введение сельского управления, постепенный перевод государственных крестьян с барщины на оброк, положение о медицинском управлении, положение о взаимном страховании строений в казенных селениях. В циркуляре, при замеченных недостатках, министр напоминает: "Во всех распоряжениях не произвол, а закон руководствует административной или исполнительной властью. Если закон недостаточен и неясен, то испрашивается на дополнения закона Высочайшее соизволение, а об истолковании неясности представляется в те государственные установления, которым пояснение законов принадлежит".

"Итак, для настоящего - законность, для будущего - воспитание, составляют основания и сего преобразования, основания мудрые, указанные Высочайшим попечением Августейшего Монарха"⁵⁶³.

Ни в каком случае не следует критически оценивать *законность*, которую Киселев упорно стремится ввести и в административный аппарат, и в нравы сельского населения как применение военной регламентации к гражданской службе и к сельскому быту. В противоположность военным поселениям Аракчеева, вся его система правления ведет к самоуправлению. Но, увы, путь еще далек до признания закона как хранителя прав человека от произвола, а не как принуждающего указа.

Вот прекрасный пример постоянной борьбы Киселева во имя законности: "Князь Воронцов, в видах поддержания аристократического на Кавказе элемента, расширял права беков и агаларов и ограничивал права крестьян, возлагая на них разные повинности в пользу владельцев, в том числе обязанность давать известное число лиц на службу в дом помещика". В письме к графу Киселеву из Тифлиса от 17-го февраля 1847 г. он пишет, что "обязанность давать людей на службу, в дом помещика, не та, что в России, где

помещик берет дворовых по произволу, продает их как скот, сдает их в солдаты и посылает без суда в Сибирь <...>, это повинность, которую мы нашли в краю согласно с нравами и обычаями народонаселения". Граф Киселев в письме от 2-го августа 1847 г. отвечает князю Воронцову, что "он не может изменить мнение, высказанное им в кавказском комитете, так как оно основано на справедливости. Крестьяне о которых идет речь, в 1845 году присоединены к государственным и получили через то личные права и земли в бессрочное пользование. После шестилетнего пользования этими правами, они потеряли земли, отданные прежним их владельцам, а теперь у них хотят отнять и гражданские их права, что соображения высшей политики заставили правительство возвратить земли агаларам это понятно; но трудно понять, почему хотят возвратить крестьян, живущих на этих землях, в положение, предшествовавшее закону 1841 года, т.е. в рабство, основанное на обычаях и понятиях, признанных стеснительными. Подобная мера была бы также несправедлива, как и опасна: у крестьян отняли бы право, дорогое всякому человеку, как бы он ни был мало развит, право располагать своей личностью".

"Князь Воронцов в длинном письме к графу Киселеву от 20-го октября 1847 г. прежде всего оправдывался в том, что он нисколько не изменил своих убеждений в необходимости изменения крепостного права в России. "Я всегда, - говорил он, - ненавидел личное рабство, ненавижу его и до сих пор, оплакивая его существование у нас и повсюду, где его вижу". Но далее он поддерживал свою мысль о необходимости оставить крестьян в известной зависимости от агаларов, в которых, по его словам, народ видит естественных своих начальников <...>. Делая народ еще менее зависимым от его естественных начальников, чем он был когда-либо, чем мы теперь предполагаем, и возбуждая нерасположение высшего класса, мы действуем в руку Шамилю и оказываем ему услугу".

"В следующем году князь Воронцов представлял в кавказский комитет о вознаграждении грузинской фамилии Сулукидзе, именно о возвращении им земель, у них отобранных, вместе с крестьянами, на них жившими. Чтобы отстранить противодействие в этом деле графа Киселева, князь Воронцов думал достигнуть этого, затронув его самолюбие в отношении проведенного им указа 2-го апреля 1842 года, и с этой целью предлагал означенных крестьян обратить в обязанные и дать тем пример, которому найдутся последователи в Грузии. Граф Киселев однако же не поддался на это обольщение

и отвечал князю Воронцову, что он не разделяет мнение о законности обращения государственных крестьян в обязанные. Переход от зависимости, определенной законами, есть шаг вперед для крепостных; но государственные крестьяне принадлежат к категории людей свободных и отодвинуть их назад прикреплением к земле было бы и несправедливо и незаконно"⁵⁶⁴.

Киселев ни в чем не уступает на пути к полной эмансипации сельского населения. При его министерстве, в 1841 г., личные права и самоуправление были дарованы государственным крестьянам, в ущерб произволу чиновников. Указом 2-го апреля 1842 г. частные крепостные могли, с дозволения помещика, стать обязанными крестьянами. Этот компромисс с "крепостниками" не удовлетворял Киселева, потому что успех реформы зависел исключительно от доброй воли помещика, что оказалось вскоре ненадежным; он считал более эффективной административную деятельность при крепостной зависимости, регламентацию повинности, инвентари, чтобы обескуражить собственника и довести его до того, чтоб он предпочел сам освободить своих крестьян.

Враги Киселева

"В 1842 г. были посланы в Сибирь комиссии для обревизования государственных имуществ. Они были приняты весьма неблаго-склонно местными властями, которые своим опасениям за собственные выгоды старались придать вид опасений крестьян за перемену их состояния. Генерал-губернатор князь П.Д. Горчаков, увлекшись общим настроением местных чиновников и, быть может, разделяя враждебное против графа Киселева настроение высших правительственных лиц в Петербурге, представил Государю донесение о том, что между крестьянами в Сибири распространяются опасения за перемену своего положения и что в случае введения между ними нового управления, можно опасаться беспорядков, подобных тем, которые были уже в соседних губерниях пермской и оренбургской".

Донесение это государь передал графу Киселеву, который и представил следующий доклад; в нем изложены те идеи, которые легли в основание "Положения о крестьянах" 19-го февраля 1861 г.

Отрывки:

"Соблюдение законности всегда, и по обязанности моей, и по понятиям моим, составляло основу всего преобразования. Законность в актах и действиях я почитал и почитаю вернейшим средством ко всему правильному и, следовательно, твердому. На

сих основаниях, развитие законного сельского состояния определяется:

1) В учреждении Сельского Управления, в котором ясно и положительно выражаются: обязанность, власть и ответственность каждого лица.

2) В Сельском Судебном Уставе, по которому маловажные проступки и тяжбы представляются разбирательству собственного крестьянского суда.

3) В установлении приговоров на распределение денежных и личных повинностей, и в праве крестьян производить поверку и учет всех общественных расходов.

4) В принятом способе действовать на улучшение домоводства не властью и принуждением, а убеждением и примерами.

5) В праве поселян свободно располагать своей деятельностью, употребляя оную на земледелие или промышленность, и в праве переходить в городское состояние.

6) В учреждении приходских школ для нравственно-религиозного воспитания.

7) В указании на законы, Высочайше дарованные в защиту прав личных и собственности, и особенно в открытии каждому путей предъявлять свои жалобы на отступления от оных".

Киселев перечисляет меры, принятые, чтобы ограничить привычное своеволие, разврат и неисполнение законов, преграды к произвольным и безотчетным поборам, препятствия к захвату казенной собственности, основание к уравниванию прав и обязанностей богатых и бедных, ограничение всеми дозволенными законом средствами пьянства, что более или менее должно впоследствии остановить распространение разврата.

"Все эти меры, и в особенности последняя, объясняя действие и цель управления, естественно должны были породить неприязненное расположение к нему не только в людях, непосредственно участвующих в деле, но и в тех, которые косвенно и скрыто могли утратить прежние свои выгоды. В сих лишениях личного интереса скрывается настоящая причина всех распространяемых опасений; она отражается и в донесении генерала-губернатора Западной Сибири и в делах Закавказского края, но в особенности во всех действиях земской полиции, которая, утратив влияние на хозяйственные дела крестьян, не могла равнодушно смотреть на развитие нового управления".

" Впрочем, заключает Киселев, все преобразования, какого бы рода ни были во всех землях, всегда сопровождались затруднениями от явного или тайного сопротивления. Действия наши тем труднее, что они в беспрестанном столкновении с закоренелыми предрассудками, а еще важнее, в борьбе с частными интересами. Против первых - терпение, и хотя не скорое, но постоянное и прямое действие представляют залог успеха. Против последних, основанных на лобостязании, я уступчивым быть не в праве".

"На подлинном докладе рукой министра написано: "Его Величество по прочтении сего доклада, в Петергофе 31-го мая, изволил отозваться, что совершенно разделяет все заключения оного, и что при твердом уповании в успех, Его Величество желает, дабы чиновники ведомства государственных имуществ одушевились в их обязанности и приобрели доверие крестьян, которых, и в особенности в отдаленных губерниях, следует направить к порядку и быту, как детей, еще не знающих своих интересов".

"Киселев, зная младенческое состояние народа, желал облегчить ему способ понять свои гражданские обязанности. Он до такой степени считал важным распространение знания этих обязанностей, что сделал распоряжение о чтении Сельского Полицейского Устава в крестьянских училищах, и многие статьи Устава приказал вводить в тексты прописей. Можно ли это считать ошибкой или излишеством попечительства, вмешательством в дела крестьян?"⁵⁶⁵

"Издание Сельского Судебного Устава для государственных крестьян, в котором с ясностью и краткостью были изложены и процессуальная, и карательная стороны, есть один из лучших памятников законодательной деятельности графа Киселева".

Не увлекался ли чрезмерно граф Киселев своими либеральными убеждениями, подобно "просвещенному" помещику, прививающему западные правила среди своих крестьян, не принимая во внимание почву, на которой он сеет свой либерализм? Борьбу свою Киселев вел терпеливо, на уровне государства, без применения насилия, цивилизованно. Целью его было создание, по европейскому примеру, класса крестьян собственников и ни в каком случае не освобождение их без земель. На пути Просветительской революции сверху, Киселев вводил законность и самоуправление, но никогда не ссылаясь на славянскую общину, понятие, связанное с контрреволюционным направлением и славянофилов, и радикалов-западников.

"Мрачное семилетие" отложило решение крестьянского вопроса, но не изменило направление, по которому граф Киселев продолжал

управлять государственными имуществами: "Во всех распоряжениях не произвол, а закон руководствует административной или исполнительной властью. Если закон недостаточен и неясен, то исправляется на дополнения закона Высочайшее соизволение, а об истолковании неясности представляется в те государственные установления, которым пояснение законов принадлежит.

Разбор споров и тяжб между государственными крестьянами, а также исправительные наказания за проступки предоставлены сельским и волостным расправам, без всякого вмешательства чиновников управления.

Каждый год граф Киселев представлял государю отчет о главных мерах, предпринятых под его управлением. Они тут приведены вкратце:

1844 год: государственные крестьяне в западных губерниях распределены на сельские общества, и в них введено сельское управление и расправы.

1845 год: установлены основания для перевода с барщины на оброк государственных крестьян в западных губерниях; изданы правила о порядке взимания денежных сборов с государственных крестьян.

1846 год: начат перевод на поземельное оброчное положение крестьян в остзейских губерниях: крестьяне, конфискованные в имениях у польских мятежников, причислены к общему составу крестьян государственных.

1847 год: в западных губерниях введен жеребьевый порядок отправления рекрутской повинности; положено начало открытия женских училищ в казенных селениях.

1848 год: составлен проект медицинской части ведомства государственных имуществ.

1849 год: составлено предложение о подчинении училищ в казенных селениях епархиальному начальству.

1850 год: утверждено предложение об отдаче нуждающимся в земле крестьянским обществам без торгов в бессрочное пользование смежных свободных казенных участков.

1851 год: начато наделение крестьян отдельными лесными участками, из которых за умеренную подать они могли бы пользоваться лесным материалом.

1852 год: введено в действие утвержденное 26-го декабря 1851 года положение о медицинском управлении; приведено в действие положение о взаимном страховании строений в казенных селениях.

1853 год: снаряжена, по сношению с Имп. Русским географическим Обществом, ученая экспедиция под начальством академика Бера для исследования рыболовства в Каспийском море; начаты опыты привития чумы рогатому скоту, под руководством директора дерптского ветеринарного института Иессена.

За 1854 и 1855 годы, по случаю военных обстоятельств, распоряжения преимущественно обращены на выполнение повинностей денежных и натуральных.

В отчете за 1855 год Киселев, указывая на усердие поселян, на их пожертвования, замечает, что при затруднительных обстоятельствах войны способы поселян уменьшились, а через то поступление податей и доходов затруднится, а в местах, подверженных нападению неприятеля, они должны прекратиться. Заботясь об исполнении крестьянами требований правительства, граф Киселев непрестанно оберегает их от неизбежных последствий войны. Из запасных и центральных магазинов, при неурожае во многих губерниях, отпущено хлеба для облегчения поселян и для доставления продовольствия армии. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, предусмотрительность министерства государственных имуществ сумело не только с успехом, но и с готовностью и усердием отстоять чрезвычайное положение⁵⁶⁶.

По окончании Крымской войны, Киселев отправлен послом во Францию. С назначением Муравьева министром государственных имуществ был уволен от звания товарища министра Д.П. Хрущев. По этому случаю Александр II его спрашивает; он слышал много жалоб на управление государственных имуществ. Все говорят, что в нем множество лишних чиновников. Хрущев приводит три причины: зависть к одному из умнейших у нас государственных людей; естественная враждебность помещиков, откупщиков и разных других сословий; незнание внутреннего устройства управления теми людьми, которым наименее это простительно. Он дает примеры: князь А.Ф. Голицын считает, что в этом управлении есть начала, несовместимые с монархическим правлением; граф Гурьев уверяет, что кадастр никуда не годится, что крестьяне гораздо лучше в этом деле сами справляются; Я.И. Ростовцев говорит о многосложности нашего управления, но сознается, что судит только по слухам других! "Все учреждения, относившиеся до государственных крестьян, проведенные графом Киселевым, - подчеркивает Хрущев, - проникнуты чувством гуманности и желанием водворить в жизнь законность на место произвола".

Законность - краеугольный камень его администрации; "законное положение, данное государственным крестьянам, обеспечивает их права, удовлетворяет потребности их быта и делает их довольными своим состоянием" (отчет за 1854 г.). Самоуверенность Киселева, его умственное и моральное превосходство часто парализовали его сотрудников, но отчетность, порядок в управлении, предупредительность по отношению к бедствиям, к неурожаю, доступность к крестьянским просьбам, забота о нравственном воспитании нового поколения, готового к новому способу правления хозяйством, оправдывают излишнее попечительство, оказанное Киселевым и его управлением, стремившимися приобрести доверие крестьян, передать полезные сведения, возбудить новые потребности.

Упрекали Киселева в том, что государственные крестьяне и имущества приносят мало дохода казне. Он отвечал: "...государственная жизнь должна развиваться медленно и с ней только умножаются капиталы, без которых промышленности быть не может <...>. Усиливать подати и сборы можно, но отбирать у бедного последнее - значит произносить приговор всякому будущему преуспению <...>. Умножение доходов должно зависеть не от внезапного и произвольного возвышения налогов, но от средств, коими плательщики обладают: до улучшения их быта всякое новое требование возвышенных платежей увеличит недоборы и уничтожит в самом начале развитие самостоятельности плательщиков".

Главный его порицатель, граф Муравьев, считал, что Киселеву как теоретику, а не практику, не доставало умения взяться за дело, т.е. увеличить доходы с казенных имений. При управлении Муравьева (1857-1861) доходы были увеличены возвышением оброчной подати, причиняя обеднение населения и накопление недоимок.

В 1857 г. Киселев из Парижа отвечает на вопросы вел. князю Константину Николаевичу по поводу незначительного применения законов о свободных хлебопашцах и об обязанных крестьянах. Затруднение из-за формальностей? Неприменимость их к делу? "Помещики не приступают ни к чему без принуждения. Закон 1842 г. не имел последствий не только по замечаемым недостаткам, но и потому, что исполнение затруднено было именно той властью, на которую было возложено исполнение сего закона. Пусть министр Внутренних Дел прикажет из архива взять заведенные дела об увольнении в обязанные крестьяне и он тогда убедится, что все предложения помещиков были отвергнуты административной властью под

единственным предлогом, что они не подходят духу закона 1842 г. Закон этот имеет, конечно, многие недостатки; они были видны при его издании, но по истине, кто в этом виноват? Те, которые не желали никакого закона о прекращении рабства, а еще менее появления закона удобоисполнимого⁵⁶⁷.

С общественностью, с государственным аппаратом, на местах и в столице, сталкивался, в течение всего своего царствования, Николай I, при попытках провести Просветительскую революцию сверху. От сотрудничества с просвещенным обществом он отказался, на поддержку со стороны крепостников и консерваторов он не мог рассчитывать. Киселев вспоминает: "Государь считал себя ответственным перед Богом, часто это повторял и остановился на мысли постараться возбудить добрую волю помещиков личными своими объяснениями с дворянством".

Киселев не рассчитывал только на добрую волю помещиков. Благодаря ему министерство государственных имуществ стало рассадником прогрессивных идей и умов, которые нашли применение и поле действия после 1855 г., когда, наконец, скрестились, хотя временно, путь самопознания и путь просвещения.

О подготовке крестьянских реформ П.Д. Киселев пишет из Парижа 15/27 октября 1857 г. А.В. Головнину (по-французски): "Земли крестьян должны, по-моему, быть *выкуплены*, и этот *выкуп* должен быть основой раскрепощения. Без этого я предвижу лишь смуту и беспорядок. Изъятие земли у крестьян, под каким либо предлогом, было бы, во всех отношениях, неполитическим и опасным актом, который привел бы к результатам, диаметрально противоположным преследуемой цели. Я не настаиваю, Вы сами это понимаете. Подобное раскрепощение было бы уникальным в Европе; по-моему, нигде еще не совершалось освобождение или выкуп от барщины при таких условиях. Я, впрочем, думаю, что выкуп не нанесет ущерба помещикам и не слишком затруднит крестьян. Среди них одни сразу выплатят, чтобы немедленно освободиться, другие потребуют заем или отсрочку, чтобы освободиться немного позднее. Повторяю, доброе и прочное раскрепощение возможно только, если крестьяне сохраняют свои земли⁵⁶⁸.

Стоит в заключение отметить, что Киселев подразумевает, что земля уже принадлежит крестьянину и что он *барщину* выкупает у помещика. Нет речи о сказочной общине, которую превозносят славянофилы и народники: крестьяне стремятся к свободе, к самостоятельному личному хозяйству.

Глава 8

РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ.

ЛИБЕРАЛЫ И РАДИКАЛЫ.

1856-1864 гг.

До того, как во всех губерниях к середине июля 1858 г. были открыты губернские комитеты для обсуждения вопроса "об улучшении участи крепостных крестьян", это дело было поручено Секретному Комитету по крестьянским делам, созданному 3 января 1857 г. под председательством самого государя. Решение этого кардинального вопроса для России еще оставалось открытым. Можно об этом судить по письмам в Париж Дмитрия Петровича Хрущева, близкого и верного сотрудника графа Киселева. Он писал большей частью по-французски и подписывался: *Chrutcheff*.

7/19 марта 1858 г. Хрущев обращается прямо к графу Киселеву с запиской по-русски, "Несколько слов о необходимости земельной собственности для крестьян". В обсуждении вопроса освобождения крестьян, объясняет он, царят еще такие предрассудки, что приходится постоянно возражать и объяснять.

Распространенное убеждение: достаточно вернуть крестьянам право вольного выхода, а отчуждение в их пользу некоторой части помещичьей земли это нарушение священного права собственности дворянства. А ведь крепостное право оправдывалось необходимостью обеспечить посредством обязанного труда землевладельцев, дворян, исполняющих обязательную в то время службу. Крестьяне оставались вольными до того, как ограничением лишили крестьянина возможности оставить землю без согласия владельца. Между землей и человеком, который ее обрабатывает в поте лица своего, существует естественная связь, понятие о "праве на землю". Крепостной говорит помещику: "Мы ваши, но земля наша". Хрущев различает три возможных состояния для крестьян: на землях черных (казенных) они полные собственники в лице сельских общин; на землях частного владения они пользуются угодьями при доб-

ровольном соглашении с владельцем; вольный выход, чтобы стать собственником или оставаться арендатором. Что касается дворян, замечает Хрущев, то с прекращением потомственной обязательной службы (крепостное состояние для дворянства) правительство имело право отобрать земли, данные для службы, и, во всяком случае, при обращении поместий в вотчины, выделить из оных в пользу крестьян необходимую для них землю. Правительство выше всех частных интересов, оно имеет право требовать уступок от сословий. Раньше отчуждалось в пользу помещиков право свободного движения крестьян, теперь будет отчуждаться часть поземельной собственности помещика в пользу крестьян. Ожидается ли упадок дворянства следствием этих мер? Наоборот, благодаря знанию и современной технике воцарится благополучие, установятся свободные взаимные связи, основанные не на порабощении, а на благотворном влиянии дворянства на народ⁵⁶⁹.

25 января/6 февраля Хрущев сообщает, что Шереметев уезжает до октября за границу, и управление министерства государственных имуществ остается в его распоряжении: дело графа Киселева еще в полной сохранности. Комитет по крестьянским делам благосклонно относится к эмансипации. Позен его покинул. Какой-то француз, инженер, проживший в России, М. Lerlay, автор книги о рабочих в Европе, написал Анатолию Демидову письмо, в котором уверяет, что крепостное состояние благополучно для крестьян, что его отмена причинит крайние беспорядки; письмо это, наверное, дошло до сведения государя. Государственный совет похоронил проект закона о неделимости земель в сто душ и меньше. Строганов заявил, что если намерением проекта было предохранение дворянства, то оно бесполезно в России нет настоящего дворянства!

Хрущев сообщает тоже о недавнем скандале в Москве. Чертков, бывший предводитель дворянства, задал обед в честь садоводства. Граф Бобринский пустился восхвалять заграничные достижения. Профессор Шевырев упрекнул его, аристократа, в отсутствие патриотизма. Бобринский рассердился и напомнил Шевыреву, что карьеру свою он должен исключительно своей женьитбе на внебрачной дочери князя Голицына. На это Шевырев ответил описанием происхождения Бобринских и, так как он, говоря, размахивал руками, Бобринский подумал, что он ему угрожал, и вызвал его на дуэль. Профессор отказался, ссылаясь на возраст, на неумение фехтовать. Тогда Бобринский ему дал

пощечину и завязалась драка, жертвой которой оказался Шевырев. Его полумертвым доставили домой⁵⁷⁰. Об этом скандале отзывается в своем дневнике А.В. Никитенко: "Граф Бобринский подрался с профессором Шевыревым, или, лучше сказать, поколотил Шевырева, так, что тот лежит в постели больной. Сегодня в Академии, в университете только об этом и толкуют. Кто стоит за одного из бойцов, кто за другого, но обстоятельства этого факта так перепутаны разными добавлениями, толкованиями, изменениями, вольными и невольными, что решительно нельзя составить себе точного о нем понятия. Знаешь только, что была драка, что подрались московский граф и московский профессор и что подрались они по-русски, то есть оплеухами, кулаками, пинками и прочими способами патриархального допетровского быта"⁵⁷¹. Общественное мнение полагало, что причиной "драки" были политические споры. Последовала репрессия: Бобринского выслали в одно из его имений, Шевырев был уволен в отставку и выслан из Москвы. Так бесславно закончилась карьера "Педанта", который еще недавно интриговал против "либерала" Грановского на деканских выборах и стал ненавистным "казенным деканом" по назначению министра.

8/20 марта Хрущев описывает занятия Комитета; они продвигаются медленно. Бутков уверяет, что гора родит мышь (*la montagne accouchera d'une souris*). Государь продолжает принимать предводителей дворянства и ободряет их добрыми словами. "Самарин прибыл два дня тому назад. Мы еще собрались у Милютина, у кого опять обсуждался основательно вопрос. Самарин в принципе не против полного и немедленного освобождения с возмещением и откупом. Но он сомневается, что правительство будет располагать нужными финансовыми средствами. Поэтому он пока ограничивается тем, что узаконивает разными способами отношения между крестьянами и помещиками".

В преддверии будущего визита великого князя Константина в Париж, Хрущев просит передать с предосторожностью графу, что на днях, на совете министров, ему пришлось оскалить зубы перед Ростовцевым и кн. Горшаковым, чтобы защитить министерство государственных имуществ. "Выслушав меня, они капитулировали и признали, что я прав. Все остальные меня поддерживали". "В Комитете Буткову поручено вести протокол заседания. Государь начинает с того, что задает вопрос: "...пора ли приступить к освобождению?" Он обращается лично к каждому,

все отвечают положительно. Кн. Гагарин, последний в очереди, начинает заикаться, государь его перебивает: я тоже согласен со мнением большинства. И мы переходим к обсуждению проекта Позена. Оставляя в стороне громкие фразы, его можно свести к следующему: поощрять помещиков делать из своих крестьян свободных хлебопашцев и обязанных крестьян действенным и выгодным способом. Этот способ - ипотечная ссуда, но не под залог недвижимости, как это делалось до сих пор, а трехдневной барщины, которая, по мнению Позена, представляет капитал реального убытка, которое понесет помещик при освобождении своих крестьян. Говорят, проект будет выгоден для помещиков, но очень ненадежный для банков, поэтому едва ли приемлемый для правительства". Теперь будут обсуждаться другие проекты Самарина, Кавелина. "Лев Кочубай ни во что не хочет вмешиваться, утверждает, что помещики повинуются, не колеблясь, если царь велит им освобождение, но хотел бы, чтобы предварительно было громко и твердо высказано, что земля и крестьяне принадлежали законно и неотчуждаемо господам. Надо, чтобы крестьяне знали, что они не получили право, а что их хозяева, господа им оказывают милость". Только так можно будет избежать впоследствии неприятных и враждебных отношений.

"Неделю тому назад кн. Лев Кочубай приходил очень взволнованный к Милютину после приема у государя. Его Величество, к его великому удивлению, горячо поздравил его за его проекты освобождения и за помощь, которую он готов принести в этом смысле Великой Княжне!"⁵⁷²

Хрущев сообщает тоже, что граф Орлов-Давыдов распространяет брошюрку, в которой хочет доказать, что нет разницы между помещичьими и государственными крестьянами, тогда как последние уже считают себя вольными. По его мнению, единственный выход из финансовых затруднений для правительства - решить продать государственное имущество помещикам: они только способны повысить их доходы в пользу страны. Орлов-Давыдов выступает в печати сторонником крупного помещичьего землевладения и высказывается за упразднение крестьянской общины. В статье "Положение о крестьянах Эстляндской губернии" он приводит крестьян Прибалтики как пример, распространяемый на великороссов: крестьяне свободны, но безземельны, им предстоит работать на фермах помещика. При этом Орлов-Давыдов - сторонник ограничения самодержавия олигархической конституцией;

он призывает дворянство не ждать, пока правительство ему укажет путь, оно само должно его указать: реформа не должна разорять помещика и при этом допускать массовый уход крестьян. В 1858 г. Орлов-Давыдов восхваляет английский аграрный строй и роль поземельной аристократии ("О господских поместьях в Англии") и нападает на Герцена за то, что он призывает истреблять топором русское дворянство; цель его статьи "О голосах из России и о голосах в России" — воздействовать на тех, кто посылает Герцену корреспонденции для "Колокола" о положении в России: это недостойно дворян, когда можно гласно обсуждать все события в России. Эти призывы "либерала-консерватора", как и его протест против запрещения правительством обсуждать в печати крестьянский вопрос, звучат фальшиво и вызывают неодобрение со стороны таких славянофилов, как Хомяков. Брошюра против реформы, которую Орлов-Давыдов хочет адресовать государю, слишком слаба в глазах общественности, он ее публикует в Париже за свой счет⁵⁷³.

Уже в ходе войны молодые славянофилы К. Аксаков и Ю. Самарин собирались выступить с записками по крестьянскому делу и дожидались возможности выпустить свой журнал. В феврале 1856 г. с них снято запрещение выступать в печати, и они получают разрешение издавать в Москве "Русскую Беседу" под редакторством А.И. Кошелева, но затрагивать крестьянский вопрос им запрещено. Только после царских рескриптов генерал-губернаторам Назимову и Игнатьеву, после создания губернских комитетов для выработки проекта нового устройства крепостных крестьян и после преобразования секретного Главного комитета по крестьянским делам в гласный Комитет открывается возможность для печати принять участие в обсуждении этого вопроса. В начале 1858 г. Кошелев, Хомяков и Самарин задумывают создать специальный журнал для борьбы с "плантаторами".

В письме к Черкасскому от 24 февраля 1858 г. Кошелев сообщает: "Кроме Беседы я затеял новый журнал - Сельское Благоустройство. Это издание будет исключительно посвящено делу уничтожения крепостного состояния. Оно будет выходить ежемесячно и в нем примут участие люди разных мнений (Кавелин и Безобразов обещали быть сотрудниками)". Выходя как особое приложение к "Русской Беседе" с января 1858 г., "Сельское Благоустройство" обращается к помещикам, в 14 вышедших книжках свыше 20 оригинальных статей. Способ освобождения

крестьян, который можно назвать "кошелевским", по выражению И.С. Аксакова, предусматривает освобождение с землей, на основе общинного устройства. Он вызывает враждебность "Журнала Землевладельцев", "Экономического Указателя" и "Русского Вестника". Несмотря на неприязнь к славянофильству, "Отечественные Записки" сообщают о том, чего хотят и не хотят славянофилы, а в "Современнике" Н.Г. Чернышевский сочувственно отзываясь о защите славянофилами общины в интересах крестьян. Но разочарованы те, кто питали надежду, что журнал будет также думать об интересах помещиков. "Подумайте о нас, милостивый государь, - пишет пензенский помещик, если вы точно желаете добра и готовы приносить пользу, то давайте нам советы удобоисполнимые. Не меряйте всех на свой аршин что ничего не стоит для вас и для друзей ваших, то разорение для нас, небогатых помещиков. Говорят, вы печатаете только те статьи, которые против владельцев. Нам кажется, что это против справедливости, которая требует свободы для всех мнений об этом важном деле".

"Свободу для всех мнений" резко сократит циркуляр Главного комитета от 22 апреля 1858 г. "Из Питера мне возвратили 12 статей с полным запрещением, а 5 с такими вымарками, что нельзя и подумать о печатании таких оскопленных сочинений, пишет Кошелев Черкасскому. Два №, 5 и 6-й, я издаю в самом жалком виде, а потом придется закрыть журнал, ибо дозволяют говорить против крестьян, против эмансипации, против начал, положенных в Рескриптах, и строжайше запрещают, что-либо писать в пользу крестьян и эмансипации. Слова: освобождение от крепостной зависимости вычеркиваются. Ну что говорить после этого, просто ужас!" В августе Кошелев призывает с отчаянием близких ему славянофилов присылать новые статьи и пишет Черкасскому: "Теперь, дражайший князь, нам необходимо писать во все лопатки, ибо статьи антилиберальные берут верх. Я получаю их в изобилии и не знаю, что с ними делать; а статей благонамеренных крайне мало. Я слезно прошу и Вас и Самарина мне помочь, ибо иначе "Сельское Благоустройство" сделается плантаторским журналом".

Пока цензором в Москве был либеральный Н.Ф. Крузе, можно было иногда обойти страшную цензуру Петербурга, но он получил отставку, и с начала 1859 г. все статьи по крестьянскому вопросу, кроме обычной цензуры стали поступать на особую цензуру Главного комитета. Это обозначало страшную задержку. Кошелев, используя свои связи, отправляется в Петербург выхлопотать льготу.

Он передает записку С.С. Ланскому и Я.И. Ростовцеву. "Я поставил вопрос так, пишет он Черкасскому, полезен ли мой журнал для правительства? Если полезен (в чем они все согласны), то отмените Высочайшее повеление, при котором я не имею возможности издавать журнал; в противном случае я должен его закрыть". 19 апреля Кошелев получает решение Главного комитета: оно подтверждает установленное правило. На другой же день Кошелев решает закрыть журнал.

Не оценивая, как следует, положение, в котором оказался Кошелев, современники подумали, что причиной закрытия было резкое сокращение подписчиков, достигавшее до 1800 чел. осенью 1858 г. В.Ф. Одоевский пишет в своем дневнике 14 марта 1859 г.: "Дворяне так сердиты на журнал "Благоустройство", что перестали подписываться; теперь всего 500 подписчиков".

Кошелев подвергал рукописи сокращениям, поправкам, стремясь сделать статьи "более приемлемыми цензуре, менее помещичье-крепостническими по общему тону и мыслями и не затрагивавшими более или менее заметно славянофильских убеждений редакторов". Обещая всем воззрениям свободный доступ к гласности, Кошелев собирался даже печатать статью закоренелого крепостника, Н.В. Герееванова, выступавшего против освобождения крестьян. Хотя "Сельское Благоустройство" было славянофильским органом, оно одновременно проявляло либеральное направление во имя гласности. Именно эту гласность еще предстояло завоевать в период подготовки крестьянских реформ.

Несмотря на внутренние разногласия, западники и славянофилы оказываются временно в одном и том же лагере дворян-либералов в борьбе с "плантаторами" и бюрократическим аппаратом. В то же время они в несогласии по крестьянскому вопросу с радикалами, которые завоевали редакцию "Современника". Еще в 40-х гг. Герцен и Грановский желали издавать собственный журнал с научным, историческим и критическим содержанием, в котором участвовали бы знакомые профессора Московского университета; публикацию они хотели поручить Е.Ф. Коршу, редактору "Московских Ведомостей". Они пытались безуспешно приобрести "Галатей", "Русский Вестник", Грановскому не разрешили издавать "Ежемесячное обозрение". Эта мечта будто бы сбывается, когда в октябре 1855 г. Катков получает разрешение на издание нового журнала "Русский

Вестник". Он приглашает в сотрудники московских западников. Е.Ф. Корш и П.Н. Кудрявцев входят в состав редакции. Но вскоре возникают разногласия по поводу направления журнала. Англо-мания или галломания? Каткова, сторонника англо-саксонского либерализма, раздражают нападки Корша на неустойчивость государственности в Великобритании. Он выступает во имя сильной государственной власти; вслед за Гегелем, он считает, что именно государство, достигшее полного своего исторического и разумного развития, способно примирить, разрешить все общественные противоречия, и он ставит в пример бонапартистскую Францию и ее государственное устройство.

Причиной разногласия, а затем разрыва оказывается труд молодого и талантливого историка русского права, ученика Грановского, Бориса Николаевича Чичерина (1828-1904). В начале 1857 г. он предложил редакции статью о книге Алексиса де Токвиля "L'ancien régime et la révolution"*. Известный французский публицист, при этом автор нашумевшей книги "О демократии в Америке", исследовал, как государственность во Франции, несмотря на революцию, продолжала усиливаться. В своей статье Чичерин подчеркивал ведущую роль государства в развитии общества; Катков отказался ее напечатать. Его поддерживали и славянофил А.И. Кошелев, и западник К.Д. Кавелин; как историк и юрист, последний писал Каткову: "Вы знаете, что я имею слабость к Чичерину, я горжусь им как бывшим своим слушателем. Но мне кажется, что Чичерин в юридических и политических воззрениях своих горько и жестоко заблуждается. Взгляд его на государство не только есть ошибка и ложь в теоретическом отношении, но заблуждение, в особенности в наше время опасное и несвоевременное. Против поднятого им знамени централизации, против нового Ваала - идеи государства, которому он приносит кровавые жертвы, надобно вооружаться всеми силами и тем решительнее, чем талантливее рука, поднявшая это несчастное знамя".

Чичерин определил этот раскол в лагере западников как разделение на два течения: государственного и противогосударственного. Катков и Корф окончательно разошлись по поводу покупки типографии на деньги всех членов редакции, но на имя Каткова. Хотя деньги были затем возвращены, Корш и за ним остальные члены редакции покинули "Русский Вестник" и снова взялись за выпуск самостоятельного журнала. Он создавался на

средства членов редакции и при поддержке московского купца-мецената К.Т. Солдатенкова.

19 июля 1857 г. Корш подал в Московский цензурный комитет прошение об издании с 1858 г. в Москве нового еженедельного журнала критики, современной истории и литературы под названием "Атеней". 24 августа Главное управление по делам цензуры высказалось положительно и, наконец, 1 ноября последовало "высочайшее соизволение". На предложение Корша принять участие в его журнале отозвались значительные представители московской либеральной интеллигенции: П.В. Анненков, друг Белинского и Тургенева, биограф Станкевича, первый издатель сочинений Пушкина, профессора Московского университета, среди них бывшие ученики Грановского: И.К. Бабст, профессор политической экономии, С.В. Ешевский, профессор всеобщей истории, историк С.М. Соловьев, И.В. Забелин, историк и археолог, будущий открыватель скифских могил Чертомльщкого кургана, К.Д. Кавелин, историк и юрист, М.Н. Лонгинов, библиограф и историк литературы, А.Д. Галахов, историк литературы, составитель известной "Хрестоматии", Б.Н. Чичерин, Ф.И. Буслаев.

Сам Корш, верный друг Герцена и Грановского, обладал разносторонним образованием, но не "предпринимательской хваткой издателя". По характеристике С.М. Соловьева, он проявлял нерешительность и мягкость, "как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, требующем хотя бы сколь-нибудь энергии, твердости". Описывая его мировоззрение, Анненков очерчивает содержание и направление его журнала: "По убеждениям своим он принадлежал вполне партии крайних западников, отыскивая вместе с ними основы для мысли и для жизни в философии, истории, следя за теориями социализма и нисколько не ужасаясь никаких результатов, которые могли оказаться на конце этих разысканий... Он стоял постоянно с ногой, занесенной так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей"⁵⁷⁵.

Журнал "Атеней" выходит с января 1858 г. по апрель 1859 г. сначала раз в неделю, затем два раза в месяц; всего 60 номеров. Давая журналу название - "Атеней", по подобию современного английского журнала "Atheneum", издатели хотели подчеркнуть не только его западное направление, но также просветительское назначение. В форме обзоров и рецензий на отечественные и

иностранные сочинения по литературе, искусству, философии, истории, экономике, праву, естественным наукам авторы критических статей давали повод к размышлениям о существенных вопросах в России. Отражая преимущественно интересы московского университетского кружка просвещенных западников, "Атеней" отзывался на общественные вопросы современности вокруг отмены крепостного права: предстоящие социально-экономические преобразования в промышленности и торговле, задачи, стоящие перед наукой, литературой и искусством, проблемы воспитания общества. Умеренные философские и общественные суждения либералов "Атеней" сталкивались, тем не менее, с цензурными придирками, осложняющими своевременный выпуск номеров.

Журнал отмежевывается своим направлением от крайних позиций и радикалов "Современника", и славянофилов "Русской Беседы". Несмотря на это, он предлагает сотрудничество Чернышевскому, "наследнику Белинского", который, развивая в "Современнике" в 1855-1856 г. свои спорные понятия в "Очерках гоголевского периода русской литературы", овладел редакцией журнала.

Поступив в Петербургский университет в 1848 г., Чернышевский защищает в 1850 г. свою магистерскую диссертацию "Эстетические отношения искусства к действительности" на тему, которую предложил ему А.В. Никитенко; но направление ее совершенно не сходится с тем, что ожидал профессор. Чернышевский задает вопрос: в каком духе должна измениться теория искусства? "Уважение к действительности жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам - вот характер направления, господствующего ныне в науке". Он подвергает анализу прежние понятия о сущности прекрасного, о превосходстве искусства над действительностью и обнаруживает, что эти понятия не выдерживают критики. Стоит ли еще говорить об эстетических вопросах в наше время, когда они стоят в науке на втором плане? Теперь различают "действительные, серьезные, истинные желания, потребности человека от мнимых, фантастических, праздных. Раньше все желания и стремления объявлены были безграничными, ненасытными. Теперь рассматривается, при каких обстоятельствах развиваются известные желания, при каких они затихают. Например, желания раздражаются мечтательным образом до горячего напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи; страсть, по преимуществу "любовь", теряет свою романическую бурливость, как скоро препятствия

отстранены и любящаяся чета соединилась браком; значит ли это, что муж и жена любят друг друга менее сильно, нежели в бурный период? Вовсе нет. Неоспоримый факт: самые роскошные мечты забываются, как скоро окружают нас явления действительной жизни. Ныне наука признает высокое превосходство действительности перед мечтой, узнав бедность и неудовлетворительность жизни, погруженной в мечты фантазии.

Это "направление" выразилось романтизмом в литературной области. Мечты праздной фантазии считались истинными потребностями человека. К числу призраков принадлежал призрак фантастического совершенства: "...человек удовлетворяется только абсолютom. Он требует безусловного совершенства". Мы хотим дышать чистым воздухом, но абсолютно чист воздух не бывает нигде, мы хотим пить чистую воду, а совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Другой пример: "...мы довольны книгой, когда в ней разрешены главные вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда главные мнения автора справедливы и в книге его очень мало неверных или неудачных объяснений. Одним словом, потребностям человеческой природы удовлетворяет "порядочное", а фантастического совершенства ищет только праздная фантазия". Итак, наука дошла до необходимости строго различать от мнимых потребностей истинные потребности человеческой природы, которые ищут и имеют право находить себе удовлетворения в действительной жизни⁵⁷⁶.

Никитенко на кое-что возражает, но диссертацию одобряет, а раскрыть "материализм" ее содержания диспут не позволяет - сюжет слишком нов, диспутант слишком уверен в себе, а оппонить его оппоненты не способны. Тем не менее, Чернышевскому придется ждать три года утверждения степени магистра⁵⁷⁷.

Эти упрощенные, "здравые" понятия Чернышевский применяет к литературной критике в своих "Очерках гоголевского периода". Он сразу заявляет, что ставит прозу выше поэзии, что можно поклоняться Пушкину без особенного настроения ума, но что любовь к Гоголю требует одинакового с ним настроения души, т.е. направления нравственных стремлений. Как совместить в его творчестве "Ревизора" и "Переписку с друзьями"? Чернышевский обходит этот вопрос, приводя утрированные суждения тех, кто осуждал Гоголя; среди них - Полевой: виноваты хвалители, увлекшие авторское самолюбие в ошибку и превратившие писателя в

наставника, и Шевырев. Гоголь дурно делал, что писал сочинения, подобные "Ревизору" и "Мертвым душам", зато он и наказан: ему никогда не создать высоких произведений искусства: "от смешного до высокого нет пути". Чернышевский, в образе Шевырева, высмеивает светскую критику, озабоченную лишь изяществом формы вопреки содержанию. Задавая существенный вопрос: "Мертвые души" — пустая выдумка праздного воображения или картина действительного быта? — он подтверждает второе суждение, ссылаясь на разборы кн. Вяземского и П.А. Плетнева: все лица живые, все имеют глубокий смысл для того, кто хочет постичь нашу жизнь.. Неужели "верное изображение" ряда характеров является картиной действительного быта, когда в первой части, задуманной Гоголем в форме диалога с читателем, заключается "объективное изображение действительности"?

На самом деле, Чернышевский преследует ту же цель, как и в своей диссертации: доказать превосходство действительности над искусством, действительных, серьезных, истинных желаний над мнимыми, фантастическими, праздными, особенно праздными, ибо свойственными светскому обществу. Белинский, гонитель светскости во имя чувства изящного, служит ему проводником, хотя он сам, Чернышевский, лишен этого чувства. Тем не менее, он старательно выписывает из его статей основные суждения и восстанавливает "маршрут" Белинского.

1834 г. (до Гоголя) "У нас нет литературы";

1840 г. (Повести и "Ревизор") "...есть уже начало литературы";

1843 г. ("Мертвые души") "Несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение";

1847 г. (Влияние Гоголя торжествует) "Литература наша дошла до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведованию, нежели от нее самой".

Отдавая должное кружку Станкевича и немецкой философии в том, что истина — верховная цель мышления и верховное благо, Чернышевский одобряет Гегеля, когда он осуждает "субъективное мышление", философствование для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины". Но, хотя начала Гегеля чрезвычайно мощны и широки, выводы его узки и ничтожны, и отчасти даже пошловаты. Обходя запреты цензуры, Чернышевский умудряется упомянуть "друга Огарева" (Герцена), с которым он увлекался "новыми теориями национального благосостояния" (социализмом)

и Бакунина, включая большой отрывок из его предисловия к переводу "Гимназических речей Гегеля", опубликованных в "Московском Наблюдателе". Он прославляет "легендарную" обстановку 30-х гг., но с определенной целью: описать, как Белинский оторвался от абстрактного мышления и убедился, что действительная жизнь стоит на первом плане, а отвлеченное знание только на втором. Идет ли тут речь о "примирении с действительностью" в духе Станкевича, стремящегося примириться с Богом, с обществом и с самим собой? Или в духе Белинского, в поисках примирения с российской действительностью, согласования самодержавия с петровской революцией, во имя борьбы просвещения с мракобесием? Вовсе нет, он восхваляет торжество немецкой философии, которая, "признав тождество "своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией естествознания и антропологии". Отказавшись от ложного убеждения, что можно по фантастическим мечтам очень легко переделать действительность, и действуя сообразно с законами природы, критик становится человеком положительным. Это убеждение применяется к искусству: "стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действия, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой природы".

Прежде чем судить о намерении Чернышевского, следует принять во внимание его "иносказание", вызванное цензурой. Против кого, "примираясь с действительностью", выступает Чернышевский, на эзоповом языке? Против самодержавия, крепостного права, мракобесия? Нет, смутными намеками на фантазию, на фантастические мечты он обличает гордость праздных людей, живущих для своего удовольствия и создающих себе "вымытую природу". "Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзией Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины, - больше не нужно для них ничего".

О ком идет речь? О просвещенном дворянстве, о либералах, о наследниках любомудрия, еще заслоняющих путь Чернышевского к полному владению "Современником", о тех, кого он называет "последователями "чистого искусства", искусства, независимого от жизни". Чернышевский их предупреждает: "Если же речь переходит к настоящему времени, то надобно заметить, что оно решительно неблагоприятно для эпикуреизма, как время разумного движения и борьбы, а не праздного застоя..."

К кому обращается Чернышевский? К читателям "Современника", к публике: "Власть публики в литературных делах всеильна. Чего хочет публика, тем и бывает литература". "Недостает нашей публике только одного: сознания своих прав на литературу, а от этого-то и зависит весь успех дела".

Как охарактеризовать эти фразы? проявлением демократических стремлений в печати, в зарождающемся гражданском пространстве, или выражением демагогических заклинаний, обращенных к читателям-разночинцам, призывающих их к войне с "праздным" дворянством, с его "ложной" культурой? Эти заявления, в первую очередь, придают кардинальную роль критике: "объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием"⁵⁷⁸. Тут уже речь идет не о "праве публики", а о праве говорить от имени публики. Таким путем выступают на литературном поприще "новые люди".

Но тогда еще кажется возможным объединить антикрепостнические силы, и сам Чернышевский объявлял себя расположенным к сотрудничеству. Корш посылает ему первый номер своего журнала с приглашением принять участие в "Атенее", несмотря на уже ясные политические разногласия. Чернышевский отвечает ему письмом от 5 февраля 1858 г. "Вы пишете о различии наших мнений в некоторых вопросах, оно действительно довольно велико; но, конечно, я постараюсь выбрать для статей своих, посылаемых к Вам, такие темы, в которых мои мнения одинаковы с Вашими. <...> Вам угодно критических статей, - я напишу на первый раз размышления о какой-нибудь повести, - вероятно, об "Асе" Тургенева; разумеется, не с художественной стороны и не о любви, а что-нибудь о том, верна ли обыкновенному характеру наших "прекрасных и благородных" людей та черта, что герой повести, превосходно думающий, поступает, как самый дрянной человек; и о том, отчего это происходит. Если этот предмет Вам не нравится, напишите мне без церемонии, и я возьму какой-нибудь другой"⁵⁷⁹.

Статья Чернышевского выходит в 18 номере "Атенее" с двумя редакционными примечаниями Корша "о различии взглядов на значение художественной литературы в общественной жизни, а также по вопросу о влиянии общественных условий на формирование личности". Процесс размежевания либералов и демократов углубляется публикацией в 32 номере "Атенее" ответа Анненкова на статью Чернышевского. В своей статье "О литературном типе

слабого человека (по поводу рассказа г-на Тургенева "Ася")" он критикует так называемые "цельные характеры", людей, "следующих в своих действиях потребности природы", и встает на защиту "слабого человека"; "круг так называемых слабых характеров есть *исторический* материал, из которого творится и сама жизнь современности. Он уже образовал как лучших писателей наших, так и лучших гражданских деятелей, и он же в будущем даст основу для всего дельного, полезного и благородного". Отрицая и наличие героизма в русском характере, и необходимость героической личности в общественной жизни в России, Анненков выступает против сущности демократического направления, выставляющего понятия гражданского долга, героической борьбы во имя нравственных начал.

Радикалы-разночинцы воспринимают ценности, воспеваемые полвека тому назад Рылеевым, Кюхельбекером, дворянами-декабристами, превозносят общественные интересы, но при этом обличают бесхарактерность, безучастность, бестолковость тех, кого принято считать "лучшими между нами", т.е. выдающихся представителей просвещенного общества. Анненков не может полностью высказаться в своем ответе, а то прогрессисты обвинили бы его в "бесчестном доносе на достойного соперника". На самом деле, бросается в глаза, что бесконечные и скучные размышления Чернышевского насчет "Аси" Тургенева и любимого ею "бедняжки", которому на тридцатом году "по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утирать носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надобно ему кушать", являются лишь предлогом для открытого объявления войны русскому дворянству по поводу крестьянского вопроса. В конце статьи Чернышевский неожиданно отступает от карикатуры и объявляет: "...мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех, нам близких", и приводит аллегорическую притчу. Жалкий барчонок упустил счастье, предлагаемое обстоятельствами; невозвратен "счастливый миг". Чернышевский предлагает полюбовную сделку, пока еще не поздно, тому, кто в вековой тяжбе кругом виноват, но привык к несправедливостям судьбы. "Судебным порядком" он лишится прав состояния, но избежит, может быть, гораздо худшего, уголовного процесса, а законы его строги.

Смешон тон Чернышевского, возмущенного нерешительностью барина, при смелом поведении благородной барышни он,

проворный семинарист, воспользовался бы "благоприятными обстоятельствами"! Но когда он грозит упрямым помещикам народной расправой, он наводит страх. Сколько злопамятства, дерзости в его прозе! Сколько наглости, цинизма в обращении с Корфом, расположенным сотрудничать с ним. "Мы предполагаем, пишет ему Чернышевский, что цензура у Вас в Москве легче нашей петербургской, потому-то я и напорол столько дичи о помещиках в конце статьи, а для этого конца, разумеется, и вся статья написана, - без него она еще глупее, нежели с ним"⁵⁸⁰.

Этим ограничивается сотрудничество Чернышевского. Об открытой конфронтации между либералами и радикалами на политическом уровне тогда не может быть речи. Оба лагеря довольствуются перестрелками по литературным, художественным вопросам. Но этого достаточно, чтобы удалить, в очень короткий срок, от редакции "Современника" либералов, просвещенных дворян, раздраженных, возмущенных складом ума "новых людей". Едва ли они тогда предполагают последствия совершаемого раскола между противоположными мировоззрениями; они упрекают семинаристов-разночинцев в серости стиля, в односторонности суждений. Апполон Григорьев их судит в газете "Время": необходимо литературное объяснение по поводу разных хлебных и не хлебных вопросов: "...мы ненавидим пустозвонных крикунов, свистунов, свистящих из хлеба". Они только по моде мешают общему делу. Они готовы все разрешить, эти "крошечные Петры Великие, в душе администраторы и чиновники с холодным книжным восторгом". Тут нет русского духа, тут искусство бесполезно". А. Григорьев пытается закрепить, как на полотне, черты этих *новых людей*. "Убеждения их удивительно ограничены и обточены. Сомневаться им уже не в чем". Если кто-нибудь их коробит, они обращаются к общественности: "Нападают на нас, а! Значит, нападают на прогресс. Мы свистуны из хлеба. А! Значит и Чернышевский, и Добролюбов свистуны из хлеба!" "Вы приходите в бешенство, когда кто-нибудь требует от вас чутья, русского духа, гуманности, совестливости и логики". "Бьемся об заклад, вы думаете, что мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны, да неосмотрительны. Разуверьтесь: мы именно потому считаем вас неспособными и неумелыми, что вы мертво холодны, что в вас нет жару, нет духа, что убеждения у вас не свои, а заемные... что гражданского чутья нет у вас, иначе бы вы знали, на что и куда указывать, а вы в этом поминутно даете

промахи. И главное, тем мешаєте, что опошили и измельчили в глазах общества самые правдивые идеи и понимания. Вы бездарно волочили великую мысль по улице и вместо того, чтобы произвести энтузиазм, надоели публике, а надоесть в этом случае публике - великое преступление"⁵⁸¹.

Осуждая А. Григорьева и защитников так называемого "чистого искусства", "свистуны из хлеба", материалисты и сторонники утилитаризма, осуждают просто искусство как праздное занятие и считают "барской фантазией" свободу художника, которую так высоко оценивали Белинский и Станкевич.

С другой стороны, в 26 номере "Атеней" публикует статью славянофила Погодина "Нечто о методах исторических исследований". Она является ответом на рецензию, критикующую "математический метод исторического исследования", предлагаемый Погодиным. Под псевдонимом "Иван Земец" скрывался И.Е. Забелин. "Так называемые западники, - пишет Погодин, - оскорбляются только неуместным превознесением нашей страны в ущерб целому развитию русского народа", а восточники "находят в древнем нашем быту совокупность таких завидных преимуществ и образец таких совершенств, каких не представляло до сих пор младенчество ни одного народа в мире". Корш сопровождает эту статью примечанием, отмечая, что расхождения между западниками и славянофилами только в различии их исторических воззрений на прошлое России, при общем стремлении к социально-экономическому прогрессу страны.

При этом поддерживаются отношения с редакцией "Русского Вестника". В № 17 за 1858 г. выходит статья Каткова "Русская сельская община". Он в ней заявляет: "Главная задача предотвращения пролетариата достигается гораздо полнее, когда общинное владение заменяется общинной собственностью". Не разделяя эту точку зрения, К.Д. Кавелин предлагает Каткову прислать ему в ответ "несколько мыслей об общинном владении" и излагает свое мнение: "У нас смешивают в понятии общинного владения: общину административную и особенный способ пользования землею. Община административная, казенная, именно: ответственность общины в подати, повинности и отбывание рекрутства членами ее <...> должны быть уничтожены. Для этого два средства: переложение податей и повинностей с лица на имущество и подчинение всей рекрутской повинности, разумеется, преобразованной натурой или деньгами. Стало быть, о рабстве лица в отношении к общине

не может быть и речи. Другая сторона общины есть способ по-земельного владения ей собственный <...>. Существенное есть то, что общинное владение дает землю неотчуждаемою в частные руки, вследствие чего люди способные и предприимчивые всегда будут иметь возможность создать себе сферу деятельности, не принадлежа к общине, ибо я не только допускаю, но и признаю совершенно необходимою личную поземельную собственность рядом с общинной. Люди же бедные, не предприимчивые, лишённые энергии и силы, будут всегда иметь прочное подножье, на котором они могут укрепиться, жить своим трудом и в особенности что важно дать средство существования детям, будущим поколениям. Исключительное господство личной собственности тем страшно, что оно оставляет на воздухе массы народонаселения с их колыбели, чего при общинном владении нет и быть не может".

По мнению Кавелина, член общины, имея не право собственности на земельный надел, а пожизненное право пользования, "станет фермером, арендующим землю у общины; это разведет инициативы и определит благоприятные условия для перехода России к капитализму. Существование лишь личной собственности приведет к росту пролетариата и к "социальной анархии".

Катков просит Кавелина пересмотреть свою статью в связи с мнением редакции. Кавелин отказывается, и статья напечатана во втором номере "Атенея" за 1859 г. Тем не менее, в 5 номере выходит статья "Общинное управление и общинное землевладение", где А.И. Разин отвергает предложение Кавелина и защищает мнение Корша о введении личной собственности. Зато Самарин пишет Кавелину 13 марта: "На днях я прочел в "Атенея" Вашу превосходную статью о нашей общине. Вы, я думаю, и сами догадаетесь, до какой степени она меня обрадовала. Ваш голос много значит, тогда как наш заподозрен. Что бы мы не говорили, публика махнет рукою и скажет: "Славянофилы", и дело покончено. Вы имеете огромный авторитет в глазах всего молодого поколения, вышедшего из Московского университета. Я в этом убедился здесь в Самаре. *На практике* я стою с Вами совершенно за одно, т.е. за сохранение общинного владения землею, как единственного средства обеспечить право крестьянина на землю, против губительных последствий одного или двух неурожайных годов. Кроме того, я верю, что в нашей общине лежит зерно будущего, невиданного доселе экономического организма, но форм его определить себе не могу. Не вижу, каким путем разовьется теперешняя община, тогда как я

вижу ясно признак ее разложения, именно: постепенное удаление сроков общих переделов и местами - совершенное прекращение переделов. Вы того мнения, что передел земель не есть существенная черта в нашем общинном быту, и только в этом я с Вами (и с Кошелевым) расхожусь. По моему мнению, установление пропорционального отношения между наделом землею, с одной стороны, потребностями и рабочими силами, с другой, есть самый характерный признак, существо общинного землевладения".

Отсутствие единства мнений среди издателей "Атenea" осложняет положение Корша; он жалуется Анненкову 16 октября 1858 г.: "Я вожусь с "Атенеem", ведя отчаянную борьбу против Кетчера и всех, наступающих мне на горло, что теперь следует кричать только о современных вопросах. А мне нельзя себя переломить: борьба патриций с плебеями так же для меня интересна, как борьба феодальной Англии с промышленной, а какой-нибудь византийский подлинник интересней даже портрета Зарякина. Вы скажете, пожалуй, вместе с моими врагами: ну так ты нем, журналист! <...> Однако ж я все еще не теряю надежды и попытаю статьи на следующий год. Если публика решительно плюнет на эти бредни, тогда я удаляюсь куда-нибудь в захолустье и кончу дни за книжками, как их начал, чувствуя себя не способным к базару житейской суеты".

Гласность - либеральное требование просвещенного общества, стремившегося создать общественное пространство среди безмолвия, слепого повиновения властям, безрассудного доверия слухам. Предполагая отмену цензуры, гласность подразумевает терпимость, благопристойность, многосторонность, возможность диалога с автором постороннего мнения. Для "цельных характеров", сторонников "направления", борьбы за идею, подобное поведение характеризует беспринципность, нерешительность, безволие "слабого человека". В то время, когда перекрикивать постороннего становится нормой "просвещения", улитку Корша можно в лучшем случае прозвать "идеалистом", а его либерализм - недоступным идеалом. Обмен мнений происходит уже не в гостиной между воспитанными людьми, а на улице, которую, увы, еще нельзя уподобить общественному пространству.

Накануне отмены крепостного права, в решительный, переломный момент для России "Атeneй" перестал издаваться. Оттого, что его научный, просветительский подход к современности не сошелся с интересами широкой публики читателей? Оттого, что, по

выражению Чичерина, "в Москве не было достаточно литературных сил для двух журналов приблизительно одного направления"? Он намекает на взаимоотношения "Атеней" с "Русским Вестником", которому Корш, ощущая в себе "душевное расположение", не хотел повредить своим журналом. Как указывалось в объявлении, журнал прекратил свое существование, "истощив в борьбе с равнодушием публики к нашему журналу не только скудные средства, доставленные нам подпиской, но и все те, какими могли располагать, благодаря бескорыстному участию людей, нам близких".

Рыцарское поведение? Поколения чередуются, но Москва остается Москвой, и о московском просвещенном обществе, об его влиянии можно еще судить, как судил его Белинский; несмотря на искренность своих убеждений, он добился доступа к широкой публике в Петербурге, не просвещая ее, а открывая широко двери "натуральной школе", он овладел вниманием читателей благодаря обличительной литературе. Художественные несовершенства обличительных произведений, которые в огромном количестве наводнили русскую литературу, критикует Анненков; он не апологет "чистого искусства", он выступает против узости идейного содержания, одностороннего подхода к действительности. При этом он выделяет сочинения Салтыкова-Щедрина, "талантливейшего из наших сатирических писателей", и привлекает его к сотрудничеству в "Атенеи". "Корш видит в Щедрина прежде всего автора обличительных очерков, лишенного художественного вкуса и изящества, тенденциозно оценивавшего явления жизни". Тем не менее, он приглашает его прислать обещанные рассказы к декабрю 1857 г. Мера предосторожности? Щедрин отсрочивает посылку. "Было нас тогда в министерстве внутренних дел, вспоминает Салтыков-Щедрин, два литератора, причастных к "обличительной литературе", я и Мельников. В Государственном совете при встречах с Паниным, Ростовцем, быть может, Чевкиным, Ланской выносил из-за нас немало нападок. Особенно доедал его Панин, который жаловался даже однажды государю, что де "управлять нельзя министерством, обличительная литература вмешивается во все" и т.п. Ланской был, в сущности, человек вполне хороший, гуманный, но это был кисель-человек; просто либеральный кисель и поддавался влиянию вблизи его стоящего человека; но ко мне относился он очень хорошо. Не устоял, однако, под нападками Панина и К°, призывает Ланской Мельникова и требует, чтобы тот не писал в журналах, Мельников прибегает ко мне и сообщает

об этом. Ну, стало быть, и до меня дело касается. Иду к Ланскому. Спрашиваю его. Старик весь покраснел и говорит: "Это до вас вовсе не касается". В пятом номере "Атенея" появляется первый рассказ из цикла очерков "Губернские честолюбцы" под названием "Святочный рассказ". Этим ограничивается сотрудничество в "Атенея" писателя, о котором Чичерин пишет в своих воспоминаниях: "У Щедрина грубое, пошлое глумление составляет отличительную черту его сатиры"⁵⁸².

Сотрудничество Чичерина с журналом Корша дает возможность осветить и оценить либеральный подход к современности государственника, почитателя Токвиля. Он, конечно, озабочен крестьянским вопросом в России, когда он предпринимает писать свой очерк "О французских крестьянах". Ссылаясь критически на недавние труды французских историков, Dareste de La Chavanne, "Histoire des classes agricoles en France", 1854, Eugène Bonnemaire, "Histoire des paysans", 1856, М.Н. Daniol, "Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété", 1857, Чичерин отмечает, что во Франции они составляют 2/3 населения и в 1848 г., при всеобщем избирательном праве, 25 миллионов консерваторов пришли на помощь буржуазии, находящейся под угрозой растущего пролетариата; благодаря этому "союзу", они вступили на путь прогресса, завоевания свободы, права на собственность, на гражданство. До господства Рима, галлы, как славяне, проживали в сельской общине, она сохранялась еще веками, но необходимость для властей укрепить население привязало постепенно крестьян к земле, не лишая их личной свободы; обязанности, связывающие их с хозяином, были юридически точно определены. Восток не попал под благотворное влияние Рима: "Потому у нас при установлении крепостного состояния, крестьянин подчинился полновластному господству помещика. При существующей юридической неопределенности не было для него обеспечения от произвола".

В средние века русский крестьянин обладает большей свободой, чем французский, для перехода от одного к другому хозяину, но когда усиливалось государство, он не сопротивлялся укреплению, тогда как французский крестьянин, перестрадав больше русского, постоянно стремился "устроить лучший порядок". Чичерин затем проводит параллель между Францией, где самодержавие опиралось на демократическую массу народа, относящуюся враждебно к феодалам, и Англией, где аристократия сохранила свою власть,

основанную на послушании фермеров, т.е. крестьян, которым она предоставила личную свободу, но без земли.

В России по мере того, как росло государство, росло укрепление свободного народонаселения, тогда как во Франции свобода крестьян шла рука об руку с развитием централизации; а "у нас при слабом развитии центральной административной власти до последнего времени, низшее сословие лишалось всяких гарантий". Почему, тем не менее, во Франции произошла революция? Потому что королевская власть не довела до конца свою политику и не посмела коснуться привилегий дворянства. В ночь 4 августа 1789 г. была провозглашена отмена этих привилегий, но, увы, под давлением революции. Короля дворянство не поддержало, а крестьянство радостно примкнуло к революции. Власть перешла в руки буржуазии, но тот же процесс развивается; избирательный ценз уменьшился, расширяя избирательный корпус, всеобщее избирательное право привело к бонапартизму. Какое будущее ожидает Францию? Новая революция рабочего класса во имя равенства и свободы? В нынешнее время, опираясь на класс мелких земельных собственников, проникнутых "охранительным духом", государство обеспечивает себе надежную опору. Урок, который выводит Чичерин, относится почти открыто к России: "Там, где накопилась вековая вражда, где переплетаются многообразные частные интересы, там законодатель должен поступать особенно осмотрительно, а исполнители должны соблюдать строгий порядок. Потому-то и следует разрешать эти вопросы заблаговременно, не дожидаясь крайних обстоятельств; иначе неизбежны насилия"⁵⁸³.

Статья Чичерина напечатана в первых четырех номерах "Атеней". Министр народного просвещения А.С. Норов пишет по этому поводу: "Начало этой статьи не обращает на себя внимание в цензурном отношении, но конец, напечатанный в № 4, совершенно неуместен в настоящих обстоятельствах, т.е. ввиду возникшего у нас вопроса об освобождении крестьян из крепостного состояния. Исследование развития личной свободы крестьянина до приобретения политических прав, которые ему предоставлены во Франции, вследствие многих революций, может у нас возбудить в некоторых умах, и так уже не благоприятствующих мерам правительства об освобождении крестьян, опасения за последствия, которые могли оказаться у нас. Ныне должно успокаивать умы, а неуместные рассуждения о событиях, которые в других странах совершались под другими условиями, могут дать превратное понятие о мере, которая принята по собственной инициативе правительства" .

Министр не дает рецепта для "успокоения умов", а в дальновидности Чичерина он видит только предлог для их "возбуждения". Революция "сверху" не допускает вмешательства гласности, общественного мнения в дела правительства. За журналом, издаваемым московскими друзьями, из Лондона следит Герцен. В брошюре "La France ou l'Angleterre?"* он выступает против тех, кто восхваляет общественный порядок в бонапартистской Франции во имя государственности, и ставит в пример Англию: "Страна без централизации, без бюрократии, без префектов, без жандармов, без стеснения печати, без ограничения права собраний, без революции, без реакции; полная противоположность России и Франции". Но Герцен не англоман, наподобие Каткова. "Я просто-напросто русский, покинувший свою родину во имя свободы"⁵⁸⁵. Статья Герцена направлена против точки зрения Чичерина. Он пишет Коршу от 10 июня 1858 г.: "Пожалуйста, не печатайте статей в хвалу централизации и галльского устройства. Нечего нам напускаться на порядок смиренных домов кажется, мы не избалованы излишней волей; вероятно, вы знаете, что ныне патологи лечат болезни в тканях, вы клетчатку-то поправляйте, освобождайте деревню, а уж центральной власти предоставьте самой защищаться - она не круглая сирота. Учитесь-ка Англии - а не Гатчинской империи на Сене. Дошли ли до вас "La France ou l'Angleterre?", это все на Ч[ичерина]"⁵⁸⁶. С этого письма начинается разрыв Герцена с Чичериным и с друзьями в Москве.

Еще в июле 1857 г., в статье "Революция в России", ссылаясь на революцию во Франции, Герцен подчеркивает, что быт ее сложился веками, и учреждения имели глубокие корни в нравах и жизни народной. В России ничего подобного нет. "Мы с Петра I в перестройке, ищем форм, подражаем, списываем и через год пробуем новое <...>. У нас только не меняется почва, грунт, т.е. опять село, но крестьянский быт, скорее физиологический характер, догосударственное *statu quo*, состояние, посылка, которой силогизм будет в будущем, нежели продолжение московского царства". Это суждение напоминает Чаадаева, но Герцен приводит в эпиграфе своей статьи слова Александра II, обращенные к московскому дворянству: "Господа, лучше, чтоб эти перемены сделались сверху - нежели снизу". И он заключает ее советом: "Для того, чтоб продолжать петровское дело, надобно государю так же откровенно отречься от

* "Франция или Англия?" (фр.).

петербургского периода, как Петр отрекся от московского". Отказываясь от устаревшего императорского управления и опираясь, с одной стороны, на народ, с другой - на всех мыслящих и образованных людей в России, он сможет приступить к реформам, без опасности для себя⁵⁸⁷.

Эту точку зрения не может делить с Герценом государственный Чичерин. Тем не менее, они оба еще принадлежат общему лагерю просвещенных и благомыслящих либералов в борьбе против плантаторов, за освобождение крестьян. Но, тогда как Герцен не отбрасывает преждевременно вариант революции снизу, Чичерин убежден в том, что в России нет почвы для революционных идей, ни людей, способных отозваться на революционную пропаганду. Он остается на своем и в 1858 г. публикует свою статью "О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян" в № 8 "Атеней". Он уже много писал о сложном происхождении крепостного состояния. Везде этот "обломок отжившей старины является преградой к развитию". Прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, помещики требуют, "чтобы были уничтожены притеснения чиновников", а ведь треть населения подлежит обязательному труду и не обеспечена в приобретенном достоянии, "отсюда неразвитость нашего земледелия, беспечность помещиков, нерадие крестьян, низкое качество работ, отсутствие счетоводства, малоценность произведений". Чичерин предлагает замену труда обязательного трудом свободным, основанным на договоре отдельных лиц. Но России еще далеко даже до фермерского хозяйства, по подобию Англии; русский мужик готов отказаться от свободы, которая лишит его земли. Государство стоит перед дилеммой: иметь оседлое или бродячее население, причиняющее волнение. На этот вопрос лучшее, но долгосрочное решение: одна свободная собственность может удовлетворить экономическим и юридическим требованиям народа. А пока не следует противопоставлять два выхода из крепостного состояния: выкуп помещичьих прав и поземельное владение, подразумевая оброк и повинности, или выкуп с землей, который предполагает огромную финансовую операцию при помощи государства, но какими средствами оно обладает? Бюджет его не обнародован. Чичерин предусматривает и сохранение общины по мере того, как земли достаточно для всех, и развитие крупных владений на капиталистических началах, и преобразование России в правовое государство⁵⁸⁸. Как государственный, он встречает одобрение в высших просвещенных кругах. В письме к отцу он пишет: "Моя статья, по-

видимому, произвела эффект в Петербурге, Муравьев сказал мне, что из рукописных и печатных статей это единственная, в которой вопрос поставлен надлежащим образом. Милютин говорит, что ее следовало положить в основе для работы в комитетах"⁵⁸⁹.

Чичерин сделал свое дело; на два года он уезжает за границу, тогда как разгорается работа комитетов. Осенью 1858 г. он специально едет в Лондон убедить Герцена изменить направление "Колокола", принять более умеренный тон. "С первых слов я почуял, что это не противник, а враг", - отмечает Герцен: "Он был гуввернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все его учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.

- Зачем вы хотите быть профессором, спрашивал я его, и ищите кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель"⁵⁹⁰.

В статье "Нас упрекают" Герцен подводит итоги, перечисляет либералов-консерваторов, осуждающих его за то, что он слишком нападает на правительство, - славянофилов, западников и прямолинейных доктринеров (Чичерина и его единомышленников), упрекающих его в легкомыслии и шаткости. Герцен признается в отсутствии последовательности, но в статьях "Колокола" оно отражает шаткость в действиях самого Александра - освободитель ли он крестьян или деспот в духе своего родителя? Доктринеры, люди обдуманые, доживают до старости лет, не сбиваясь с дороги, а люди, брошенные в борьбу, "перегорают быстро, падают в крайности, увлекаются и падают на подороге - много раз споткнувшись".

"Освобождение крестьян с землей, - объясняет Герцен, - один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение "сверху или снизу" - мы будем за него! Освободят ли их крестьянские комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения - мы благословим их искренно и от души. Освободят ли крестьяне себя от комитетов во-первых, а потом от всех избирателей в комитеты - мы первые поздравим их братски и также от души. Прикажет ли, наконец, государь отобрать именья у крамольной аристократии, а ее выслать, - ну хоть куда-нибудь на Амур к Муравьеву, - мы столько же от души скажем: "Быть по сему".

При отсутствии "доктрины" вольный тон Герцена скрывает заднюю его мысль: будущее России - община, а не петровский

режим, не государство, защитником которого является Чичерин. Но неужели при освобождении крестьян снизу цель оправдывает средства? Герцен обзывает "доктринером" Чичерина, забота которого - уберечь Россию от "кровавой развязки". В этом он видит задачу политического деятеля. В "Колоколе" от 1 октября опубликован вариант "кровавой развязки", письмо к редактору неизвестного автора. Он обращается к крестьянам. "На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело - отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу! За дело, ребята, будет ждаться да мыкать горе; давно уже ждете, а чего дождались?"⁵⁹¹.

На статью "Нас обвиняют" Чичерин отвечает "Обвинительным актом" и письмом от 11 ноября, в котором он объясняет Герцену: "...я должен был всею силою выступить против направления, которое я во многих отношениях считаю вредным". При этом он уверяет Герцена, что лично его уважение к нему остается неприкосновенным. Статью Чичерина Герцен обещает опубликовать в "Колоколе" в декабре 1858 г.; притом он уверяет его, что не сомневается в откровенности его убеждений, хотя считает его "направление гвернементального доктринаризма вредным для России". В чем могут состоять их личные отношения? "в том уважении, которое имеют два офицера в двух разных армиях". Письмом от 30 ноября Чичерин отвечает: "Наконец в заключение, вы правы: мы - офицеры, стоящие в различных армиях. Только вот что знать любопытно: знамя у обеих армий одно - свобода, цель одна - освобождение крестьян с землею, свобода совести, свобода от цензуры, всеобщая гласность, независимость общественного мнения, гарантия личности и т. д. Стало быть, почва, на которой мы стоим, одна, а между тем, мы глубоко разделены и разделены тактикой. Каждая армия считает маневры другой вредными для общего дела. Тут что-нибудь да не так, а в чем дело - это окажется, вероятно, впоследствии. Может быть, тут открывается различие между либерализмом и радикализмом, может быть, и что-нибудь другое".

Поразительная ясность ума. У нас на глазах происходит раскол в лагере просвещенного русского общества, роковой раскол, масштабность которого превышает разногласия предыдущего десятилетия между западниками и славянофилами. Тогда конфликт разгорался в узком круге мыслителей, историков, философов, публицистов; теперь он принимает открытый политический характер. Для осуществления общего идеала представителям сороковых

годов и их преемникам приходится выбирать "направление": либо действовать в согласии с самодержавным государством, либо помимо его, либо против него. В своем "обвинении" Чичерин упрекает Герцена в нетерпимости к малейшему стремлению найти общий язык с самодержавием. Главное его обвинение: Герцен готов, если оно не произойдет сверху, приветствовать освобождение крестьян снизу, готов благословить русскую привычку "хвататься за топор" и оправдать "свирепый разгул разъяренной толпы". Это значит, что он открывает страницы "Колокола" "безумным воззваниям к дикой силе" и цели борьбы подчиняет средства. Забота Чичерина "успокаивать бушующие страсти, отвращать кровавую развязку". Он призывает Герцена: "...вы - сила, вы власть в русском государстве". Впадая в крайность, Герцен губит собственное дело и этим дает повод к установлению самого жестокого деспотизма.

Несмотря на то, что он согласен с основной мыслью Чичерина, К.Д. Кавелин обращается к нему с письменным протестом против клеветы "на Герцена, на "Колокол", на русское общественное мнение". Письмо это подписано либералами - И. Бабст, Н. Тютчев, А. Галахов, П. Анненков, И. Тургенев, И. Маслов, А. Скребицкий. Оно осуждает одностороннее освещение позиции Герцена: ведь он сам, чтоб избежать революции, предупреждает о необходимости реформ, а для властей и для "реакции" "Колокол" - оплот революционных стремлений! Это дает повод для преследований в России. Чичерин благородно пересылает это письмо Герцену; он его публикует в "Колоколе". Корш и Кетчер, хотя и не подписали протеста, согласны с Чичериным, отмечает Герцен; притом он решает, что надо окончить эту полемику и приступить к делу, к освобождению крестьян⁵⁹².

Однако наступление Герцена против "доктринеров" продолжается; в статье "Русские немцы и немецкие русские" ("Колокол", октябрь 1859 г.) оно принимает форму ксенофобии: Петр - первый император и первый русский немец; для немцев русский человек лист белой бумаги. При Петре началась немецкая дрессировка славян. Последние благородные представители западной идеи, Грановский и Белинский, не оставили ни учеников, ни школы. Наши западные бюрократы-доктринеры последняя фаланга петровского войска. "...Лучшие немцы из русских умные, образованные, но не русские и именно потому способные с наилучшими намерениями наделать бездну вреда". Они "ждут, когда уляжется дикое славянофильство, варварство социальных идей, и французская цент-

рализация, на основаниях немецкой Schulwissenschaft*, будет царить от Таурогена до Амура".

Вопрос об общинном владении, по счастью, вывел славян из церкви и из летописей - на пашню. "Закон не имеет для нас другого смысла, кроме запрета, сделанного властью имущим; мы не его уважаем, а кварталного боимся... нет у нас тех завершенных понятий, тех гражданских истин, которыми, как щитом, западный мир защищался от феодальной власти, от королевской, а теперь защищается от социальных идей". Эти понятия неприемлемы в России. Герцен отрекается от своего бывшего западничества: "Это было при Николае, Запад становился нам дорог как запрещенный плод, как средство оппозиции". Но Запад пошатнулся. "И мы и Европа совсем не те, и мы и Европа стоим у какого-то предела, и мы, и они коснулись черты, которой оканчивается том истории". Герцен отрекается от либерализма, равнодушного к судьбе народа это явление переходное, развившееся в городской цивилизации. Перед социальным вопросом Россия и Европа теперь равны, их пути пересекаются; "встретившись, каждый пойдет своей дорогой". Экономический переворот в России - право каждого на землю, общинное владение ею, мирское управление. На этих началах и *только на них* может развиваться будущая Русь. Вот почему Герцен настолько опасается русских немцев-централизаторов по-французски, бюрократов по-пруски .

Несмотря на безусловное осуждение "государственников", несправедливо было бы обвинять Герцена в полной односторонности. С той же резкостью он обрушивается на противоположный лагерь "новых людей". Вслед за Чернышевским, Добролюбов нанес новый удар дворянству в статье "Что такое обломовщина?". Хваля "Дворянское гнездо" Тургенева, поэтическую обстановку, которой он окружает своих героев, Добролюбов отдает предпочтение Гончарову: "Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья". За похвалами струит злая ирония в духе Чернышевского, направленная против "вечных требований искусства", против чувства изящного, на котором воспитывалось до сих пор просвещенное общество. Это "чувство" скрывает правду и обманывает доверчивого читателя, а "реализм" Гончарова его смущает. Сфера для его изображений не обширна, но в ней

* школьной науки (нем.).

отразилась жизнь русская с беспощадной правильностью "без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины". В ней сказалось новое слово - *обломовщина*, "оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести". Объявляя, что в изображениях Гончарова кроется истина русской жизни, и предлагая ключ, чтоб их раскрыть, Добролюбов поступает по заветам своего учителя: роль критики - "объяснить публике значение литературы для жизни". Новое понятие *обломовщина* позволяет ему вывести основные черты литературного типа "Обломовы", извлечь их из сферы фикции, из воображения художника, и придать им объективный, общественный характер. Инертность героя Гончарова происходит от его апатии ко всему, что делается на свете; причина же апатии в том, что он барин и у него на службе есть Захар. "С малых лет он привыкает быть байбаком, благодаря тому, что у него и подать и сделать - есть кому". Подобное воспитание вовсе не составляет исключения. Как барин, Обломов не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему. Служил он - и не мог понять, зачем эти бумаги пишутся. Учился он - и не знал, к чему может послужить ему наука. Выезжал он в общество - и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят. Лень, апатия Обломова граничит с патологическим явлением. Добролюбов выносит диагноз: это следствие воспитания и окружающих обстоятельств. Не уточняя, о каких обстоятельствах идет речь, он обобщает свое суждение: "Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, раскройте, напр., "Онегина", "Героя нашего времени", "Кто виноват?", "Рудина" или "Лишнего человека", или "Гамлета Щигровского уезда", в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова". Онегин? "Хотел писать, но труд упорный / Ему был тошен".

"Все наши герои, кроме Онегина и Печерина, служат, и для всех их служба - ненужное и не имеющее смысла бремя".

"В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом", они не умеют любить, их барственная

натура хочет только поработить себе женскую душу, а при женщине, которая "может от них потребовать уважения к своим правам, - они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная!"

"Все обломовцы любят унижать себя; но они это делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают".

Заключение критика: со всеми этими "глубокомысленными людьми" надо держать ухо востро. Все у них внешнее, и ничто не имеет корня в их натуре. Эти герои "потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их". Теперь загадка разъяснилась, им слово найдено: обломовщина. Добролюбов смело перешагивает снова порог между литературной фикцией и реальным миром, и заявляет, что, когда он встречает помещика, толкующего о правах человека, чиновника, жалующегося на запутанность делопроизводства, офицера - на утомительность парадов, когда он читает в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего желали, он знает, что имеет дело с Обломовым⁵⁹⁴.

В ожидании "народной расправы", Добролюбов совершает полицейскую облаву и обвиняет в *обломовщине* и героев русской литературы, и дворян-либералов, борющихся, вместе с ним, с радикалами за отмену крепостного права, но в другом направлении. Осуждая этих "лишних людей", возникших среди праздной жизни, на почве крепостничества, новая редакция "Современника" обращается к той публике, которую, прибыв в Петербург, сумел привлечь Белинский с целью привить "черни" общечеловеческие ценности просвещенного общества. Цель этих "последователей Белинского" - не высмеивать светскость во имя просвещения, она совсем другая - самыми примитивными доводами отвлечь публику от влияния "дворянской культуры", цель их - не позволить России приступить к реформам при содействии дворян-либералов, претендующих на руководящую роль в политической и культурной жизни, и заменить их участие в Просветительской революции сверху прямым путем к освобождению крепостных на народную расправу "топором и насилием".

Статьей "Very dangerous!!!" ("Колокол", июнь 1859 г.) Герцен не выступал против Добролюбова, называющего обличительную литературу "либеральным пустозвонством, либеральной

гласностью", отвлекающей от борьбы с настоящим злом, он защищал роль Белинского, Грановского и всей дворянской интеллигенции в борьбе за освобождение народа. Чернышевский и Добролюбов несправедливы, упрекая "лишних людей" в бездеятельности и фразерстве. "Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего, потерянного человека, только потому, что развился в человека <...>. Наши литературные фланкеры последнего набора шпыняют теперь над этими слабыми мечтателями, словавшимися без боя, над этими праздными людьми, не умевшими найтиться в той среде, в которой жили". Приладиться к николаевской эпохе - это значило превратить Онегина в В.Н. Панина, Печорина - в Клейнмихеля. Лишние люди были "прекрасные души".

В Лондоне, в 1859 г., Чернышевский ведет переговоры с Герценом. Он оценивает его значение "для лучшей части нашего общества", но обличения его в "Колоколе" полезны правительству, пока государственный строй остается неприкосновенным. Следует выставить политическую программу, конституцию, республиканскую, социальную, чтобы согласовать всякое обличение с требованиями программы. После этих переговоров, Герцен отзывается статьей "Лишние люди и желчевики" в "Колоколе": "Лишние люди были тогда столько же *необходимы*, как *необходимо* теперь, чтоб их не было <...>. Мы сами принадлежали к этому несчастному поколению и, догадавшись очень давно, что мы лишние на берегах Невы, препрактически пошли вон, как только отвязали веревку". Правы люди, говорящие, что не взяточников надо осуждать, а систему, разрешающую взятки. Также надо обвинять в безделии не лишних людей, а николаевскую эпоху. "...Это не *лишние*, не праздные люди, это люди *озлобленные*, больные душой и телом". Герцен смотрит вперед: "Лишние люди сошли со сцены, за ними сойдут и желчевики, наиболее сердящиеся на лишних людей".

Желчевики - прозвище 50-х гг. Раздражительность Чернышевского объяснялась среди либералов разлитием желчи. На это намекал Тургенев в письме Дружинину от 11 ноября 1856 г. Этот тип желчевиков, невских Даниилов, сам Герцен описывает так: "Он развивался в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болез-

ненные и поломанные". Кто в этом виноват? "Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей". Но Герцен уточняет: "У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, со своей стороны, непостижимая жестокость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились - страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это психологическая задача".

Герцен не выносит "наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастиях мира сего". "Первое, что нас поразило в них, - это легкость, с которой они отчаивались во всем, злая радость их отрицания и страшная беспощадность". Герцен приводит суждения этих "невских Даниилов":

- Что вы заступаетесь за этих лентяев, дармоедов, трутней, белоручек, туенядцев à la Opèghine? Они были романтики и аристократы, они ненавидели работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топор или за шило, да и того, правда, они не умели.

Напоминая заслуги Чаадаева, Киреевского, Белинского, Грановского Герцен бросает вызов невским Даниилам: "На каком праве вы требуете от людей, чтоб они делали то или другое? Это какая-то новая принудительная организация работ, что-то вроде социализма, переложенного на нравы министерства государственных имуществ"⁵⁹⁵.

С берегов Невы, почти теми же упреками, отзывается А.В. Никитенко. В своем "Дневнике", 16 сентября 1858 г. он замечает: "Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только навыворот: в них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками?" Всякая другая свобода не имеет смысла без свободы мнения. "Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, как они на вас накинута за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине".

4 марта 1860 г. "умеренный либерал" пишет о своем бывшем студенте: "У Чернышевского есть ум, дарование, но, к сожалению то и другое затемнено у него крайнею нетерпимостью. Он, на беду себе, считает себя первым умником и публицистом в Европе". И 8 декабря 1860 г.: "Такие господа, как Чернышевский (Добролюбов и прочие), вообразили, что они могут взять силой право, на которое они еще не приобрели права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную, и, вместо того, чтобы двигать дело вперед, только тормозят его".

"Крайние радикалы" еще не овладели университетом, но Никитенко записывает новые явления. 4 августа 1858 г. начинаются приемные экзамены. "Огромный прилив желающих поступить в университет. Большинство приготовлено дурно - неразвито, мало знаний. Много поляков, немцев, иностранцев. Эти еще лучше, так же как и те, которые учились в гимназиях. Но юноши домашнего приготовления - это серое полотно, вытканное перстами маменек под надзором мудрых папенок. Но я, кроме самых негодных, никому не затворил дверей в университет: при малом знакомстве с наукою у нас и так недурно, что будет побольше людей, которым она хоть сколько-нибудь западет в ум. Все-таки четыре года они будут слышать человеческие речи. Ведь они не провели бы их полезнее, не пошли бы учиться ремеслам, а полезли бы в чиновники, в офицеры".

Хотя Никитенко еще убежден, что университет способен усмирять юные головы "человеческими речами", он досаждает: "Студенты бурлят и накликают на университет беду". Произошла схватка с полицией. Оскорбили одного студента, он пошел жаловаться шефу жандармов, графу Шувалову; его выгнали. Частный случай воспринимается, как оскорбление, нанесенное всем студентам. Никитенко жалеет, что студенты придают себе слишком много значения и отвлекаются от науки⁵⁹⁶. 22 ноября он записывает, что в Москве студенты-медики отказываются слушать лекции "отсталого" профессора зоологии Варнека. Несмотря на угрозы, на старания администрации решить дело домашним образом, протест принимает форму организованного выступления. Герцен подробно описывает событие в статье "Синхедрион московских университетских фарисеев", но умоляет студентов *быть осторожными* во имя России. "...Ничто старое не вырвано с корнем, ничто новое не пустило еще корни. Опереться не на что. Вне благородных инстинктов государя с одной стороны и части общества с другой <...> *ничего нет*". Он

ставит в пример "тихий океан крестьянского мира, ожидающего в величавом покое уничтожения позорного рабства"⁵⁹⁷.

Эти выступления напоминают подобные факты начала 30-х гг., когда в Москве студенты провожали на улицу выкриками "не-любимого профессора права Малова" и собирались принимать участие в жизни университета, но тогда никому не приходило в голову идти жаловаться шефу жандармов за оскорбление. Признавая, что, грубо обращаясь со студентами, Варнек сам виноват, Никитенко перечисляет причины волнений: "Льготы последнего времени как бы врасплох захватили наше общество. У многих от непривычной свободы закружилась голова, а тем более у молодых людей <...>. С другой стороны, большинство начальствующих лиц - еще воспитанники старого режима <...>. Третья причина университетских неурядиц, наконец, кроется в самой организации университетов, лишившей сословие профессоров всякого нравственного влияния над юношами с тех пор, как наблюдение за их поступками перешло в руки инспектора с его помощниками. Молодые люди смотрят на него, как на квартального надзирателя"⁵⁹⁸.

Пережитки "мрачного семилетия" сталкиваются с новым явлением, с огромным приливом желающих поступить в университет. Сокращение этого прилива бюрократическими мерами обязательной платой за учение закрывает фактически доступ юношам из бедных разночинных семей, но вызывает порывы солидарности со стороны студентов. В первую очередь, организованы подписки в пользу нуждающихся студентов, в частности за границей. При отсутствии применения благоразумных мер, положение в университете будет только осложняться и неожиданно он окажется самым радикальным очагом революционных помыслов. Но об этом еще впереди.

Обстановка круто меняется, но Герцен продолжает смотреть на сверстников-москвичей как на "своих", глазами "сорокодесятника"; он поддерживает связи со славянофилами и 1/13 января 1858 г. пишет И.С. Аксакову: "Начинаю русский Новый год тем, что пишу к самому русскому из моих знакомых, и при том не староверу, а новому русскому, т. е. к вам". Жалея, что в Петербурге не дозволили ему издавать журнал "Парус", он отмечает: "Мне кажется, что вы к ним относитесь, как я к нашим "западникам". А из этого, натурально, и выходит, что мы, нося разные кокарды, больше согласны между собой, нежели однополчане". Несмотря на "слияние крайностей", которое предсказывал и категорически

осуждал умирающий Белинский, Герцен исключает себя из лагеря "западников": у него с Аксаковым общий враг в Петербурге - "западник-государственник" Чичерин В конце письма, обнимая Аксакова по-русски, он дает обещание: "Совет ваш насчет Александра Николаевича исполню, тем больше что он согласен с моим искренним убеждением". В знак одобрения деятельности государя в подготовке крестьянской реформы, "Колокол" публикует 15 февраля статью Герцена "Через три года", в которой он обращается к нему словами: "Ты победил, Галилеянин!" и добавляет: "...мы идем с тем, кто освобождает и пока он освобождает; в этом мы последовательны всей нашей жизни".

В письме от 8 ноября 1858 г. Герцен пытается разъяснить отношения с Самариным, отуманенные более недоразумениями, чем радикальными расхождениями. В четвертой части "Былого и Дум" он еще делил московскую общественность 1840 гг. на "наших", западников, и "не наших", славянофилов. "Не деля ваших мнений, я вас больше понимаю и больше сочувствую с вами, нежели с нашими поклонниками централизации и французской болезни". Он отрекается от "своих", от будущих Биронов и Аракчеевых. "...Несмотря на все разномыслия, в одном мы соединены вполне - в общей искренней любви к России, в страстном освобождении крестьян с землей, и во имя этих двух баз мы горячо ждем руку вам и Самарину". "Неужели Самарин может по духу партии не признавать действительного значения Грановского в Московском университете? То же о Белинском? Он упрекает меня в том, что я своих раскрашивал, а ваших уменьшал. Неужели мои строки о Киреевском не полны уважения?" В мае этого же года, Самарин ему писал, что год тому назад он ему послал четыре статьи "о мерзости крепостного права", о том, чему учиться после Парижского мира, о недостойном поведении офицеров по отношению к ратникам ополчения, о влиянии одежды на общественный быт. Отчего Герцен их не опубликовал? "Статьи Самарина я никогда не получал, отвечает Герцен и добавляет: Пришлите нам от себя статью о славянофильском направлении, и начнемте уяснять дружеским спором вопрос". Тем не менее, судя по письму от 17/5 июня 1859 г., Герцен так и не получил еще ни "Русской Беседы", ни "Сельского Благоустройства", а о том, что "Парус" был запрещен после 2 номера, он вообще ничего не знает. По поводу войны Франции и Пьемонта против Австрии (апрель-июль 1859 г.), он публикует три статьи "Война и мир" ("Колокол", июнь-август),

в которых, не одобряя политику Наполеона III, "представителя смерти", он выступает за разгром Австрии для освобождения славян и других народов, угнетенных империей Габсбургов. России предстоит стать "славянским государством", восстановить Польшу и, являясь "мирной главою" нового союза, возглавить славянскую конфедерацию". Вот до чего доводит ксенофобия! Сторонником панславизма германофоб Герцен не станет, но в письме И.С. Аксакову он упоминает его брата: "Помнит ли меня Константин Сергеевич? Ему за то надобно меня помнить, что все немецкие борзописцы снова меня ругают за славянизм и неуважение к Западу". В письме от 25/13 сентября 1860 г. И.С. Аксаков извещает Герцена, что брата отправили лечиться от туберкулеза на остров Занд. О его смерти Иван Сергеевич, сопровождая в Россию его тело, сообщает Герцену. Он публикует некролог в январе 1861 г.: "Вслед за сильным бойцом славянизма в России, за А.С. Хомяковым, угас один из сподвижников его, один из ближайших друзей его - Константин Сергеевич Аксаков скончался в прошлом году <...>. Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело*; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них начинается перелом *русской мысли*. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но *неодинаковая*. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы - за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке

было нам душно: все почернелые лица из-за серебряных окладов, все попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш — это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока

Mutter, Mutter; lass mich gehen,
Schweiften auf den wilden Höhen!

Мать, мать,пусти меня,
Скитаться по диким вершинам!

Такова была наша семейная разладаца лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на понимание нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!"⁵⁹⁹

Из Лондона, 5 января 1861 г., Герцен спрашивает мнение Тургенева об этой статье. Тургенев отвечает 12 февраля/31 января 1861 г. из Парижа, что статья произвела глубокое впечатление в Москве и России. При этом он сообщает Герцену о разрыве с Некрасовым и с "Современником". Чернышевский осуждал его за колебание, нерешительность, а Добролюбов добавлял, что фатализм Тургенева приводит к невозможности появления в России "твердого, деятельного характера". Герцен и Тургенев обмениваются новостями о заседаниях комитета по крестьянскому делу. У каждого свои источники:

22-24/10-12 февраля 1861 г., из Парижа, Тургенев сообщает Герцену — самым достоверным образом, "что указ об эмансипации выйдет скоро, никаким другим слухам не верь, главные противники

указа - кто бы ты думал? (не говорю о Гагарине, это само собою разумеется) - Муравьев, Княжевич и... кн. А.М. Горчаков"⁶⁰⁰.

ЗАМЕТКА

сторонники указа, либералы

Константин Николаевич, великий князь (1827-1892), генерал-адмирал, наместник Царства Польского (1862-1863), председатель Гос. совета (1865-1881).

Головнин Александр Васильевич (1821-1886), служил в морском министерстве (1848-1859), ред. "Морского сборника", с 1850 г. секретарь в.к. Константина Ник. С декабря 1861 г. по 1866 г. министр народного просвещения.

Валуев Петр Александрович (1816-1890), министр внутренних дел (1861-1868), министр гос. имуществ (1872-1879).

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912), генерал-адъютант, военный министр (1861-1881).

Милютин Николай Алексеевич (1818-1872), тов. министра внутренних дел, руководитель всех мероприятий по подготовке крестьянской реформы 1859-1861 гг. Уволен как либерал из комиссии по подготовке реформ местного управления и заменен П.А. Валуевым. Статс-секретарь по делам Польши (1863-1866). Автор Положения о крестьянской реформе в Польше (1864 г.).

противники указа, консерваторы

Гагарин Павел Павлович, граф (1789-1872), член комитета по крестьянскому делу (1857-1861) и Гос. совета. Член следственной комиссии по делу петрашевцев (1849 г.), председатель верховного суда по делу Каракозова (1866 г.).

Муравьев Михаил Николаевич, граф (1796-1866), генерал-адъютант, член Гос. совета, министр государственных имуществ (1857-1862), член Главного комитета по крестьянскому делу, генерал-губернатор Северо-Западного края (1863-1865).

Княжевич Александр Максимович (1792-1872), министр финансов (1858-1862).

Горчаков Александр Михайлович, князь (1798-1883), дипломат, министр иностранных дел (1856-1882), член Гос. совета.

1 марта/17 февраля 1861 г., из Лондона, Герцен сообщает Тургеневу: "Завтра ты получишь "Колокол" - с довольно подробным описанием двух заседаний в Петербурге <...>. Источник верен. - Мы ждем, не переводя духа".

"Колокол" от 1 марта 1861 г. публикует это описание:

Заседания: 1) Соединенного совета министров и членов Главного крестьянского комитета 26 января 1861 г. 2) Государственного совета 28 января 1861 г.

"Государь благодарил большинство членов и особенно в.к. Константина Николаевича, которого несколько раз целовал. Затем с *весьма решительным тоном* объявил, что после того, как они враждовали между собой по крестьянскому вопросу, он требует от них полного согласия, совершенного забвения личных мнений и безусловного исполнения его повелений", ибо "вы должны помнить, что в России законы издает самодержавная власть". Главный комитет закрыт, на его месте учрежден особый Комитет по *делам всего сельского населения в России* для соединения крестьян всех наименований в одно сословие, *как было прежде*, подчиненное одним законам и общим в государстве властям. Муравьеву, желающему ближе познакомиться с запиской государя, тот *очень сухо* ответил, что соображать нечего, а следует только исполнять. Государь, наконец, раскусил Муравьева! Неужели конец ему близок?

На заседании Государственного совета, государь изложил исторический ход правительских мер по крестьянскому вопросу и прибавил: "Самодержавие установило крепостное право, самодержавие должно оно и прекратить". Затем приступили к суждению о коренных началах реформы; государь со значительным умением вел и направлял прения. Перечисляются выступающие лица и оцениваются их мнения по поводу "надела" и "добровольного соглашения": Строганов, Блудов, Горчаков, Муравьев, Ланской, Панин, Меншиков, Игнатъев. В результате голосования вышло, что большинство в пользу проекта состоит из 37 голосов. Против проекта было 8 голосов⁶⁰¹.

Все эти подробные сведения Герцен получил от Э.П. Перцова, журналиста, редактора "Журнала общепользных сведений". Его выслали из Петербурга в 1861 г. "Верным источником" был его брат, В.П. Перцов, начальник отделения МВД.

На упрек Герцена, что он, как и другие, таскается по Европе, когда долг, разум и сердце заставляют быть в России, Тургенев оправдывается

письмом от 9 марта/25 февраля 1861 г.: "Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдавать замуж и потому поневоле сию в Париже? Все мои помыслы - весь я в России"⁶⁰².

Герцен отвечает 12 марта/28 февраля; он не убежден: "Будто на два месяца ты не мог бы отлучиться. Мы все не привыкли жертвовать общему - that is the question <...>. Пришли мне, если есть, новости все ждут к 18. Я одурел от беспокойного ожидания - и от досады, что не могу ехать"⁶⁰³.

13/1 марта, из Парижа, Тургенев сообщает: "Вчера получены здесь письма от разных официальных лиц (Головнина и др.) об окончании крестьянского вопроса. *Главные основания* редакционной комиссии приняты; переходное время будет продолжаться 2 года (а не 9 или 6), надел остается весь - с правом выкупа. Плантадоры в Петербурге и здесь в ярости неизъяснимой: здесь они кричат, что проект не либеральный, сбивчивый и т.д. Мне обещали доставить сегодня один уже *отпечатанный* экземпляр Положения, который прислали из Петербурга. Спишу главные пункты и пошлю тебе". "Дожили мы до этих дней - а все не верится, и лихорадка колотит, и досада душит, что не на месте. Впрочем, если я не увижу первого момента - я все-таки буду свидетелем первых применений: я в конце апреля в России"⁶⁰⁴.

15/3 марта ответ из Лондона: "Иван Сергеевич Divus, получил такое от вас письмо - я желаю обнять и поцеловать ваши седины. Но это не все. Не сокращение - а копию или оригинал надобно, как можно скорее найми писца, заплати ему ценою злата и платины. Бога ради достань".

Манифест об освобождении крестьян подписан 19 февраля 1861 г., объявлен сенату 2 марта и обнародован 5 марта.

В "Колоколе" 1 апреля 1861 г. Герцен восклицает: "Первый шаг сделан!" - и добавляет: "Скорее скорее второй шаг!" Приветствуя царя именем *освободителя*, он обращается к вел. кн. Константину Николаевичу, председателю Главного комитета по крестьянским делам с октября 1860 г.: "Борьба ваша, Константин Николаевич, легка: с вашей стороны не только справедливость, но все думающее и все страдающее, меньшинство образованных людей и большинство массы. А против вас кто? Горсть пустых стариков, алчных невежд, мощенных звездами и переплетенных лентами; ведь они сильны только вами <...>. Их бояться нечего. Затем остается дикий лесной помещик, еще менее опасный, на таких ли медведей ходит ваш брат". "Но вряд ли можно успеть во многом

одним канцелярским порядком, одной бюрократией. Окружите себя свежими, живыми людьми, не рутинистами, не доктринерами, а людьми понимающими, любящими Россию, и главное, не бойтесь гласности, как бы она ни была резка!"

Россия ждет от государя: *освобождения крестьян с землей, уничтожения телесных наказаний и гласности в суде и печати.* Эту минимальную программу Герцена одобряют просвещенные силы, и либералы, и радикалы, и государственники, и славянофилы. "Легко" ли избавить Россию от "горсти пустых стариков", не принимая во внимание "канцелярский порядок" и *доктринеров?* Ожидаются перемены в правительстве после манифеста, открывается возможность победы либералов-реформаторов Н.А. Милютин, С.С. Ланского, Д.А. Милютин при поддержке вел. кн. Константина Николаевича и вел. кн. Елены Павловны против "алчных невежд" М.Н. Муравьева, кн. В.А. Долгорукова, кн. П.П. Гагарина.

Тургенев пишет Герцену 26/14 марта из Парижа: "...до сих пор телеграммы (печатные и частные) единогласно говорят о совершенной тишине, с которой принят манифест во всей России. Что же дальше?" "Мы здесь третьего дня отпели молебен в церкви - и поп произнес нам краткую, но умную и трогательную речь, от которой я прослезился - а Николай Иванович Тургенев чуть не рыдал. Тут же был и старый кн. Волконский (декабрист). Много народа перед этим ушло из церкви"⁶⁰⁶.

28/16 марта Герцен сообщает о том, как пройдет у него в Orsett House праздник - *monstre*. "Еманципационный. С иллюминацией и музыкой на улице": "Марсельеза", "Вниз по матушке по Волге", "Еще Польша не сгинела". Но 15/3 апреля тон его меняется: "Я не писал к тебе, потому что не мог сказать ничего хорошего о русском празднике, он случайно вышел великолепным - погодой, количеством гостей и количеством совершенно незнакомых русских (наверное, до 50 человек были в первый раз), - и все было убито варшавской кровью. Все походило на похороны". Герцен отказался от тоста в честь государя, узнав, что в Варшаве русские войска стреляли по мирным польским демонстрантам.

"С прошлого твоего приезда, - пишет он в том же письме, я заметил какой-то разлад твоих отношений с Огаревым. Мне это было больно - но я молчал, зная, что ты любишь капризные отношения с людьми и демонстрации не без кокетства. Переписка твоя мне доказала, что я был прав <...>, я не мог добиться у тебя

ответа на вопрос о статье Огарева, которая стоила внимания, без сомнения, наравне с проектом школ". Герцен упоминает о статье "На новый год" в "Колоколе" от 1 января 1861 г, в которой Огарев развивал широкую программу предварительных демократических реформ. Тургенев отклоняется: статью Огарева он еще не успел прочесть; Герцен хочет ответа откровенного, - "но только об одном прошу - без демонстрации, когда будешь здесь". Но Тургенев выезжает из Парижа в Петербург 3 мая, не "заезжая" в Лондон. "Досадно, что ты едешь, не заехав сюда; но делать нечего, сожалеет Герцен. Шалун ты эдакой - седовласый <...>. Затем будь здоров. Видно, нам России еще долго не видеть. Кровь в Варшаве - страшно изгадила все". При этом он поручает Тургеневу передать Гарибальди письмо, в котором он объясняет пассивность поляков во время кровопролития 8 апреля: они изолированы, окружены пруссаками и австрийцами; они много выиграли благодаря такому поведению⁶⁰⁷.

Пока Тургенев пребывает в России, благодаря многочисленным осведомителям, Герцен убеждается в том, что тишина не везде там царит; он извещает об этом своих читателей. "Русская кровь льется!" этим заглавием открывается лист "Колокола" 15 мая 1861 г. Перечисляются и описываются выступления недовольных крестьян по всей стране после обнародования Манифеста. Самым показательным фактом является крестьянское восстание в селе Бездне Спасского уезда Казанской губернии, подавленное 12 апреля 1861 г. под руководством генерал-майора графа Апраксина. Там среди раскольников появился пророк, выдающий себя за государя; крестьяне, большей частью государственные, завоновались. Уполномоченный граф Апраксин стал угрожать: "Выдайте пророка, или в вас будут стрелять". Выдавать пророка властям отказались, но стояли смирно, не бунтуя. Пророк уверял их, что пули обратятся на солдат. Апраксин приказал стрелять; когда толпа разбежалась, насчитали 70 трупов. Казанское дворянство, несмотря на "заслугу" Апраксина, отказалось дать обед в его честь: "как-то неловко кровь заливать шампанским!" Правительство больше месяца скрывало это печальное событие и только после того, что сведения были опубликованы в "Колоколе" и в иностранной прессе, появилось официальное сообщение в "С.-Петербургских ведомостях". Тем временем, 16 апреля казанские студенты духовной академии и университета собрались в Крутинской церкви и отслужили панихиду по жертвам репрессии. С речью, заканчивающейся словами "Да здравствует демократическая конституция!" выступил про-

фессор русской истории А.П. Шапов. Его привлекли к следствию в Петербурге, синод грозил ссылкой в Соловецкий монастырь. Герцен знаком с его трудами о расколе, о земской самобытности общин; он ему пишет осенью 1861 г.: "...ваш свежий голос, чистый и могучий, теперь почти единственный, отрадно раздаётся среди разбитых и хриплых голосов современных русских писателей".

В июле 1861 г. распространяют в Петербурге, затем в Москве первую печатную прокламацию "Великорус". Следующие появятся в сентябре и в октябре. Авторы ее радикалы, соратники "Современника" В.А. Обручев, Н.А. Серно-Соловьевич, Н.А. Добролюбов, М.А. Антонович, с поддержкой Чернышевского. "Великорус" обращается к "образованным классам", его программа: введение конституции, освобождение крестьян с землей без выкупа, безусловное освобождение Польши, право Украины располагать своей судьбой по собственной воле. Несовместимо соединять законность с нынешней династией, но, учитывая монархические иллюзии дворянской и буржуазной общественности, Комитет предлагает терпеливо и снисходительно разъяснить свои взгляды. Испытывая на первый раз мирные средства, он посылает "адрес Александру II".

Е.Ф. Корш, Чижов, Бабст, получив по почте по экземпляру "Великоруса", относят его в полицию. Герцен возмущается этим поведением и в сентябре 1861 г., не одобряя его содержания, Герцен публикует *ответ* "Великорусу", автором которого является, вероятно, сам Серно-Соловьевич. "Ответ" усиливает радикальность послания: "Надо обращаться не к обществу, а к народу, и не предлагать вопросов, а прямо отправиться от положительного начала: что жить долее при настоящем порядке невозможно, а лучшего быть не может, пока власть в царских руках". Герцен, рукой Огарева, вставляет примечание: "Статью эту мы получили из России, с настоятельной просьбой поместить ее. Если мы не совершенно согласны в частности и в форме, то все же от души приветствуем этот живой призыв на живое дело. Мы давно думали о необходимости органического сосредоточения сил, но считали, что не от нас должна выйти инициатива, *не из-за границы, а из самой России*"⁶⁰⁸.

Неужели единый достойный призыв на "живое дело" сводится к революционным прокламациям? С еще большими оговорками Герцен относится к прокламации М.Л. Михайлова и Н.В. Шелгунова "К молодому поколению". С Шелгуновым он знаком с 1859 г. Вдвоем с поэтом Михайловым, соратником "Современника", этот

офицер корпуса лесной стражи и публицист, приезжает в Лондон, в июне, с целью напечатать 600 экземплярах этой прокламации в Вольной русской типографии. Герцен соглашается, хотя не одобряет содержания, и Михайлов, при возвращении в Россию, неосторожно отдает один экземпляр собрату своему, поэту Всеволоду Костомарову, которого арестуют; он выдает своих. Наспех, пока это еще возможно, Михайлов с товарищами рассыпают прокламации по всему Петербургу. Знакомятся преимущественно с ними студенты, хотя, по намерению авторов, она обращается не к обществу, а к народу. Михайлова арестуют 14 сентября; он возлагает на себя всю ответственность, чтоб уберечь от преследований Шелгунова и его супругу. Сосланный пожизненно в Сибирь, он там умрет в 1865 г.

Прокламация, обращаясь "к молодому поколению", производит своим радикализмом огромное впечатление, особенно на студентов: "Народу больше не нужно царя. Освободив крестьян, он завершил историческую эпоху, открывается новая, русская империя растворяется, будущее России в руках молодого поколения. Нечего подражать теперь Англии, после того, как подражали Франции и Германии. Мы народ отсталый, в этом наше спасение, мы не прожили то, что прожила Европа теперь в безвыходном положении. Будущего мы не боимся, как она, а смело идем навстречу революции. Без веры нет спасения. Убить сто тысяч помещиков, чтобы передать землю народу, мы этого не боимся. Земля принадлежит народу, а не частным лицам. При коллективной собственности земли, каждый гражданин станет членом *общины*". Это первое выступление "народников" предлагает молодому поколению "просветительскую" миссию: смести прошлое, создать кружки с единомышленниками, дать *Igea* созреть и приступить к строительству "светлого будущего" во имя свободы и равенства. "Довольно корчить либералов, наступила пора действовать".

Новизна прокламации в том, что она пропитана энтузиазмом и уверенностью. Ее появление совпадает с волнением, постигшим тогда студентов, в связи с введением новых правил при вступлении в университет. Вернувшись из отпуска осенью 1861 г., А.В. Никитенко идет представиться новому министру Е.В. Путятину, тот производит на него неприятное впечатление. При этом он узнает, что университет "оскорблен" первым циркуляром министра и стал в оппозицию к нему: никто не хочет быть избран проректором взамен ныне существующего инспектора. Неужели коллеги отказываются от самоуправления? Нет, объясняет ему директор

департамента, Н.А. Ребиндер: проректор избран именно для надзора за студентами и никто не решается брать на себя эту должность. Еще до каникул комиссия профессоров выработала новые правила для студентов. Путятин их резко изменил: запрещаются выборные студенческие должности в университетском суде и в совещаниях по делам кассы, студенческие библиотека и касса взаимопомощи; но зато вводятся *матрикулы*, билеты для входа в университет. В Москве и в Киеве циркуляр Путятина тоже возбудил дух оппозиции. "Вообще, если верить рассказам окружающих его, - пишет Никитенко о новом министре, - то этот человек, совершенно не понимающий дела и не способный к нему".

Никитенко читает свою первую лекцию 20 сентября перед внимательной, большой аудиторией. На следующий день набирается еще больше слушателей, но волнение студентов растет, несмотря на то, что сходки запрещены. Говорят об арестах. 23 сентября, на заседании Главного управления цензуры Никитенко слушает доклад А.А. Берте о материалистическом и революционном направлении "Современника": после последнего предостережения, если оно не будет принято во внимание, его надо будет запретить. В тот же день студенты вывешивают прокламацию в зале для собрания университета: "Правительство бросило нам перчатку, теперь посмотрим, сколько у нас наберется рыцарей, чтобы поднять ее". "Главное - бойтесь разногласий и не трусьте решительных мер. Имейте в голове одно: стрелять в нас не смеют: из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт". "Энергия, энергия и энергия!.. Вспомним, что мы молоды, а в это время люди бывают благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего".

"Словом, совершенный хаос. Об учении никто не думает", сетует Никитенко. Вследствие беспорядков, министр решает 24 сентября закрыть университет на некоторое время: накануне студенты ворвались силой в большую залу, выломали дверь, переломали стулья и побили стекла. В понедельник 25-го Никитенко из окна видит, как по улице огромная толпа студентов направляется к квартире Г.И. Филиппсона, попечителя Петербургского учебного округа, требуя отмены университетских постановлений. Он спешит на место действия и обращается к группе с виду более умеренной. На его замечание, что своими выходками они вредят университету и науке, один из "крикунов" отвечает: "Что за наука, Александр Васильевич! Мы решаем современные вопросы". После долгих переговоров, включая вмешательство самого генерал-губернатора

П.Н. Игнатьева, выразившего свое сочувствие юношеству, но не допускающего беспорядка вне стен университета, дают слово Михаэлису, депутату студентов. На предложение попечителя: дайте честное слово, что будете исполнять правила матрикула или покидайте университет, он отвечает: "...слово дадим, но исполнять не будем" и объясняет, что принуждение ни к чему не обязывает.

Забраны в крепость 37 студентов, Никитенко идет уверять генерал-губернатора, что они не государственные преступники: "Это - дети, и отношение к ним власти может быть только отеческое". Генерал-губернатор отвечает: "Бог милостив, все кончится благополучно", но замечает, что, благодаря его распоряжениям, крови не было пролито.

"Все на студентов смотрят, как на мучеников, пишет Никитенко 19 октября. Их дерзость, неповиновение закону и власти считают геройством, а правительство позорят всевозможными способами. Клевета, выдумки, искаженные факты..." По распоряжению министра, назначают профессоров среди них Никитенко в комиссию для расследования произошедших беспорядков. Не будучи юристом, он отклоняется, хотя жалеет, что иные намерены превратить университет в политический клуб. Министр негодует на адрес, поданный ему за подписью профессоров о ходатайстве за студентов, сидящих в крепости; он не сознает, что им сочувствуют все высшие учебные заведения, и столичные, и провинциальные, и все "теоретики-либералы и журналисты". "И нет никакого сомнения, - замечает Никитенко, что происшествия последних двух дней связаны с прокламациями "Великоруса" и "К молодому поколению", где провозглашается открыто революция". Умеренный либерал Никитенко убежден, что надо противиться этой "революционной лихорадке", иначе она поведет к анархии, а анархия оканчивается, как известно, реакционным деспотизмом. От правительства он ждет, чтоб оно встало во главе движения реформ, а не удовлетворяло в виде уступок требования времени. По городу разносятся слухи, "страшная ложь", вовлекающая умеренных, но растерянных людей в оппозицию. Чтобы закрыть уста клевете, существует одно средство - *гласность*. Так выражается Никитенко, член негласного Комитета по делам книгопечатания, учрежденного в начале 1859 г. В записке, принятой Комитетом и поданной на доклад государю 26 февраля 1859 г., он излагал свои политические верования: "Я полагаю необходимым для России всякие улучшения, считая главными на-

чалами в них: гласность, законность и развитие способов народного воспитания и образования, другими словами, как говоря модными словами, я верую в необходимость прогресса. Но есть два рода прогресса: один можно назвать прогрессом сломя голову, который часто проскакивает мимо цели, и другой - умеренно, постепенно, но верными шагами идущий к цели. Я поборник последнего - и неуклонный". В нынешних условиях его положение незавидно: ультралибералы упрекают его в том, что он не одобрил поступки студентов, что он стал их врагом, тогда как он питает сочувствие к заключенным и желает их освобождения. Но он не может, как профессор, выразить сочувствие уличным агитациям и неразумным требованиям студентов.

С 11 октября университет снова открыт. Проезжая через Дворцовый мост, Никитенко видит толпу народа на островской набережной и маневрирующий туда и сюда отряд жандармов. Новый "скандал": около семисот студентов приняли матрикулы, а человек триста подошли к университету, чтобы вырвать у них эти билеты. Вмешалась полиция и отвела большую часть антиматрикулистов в крепость. На лекциях у Никитенко всего пять слушателей, у других еще меньше. Подавших просьбы около 700, а посещающих лекции всего 75 человек, будто они хотят оказать безмолвный протест, пассивное сопротивление. Студенты, взявшие матрикулы, но не посещающие лекции, бродят по коридорам, уговаривают товарищей следовать их примеру или разбрасывают листовки с ругательствами на тех, кто ходит на лекции. Что делать преподавателям? Официально университет открыт, но он опустел. Не лучше ли подать в отставку, чем читать лекции? Группа профессоров-либералов, преимущественно юристы А.Н. Пышин, В.Д. Спасович, М.М. Стасюлевич, Б.И. Утин, во главе с К.Д. Кавелиным, уходят из университета. Никитенко - монархист, искренне преданный государю за освобождение крестьян. "Но, право, я боюсь, чтобы мне не перестать уважать его. Как можно делать министром таких людей, как граф Путятин? Ведь довольно поговорить с ним четверть часа, чтобы убедиться в его ограниченности". А как создают таких министров? Никитенко это записывает 3 ноября: "Был поутру у Плетнева. Он рассказывал мне о том, как был выбран в министры Путятин. Митрополит Филарет рекомендовал его как религиозного человека. Императрица, плененная рассказами о благочестии и набожности графа, забыла, что для министра необходимы еще и другие качества, и начала

сильно настаивать у государя о назначении его на место Ковалевского. Разумеется, к этому присоединились и другие члены камарильи, которые, кроме угодничества двору, ничего не знают и знать не хотят. К сожалению, государь отдался этой интриге, - и вот Путятин сделан министром, к стыду правительства, к вреду России и к своему собственному позору.

Говорят, великий князь Константин сильно противился этому назначению. Он как начальник флота хорошо знает Путятину. Но и это не помогло⁶⁰⁹.

Государь находился в Крыму в период студенческих волнений в Петербурге. В его отсутствие "Комитет для ведения текущих дел", при участии вел. кн. Николая и Михаила Николаевичей провел усмирение волнений, закрыв университет. Александр II возвращается в Петербург 19 октября.

В Москве, 11 октября, студенты обратились к попечителю Московского учебного округа, Николаю Васильевичу Исакову с ходатайством об отмене вновь установленной платы за обучение, о разрешении организовать студенческую кассу и иметь своих представителей для посредничества между студентами и администрацией. Отказ начальства вызывает "бунт" среди студентов; проводят несколько арестов. 12 октября студенты идут к генерал-губернатору просить об освобождении арестованных товарищей. У дома губернатора происходит избиение манифестантов жандармами и "толпой"; переодетые полицейские ее возбуждают: "...студенты, дети дворян бунтуют против манифеста 19 февраля". Ни университетское начальство, ни профессора не вступаются за студентов. П.А. Тучков, московский генерал-губернатор, пишет 10 ноября 1861 г. графу Путятину, что слухи о бойне преувеличенны, что университетское начальство и профессора "не приняли никакого прямого участия в успокоении студентов".

В статье "Ученая Москва" Герцен приводит отрывки из писем, описывающих, как 9 декабря студенты решили освистать Чичерина за обиду, нанесенную студентам, находящимся под арестом. Те, кто сочувствовали профессору, его предупредили. Чичерин явился на лекцию в сопровождении Н.Ф. Павлова и Корша. Одни стали свистать, другие закричали "Вон свистунов!" Почтенный гость г. Корш тоже кричал: "Вон свистунов!" На следующей лекции студенты, человек двадцать пять, просили Чичерина их выслушать. После лекции и длинного объяснения, Чичерин заявил: "Я стою за форму неограниченного монархического правления. Я держусь

тех убеждений, которые считаю истинными, и не виноват, что они у меня не такие, какие нравятся вам"⁶¹⁰. Герцен добавляет: "Вступительная лекция г. Чичерина была встречена громким одобрением в правительственных кругах. 30 ноября Путятин, приезжавший от имени государя благодарить московских профессоров за то, что они вели себя так умно, в то время как петербургские шалили, благодарил особенно г. Чичерина".

Неопытный адмирал продержится в должности министра лишь с июня по декабрь 1861 г. 27 декабря государь на его место назначает ставленника великого князя Константина, А.В. Головина. "В публике общее нерасположение. Все считают его умом довольно мелким и фальшивым", отзывается Никитенко. Петербургский университет закрыт распоряжением Александра II "до пересмотра его устава". Фактически, добавляет Никитенко, он уже был закрыт самими студентами, не посещающими лекции.

20 ноября 1861 г. на Волковом кладбище, на могиле Добролюбова, Чернышевский выступает с речью, представляя его мучеником, жертвой цензурных и правительственных преследований. На самом деле, настоящие преследования еще только предусматриваются. Указом от 10 марта 1862 г. упразднено Главное управление цензуры, сами цензурные учреждения остаются в ведении министра народного просвещения, но надзор за соблюдением печатью цензурных постановлений поручен министру внутренних дел. Никитенко отмечает сразу совершаемый сдвиг: *превращение цензуры из предупредительной в карательную*. Оба министра, и Головин, и Валуев, славятся (умеренным) либерализмом. Сам государь заявляет, что он сторонник *гласности* в печати и литературе, но жалеет нынешнее "направление". С вступления в должность министра внутренних дел в 1861 г., Валуев намеревался выпустить вместо официального "Журнала министерства внутренних дел" ежедневную газету "Северную почту", в которой, помимо официальных известий, открывалась возможность защищать умеренно-либеральное направление в противовес "враждебному направлению". Редактором газеты согласился стать Никитенко, но на его вопрос: придется ли ему поддерживать это "направление" в видах самого правительства, министр отвечал, что само правительство не уяснило себе своих видов.

Своей нерешительностью, своим недоверием к общественному мнению правительство само способствует усилению "врага", так называемой "известной партии" прогрессистов, передовых,

ультралибералов, красных и т.д. Но является ли в борьбе с этим "врагом" главной заботой газеты поругание и осмеивание Чернышевского шутками дубового свойства и плоскостями, наподобие фельетонов Ржевского, сотрудника Никитенко? С появления первых номеров газеты редактор перечисляет "неурядицы", с которыми он ежедневно должен бороться: "...недостаток в честных сотрудниках, бедность материала, способного оживить газету и придать ей литературное значение; бесконечные стеснения со стороны министерства; взыскательность публики, требующей, чтобы вдруг все было сделано, что делается месяцами и годами; неприязненные крики крайних партий". 5 февраля: "Министр внутренних дел издал циркуляр губернаторам, чтобы те посредством полиции заставляли подписываться на "Северную почту", так как это газета правительственная и должна противодействовать русской прессе! Так сказано в циркуляре". Никитенко отправляет протест министру; тот обещает исправить смысл циркуляра, но Никитенко задумывается: "Какая и кому польза от "Северной почты", в том виде, в каком она издается? Ни правительству, ни обществу". Кто в этом виноват?

Никитенко долго не продержится редактором правительственной газеты, но как цензор, он следит за прессой "врага", он читает статью М.А. Антоновича для "Современника" "Пища и ее значение". Она открыто проповедует материализм: человеку прежде всего нужно есть, он все делает одним брюхом; по началам и стремлениям этого брюха надобно переделать и общественный порядок. Таких негодных статьишек много в "Современнике" и в "Русском слове", они рассчитаны на незрелость и невежество, особенно молодого поколения, и добиваются популярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных идей. "...В иностранных литературах и книгах есть все, что угодно: оттуда легко добыть всевозможных прелестей радикально-прогрессивного цвета; они будут у вас новы, и, выдавая их за своих, легко добыть славу великого мыслителя, публициста".

14 марта 1864 г. Никитенко записывает, что знакомому ему лицу, упрекающему одного журналиста, что он помещает статьи вредного направления, тот ответил: "Как вы хотите, чтобы я не печатал забористых и скандальных статей? Ведь тогда бы журнала моего никто не выписывал".

Хаос в понятиях? Но не только с политической точки зрения. В период "царской оттепели" врывается в Россию вся современ-

ность Европы. Никитенко описывает, по-своему, эмансипацию женщины: "...милые нигилистки с остриженными волосами, в круглых шапочках с перышком. Они начали расхаживать по коридорам, куря папиросы, под руку со студентами и производя с последними разные скандалы". Никитенко сетует: "Природа сама сделала мужчину нападающим, а женщину только уступающей. Это мы видим даже у животных <...>. Женщине полагается ездить верхом только боком. И на это есть основательные физиологические причины".

"Нынешние естествоиспытатели относят человека к разряду обезьян <...>, отсюда материалисты и заключают, что напрасно человек приписывает себе какое-то высшее значение на земле". Никакое материальное устройство не может даровать существу высших духовных сил и стремлений!

Никитенко размышляет: что можно ожидать от либеральных учений?

а) торжество демократии, отмену всех привилегий, управление из выбранных лиц под контролем общества;

б) свободу труда, более правильное распределение народного богатства;

с) свободу совести, христианство, очищенное от мифов, чудес, догматов, вера без чужого посредничества.

А от радикальной революции? От духа настоящего поколения, полного отрицания?

а) анархию, деспотизм полудиких масс, отвержение прав таланта;

б) нарушение прав собственности, бедность от недостатка внутреннего поощрения к труду;

с) уничтожение веры, совершенный атеизм, материализм, аморализм, ослабление творчества.

"На улицах масса народа производит странное впечатление, чувство силы, но силы грубой, почти дикой. И этой массе хотят наши либералы навязать конституцию? Ей нужна не конституция, а общественное и гражданское воспитание". Хаос в понятиях усиливается. "Настоящее поколение признает одно начало - оппозицию против всякой руководящей власти, всякого нравственного авторитета. Оно признает за собою - только за самим собою безусловную свободу! Есть ли это начало плодотворное? Тут только одно отрицание, а зиждительного ничего нет".

В возгласах Никитенко против "нигилизма" - ни слова о демократической революции снизу, о социализме, о земледельческой

общине, о тех понятиях, на которых зиждется оппозиция "известной партии". Неминуемое крушение Просветительской революции сверху вот что предчувствует, сознает умеренный либерал: "Если известная партия одолеет, тогда всем разумно-либеральным, умеренным началам конец, и представители этих начал будут смяты скачущей сломя голову и ломящей все толпою. А затем что: новый гнет, новый деспотизм?" В мышлении того, кто в юности был близко знаком с Рылеевым, с декабристами, предполагается роковое повторение событий 1825 года, неосуществимость революции снизу и воцарение снова николаевского режима. Неужели не суждено России довершить либеральный процесс преобразований на основе трех начал: гласности, законности, развития народного образования?

Можно ли доверять министру Головнину? "Ему хочется угодить студентам и защитникам их буйных выходок и открыть университет. Но самому взять инициативу в этом опасном деле не хочется". Кому это решать? Совета профессоров под председательством попечителя больше нет; просто собираются коллеги и обсуждают: не открыть ли совет в августе, а университет к первому октября? Министр разрешил чтение лекций в думском зале, но после того, как сослали профессора П.В. Павлова за его лекцию о тысячелетии России, они отменяются. Историк Н.И. Костомаров не отступает от своего намерения и является в положенный час на лекцию. Студенты его принимают дурно, несмотря на то, что он тогда был очень популярен среди них. Он им заявляет, что не намерен быть гладиатором в потеху тех, кто собираются для зрелища, а не для науки, и не хочет угождать их пустому либеральничанью. Раздаются разом рукоплескания и шиканье. Студент-активист Е. Утин (будущий адвокат-либерал) кричит Костомарову прямо под носом: "Подлец! Второй Чичерин! Станислава на шею!" Профессор, выходя из терпения, отвечает: "Вы, господа, начинаете свое поприще Репетиловыми, а окончите его Расплюевыми", и уходит. Костомаров подает в отставку под предлогом растроянного здоровья, но на заседании признается, что получил более двадцати ругательных писем с угрозами от студентов, если останется в университете. Что ему делать? Он просит только числиться на своей кафедре, авось студенты не захотят его больше ругать. Никитенко и жалко и стыдно при этой печальной сцене. В начале 1864 г. он сам решает расстаться с университетом; ему предстоит баллотироваться, как всем профессорам, выслужившим 25 лет

или более, он предпочитает подать в отставку, чем подвергнуть себя неприятности неизбрания: против него сильная партия ультралибералов⁶¹¹.

При чтении "Дневника" Никитенко и подобных описаний создается впечатление, что Россия переживает период междоусобия. Отмена крепостного права вызывает либо политическую "оттепель", либо развал самодержавия. Во всяком случае, правительство теряет свой авторитет в глазах общественности; с одной стороны, "ультралибералы" (радикалы) питают к нему ненависть, с другой, "умеренные" раздражаются его слабостью и нерешительностью. Самым опасным последствием "революции сверху" ожидалось крестьянские волнения и даже "пугачевщина". Ничего подобного не произошло. В большинстве случаев волнения вызваны искусственно: выступлением самозванцев, ложными царскими манифестами с ложными обещаниями. Зато совсем не ожидался столь решительный отпор во имя "воли" со стороны интеллигентов-разночинцев, семинаристов и студентов против "старого порядка", осужденного, по подобию крепостного права, на ту же судьбу, на отмену. Этот "отпор" не выражается публично, в печати, в законной форме, при использовании той доли гласности, которую могут допустить в данный момент министры-либералы. Он сразу принимает радикальную форму подпольной прокламации, исключающей любую перспективу диалога, соглашения и предполагающей либо существование мощной тайной организации, либо неминуемость всеобщего народного восстания. Эти "предположения" свидетельствуют о душевном складе их авторов, "людей из подполья", пропитанных ненавистью к окружающему "порядку" и неограниченным самомнением. Но тот факт, что чтение этой "детской" фантазмагии вызывает беспокойство и страх даже у здравомыслящих людей, свидетельствует также о шаткости их доверия к существующему порядку. Чувство страха придает действительность тому, что еще только существует в воображении "противника", оно может вызвать губительные защитные реакции в ущерб защищаемых ценностей. Цель всякой провокации в данном случае прокламации вызвать реакцию противной стороны, которая позволит раскрыть и обличить ее "подлинный" характер.

Прокламацию "Молодая Россия" студент П.Г. Заичневский составляет самостоятельно в мае 1862 г. в Тверской полицейской части, от имени мнимого "Центрального революционного комитета" и через часового отправляет для печатания в студенческий

кружок, занимающийся литографированием и распространением запрещенной литературы.

"Россия вступает в революционный период своего существования <...>, общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой". С одной стороны, притесненный народ, с другой - все имущие, все, у кого есть собственность, родовая или благоприобретенная. Выход один "революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка".

Прокламация призывает к захвату власти диктатурой революционного меньшинства и к установлению республиканско-федеративного союза областей, основанного на земледельческой общине.

"Молодая Россия" выступает против "ни к чему не ведущего либеральничанья", критикует и "Колокол", и "Великоруса". Когда-то Герцен критиковал Ледрю-Роллена и Л. Блана за то, что они не повели Францию по пути кровавых реформ, для торжества рабочих, а теперь он испугался революции и стал на конституционный путь.

В июле 1862 г., с удивительной прозорливостью, Герцен отвечает на "провокацию" статьей "Молодая и старая Россия": "Малoverные, слабые люди! Как мало надобно и вашим женским нервам, чтоб испугаться, бежать назад, схватиться за фалду квартального".

Кто мог поверить, что русский народ так и схватится за топор по первому крику: "Да здравствует социальная и демократическая республика русская!"

Это страшное дело сводится к "юношескому порыву, неосторожному, несдержанному, но который не сделал никакого вреда и не мог сделать. Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацию, но винить их мы не станем <...>. Крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это будет их кровь - юношей-фанатиков".

"Молодая Россия" нам кажется двойной ошибкой. Во-первых, она *вовсе не русская*; это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции, политическо-социальные *desirata**, которым придана форма вызова к оружию. Вторая ошибка - ее неуместность: случайность совпадения с пожарами - усугубила ее"⁶¹².

Совпадение между появлением прокламации, которая своим радикализмом, своим "нигилизмом" превосходит все предыдущие антигосударственные выступления, и майскими пожарами в Петербурге, естественно, возбуждает тревогу среди населения. В своем "Дневнике" А.В. Никитенко описывает событие по дням и по часам.

Понедельник 28 мая, "День, полный тревог и страха для всего Петербурга".

"Город в очевидной опасности, особенно после известных последних прокламаций, которые были везде разбросаны - на улицах, на площадях, в домах, в казармах. Войска у нас, слава Богу, довольно. Не следовало ли бы учредить усиленные патрули и даже оцепить более опасные и подозрительные места? Ничего этого нет. Я не встретил даже обыкновенных казачьих разъездов <...>. Я вернулся домой, то есть на дачу, часов около четырех. В шесть раздался слух, что Петербург жгут, что пожар вспыхнул в лучшей части его, около Невского проспекта. Я вышел на Строганов мост: над Петербургом висела огромная туча дыма. Приехала дочь моя, которая гостила у своей подруги, и сообщила, что все около нашей квартиры, Щукин и Апраксин дворы, в огне. Я с женой тотчас же отправился в город <...>. Щукин двор и Апраксин уже не существовали. Было в огне и министерство внутренних дел. Сила пожара напирала на министерство просвещения и на Пажеский корпус. Их всячески старались отстоять. Из нашего дома почти все выносили свои пожитки. Что нам делать? Спасать больше всего надо было мой кабинет - но как? Нас с женой было только двое. Рабочие люди разбирались нарасхват". Только под утро, когда опасность для квартиры Никитенко уменьшилась, не раздвываясь, он бросился на диван и заснул.

Вторник 29-го. "Пожар произвел страшное опустошение <...>. Общее мнение, что поджигают. Рассказывают, что в разных местах задержаны люди с горючими веществами".

Среда 30-го. "На Царицыном лугу были войска и государь. Город в большом волнении. В поджигательстве никто не сомневается".

Четверг 31-го. "Несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями. Если бы поджоги производились простыми мошенниками, то были бы покушения и грабежи: их нигде не оказалось..."

* мечты, пожелания (лат.).

"Объявлено от правительства, что поджигателей и подстрекателей к беспорядкам судить будут военным судом в двадцать четыре часа".

Суббота 2 июня. "Пожары укротились. На столбцах "Северной почты" обвиняют воскресные школы для рабочего класса, заведенные в Сампсониевском и во Введенском училищах, в том, что они преподают, что надо жечь Петербург".

Воскресенье 3-го. Пойманы мужик и баба; они признались, что кто-то им дал 25 рублей за поджоги. "Но этого кто-то или этих не могут отыскать. А в них-то вся сила. Государь не соглашается на смертную казнь. Народ все думает, что поджигают студенты. Головин писал Валуеву, чтобы тот сделал объявление в том смысле, что напрасно обвиняют студентов. Валуев отвечал отказом <...>. Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают".

Вторник 5-го. Умеренный Никитенко философствует: радикалы хотят сломить все старое, это естественно, но они должны встречать противодействие со стороны умеренных. "Разрушение необходимо, в порядке вещей, но тоже необходимо и создание. Эти две силы должны уравнивать себя взаимно".

Суббота 9-го. Никитенко возмущен, что П.Л. Лавров, представитель "молодого поколения", намерен читать публично лекции по нравственной философии: "Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: свобода и анархия. Мы напишем на своих: свобода, закон и власть, охраняющая свободу и закон <...>. Если революция не переродила и не улучшила французов, то из-за чего столько шуму и хлопот, столько пролитой крови? Но кто удержит бурю, когда она разыграется?"

Умеренный Никитенко при этом осуждает правительство: "Вторник 12 июня. Вот она и реакция, как и следует быть после таких бессмысленных и гадких дел, какие наделали наши красные. Воскресные школы велено закрыть; женский пансион в Вильно также. Школы будут преобразованы и подчинены строгому правительственному контролю. Журналы "Современник" и "Русское слово" закрыты на восемь месяцев. Но главное неудобство всякой реакции, а особенно нашей, будет в том, что тут правое потерпит наравне с виноватым. Мысли грозят опять застои и угнетение, а мыслящим людям, писателям, ученым неприязненные нападки невежд и ретроградов".

Лето, даже для Петербурга, изумительное: скверно, сумрачно, холодно, сыро. Никитенко готовится к отъезду за границу, это его "в третий раз предпринимаемая погоня за призраком здоровья",

во Францию, в Булонь. Он записывает в своем Дневнике: "*Вторник 10 июля*. "Холодно, сыро, бурно. В сердце тоска. Говорят, арестовали Н.А. Серно-Соловьевича, Чернышевского и Писарева"⁶¹³.

Д.И. Писарева арестовали 3 июля, а Н.Г. Чернышевского и Н.А. Серно-Соловьевича 7 июля. По поводу волны арестов, К.Д. Кавелин пишет Герцену 6 августа 1862 г.: "Аресты меня не удивляют, и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами". Еще до этих арестов Герцен выступал с критикой Чернышевского и его статьи "Не начало ли перемены?" ("Современник", 1861, № 11) Он осуждал его "отсталые формы народной жизни, надежды на революционную интеллигенцию, авангард, поднимающий народ". К тому, что говорит "государь-народ", прислушивается Герцен: речь идет не о сильной руке, дающей направление народным массам, а о самостоятельной роли народных масс в освободительной борьбе.

"Значение "Contrat social"* только и было важно, как великий факт освобождения мысли, совести в сознании человеческом, как утренняя заря, осветившая вершины <...>. Великая основная мысль революции, несмотря ни на философские определения, ни на римско-спартанские орнаменты своих декретов, быстро перегнула в полицию, инквизицию, террор; желая восстановить свободу народа и признать его совершеннолетие, вскорости обращались они, как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения, *chair au bonheur public* вроде наполеоновского пушечного мяса". "...Они были убеждены, что лучше народ поучать, чем учиться у него <...>, а пропасть между ними и народом не только не уменьшалась, но увеличивалась <...>. И вот из этой-то пропасти выходят, выплывают гильотины, красные шапки на пиках, Наполеоны, армии, армии, легитимисты, орлеанисты, другая республика и, наконец, *Июньские дни*...". Герцен торжественно заявляя: "Мы возвращаемся в тьму сырых подвалов наших, часть нас ляжет в неравном бою, но прежде мы вам, книжники революции, скажем громко и ясно: *Народ не с вами!*"

Свою статью "Молодая и старая Россия" Герцен заключал словами: "В помощь нашему делу нужна мысль Запада и нужен его опыт. Но нам столько же не нужна его революционная де-

* "Общественного договора" (фр.).

кламация, как французам была не нужна римско-спартанская риторика, которой они говорили в конце прошлого века". Восстал бы русский народ во имя социализма Бланки? А во имя прокламаций Михайлова, Обручева? Народ их знает как дворян, как врагов, он побьет их камнями. Герцен не придает политического значения волнению, которое охватило университеты, он больше обращает внимание на репрессии, обличающие реакционный характер правительства. "Что за тайно напечатанный листок юношеских мечтаний и теоретических утопий будут ссылать на *каторжную работу* и вечное поселение - людей молодых, честных, без уважения к их таланту, к их непорочному имени?"

Чернышевский верит в неизбежность революции. Для него Манифест ложь, о нем "Современник" молчит, потому что он ничего не изменил в жизни крестьян. Осмеивая дворянскую элиту и ее культурные ценности, "демократическая" печать влияет на общественное мнение с целью отмежевания от либералов в глазах народа. Ее "народ" - это та публика, которая создалась под влиянием Белинского вокруг "Отечественных Записок", а затем вокруг "Современника". Эта печать принимает политический характер, но сохраняет меркантильность 30-х гг., когда пользовались успехом у чиновников и провинциальных помещиков пошлости Булгарина и насмешки Сенковского. С тех пор появились новые читатели, новые направления: натуральная школа, обличительная литература, "лишние люди", "обломовщина". Герцен защищает своих, свое поколение и относится с брезгливостью к проступком петербургских аферистов печати. Для него Некрасов - "литературный *ruffiano*"*. Краевский увеличивает свой тираж, пользуется чрезвычайной жестокостью, с которой "невские Даниилы" бросаются на либералов.

Чернышевский этим довольствоваться не может. Он обращается прямо к народу. Главным обвинением против него будет послание "Барским крестьянам от их доброжелателей". Оригинал написан не рукой Чернышевского, поэтому можно усомниться в его авторстве. Тем не менее, он приговорен к каторге за составление этого воззвания, за тенденциозное, ошибочное истолкование Манифеста от 19 февраля 1861 г. с целью дискредитировать царя, непосредственного виновника тех новых бед, которые будто бы ожидают крестьян "на воле".

* сводник, распутник (итал.).

"Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете <...>, на два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была... Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать велют; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эти слова-то выдуманы!.. Не скоро же воли вы дождетесь... ну, а куда она придет, что с вашей землею будет? А вот что с ней будет. Когда отмежевывать станут, обрезать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селлах... четвертую долю... в иных третью... или половину. Это еще без плутовства от помещиков, да без потачки им от межевщиков, - по самому царскому указу". "Просить землицы побольше у помещика... за прибавочную барщину или оброк... Да за луга. За лес за речку еще барин возьмет... Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу..." "Когда срочно-обязанное время покончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком". "А мужику куда идти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, али в Питер, али на фабрики. Там уже все полно <...>, значит, походишь по свету... да все же назад в деревню вернешься <...>. А мужику в деревне без хозяйства да без земли, что делать, куда деваться, кроме как в батраки наняться. Ну и наймешься <...>. Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам доведено... А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас... А что манифест да указы выпустил, будто волю вам даст, так он только для обольщенья сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль в глаза и подпустил".

Приводя в пример Францию и Англию, автор воззвания описывает идеальное государство, основанное не на *признании Закона*, а на *могуществе Воли*. Он пользуется двойным смыслом этого понятия по-русски; *воля* в качестве свободного состояния: "Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешения на то ему не надо"; и *воля* в качестве власти, возможности распоряжаться: "Миром все у них правится <...>, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а

народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен".

Оба эти смысла сводятся к одному утверждению: "Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, так и воли нет, а все одно обольщение в словах". Естественное личное пожелание "жить на воле" подчиняется незаметно "воле народа", безусловной власти, чуждой самому понятию законности. Популизм народовольцев антидемократичен, ничего общего не имеет с западным правовым государством, на которое ссылается подлинный обольститель - Чернышевский. В то время, как просвещенные либералы поддерживают мирный курс реформ, предпринятых Александром II на основе законности, радикалы-разночинцы окликают народ: "А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать?" Доброжелатели народа не скупы на добрые советы: "Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, что заодно быть, когда пора будет <...>. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать" .

И смешно и грустно читать на ломанном, якобы народном русском языке, фантазии остервенелого врага дворян, помещиков и царя (коли не тот же помещик), лжепросветителя, способного глгать "своим братьям мужикам" о тайной, всеведущей организации. Свидетельствует ли только это воззвание о слепоте радикалов-разночинцев по поводу революционной боеспособности барских крепостных? У него другая цель - возбудить страх и возмущение среди консерваторов в правящих кругах и остановить курс реформ, в предположении неминуемого разгара *пугачевщины*. Под страшным лозунгом: "манифест об отмене крепостного права - обман, вопрос решится только топором", при отсутствии других "просветительских" средств, *провокация* оказывается наиболее целесообразной.

Несомненно, Манифест вызывал недоумение и негодование. Крестьяне недовольны временно обязательным "Положением". В нем кроется двусмысленность редакции: о какой повинности идет речь? об оброке или о барщине? Вполне освобожденные крестьяне

неоднократно отказываются работать на помещика; им читают манифест, верят ли они в его подлинность? Если новое "Положение" тяжелее прежнего, кому жаловаться? Их же брату помещику? Что касается устройства нового порядка, новой законности все еще впереди. Способны ли крестьяне еще терпеть, не примирясь с настоящим, но доверяя царю по поводу будущего?

Освободившись от работ в Комитете, Ю.Ф. Самарин делится своими впечатлениями с В.А. Черкасским.

Самара, 23 марта 1861 г. "Манифест нигде не произвел сильного впечатления. Его, разумеется, нигде не поняли. Больше всего выдалась та тема, что в течение двух лет все остается по-прежнему. В том смысле отзывы: ну не того мы ждали, не за что благодарить, нас надули и т.д. Некоторые риторические фигуры подали повод к довольно курьезным недоразумениям. В начале сказано, что "Мы обнимаем нашей любовью и попечением всех", "до проводящего на поле борозду сохой или плугом. В С... по окончании церковной службы на площади образовался кружок, в котором рассуждали так: "Что угодно, слушаться мы будем, а уже того нельзя, чтобы, как велят, залог поднимать сохой, а мякоть ворочать плугом. Нет, шалишь; плуг сам по себе, да и соха сама по себе". "Читая Манифест, конечно, каждый из нас внутренне порадовался, что он не причастен в его составлении. В нем слышится какая-то скорбь о крепостном праве, недоброжелательство к реформе. Необходимость ее объясняется как зло, последствием уменьшения простых нравов и уменьшением *непосредственных отеческих отношений*. Что за язык! Это голос брюзгливого книжника, к нему присоединяется голос полицейского чиновника, которого пугает реформа, как повод к нарушению порядка. Хорош дуэт?"

"Если бы живое слово подняло и вызвало одновременно в душе народа все те дремлющие силы, которым впоследствии предназначено развернуться, все те смутные чаяния, которых осуществление вероятно и мы не увидим, едва ли бы с такого лирического настроения народ легко перешел на другой же день на барщину, хотя бы и облегченную <...>; впечатление раздробилось между вялым манифестом и положением, которое не скоро дойдет до народа, но повторяю, может быть, это к лучшему".

Самара, 10 апреля 1861 г. "Разочарование всеобщее. Но бунтов нечего опасаться, но угрожает русская стихия безмолвного и пассивного сопротивления, которого не берет ни сила, ни слово.

Будущность не заманчива". Закон не оказывает никакого воздействия на безграмотных и недоверчивых людей. "Народ теперь разводит локтями, потягивается во все стороны и старается ощупать пределы, в которых заключается его свобода.

Работая два года в зале кадетского корпуса и в кабинете Милютин, мы невольно ко многому пригляделись, от многого отошли и создали себе условную среду. Теперь при встрече с действительностью, все недостатки Положения режут глаза. К этим недостаткам, почти неизбежным, присоединяется тупоумие добросовестных юристов". Проявление законности? Нет, поклонение букве закона. Использовали либералов-славянофилов как "экспертов", теперь им на смену приходят люди государственного аппарата. Самарин заключает: "Когда находят на меня тяжелые минуты, встречаю строгий взгляд Хомякова из черной рамки. Я чувствую его при себе как свою совесть"⁶¹⁶.

Черкасский пишет Самарину 20 октября 1861 г.: "Никогда не сожалею, как в этот раз, что лишен таланта воспроизводить типы. Жаль, если не найдется ни одного художника, писателя, который бы сумел воспользоваться нынешней минутой и изобразить эту любопытную переходящую минуту: тут был бы может единственный, а настроение это продлится в народе недолго и тому, кто не взглядел в него пристально, теперь будет трудно попытаться до него искусственно и верно воспроизвести". Может быть, Тургенев, сейчас у себя в орловской деревне, найдет вдохновение, чтобы описать это неожиданное, мимолетное проявление скрытых народных мечтаний?

8 ноября 1861 г. "Мне приходит часто на мысль, что оказанное нами уважение к общинному быту, при всей законности этого чувства <...> может допустить некоторые меры я говорю о повелении выходить из хозяйственной общины и выкупить независимо от прочих крестьян свой поземельный надел".

"Если принять в соображение, что допускаемый давно ли отдельный переход двора на оброк из барщинской общины, есть почти такое же разделение последней то нет почти логического основания отвергать и предлагаемую мною меру. А эта мера, скорее всего, приведет к постепенному свободному упразднению барщины, водворению выкупа поземельного. Вместе с тем, она послужит к постепенному водворению в селениях полных собственников, враждебных всякому движению полукрепостных масс и в которых начало собственности получит для себя лучшую опору.

Я убежден, что таким путем весь капитал и интеллигенция в сельском сословии за весьма немного лет свободно и непринудительно пойдут по указанному пути, и постепенно увлекут за собой других; законный порядок получит себе сильных защитников и без всякого физического насилия сложится небезопасная коалиция, питаемая общинным бытом и ныне слишком часто насилующая лучших крестьян.

Вы знаете, я сам защищал с Вами в комиссии исторические права общины, но в настоящем случае прислушайтесь внимательно к крестьянскому говору: *все хорошие крестьяне* единогласно по всей Руси требуют предлагаемого мною, и эта мера будет и серьезнее и действительнее нелепого ныне предложения об обязательном переводе крестьян на оброк. Не понимаю, как можно было придумать в настоящую минуту такую чепуху, да еще и облеченную в такую форму⁶¹⁷.

Глава 9

ТУРГЕНЕВ И ГЕРЦЕН О НИГИЛИЗМЕ, О БАЗАРОВЕ

Изобразить "любопытную переходящую минуту" среди народа Тургенев, по-видимому, не собирается. Вернувшись из России, он осведомляет Герцена 7 октября 1861 г. из Парижа: "Всею душою жажду тебя видеть, да и нужно обо многом весьма важном переговорить с тобой и многое тебе сообщить <...>. Повторяю, нам *необходимо* видеться. Клянюсь дружески всем твоим, Огаревым - и жму тебе изо всех сил руку"⁶¹⁸.

В сентябре Герцен получил два анонимных письма с бранью и угрозами. Он публикует заметку "Подметные письма" в "Колоколе" и пишет Тургеневу 12 октября: "Очень желаю тебя видеть, но не в Париже. Я получил после рутательных писем - два письма дружеские, в которых положительно меня просят А) не выезжать из Лондона, В) что III отделение хочет меня уничтожить и что это очень серьезно. Говори об этом всем". Три дня спустя он настаивает: "Жду тебя с нетерпением и с дружбой. Я очень рад, что ты воротился в более теплом расположении, чем поехал. Нам всем - последним могиканам - расходиться нельзя, итак, обнимаю тебя за желание приехать". 28 октября он сообщает: "Вчера посольство известило Огарева, что он лишен *гворянства*. Что за скоты, сами накупаются". По поводу анонимных писем, газета "Morning Post" советует Герцену обратиться не к русскому послу, а к лондонской полиции. "... Письма у нас - ужасы, срам и срам. Я начинаю верить, что Александр II полетит к черту".

Помимо расхождений по поводу Огарева, неожиданное появление "старого товарища" еще осложнит отношения с Тургеневым. Герцен ему пишет 2 декабря: "Сейчас получил третье письмо от Бакунина, из Нью-Йорка уже - он туда приехал 16 ноября - он ждет деньги из России. Я знаю, что его близкие друзья

собрали (это секрет) довольно. Но где они? - Я послал 2000 фр., не могу более. Пусть Боткин пришлет мне 500, а если хочет - 1000 - 500 я ему отдам, когда мне пришлют для Бакунина. Похлопочи <...> под парю. Бури нисколько не объясняют твоего неприезда. Но я слышал, что всякий претекст должно принимать; еще менее бури не объясняют, что не сообщаешь новостей". Бакунин времени не теряет. Он прибывает в Лондон 27 декабря 1861 г., и Герцен пишет 10 января: "Завтра у меня в Orsett House - Бакунин принимает депутацию английских работников, являющихся его поздравить с приездом"⁶¹⁹.

Несмотря на настоятельность Герцена, Тургенев медлит с приездом в Лондон. По разным причинам он его откладывает: он болен, не решается еще выходить на улицу; об этом может свидетельствовать Иван Александрович, брат Бакунина. При этом он признается, что поездка в Лондон начинает принимать "какой-то мифический оттенок". "Читал ты статью "La Russie sous Alexandre II" в "Revue des 2 Mondes ?" Ты окружен ореолом - да так и следует". В этой статье ("Revue des 2 Mondes" от 15 января 1862 г.) Шарль Мазад пишет: "Могущество Герцена в России необычайно. Это настоящий диктатор нового поколения, и можно без всякого преувеличения сказать, что его моральный авторитет превышает авторитет официальной власти. Он может сказать без тщеславия, что он в состоянии помериться силами с Александром II и обращаться с ним как с равным <...>. Герцен ни в какой мере не является одним из тех грубых демагогов, полных злобы и зависти, для которых все средства хороши. Это человек независимый благодаря своему положению, глубокой убежденности, страстной любви к своему народу и возвышенному характеру..."⁶²⁰.

3 февраля 1862 г. Герцен благодарит Тургенева за справки по разным вопросам и добавляет: "... за то, что у вас животики поправились, молю Иверскую Божью Матерь". 9 февраля он спрашивается: не запрещен ли "Колокол" в Париже? Какого он мнения насчет журнала "Будущность", издаваемого кн. Долгоруким? По поводу волнений среди дворянства - в России кутерьма? Ожидается бунт? И много других вопросов⁶²¹. 11 февраля Тургенев отвечает по пунктам: "Колокол" нисколько не запрещен и продавался еще вчера вечером *повсюду*". "Не имей никакого дела с "Будущностью"<...>. Этот журнал не окупался и не имел ни малейшего успеха". "В России точно кутерьма, - но прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина". Все, что

делает новый министр народного просвещения, пока хорошо, несмотря на мелкие уступки: не разрешил ли он К.Д. Кавелину читать публичные лекции по истории? На упрек Герцена: "Зачем же ты поддерживаешь *Вестминстерский* вестник?" т.е. "Московский Вестник" англомана Каткова, Тургенев объясняет: он рассорился с "Современником", они ему там отказали, яко отсталому; он бросил Некрасова, как бесчестного человека. "Куда же мне было деться с своей работой? В "Библиотеку" пойти? Да и конец концов, "Русский вестник" не такая уже дрянь - хотя много в нем мне противно до тошноты". Он возмущается, что Герцен упомянул имя Чичерина: "Я бы тебя вызвал на дуэль, если бы ты заподозрил меня в дружбе с Чичериным". При этом Герцен ехидно не включает Тургенева в число "своих" москвичей, "... с тех пор, как ты Рю Риволи". Остается одна общая забота ? обеспечить существование Бакунина, выплатить все его долги. Тургенев открывает подписку, сам обещал 1500 фр. в год, но добавляет: "... отговори его, пожалуйста, теперь же выписывать свою жену. Это было бы безумие - пусть он осмотрится сперва"⁶²¹.

12 февраля Герцен уступает: "Об "Русском вестнике" я дурачился - а все же лучше помещать в "Отечественных Записках", даже в "Русском слове". "Головнина я так с бархатцем, улыбаясь, коснулся - будьте благонадежны"⁶²².

Создалась натянутая обстановка, слишком много намеков, пора друзьям объясниться. Еще в мае 1862 г. Герцен считал, что правительству не удастся повсеместно ввести в действие "Положение", и ожидал, что осуществление реформ вызовет беспорядки и восстание. Наоборот, Тургенев предсказывал успех: грамоты будут введены. Долгожданная встреча состоится в Лондоне в мае 1862 г. Краткое свидание между 14 и 19 мая, затем полемическая переписка в связи с циклом статей-писем "Концы и начала", в которых Герцен продолжает спор, завязавшийся во время пребывания Тургенева в Англии.

Спор идет не столько о судьбе России, сколько о будущем Запада. Неизбежное его падение обуславливает надежды, которые Герцен возлагает на Россию. Обращаясь к "художнику", он описывает жалкое положение, в котором находится западное искусство. Во всем виновато мещанство, "последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности - демократизация аристократии, аристократизация демократии <...>. С мещанством стираются личности, но стертые

люди сытые; платья дюженные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше". Русский барин, автор "Писем из avenue Marigny", уже больше не осуждает "буржуазию" и не восхваляет французских рабочих, он просто не переносит рост обывательского общества, тесноту и давку современной цивилизации; "... я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел уже на беспрестаннодвигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух ...". Герцен не теряет из виду судьбу России: "Господство мещанства - ответ на *освобождение без земли*, на открепление людей и прикрепление почвы малому числу избранных". Как России избежать этого омерзительного будущего? "Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет - все же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством". В Париже Герцен переживал агонию Июльской монархии, преждевременное рождение республики, ее смерть, Июньские дни, и с тех пор царит молчание, уныние; титаны, остающиеся после борьбы, превратились в печальных Дон-Кихотов. "Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ <...> и в последний час у него не достает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным <...>. Мучительное состояние, колебание и нерешительность делают жизнь Европы невыносимой". "Страшные, бесплодные Июньские дни 1848 были протестом отчаяния; они не создавали, они разрушали - но разрушаемое оказалось крепче <...>. Утопия демократической республики улетучилась так же, как утопия царства небесного на земле. *Освобождение* оказалось окончательно так же несостоятельным, как *искупление*"⁶²⁴.

В последнем восьмом письме Герцен отвечает на упреки Тургенева, писавшего ему 8 ноября 1862 г.: "Ты точно медик, который, разобрав все признаки хронической болезни, объявляет, что вся беда происходит оттого, что пациент - француз. Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем-то видишь великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм - *das absolute*, одним словом, то самое *absolute* над которым ты так смеялся в философии. Все твои идолы разбиты - а без идолов жить нельзя - так давай воздвигать алтарь этому новому неведомому богу, благо о нем почти ничего не известно - и опять можно молиться, и

верить, и ждать <...> . История, филология, статистика - вам все нипочем; нипочем вам факты, хотя бы, например, тот несомненный факт, что мы, русские, принадлежим и по языку и по природе к европейской семье, "genus Euroraeum" - и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии, должны идти по той же дороге. Я не слышал еще об утке, которая, принадлежа к породе уток, дышала бы жабрами, как рыба"⁶²⁵.

Герцен почти буквально цитирует Тургенева и приписывает даже обвинение, которое не находится в его письме: "... вы имеете самое пагубное влияние на нашу молодежь, которая учится у вас неуважению к Европе, к ее цивилизации, в силу чего не хочет серьезно заниматься, хватает вершки и довольствуется своей широкой натурой". "Чему же удивиться, что наша молодежь, упившись вашей непребродившей социально-славянофильской брагой, бродит потом, отуманенная и хмельная, пока себе сломит шею или разобьет нос об действительную действительность нашу". Ответ Герцена "научный", он ссылается на Дарвина, утверждая, что в жизни утки были минуты колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры; рыба приладилась к условиям водяной жизни и далее жабр не идет, а утка идет. И, наконец, применяет эти физиологические открытия к истории: "В "genus euroraeum" есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, Южной Италии и проч.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам, - отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабы для утки?"

"До нашего времени Россия ничего не развила своего, но кое-что сохранила; она, как поток, отражала верхним слоем теснившие ее берега, отражала их верно, но поверхностно <...> . Пора стать на свои ноги, зачем же непременно на деревянные - потому что они иностранной работы? Зачем же наряжаться в блузу, когда есть своя рубашка с косым воротом?"⁶²⁶

Помимо этих "научных" соображений, раздор между неразлучными друзьями имеет и другие причины. Герцен рекомендует Тургеневу "превосходного человека", Владимира Федоровича Лугинина⁶²⁷. Этот гвардейский офицер был членом тайного общества "Великорус", ушел в отставку в 1862 г. и был одним из основателей русской читальни для студентов в Гейдельберге, после закрытия Петербургского университета. Побывав в Лондоне в сентябре 1862 г., он передает Тургеневу в

Баден-Бадене "проект адреса Александру II от имени тверских дворян". Проект составлен Огаревым: недостаточность реформы 1861 г. причиняет необходимость созыва общего Земского Собора: если теперь не удастся распутать "узел" общими народными силами, придется перерубить его топором. Уставные грамоты - обман, выкуп земель обременителен и невозможен.

Тургенев не согласен, он приводит официальные данные и не одобряет проект адреса. Огарев желает объединить всех людей, недовольных официальной политикой; он убежден, что даже крепостники смогут его подписать! Проект пересматривают, ищут новую редакцию и, наконец, его отставляют. Лутинин возвратится в Россию в 1867 г., 2 года будет под полицейским надзором, потом, в 1890 г., станет доктором химии в Московском университете и доживет спокойно до 1911 г. Эпизод с проектом интересен, потому что он позволяет Тургеневу ясно изложить свои убеждения, близкие к суждению Белинского в борьбе со славянофилами - о народе и об исторической роли "образованного меньшинства".

8 октября 1862 г. он пишет Герцену из Баден-Бадена: "Роль образованного класса в России - быть передателем цивилизации народу, с тем, чтобы он сам уже решал, что ему отвергать или принимать - эта, в сущности, скромная роль, хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов, хотя ее приводит в действие революция - эта роль, по-моему, еще не кончена. Вы же, господа, напротив, немецким процессом мышления (как славянофилы) абстрагируя из едва понятой и понятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь - кружитесь в тумане, - что всего важнее, в сущности отрекаетесь от революции - потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор *par excellence** и даже носит в себе зародыш такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности - что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих письмах <...> . Эх, старый друг, поверь: единственная точка опоры для живой, революционной пропаганды - то меньшинство образованного класса в России, которое Бакунин называет и гнилыми, и оторванными от почвы, и изменниками. Во всяком случае, у тебя другой публики нет".

* преимущественно (фр.).

В тот же день он пишет В.Ф. Лугинину: "Главное наше несогласие с Огаревым и Герценом - а также с Бакуниным - состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топчя в грязь образованный класс в России, предполагают революционные и реформаторские начала в *народе*; на деле же это - совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова - я бы мог прибавить - в самом широком значении этого слова - существует только для меньшинства образованного класса - и это достаточно для ее торжества, если мы *только* самих себя истреблять не будем"⁶²⁸.

Об "истреблении" уже писал из Сибири Бакунин Герцену и Огареву: "Царство теней", купечество, еще гнилее дворянства. "Страшна будет русская революция, а между тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным страстям и к действительным интересам. Она вызовет и создаст, может быть, живых людей, большая же часть нынешних известных людей годна только под топор"⁶²⁹.

После разговоров с Лугининым Тургенев излагает причины своего несогласия в письме Герцену от 16 октября: "Во 1-х) я полагаю, что взять "Положение" исходной точкой отрицательного или революционного противудействия - и непрактично, и несвоевременно, и несправедливо <...>. Земля приняла "Положение"; скажу более: она в весьма скором времени сольет свое понятие о свободе с понятием о "Положении" - и будет видеть в его врагах - своих врагов: чему, между прочим, служит доказательством новое явление перехода крестьян *вместо оброка* - на выкуп. Нападать при таких обстоятельствах на "Положение", как на источник всей совершающейся неурядицы - и из этого выводить необходимость Земского Собора - это значит играть игру правительства - и, пожалуй, окончательно разорвать связь с народом.

2) тебе известно новое решение правительства насчет губернских сеймов - этого первого шага к парламентским формам. Не знаю, какой тут проект восторжествует: милютинский, отличающийся относительной шириною и свободой своих начал - или изуродованный и иезуитский Валуева. Если, как следует предполагать, будет принят второй - то вот тут дельная и практическая исходная точка для протестующего адреса, такого адреса, который предназначен поднять и расшевелить общественное мнение <...>. Всякий адрес, представленный именно теперь - кроме вреда, принести ничего не может - особенно адрес вроде вашего"⁶³⁰.

Тургенев отказывается выступать против царской власти, которая якобы не оправдала себя и должна уступить место "народной воле". Наоборот, ее должны поддерживать истинные революционеры в России, меньшинство образованного класса, когда "Просветительская революция сверху" отличается шириной и свободой своих начал", и протестовать, когда она от них отклоняется. Его мнение сходится с суждениями Пушкина: "Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства". При этом русское дворянство должно, наподобие английской аристократии, служить противовесом неограниченной власти самодержавия. "Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а, кажется много". Когда, в конце 1834 года, Пушкин приводит в своем дневнике разговор с великим князем, верит ли он еще в историческую миссию родовитого дворянства? Доверяет ли он царю, выдающему себя за второго Петра Великого? Заявляя великому князю Михаилу Павловичу: "Vous êtes bien de votre famille, tous les Romanoff sont révolutionnaires et niveleurs"*, Пушкин вызывает Романовых: им суждено, вопреки всему, продолжать петровскую политику реформ, а плоду этой политики, просвещенному дворянству, умеренным либералам, суждено служить общему делу, просветительской революции сверху⁶³¹.

Ссориться Герцен не хочет и, принимая шуточный тон, пишет 1 ноября: "... единственное дело адреса, которое может меня посорить с тобой, - это если ты мне не дашь адреса твоего дома. Политическим человеком я тебя никогда не считал - и теперь не считаю" . Тургенев отвечает 4 ноября 1862 г. из Парижа: "Я не думал, что ты сердился на меня за мое несогласие на адрес, но за то, что я - хотя на некоторое время - помешал другим подписаться под него. Не могу также согласиться с тем, что ты говоришь о моих колебаниях, смятениях и объяснениях: мне помнится, я весьма решительно и безо всяких "консигеранов" изъявил мое неодобрение сообщенного мне продукта. Я вполне согласен с тобой, что я не политическая натура; но коли уже на то пошло, признаюсь, лучше быть неполитиком в моем роде, чем политиком в роде

* "Вы истинный член Вашей семьи, все Романовы революционеры и уравниатели" (фр.).

Огарева или Бакунина". Но он добавляет: "Мне начинает сдаваться, что в столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного снаружи и безобразного внутри - и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри - лежит фальшь, которая потому еще держится даже в замечательных умах - что она, во-первых, не сложна и удобнопонятна, а во-вторых - а l'air d'être très ingénieuse et neuve *. Но уже на ней мне видятся белые нитки и истертые локти - и все твое красноречие не спасет ее от зияющей могилы, где она будет лежать en très bonne compagnie** вместе с философией Гегеля и Шеллинга, французской республикой, родовым бытом славян и - дерзну прибавить - статьями великого социалиста Николая Платоновича (Огарева)". И свой "разрыв политических отношений" он заключает советом: "Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра"⁶³³.

22 ноября Герцен отзывается очень резко: "Замечаешь ли ты, что ты с своим Шопенгауэром <...> становишься нигилистом?" "Во-первых, откуда эта нетерпимость к Огареву - ведь эдакие слабости допускаются одним беременным женщинам. Ты же вообще так гуманен, т.е. так мало разборчив, что мог быть другом и на "ты" с воришкой Некрасовым, вероятно, и теперь еще знаком и с Чичериным и с Катковым - но до этого до всего мне дела нет". Главный упрек Герцена в том, что, зная его тесные отношения с Огаревым, Тургенев ругает его статьи в письмах к нему. Он спрашивает: "О какой теории социализма Огарева ты говоришь? Каким мнением, каким выводом ты недоволен, в чем не согласен? Почему его добросовестный труд ты ставишь на одну доску с fatras*** бакунинской демагогии? "Колокол" основал Огарев. "Вече" основал Огарев, да оно в ваших паражах не нравится ..., а нам оно принесло переписку с раскольниками"⁶³⁴.

Тургенев не медлит с ответом и пишет 25 ноября: "Не могу также принять твое обвинение в *нигилизме* <...>. Я не нигилист - потому только, что я, насколько хватает моего понимания, вижу трагическую сторону в судьбах *всей европейской* семьи (включая, разумеется, и Россию). Я все-таки европеус - и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости. Ты одной рукой рубишь *его* древко, а другою ловишь какое-то для нас еще

* с виду кажется весьма остроумной и новой (фр.).

** в приличном обществе (фр.).

***пустословием (фр.).

невидимое древко - это твое дело - и, может быть, ты прав. Но ты менее прав, когда приписываешь мне какие-то побочные цели <...> или небывалые чувства, вроде раздражения против молодого поколения".

Герцен отвечает "Концами и началами", а Тургенев в письме от 3 декабря приводит причины своего нерасположения к Огареву как писателю: 1) он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и т.д., с которыми он не согласен; 2) в вопросе освобождения крестьян он показал значительное непонимание народной жизни и современных ее потребностей; 3) он излагает свои воззрения языком тяжелым, вялым и сбивчивым, обличающим отсутствие таланта. *"Колокол гораздо менее читается с тех пор, как в нем стал первенствовать Огарев"* - эта фраза стала в России тем, что в Англии называется а truism. И это понятно: публике, читающей в России "Колокол", не до социализма: она нуждается в той критике, в той чисто политической агитации, от которой ты отступил, сам надломив свой меч"⁶³⁵.

У Тургенева к этому времени появились новые заботы. Он привлечен к следствию по делу о "лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами" (Дело 32-х). Официальный вызов в Сенатскую следственную комиссию вручен Тургеневу 22 января (3 февраля 1863 г.).

Летом 1862 г. был арестован П. А. Ветошников по возвращении из Лондона в Петербург. В руки III Отделения попали нелегальные издания и письма, адресованные Герценом, Огаревым, Бакуниным и другими деятелями их друзьям и единомышленникам в России. Внимание на Тургенева обратило письмо Бакунина жене его брата Павла, в котором он сообщал, что Тургенев обещал прислать ему 500 рублей. В других письмах упоминалась его фамилия, как доверенного человека, благодаря которому поддерживалась связь с Россией; упоминалось, что он оказывал материальную помощь Бакунину и его жене.

Тургенев в тот же день пишет Александру II, он настаивает на том, что он писатель и больше ничего: "... вся моя жизнь выразилась в моих произведениях - меня по ним судить должно". Состояние здоровья не позволяет ему вернуться теперь в Россию. Он просит, чтобы выслали ему допросные пункты, и обещает ответить на них немедленно и с полной откровенностью. Возвращаться Тургеневу в Россию не приходится и 3 апреля 1863 г., в Париже, он отвечает на вопросы.

С Бакуниным он познакомился в 1840 году в Берлине, вместе они изучали философию и жили рядом, почти в одной комнате. Потом он потерял его из виду, встречал изредка и в 1848 г., во время Февральской революции, видел его однажды на улице в Париже. С Огаревым он никогда не был близок, а Герцена знал хорошо и дружил с ним. Тогда молодое поколение имело общий интерес - освобождение крестьян. В России с Герценом он виделся редко; когда он покинул Россию в конце 1846 года, он уже был в разладе с умеренной династически-либеральной партией. В Париже, в самом разгаре 1848 года, Герцен находился в бездействии, нужно было сперва понять, куда шла история. Когда Тургенев вернулся в Россию весной 1850 года, он оставил Герцена "политическим писателем, чем-то средним между теоретиком и скептиком, но уж никак не пропагандистом, не проповедником социализма и восстания у нас". Шесть лет спустя, когда он вернулся за границу, в Лондоне уже издавался "Колокол". Герцен еще не вступал тогда на дорогу, которая его привела к полному разъединению со всеми бывшими друзьями, он еще только отрицал и обличал, но в душе своей еще верил в возможность правильной и спокойной будущности для России. Они виделись тогда в Лондоне. "Герцен все-таки был представителем известных сил и направлений русской жизни, русского ума". Но время шло, и он терял понимание действительных нужд России. "Герцен перестал отрицать и начал проповедовать - преувеличенно, шумно, как обыкновенно проповедают скептики, решившиеся сделаться фанатиками". Став республиканцем и социалистом, попав под влияние Огарева, он больше ничего не имел общего со здравомыслящими русскими, с честной любовью к разумной свободе, с убеждением в необходимости монархического начала. "Герцен утратил почти всю свою силу, самый блеск своего бесспорно замечательного таланта. Мнение его обо мне, как об охладевшем эпикурейце и человеке отсталом и отжившем, выразилось в письмах, озаглавленных: "Концы и начала". Я ему отвечал с беспощадной искренностью".

Потом Тургенев объясняется по поводу его помощи Бакунину и его супруге. Бакунин обратился к нему письмом 23 октября 1862 г. Его жена Антония Ксаверьевна, польская уроженка, дочь чиновника, осталась в Иркутске после его побега из Сибири. Несмотря на то, что он окончательно разошелся с Бакуниным в своих политических убеждениях, он видел перед собой не политического изгнанника, а человека в горе, старого товарища молодости, которому надо помочь. Письмом от 28 октября из Парижа Тургенев отвечал: "... я немедленно приступаю к исполнению

того, что ты желаешь, насчет твоей жены". Он будет хлопотать о разрешении для нее переехать в Тверскую губернию к родственникам мужа, т.е. в Прямухино, к Бакуниным. Он сначала хотел справиться, желают ли они принять ее к себе, так как свадьба эта была им неприятна. При этом Николай и Алексей, братья Бакунина содержались тогда в Петропавловской крепости по делу "Адреса тверских дворян" Александру II. Тургенев прямо обратился к Санкт-петербургскому генерал-губернатору князю Суворову и получил разрешение их повидать по этому поводу. Они объявили свою готовность принять к себе жену брата. Оставалось найти средства на поездку. У Бакунина их не было, их собрал Тургенев и передал жене Павла Бакунина. На эти средства Антония Ксаверьевна перебралась в Прямухино.

В заключение Тургенев уверяет, что он всегда чуждался всякого рода пропаганды, особенно тайной: "... вижу в ней положительный вред и важное препятствие к успешному ходу народного развития и самой свободы"⁶³⁶ .

Передал ли Тургенев своих старых товарищей своим показанием? Проявил ли он малодушие оттого, что согласился отвечать на допросные пункты? 12 февраля 1863 г. он осведомлял "тайно" Герцена: "Можешь ли ты себе представить: меня, твоего антагониста, Третье отделение требует в Россию с обычной угрозой конфискации и т.д. в случае неповиновения. Каково? Ведь это наконец высочайший юмор. Я отвечал письмом государю, в котором прошу его велеть мне выслать допросные пункты; если они удовлетворятся моими ответами - тем лучше; если нет - я не поеду - и пусть они срамятся и *лишают* меня чинов и т.д.". При этом Тургенев справлялся, получил ли он "в прошлом году осенью из Гейдельберга от Лугинина - большой лист бумаги, исписанный мною, в котором я изъяснял тебе, почему я не согласен на адрес"⁶³⁷. Тургенев подозревал, что в Гейдельберге за ним следили шпионы, и боялся, что его будут расспрашивать по поводу "адреса". Прося Герцена вернуть ему это письмо, собирался ли он представить этот документ в свою пользу Сенатской комиссии? Герцен резко ответил в письмах от 8 и 12 февраля 1863 г.: "Бумаги, о которой ты пишешь, ни у меня, ни у Огарева нет. Помнится, она была у нас в копии". Он отзывался иронически о доверенной ему "тайне": он прочел о ней уже в газете "Nord" и советовал: "Может, было бы лучше ехать. Преследование тебя нанесло бы страшный удар правительству дураков, трусов и, в силу этого, злодеев"⁶³⁸.

Тургенев не намерен был играть роль мученика во имя идей, для него неприемлемых. Ему грозило либо новой ссылкой в Спасское, как в 1852 г., если он ответит на вызов, либо переходом на положение политического эмигранта, лишенного, как Герцен, всех гражданских и имущественных прав в России. Поэтому он мобилизовал все свои связи, принимал всевозможные меры, чтобы себя предохранить от этих угроз. Герцен, которому он, видимо, не отвечал, писал снова 11 апреля: "Несмотря на усобицу и цивильную войну, я пишу к тебе, чтоб узнать, жив ли ты, как жив?" И сообщал ему - в утешение - ? "Антония Ксаверьевна Бакунина, одним добрым утром взяла да и приехала сюда - а Михаил Александрович в Стехельне - я не знал, куда ее деть. Наконец пристроил, а Михаил Александрович в телеграф ударил. "Жена-то, говорит, моя ..." Ну, я ее в шляпку и тоже в Стехельной"⁶³⁹.

Сенатская комиссия осталась довольна ответами Тургенева, тем не менее, она его вызвала в Петербург в начале 1864 г. Он поехал спокойным: следствие не затрагивало волнующих его вопросов - отношений с студентами в Гейдельберге, участия в редакции "адреса". Ему легко было избавиться от подозрений по поводу помощи, оказанной Бакунину и его жене. Ему разрешалось ехать обратно за границу, проживать в Бадене или в Париже, обязуясь, в случае требования Правительствующего сената, немедленно явиться в оный из-за границы. Сенатская следственная комиссия по делу 32-х заключает: "Тургенев по совершенной невинности его должен быть от всякой по настоящему делу ответственности освобожден"⁶⁴⁰. Из осужденных П.А. Ветошников был приговорен к каторжным работам и затем к поселению в Сибири; А.И. Ничипоренко, выполняющий все поручения "лондонских пропагандистов" и выдавший их всех в своих показаниях, умер в Петропавловской крепости до окончания следствия. Александр Серно-Соловьевич, младший брат Николая Александровича, арестованного в 1862 г., являющийся организатором вместе с ним общества "Земля и Воля", находился уже за границей и не вернулся по вызову правительства; он был приговорен Сенатом и вскоре стал выступать против Герцена от имени "молодой" эмиграции.

Вернувшись из России, Тургенев решается наконец писать Герцену 2-го апреля 1864 г. из Парижа: "Я долгое время колебался, вернувшись из России, писать ли тебе по поводу заметки в "Колоколе" о "седой Магдалине из мужчин, у которой от раскаяния выпали зубы и волосы" и т.д. Признаюсь, эта заметка, явно

относившаяся ко мне, огорчила меня. Что Бакунин, занявший у меня деньги и своей бабьей болтовней и легкомыслием поставивший меня в неприятнейшее положение (других он погубил вовсе) - что Бакунин, говорю, распространял обо мне самые пошлые и гадкие клеветы - это в порядке вещей - и я, зная его с давних пор, другого от него не ожидал. Но я не полагал, что ты точно также пустишь грязью в человека, которого знал чуть не двадцать лет, потому только, что он разошелся с тобой в убеждениях <...>. Если б я мог показать тебе ответы, которые я написал на присланные вопросы - ты бы, вероятно, убедился - что, ничего не скрывая, я не только не оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отекаться: я бы почел это недостойным самого себя"⁶⁴¹.

Действительно, в январе 1864 г. в "Колоколе" Герцен писал в заметке "Сплетни, копоть, нагар и пр." о седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого *"она прервала все связи с грузьями юности"*. Он тоже колебался и отвечает 10 апреля 1864 г. "больше из пиетета к прошедшему, чем из желания сблизиться в настоящем". В письме много горьких упреков, но Герцен признает свое поражение перед русской общественностью: "Мы испытываем отлив людей с 1863 - так как испытывали его прилив от 1856 до 1862". Причина ясная - положение "Колокола" по отношению к польскому восстанию, которое он не поощрял, но от которого не отвернулся, как другие, как Боткин, из патриотизма. "Придет время - не "отцы", так "дети" оценят тех честных русских, которые одни протестовали - и будут протестовать против гнусного умиротворения. Наше дело, может, кончено. Но <...> мы спасли честь имени русского - и за это пострадали от рабского большинства"⁶⁴².

Совершился ли окончательный разрыв с Тургеневым? Или, кроме упреков, письмо Герцена открывает новые перспективы взаимопонимания? С тех пор, как в 1862 г. они спорили о России и Европе, произошли события, которые сильно повлияли на политическую судьбу Герцена: подавление восстания в Польше и кратковременность движения "Земля и воля". Он об этом делится с читателями в статье "MDCCCLXIII" в начале года, и в конце года - в статье "В вечность грядущему 1863 году".

В январе 1863 г. - начало восстания в Польше. Одним из поводов послужило проведение рекрутского набора по заранее

составленным спискам - с целью обезвредить революционно настроенные круги. Герцен убежден, что восстание может победить только при объединении с русским революционным движением, и жалеет, что оно вспыхнуло слишком рано. Рано не только потому, что русская общественность еще не готова к этому союзу, но и потому, что сами поляки еще не стоворились между собой по поводу общего политического направления. В "Колоколе" от 1 февраля 1863 г., в статье "Братская просьба к русским войнам" он пишет: "В ваши роты, команды, взводы вскоре поступят несчастные жертвы польского набора; вырванные без очереди из семейств по указанию полиции, оторванные от отечества, они, невинные колодники, отправляются в мрачный, дальний край, о котором они слышали одни ужасные предания". "Полюбите же, друзья, выкраденных польских рекрутов, как меньших братий, как детей полка, и да будет над вами благословение несчастных матерей и сестер их". Тургенев отзывается 12 февраля: "Твое послание к русским солдатам в последнем "Колоколе" меня прослезило".

Проявление недовольства среди офицеров в Польше возбудило надежду, что в обществе, особенно в армии, в "передовой фаланге земского дела", растет политическое сознание. Поэтому в "Колоколе" появляются воззвания: "К русским офицерам в Польше", "К офицерам русских войск от комитета русских офицеров в Польше". Вся надежда возлагалась сначала на комитет, руководимый А.А. Потемной, побывавшем у Герцена в Лондоне осенью 1862 г., затем на создание сети революционных организаций, на бескровное восстание, на созыв бессословного Земского собора для решения главных вопросов - о земле и о воле. Инициаторами этого объединения, с осени 1861 г., были Н.А. Серно-Соловьевич, Н.Н. Обручев, А.А. Слепцов. В конце 1862 г. Русский центральный народный комитет объединяет кружки на местах и частично в армии, но не стоваривается с Герценом. Он готов только служить и помогать.

Что нужно народу? В "Колоколе" от 1 июля 1861 г. Огарев отвечал за народ: "Народу нужна земля да воля", передача всей земли крестьянам и установление полного самоуправления в общинах и волостях через выборных от крестьян, уездное и губернское самоуправление и общегосударственное народное представительство. Герцен в "Колоколе" публикует 1 марта статью "Земля и воля". "Мы достоверно знаем, что столичные и областные круги соединились между собой и с офицерскими комитетами, сомкнулись в одно общество.

Общество это приняло название "ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ"

Во имя этого названия оно победит!"

И он заключает: "С вашей святой хоругвью вам легко будет служить русскому народному делу!" Огарев рассыпается указаниями: "Что надо делать войску?" "Что надо делать народу?", а Герцен - прокламациями; он неразрывно связывает развитие русского революционного движения с освобождением Польши. "Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимость Польши, потому что мы хотим свободы в России". Он заключает: *"Да, мы против империи, потому что мы за народ!"*⁶⁴³

"Польское восстание, без сомнения, - пишет Никитенко 21 февраля 1863 г., - есть не иное что, как симптом общего революционного социалистического движения; Европа должна перестроиться и обновиться, по мнению вождей этого движения; но обновлению должен предшествовать дух бури и всеобщего разрушения. Из праха и развалин сам собой должен возникнуть новый мир, в котором водворится золотой век. Что это: сумасшествие или апостолы новой религии без веры, нового откровения без чудес, новой нравственности без добродетелей, общества без законов и власти, полного владычества разума без страстей, без науки, искусства и поэзии, нового особенного христианства без Бога, Христа и церкви; наконец, жизни без страданий и смерти?"⁶⁴⁴

Военная организация "Земля и воля" принимает участие в польском восстании. Подпоручик А.А. Потенбня погибает в восстании 4 марта 1863 г.; он примкнул к лагерю партии "белых", которую возглавлял Марьян Лянгевич (1827-1887). После поражения "диктатор" перебирается в Австрию и сидит там в заключении до 1875 г. 21 марта 1863 г. пароход "Ward Jackson" отплывает из Англии "с целым легионом поляков, под начальством полковника Лапинского, который уже воевал на Кавказе", - пишет Герцен своим дочерям 24 марта. "Все это в полном вооружении, с пушками, штуцерами и револьверами. Мы провожали их. Минута отъезда по железной дороге была торжественна". Во главе экспедиции - политический руководитель Иосиф Демонтович. Но английский капитан оставляет пароход в Копенгагене, отказавшись вести его дальше. Что послужило причиной уклонения - буря? Или бдительность русских крейсеров? Нанятая на месте датская команда доводит судно до шведского порта Мальме, где он интернирован. Бакунин уехал из Лондона в Стокгольм 21 февраля,

участвовал в экспедиции, потом возвратился в Стокгольм. Он выступает там 28 мая. В его честь устроен банкет. На нем присутствует Саша, сын Герцена, агент "Земли и воли" с февраля 1863 г. Бакунин описывает "Землю и волю" как обширное патриотическое общество, обнимающее все классы, каково бы ни было их имущество и положение: генералов, офицеров, высших и низших чиновников, помещиков, купцов, священников, сыновей священников, крестьян и миллионы сектантов раскольников"⁶⁴⁵.

"День" от 11 мая публикует "Из Парижа", статью И.С. Аксакова за подписью "Касьянов" о выступлении Бакунина, предводителя польского отряда-изменника. "Положительно известно, что Бакунин в Швеции торжественно обещал шведам от имени России (!!!) Финляндию и остзейские провинции, а Польше - прибавку нескольких русских губерний. Москву, кажется, не отдает - ну и за это спасибо!" "Но кого мне искренно жалко - так это Герцена <...> . Мне случалось его видеть вскоре после Восточной войны, и он рассказывал мне, какой мучительный год он прожил один в Англии, вдали от России, осажденный со всех сторон сильнейшим неприятелем", "когда я упрекал его за вредное влияние на русскую молодежь, в которой его сочинения развивают кровожадные революционные инстинкты <...>, Герцен оправдывался с жаром, отклоняя от себя упреки в кровожадности". "Конечно, Герцен не действует заодно с Бакуниным и, вероятно, не решится, как он, навести ружейное дуло на русского солдата, но он солидарен с Бакуниным, он не отрекся от него". Нечего ждать другого от Бакунина, а от Герцена Аксаков ждет раскаяния. На его вопрос по поводу Бакунина: "Что это такое - *разве не измена?*" Герцен отвечает: "Нет, гораздо проще - *это неправда*". Он подтверждает, что вполне согласен с мнением Бакунина о Литве, Вольни, Подоле, Украине. Все народы, все отдельные провинции имеют право на самоопределение, на вольное соединение и на полное расторжение. "Мы не верим ни в благосостояние, ни в прочность чудовищных империй, нам не нужно столько земли, чтоб любить родину"⁶⁴⁶ .

Растет раздор среди поляков. С. Бобровский, представитель партии "красных", выходит из центрального национального комитета в знак протеста из-за назначения Л. Мерославского военным диктатором восстания. Он убит на дуэли с гр. А. Грабовским. Покидают также комитет Л. Марчевский (он арестован) и сторонники Мерославского (его отряд разбит), В. Иеско и В. Данилевский

(они эмигрируют). Надеялись на революционное выступление весной-летом 1863 г., но Герцен уже сомневается, когда пишет Огареву 29 апреля: "... вспомни, Огарев, что с начала до конца я вас предостерегал от шума об офицерах и солдатах, идущих на помощь Польше. - Ты мне всегда говорил, что берешь это на себя. Как будто у нас речь могла быть об ответственности. Ты ли отвечаешь или любезнейший неспособнок Бакунин - а дело это нам повредило, лишило нас силы, а сила наша только и зиждется на таланте да на доверии". 1 мая 1863 г. он признается Огареву: "*Бакунин* для меня *Inbegriff** всего, что я бичевал в революционистах, - мне досадно, что с ним не вполне откровенен"⁶⁴⁷. Он решается писать ему откровенно 1 сентября 1863 г., после того, как возник спор с его сыном Сашей о том, кто был уполномоченным "Земли и Воли" в Стокгольме - он или Бакунин. Огарев принимает сторону Бакунина.

"Оторванный жизнью, брошенный с молодых лет в немецкий идеализм <...>, не зная России ни до тюрьмы, ни после Сибири, но полный широких и страстных влечений к благородной деятельности, ты прожил до 50 лет в мире призраков студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков <...>. После десятилетнего заключения ты явился тем же теоретиком со всей неопределенностью *du vague***, болтуном <...>, не скрупулезным в финансах, с долей тихенького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой к революционной деятельности, которой недостает революции <...>. Ты велик ростом, ругаешься и шумишь - вот почему никто тебе в глаза не говорит, что тот, кто не умеет "ни пожатием плеча, ни качаньем головы" не выдать тайны, тот плохой конспиратор; да и я плохой, но, любезный Бакунин, я ведь и не напрашиваюсь на сей титул". Герцен его умоляет: "Что польское дело было устроено плохо с нашей стороны, что оно не *наше дело* - хотя и правое относительно - это доказано тем, что себя, как я сказал, ты доконал им, и умоляю тебя, если что будешь печатать - будь мудр, яко змий"⁶⁴⁸.

В утешение, под заглавием "Россиада", Герцен, с 1 июня по 1 августа, описывает в "Колоколе" "разложение" официальной России, казарменной, канцелярской, гвардейской, немецкой, полицейской. Он использует отрывки из газетных сообщений, из писем, посланных в редакцию журнала, ведет полемику с Катковым,

* квинтэссенция (нем.).

** беспредельности (фр.).

Аксаковым, Погодиным, приводит памфлеты против самодержавия, против генерала-губернатора Северо-Западного края Муравьева-Вешателя".

Со своей стороны, 10 апреля 1863 г. Никитенко описывает воскресную манифестацию у Зимнего дворца. "Несметные толпы народа собрались перед балконом, выходящим к Адмиралтейству, и подняли страшное "ура", так что государь показался, наконец, на балконе. Толпы его встретили неописанным восторгом". Никитенко описывает другие мероприятия и добавляет: "Обо всем этом либеральные петербургские газеты хранят глубокое молчание. На то они либеральные, чтобы быть бесчувственными к народным чувствам".

11 июля он свидетель зрелища, которое производит в нем самые живые ощущения: "прямо против Павловских казарм, большое сборище народа, столы, нагруженные хлебом и водкой, повозки и ящики". "Это встреча павловских солдат, возвратившихся из похода", "гремит музыка, звучат удалые песни, впереди солдатик отплясывает удалую пляску. Войско строится в полукруге, возвышается алтарь, вновь пожалованные георгиевские кавалеры создают ограду из штыков, седовласый священник служит молебен, под открытым небом, при стечении многочисленного народа". Никитенко любит добродушными, загорелыми лицами храбрых солдат, бывших поляков⁶⁴⁹.

С кем же народ? Герцен осуждал "Невских Даниилов": *народ не с вами!* Польское восстание вызвало порыв патриотизма; с теми же словами можно теперь обратиться к лондонским пропагандистам: *народ не с вами!* К сожалению, не в добрые руки попал "патриотизм", растет непомерно "величие" Каткова, благодаря успеху в "Московских ведомостях" его статей, разжигающих шовинизм и национализм. Когда-то либерал Катков был сторонником созыва всероссийского Земского собора; теперь он стал главой общественной реакции против либералов всех окрасок. Никитенко пишет о его "несносной надутости, заносчивости и несказанном высокомерии". Он постоянно преследует грубыми обвинениями Головнина, вдохновителя "духа либерализма", который больше не терпим в России. Никитенко осуждает министра, не желающего отвечать на эту травлю, когда "дело идет об отражении наглости и лжи, особенно в глазах нашей публики, которая смелость считает за правду".

"Катков и И.С. Аксаков считают себя настоящими опекунами русского народа. К Петербургу они питают ненависть и презрение

и его правительственное значение считают чистой узурпацией. Стоит только жить в Петербурге, чтобы, по их мнению, потерять всякое патриотическое чувство к России. Тот не патриот, кто не орет, не беснуется, не ломает стульев и столов". Валуев пытается обуздать Каткова, обвиняя его в недопустимой критике не только правительства, но и самых основ самодержавия. Он поставил свою газету как бы над правительством. Совет по делам печати готовит "Записку". Катков грозит, что откажется от издания в случае репрессий. Московскому университету принадлежит формально право на издание "Московских ведомостей", он просит у Комитета министров право самому цензуровать свое издание. Комитет министров, ввиду патриотического направления журнала и важных заслуг редакторов Каткова и Леонтьева, поручает Валуеву оказать редакции возможные облегчения по поводу цензуры!⁶⁵⁰

К концу 1863 г. Герцен подводит итоги: "Для России польское восстание было несчастьем; оно врывалось в начатое русское дело, путало его, усиливало правительство и будило в народе чувства звериные и кровожадные. Остановить польское движение было трудно; русское правительство делало ошибку за ошибкой". "Смиряться перед фактом, мы говорили польским друзьям нашим: "Если ваше восстание неотвратимо, да совершится судьба его. Помните, что у вас только одна хоругвь может быть общая с нами; свято и высоко держа ее, вы не встретите против себя Руси народной, а будете иметь дело с Россией - официальной, петербургской, петровской, карамзинской, погодинской, той, которая держала донельзя народ в крепостном состоянии, той, которая на кнутах и штыках, на казематах и каторгах упрочила сильную державу, основанную на отрицании всех человеческих прав". Где же искать эту Русь народную? "Народ русский для нас больше, чем родина. Мы в нем видим ту почву, на которой разовьется новый государственный строй". А что стало с петербургской? "Россия является на барьере, облитая польской кровью, дикая, свирепая, сбита с толку, потерявшая всякое различие между добром и злом, между своим и чужим, между любовью и ненавистью. Она идет с прежним знаменем военного деспотизма, в той же ливрее чужой цивилизации, во имя которой поднимаются на нее западные державы. Она одна".

Герцен тоже теперь оказывается один: "Дворянство, отшарханувшееся от престола за освобождение крестьян, страстно ринулось к нему при первой вести о порабощении Польши и заявило

готовность принять в нем участие. И вот перед нами, вместо одного Николая, трое врагов: правительство, журналистика и дворянство - государь, Катков и Собакевич"⁶⁵¹.

Распад "Земли и Воли" совершается в 1864 г. Падение популярности "Колокола", снижение спроса на лондонские издания убеждает Герцена, что ему пора покинуть окончательно Лондон. Отправка типографии из Лондона в Женеву совершится 15 марта 1865 г. До этого он открывает издание "Колокола" в Бельгии на французском языке. Из Парижа, 28 ноября 1864 г. он сообщает Огареву: "Некрасов был здесь несколько месяцев тому назад - он бросал деньги, как следует разбогатевшему сукину сыну, возит с собой француженку (Панаеву он, говорят, оставил), брата и пр. В месяц он здесь ухлопал до 50 тысяч франков. Нет, caro mio*, "Современник" во главе с этими слезами о бедных людях вора, бросающего суммы и не платящего порядком сотрудников, не может быть органом чистой и молодой России, а только петербургских судорожников и желчевиков. Неужели не лежит на нас обязанность втоптать в грязь этого негодяя?"⁶⁵²

Против правительства, еще одушевленного либеральными стремлениями, звучат в унисон самые дерзкие беспепелляционные обвинения, исходящие из противоположных лагерей, из Лондона и из Москвы, от западников и славянофилов 40-х г., переродившихся в революционеров или в патриотов: в Петербурге царят "русские немцы", доктринеры или узурпаторы, отступники-либералы или просто шулеры и воры. "Лондонским пропагандистам" нужна почва, они отождествляют ее с "русским народом", и постулируют, что именно на нем разовьется новый негосударственный строй. Но ведь почву можно тоже создать, западник Белинский создал почву, воспитывая публику своих читателей, а Герцен и Огарев не сумели, несмотря на первые успехи. Государственник Чичерин считает, что для введения реформ почву надо создавать на законных началах. Для славянофилов почвой являлась народность, неужели нельзя еще найти с ними общий язык? С Самариним сохранились с сороковых годов близкие отношения, основанные на взаимном уважении. Самарин еще писал Герцену 9 мая 1858 г.: "Дело, вами начатое, займет не последнее место в истории русского просвещения, "Колокол" - единственный орган, к которому прислушивается правительство ... он заменил в нем совесть".

* мой дорогой (итал.).

Самарин прибывает в Лондон в июле 1864 г. и предлагает Герцену личное свидание. Герцен ему отвечает 12 июля 1864 г.: "Я страстно хочу вас видеть - что за дело до несогласий. В чем они? В православии оставим вечное той жизни. В любви искренней, святой к русскому народу, к русскому делу - я не уступаю ни вам, ни всем Аксаковым. Но с правительством вместе не пойду, с немецким правительством Петербурга, но с Катковым и Муравьевым не пойду - в крови, в доносах". Встречи состоятся 21-23 июля. Герцен пишет Огареву 22 июля: "О сближении не может быть и речи - и при этом лично Самарин и уважает, и любит меня. Я только взошел в ¹ и спросил об нем, как он явился сам <...> , я протянул ему руку, но он бросился обнимать меня etc." Самарин считает, что "было время, в которое "Колокол" мог влиять громадно. Все потеряно - колоссальной ложью в польском деле. Он считает теперичную деятельность окончательно пустой потому что, кроме исключительного кружка, никто не хочет и не читает "Колокол". Все уверены, что ложные манифесты шли от нас или, по крайней мере, от Бакунина". "Польшу, поляков он ненавидит - вещи, им рассказанные, действительно ужасны. С Милютиным он в тесной дружбе <...> . Крестьянское дело в Польше он считает великим, историческим делом. Твою статью винит он в том, что ты, зная, что польские крестьяне не бунтовали, сказал, что они бунтовали, и что ты не оценил, что уступленная полякам земля - минимум за отрезками, сделанными с 1807-1846 и в последнее время". "Мысль, у него проявляющаяся или затаенная, та: "Всему этому и вы способствовали (он считает влияние мое на поколение с начала царствования самым главным и сильным - больше сильным, чем влияние Николая Павловича. Каково?) - в то время, как надобно было все силы, все помышления устремить на то, чтоб двинуть машину вперед.

Я пришел в свою комнату усталый, *somme toute**, общее впечатление страшно грустное. Какой-то стихийный социальный переворот идет, давя колесами все и люди, как Самарин, с этим примирились и идут возле и тянут эту барку по бечевнику в крови и во всем, да еще нам говорят: "Да ведь вы хотели же социальный переворот - ну он идет так, а не иначе".

23 июля Герцен описывает следующую беседу: "Я болен Самариным. Что же это, наконец? Два человека, считающие друг друга

* в конце концов (фр.).

честными людьми, могут до такой степени расходиться". Самарин уверяет, что от правительства можно было много добиться, даже возвращения Герцена, чего он сам, Самарин, ужасно желает.

24 июля, перед прощанием - "крупный и злой разговор", затем молчание и становится грустно обоим. Герцен пишет Самарину 29 июля "Вы такой боец, что не всякий решится, чтоб вы его съездили под никитки. Я помню, как я, бывало, готовился со страхом логики и верой в Гегеля на споры с Хомяковым и, приходя домой, считал, все ли категории целы. Позвольте - вместо молодежи - начать в "Колоколе" ряд писем без вашего имени, без намеков - и совершенно в серьезном тоне". Самарин отвечает: "Положим, мы выставили бы на листе бумаги: *народ, община, свобода, жизни* и т.п. и подписали бы вместе. Что же из этого? Ведь все это одни заголовки. Под каждым словом мы все таки разумели бы различное и потому отскочили бы друг от друга на противоположные полюсы при первой попытке ближайшего определения". Герцен пишет ему 17 августа 1864 г.: "Сблизиться нам нельзя - вы правы, хотя общая почва деятельности есть и пример не далек: и мы, и вы можем подкапывать цензуру и требовать свободы слова, но можно определеннее высказаться. Это очень нужно нам, потому что в два последних года на нас столько поклепу и лжи, что хочется прямому и честному противнику сказать: "Вот кто мы, если мы обманываем - развеите, но не подкладываете нам, чего в нас нет"⁶⁵³.

Как восстановить правду? Как опровергнуть ложные мнения, слухи, клевету: что Самарин - защитник самодержавия в союзе с Катковым и Муравьевым, который "в три месяца поднял на ноги и оживил целый забитый народ", что Герцен - материалист, оправдывает насилие, что под его влиянием молодое поколение потеряло свои духовные ценности, что, поддерживая польских мятежников, он возбуждал молодежь вместо того, чтоб ее сдерживать. Для этого нужна в России свобода слова, гласность, возможность каждому высказываться, всем обмениваться мнениями открыто и публично, уличать во лжи клеветников. Герцен должен довольствоваться своим поприщем на чужбине, он исполняет свое намерение и публикует "Письма к противнику" в "Колоколе" с ноября 1864 г. по февраль 1865 г.

"В два последних года все понятия и оценки, все люди и убеждения так изменились в России, что не мешает напомнить друзьям и противникам, *кто мы*". Герцен признает, что ошибался в споре с славянами. Но он отвергает оправдание Самариным

того, что творится сейчас: казни в Польше, террор в России. Тем не менее, надо сначала указать, в чем мы согласны: "Мы люди разных миров, разных веков, и при всем том и вы, и я служим одному делу, преданы ему искренно и такими признаем друг друга". Герцен восстанавливает форму диалога с противником: "Ваша пропаганда, - говорите вы, - подействовала на целое поколение, как гибельная, противуестественная привычка, привитая к молодому организму, еще не успевшему сложиться и окрепнуть <...>. Причина всему этому злу - *отсутствие почвы*, заставляющее вас продолжать без веры какую-то *революционную чесотку*, по старой памяти".

"Что, собственно, вас сконфузило и испугало? Что студенты стали делать сходки, посылать депутатов к начальству, говорить речи? <...> Зачем вы видели в этом естественном взрыве молодых сил один беспорядок и нарушение строя <...>, вы оскорбили молодежь безучастием и порицанием в минуты, дорогие для нее". "Правительство гонит молодое поколение потому, что оно его боится <...>. Страх, наведенный небольшой кучкой энергической молодежи, был так велик, что через год Катков поздравлял правительство и всю Россию с тем, что она миновала страшную революцию <...> . Вы совсем в другом положении. Вы уверены, что всякая революционная попытка в России невозможна, что "русский народ не пойдет против своего царя, что дворянство без него бессильно и что надобно быть поврежденным, чтоб предположить, что несколько студентов, не кончивших курс, сделают в России переворот прокламациями à la Babeuf". Испугала "подпольная литература"? Без цензуры не было бы тайных типографий и тайного распространения рукописей. Это естественно, как печатание за границей и эмиграция. Раздражает славянофилов, что несмотря на все усилия, их пропаганда ("Русская беседа", "День" Аксакова) не имела никакого успеха в молодом поколении и что *революционная чесотка* взяла верх над *богословскими паршами*. Молодые офицеры обращались с советом к Герцену из Польши: перейти к врагам? Он отвечал: мы не хотим быть изменниками русскому народу, но не хотим быть и палачами, мы советовали им идти в отставку и не драться против людей, ищущих независимости своей родины. "Мы предвидели гибель их и всеми силами старались задержать восстание. Правительство, напротив, утомленное quasi-законностью, торопилось скорее покончить "польское затруднение".

В заключение он уверяет Самарина: "В России есть почва в быте народном, в народном характере, - почва невозделанная, но

готовая принять первое семя; семя это принесло к нам с Запада. Признание за народом права на землю - величайшая победа, сделанная народным смыслом и социальной идеей. Консервативная партия в экономическом смысле у нас только что слагается, ее росту надобно помешать <...>. Мы можем идти далее по пути социального развития без общих потрясений <...>, которыми в Европе останавливают, как медузиной головой, естественный ход дел".

В России есть почва, но об одной и той же почве говорят Герцен и Самарин? Об одном и том же социальном развитии? Диалог будто бы открыт, но Самарин не отозвался. "Вот мы писали *четыре письма к противнику*, но противник не отвечал!"⁶⁵⁴ Как ни странно, не отозвался и сам Герцен в "Былом и думах": ни слова об этой неудавшейся встрече между двумя мыслителями в поисках общей *почвы*.

С кем еще предстоит рассчитаться? С московскими друзьями давно уже связи развязались. Последним близким другом оставался К.Д. Кавелин. В начале 1862 г. он выпустил в Берлине брошюру "Дворянство и освобождение крестьян". "Прочитав твою брошюру - у меня руки опустились, возмущается Герцен. Этого не доставало". "Создать из дворян класс привилегированных землевладельцев, потому что и в Ганновере и в Гессен-Касселе было высшее сословие - и это в то время, как дворянство летит под гору - и рассыпается в прах <...>, страшная нелепость". Герцен пускается в некролог: "Я схоронил женщину, которую любил и уважал бесконечно, и схоронил Грановского - материально, я схоронил Кетчера, Корша - психически, я гляжу на дряхлеющего Тургенева, на Московский университет, превращающийся в частный дом ... И. Тургенев просится на кладбище. Тургенев дышит на ладан - и ко всему этому должен похоронить тебя"⁶⁵⁵. Очередь Тургенева приходит в 1864 г., когда Герцен, в "Колоколе", издаваемом в Бельгии на французском языке, помещает статью "Новая фаза в русской литературе". В ней он сильно задевает Тургенева: "... он становится человеком политики, он создает, вместо своих великолепных картин во вкусе Рюисдаля, *тенденциозные* романы, из которых ясно было видно, что тенденции эти никогда не были его тенденциями. Его герои превращались мало-помалу из живых людей, какими они были раньше, в носителей мысли, скрытой за кулисами. Увлеченный потоком прогрессивных идей, Тургенев рисует нам агитатора, фанатика национализма". Болгарский заговорщик, Инсаров, герой романа "Накануне", лишь "белый негр среди своих". Другое дело

роман "Отцы и дети", появление которого совпало с возникновением реакции: он опубликован в февральском номере журнала Каткова "Русский Вестник" за 1862 г.! В нем "Тургенев пытается создать тип русского передового молодого человека <...> , устроить головойку молодому поколению, постоянно противопоставляя ему поколение предшествующее..., которое, однако, не отличалось вообще ничем, кроме своего пассивного ничтожества и своей хлопотливой бесполезности". Реакционеры, московские доктринеры называли раньше своих противников *материалистами*, теперь, как Тургенев, они употребляют слово *нигилизм*. "Этот термин в применении к молодым людям, страстно преданным своему делу, т.е. науке, был лишен всякого смысла". Можно говорить о трагическом нигилизме Шопенгауэра, об эпикурейском нигилизме бессердечных созерцателей людских страданий. "Но говорить о нигилизме молодых людей, пламенных и преданных, лишь прикидывающихся отчаявшимися скептиками, - это грубая ошибка". *Нигилистом*, таким как понимала реакция, был Белинский в 1838 г. "Сын мелкого чиновника, не желающий служить, как Белинский, неверующий сын священника, как Чернышевский, наконец, бедный, провинциальный дворянчик, барин-пролетарий, как Гоголь, начинают играть большую роль. Они не представляли собой ни третьего сословия, ни вообще отдельного класса, но живую среду, которая черпала свою силу и снизу и сверху <...> . Эти *новые люди* внесли в литературные формы некоторую жестокость, раздражение, нечто резкое, неумолимое; им недостает такта и иногда изящества. Это оскорбляет вкус пуристов, не говоря уже об обидчивости камергеров от литературы".

В этом фантастическом ракурсе Герцен принимает тон Добролюбова, отрекается от "своих" и обрисовывает трогательную судьбу юного *нигилиста*, бывшего с детства жертвой несправедливостей, под давлением враждебных сил, оскорбленным тысячи раз. "Терзаемый скептицизмом, он старается выработать холодную мысль и дерзкую речь; но юное сердце его переполняется, он жертвует собой, он погибает, отрицая самопожертвование". Задача автора: раскрыть истину, а "Тургенев сделал из своего нигилиста "брюзгу-племянника", наделенного кучей всевозможных пороков, пороков, которые он боится исследовать глубже наружного их покрова. Его герой промелькнул перед вами ..., не успев даже оправдаться. Судьба неправдоподобного "нигилиста" столь же несчастна, как и судьба невозможного болгарина: автор

отделался от него на манер Брута убивает его тифом. Спорный вопрос, тяжба "отцов с детьми" между *пошляками, фатами и наглецами* не мог закончиться за отсутствием сторон".

Герцен осуждает "хлопотливую бесполезность" отцов, как Добролюбов - обломовщину. На самом деле он гневно откликается на недавний приговор Чернышевского к семи годам каторжной работы и вечному поселению. Сколько упреков Тургеневу! Тем не менее, он добавляет: "И все-таки этот роман Тургенева единственное замечательное произведение новой литературной фазы ... фазы консервативной"⁶⁵⁶. В письме Тургеневу от 21 апреля 1862 г. Герцен впервые отзывался иронически о романе "Отцы и дети": "Ты сильно сердился на Базарова - с сердцем карикировал его, заставлял говорить нелепости - хотел покончить его "свинцом" - покончил тифусом, а он все-таки подавил собой - и пустейшего человека с душистыми усами, и размазню отца Аркадия и бланманже Аркадия". Герцен упрекал Тургенева в том, что он остановился "на дерзкой, сломанной желчевой наружности - на плебейско-мещанском обороте, и, приняв это за оскорбление, пошел далее. Но где же объяснение, каким образом сделалась его молодая душа - черствой снаружи, угловатой, раздражительной... Что воротило в нем назад все нежное, экспансивное? ... Не книга ли Бюхнера?" Герцен иронизирует, намекая на то, что в романе, по рекомендации Базарова, в X-ой главе, Аркадий дает читать отцу нашумевшую книгу немецкого физиолога Карла Бюхнера "Stoff und Kraft" (1855г.) ("Материя и сила", в русском переводе, 1860 г.). "Вообще мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь с каким-то грубым, хвастливым материализмом, - но ведь это вина не материализма - а тех Неуважай-Корыто, которые его скотски понимают. Идеализм в них - так же гадок. <...> Мне кажется, что великая сила твоего таланта - не в Tendenzschrift'ax*. Если б, писавши, сверх того ты забыл о всех Чернышевских в мире, было бы для Базарова лучше"⁶⁵⁷.

Неделю спустя Тургенев ему отвечал, что он не сердился на Базарова, а, наоборот, видел в нем того, кто подавил собой "человека с душистыми усами", торжество демократизма над аристократией. Он не мог придать ему нежной сладости и виноват, если его не полюбят, как он есть, со всем его безобразием. "Шутка была бы

* тенденциозных сочинениях (нем.).

не важна представить его идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его - это было трудно"⁶⁵⁸.

Тургенев также оправдывался в письме К.К. Случевскому, который изложил ему мнение русских студентов, учившихся в Гейдельберге, активной части политической эмиграции: критика их была резкая, образ Базарова им был непонятен. Тургенев отвечал по пунктам:

1. Зачем не *выводятся хорошие люди*? "Базаров все-таки подавляет все остальные лица романа (Катков находил, что я в нем представил апофеозу "Современника". Приданные ему качества не случайны. Я хотел сделать из него лицо трагическое - тут было не до нежностей. Он честен, правдив и демократ до конца ногтей - а вы не находите в нем хороших сторон? "Stoff und Kraft" он рекомендует именно как популярную, т.е. пустую книгу". О реабилитации отцов и т.д. показывает только - виноват! - что меня не поняли. *Вся моя повесть направлена против дворянства как переделового класса <...>*. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко? <...> Все истинные *отрицатели*, которых я знал - без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т.д.) происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у *деятелей*, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни".

2. "Смерть Базарова <...> должна была, по-моему, наложить последнюю черту на его трагическую фигуру. А Ваши молодые люди и ее находят случайной! Оканчиваю следующим замечанием: если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью - если он его не полюбит, повторяю я - я виноват и не достиг своей цели". Не желая уступками накупаться на популярность со стороны студентов, Тургенев предпочитает "проиграть сражение", чем выиграть его уловкой. "Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная - все таки обреченная на погибель - потому что она все таки стоит еще в преддверии будущего, мне мечтался какой-то странный pendant* Пугачевым и т.д." Тургенев добавляет "До сих

* под пару (фр.).

пор Базарова совершенно поняли, т.е. поняли мои намерения, только два человека - Достоевский и Боткин".

Достоевский отозвался на роман Тургенева в письме, которое не сохранилось. "Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления - и удовольствия, отвечал ему Тургенев 30 марта. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не считал нужным вымолвить". Тургенев признается, что он много переделывал под влиянием неблагоприятных отзывов, "и от этого, может быть, и произошла кропотливость, которую Вы заметили"⁶⁹⁹. Образ Базарова складывался постепенно, самостоятельно от всех условностей, которыми добрые советники хотели бы его нарядить, оправдывая его поступки семейным происхождением, пороками окружающей среды, упадком дворянства и т.д. Он отвечал намерению Тургенева: создать необычайный литературный образ, не отвечающий нормам поведения в обществе, трагическую безобразную личность, волка, которого читатель должен полюбить, т.е. признать и понять. Удалось ли это намерение или нет? Благодаря суждению Достоевского, он спокоен насчет участи своей повести, но что увидел автор "Записок из мертвого дома" остается тайной, а судьба Базарова среди читателей неопределенной.

В мае 1865 г. Вольная русская типография переправляется из Лондона в Женеву, в центр русской революционной эмиграции. Покинув Лондон, за три дня, в Париже и Женеве, Герцен больше узнает о России, чем там за месяц. При этом он рассчитывает на активное участие "молодой эмиграции". Но вскоре возникают разногласия и, помимо редких сотрудников, авторами статей остаются в основном Герцен и Огарев. В 1867 г. принимается решение издавать с 1 января 1868 г. "Колокол" на французском языке. В объявлении редакторы объясняют, что главной их целью является защита передовых демократических сил от нападков западной прессы вообще против России и убедить европейскую общественность, что после отмены крепостного права, несмотря на все помехи и ошибки, дело *социального развития* идет своим медленным, но *безвозвратным путем*. Отказавшись от всех иллюзий по поводу Просветительской революции сверху, чему еще верит Самарин, Герцен отказался также от ожидания крестьянского восстания, как в 1863 г., при содействии "Земли и Воли". Остается одно - верить в стихийную, бескровную крестьянскую революцию снизу, порожденную отменой крепостного права и

развивающуюся независимо от петербургского бюрократического аппарата. Осведомлять об этом Европу - неужели к этому сводится теперь роль Герцена и "Колокола"?

Не совсем убедительно заявление Тургенева, что в Базарове он видел того, кто подавит собой "человека с душистыми усами", и обеспечит торжество демократизма над аристократией. В желании расширить впечатление, созданное романом "Отцы и дети", Тургенев пишет новое произведение, "Дым", и отправляет его Каткову в январе 1867 г. для публикации в "Русском вестнике". В мае он решается ознакомить с ним Герцена, хотя связи между ними прерваны вот уже три года: "Итак, посылаю тебе свое новое произведение. Сколько мне известно, оно восстановило против меня в России - людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов. Ты не религиозный человек и не придворный - но ты славянофил и патриот, - и, пожалуй, прогневаешься тоже; да сверх того и Гейдельбергские мои арабески тебе, вероятно, не понравятся. Как бы то ни было - дело сделано. Одно меня несколько ободряет: ведь и тебя партия молодых рефюжиэ пожаловала в отсталые и в реаки; расстояние между нами и поуменьшилось. Если ты не считаешь меня пришедшим в такое положение, что и переписываться со мной нельзя, - то погроми меня или поперсифируй - а главное, уведоь о себе и о твоём семействе"⁶⁶⁰.

Тургенев иронически намекает на "веру в сельскую общину"; он знает, что между ним и молодыми "рефюжиэ" растёт разногласие, особенно после покушения Каракозова на государя. Герцен его осудил в статье "Иркутск и Петербург" ("Колокол", май 1866 г.). "Пуль нам не нужно ... мы в полной силе идем большой дорогой <...> . Остановить нас невозможно, можно только своротить с одной большой дороги на другую - с пути стройного развития на путь общего восстания". В той же статье он сообщает о смерти в Иркутске одного из основателей "Земли и Воли", "благороднейшего, чистейшего и честнейшего" Серно-Соловьёвича, арестованного вместе с Чернышевским в 1862 г. и осужденного на 12 лет каторги. "Последний маркиз Поза, он верил своим юным, девственным сердцем, что их можно вразумить, он человеческим языком говорил с государем, он его тронул и - умер в Иркутске, изнеможенный истязаниями трехлетних каземат".

Искренне возмущаясь против этой жестокой расправы, Герцен утверждает, что такие безответственные поступки, как покушение на царя, только усиливают реакционные силы. От имени "своего

наставника Чернышевского", брат Николая Александровича, Александр Александрович Серно-Соловьевич, отвечает, что "молодое поколение" не простит ему, что он назвал Каракозова "фанатиком". Не избежать окончательного разрыва, когда выходит на свет в мае 1867 г. брошюра А.А. Серно-Соловьевича "Наши домашние дела" (Unsere Russischen Angelegenheiten). Грубым тоном автор упрекает Герцена в либерализме, в неверии в дело революции. В своем большинстве революционная эмиграция в Женеве осуждает эту брошюру, но никакого публичного осуждения от нее ожидать не приходится. Герцен оскорблен, но этим дело не оканчивается. Серно-Соловьевич предлагает ему посредством Огарева "гнусную сделку": "негоцировать покупку его брошюры, которую он за известную сумму обязывался уничтожить"⁶⁶¹. При четырех свидетелях Герцен категорически отказывается, но теперь становится всем ясно, что денежный вопрос - кардинальная причина политических разногласий между обеспеченными "отцами" и "молодым поколением".

Герцен пишет Бакунину 30-го мая 1867 г. из Женевы: "Серно-Соловьевича посылаю. Он наглый и сумасшедший. Но страшно то, что большинство молодежи такое и что мы все помогли ему таким быть. Я много думал об этом последнее время и даже писал, не для печати теперь. Это не нигилизм; нигилизм явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте - халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в нигилистическом костюме. Это мошенники, оправдавшие своим сукиносынизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы etc. указывают пальцами <...>. Ты и Огарев, вы этих скорпионов откармливали млеком вашим. - Это верно, саго mio - подумай. Им будущности нет, это меньший венерический брат, который умрет - на его могиле встретится старший с еще более меньшим". И он добавляет: "У меня Campo Formio с Тургеневым. Он мне писал mit Zärtlichkeit *. Я ответил mit Gemütlichkeit **- и это несмотря на злой отзыв с моей стороны о "Дыме". Мирный договор Campo Formio подтверждал победу Бонапарта над Австрией. Не предполагает ли себя Герцен в роли Бонапарта? Бакунин подозревает, что Тургенев не сдастся, как Австрия: "Уж не потому ли Тургенев и дерзнул обратиться к тебе с Zärtlichkeit, что пронюхал твои раздоры с молодым поколением, после разрыва с которым он сам одряхлел и иссяк безвозвратно ...?"

* с нежностью (нем.).

** с добродушием (нем.).

На письмо Тургенева Герцен отвечал довольно холодно. "Я только что немного тебя ужалил за "Дым" - а ты мне его посылаешь". Не одобряя его связи и с "воришкой и шулером Некрасовым и с обер-шпионами à la Katkov", он упрекает его в том, что, публикуя свои произведения в журнале Каткова, он поддерживает гнусного доносчика. В краткой статье "Отцы сделались дедами" (Колокол, май 1867) он жалеет, что Тургенев, "добрейшая душа", захотел стать публицистом. Его деды болтают без конца и без связи, а он, называя их Натугиным или Потугиным, выдает их за живых людей. В упомянутом письме он пишет: "... твой Потугин - мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья?"⁶⁶². Тургенев ему отвечает: "... я нахожу, что он еще не довольно говорит, - и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которую возбудило против меня это лицо"⁶⁶³.

10 мая 1867 г., из Баден-Бадена, Тургенев обращается к Писареву: "... какое впечатление произвел "Дым" на Вас и на Ваш кружок - рассердились ли Вы по поводу сцен у "Губарева" и эти сцены заслонили ли для Вас смысл всей повести?" В сценах, названных в письме Герцену "Гейдельбергские арабески" и на которые издатель "Колокола" не отзывается, Тургенев высмеивает нигилистов-революционеров, а в образе Губарева, вероятно, Огарева, деятельного пропагандиста социализма на страницах "Колокола". 18/30 мая Писарев отвечает, что сам он не уважает дураков, особенно тех, кто прикидываются его друзьями. Он понимает, что этот эпизод необходим автору, чтобы восстановить равновесие и не очутиться "в несвойственном ему обществе красных демократов", тогда как главный удар он наносит направо русской аристократии за границей и ее пошлым развлечениям в Баден-Бадене. Писарев понимает смысл повести, хотя "Дым" его не удовлетворяет: "... он представляется мне странным и зловещим комментарием к "Отцам и детям". Возвращаясь обратно к этой повести, он пишет: "У меня шевелится вопрос вроде знаменитого вопроса: "Каин, где брат твой Авель?" - Мне хочется спросить у Вас: Иван Сергеевич, куда Вы девали Базарова? Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова, Вы подводите итоги с его точки зрения, Вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов - это тот самый Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво".

"Вы напоминаете мне о "Базарове", - отвечает Тургенев и зывает ко мне: "Каин, где брат твой Авель?" Но Вы не сообразили

того, что если Базаров и жив - в чем я не сомневаюсь, - то в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнести к нему с критической точки - не следует, с другой - неудобно; да и наконец - ему теперь только можно заявлять себя - на то он Базаров; а пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами - было бы совершенною прихотью, даже фальшью"⁶⁶⁴.

Несмотря на все оговорки - страшное признание: *Базаров - жив*, несмотря на то, что его создатель пытался его убить. Он жив, но больше не живет в рамках литературного произведения, там, где автор может располагать его судьбой. Из фикции он переступил в действительность, "очеловечился". Сам Тургенев снимает с себя всю ответственность за будущее своего волчонка: следует обождать, пока Базаров сам заявит о себе. Главное для Тургенева то, что на литературном поприще он избавился от этого невыносимого собеседника, который не давал слова самому автору! "Дым" не является только "зловещим комментарием" предыдущей повести, он дает автору возможность высказаться. Потугин и Литвинов - не Кирсановы. В Баден-Бадене русских аристократов - князя Коко, княгинь Зизи и Зозо - не приходится разоблачать, они сами себя компрометируют в глазах читателя. Среди революционеров-нигилистов нет места для Базарова: "... в литературном произведении упоминать о нем нельзя", а жалкий Губарев не может помешать Тургеневу выставить на первый план своего "философа" Потугина. Увы, он будет повторять то, что сам Тургенев излагал до этого Герцену в письмах. Неужели Тургеневу не обойтись без резонера? Неужели его речь придется свести к бесцельному старческому ворчанью самого автора? Тургенев расчистил Потугину широкое пространство для выражения своих любимых понятий, но читателю бросается в глаза пустота окружающей среды. Неужели Россия сводится к этим карикатурным, печальным изображениям и к ложному, нравоучительному диалогу между Потугиным и Литвиновым? "Дым" вызывает только дым? "Дым" - неудавшаяся переделка "Горе от ума" с благополучным исходом? Чем обусловить долю пессимизма, которую содержит роман, хотя бы в размышлениях Литвинова в вагоне, при выезде из Бадена: все дым, "собственная жизнь, русская жизнь - все людское, особенно все русское", все казалось дымом, и горячие споры у Губарева, и суждения государственных людей, и даже все, что проповедовал Потугин, и собственные стремления, и старания. Суждение ли это "философа" под влиянием Шопен-

гауэра, для которого все наши представления о мире лишь тени без связи с его сутью? Или писателя, сознающего, что его создание не встретит ожидаемого читателя? Отрицание действительности или эстетическое разочарование вызывает писатель?

"Вам "Дым" не нравится, - пишет Тургенев И.П. Борису - да и по всему заметно, что он никому не понравился в России: но я такой закоренелый грешник, что не только не каюсь, - но даже упорствую - и к отдельному изданию романа прибавлю предисловие, в котором еще сильнее буду доказывать необходимость нам, русским, по-прежнему учиться у немцев, - как немцы учились у римлян и т.д." В предисловии отдельного издания "Дыма" Тургенев не пытается "разъяснить возникновение недоразумения". Лицо Потугина, по-видимому, более всех других оскорбило патриотическое чувство публики, "пускай же это лицо само говорит за себя"⁶⁶⁵. Базаров уже живет самостоятельно, а едва ли Потугин способен сам говорить за себя; немисливо выпустить его на свет из "Дыма", из парника, где выращиваются резонеры и положительные герои.

Первый номер "Колокола" на французском языке выходит 1 января 1868 г. со статьей Герцена "Prolegomena". Он обращается к европейской общественности и выступает будто бы с "кратким повторением" всего того, что писал уже о России; на самом деле он принимает новый тон: "Нас изгоняют из Европы - подобно тому, как Господь Бог изгнал из рая Адама. Но есть ли полная уверенность в том, что мы принимаем Европу за Эдем и звание европейца - за почетное звание? В этом иногда сильно ошибаются. Мы не краснеем от того, что приходим из Азии, и не имеем ни малейшей необходимости присоединяться к кому бы то ни было справа или слева. Ни в ком мы не нуждаемся, мы *часть света между Америкой и Европой*, и этого для нас достаточно". "Мы вовсе не хотим сказать, что латино-германский мир исключен из новой социальной паленгензии, которую он сам же и открыл миру. У природы и истории - все званые гости, однако невозможно вступить в новый мир, неся, подобно Атласу, на своих плечах мир старый. Надобно умереть "в старом Адаме", чтобы воскреснуть в новом, - т.е. надобно пройти через подлинно *радикальную революцию*".

В радикализме Герцена отзываются новые мотивы будущего панславизма или даже евразийства, но едва ли он может отказаться от излюбленного своего примера, от *христианской революции*, и он принимает тон Чаадаева: "Мы находимся в преддверии нашей

истории <...>. Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего католического, ничего феодального, ничего рыцарского, почти ничего буржуазного нет в наших воспоминаниях <...>. Потомки поселенцев, а не завоевателей, мы народ крестьянский". Крестьянин сохранил веру в то, что обрабатываемая им земля принадлежит ему и не может быть отчуждена, пока он остается в общине. Право на землю не смогло бы устоять под напором экономических идей Запада, одобренных государством и "просвещенными людьми", либералами и доктринерами. Термины "общинное владение" и "личная свобода" совместимы; под влиянием социализма и с 1861 года "находившийся в зачаточном состоянии принцип самоуправления, раздавленный полицией и помещиком, начинает все более и более избавляться из своих пеленок и свивальников; избирательное начало укореняется, мертвая буква становится реальностью".

От неуспеха революции в 1848 г. русская молодежь разуверилась в немецкой теории, во французской *практике*, нигилизм был проявлением этого освобождения, "мы бросились в открытое море на собственный страх и риск". "Россия может еще пройти через фазы ужаснейшей тирании, безграничного произвола, но к мертвенному и давящему режиму Николая возвратиться она не может". "Итак, остается созыв "великого собора", представительства без различия классов, - единственное средство для определения действительных нужд народа и положения, в котором мы находимся. К тому же это и единственное средство выйти без потрясения, без переворота - террора и ужаса - без потоков крови из длинного предисловия, называемого петербургским периодом <...>. Каково бы ни было *первое Учредительное собрание, первый парламент* - мы получим свободу слова, обсуждения и законную почву под ногами"⁶⁶⁶.

Тургенев получил статью еще в корректуре и пишет Герцену 12 декабря 1867 г. из Баден-Бадена: "Что касается до самой твоей статьи - то ведь это между нами старый спор; по моему понятию, ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь: мы сидим в одном мешке и никакого за нами "специально нового слова" не предвидится. Но дай Бог тебе прожить сто лет - и ты умрешь последним славянофилом <...> . Жалею я только о том, что ты почел нужным нарядиться в платье, не совсем тебе подходящее. Верь мне - или не верь - как

угодно, но для так называемого воздействия на европейскую публику - всякие статьи бесполезны... Явись, например великий русский живописец - его картина будет лучшей пропагандой, чем тысячи рассуждений о способностях нашего племени к искусству. Люди - вообще - порода грубая и нисколько не нуждающаяся ни в справедливости, ни в беспристрастии: а ударь их по глазам или по карману - это другое ... дело. Но, впрочем, я, может быть, ошибаюсь - а ты прав: посмотрим. Во всяком случае - момент едва ли хорошо выбран: теперь действительно поставлен вопрос о том, кому одолеть: науке или религии, - к какой тут стати - Россия?"⁶⁶⁷.

Герцен отвечает Тургеневу 20 декабря из Милана, что ему не до картин; он их насмотрелся во Флоренции и в Милане: вряд ли в искусстве выражается теперь человечество. "Полемизировать не стану. Если я слишком сжал время и слишком en gros* смотрю на "новое слово", которое Россия явно громко говорит своим социальным исключением пролетариата - то, что ты не видишь даже и после совершенного падения Франции, с которой утянулась и Италия, - что это: гибель, смерть или кризис, - я этого не понимаю Praktisch** - немцы одолеют французов, может, и выйдет новая Эпоха довольно порядочного развития - и прескверного тона"⁶⁶⁸.

"От общины Россия не знает, как отчураться, - возражает 25 декабря Тургенев. - А что до артели, я никогда не забуду выражение лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: "... кто артели не знал, не знает петли". Не дай Бог, чтобы бесчеловечно эксплуататорские начала, на которых действуют наши "артели" - когда-нибудь применялись в более широких рамках!" "... А старик Гете прав: der Mensch (der europäische Mensch) ist nicht geboren frei zu sein*** - почему? Это вопрос физиологический - а общества рабов с подразделениями на классы попадают на каждом шагу в природе (пчелы и т.д.) - и изо всех европейских народов именно русский менее всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный - неминуемо вырастает в старообрядца - вот куда его гнет - его прет - а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? <...> - возьмите науку, цивилизацию - и лечите этой гомеопатией малопомалу. А то, пожалуй, дойдешь до того, что будешь, как Иван

* в общих чертах (фр.).

** фактически (нем.).

*** Человек-европеец не создан, чтобы быть свободным (нем.).

Сергеевич Аксаков, рекомендовать Европе для совершенного исцеления - обратиться в православие. Вера в народность - есть тоже своего рода вера в Бога, есть религия - и ты - непоследовательный славянофил - чему я лично, впрочем, очень рад"⁶⁶⁹.

Воздействовало ли суждение создателя Базарова о "русском человеке" на "непоследовательного славянофила"? - неожиданно, 8 января 1868 г. в письме Огареву, Герцен вспоминает о судьбе Базарова: "Дорого бы я дал, если б ты мог пробежать книгу, которая доставляет мне перцовое наслаждение, - сочинения Писарева. Они изданы в четырех частях. Как досадно, что я порядком узнал этого маккавея петербургского нигилизма так поздно <...> . Он заставил меня иначе взглянуть на роман Тургенева и на Базарова. Может, я напишу что-нибудь о нем. Безграничная ненависть к Пушкину, снисходительное снисхождение к Белинскому - и к нам-то отношение как выжившим из ума беспокойным старичкам"⁶⁷⁰. Пересмотр "дела Базарова" Герценом принимает форму писем, обращенных к Огареву. "Еще раз Базаров" отражает спорную обстановку, в которой обсуждался этот пересмотр, откладывается публикация статьи, наконец, она появляется в Женеве в 1868 г., в последнем, 9-ом, номере "Полярной Звезды" за 1869 г.

"Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет. Важно то, что он в Базарове узнал себя и своих и добавил чего не доставало в книге". Чем интересен "идеал" Писарева? "В том-то и дело, что это не его личный идеал, а тот идеал, который до тургеневского Базарова и после него носился в молодом поколении и воплощался не только в разных героях повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину. То, что Писарев говорит, я слышал и видел десять раз; он простодушно разболтал задушевную мысль целого круга и, собрав в одном фокусе рассеянные лучи, осветил ими нормального Базарова.

Базаров для Тургенева больше, чем посторонний, для Писарева - больше чем свой; для изучения, конечно, надобно знать тот взгляд, который в Базарове видит свой desideratum"

"Может быть, - предполагает Писарев, - Базаров в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества". Ясно - это не тургеневский Базаров, восклицает Герцен. "Базаров везде и

* желаемое (лат.).

во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным <...> . Впереди никакой высокой цели, в уме никакого высокого помысла, и при этом силы огромные. Если базаровщина болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие ампутации и паллиативы".

"Базаров смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупрезрительные и полупокровительственные отношения к тем, которые его ненавидят, и к тем, которые слушаются, он никого не любит. Он считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было. В его цинизме две стороны, внутренняя и внешняя, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений <...> . В числе почитателей Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни и будут подражать его грубым манерам".

Парадоксально, новые люди, которые овладели "Современником", совсем не узнали себя в Базарове. М.А. Антонович, молодой критик, бывший семинарист, которого Добролюбов ввел в редакцию, в своей статье "Асмодей нашего времени" упрекает Тургенева, в том, что, защищая "отцов", он написал клевету на "детей". Признав своим "идеалом" тургеневскую карикатуру, Писарев совершил грубую ошибку. Герцен подсмеивается над семинаристами: "... отрекаясь от тургеневского Базарова, как от шаржи, они отмахивались еще больше от его преображенного двойника"⁶⁷¹.

На самом деле, у Базарова, так, как его воспринимает Писарев, странное сходство с *Человеком*, описанным Максом Штирнером в его знаменитой книге "Единственный и его собственность" (Лейпциг, 1844). "Единственный" Штирнера - логическое *небытие*, существо, управляемое исключительно абсолютным эгоизмом, он разрушитель рационализма, этого агрегата предикатов, которым иудео-христианская цивилизация снабдила личность, обманов, от которых утомилось ветхое общество, обреченное на смерть. Теоретик индивидуализма и анархизма, Штирнер доказывает, что такие благородные чувства, как любовь, бескорыстие, верность, благочестие являются лишь масками, прикрывающими эгоизм, моральными *регуляторами*, подавляющими живые силы индивида, но при этом Штирнер не предлагает никакого исхода. Никакую социальную систему нельзя построить на этом логическом нигилизме, рациональном в своем отрицании рационализма. У

самого субъекта Штирнера нет никакой реальности, помимо отрицательной стороны бунтовщика, бунтующего бесцельно.

Писарев снабжает своего антигероя родословной: Онегин и Печорин породили Рудина и Бельтова, а они породили Базарова. "Я не могу действовать теперь, - думает каждый из этих новых людей, - не стану и пробовать, я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать моего презрения. В борьбу со злом я пойду, когда почувствую себя сильным". "Им дела нет, идет ли за ними общество; они полны собой, своей внутренней жизнью. Словом, у Печориных *есть воля без знания*, у Рудиных - *знание без воли*, у Базаровых - *и знание и воля*. Мысль и дело сливаются в одно твердое целое".

Доводы Писарева убеждают, но не утешают Герцена: "Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб погладить по головке, - это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу отцов, - и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов. Оттого-то и вышло, что часть молодого поколения узнала себя в Базарове. Но мы вовсе не узнаем себя в Кирсановых, так, как не узнавали себя ни в Маниловых, ни в Собакевичах <...> . Писаревский Базаров, в одностороннем смысле, - до некоторой степени предельный тип того, что Тургенев назвал сыновьями, в то время как Кирсановы, самые стертые и пошлые представители отцов.

Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал - шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую".

В 1862 г. Тургенев возлагал на себя ответственность за то, что молодое поколение не "полюбило" его Базарова и не поняло, что вся повесть была направлена именно против дворянства. Герцен приводит обратную версию: Тургенев желал победы "отцов", неожиданно победил Базаров. Что оставалось делать? Избавиться тифом от назойливого "волка". Но Базаров выжил и продолжает жить, а благодушный Герцен изъявляет свою готовность принять и перевоспитать это "привидение": "Базаров в Лондоне увидел бы, что это только издали казалось, что мы размахиваем руками, а что на самом деле мы ими работали. Может, он сменил бы гнев на милость и перестал бы относиться к нам "с укором и насмешкой". Повторяю сказанное: "Хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от ис-

торической ошибки. Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивают своих стариков"⁶⁷².

В "Былом и думах" Герцен требует от "молодого поколения", чтоб оно признало заслуги своих предшественников: "Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз: - Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все жертвовали общественным положением, имели средства; для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть... - Я полагаю, - отвечал я раз, - что для казненных да... - По крайней мере, не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам нравилось быть революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком - не выбор, это - наше общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком, упавшим в воду, и купающимся: обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия". Откуда берутся подобные грубые аргументы? "Не признавать людей, потому, что они делали из внутреннего влечения то, что другие будут делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно. Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен. Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, аракчеевский элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрасимым фронтом идем мы, шаг в шаг, до чура и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с истины; не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями ..."⁶⁷³.

Монашеский аскетизм, немецкое доктринерство, аракчеевщина эти отрицательные черты русского характера выражаются с особой силой в "предельном типе", в *Писаревском Базарове*. Но Базаровы пройдут, - Герцен в этом убежден, как прошли Оне-

гины и Печорины, как проходят Рудины и Бельтовы. Интерес в другом: "... в чем *красные нитки*, их связывающие, и в чем причины их возникновений и их превращений?" Являются ли они положительными типами? Нет, даже Онегин, хотя он выступает как представитель умственной жизни двадцатых годов. Где же положительные типы? Русская литература не могла до сих пор, по цензурным соображениям, касаться типа *декабриста*, одного из великопешнейших типов того времени; но захотела бы при других обстоятельствах? "Если в литературе сколько-нибудь отразился слабо, но с родственными чертами, тип декабриста - это в Чацком. В его озлобленной, желчевой мысли, в его молодом негодовании слышится здоровый порыв к делу <...>. Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирующим лицом. Он скорее бросился бы в какую-нибудь негодующую крайность, как Чаадаев, - сделался бы католиком, ненавистником славян или славянофилом". "Но именно эта-то сторона и не нравится Базарову, - продолжает Герцен, - она-то его и озлобляет в его гордом стоицизме. "Молчите в своем углу, коли сил нет что-нибудь делать, а то и без вашего хныканья тошно, - говорит он, - побиты, ну и сидите побитые ... Что вам, есть, что ли, нечего, что плачете, это все барские затеи", и т.д. Писарев должен был так говорить за Базарова, этого требовала его роль".

Писаревскому Базарову Герцен отвечает: "Счастье, что рядом с людьми, которых барские затеи состояли в псарне и дворне, в насиловании и сечении дома, в раболепстве в Петербурге, нашлись такие, которых "затеи" состояли в том, чтоб вырвать из их рук розгу и добиться простора - не ухарству на отъезде поле, а простора уму и человеческой жизни". "Печальная загадка", - восклицает Герцен, - как у молодого поколения недостало ясновидения, такта, сердца понять все величие декабристов, этих "блестящих юношей, выходящих из рядов гвардии, этих баловней знатности, богатства, оставляющих свои гостиные и свои груды золота для требования человеческих прав, для протеста, для заявления, за которое - и они знали это - их ждали веревка палача и каторжная работа?" Базаров "сердится на то, что эти люди явились в единственном сословии, в котором было какое-нибудь образование, какой-нибудь досуг и какая-нибудь обеспеченность, - бессмысленно".

"В сущности, наших юношей приводит в ярость то, что в нашем поколении выражалась *наша* потребность деятельности,

наш протест против существующего *иначе*, чем у них, и что мотив того и другого не всегда и не вполне зависел от голода и холода.

Нет ли в этом пристрастии к однообразию того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность дела и из военных эволюций - шагистику? Из этой стороны русского характера развились статская и военная аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявление, отступление - считалось непокорством и возбуждало преследования и непрерывные придирки. Базаров - не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его - выговор высшего низшему".

Поведение Базарова сбивается на *аракчеевщину*! Герцен, наконец, ставит правильный диагноз. Между нашими, между Онегинскими, Печоринскими, детьми просвещенного общества, и Базаровскими, негодующими на барские затеи, нет никакой красной нитки, никакой преемственности; Базаровы - чужие, *не наши*, они возникли на другой, не просвещенной почве, росли сами по себе, пропитанные грубой сущностью, русским вековым мракобесием, не признающим никаких других прав человека, кроме как вызванных голодом и холодом, не выносящим проявления личных чувств и размышлений.

Кому любить писаревского Базарова? А кому его бояться? Неужели базаровщина - современная форма аракчеевщины? Если базаровщина - болезнь нашего времени, заключает Писарев, то ее придется выстрадать. У нее нет будущности, возмущается просвещенный Герцен. Необходимо от нее избавиться во имя просвещения. Кого следует опасаться? Базарова или базаровщины? Во всем виноват Тургенев, решает Герцен: "Уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил <...> . Наука спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким и нескрываемым презрением. Наука учит нас больше, чем Евангелие, смирению <...> . Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда как врач, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией".

Неужели можно просветить Базарова наукой? Просветить или воспитать? Герцен сам в этом сомневается. Не сталкивается ли он постоянно в эмиграции с полупросвещенными, не воспитанными Базаровскими? Не впадает ли он при них в жалкое положение Кирсановых? Ведь не принадлежит ли он сам, по своему

происхождению, к обществу "поношенных представителей дворянства" - к просвещенному обществу? И тон второго письма к Огареву, упорному защитнику, вопреки всему, "молодого поколения", резко меняется. Герцен ему напоминает: "Декабристы - наши великие отцы, Базаровы - наши блудные дети.

Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатность сил.

Все это переработалось, стало иным, но основы целы. Что же наше поколение завещало новому? *Нигилизм*".

Что такое нигилизм? "... Это логика без структуры, это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом <...>. Разумеется, если под *нигилизмом* мы будем понимать обратное творчество, т.е. превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм, в надменное "слова руки", в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие ученые нигилисты всего меньше подойдут под это определение, и одним из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и, пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр". Герцен придает нигилизму одно значение - отрицания: когда Белинский не признавал, что дух Гегеля приходит в самопознание в человеке, он был *нигилистом*, когда Бакунин уличал берлинских профессоров в робости отрицания, он был *нигилистом*, когда петрашевцы хотели ниспровергнуть все божественные и человеческие законы и разрушить основы общества, они были *нигилистами*. С тех пор нигилизм расширился, яснее сознал себя, стал доктриной, принял многое из науки, вызвал талантливых деятелей. *Но новых начал, принципов он не внес*. Или где же они? В заключение Герцен прямо обращается к Огареву: "На это я жду ответа от тебя или, пожалуй, от кого-нибудь другого и тогда буду продолжать"⁶⁷⁴.

Ответа не будет. Герцен тем более испытывает чувство одиночества, что старый его товарищ Бакунин делит целиком мнения "женевских скорпионов". Он поселился тоже в Женеве и придает все более и более европейское значение своей революционной деятельности. Он выступает в Женеве в 1867 г. на съезде "Мир и Свобода" вместе с Гарибальди. В Италии он создает "Междуна-

родное революционное братство", затем "Международный союз социалистической демократии", объединявший *латинских* революционеров и спорит с Марксом и с немцами. Прибывшего из России молодого С.Г. Нечаева он фамильярно прозвал своим "boy" и признает его своим "духовным наследником". Вместе с Ткачевым, в России, Нечаев составлял *программу революционных действий*; Бакунин ему целиком доверяет и делит его убеждение в неминуемой революции в России. Герцену остается еще год прожить, когда он принимается за свое последнее писание "К старому товарищу". Он сообщает об этом Огареву 25 февраля 1869 г. из Ниццы. Первый набросок, "Между старичками", он намеревается опубликовать в номере "Полярной Звезды", который никогда не выйдет в свет, или где-нибудь в России, конечно, анонимно. Вернувшись в Женеву в мае, он продолжает работать над своими "письмами", в то время как Бакунин выпускает брошюру "Постановка революционного вопроса". Он в ней объявляет обманчивой любую попытку ввести "либеральный республиканизм", излагает свою анархистскую программу и призывает "идти в народ". Пора Герцену вступить в дело. Он завершает свой очерк в Париже, в июне и июле, а в Брюсселе, в августе, он читает три из четырех писем публицисту А.П. Пятковскому; будучи сотрудником в "Современнике" и в "Неделе", тот может оказаться полезным для публикации в России.

Очерк обрывается многоточием: "Все это истреблено во время революции"... Брюссель. Июль 1869 г. Он не окончен, Герцен об этом сожалеет в письме Огареву, в сентябре. Вечный *скиталец* возвращается в Париж, отправляется в Флоренцию, к своей больной дочери, затем в Ниццу и, наконец, в Париж, где 21 января 1870 г. он скончается внезапно. Публикация его посмертного произведения оказывается проблематичной. Огареву она кажется несвоевременной, он не решается. В марте 1870 г. его супруга Наталия Тучкова-Огарева получает письмо от мнимого Бюро иностранных агентов русского революционного общества "Народная Расправа". Автор письма - Нечаев; он запрещает публикацию очерка и остальных последних произведений Герцена; он их считает вредными для революционного движения в России. Возмущенный этим *диктатом*, Саша, сын Герцена, их публикует осенью того же года в Женеве, за свой счет.

Какой вред причиняют "Письма" Герцена "Народной Расправе" и ее сторонникам? С самого начала, в первом письме,

Герцен уверяет "старого товарища", что их занимает *один и тот же вопрос*. "Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала". Однако разногласие в оценке сил и средств таково, что быстро можно убедиться в полном расхождении и в области начал и теорий. Герцен напоминает Бакунину его знаменитую фразу: "Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust"* и отвергает анархистскую программу его брошюры "Постановка революционного вопроса". Используя ключевые слова, "постепенность" и "своевременность", Герцен занимает, на самом деле, позиции Тургенева. "Я нисколько не боюсь слова "постепенность", опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлема всякому процессу разума. Математика передается постепенно". "Всякая попытка обойти, перескочить сразу - от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью - приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям".

"Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось - мы на авось не пойдем". На авось именно готов идти Бакунин. Он провозглашает: "Мы понимаем революцию, в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями, и разрушения того, что на том же языке называется "общественным порядком". "Я не верю, - отвечает Герцен, - в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам <...> . Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения, - апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам. Проповедь к врагу - великое дело любви. Они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных". "... Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были безумны, одним отрицанием, как бы оно ни было умно, бороться нельзя, - сказать "не верь!" так же авторитетно и, в сущности, нелепо, как сказать "верь!" Насильем завоевать старый буржуазный порядок было преждевременно в 1848 г. "Потому что он *внутри не кончен и потому еще, что ни мир построящий, ни новая организация* не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь, Ни одна основа из тех, на которых

* "Страсть разрушения есть творческая страсть" (нем.).

покоится современный порядок, из тех, которые должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и распатана, чтоб ее достаточно было вырвать силой, чтоб исключить из жизни. Государство, церковь, войско отрицаются точно так же логически, как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами".

Суждения Герцена основаны на горьком опыте неудачных революционных попыток несвоевременно "ускорить ход истории". "Прежние перевороты делались в сумерках, сбивались с пути, шли назад, спотыкались ... и, в силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разных вер и геройств". Он ссылается на тяжелые испытания 1848 г. "Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплоченный в одну дружину, мир консервативный побил его - и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать, - но что было бы, если б победа стала на сторону баррикад? - в двадцать лет грозные бойцы высказали все, что у них было за душой?"

Преждевременный революционный процесс подчиняется обычно классической схеме развития: *переворот*, отмена авторитарного режима, временное проявление народной воли, максимализм в требованиях и нигилизм по отношению к органам порядка, реакция консерваторов, контрреволюция, восстановление авторитарного режима. Герцен предлагает другой вариант, победу максималистов, последствия которой оказываются еще хуже, он их кратко перечисляет: разорение, застой, голодная смерть, но задает при этом основной вопрос: как начать водворение нового порядка за упразднением государства? "Откуда брать "экзекуцию", палачей, и пуще всего фискалов - в них будет огромная потребность? Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов? Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?" Герцен обращается к "любезным друзьям", к Бакунину и к Огареву - оба под влиянием Нечаева в организации "агитационной кампании"; он использует аргументы, от которых бы не отказался его "старый противник" Борис Чичерин, и терпеливо объясняет: "Государство - форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям <...> . Государство не имеет собственного определенного

содержания - оно служит одинаково реакции и революции - тому, с чьей стороны сила <...>. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министром революции. Инициатива освобождения крестьян принадлежит самодержавному царю. Этой государственной силой хотел воспользоваться Лассаль для введения социального устройства. Для чего же - думалось ему - ломать мельницу, когда ее жернова могут молотить и нашу муку? <...> Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распущении государства в федерально-коммунальную жизнь лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того, что женщина беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство - форма *преходящая*, не следует, что эта форма уже *прешедшая*".

Проект немецкого социалиста Лассаля - создать ассоциации рабочих с помощью демократического, "надклассового" государства, будет подвергаться критике К. Маркса ("Критика Готской программы", 1875 г.) во имя классовой борьбы пролетариата. Лассаль погиб на дуэли, а социальную его реформу проведет Бисмарк во главе авторитарного государства. Герцен, упоминая Лассаля, отмежевывается, таким образом, и от анархистов и от коммунистов и обрисовывает политическую линию социал-демократии.

Герцен не примыкает к "наступающему, неизбежному, беспощадному восстанию" не потому, что он перепуган словами разбой или грабеж, призывом к террору; он возмущен грубой демагогией, которую развивает в своей брошюре Бакунин, обращаясь к "молодым братьям" в России: "Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа". Герцен отвечает: "Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной".

Какой революции вредны посмертные письма Герцена? О какой революции вообще идет тут речь? Герцен отмежевывается от своих "любезных друзей", потому что он больше не разделяет их иллюзий по поводу "народности" и мнимых качеств "народа". Он говорит языком Тургенева, когда заявляет: "Народ - консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне

существующих условий: его идеал - буржуазное довольство <...>. Он даже новое понимает только в старых одеждах ризы".

"Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освободились *внутри*. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы"⁶⁷⁵.

Постепенно восстанавливаются дружеские отношения между "стариками". Тургеневу 51, а Герцену 57 лет. Старость не радость, 2 марта 1869 г. Тургенев жалуется Герцену: "Перевалившись за 50 лет, человек живет как в крепости, которую осаждает - и рано или поздно возьмет смерть ..." - и сообщает, что сам он страдает подагрой, что Боткин лежит, как пласт, в параличе в Риме, а Милютин доживает последние дни в Швейцарии. На самом деле у Боткина сильный ревматизм в суставах а Н.А. Милютин доживет еще до 1872 г. 5 марта 1869 г. Герцен отвечает, что ездил в Виши лечить свой диабет и спрашивает, не опасно ли ему посетить "прусскую немчину" для лечения в Карлсбаде. Тургенев его успокаивает - никому в голову не придет его там беспокоить, и добавляет: "Во мнениях мы расходились и расходимся, но это бывает между самыми близкими друзьями". Он сожалеет о своем "безучастном отношении" к Огареву. "Я *à tort ou à raison** - никогда не был высокого мнения об его литературной деятельности, - но всегда искренно уважал его и знаю, какое у него золотое сердце".

О намерении прекратить на неопределенное время издание "Колокола" Герцен объявил в статье "Письмо к Н. Огареву" (в ¹ 14-15 от 1 декабря 1868 г.). "Спокойно покинем мы наше журналистическое поприще, никем не побежденные, никем не опереженные". Он признает лишь одну ошибку - предположение, что французское издание сможет заменить русский "Колокол". "Нашим истинным призванием было сзывать своих живых и издавать погребальный звон в память своих усопших - а не рассказывать нашим соседям историю наших могил и наших колыбелей. Тем более, что это их не слишком-то сильно интересует". В прошлом "Колокол" бил в набат, теперь он звонит отходную. Тургенев одобряет: "... особенно мне было досадно, что ты мог вообразить, будто французам нужно знать правду - о чем бы то ни было - не говоря уже о России! Наши дела - и мы сами - отнесены в прошедшее: хоть бы там остаться на время!" При

* справедливо или нет (фр.).

этом, в том же письме от 11 марта 1869 г. он сообщает о слухах по поводу того, что Герцен ходатайствует о возвращении на родину, все русские журналы об этом толковали⁶⁷⁶.

Герцен отвечает 14 марта из Ниццы: "Сделай одолжение, оборони меня - языком, пером, негодованием, авторитетом от уморительного нареkania, что я хлопочу через Раевского, попа в Вене, о возвращении <...>. Разумеется, я в Россию ехать хочу - и когда можно будет туда ехать без каудинских фуркул, поеду <...>. Погодин меня уговаривал в "Монтрях" - и увещал перспективой года или двух в Соловецком монастыре, а потом "на жительство пошлют куда-нибудь - вот и все". Вы, говорит, напишите историю революции - никто лучше не напишет, поднесите ее государю и напишите: "Отпусти прегрешения молодости моей"⁶⁷⁷.

Тургенев сообщает Герцену, что "известие" опровергается в русских газетах, но, отвечая на его подозрение, что слухи будто бы пустил шеф жандармов, граф Шувалов, он его уверяет, что, если бы даже он вернулся с повинной, его бы ждало не прощение, а строгое наказание оттого, что он оскорбил семью статьей об Александре Федоровне, вдовствующей императрице⁶⁷⁸. Эту статью под названием "Августейшие путешественники" Герцен печатал в "Колоколе" в июле 1857 г., он собирался создать целую серию фельетонов, сатирических очерков на ряд членов царствующей династии, но Огарев и Тургенев его отговорили.

Куда деваться? Не вернуться ли в Россию? На самом деле, Герцену это предлагал Погодин, они встречались в Монтре. Погодин его приглашал к себе и уговаривал покаяться и просить "всемиловейшего прощения". Герцен подарил ему свою брошюру "Samicia Rossa - La chemise rouge - Garibaldi à Londres"*, Bruxelles 1865 г., с посвящением: "Михаилу Петровичу в память встречи в Монтре 20 сентября 1865 г.". Едва ли Погодин одобрял восторженное описание пребывания Гарибальди в Лондоне, обмена мнениями с профессионалами-революционерами, Гарибальди и Мадзини, и поднятия тостов за героическую Польшу, за новую Россию, за ее лозунг, *Земля и Воля*, за Герцена, ее родоначальника. Тем не менее, Погодин описывает свою встречу с Герценом в статье "Дорожные записки 1865 года" ("Русский" от 10 апреля 1867 г.). Огареву, который прислал ему этот номер журнала, Герцен пишет из Ниццы 8 сентября 1867 г.: "Он рассказал встречу верно, хотя и есть пропуски преднаме-

* "Красная рубашка - Гарибальди в Лондоне" (ит., фр.).

ренные. Далее я его журнал в руки брать не хочу - это бред в духе холопской демократии, пропущенной через кишки попа и пузырь старой няньки, любящей Митрофанушку". Погодин извещает Герцена о публикации статьи, где он упоминается, и о том, что он, Погодин, продолжает принимать участие в его судьбе. Рассчитывает ли Герцен на его влияние? Ему скорее хочется найти доступ для публикации в русской печати. Он отвечает ему 13 августа 1867 г.: "Рознь нашу мы оба знаем, но, стало, есть же родная русская бечевка, которая нас связывает", и задает вопрос: "Зачем в России нельзя печатать моей статьи - ну хоть без подписи?"⁶⁷⁹ При этом, переговоры о сотрудничестве в русской печати Герцен ведет и с "Голосом", и с "Отечественными Записками". Неуспешно. Желание его осуществится посредством А.П. Пятковского от имени редакции "Недели". Эта политическая и литературная газета выходит еженедельно с 1866 г.; она приняла радикальное направление с 1868 г., в ней П.А. Лавров публикует тогда свои "Исторические письма" под псевдонимом П. Миртов. Герцену открывается возможность выступать в легальном петербургском издании с серией очерков, "Скуки ради", под псевдонимом И. Нионский. До того, как в мае 1869 г. издание газеты приостановлено на 6 месяцев. Тем и оканчивается сотрудничество Герцена. Он намерен был включить в эту серию свои письма "К старому товарищу". Сами очерки не заслуживают особого внимания. Пропитанные характерным герценовским юмором, они приводят портреты уродов-французов, провинциальных буржуа, в ресторане, в поезде или в "вонючем" омнибусе; женеvцы не заслуживают больше уважения. Обличать "высокомерное невежество" буржуа вызывает не больше трудностей с царской цензурой, чем "Lettres de Marigny" двадцать лет тому назад, но Герцен, как ребенок, радуется, что очерки его выходят, хотя и с опечатками, но без малейшего пропуска, и что весь Петербург читает.

Больше препятствий ожидало, вероятно, неопубликованное продолжение, в виде рассказов "доктора", единственного положительного лица в этих очерках. "Скептически настроенный доктор", которому "все раскрыто: чего больной не доскажет, то здоровые добавят", описывает судьбу Ральера, последнего из якобинцев, умирающего в день Февральской революции 1848 г. Это дает возможность Герцену восхвалить пламя революционного движения в 1789, в 1830, в 1848 гг. в лице непримиримых "последних римлян", и свести счеты со злейшими своими врагами, вождями

буржуазной республики; хваля лицемерно непоколебимых борцов прошлого, они сохраняют добрые отношения с католицизмом, чтобы "не насиловать совесть огромного большинства французов", они жестоко подавляют восстание рабочих и открывают путь реакции и Второй империи. В эпилоге доктор предвидит, что социализм, как все религиозные препинания, приведет не к *гелу*, а к *крови*. Герцен пишет этот рассказ в Ницце в марте 1869 г., а несколько месяцев спустя, в Париже, он отмечает: "Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось, окончательно. Явились новые силы и люди"⁶⁸⁰. Герцен предчувствует неизбежность перелома: будет ли война или революция? Францию ожидает и то и другое, но как последний якобинец, последний, русский либерал-революционер, декабрист по убеждению, он умирает накануне потрясений, которые вероятно привели бы его к тому же отчаянию, как и июньские дни 1848 г.

Тургенев сообщает Герцену 18 марта 1869 г., что на Берлинском конгрессе "Лига мира и свободы" Бакунин выступал сторонником свободы и выдумал новое слово: *congrégationiste* (вернее *collectiviste*) против коммунизма⁶⁸¹. Он отправляет Герцену свою фотографию и упоминает о своей статье "Воспоминания о Белинском", вышедшей в 1 4 "Вестника Европы" за 1869 г.: Белинский вел чуть ли не монашескую жизнь, не походя на тогдашних москвичей; его вечно мучили сомнения - он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; несмотря на ограниченность его знаний, он заслуживает до некоторой степени название русского Лессинга. Кто лучше его оценил Лермонтова, Гоголя, Гончарова - и самого Пушкина - и подверг анализу критики представителей псевдоклассицизма и *ложновеличавой школы*: Марлинского, Кукольника, Бенедиктова и пр.? Но главная заслуга Белинского в том, что он был *идеалист*. "Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией, - Западом, наконец. Люди благонамеренные, но не доброжелательные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит; недоразумения тут немислимы. Белинский посвятил всего себя служению этому

идеалу <...>. Он был западником, не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя, но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом - для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны <...>. Белинский был вполне русский человек, даже патриот - разумеется, не на лад М.Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию, но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы - вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился". "Дело Петра Великого было точно насилием, было тем, что в новейшее время получило название *coup d'état**, но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще донныне не прекратилась".

Тургенев четко отмечает, с какими противоречиями сталкивался "идеалист" Белинский, носитель *Igeu*, вмещающей патриотизм и свободолюбие, просвещение и насильственные, свыше исходящие меры, Идеи, требующей "примирения с действительностью", с "революцией сверху", с государственным переворотом. Однако удивительно, что при этом ясном изложении, в краткой заметке, Тургенев подсмеивается над молодыми философами, толкующими над изречением Гегеля "что разумно - то действительно, что действительно - то разумно", и не понимающими, что эта знаменитая формула лишь тавтология⁶⁸². Как можно говорить о тавтологии, об излишнем повторении того же самого, когда именно эта формула возбудила проблематику "примирения с действительностью" в спорах между Белинским и Бакуниным, а затем, при невозможности преодолеть основное противоречие, открыла русскому мышлению возможность измерить и осветить поле битвы, на котором уже распределялись общественные и духовные силы будущих столкновений между либералами и радикалами, государственниками и народниками, почвенниками и социалистами.

* государственного переворота (фр.).

Тургенев навещает Герцена в Париже буквально накануне его неожиданной кончины. После встречи в Лондоне, в мае 1862 г., они больше не виделись. Герцен сообщает об этом Огареву в письме от 15 января 1870 г. "Тургенев был, весел и здоров, у него подагра и больше, кажется, ничего - рассказывает анекдоты, сидит как лунь". Оба они смеются над анонимной статьей в "Голосе" от 23 декабря, в связи с публикацией семитомного издания сочинений Тургенева: его обвиняют в отступничестве, в презрении к России, в неискренности и "коклетничании" с нигилистами. В приписке на обороте Герцен добавляет карандашом: "Сегодня расклеился - болит бок и грудь - Шарко велел сегодня полежать - он славный Dr."⁶⁸³

Герцен простудился 12 января на похоронах журналиста Виктора Нуара, убитого 10 января принцем П.-Н. Бонапартом. Принимая крупный политический размер, эти похороны являлись долгожданным пробуждением оппозиции во Франции, предвестником падения ненавистной империи. Несмотря на заботливый уход доктора Шарко, впоследствии знаменитого специалиста по лечению нервных заболеваний, Герцен умирает в ночь на 21 января. Тургенев извещает П.В. Анненкова: "К тому же, как нарочно, я не далее как неделю тому назад виделся с ним в Париже, завтракал с ним (после семилетней разлуки) и никогда он не был более весел, разговорчив, даже шумен. Это происходило в прошлую пятницу, вечером он занемог, на другой день я уже видел его в постели в сильном жару с воспалением легких; каждый день я, до моего отъезда, до прошлой среды, посещал его семейство, его уже не мог видеть - доктор не позволял; и, уезжая, я уже знал, что он безнадежен".

Тургенев сразу заботится о сохранении писем Герцена, задумывает о посмертном издании его сочинений, предлагает написать очерк об их взаимных отношениях в Москве, в Париже, в Лондоне. Письма его к Герцену будут опубликованы в Женеве в 1892 г., после его смерти. Тургенев возмущен мыслью, что "вероятно, все в России скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил"⁶⁸⁴. Но очерка он не написал.

"Старый товарищ" Бакунин тоже переживает эту кончину и собирается описать политическую роль Герцена, но первая его забота - уличать во лжи авторов "ложных суждений" о нем в парижской печати, "преданной интересам Российской империи": Герцен, громкий голос в Европе, самый известный русский полемист, славный революционер, редактор свободомыслящих газет, посвятивший свое

состояние ныне совершенному великому делу, освобождению крестьян, будто бы умер, помирившись с политикой, проводимой Александром III! "Надо ли мне опровергать эту нелепую ложь? - восклицает Бакунин в парижской газете "La Marseillaise" от 2 марта 1870 г. Должен ли я утверждать, что до конца своей жизни Герцен беспрестанно проклинал русское правительство, русскую администрацию и всю политику внутреннюю, как и внешнюю царя Александра II и все время требовал восстановления свободной Польши, *за пределами* свободной России?" Тем не менее, он признается, что возник между ними "серьезный антагонизм" по поводу революционной практики, но это касалось лишь средств борьбы, но ни в каком случае самой цели⁶⁸⁵.

А "серьезный антагонизм" возник по совсем другой причине с тех пор, как Нечаев вмешался в жизнь Бакунина. Будучи вольным слушателем в Петербургском университете, Сергей Геннадиевич Нечаев (1847-1882) читал статьи Бакунина в журнале "Народное Дело", выходящем в Женеве в 1868-1870 гг. Копии этих статей ходили по рукам студентов. Он познакомился с Ралли-Арбором, членом кружка Николая Ишутина, уцелевшим после репрессии по делу Каракозова. С ним и с П. Ткачевым он создает комитет связи между студенческими движениями, для подготовки революции к 19-ому февраля 1870 г., ко дню, когда наступит срок, назначенный крестьянам для выкупа их надела по условиям, предложенным государством. Члены комитета убеждены в том, что они в массовом порядке откажутся, и составляют программу действий, "катехизис" обязанностей для всех членов. В феврале 1869 г. они ведут агитационную кампанию по всем университетам, возвращаются в Петербург и подвергаются арестам. Нечаев избегает судьбы Ралли и Ткачева и добирается до Брюсселя, овеянный славой, им самим созданной: он будто бы бежал из Петропавловской крепости! В Женеве он связывается с революционными организациями во имя больше не существующего *комитета*. Он поселяется у Огарева и знакомится с Бакуниным. Вместе они решают организовать агитационную кампанию; им нужны средства, Огарев обращается к Герцену для выдачи Нечаеву 20 000 франков из "фонда Бахметева". Павел Александрович Бахметев, саратовский помещик, уехал из России в Лондон в 1857 г. и передал Герцену крупную сумму денег на революционную пропаганду. Герцен вложил эти деньги в облигации в Лондоне. Несмотря на свое недоверие к Нечаеву, он выдает ему половину этого капитала. В сентябре 1869 г. Нечаев уже вернулся в Россию, поселился у Петра

Успенского, тоже бывшего "ишутинца" и создал тайное общество "Народная расправа", заявляя, что он представитель "Международного революционного комитета" в Женеве. За несколько недель ему удается завербовать много студентов, особенно в Петровской академии. Следуя правилам конспиративных организаций, он их включает, по пять или шесть человек, в автономные кружки. Существование этого общества раскрывается, когда 25/7 ноября 1869 г. находят в пруду, при Петровской академии, труп студента Ивана Иванова: Нечаев его подозревал в измене. Репрессия захватит больше ста человек, а Нечаеву опять удастся увильнуть. В январе 1870 г. он уже в Женеве и запрыгает "стариков" в свою февральскую революцию. Им поручено писать прокламации, адресованные и благородному российскому дворянству, и русским студентам, и русскому купечеству, и русскому мещанству, и сельскому духовенству, и, от Русского Революционного Общества - женщинам. Бакунин берется сам обращаться к офицерам, но при этом он должен заботиться о судьбе своего "протезе" в гостеприимной Швейцарии: "вечно гонимый" Нечаев находится под угрозой ареста и выдачи России, по делу убийства И. Иванова.

Нечаев требует от Бакунина, чтоб он посвятил себя исключительно подготовке революции, а он, вечно без копейки, взялся за перевод "Капитала" Карла Маркса; петербургский издатель Поляков ему выдал 300 рублей авансом в 1869 г. Неисправимый оптимист Бакунин уверен, что справится с переводом в 4 месяца. В феврале 1870 г. Нечаев его застаёт в Локарно, в столкновении с "экономической метафизикой" Маркса; он убеждает его бросить эту работу во имя грядущей революции. Затем, по своей собственной инициативе, он обращается, во имя мнимого Бюро иностранных агентов русского революционного общества "Народная Расправа", к посреднику между издателем и Бакуниным, к студенту Любавину в Гейдельберг, осыпает его оскорблениями и угрозами, и постановляет: если паразиты его породы считают важным для России переводить Маркса, пусть сами берутся за это, а он (Любавин) должен немедленно освободить Бакунина от всякого обязательства по поводу перевода, а то революционному комитету придется приступить к нему вторично, с "менее цивилизованными манерами". Во имя того же мнимого Бюро, с теми же угрозами, Нечаев 7 марта пытается задержать публикацию посмертных "Писем" Герцена.

Тем временем Огарев одобряет проект Нечаева завербовать в "организацию" Наталию, дочь Герцена. Она приезжает из Парижа

в Женеву и описывает в своем "Дневнике" впечатление, которое производит на нее Нечаев, особенно его глаза, скрывающиеся за темными очками. Он драматизирует положение дел: Комитет намерен организовать в Женеве прием "наших", бежавших из России. Жилище Огарева вполне годится, но сам он стар, часто болен, не способен быстро реагировать на события. Нечаев приводит случай: пришла телеграмма, Огарев ее открыл, начал читать ... и заснул! К счастью он сам пришел вовремя и успел отправить депешу кому надо, а то могло погибнуть, Бог знает, сколько людей! Он просит Наталью (Тату) взяться за это дело вместо ненадежного Огарева⁶⁸⁶. Несмотря на "маразм", Огарев может еще быть полезным; у него Нечаев вырывает последние средства из "фонда Бахметева" с целью финансировать свои разъезды, публикацию прокламаций и новое издание "Колокола". Выйдет всего 6 еженедельных номеров с апреля до мая 1870 г. В программной статье Огарев принимает новый тон и в этот решающий час, когда речь идет не о реформах, предпринятых правительством, а об отмене царской власти, он обращается только к "человеку дела". Нечаев, под разными предлогами, обращается к украинцам, дворянам, ремесленникам, купцам, чиновникам, верующим. Главная его забота - привлечь, объединить побольше людей с одной целью - свергнуть как можно скорее самодержавие. Огарева этот оппортунизм раздражает, но забавляет Бакунина, желающего убедиться удастся ли этот "фокус".

Но час его разрыва с Нечаевым приближается. Тогда как Нечаев предпринимает махинацию, чтобы отстранить "стариков" от редакции "Колокола", прибывает в Женеву Герман Лопатин с целью расследовать дело со студентом Любавиным. Этот "новичок", несмотря на угрозы "Бюро иностранных агентов", посмел резко критиковать поведение Бакунина. Его смелость вызвала упреки Лопатина. Лопатин - закаленный революционер, он извлек урок из неудачи терроризма, при организации Ишутина, и вместе с Волшовским он открыл "Общество рубля", педагогическое движение с целью ближе ознакомиться с народом и провести в России революционную пропаганду на законных условиях. После ареста в 1868 г. он бежит за границу и, придя на смену Бакунину, принимается за перевод "Капитала". В Женеве он выслушивает Бакунина в присутствии Нечаева и отмечает двусмысленное поведение Бакунина: он будто поражен, что Нечаев его обманул, но при этом, он как бы испытывает облегчение, будто для него открывается возможность вывернуться из за-

труднительного положения. Лопатин поверяет дочери Герцена: он убежден, что на самом деле Бакунин бросил работу над переводом, еще до того как его письменно обругал "новичок"; ведь еще до этого Любавин его осыпал письмами, напоминал ему сроки доставки обещанного перевода. Можно в этом убедиться, зная "плохую репутацию" Мишеля в подобных ситуациях и его стремление "увильнуть", когда неосторожно подписанный договор грозит ему лишением "свободы", того, чем он больше всего дорожит в жизни, но тогда стычка с Нечаевым неизбежна.

С 2-го до 9-го июня 1870 г. в Локарно Бакунин ему пишет письмо. Интерес письма не в изложении жалких упреков, пошлых подробностей, вызванных ненадежным бытом политических эмигрантов, а в уникальной возможности, данной Бакунину изложить искренне и содержательно свое мировоззрение, целиком в противоположность понятиям его "boy 'я", Нечаева.

Бакунин выражает сначала чувство солидарности: "Начнем с признания, что наша первая компания, начатая в 1869 г., потеряна, мы разбиты. Разбиты по двум главным причинам: 1-ая, народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения еще не переполнились <...>. 2-ая причина: организация наша и по качеству и по количеству своих членов и по самому способу своего составления, оказалась не достаточною. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много драгоценных людей". При этом обмануть Бакунина Нечаев не сумел: "На вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и *мы все* горячо любим и глубоко уважаем Вас, именно потому, что никогда еще не встречали человека столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашею главною, исключительной системою, вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела".

Скрытности Нечаева Бакунин отвечает откровенностью. Он признает простодушно, что всю жизнь боролся с бедностью, и, когда ему удавалось предпринять что-нибудь полезное, он делал это не на свои, а на чужие средства; это навлекло на него тучу клеветы, особенно со стороны "русской сволочи". К тому же он

становится стар, страдает от хронической болезни, требующей известного ухода; у него жена и дети, которых он не может обречь на голодную смерть. Как же обеспечить свою семью, отдавая весь труд свой общему делу? Вот уже *30 лет* он отделен от России, прожив за границей, просидев в заключении в Саксонии, в Австрии, в Петропавловской крепости, в Шлиссельбурге, пробыв 4 года на свободе в Сибири с 1857 г. до 1861 г. "Это, разумеется, дало мне возможность ближе познакомиться с русским народом, с мужиками, с мещанами и с купечеством и то специально сибирским, но не с революционной молодежью. В мое время не было других политических ссыльных в Сибири, кроме немногих декабристов и поляков. Знал я еще, правда, 4-х петрашевцев: Петрашевского, Львова и Толя - но эти люди представляли собою нечто переходное от декабристов, к настоящей молодежи, были доктринерными, книжными социалистами, фурыеристами и педагогами. Настоящей молодежи, той в которую я верю - этого бессословного сословия, этой бездомно -<...> фаланги народной революции, о которой я говорил несколько раз в своих писаниях, я не знаю и только теперь начинаю мало-помалу знакомиться с нею.

Большая часть русских людей, приезжавших на поклон к Герцену, в Лондон, были порядочники или литераторы, или либеральствующие и демократствующие офицеры. Первый серьезный революционер был Потебня, второй Вы <...>. Я убедился, и до сих пор остаюсь убежденным, что будь Вас таких хоть немного, Вы представляете серьезное дело, единственное серьезное дело в России, и раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам всеми силами и средствами, и связаться сколько могу с вашим русским делом".

Бакунин напоминает Нечаеву главные черты программы, на основании которой они соединились в прошедшем году: "Всецелостное разрушение Государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной Цивилизации, посредством народностихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальной, но безыменной и коллективной диктатурой друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество, и действующих всегда и везде ради единой цели, по единой программе". Бакунин упрекает Нечаева в том, что он отошел от этой программы; он ценит его неутомимую силу, преданность, страсть, но отмечает у него один слабый пункт, на который не обратил надлежащего внимания: "это ваша

неопытность, незнание людей и жизни, и сопряженный с ним фанатизм, не чуждый мистицизма. Незнакомство с общественными условиями, привычками, нравами, мыслями и обычными чувствами так называемого образованного мира, делает Вас даже и теперь еще, неспособным действовать с успехом в его среде, даже в видах его разрушения".

"Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей, должно быть нормальным, естественным ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм, Вы хотели бы, да еще и теперь хотите сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение губительно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять мимо. Никакой человек, как бы он не был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна не была его дисциплина, и как бы могуча не была его организация, никогда не будет в силах победить природу. Пытаться ее победить могут только религиозные фанатики и аскеты - и потому я удивлялся недолго и немного, встретив в Вас какой-то мистически-пантеистический идеализм <...> . Да, мой милый друг, Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола".

В толковом словаре Даля, *абрек* - отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, приставший для грабежа к первой шайке. Это слово кавказского происхождения Даль сопоставляет - вопросительно - с глаголом обречься. Оброк первоначально - не поземельная дань, а зарок, завет, заклятие, а обреченный тот, кто предназначен к какой-нибудь неизбежной участи. Не на этот ли смысл намекает Бакунин, когда он упоминает *Катехизис* революционера, добавляя *ваш Катехизис*?

В глазах Бакунина его *воу* не просто абрек, невоспитанный дикарь, которого можно было бы приручить. "Вы же, мой милый друг - и в этом состоит главная, громадная ошибка - Вы увлеклись системою Лойолы и Макиавеллия, из которых первый предполагал обратить в рабство целое человечество, а другой создать

могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, следовательно - также народное рабство - влюбившись в полицейско-иезуитские начала и приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать, душу и душу всего вашего общества - вследствие чего поступаете с друзьями, как с врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже поссорить между собою, дабы они не могли соединиться против вашей опеки, ищете силы не в их соединении, а разъединении, и не доверяя им нисколько, стараетесь заручиться против них фактами, письмами, нередко Вами без права прочитанными, или даже уворованными, и вообще их всеми возможными способами опутать так, чтобы они были в рабской зависимости у Вас".

"Я нисколько не сердился на Вас за то, что Вы старались постоянно преувеличивать предо мною вашу силу, это объективная и часто полезная, а иногда и смелая замашка всех конспираторов. Правда, что я видел в вашей старании обмануть меня, доказательство вашего, еще недостаточного, понимания людей".

"Вместе с тем, я очень хорошо видел и знал, что, обращаясь ко мне не как равный к равному, не как доверяющий к доверяющему лицу, вы, сообразно вашей системе и повинуюсь, так сказать, логической необходимости, смотрели на меня, как на опытное, на 3/4 слепое орудие для дела и употребляли меня, мою деятельность, мое имя как средство. Таким образом не имея, в действительности, той силы, о которой Вы мне говорили, Вы пользовались моим именем, для того чтобы создать силу в России, так что много людей действительно думают, что я нахожусь во главе тайного общества, о котором я сам, как Вам, впрочем, известно, ровно ничего не знаю".

Разрешить Нечаеву использовать его имя, чтобы привлечь новых сторонников? Бакунин убежден, что "русский революционный Комитет должен и может действовать только в России, и управление русской революции - делать из-за границы нелепость"⁶⁸⁷. Хотя он сомневается в надежности самого Комитета, хотя ответы Нечаева по поводу его общества его не удовлетворяют по численности, по материальным средствам оно незначительно, практического ума в нем еще очень мало, он не предполагает возможности существования другого столь же серьезного кружка, и отвечает положительно.

Но при этом у Бакунина другие соображения; он основал в 1868 г. "Интернационально-тайно-революционный Союз" и не может

предаваться исключительно русскому делу, хотя считает, что и то, и другое - одно общее дело. Создавать тайные организации, "Братство", "Союз" и пр. стало его главным занятием, но их программы, уставы, цели отражают скорее его измышления, чем практическую деятельность. В программе Союза он заявляет: "Мы естественные враги этих революционеров - будущих диктаторов, регулировщиков и попечителей революции - которые, еще до того, что уничтожены нынешние монархические, аристократические и буржуазные государства, уже мечтают о создании новых революционных государств, столь же централизующих и еще более деспотичных, чем ныне существующие государства"⁶⁸⁸. Во имя демократии, на Съезде "Лиги Мира и Свободы" в сентябре 1868 г. Бакунин объявлял: "Я желаю организацию общества и коллективной или социальной собственности снизу доверху, путем свободной ассоциации, а не сверху донизу, путем какого-либо авторитета"⁶⁸⁹. Эти политические предостережения предшествовали вторжению Нечаева в его жизнь, они были нацелены против вечных его врагов "государственников", против махинаций Маркса, который уже исключил из "Международного товарищества рабочих" (МТР) мадзинистов, тред-юнионистов, прудонистов и терпеливо расследует дело "Интернационально-тайно-революционного Союза", чтобы устранил и Бакунина.

Нечаеву Бакунин подробно объясняет, какой смысл он придает народной революции. Русский народ не может обойтись без революции. "Она не только отрицательно, она положительно неминуема, потому что в нашем народе, несмотря на все его невежество, исторически выработался идеал, к осуществлению которого он знаемо или незнаемо стремится. Это идеал - общинное владение землею с полной свободой от всякого государственного притеснения и от всяких поборов. К этому стремился он при Лже-Дмитриях, при Стеньке Разине, при Пугачеве и стремится теперь непрерывными, но разрозненными и потому всегда укрощающимися бунтами <...>, всякий раз, когда народный бунт удавался, хоть на некоторое время, народ наш делал одно; забирал всю землю в общинное владение, отправлял к черту дворян-помещиков, царских чиновников, а иногда и попов, и организовал свою вольную общину". Цель тайной его организации - возбудить в народе сознание его могущества, соединить все крестьянские бунты в один общий всенародный бунт. Одним из главных средств "должно служить наше вольное всенародное казачество,

бесчисленное множество наших святых и не святых бродяг, богомоллов, бегунов, воров и разбойников - весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнотовой цивилизации". Выбор между разбойничеством и воровством, восседающими на престоле: Бакунин, без колебаний, берет сторону народного разбоя, видит в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции, но признается Нечаеву, что для того, чтобы довести ее до конца, "надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны".

"Русский мир, государственно привилегированный и народный мир - ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция". Как довести ее до конца? Случись революция, провались государство, "русская деревня организуется без малейшего труда сама собою в тот же день", но "общины страшно разъединены, почти не знают друг друга и часто становятся друг другу во враждебное отношение", а "для организации будущей народной свободы необходимо, чтобы волости *собственным* народным движением соединились в уезды, уезды в области, области же образовали между собою вольную русскую конфедерацию". Сам народ вследствие невежества и разъединения не в состоянии это совершить непосредственно и самостоятельно. "Пробудить в наших общинах сознание этой необходимости, ради их собственной свободы и пользы, опять-таки дело тайной организации", только ее, ибо интересы правительства и привилегированных классов ей противны. Откуда взять этих "помощников"? Среди "образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода людей: три четверти, по крайней мере, ныне учащейся молодежи находятся именно в таком положении. Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян, ну да что говорить. Вы знаете этот мир лучше меня. Принимая народ за революционную армию, вот наш генеральный штаб, вот материал, драгоценный для тайной организации". Материал есть, но - новое препятствие на пути народной революции его надо организовать и *морализовать* а не развращать, следуя иезуитской системе "милого друга" Нечаева. "Страсть всенародного, общечеловеческого освобождения" становится новой религией. "Ближайшая цель ее - создание

организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народно-вспомогательную силу и сделаться практическою школою нравственного воспитания для всех членов".

Бакунин описывает долгожданное торжество стихийной революции: все порядки сломаны, больше нет ни власти, ни законов. "Взбаламученная грязь, которой огромное количество накопилось в народе, всплывает вверх <...>. Кажется ужасная и безвыходная анархия". Но тайная организация, разбросившая своих членов мелкими группами по всей империи, одушевленная единой мыслью, "выражающей самую суть народных инстинктов, хотений и требований <...> среди толпы людей, борющихся без всякой цели и всякого плана", действует! Она действует сообразно обстоятельствам, по тому же самому единому плану, не имея никакой официально признанной власти; "эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народным движением наперекор всем честолюбивым лицам, разъединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полнейшей народной свободы. Вот что я называю *коллективною диктатурою* тайной организации".

Где же взять крепких, умных, непоколебимо преданных людей, всецело поглощенных единой страстью всенародного освобождения для создания ядра этой организации? "Людей, которые отказались бы от личного исторического значения при жизни и даже от исторического имени после смерти"? Несмотря на промахи и ошибки, в которые его вовлекла ложная система, Нечаев принадлежит к числу этих редких людей: "*И вот единственная причина моей любви к Вам, моей веры в Вас помимо всего и моей долготерпимости с Вами, долготерпимости, которой однако пришел конец*". Чтобы все стало ясным, Бакунин приводит программу нового, созданного им общества - "Народное братство". Среди перечисленных пунктов большинство направлено именно против "ложной системы": "Равноправность всех членов и безусловная солидарность, абсолютная искренность между членами, исключение слабонервных, боязливых, тщеславных и честолюбивых. Вступая в общество, всякий член обрекает себя навсегда на общественную неизвестность и незначительность. Личный разум каждого теряется, как река в море, в разуме коллективном. Решение общего собрания - абсолютный закон. Каждый член имеет, в сущности, право знать все, но праздное любопытство исключается из

общества, как и бесцельные разговоры о делах и целях тайного общества". Перечислив 3 степени общества: общее, областное, уездное братства, Бакунин уточняет в последнем, 21-м пункте: "Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации". И он напоминает, что между братьями должны царить правда, честность, доверие, а хитрость, опутывания, а по необходимости и насилие - в отношении к врагам.

Нечаев - враг врагов Бакунина; может ли он при этом остаться его другом? Ему предъявлены жесткие условия: "А если не примете - решение мое непреклонно, я должен буду разорвать всякую связь с Вами и не сообразуясь более ни с чем, кроме собственной совести, своего понимания и долга, буду действовать самостоятельно"⁶⁹⁰.

Последняя попытка примирения? До отъезда в Лондон, в сопровождении своего вечного спутника Серебренникова, Нечаев встречается в Женеве с Огаревым и Бакуниным. В конце июля он их упрекает в том что, несмотря на "иудин поцелуй" при расставании, они послали доносы на него в Лондон. На самом деле, опасаясь новых интриг со стороны Нечаева, Бакунин писал своему старому товарищу Альфреду Таландье, независимому социалисту, изгнаннику с 1852 г., члену Совета МТР, от которого Нечаев ждет признания своей деятельности. Отдавая должное его беспощадной решимости, Бакунин заявляет, что при полном отсутствии совести, Нечаев заставляет слепо повиноваться ему самых преданных общему делу людей. А его пособник Серебренников просто подлец, лгун с медным лбом, лишенный даже фанатизма. Недопустима с ним всякая личная связь, всякая дружба - она ослабляет монолитную силу самого общества. Обличая бесповоротно поступки Нечаева и Серебренникова, Бакунин тем самым отрекается от сурового устава "Катехизиса революционера", от 4-й статьи, заявляющей, что революционер презирает общественное мнение, ненавидит современное нравоучение; нравственно только то, что способствует торжеству революции, и безнравственно и преступно все то, что ему препятствует.

Со своей стороны, в "Общине", публикации, которую он выпускает в Лондоне, Нечаев отзываясь о "стариках", которые ему больше не нужны и выносит леденящее суждение, лишенное оскорблений и угроз: поколение, которому принадлежал Герцен, было последним проявлением либеральствующего дворянства, они

критиковали, осмеивали существующий порядок с остроумием, уместным в гостиных, на светском устарелом языке; критика стала их любимым занятием, они этим довольствовались. Затем, в "открытом письме Бакунину и Огареву" Нечаев воздаёт им последние почести "посмертно": с издателем "Колокола" они отличились в блестящих литературных произведениях; они были верными сторонниками общего дела, поэтому он обращается к ним с той долей откровенности и лояльности, которую он не проявляет по отношению к своим врагам, и закрепляет их *политическую смерть* в заключении: "Расставаясь с вами, граждане, после последнего объяснения, я вам протягиваю руку, как друг, поскольку между нами больше не будет конфликтов по поводу действий, убедившись, что вы больше никогда не будете выступать как деятели русской революции"⁶⁹¹.

Герцен, Огарев, Бакунин сели не на тот поезд, Нечаев их высаживает, они остаются на платформе, поезд русской революции удаляется по совсем другому пути. Личная судьба Нечаева нам известна: арест его в Цюрихе 14 августа 1872 г., перевод в Россию 10 октября, открытие его процесса в Москве 8/20 января 1873 г., приговор и смерть в Петропавловской крепости 21 ноября 1882 г. Остается его суждение. Тот, кто больше других способствовал созданию пропасти между *либералом* Герценом и *анархистом* Бакуниным, ее сам засыпал. Герцен, Огарев, Бакунин одного поля ягоды. В письме Бакунина ясно, что он себя не узнает в той революции, которую готовит *абрек*, выплеск из адского котла, раскаленного радикалами русской интеллигенции. Бакунин принадлежит поколению, воспитанному в духе Просвещения XVIII века. Достаточно это вспомнить, и мы сразу переселяемся в Прямухино, где юный Мишель, под воздействием "свободного естественного воспитания", по примеру "Эмиля" Руссо, не подвергается предрассудкам и поверьям "цивилизованного" мира и приступает к вольному самопознанию, благодаря наставлениям своего отца-просветителя, Александра Михайловича. На прогулках вместе с сестрами, он открывает тайны природы, вечером, после ужина, все вместе читают "Швейцарского Робинзона", вместе готовятся к Пасхе, вместе читают Евангелие. Мишель, вдохновитель бунта против отца, сам признается ему: "Самым счастливым временем нашей прямухинской жизни были для нас наши детские годы; во мне остались еще живы все впечатления моего детства; что посеяно в детстве, то может быть потрясено, но ничем, никакими силами

искоренено и разрушено быть не может". В юности он становится проповедником новой религии, обновленного христианства, а накануне 1848 г. Белинский его прозывает "верующим другом" из-за его веры в революцию, веры, раздутой ненавистью к "буржуазии", чувством более романтичным, чем социальным. Мишель заменил Бога наукой (философией) и Провидение *заговором Блага*; тайное, бескорыстное *Братство*, вдохновленное масонством, незаметно содействует воцарению высшего блага для человечества - Свободы! Вечный заговорщик Мишель берет на себя роль Aufklärer'a, революционера, скромного наставника поработанного русского народа с целью пустить его на волю.

Идти к разбойникам не значит самому сделаться разбойником, тут речь идет не о свободе гражданина или о воле разбойника, а о том, что открыл Достоевский в "Мертвом доме": "Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. *Ведь надо уж все сказать*: ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы..." Освободить душу народа и возбудить другую, всенародную цель среди этих грубых, диких до жестокости существ, но свежих, неистощенных и, следовательно, открытых для живой, а не доктринерской, пропаганды, вот о чем мечтает Бакунин: народная революция одновременно разрушает и воскрешает. Он хочет пустить человека на волю бескорыстно, как арестанты пустили на волю раненного орла, который жил с ними в *Мертвом доме*. Оправившись, он чует волю и улетает, не оглядываясь.

Вольнолюбивая утопия Бакунина предвосхищает "Легенду о Великом Инквизиторе" Достоевского. Инквизитор обеспечил порабощением всеобщее "детское счастье" человечества. Он изменил Христу, но оправдывает себя своим человеколюбием; Спаситель ошибся в людях, требуя слишком много от них: "Люди малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики". "Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее этот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается". Инквизитор аскет, фанатик заповеди любви к ближнему. Он заменил самоотверженное служение Христу служением человечеству и воспринял "правду" Искусителя - искушения, отвергнутые Спасителем. Скрывая свое предательство, он берет на себя обман и принимает страдание. Утратив веру в Бога, он утратил веру в человека.

Бакунин не теряет веру в человека, он естественный враг революционеров, которые, еще до того, как уничтожили нынешнее государство, уже мечтают о создании нового, еще более деспотичного. Он считает, что, увлекшись системой Лойолы и Макиавелли, Нечаев тоже готов обратить в рабство человечество и создать могущественное государство, основанное на полицейско-иезуитских началах. Тем не менее, он долго примирялся с мыслью, что именно такие люди, как Нечаев, а не люди его поколения и его воспитания, способны стать во главе народной революции со всеми ее пагубными, но необходимыми последствиями. Он совершал своего рода "примирение с российской действительностью", такой, какой он ее воспринимал, без всяких иллюзий, во имя "светлого будущего". Тогда как в спорах с Белинским предполагалось, сознательно или нет, примирение с царской российской действительностью, с "Медным всадником" во имя Просветительской революции *сверху*, теперь во имя революции *снизу* предполагается примирение с Писаревским Базаровым, с Нечаевым. Сохраняя веру в человека, ни Герцен, ни Бакунин не способны на это примирение.

Пока Бакунин хлопочет, пишет срочно знакомым, которым неосторожно рекомендовал Нечаева, его враг Карл Маркс ведет следствие против него с целью исключить его из МТР на Международном съезде в Гааге. Ему, кроме Энгельса и Лафарга, в этом деле помогает Николай Утин. Утин эмигрировал в 1863 г. и был одним из основателей Русской секции Интернационала, соперничающей в Женеве с "Союзом социалистической демократии", созданной Бакуниным. В огромном досье, составленном против него, числятся многие его выступления и статьи, тайный устав "Союза братьев-интернационалистов", прозванных иронически "Священной коллегией" Союза. Авторы досье ссылаются, конечно, на отчет об процессе "нечаевцев" в Петербурге, в июле 1871 г., на "Катехизис революционера", авторство которого безоговорочно и несправедливо приписывают Бакунину. Достаточно заменить "Святую апостольскую, католическую церковь иезуитов" "Святым революционным архи-анархическим и все-разрушающим делом", чтобы вызвать возмущение и смех. Призыв к союзу с разбойниками также вызывает смех среди следователей. "Критиковать подобный шедевр снижает шутовство его содержания, это принимать всерьез этого аморфного панразрушителя, умудрившегося собрать в одно лицо Родольфа, Монте Кристо, Карла Мура и Роберта Макера".

Приговор этой "абстрактной белиберде" безапелляционен: "Тот же человек, который в 1870 г. проповедует русским пассивное, слепое послушание приказам, отданным каким-то анонимным неизвестным комитетом, объявляет, что условием *sine qua non* победы над гигантской централизацией Государства не только русского - это иезуитская дисциплина, провозглашает коммунизм еще свирепее, чем самый примитивный коммунизм, тот же человек в 1871 г. замышляет сепаратизм и расстройство в Интернационале под предлогом, что борется с авторитарностью и централизмом немецких коммунистов, за автономию секций, за вольную федерацию автономных групп и за превращение Интернационала в образ будущего общества. Если будущее общество будет соответствовать образу *Союза*, оно во многом превзойдет Парагвай Преподобных Отцов иезуитов, которыми так дорожит Бакунин"⁶⁹².

Бедный Бакунин! Его, поборника Свободы, обвиняют и приговаривают за то, что именно он обличает: иезуитизм Нечаева и авторитарность Маркса! На чем основывается обвинение в иезуитизме? На фразе, изъятой из "прокламации к офицерам русской армии", которую Бакунин составил по настоянию Нечаева в январе 1870 г. Желая извлечь урок из участия русских офицеров и особенно Андрея Потебни в Польской революции 1863 года, он пишет под влиянием басен Нечаева по поводу его "тайной организации" в России; у него разгорается воображение, и на русскую почву он пересаживает программу своего "Союза". Приводя в пример неудавшийся заговор декабристов, которым без содействия народных масс невозможно было сломать громадную силу государства, Бакунин уверяет что его программа, как и программа Потебни выражает требования самого народа: Земля и Воля. Но народ еще не осознал всей своей силы. Дать ему вполне это сознание - вот цель революционной организации. "Тайная организация, это как бы штаб революционного войска; а войско - целый народ". Организация уже существует, и все члены ее подчинены, безусловно, "всем приказаниям и распоряжениям *единого Комитета*, всезнающего и никому неизвестного". "Члены этого Комитета вполне отреклись от себя; вот что дает им право требовать от всех сочленов организации самоотречения безусловного <...> ; они обрекли себя на вечную неизвестность, предоставляя другим славу, внешний блеск и шум дел, и оставляя для себя, опять-таки не лично, а коллективно, только сущность

его, как иезуиты, только не с целью порабощения, а освобождения народного, каждый из них отказался даже от собственной воли".

Организация требует последовательности; вступая в нее, каждый должен знать, что он отдает себя ей *безвозвратно*. Он должен заранее вполне усвоить ее народно-революционную программу. "Она или вся принимается или отвергается вся. Но не один человек не может принять ее серьезно и искренно, пока ненависть ко всему существующему ныне политическому, гражданскому и экономическому порядку и желание его беспощадного разрушения не стали в нем преобладающею и все поглощающею страстью <...> . Если эта страсть в нем действительно существует, то все, что организация от него потребует, будет для него легко".

Как довериться диктаторскому руководству неизвестного Комитета? Он внушает доверие своей неутомимой деятельностью. "... Он есть тело коллективное, в котором каждый член подвергается тому же самому неумолимо строгому, взаимному контролю, какому подвергаются все остальные члены организации".

На вопрос, каким образом он собрал все эти сведения, если состав Комитета остается тайной? Бакунин отвечает откровенно: ему не известен ни один из членов, ни их число, ни местопребывание, но он уверен, что никакая сила не может теперь разрушить его. Организация "пустила уже такие глубокие корни в самый народ, что потерпи мы даже теперь самую страшную неудачу, наша реакция не будет в силах разрушить ее. Она кончит тем, что уничтожит самый корень всякой реакции - государство"⁶⁹³.

Что вдохновляет Бакунина? Ненависть к существующему порядку. Что будит его воображение? Заговор, тайная организация, никому не известный Комитет, способный сам отыскать того, кто желает вступить в организацию, требующую безвозвратного подчинения. Это скорее сюжет популярного романа, чем содержание политической программы, это приведет к исключению Бакунина из Интернационала, но сам МТР не переживет фантазмагорию анархиста-славянина в борьбе с германским авторитарным социализмом. Как предполагал Энгельс, на смену придет новый Интернационал, целиком основанный на идеях Карла Маркса о будущем бесклассовом коммунистическом обществе.

Тем не менее, нельзя причислить фантазмагорию Бакунина к "болтовне пустозвонных фразеров эмиграции", которых он сам обличает. Как ни странно, описание диктаторского руководства

"неизвестного Комитета" буквально предсказывает начала, на которых будет строиться тоталитарная сталинская система: секретное устройство всего руководства, согласно правилам подпольной организации в условиях незаконности, железная дисциплина, безусловная, фанатичная преданность членов Комитету, каждый из них подвергается неумолимо строгому, взаимному контролю, т. е. доносам и самокритике. Пресловутая 126-я статья сталинской конституции 1936 г. отражает благодушные намерения поборника народа во имя Земли и Воли. Она обеспечивает право объединения в общественные организации, перечисляет их, но добавляет: "... а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных"⁶⁹⁴.

А при этом Бакунин способен опровергать теорию Маркса о диктатуре пролетариата столь же убедительно как, когда-то, "реакцию в Германии". В своем последнем труде "Государственность и анархия" он заходит еще глубже, чем Герцен: "Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? Значит, останется еще друтой пролетариат, который будет подчинен этому новому государству. Напр., хотя бы крестьянская чернь, как известно не пользующаяся благорасположением марксистов и которая, находясь на низшей степени культуры, будет вероятно управляться городским и фабричным пролетариатом. <...> Итак, с какой точки зрения не смотри на этот вопрос, все приходишь к тому же самому печальному результату: к управлению огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством. Но, это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работников. Да, пожалуй, из бывших работников, но которые лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственной; будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усомниться в этом, тот совсем не знаком с природой человека.

Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые социалисты. Слова "ученый социалист", "научный социализм" <...> сами собой доказывают, что мнимое народное

государство будет ничто иное, как весьма деспотическое управление народных масс новой и весьма немногочисленной аристократией действительных или мнимых ученых. Народ не учен, значит он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение!⁶⁹⁵

Кто виноват - авторитарность Маркса или анархизм Бакунина в порабощении трудящихся, и вообще, всего населения страны, либо под игом диктатуры пролетариата, "руководящего ядра всех организаций", либо при отсутствии всякого государства? Не в этом дело; дело в том, что понятия, логика размышлений того и другого ничего не имеют общего с правовым государством, с правами человека, с демократией, с "буржуазными понятиями", с общечеловеческими ценностями Просветительской революции. Мертворожденна тайная "организация" скитальца Бакунина, скомороха, красующегося на сцене революционной Европы и умирающего от приступа уремии в Италии 1-го июля 1876, но замени слово "организация" понятием "контрреволюция", тогда вполне приемлемо его утверждение: "...контрреволюция пустила уже такие глубокие корни в самый народ, что потерпи мы даже теперь самую страшную неудачу, наша реакция не будет в силах разрушить ее". А Нечаева, осужденного общественным мнением на Западе, продолжают чтить и защищать в России революционные организации. Вера Фигнер описывает волнение, которое вызвало среди исполнительного Комитета "Народной воли" в январе 1881 г. чтение письма Нечаева из Петропавловской крепости. Долгое заключение не сломало его железную волю. Он сумел привлечь на свою сторону своих надзирателей. Несмотря на его цинизм: цель оправдывает средства, приходилось признавать его самоотречение, его беззаветную преданность революционному делу, неодолимое влечение - смесь восхищения и страха к нему, особенно со стороны простых людей⁶⁹⁶.

Корни свои контрреволюция пустила именно на той почве, которой не управляли ни православие, ни самодержавие, ни народность, понятия, унаследованные от николаевских времен, ни их оппонент, общественность - орудие либералов, просвещенных дворян, во имя гласности и законности. Этим свободным, не занятым пространством являлось *погнолье*. Из подполья стали возникать "прокламации", "тайные комитеты", "организации", при полном отсутствии общественной проверки их правдоподобия. Они только вызывали страх, возмущение или восторг, будто вся общественность, и консерваторы и либералы, страдая неким комплексом виновности, подразумевала неизбежность

взрыва "народного" гнева, кровавого восстания. В исторический момент, когда "революция сверху" совершала решительные реформы, ее неизбежными спутниками являлись широкий доступ к информации, воцарение гласности. Либералы этого просили. Невыполнение этого законного требования давало слово подполью, слухам, клеветам, легендам, басням, *обману*. Прошло время иносказания, "игры с цензурой" в рамках легальной печати, официальной российской действительности, настал час "реальной" действительности, подпольной почвы, потрясающей одновременно старообразные основы царской Руси и шаткие сваи новой, просвещенной.

Герцен, защищая благородные порывы молодежи, подсмеиваясь над страхом, вызванным прокламациями, Бакунин, не допуская податливости русского характера, в крайнем отрицании искал мотивы пробуждения. В противовес этим суждениям выступает Ал.Вас. Головнин, министр народного просвещения (1861-1866) в записке "Разница в направлении государственной деятельности в 1-ой и во 2-ой половине нынешнего царствования, в марте 1867 г."

"Нынешнее направление вовсе не соответствует тому, которое доставило бессмертную славу 1-й половине нынешнего царствования". Головнин перечисляет: освобождение крестьян, упразднение сословия военных кантонистов, отмена телесных наказаний, отмена винных откупов, судебная реформа и т.д., несмотря на интриги, оппозиции, бесхарактерность, слабоволие. Отрицательные стороны реформ касаются тех, кто теряет доходы, власть в краях, откупы и поэтому он критикует окружение вел. кн. Константина Николаевича. Разразились политические события: восстание в Польше, беспорядки в западных краях, безумные действия крайних русских либералов, демагогов социалистов, возмутительное преступление 4 апреля 1866 г. Тем не менее, недопустим произвол со стороны М.Н. Муравьева, МВД и III Отделения: "Отличительная черта всех распоряжений по этим предметам есть стремление избегать судебного разбирательства, наказание административным порядком, полное доверие к шпионам и постоянное направление делать общие выводы из частных случаев".

Головнин перечисляет причины вредного направления молодого поколения: нигилизм, полное безверие, материализм: крайне поверхностное образование молодых людей, "все ходят с полужнанием и большим запасом гордости и высокого мнения о своем уме и учености. Не привыкнув работать серьезно умом, глубоко изучать предмет, они обо всем судят слегка".

При этом православное духовенство заботится только об обрядах, "оно не проповедует в церквях, не входит в дома для поучения".

Нигилизм - порицание всего, что делает правительство; оно само в этом виновато, желая всем распоряжаться. При Николае I общество было лишь зрителем, порицателем того, что оно творило. Нужны не только полицейские меры, чтобы его переубедить.

В начале царствования было "стремление к дарованию большей свободы, простора, гласности, к водворению законности, уменьшению административного произвола, возвышению личности человека". А теперь "пренебрежение законностью, наказание без суда, неслыханное развитие шпионажа, доносов и перлюстрации".

Если это будет продолжаться, заключает Головин, последствия будут совсем губительными. Всеобщее неудовольствие, потеря доверия и, наконец, финансовая катастрофа приведут к политическому перевороту. Когда? И в какой форме? Все это еще впереди. Чтобы избежать кровавого восстания, нужно продолжать на пути законодательных, административных реформ:

1) прекратить полицейское направление, амнистировать сосланных, упразднить III Отделение и корпус жандармов в пользу МВД, прекратить перлюстрацию в почтовом ведомстве;

2) уменьшить расходы Двора, министерств, упразднить многие учреждения (в том числе Министерство Гос. Имущества, конно-гвардейцев, театральное управление);

3) упростить административные правила, в частности при выдаче паспортов;

4) увеличить народное богатство сооружением железных дорог;

5) развивать самоуправление, роль земских учреждений, городское самоуправление;

6) принять меры по народному образованию.

Для этого необходимо, во-первых: обеспечить свободу печати, во-вторых, присоединить к Государственному Совету представителей земских собраний с полной публичностью прений, с правом членов делать вопросы министрам и чтобы без согласия этого собрания не утверждался бюджет⁶⁹⁷.

Головин приводит классическую либеральную программу в духе Просветительской революции сверху, при участии просвещенного общества. Не столкнусь она с "петербургской немчиной", от нее не отказался бы Герцен. Не столкнусь она с "безумными действиями крайних русских либералов и с вредным направлением молодежи", преуспел бы Головин с либералами.

Французская поговорка предостерегает: "Главное не обманываться в противнике" (*surtout ne pas se tromper d'adversaire*). Герцен сливает в общем обвинении бюрократов и государственников, реакционеров и умеренных либералов. Бывшие его знакомые москвичи возлагают и на "Колокол", и на подпольные публикации обвинение в развращении молодежи. И те, и другие не способны обеспечить сплоченность либерального, просвещенного лагеря, и стреляют по своим. Применение вслепую насилия и произвол против неопределенных препятствий едва ли ведут к правому государству, представительной форме правления, гражданскому обществу. Скорее к *контрреволюции*. Осознать ее в своей подпольной, необычной форме, не сумели ни правители страны, ни представители общественности, сводя ее симптомы к знакомым уже им явлениям и прибегая либо к устарелым полицейским мерам, либо к сверхтерпимости в надежде, что "базаровщину" можно будет перевоспитать и запрячь в бескровную революцию. Слишком поздно, лицом к лицу с "новыми людьми", Герцен смог оценить с каким безжалостным врагом столкнется неизбежно Россия.

В 1905 г., уже в революционной обстановке, историк В.О. Ключевский подводит итоги и поминает Грановского: "Полвека прошло, как закрылась могила Грановского. От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст, Кавелин, Чичерин уже благоговейно приникают к памяти человека, с которым расходились в иных научных взглядах, в складе ума и характера. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время и привлекала студентов в его аудиторию".

Какая идея? "В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни".

"В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кончины преобразователя. "Мне кажется, - писал Грановский, - я был бы

в состоянии по целым часам стоять перед этой картиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои. <...> Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание".

Заступаясь за Петра, Грановский разошелся с Герценом, убедившись в бесплодности эмигрантской деятельности. Он еще сильнее осуждал славянофилов: "Эти люди противны мне как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории".

"Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен; наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет". Ключевский представляет себе скорбный облик, с каким Грановский ушел из жизни. 50 лет спустя, он провожает своих наследников: тени гнева и скорби. "Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С.М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах, предпочитавший "честное самодержавие несостоятельному представительству", а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя бы малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах"⁶⁹⁸.

Действительно свой последний труд, "Россия накануне XX-го века" (изд. Гуго-Штейница), Борис Чичерин напечатал в Берлине, в начале царствования Николая II. В нем он отмечает, что при царствовании Николая I "в первый раз русское правительство, дотоле стоявшее во главе просвещения, выступило явным его врагом". Образованное общество стало испытывать ненависть к существующему порядку. Он перечисляет реформы царствования Александра II; они быстро усвоены, потому что общество к ним готово. Парадокс в том, что задумали их либералы, а новые учреждения отдают бюрократам. Ни защитники, ни противники

нововведений не верят в твердость и последовательность правящей власти. Выступления в пользу власти, обеспечивающей начала свободы и права в России, вызывают порицание и гонение со стороны либерального лагеря и открывают свободу действий пропаганде социалистов. Их эксцессы дают возможность Каткову и Леонтьеву овладеть общественным мнением; начинается преследование либерализма и всех здоровых элементов, живых сил страны: земств, городской управы, судов, университетов - в пользу бюрократии. Чтобы восстановить порядок и доверие в университете, нужны не одни административные, но и педагогические приемы, а традиционные корпоративные связи разрушены, нравственный авторитет подорван. "Профессора превратились в чиновников, обязанных читать лекции. Что должны были думать студенты о преподавателях, которым правительство оказывало полное недоверие, отняв у них права, принадлежавшие ими искони, с тех пор, как существовали университеты? <...> Но так как юношам нужна опора, то они искали ее в тайной связи между собою. С разрушением корпоративной связи университетов создавалась тайная организация студенчества".

Чичерин, представитель "государственной школы", лицом к лицу с "бюрократией" сознает, с каким безжалостным врагом сталкивается Россия на своем пути развития. "Для всякого мыслящего наблюдателя современной русской жизни очевидно, что главное зло, нас разъедающее, заключается в том безграничном произволе, который царит всюду". Бюрократическое управление, не встречая сопротивления, подавляет все независимые силы. "Великое значение преобразований Александра II заключалось именно в том, что, устроя русское государство на новых для него началах свободы и права, они давали общественным силам возможность стать на свои ноги".

Кто кого? "Или бюрократия должна была подавить независимые общественные силы, или последние должны были изменить приемы и привычки бюрократического управления. Нигилистическое движение дало карты в руки бюрократии, и она воспользовалась этим для подавления общественных сил и для искажения созданных реформой учреждений". Но Чичерин добавляет: "Но ограничить бюрократию невозможно, не коснувшись той власти, которой она служит орудием, то есть, неограниченной власти монарха". "Неограниченная монархия есть образ правления, пригодный для младенческих народов, а отнюдь не для зрелых <...> . Провозглашение всеобщей гражданской

свободы есть знак, что общество созрело и может стоять на своих ногах. За этим неизбежно должна следовать свобода политическая. Раньше или позднее это совершится от местных и временных условий, но это непременно должно быть, ибо это в порядке вещей".

На склоне лет Чичерин остался тем же "доктринером", убежденным западником, не предполагающим для России другого пути, кроме "европейского", в духе петровских реформ. Не наступила еще пора для парламентского правления, но, чтобы положить предел неограниченной власти монарха, достаточно созвать в столицу собрание выборных и преобразовать Государственный совет в Верховную палату". Он успокаивает своего читателя: "Не следует опасаться, что облеченное правами собрание окажется слишком притязательным. При настроении русского общества можно скорее ожидать противоположной крайности". "С другой стороны, нельзя ожидать и каких либо серьезных революционных движений в России. Почвы для революции у нас нет, ибо преобразования Александра II совершили у нас те перемены в гражданском и общественном строе, которые вызывались потребностями жизни. Теперь остается завершить их, преобразованиями политическими". Во Франции монархия пала именно потому, что не сумела своевременно совершить нужные реформы.

Какая слепота! Чичерин сводит *почву* к общественному пространству, на котором совершаются гражданские и политические преобразования. Другой почвы нет. Не является почвой апатичное и покорное состояние русского общества. Немыслимо ждать сейчас от него какого-нибудь "энергического действия". Чичерин задумывается: не завиден ли пример Пруссии, когда вся "бюрократическая лавочка" разом была снесена благодаря революции 1848 г. Она вспыхнула вследствие внешнего толчка, шедшего из Франции. "И у нас внешняя катастрофа может ускорить процесс общественного сознания. Она может последовать неожиданно, негаданно. Поводов к столкновениям, при нынешнем напряженном состоянии Европы, слишком много". Кратковременная война между Германией и Россией в союзе с Францией может возбудить патриотизм. Резкий политический переворот может снести петербургскую "бюрократическую лавочку"⁶⁹⁹. Вариантов много. Неужели необходим "толчок", чтобы разбудить Россию?

В России, на заре XX века, в широких слоях населения распространено убеждение, что "революция неизбежна". Убеждение это разделяют одновременно те, кто отчаиваются в проведении необходимых

политических реформ, наподобие западного просвещенного демократического общества, и те, кто осуждают этот "буржуазный" образ и желают прямого перехода к "высшей форме" общества, к социализму. Ясно, что и те, и другие не говорят об одной и той же революции. В этом вскоре все убедятся, когда наступит время жестоких испытаний.

"ВЕХИ", *сборник статей о русской интеллигенции* (Москва 1909) открывается предисловием М.О. Гершензона: "Революция 1905-06 гг. - всенародное испытание тех ценностей, которых полвека блюла наша общественная мысль, как святыню". В своей статье "Творческое самосознание", задумываясь над поражением интеллигенции и "освободительного движения", он заключает, что интеллигенция бессильна победить деспотизм и что она должна бояться ярости народа. "Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народа". Приходится отказаться от наивного убеждения, что "народ разнится от нас только степенью образованности, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним". Страшной ошибкой интеллигенции является представление о народной психологии, как о голом сознании, на котором можно без труда чертить письма высшей образованности⁷⁰⁰.

Что же представляет эта "интеллигенция" на заре XX века? Гершензон еще присоединяет ее к просвещенному обществу: русская интеллигенция ведет свою родословную с петровских времен, а интеллигент - прямой потомок и наследник крепостника - вольтерьянца, а в статье "Интеллигенция и революция" П.Б. Струев прямо заявляет: "До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только образованный класс и разные в нем направления". "Русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития".

Струев уточняет, что "интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905-07 гг. Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг." "Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему". Оно выступает в двух видах отрицания государства, в анархизме,

и в социализме. "В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики, "интеллигенция" явственно отделяется от образованного класса. Как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом, как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом"⁷⁰¹.

К концу 60-х гг. уже ясно отмечались рубежи и линии фронта будущей решительной конфронтации между Просветительской революцией и контрреволюцией; предстояло еще занять позиции с подходящими общественными силами. Русский либерализм не обрел такого класса, который послужил бы ему "надстройкой". В России не оказалось такой либеральной буржуазии, которая решительно выступила бы за политическую свободу, а контрреволюция сумела призвать к себе, во имя справедливости и любви к народу, доверчивую массу полупросвещенных "интеллигентов", новых людей, убежденных в неизбежности социализма, способного обеспечить счастье народа.

"К объективным идеям, к универсальным нормам, пишет Н.А. Бердяев в статье "Философская истина и интеллигентская правда", русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить "народу", благо которого ставилось выше вселенской истины и добра". Под "научным духом" понимали политическую прогрессивность и социальный радикализм, а "научный позитивизм" был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления "царства зла". Чичерин был гораздо более ученым человеком, чем Михайловский, но его наука была противна русской интеллигенции, а наука Михайловского близка и мила"⁷⁰².

Вера в возможность непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства, особым новым историческим путем, вела, иными словами, к отказу от политической свободы и конституционного государства. Социализм прививал "идею" мятежнику Базарову и придавал его "нигилизму" законную идеологию. Разрушительная, историческая роль интеллигенции последовала и когда выплыло на поверхность *погполье*, тогда стало ясным, что ожидаемая революция не революция, а *контрреволюция*:

она не смывала "бюрократическую лавочку", а уничтожала одновременно вековые основы царской Руси и сваи российского демократического государства, завершение петровской революционной эпопеи.

В конечном счете, победа максималистов, может быть, и была неизбежным исходом для Петровской Руси, но не согласно законам "исторического материализма", а в связи с ее началом, с "историческим договором", связывающим "автократов революционеров", Романовых, с просвещенной, европеизированной частью населения. Причиной того, что все монархи последовательно не решались передать бразды правления представительному собранию, является не их слепота, а их прозорливость: отказываясь от священной сути их господства над народом в пользу светской власти, не подвергали ли они пагубной опасности хрупкие достижения *Просветительской революции*, в то время как ползучая *контрреволюция* следила за каждым их промахом? Увы, 17-й год подтвердил это предположение. Либералы, кадеты, народники, меньшевики и прочие партии, которые царский режим ввозил дорогой ценой, как экзотические растения, и выращивал в теплице, на земле у Скифов прожили лишь несколько месяцев после отречения от престола их покровителя, не достигнув самопознания Руси, к которому стремились просвещенные умы 40-х годов, "золотого века" русского Просвещения.

Заключение

Желая охватить целесообразно предмет своего исследования, на каждом этапе я старался найти подходящее название: "Влияние Гегеля", "Общечеловеческий идеализм", "Русская Идея". Ни одно полностью меня не удовлетворяло. Нынешнее название "У истоков русского самопознания" вызывает ту же неуверенность. Скорее, чем как об установленном факте, следовало бы говорить о "стремлении к самопознанию", о "судьбе самопознания". Передовые представители просвещенного общества того века, на пути самопознания, и Герцен, и Грановский, и Белинский, и Хомяков, и Киреевский, все стремились к воцарению в России общечеловеческого просвещения, но им не суждено было его достигнуть, потому что они лишь переживали его "Золотой век", когда, по словам Веневитинова, "Россия все получала извне". Это подаренное просвещение вызывало расцвет сил, возрождение, но требовало глубокой переработки, в ожидании суровых испытаний. Желая опередить свое время, они оказались в "тупики", больше по объективным причинам, чем по собственной вине. Они были лишены той гласности, которую проповедовал Герцен; а ведь не было пропасти между "прогрессистом" Белинским и "реформатором" графом Киселевым, между Киреевским ранних лет, несостоявшимся философом-западником и Киреевским - основоположником славянофильства. Это был тот же человек, но без доступа к открытому диалогу на общественных началах. Он выступал как *просветитель* - и в духовном, и в светском смысле слова; просвещение он видел в слиянии религиозного и светского, в идеале *цельности*, с целью восстановить *соборность*, без которой немислимо развитие России. Стремясь к "примирению", Станкевич шел по тому же направлению. Просветительские идеи Киреевского вели к отделению церкви от государства, никогда не грозя ему насилием; эти понятия были близки к идеям Грановского.

Просвещение и самопознание. Увы, в "роковой час" либеральная соборность просвещенного общества не осуществилась. После опустошительных войн, проведенных "новыми людьми" против России, осталось воспоминание о светлых личностях тех времен. Среди них я выделяю фигуру графа Киселева, самую близкую к мировоззрению, которое я унаследовал от родителей, от родового воспитания.

Приложение

Н.В. Станкевич 1862 год. Извлечения из газет и журналов, представленных государю императору. Российская Национальная Библиотека. ф208 Головнин ¹ 113.

"День" (Славянофильский орган, еженедельный, 1861-1865 гг., изд.-ред. И.С. Аксаков). ¹ 12. Требуют от русского общества более серьезного взгляда на все окружающее: "События зовут нас, готовы ли мы? Обстоятельства переменились, не с веселой беспечностью, не с радостной, несомненной уверенностью в осуществлении прекрасных надежд, но и с мрачной безнадёжностью в чаянии жизни, мы встречаем новый год".

"Санкт-Петербургские Новости". ¹ 1. "19 февраля истекшего года совершился поворот в нашей истории, и мы усматриваем у себя задатки тех начал, к которым стремятся мыслители Западной Европы, а именно природную нашу, уцелевшую, невзирая на всякие невыгоды, сельскую общину".

"Наше Время" (политическая и литературная газета, еженедельная. 1860-1863 гг., Москва, изд.-ред. Н.Ф. Павлов, сотруд. Б.Н. Чичерин).

¹ 1. К предстоящему съезду Московского дворянства.

"Дворяне у нас составляют войско, посредством которого Новая Россия под правительством Петра и его преемников победила старую. Победоносная дружина получила в награду, с одной стороны, усиление крепостного права, с другой право выборов ... Выборы дворянские прежнего времени представляли много безобразия, но безобразие это теперь должно исчезнуть с устранением одной из существенных причин, влияющих на дух и положение дворянства".

Блестящая заметка Чичерина: "В русском народе поразительно, между прочим, отсутствие чувств меры и границ. Это замечается в либералах наших, либералах без границ, в лицах, облеченных властью, которые власти этой не хотят знать меры, в людях зависимых, которые унижаются без границ и меры".

"День" - возражение на Чичерина в "Нашем Времени".
"Слияние Дворянства с прочими сословиями теперь невозможно

и может произойти, когда образуется богатое и просвещенное среднее сословие".

"Наше Время". ¹ 10 - Чичерин: "Равноправность сословий справедливая идея. Там, где сословие, там каждому свое назначение. Правительству может быть полезно иногда узнать мнения их по важным законодательным вопросам. Слияние их в одно собрание? Крестьянство и Купечество еще к этому не подготовлены. А Дворянство, из-за крепостного вопроса, еще не разрешенного окончательно, могло бы иметь неблагоприятное влияние на это учреждение".

"Современная Летопись" (еженедельная газета, 1861-1871 гг., изд.-ред. М.Н. Катков). "В России никогда не было замкнутых сословий. Антагонизм сословий, как во Франции, немыслим у нас. Нам нужно не расширять избирательное начало, а только дать ему более правильное основание".

"Русский Вестник" (литературный и политический журнал, Москва, 1856-1906 гг., ред.-изд. М.Н. Катков). Заглавие: "Какой бывает вред от монополии". "По поводу беспорядков в Университете, толком ничего нельзя узнать, кроме официальных заявлений. Невозможно составить собственное мнение". Заглавие: "Попытка местного самоуправления во Франции (книга Тернера)" Абсолютизм Людовика XIV привел к Французской революции, несмотря на либеральные предложения Вобана, Фенелона, Тюрго, Некера созвать местные собрания, но уже было слишком поздно при брожении умов. Десять лет назад вместо революции провели бы полезные административные и политические реформы! Революция привела к централизованной и авторитарной системе. В реформах нужна последовательность. Абсолютизм Людовика XIV вызвал объединение ультраконсерваторов и ультралибералов против местных собраний, с печальными последствиями".

"Наше Время". № 35. Письмо гр. Орлова-Давыдова против объединения сословий в одной общей комиссии; это привело бы к демократическому хаосу. "Наше Время" одобряет, но возражает против отдельных заседаний. Судебная Палата может уже служить примером.

"Северная Пчела" (политическая и литературная газета, Петербург, 1825-1864 гг., с 1860 г. изд.-ред. П.С. Усов).¹ 46. (Она выступает против привилегий, но не хочет, "чтобы наше дворянство теперь торжественно уничтожило себя как сословие". Это политически бессмысленно, т.к. если бы крестьяне об этом знали, они бы потребовали не отмену этих привилегий, а их использование). "С 19 февраля 1861 г. русское дворянство не имеет более привилегий, которые оно могло бы снять с себя для блага других сословий; у него есть только права, от которых желательно, чтобы оно не отрекалось, а напротив, чтобы приобщались к ним и люди других сословий".

"День".¹ 19. Вопреки мнениям всех других газет, выступает против права для евреев с дипломами поступать на службу во все ведомства: христианство несовместимо с иудейством.

"

Сельская община". - Щапов призывает читателей ознакомиться с действительностью: 40 миллионов сельского населения, 4 миллиона городского.

"Православное обозрение".¹ 1. Об условиях успеха церковной проповеди в народе. Нужны доступность и удобопонимаемость. Объяснять и объяснять. Бесплодно просто преподносить проповеди отцов церкви.

"Наше Время".¹ 39, 40, 42. Чичерин: Что такое охранительные начала. Прогресс не сводится обязательно к движению вперед. Необходимы сила упора и соразмеримость партий. Главная охранительная сила в бессознательном инстинкте народа - жить привычкой. Гражданское общество при этом неосуществимо. Охранительная партия должна опираться на то, что есть, а не на то, чего можно желать. Первая забота - успокоение страстей, анархического брожения умов. Трудно в России создать либеральную охранительную партию, ибо трудно откровенно обсуждать все вопросы. "Где не допускается порицание, невозможна и похвала".

"У нас правительству принадлежит инициатива и исполнение тех великих преобразований, которые составляют и честь, и славу нашего века". Но власть опирается не только на силу, но и на

любовь народа и на разум общества. "Охранительная партия должна поддерживать Власть, не терпя, однако же, при этом полной независимости суждения".

"День". - Протест против цензуры, нарушающей "равноправность" граждан. Недопустимо, чтобы в России общинное землевладение не имело права на слово, как личное.

"Наше Время". ¹ 45. Чичерин о главном орудии власти. Общественность относится отрицательно к бюрократии - корпоративному и сословному устройству. Она необходима для успехов России, но она должна быть твердо определена в правах и обязанностях. Любопытно, что враги бюрократии - те же, кто хочет упразднить дворянство, усиливая этой мерой роль бюрократии. Публицисты и неорганизованные стихии не могут бороться с такими организованными, как наша бюрократия.

"Московские Ведомости". ¹ 89-90. "По поводу перемен, предстоящих нашему законодательству о книгопечатии".

"Поставить умственную деятельность целого общества в зависимость от предварительного просмотра нескольких доверенных лиц есть мысль поразительно не соответствующая с предполагаемой целью. Освобожденная печать не опасение в рационально развивающихся обществах". "Будем твердо уповать, что с водворением ожидающего нас нового порядка... распространится убеждение, что злейший враг свободы - своеволие, откуда бы оно не шло, что единственная преграда своеволию - строгое и добросовестное соблюдение закона".

"Наше Время". ¹ 90-91. Чичерин: "Совет министров". Чтобы исправить неправильное распределение властей по тайным комитетам и советам, Сперанский разделил органы властей на законодательную (Государственный Совет), исполнительную (министры под контролем Сената) и судебную (Судебный Сенат), но он не разделил судебную и исполнительную власть: министры были членами Сената! Александр I создал комитет министров, но это единство управления было нарушено, когда восстановили личные доклады государю. Единство управления - существенное основание всякого управления при самодержавии и при конституционном режиме.

"Русский вестник". - О рабочем классе. Как избежать ошибки Запада - обнищания населения и порочности рабочего класса? Благотворительность, ассоциации и сбережение. В Петербурге, в 1840-ые годы, рабочее население - 250 000, среди которых 150 000 постоянные жители, 43 000 из них без приличного жилья.

"День". ¹ 30. Н. Пирогов. Приобретение земли в собственность и по закону ведет к концу отношений помещика с крестьянами. "С развитием волостей и сельских общин разовьется и корпоративный дух между крестьянами; за одного начинают уже говорить все".

"Вятские губернские Ведомости" публикуют речь Герцена при открытии Вятской публичной библиотеки, произнесенную 6 декабря 1837 г.

"Санкт-Петербургские Ведомости". Учиться или не учиться? О закрытии Университета из-за студенческих беспорядков.

"Современник". ¹ 4. Ответ Чернышевского "Научились ли?" Развитие образования еще слабое, школ мало, газет тоже из-за предварительной цензуры. А студенты недовольны новыми правилами - для маленьких ребят, а не для взрослых! Два постановления возмущают их: вздорожание оплаты, многие студенты не могут платить 50 рублей, нужна взаимопомощь, нужны для этого сходки, а они запрещены! Студенты не ответственны за беспорядки.

"Современная Летопись". ¹ 20. Мировые посредники обескуражены. Помещики считают, что они все проиграли и стараются всем пользоваться в ущерб крестьянам. Это вызывает всеобщее недоверие и "убьет в крестьянах чувство правды и уважения к закону". Помещики должны ждать улучшения "от полного обеспечения личной безопасности и собственности, от правого и гласного суда, от сокращения налогов, от развития свободы, во всех ее животворных применениях. В нашем обществе началось живое движение. Потребности и интересы начинают высказываться и формулироваться все решительнее, все определеннее. Неужели суждено еще продлиться этому анархическому состоянию общественного мнения, этому положению вещей, в котором

раздраженные и разлаженные общественные силы сталкиваются между собой, парализуя себя взаимно и представляя агитировать кому вздумается". Речь идет о Герцене, он воображает себя представителем русского народа, сидит в безопасности за спиной лондонского полисмена и для своего развлечения высылает своих поклонников на разные подвиги, которые кончаются казематами или Сибирью.

"Северная Пчела". ¹ 134. Смелая статья о нашей нетерпимости. Лозунг значительной части нашей печати: "Кто не с нами, тот подлец!" Многие думают, что либерал - враг существующего порядка. Благодаря свободе слова, всякий яд встречает свое противоядие. "Мы желаем, чтобы оно было откровенно. Что пользы если, например, у кого-нибудь ясно сквозит мысль, которая по цензурным правилам не должна быть сказана, а сказана только между строками, благодаря ловкому замаскированию. Другой, возражая на эту мысль, разовьет ее несколько пояснее. Батюшки, закричат: донос делают! Около 30 лет вся русская журналистика была одного направления, и было очень скверно. Теперь начинается партийность, выходят способные люди того и другого направления; дайте же им выговориться!"

"Наше Время". ¹ 107. Продолжение полемики вокруг беспорядков в Университете. Виноваты демагоги, объявившие студентам, что "от них зависит перерождение общества". Юноши поверили! Направление университетов за последнее время не учебное и не ученое, уровень падает. Студенты любят называть отсталыми всех, кто им не понравится. Надо им сказать открыто, что "они сами отстали страшно от молодого поколения других европейских стран; и трудом, и знанием, и серьезностью стремлений".

"День". ¹ 32. Обсуждение цензуры "... признавая за каждым безусловное право на свободу речи изустной и печатной, каждый ответствен за свое слово перед судом. Типография отсылает экземпляр в полицию, которая не должна бы остановить обращение одного к публике без приговора суда". Приговор суда должен быть основан на решении присяжных, не выбранных случайно, но заседающих в течение года (подчеркнуто государем с пояснением: *не следовало бы пропускать, ибо подобное право у нас не при... и не может быть при...*).

"Санкт-Петербургские Ведомости".¹ 113. Костомаров. "Мешать или не мешать учиться" Желательно больше свободы в Университете, но при условии, чтобы "слушатели не приходили на лекции с целями, не касающимися непосредственно науки". Они требуют, чтобы профессора показывали сочувствие к устраиваемым ими демонстрациям, иначе грозят ему свистком, ругательствами, даже побоями .. Дивный способ распространения либеральных и гуманных идей! Костомаров выступает против насилия, прикрывающего себя знаменем либерализма: свобода, равенство, братство и гильотина! Стенька Разин на Руси заводит казацкую волю: вешать людей за ребро на крюк, да жечь в печи вместо дров.

"Северная Пчела".¹ 142. Та же необходимость уважать чужие мнения; направление "Современника" - заглушать противное ему мнение и подозревать его в глазах публики темными намеками. Распространяется неуважение к личности и дух крайней нетерпимости. Это вредит пробуждению общества к самостоятельности и самостоятельности. "Желательно, чтобы периодическая пресса имела у нас средства с полной откровенностью высказывать свой образ мыслей без всяких намеков и полуслов: тогда публика сама увидела бы "нами" или "Современником" вернее угаданы истинные ее нужды и желания".

"Русский Мир".¹ 20. По поводу беспорядков в Петербургском университете, как важно свободное и откровенное обсуждение общих вопросов. "Если бы журналы во время университетских происшествий могли по поводу их высказать свое мнение, то можно быть уверенным, что никаких демонстраций не было бы; если бы сущность нового университетского устава могла быть в то время обсуждена в журналах, то естественно оппозиция против него перешла бы в журналы, и профессора и студенты вместо того, чтобы выражать свое мнение на улицах или в ресторанах, или в частных квартирах, находили бы им место в печати и видели бы их более обобщенными, чем это возможно при существовавшем способе. Но журналы были приставлены в необходимость печатать об университетских происшествиях только официальные известия. При таких обстоятельствах, естественно, литература не могла оказать никакого влияния на студентов, хотя нет сомнения, что иначе оказала бы его именно с целью прекращения демонстрации".

"Наше Время". ¹ 113. "Энергическая" статья против распространителей возмутительных воззваний: Бога нет! Не надо слушаться! Откуда такие явления? Даже на Западе только при сопротивлении своих противников разгораются страсти. А у нас нет вражды между сословиями! Это скверная забава ограниченной головы, не знающей, за что взяться. Прогрессисты, даже Герцен отсталый, повторяют одно и то же - скучно их слушать. Здравый смысл нации они не поколеблют.

"Санкт-Петербургские Ведомости". ¹ 122. О пожарах в Петербурге. Агитаторы стремятся создать в России пролетариат, которого нет, ожесточить народ и показать, что власть ничего не может против. Глубокая ошибка, беда сближает людей, вызывает солидарность между населением, пожарными, военными, студентами; жертвы пожаров обращаются к властям; с каким восторгом встретили 28 мая во время пожара, самого государя.

"Светоч". ¹ 5. О последнем романе Тургенева и о нигилизме. Это начало не чуждо русскому народу: его природная недоверчивость, свойственная неразвитым массам, предпочтение материальных благ умственным и духовным и, вообще, отвлеченным истинам; отсутствие фанатизма в религии, близкое к равнодушию, отсутствие идеи законности. Можно ли превратить нигилизм в теорию, в радикализм, отвергающий все, что кажется полумерой, подвергающий всячески все сомнению, по примеру покойного Добролюбова? Еще недавно господствовала вера в обновление посредством западных идей, идеалов. Не вполне применимы? Или мы не подготовлены? Молодое поколение переживает отчаяние и впадает во всеобщее отрицание, Добролюбов ошибся: одним отрицанием нельзя дойти до истины, если мы не имеем о ней определенного понятия. У человека есть другие требования: любовь и вера. (Государь: заключение это весьма справедливо)

"Наше Время" одобряет осмотрительность правосудия. Общественное мнение требует разоблачения виновных; говорят: "Надо их пытать". "Вообще требовать признание есть дело безнравственное, ибо это значит приглашать человека поднять руку на самого себя, и какое-то бессилие общества открыть преступления собственными средствами".

"Северная Пчела". ¹ 168. О либерализме. Не смешивать безумцев "с людьми, желающими воспитать общество таким образом, чтобы Государь видел возможность расширить наши права и дать государственной машине тот ход, который открывает возможность самостоятельности и саморазвития. Зачем смешивать людей, верующих в добрые желания своего царя, с людьми, которых вся цель - беспорядки. Шаги уже сделаны - освобождение крестьян, скоро введение гласного судопроизводства, желание расширить свободу печати. Терпимость религиозного раскола и готовность даровать народу местное самоуправление".

"Северная Летопись". ¹ 26. О покушении в Варшаве на великого князя Константина Николаевича. Он был послан, чтобы дать Польше самые широкие свободы: полная административная независимость, Варшавский университет на польском языке, вскоре свобода слова!

"Наше Время" тоже осуждает покушение.

"Московские Ведомости". ¹ 143. О крестьянском деле, отмечается: развитие доверия крестьян, благодаря мировым посредникам, развитие желания образования, соблюдение порядка благодаря сотрудничеству волостных старшин.

"Отечественные Записки". ¹ 6. "Современная хроника России". Волнения среди крестьян: о том, как студент прочел крестьянам своего отца "Права человека" и идеал коммунизма, от имени англичан и французов; крестьяне на него донесли. "Нашим претендентам на звание народных вождей кажется, что нет ничего легче, как взволновать русский народ, а между тем лишь только появляется кто-нибудь из них с самоновейшей теорией равенства, все бегут от него, как от заразы, или передают его с рук на руки полиции".

Сумароков. "Деревенские письма". О мировых посредниках. Справедливы ли они? Их выбирают, а не назначают, как исправников. Это всегда лучше, чтобы избежать злоупотребления властью. "Неуважение к закону со стороны его исполнителей не столько происходит от их зависимости, сколько вследствие независимости их от общества, среди которого они действуют".

Как относится народ к прокламациям? Недоверчиво, он подозревает даже, что их авторы тоже виновны в пожарах. "Не покажется ли ему виноватым и перо, которое пишет, и книга, которая читается и человек, который учится. Вот услуга этих любителей народа, замечательными разве потому, что любят без всякой надежды на взаимность".

"Северная Почта". ¹ 147. Статистические данные о посещении Общественной Библиотеки Нижнего Новгорода: 20 134 читателя.

Воспитанники семинарии: 6419. Чиновники: 3313. Воспитанники гимназии и института: 2815. Дворяне: 2298 Мещане и купцы: 2200. Офицеры: 1074. Студенты: 614. Военные нижние чины: 219. Ученики военных училищ: 203. Крестьяне: 170.

Требовались. Белинский: 578 (426 семинар.). А. Дюма: 505 (243 гимн. и инст.). Некрасов: 481 (184 семинар.). Поль де Кок: 461. Шиллер: 426 (183 семинар.). Кольцов: 359. Гончаров: 328 (118 дворяне). Диккенс: 326. Тургенев, Дворянское Гнездо: 291 (123 гимн. и инст.). Сочинения: 278".

"Сын Отечества". ¹ 28. "У нас так много говорят и кричат о свободе печати в Англии, и в то же время многие ли знают, в чем действительно состоит эта свобода? Многие ли знают и понимают то, каким образом при такой свободе в Англии, однако не появляется ни беспорядочных манифестаций, ни пасквилей? ... Там есть законы, ограничивающие произвол слова, но дело в том, что эти законы и не стесняют здравого суждения".

"Наше Время". ¹ 153. "Мы не живем в эпоху пророков Сколько бедствий обещалось!! Крестьянское дело идет неожиданно крепко".

"Русский Вестник". ¹ 6. "Заметки для издателя Колокола". Он гордится, что пишет на свободе, единственный представитель свободного русского слова, он язвит нас тем, что мы "писатели подцензурные", и ставит это обстоятельство в вину нам. Он хочет оправдать интерес от разных сообщений из России, доказать благотворно свойство свободы? "Россия вступила в новую эпоху, а он остался тем же недоносок на всех поприщах - одно качество бойкого остряка и кривляки". В Лондоне он не рискует тем, что

ожидает тех, кого он отправляет в Сибирь. "... Он не может не знать, как действует этот пророческий тон на людей незрелых, в тревожную эпоху общественной жизни; он это знает и продолжает говорить тоном пророка". Ему захотелось стать великим наподобие Мадзини, сделаться представителем России. Но Мадзини истинно представляет свой народ, а на что может опереться Герцен? Страна его не раздроблена, не под господством иностранной державы. Россия единственная славянская страна, сохранившая свою независимость. "Государственное единство есть благо, которым русский народ дорожит и должен дорожить, если не хочет обратить в ничто дело тяжкого тысячелетия и исчезнуть с лица земли". Герцен прочел прокламацию "Молодая Россия": Бога нет, долой брак, семейство, право собственности, открывай общие мастерские и лавки! И достигнуть всего этого путем самого обильного кровопускания и забрать крепко власть в свои руки. Прочел и все одобрил!

Извлечения заимствованы из статей, которые отличались благонамеренностью и, согласно цензурным постановлениям, выражаются о желаемых улучшениях тоном приличным.

Список сокращений

- Аксаков К.С. Аксаков К.С. Воспоминания студенчества, 1832-1835. СПб., 1911.
- Аксаков С.Т. Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Анненков. 1881 Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881.
- Анненков Анненков П.В. Замечательное десятилетие, 1838-1846//Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1960.
- Архангельский. 1924 Архангельский К.М. Из истории кружка Н.В. Станкевича//Воронежский краеведческий сборник. Воронеж, 1924. Вып. 1.
- Архангельский. 1926 Архангельский К.М. По поводу первой биографии Н.В. Станкевича//Труды Воронежского гос. университета. Воронеж, 1926. Т. 3.
- Бакунин Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем. В 3 т. Под ред. Ю.М. Стеклова. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1934-1935.
- Белинский Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953-1959.
- Бердяев Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.
- Бестужев Бестужев А. Взгляд на старую и новую словесность в России//Полярная Звезда. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Боденштедт Боденштедт Ф. Воспоминания о пребывании в России в 1841-1845 г.//Русская Старина. 1887. Т. LIV.

Бродский	Бродский Л.Н. Литературные салоны и кружки. М.-Л.: Academia, 1936.
В.Г. Белинский и его корреспонденты Веневитинов	В.Г. Белинский и его корреспонденты. Под ред. Н.Л. Бродского. М., 1948. Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений. М.-Л.: Академия, 1934.
Вяземский	Вяземский П.А. Записные Книжки, 1813-1848 М.: Изд-во АН СССР, 1963.
Герцен	Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954-1965.
Гершензон	Гершензон М.Ю. Творческое самосознание//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.
Гоголь	Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1966-1967.
Гончаров	Гончаров И.А. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1952-1955.
Т.Н. Грановский и его переписка Добролюбов	Т.Н. Грановский и его переписка. В 2 т. М., 1897. Добролюбов Н.А. Избранные философские произведения. В 2 т. М.: ОГИЗ гос. изд. политической литературы, 1948.
Драгоманов	Драгоманов М.П. М.А. Бакунин, письма к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1907.
Заблоцкий-Десятовский	Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. В 4 т. СПб., 1882.
Карамзин	Карамзин Н.М. Избранные сочинения. В 2 т. М.-Л.: Художественная литература, 1964.
Киреевский	Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. В 2 т. Под ред. М. Гершензона. М., 1911.
Кирпичников	Кирпичников А.И. Между славянофилами и западниками. Н.А. Мельгунов//Русская Старина. 1898. ХСVI.
Ключевский	Ключевский В.Ю. Сочинения. В 8 т. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1956-1959.
Козмин	Козмин Н.К. Надеждин Н.И. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб., 1912.

Кольцов	Кольцов А.В. Сочинения. В 2 т.. М., 1958.
Конституция СССР	Конституция (основной закон) СССР. М., 1975.
Корнилов	Корнилов А.А. Молодые годы Михаила Бакунина, М., 1915.
Костенецкий	Костенецкий Ю.И. Воспоминания моей студенческой жизни//Русский Архив.1887, ¹ 3, 16.
Кошелев	Кошелев А.И. Записки А.М. Кошелева, 1812-1883. Берлин, 1884.
Лажечников	Лажечников И.И. В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1962.
Лемке	Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855. СПб., 1909.
ЛН ¹ 56	Литературное Наследство, М.: Изд-во АН СССР, 1950. ¹ 56.
ЛН ¹ 57	Литературное Наследство, М.: Изд-во АН СССР, 1951, ¹ 57.
Неверов	Неверов Ю.М. Т.Н. Грановский, воспоминания//Русская Старина. 1880. XXVII.
Нечаева	Нечаева В.С. В.Г. Белинский. В 4 т. М.: Изд-во АН СССР, 1949-1967.
Никитенко	Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. М.: Государственное Издательство Худ. Литературы, 1955-1956.
Погодин	Жизнь и Труды М.П. Погодина. Под ред. Н. Барсукова. В 22 т. СПб, 1888-1910.
Огарев	Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. В 2 т., М., 1956.
Одоевский	Одоевский В.Ф. Русские Ночи. Москва, 1913.
Оксман	Оксман Ю. Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского. М.: Госиздат, 1958.

- Павлов Павлов Н.Ф. Из переписки кн. В.Ф. Одоевского, письма Н.Ф. Павлова// Русская Старина. 1904, ¹ 118.
- Панаев Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб, 1876.
- Пирогов Пирогов Н.И. Посмертные записки// Русская Старина. 1885. Т. XLV. Январь.
- Полевой Полевой К.С. Записки о жизни и сочинениях Н.А. Полевого. Л., 1934.
- Полонский Полонский В. М.А. Бакунин, жизнь, деятельность, мышление. М.: Госиздат, 1922.
- Поляков Поляков М. Виссарион Белинский. Личность, идеи, эпоха. М., 1960.
- Прозоров Прозоров П.И. В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1962.
- Пушкин Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Госиздат, 1959-1962.
- Переписка Н.В. Станкевича Станкевич Н.В. Станкевича, 1830-1840. Ред. и изд. А. Станкевич. М., 1914.
- Станкевич Станкевич Н.В. Стихотворения, трагедия, проза. М., 1890.
- Поэты кружка Станкевича Поэты кружка Станкевича. Библиотека поэта. Пред. С.И. Машинского. М.-Л., 1964.
- Русская периодическая печать Русская периодическая печать, 1702-1894. Под ред. А. Западова. М.: Госполитиздат, 1959.
- Стеклов Стеклов Ю.М. М.А. Бакунин, его жизнь и деятельность. М.: Изд-во коммунистической академии, 1926. Т. 1.
- Струве Струве П.Б. Интеллигенция и революция//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.
- Тургенев. Письма Тургенев И.С. Полное собрание писем. В 12 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960-1968.
- Тургенев Тургенев И.С. Полное собрание сочинений. В 15 т. Изд-во АН СССР, 1960-1968.

- Хомяков Хомяков А.С. Избранные сочинения. Н.-У.: Изд. Чехов, 1955.
- Чаадаев Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. Под ред. М. Гершензона. В 2 т. М., 1913.
- Чернышевский. Чернышевский Н.Г. Барским крестьянам от их доброжелателей URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/chern.htm> (дата обращения: 27.02.2009)
- Барским крестьянам от их доброжелателей
- Чернышевский Н.Г. Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. Гос. изд-во художественной литературы, М. 1953.
- Очерки гоголевского периода русской литературы
- Чернышевский Н.Г. Чернышевский Н.Г. Русский человек на ранде ву
- Русский человек на ранде ву
- Чернышевский Н.Г. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности
- Эстетические отношения искусства к действительности
- Чижевский Чижевский Д.Ж. Гегель в России. Paris, 1939.
- Чичерин. О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян
- Чичерин Б. О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян// Атеней.1858. ¹ 5 .
- Чичерин. О французских крестьянах
- Чичерин Б. О французских крестьянах//Атеней. 1858. Ч. 1. Ч. 1. ¹ 1- 4.
- Чичерин Б. Россия накануне XX-го века
- Чичерин Б. Россия накануне XX-го века. Изд-во Гуго-Штейница.
- Языков Языков Н.М. Полное собрание сочинений. Л.: Библиотека поэта, 1964.
- Archives Bakounine Archives Bakounine. International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, textes établis et annotés par Arthur Lehning, Leiden : E.J. Brill. 8 t. 1964-1981.
- Cornu Cornu A. Karl Marx et Friedrich Engels. Paris : PUF, 1955. T.1. Les années d'enfance et de jeunesse, la gauche hégélienne.
- Custine Custine, marquis de. La Russie en 1839. 4 vol. 2e édition. Paris, 1843.

Feuerbach	Feuerbach L. Manifestes philosophiques. Trad. L. Althusser. Paris : PUF, 1960.
Fichte	Fichte J.G. La Destination de l'homme/ Préface J. Hyppolite, trad. M. Molitor. Paris : Montaigne, 1942.
Grunwald	Grunwald A. La vie de Nicolas 1er. Paris : Calmann-Lévy, 1946.
Hegel. Esthétique	Hegel G.W.F. Esthétique. 3 t. en 4 vol. Paris : Aubier-Montaigne, 1944.
Hegel. Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques	Hegel GW.F. Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Trad. J. Gibelin. Paris : J.Vrin, 1952.
Hegel GW.F. Principes de la philosophie du droit	Hegel GW.F. Principes de la philosophie du droit. Trad. A. Kaan. Paris : Gallimard, 1949.
Kant	Kant E. Critique de la raison pure. 2 vol. Trad. J. Barni. Paris : Flammarion, 1934.
Labry	Labry R. Alexandre Ivanovitch Herzen (1812-1870). Paris, 1928.
Lerminier	Lerminier E. Au delà du Rhin. 2 t. en 1 vol. Paris, 1835.
Marx/Bakounine	Marx/Bakounine: socialisme autoritaire ou libertaire. Paris : Union générale d'éditions 10-18, 1975.
Saint-Marc Girardin	Saint-Marc Girardin. Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne. Paris, 1835.
Strauss	Strauss D. Vie de Jésus ou examen critique de son histoire. 2 vol. Trad. E. Littré. 3-e édition. Paris, 1864.
Varnhagen	Varnhagen von Ense K.A. Tagebücher. 14 t. Leipzig, 1861, Berlin, 1905.
Wackenröder	Wakenröder. Fantaisies sur l'art par un religieux ami de l'art. Intr. et trad. J. Boyer. Paris : Aubier-Montaigne, 1945.
Willm	Willm J. Essai sur la philosophie de Hegel// La Revue germanique. T. 1-3, 1835.
Winkelmann	Winkelmann J.J. Histoire de l'Art chez les Anciens. Trad. M. Hubert. 3 vol. Paris, 1789.

Архивы

- Архив кн. В.А. Черкасского
Архив кн. В.А. Черкасского. Обзор материалов по крестьянскому делу и переписки. И. Козьменко//ОР РГБ.
- Записка тов. министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева
Записка тов. Министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева. Несколько слов о необходимости земельной собственности для крестьян// ЦГИА. Фонд гр. Киселева, 958 1 9 663.
- Письма тов. министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева неустановленному лицу
Письма тов. Министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева неустановленному лицу// Фонд гр. Киселева ЦГИА 1101 1 1461.
- Майков
Обзоры К.А. Майкова "Архив Орловых-Давыдовых"// РГБ.
- Дмитриев
Обзоры С.С. Дмитриева "Архив редакции "Сельского Благоустройства" (1858-1859 гг.)// РГБ.
- Бутина
Обзоры К.И. Бутиной "К истории журнала "Атеней"// РГБ.
- Время
Время, январь 1863. ¹ 1. С. 32-35.
- Архив кн. В.А. Черкасского Письма от Ю.Ф. Самарина кн. В.А. Черкасского
Архив кн. В.А. Черкасского Письма от Ю.Ф. Самарина кн. В.А. Черкасскому, 1859-1861// ОР РГБ.
- В.А. Черкасского
Архив кн. В.А. Черкасского. Письма 1858-1862
- Архив кн. В.А. Черкасского. Письма 1858-1862
Архив кн. В.А. Черкасского. Письма 1858-1862//ОР РГБ. Черк / III 10-1
- Головнин
Головнин А.В. Разница в направлении государственной деятельности в 1-ой и во 2-ой половине нынешнего царствования, март 1867 г.// РНБ Ф 208 / 41 Головнин.
- Фонд гр. Киселева
Фонд гр. Киселева//ЦГИА. 958 18; ЦГИА 958 1 9 663; ЦГИА 1101 1 1461.

Библиографический список

Аксаков К.С. Воспоминания студенчества, 1832-1835. СПб., 1911.

Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881.

Анненков П.В. Замечательное десятилетие, 1838-1846//Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1960.

Архангельский К.М. По поводу первой биографии Н.В. Станкевича//Труды Воронежского гос. университета. Воронеж, 1926. Т. 3.

Архангельский К.М. Из истории кружка Н.В. Станкевича/Воронежский краеведческий сборник. Воронеж, 1924. . Вып. 1.

Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем. В 3 т. Под ред. Ю.М. Стеклова. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1934-1935.

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953-1959.

Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.

Бестужев А. Взгляд на старую и новую словесность в России//Полярная Звезда. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

Боденштедт Ф. Воспоминания о пребывании в России в 1841-1845 г.//Русская Старина. 1887. Т. LIV.

Бродский Л.Н. Литературные салоны и кружки. М.-Л.: Академия, 1936.

В.Г. Белинский и его корреспонденты. Под ред. Н.Л. Бродского. М., 1948.

Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений. М.-Л.: Академия, 1934.

Вяземский П.А. Записные Книжки, 1813-1848 М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954-1965.

Гершензон М.Ю. Творческое самосознание//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.

Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1966-1967.

Гончаров И.А. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1952-1955.

Т.Н. Грановский и его переписка. В 2 т. М., 1897.

Добролюбов Н.А. Избранные философские произведения. В 2 т. М.: ОГИЗ гос. изд. политической литературы, 1948.

Драгоманов М.П. М.А. Бакунин, письма к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1907.

Заблоцкий-Десятковский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. В 4 т. СПб., 1882.

Карамзин Н.М. Избранные сочинения. В 2 т. М.-Л.: Художественная литература, 1964.

Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. В 2 т. Под ред. М. Гершензона. М., 1911.

Кирпичников А.И. Между славянофилами и западниками. Н.А. Мельгунов//Русская Старина. 1898. ХСVI.

Ключевский В.Ю. Сочинения. В 8 т. М.: Издво социально-экономической литературы, 1956-1959.

Козмин Н.К. Надеждин Н.И. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб., 1912.

Кольцов А.В. Сочинения. В 2 т.. М., 1958.

Конституция (основной закон) СССР. М., 1975.

Корнилов А.А. Молодые годы Михаила Бакунина, М., 1915.

Костенецкий Ю.И. Воспоминания моей студенческой жизни//Русский Архив. 1887, ¹ 3, 16.

Кошелев А.И. Записки А.М. Кошелева, 1812-1883. Берлин, 1884.

Лажечников И.И. В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1962.

Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855. СПб., 1909.

Литературное Наследство, М.: Изд-во АН СССР, 1950. ¹ 56.

Литературное Наследство, М.: Изд-во АН СССР, 1951, ¹ 57.

Неверов Ю.М. Т.Н. Грановский, воспоминания//Русская Старина. 1880. ХХVII.

Нечаева В.С. В.Г. Белинский. В 4 т. М.: Изд-во АН СССР, 1949-1967.

Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. М.: Государственное Издательство Худ. Литературы, 1955-1956.

Жизнь и Труды М.П. Погодина. Под ред. Н. Барсукова. В 22 т. СПб, 1888-1910.

Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. В 2 т., М., 1956.

Одоевский В.Ф. Русские Ночи. Москва, 1913.

Оксман Ю. Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского. М.: Госиздат, 1958.

Павлов Н.Ф. Из переписки кн. В.Ф. Одоевского, письма Н.Ф. Павлова//Русская Старина. 1904, ¹ 118.

Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб, 1876.

Пирогов Н.И. Посмертные записки//Русская Старина. 1885. Т. XLV. январь.

Полевой К.С. Записки о жизни и сочинениях Н.А. Полевого. Л., 1934.

Полонский В. М.А. Бакунин, жизнь, деятельность, мышление. М.: Госиздат, 1922.

Поляков М. Виссарион Белинский. Личность, идеи, эпоха. М., 1960.

Прозоров П.И. В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1962.

Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Госиздат, 1959-1962.

Переписка Н.В. Станкевича, 1830-1840. Ред. и изд. А. Станкевич. М., 1914.

Станкевич Н.В. Стихотворения, трагедия, проза. М., 1890.

Поэты кружка Станкевича. Библиотека поэта. Пред. С.И. Машинского. М.-Л., 1964.

Русская периодическая печать, 1702-1894. Под ред. А. Запада. М.: Госполитиздат, 1959.

Стеклов Ю.М. М.А. Бакунин, его жизнь и деятельность. М.: Изд-во коммунистической академии, 1926. Т. 1.

Струве П.Б. Интеллигенция и революция//Вехи, сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.

Тургенев И.С. Полное собрание писем. В 12 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960-1968.

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений. В 15 т. Изд-во АН СССР, 1960-1968.

Хомяков А.С. Избранные сочинения. N.-Y.: Изд. Чехов, 1955.

Чаадаев П.Ю. Сочинения и письма. Под ред. М. Гершензона. В 2 т. М., 1913.

Чернышевский Н.Г. Барским крестьянам от их доброжелателей URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/chern.htm> (дата обращения: 27.02.2009)

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы, Госизд. художественной литературы, М. 1953.

Чернышевский Н.Г. Русский человек на ранде ву//Литературная критика. В 2 т. М.,1981.

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М.: ОГИЗ Госизд. политической литературы, 1948.

Чижевский Д.Ж. Гегель в России. Paris, 1939.

Чичерин Б. О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян//Атеней. 1858. ¹ 5.

Чичерин Б. О французских крестьянах//Атеней. 1858. Ч. 1. Ч. 1. ¹ 1- 4.

Чичерин Б. Россия накануне XX-го века. Изд-во Гуго-Штейница.

Языков Н.М. Полное собрание сочинений. Л.: Библиотека поэта, 1964.

Archives Bakounine. International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, textes établis et annotés par Arthur Lehning, Leiden : E.J. Brill. 8 t. 1964-1981.

Cornu A. Karl Marx et Friedrich Engels. Paris : PUF, 1955. T.1. Les années d'enfance et de jeunesse, la gauche hégélienne.

Custine, marquis de. La Russie en 1839. 4 vol. 2e édition. Paris, 1843.

Feuerbach L. Manifestes philosophiques. Trad. L. Althusser. Paris : PUF, 1960.

Fichte J.G. La Destination de l'homme/ Préface J. Hyppolite, trad. M. Molitor. Paris : Montaigne, 1942.

Grunwald A. La vie de Nicolas 1er. Paris : Calmann-Lévy, 1946.

Hegel G.W.F. Esthétique. 3 t. en 4 vol. Paris : Aubier-Montaigne, 1944.

Hegel G.W.F. Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Trad. J. Gibelin. Paris : J.Vrin, 1952.

Hegel G.W.F. Principes de la philosophie du droit. Trad. A. Kaan. Paris : Gallimard, 1949.

Kant E. Critique de la raison pure. 2 vol. Trad. J. Barni. Paris : Flammarion, 1934.

Labry R. Alexandre Ivanovitch Herzen (1812-1870). Paris, 1928.

Terminier E. Au delà du Rhin. 2 t. en 1 vol. Paris, 1835.

Marx/Bakounine: socialisme autoritaire ou libertaire. Paris : Union générale d'éditions 10-18, 1975.

Saint-Marc Girardin. Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne. Paris, 1835.

Strauss D. Vie de Jésus ou examen critique de son histoire. 2 vol. Trad. E. Littré. 3-e édition. Paris, 1864.

Varnhagen von Ense K.A. Tagebücher. 14 t. Leipzig, 1861, Berlin, 1905.

Wackenröder. Fantaisies sur l'art par un religieux ami de l'art. Intr. et trad. J. Boyer. Paris : Aubier-Montaigne, 1945.

Willm J. Essai sur la philosophie de Hegel//La Revue germanique. T. 1-3, 1835.

Winkelmann J.J. Histoire de l'Art chez les Anciens. Trad. M. Hubert. 3 vol. Paris, 1789.

Архивы

Архив кн. В.А. Черкасского. Обзор материалов по крестьянскому делу и переписки. И. Козьменко//ОР РГБ.

Архив кн. В.А. Черкасского Письма от Ю.Ф. Самарина кн. В.А. Черкасскому, 1859-1861// ОР РГБ.

Архив кн. В.А. Черкасского. Письма 1858-1862 // ОР РГБ. Черк / III 10-1

Время, январь 1863 . ¹ 1. С. 32-35.

Головнин А.В. Разница в направлении государственной деятельности в 1-ой и во 2-ой половине нынешнего царствования, март 1867 г.// РНБ Ф 208 / 41 Головнин.

Записка тов. Министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева. Несколько слов о необходимости земельной собственности для крестьян// ЦГИА. Фонд гр. Киселева, 958 1 9 663.

Обзоры К.А. Майкова "Архив Орловых-Давыдовых"// РГБ.

Обзоры С.С. Дмитриева "Архив редакции "Сельского Благоустройства" (1858-1859 гг.)// РГБ.

Обзоры К.И. Бутиной "К истории журнала "Атеней"// РГБ.

Письма тов. Министра гос. имуществ Дм. Пет. Хрущева неустановленному лицу// Фонд гр. Киселева ЦГИА 1101 1 1461.

Фонд гр. Киселева//ЦГИА. 958 18.

Примечания

Предисловие

¹ Одоевский. С. X.

Вступление

- ² Веневитинов. С. 210-211.
³ Кошелев. С. 12-13.
⁴ Веневитинов. С. 477.
⁵ Погодин. Т. 2. С. 43-44.
⁶ Веневитинов. С. 493, 365, 215-220.
⁷ Лемке. С. 190.
⁸ Погодин. Т. 2. С. 386, 376.
⁹ Веневитинов. С. 395.
¹⁰ Погодин. Т. 2. С. 91-92.
¹¹ Кошелев. С. 21.
¹² Киреевский. Т. 1. С. 10.
¹³ Пушкин. Т. 9. С. 279-280.
¹⁴ Веневитинов. С. 226-227, 482, 233, 236, 237.
¹⁵ Киреевский. Т. 2. С. 44-46, 1-20.
¹⁶ Погодин. Т. 3. С. 54. Московский Телеграф. 1830. ¹ 2. С. 202-203.
¹⁷ Погодин. Т. 2. С. 71.
¹⁸ Киреевский. Т. 1. С. 27, 25, 28, 31, 32, 35.
¹⁹ Погодин. Т. 1. С. 200-201.
²⁰ Киреевский. Т. 1. С. 43.
²¹ Там же. Т. 2, С. 221, Т. 1, С. 48, 31.
²² Там же. Т. 1, С. 50-51, 54.

Глава 1

- ²³ Погодин. Т. 3. С. 205 .
²⁴ Белинский. Т. 1. С. 421-439.
²⁵ Пирогов. С. 17-27.

- ²⁶ ЛН ¹ 56. С. 356, 411.
- ²⁷ ЛН ¹ 57. С. 59.
- ²⁸ Белинский. Т. 11. С. 50, 52.
- ²⁹ Прозоров. С. 109-110.
- ³⁰ Белинский. Т. 11. С. 53-54.
- ³¹ Герцен. Т. 8. С. 117-122.
- ³² Костенецкий. ¹ 3. С. 321-349.
- ³³ ЛН ¹ 56. С. 85-387, 379.
- ³⁴ Погодин. Т. 3. С. 336.
- ³⁵ Костенецкий. ¹ 5-6. С. 75.
- ³⁶ Герцен. Т. 8. С. 134.
- ³⁷ ЛН ¹ 56. С. 359-364.
- ³⁸ Архангельский. 1926. С. 95-110.
- ³⁹ Анненков. 1881. С. 274.
- ⁴⁰ Костенецкий. ¹ 16. С. 111.
- ⁴¹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 745.
- ⁴² Там же. С. 436, 217, 392, 250.
- ⁴³ ЛН. ¹ 56. С. 284, 292.
- ⁴⁴ Герцен. Т. 8. С. 134.
- ⁴⁵ Белинский. Т. 11. С. 64.
- ⁴⁶ Погодин. Т. 3. С. 307. Т. 4. С. 47.
- ⁴⁷ Поэты кружка Станкевича. С. 23.
- ⁴⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 212-213, 211.
- ⁴⁹ Погодин. Т. 4. С. 62-64.
- ⁵⁰ Там же. Т. 1. С. 79-80, 227-230, 292-293, 330-332.
- ⁵¹ Там же. Т. 2. С. 241-248, 261-262.
- ⁵² Там же. С. 50-52.
- ⁵³ Там же. Т. 3. С. 230-233.
- ⁵⁴ Там же. С. 242, 237, 196, 367-368.
- ⁵⁵ Киреевский. Т. 1. С. 92, 94, 95, 97-98, 100, 103-106, 108.
- ⁵⁶ Погодин. Т. 4. С. 5-7, 9.
- ⁵⁷ Никитенко. Т. 1. С. 114.
- ⁵⁸ Киреевский. Т. 2. С. 60-61.
- ⁵⁹ Погодин. Т. 4. С. 5-11.
- ⁶⁰ Там же. Т. 3. С. 258.
- ⁶¹ Герцен. Т. 8. С. 122-123. Т. 9. С. 16-17.
- ⁶² Переписка Н.В. Станкевича. С. 208.
- ⁶³ Герцен. Т. 9. С. 17.
- ⁶⁴ Козмин. С. 248-250, 254-256.
- ⁶⁵ Боденштедт. С. 426-427.

- ⁶⁶ Бестужев. С. 21.
- ⁶⁷ Погодин. Т. 3. С. 21-25. Т. 2. С. 344-348. Т. 3. С. 244.
- ⁶⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 213.
- ⁶⁹ Погодин. Т. 4. С. 72-78.
- ⁷⁰ Прозоров. С. 117.
- ⁷¹ Погодин. Т. 4. С. 81.
- ⁷² Гончаров. Т. 7. С. 193-223.
- ⁷³ Пушкин. Т. 10. С. 113.
- ⁷⁴ ЛН ¹ 56. С. 398.
- ⁷⁵ Погодин. Т. 4. С. 82-85, 98-99, 218.
- ⁷⁶ Белинский. Т. 11. С. 94, 87-90.
- ⁷⁷ К.С. Аксаков. С. 17-18.
- ⁷⁸ Поляков. С. 105.
- ⁷⁹ Архангельский. 1924. С. 35.
- ⁸⁰ ЛН ¹ 56. С. 376.
- ⁸¹ Герцен. Т. 21. С. 14.
- ⁸² Переписка Н.В. Станкевича. С. 246-247.
- ⁸³ Герцен. Т. 21. С. 15, 142, 509.
- ⁸⁴ Поэты кружка Станкевича. С. 119.
- ⁸⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 248-251.
- ⁸⁶ Герцен. Т. 21. С. 17-26.
- ⁸⁷ Переписка Н.В. Станкевича. С. 298-299.
- ⁸⁸ Там же. С. 264-268, 276, 267, 275.
- ⁸⁹ Там же. С. 265, 277, 276.
- ⁹⁰ Герцен. Т. 7. С. 89-90.
- ⁹¹ Гоголь. Т. 7. С. 110.
- ⁹² Белинский. Т. 4. С. 428.
- ⁹³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 277, 263, 279.
- ⁹⁴ Полевой. С. 323.

Глава 2.

- ⁹⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 284-285, 287, 281.
- ⁹⁶ Бакунин. Т. 2. С. 104.
- ⁹⁷ Веневитинов. С. 249, 254.
- ⁹⁸ Корнилов. С. 47, 80-83.
- ⁹⁹ Поэты кружка Станкевича. С. 192.
- ¹⁰⁰ Переписка Н.В. Станкевича. С. 285-286, 398-399.
- ¹⁰¹ Герцен. Т. 8. С. 203.
- ¹⁰² Там же. С. 173-175.

- ¹⁰³ Погодин. Т. 4, С. 48.
- ¹⁰⁴ Белинский. Т. 1. С. 47.
- ¹⁰⁵ Там же. С. 57-58, 72, 77, 87-104.
- ¹⁰⁶ Козмин. С. 356-357.
- ¹⁰⁷ Лажечников. С. 45-46.
- ¹⁰⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 289-292, 401-403, 408.
- ¹⁰⁹ Станкевич. С. 156-172.
- ¹¹⁰ Переписка Н.В. Станкевича. С. 298-306.
- ¹¹¹ Там же. С. 311. Белинский. Т. 1 С. 77-78.
- ¹¹² Гоголь. Т. 7. С. 129.
- ¹¹³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 295, 282.
- ¹¹⁴ Кошелев. С. 55.
- ¹¹⁵ Погодин. Т. 2. С. 29.
- ¹¹⁶ Киреевский. Т. 2. С. 63.
- ¹¹⁷ Веневитинов. С. 401.
- ¹¹⁸ Там же. С. 385-386, 402-403.
- ¹¹⁹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 315, 317.
- ¹²⁰ Поэты кружка Станкевича. С. 484.
- ¹²¹ Там же. С. 599.
- ¹²² Переписка Н.В. Станкевича. С. 314-316.
- ¹²³ Корнилов. С. 153-155.
- ¹²⁴ Переписка Н.В. Станкевича. С. 571-572.
- ¹²⁵ Козмин. С. 467-483, 497.
- ¹²⁶ Переписка Н.В. Станкевича. С. 318. 319. 321.
- ¹²⁷ Там же. С. 410-411.
- ¹²⁸ Белинский. Т. 1. С. 312-313.
- ¹²⁹ Погодин. Т. 3. С. 306.
- ¹³⁰ Белинский. Т. 1. С. 328.
- ¹³¹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 333.
- ¹³² Погодин. Т. 4. С. 352.
- ¹³³ Белинский. Т. 1. С. 325-326.
- ¹³⁷ Бродский. С. 346-347.
- ¹³⁵ Белинский. Т. 1. С. 362, 369, 370, 360. Переписка Н.В. Станкевича. С. 339.
- ¹³⁶ Оксман. С. 92.
- ¹³⁷ Белинский. Т. 1. С. 377, 383. Оксман. С. 110.
- ¹³⁸ К.С. Аксаков. С. 28.
- ¹³⁹ С.Т. Аксаков. С. 13-15.
- ¹⁴⁰ Переписка Н.В. Станкевича. С. 574.
- ¹⁴¹ Белинский. Т. 1. С. 284, 288.

- ¹⁴² Переписка Н.В. Станкевича. С. 573-574, 330, 547, 445, 337, 341, 578-579.
- ¹⁴³ Погодин. Т. 4. С. 313-315, 319, 330-332.
- ¹⁴⁴ Переписка Н.В. Станкевича. С. 580, 582, 585.
- ¹⁴⁵ Там же. С. 590, 337-338.
- ¹⁴⁶ Там же. С. 587, 589, 595-596.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 336, 578, 445.
- ¹⁴⁸ Там же. С. 595, 579, 596, 595.
- ¹⁴⁹ Там же. С. 601-602.
- ¹⁵⁰ Корнилов. С. 161-163, 165.
- ¹⁵¹ Там же. С. 206.
- ¹⁵² Там же. С. 214-215, 217.
- ¹⁵³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 406, 605-608.
- ¹⁵⁴ Там же. С. 354-357, 611-613, 357.
- ¹⁵⁵ Там же. С. 348, 447-448.
- ¹⁵⁶ Белинский. Т. 2. С. 46-48.
- ¹⁵⁷ Гоголь. Т. 6. С. 179-181.
- ¹⁵⁸ Белинский. Т. 2. С. 129.
- ¹⁵⁹ Там же. С. 48, 168, 158.
- ¹⁶⁰ Там же. С. 125, 167, 139, 137, 135, 172, 176-177.
- ¹⁶¹ Оксман. С. 121.
- ¹⁶² Переписка Н.В. Станкевича. С. 412, 234-236.
- ¹⁶³ Белинский. Т. 2. С. 235.
- ¹⁶⁴ Там же. Т. 11. С. 329.
- ¹⁶⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 362, 615, 363.
- ¹⁶⁶ Корнилов. С. 245, 247.
- ¹⁶⁷ Белинский. Т. 11. С. 319-320, 176-177, 175.
- ¹⁶⁸ Корнилов. С. 263-265.
- ¹⁶⁹ Чаадаев. Т. 2. С. 76-93.
- ¹⁷⁰ ЛН ¹ 56. С. 232.
- ¹⁷¹ ЛН ¹ 55. С. 416.
- ¹⁷² Переписка Н.В. Станкевича. С. 619-622.
- ¹⁷³ ЛН ¹ 56. С. . 231-233, 251.
- ¹⁷⁴ Белинский. Т. 11. С. 208.
- ¹⁷⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 624, 320.
- ¹⁷⁶ Корнилов. С. 330, 295.
- ¹⁷⁷ Переписка Н.В. Станкевича. С. 508, 515, 518.
- ¹⁷⁸ Там же. С. 509-515.
- ¹⁷⁹ Корнилов. С. 296.
- ¹⁸⁰ Белинский. Т. 11. С. 333-334.

- ¹⁸¹ В.Г. Белинский и его корреспонденты. С. 91-93, 103.
¹⁸² Нечаева. Т. 3. С. 17.
¹⁸³ Бакунин. Т. 1. С. 413.
¹⁸⁴ Переписка Н.В. Станкевича. С.369, 371.
¹⁸⁵ Белинский. Т. 11. С. 129.
¹⁸⁶ Корнилов. С. 344-345.
¹⁸⁷ Переписка Н.В. Станкевича. С. 521, 498.
¹⁸⁸ Корнилов. С. 308, 305.
¹⁸⁹ Белинский. Т. 11. С. 395.
¹⁹⁰ Корнилов. С. 375-376.
¹⁹¹ ЛН ¹ 56. С. 103.
¹⁹² Белинский. Т. 11. С. 214-215.
¹⁹³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 625-626.
¹⁹⁴ Корнилов. С. 349, 353.
¹⁹⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 430, 502.
¹⁹⁶ Герцен. Т. 9. С. 17-18.

Глава 3.

- ¹⁹⁷ Переписка Н.В. Станкевича. С. 535-536, 638-639.
¹⁹⁸ Поэты кружка Станкевича. С. 114.
¹⁹⁹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 638.
²⁰⁰ Чижевский. С. 73.
²⁰¹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 9. 539, 540.
²⁰² Там же. С. 754-756.
²⁰³ Там же. С. 20. 383-384, 382, 379-380.
²⁰⁴ Там же. С. 391, 542, 24.
²⁰⁵ Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 74 (по-французски).
²⁰⁶ Переписка Н.В. Станкевича. С. 546, 551, 173.
²⁰⁷ Неверов. С. 751.
²⁰⁸ Тургенев. Т. 4. С. 90.
²⁰⁹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 70.
²¹⁰ Там же. С. 160, 161, 162, 640-641.
²¹¹ Там же. С. 187, 548, 547.
²¹² ЛН ¹ 56. С. 120.
²¹³ Огарев. Т. 2. С. 336.
²¹⁴ Киреевский. Т. 1. С. 130.
²¹⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 466, 161.
²¹⁶ Огарев. Т. 2. С. 343.

- 217 Переписка Н.В. Станкевича. С. 175.
- 218 Бакунин. Т. 2. С. 232, 275-276.
- 219 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 390.
- 220 Переписка Н.В. Станкевича. С. 175, 164.
- 221 Тургенев. Т. 4. С. 390.
- 222 Переписка Н.В. Станкевича. С. 166.
- 223 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 362.
- 224 Переписка Н.В. Станкевича. С. 32-33.
- 225 Lermnier. Т. 1. Р. 97-99.
- 226 Saint-Marc Girardin. Р. 24.
- 227 Переписка Н.В. Станкевича. С. 49, 39.
- 228 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 388.
- 229 Переписка Н.В. Станкевича. С. 38, 74, 79-80.
- 230 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 176.
- 231 Varnhagen von Ense. Т. 1. Р. 50, 53.
- 232 Неверов. С. 750.
- 234 Переписка Н.В. Станкевича. С. 28, 174, 50.
- 235 Тургенев. Т. 4. С. 203-204.
- 236 Переписка Н.В. Станкевича. С. 452, 54, 451, 454, 456, 455, 476.
- 237 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 325.
- 238 Погодин. Т. 5. С. 101.
- 239 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 332.
- 240 Там же. С. 333-334.
- 241 Там же. С. 336-339.
- 242 Переписка Н.В. Станкевича. С. 480.
- 243 Там же. С. 57-59, 565.
- 244 Там же. С. 667.
- 245 Там же. С. 566, 560.
- 246 Там же. С. 57, 458, 384, 679.
- 247 Там же. С. 678-679.
- 248 Там же. 679.
- 249 Там же. С. 70, 395.
- 250 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 342-343, 411.
- 251 Там же. С. 351. 356-365.
- 252 Переписка Н.В. Станкевича. С. 175, 673. Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 398. Погодин. Т. 8. С. 418.
- 253 Переписка Н.В. Станкевича. С. 184, 472.
- 254 Там же. С. 569, 180-181.
- 255 Там же. С. 63, 68, 463, 181, 177-178, 69, 473.

- ²⁵⁶ Там же. С. 758-769, 73, 74.
²⁵⁷ Тургенев. Т. 4. С. 390-391.
²⁵⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 82-88, 94.
²⁵⁹ Там же. С. 676-677.
²⁶⁰ Там же. С. 190, 675-676.
²⁶¹ Поэты кружка Станкевича. С. 65.
²⁶² Переписка Н.В. Станкевича. С. 671-672.
²⁶³ Там же. С. 193-194.
²⁶⁴ Киреевский. Т. 2. С. 221. Т. 1, С. 29.
²⁶⁵ Белинский. Т. 3. С. 178, 157, 223.
²⁶⁶ Там же. Т. 11. С. 367.
²⁶⁷ Переписка Н.В. Станкевича. С. 396-397.
²⁶⁸ Тургенев. Т. 4. С. 390.
²⁶⁹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 99.
²⁷⁰ Там же. С. 477.
²⁷¹ Там же. С. 430.

Глава 4.

- ²⁷² Бакунин. Т. 1. С. 411. Т. 2. С. 18, 22, 25, 28, 27, 49, 10-12.
²⁷³ Белинский. Т. 11. С. 183-184.
²⁷⁴ Бакунин. Т. 2. С. 67-69, 70-72.
²⁷⁵ Белинский. Т. 11. 148-149, 150-151, 152, 153, 160-161, 186.
²⁷⁶ Там же. С. 206-209.
²⁷⁷ Бакунин. Т. 2. С. 89.
²⁷⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 549-550.
²⁷⁹ Белинский. Т. 11. С. 231-232.
²⁸⁰ Бакунин. Т. 2. С. 133, 141.
²⁸¹ Корнилов. С. 592-594.
²⁸² Бакунин. Т. 2. С. 143-144, 216.
²⁸³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 659-661, 665-666.
²⁸⁴ Белинский. Т. 11. С. 336, 386-387.
²⁸⁵ G.W.F. Hegel. Principes de la philosophie du droit. P. 26, 29.
²⁸⁶ Hegel. Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques.
P. 298, 296-297.
²⁸⁷ Hegel. Principes de la philosophie du droit. P. 30.
²⁸⁸ Полевой. С. 497-499.
²⁸⁹ Погодин. Т. 5. С. 111-112.
²⁹⁰ ЛН ¹ 56. С. 410.
²⁹¹ ЛН ¹ 57. С. 258-259.

- 292 Бакунин. Т. 2. С. 163.
293 Там же. С. 177-178.
294 Белинский. Т. 2. С. 262, 293, 290-291, 302.
295 Бакунин. Т. 2. С. 241.
296 Белинский. Т. 11. С. 389, 323, 384-385.
297 ЛН¹ 56. С. 121.
298 Там же. С. 112.
299 Белинский. Т. 11. С. 384.
300 В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. С. 197.
301 Белинский. Т. 11. С. 260.
302 Погодин. Т. 5. С. 137.
303 Там же. С. 153.
304 Погодин. Т. 4. С. 307.
305 Labry. P. 210.
306 Кольцов. Т. 2. С. 45-48, 58.
307 ЛН¹ 56. С. 115.
308 Белинский. С. 367.
309 Переписка Н.В. Станкевича. С. 431.
310 Поэты кружка Станкевича. С. 496.
311 Белинский. Т. 11. С. 395.
312 ЛН¹ 56. С. 119-120.
313 Белинский. Т. 11. С. 339.
314 Бакунин. Т. 2. С. 191.
315 Переписка Н.В. Станкевича. С. 549.
316 Корнилов. С. 322.
317 Белинский. Т. 11. С. 340.
318 Там же. С. 255-256, 269.
319 Бакунин. Т. 2. С. 207, 199.
320 Белинский. Т. 11. С. 306.
321 ЛН¹ 55. С. 420.
322 Переписка Н.В. Станкевича. С. 417, 146, 185.
323 Белинский. Т. 11. С. 343, 294, 300.
324 Корнилов. С. 596-599.
325 Белинский. Т. 11. С. 285, 388, 315, 346, 314, 315.
326 Hegel. Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques.
P. 32-33.
327 Белинский. Т. 11. С. 344, 154, 285, 316, 317.
328 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 363-364.
329 Переписка Н.В. Станкевича. С. 658, 486.
330 Белинский. Т. 11. С. 385, 412, 377, 379-380.

- 331 Бакунин. Т. 2. С. 244-245, 296, 248-249, 239.
- 332 Панаев. С. 194.
- 333 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 320.
- 334 Панаев. С. 195-196.
- 335 Белинский. Т. 3. С. 247-248.
- 336 Карамзин. Т. 2. С. 73.
- 337 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 363.
- 338 Герцен. Т. 9. С. 22.
- 339 Белинский. Т. 3. С. 247-248.
- 340 Анненков. С. 201.
- 341 Белинский. Т. 3. С. 331, 334.
- 342 Бакунин. Т. 2. С. 317, 340.
- 343 Белинский. Т. 11. С. 510.
- 344 Корнилов. С. 582.
- 345 Белинский. Т. 11. С. 392-393.
- 346 Погодин. Т. 5. С. 154.
- 347 ЛН¹ 56. С. 114, 125-126.
- 348 Корнилов. С. 603, 604-605, 571, 587-588.
- 349 Бакунин. Т. 2. С. 261-262.
- 350 Корнилов. С. 528-532.
- 351 Белинский. Т. 11. С. 457.
- 352 Корнилов. С. 544-550.
- 353 Бакунин. Т. 2. С. 271.
- 354 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 1. С. 383.
- 355 Белинский. Т. 11. С. 443-444.
- 356 Павлов. С. 198-201.
- 357 Огарев. Т. 2. С. 302-306.
- 358 Белинский. Т. 11. С. 518.
- 359 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 366-367, 382, 416, 375.
- 360 Там же. С. 368-369, 378-379, 367-368, 386, 420.
- 361 Там же. С. 371, 378, 369-370.
- 362 Там же. С. 381-382.
- 363 Погодин. Т. 5. С. 470, 476-477.
- 364 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 381-383.
- 365 Белинский. Т. 11. С. 437-438, 452-453.
- 366 Корнилов. С. 617.
- 367 Бакунин. Т. 2. С. 391.
- 368 Там же. С. 295-297.
- 369 Там же. Т. 2. С. 405-406.

- ³⁷⁰ Корнилов. С. 637, 640.
³⁷¹ Белинский. Т. 11. С. 541-544.
³⁷² С. 290. Бакунин. Т. 2. С. 485. В.Г. Белинский и его корреспонденты. С. 49-50.
³⁷³ Бакунин. Т. 2. С. 434-435. Корнилов. С. 681.
³⁷⁴ Герцен. Т. 7. С. 343-344 (по-французски), С. 355-356 (перевод на русский).

Глава 5.

- ³⁷⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 120-127.
³⁷⁶ Там же. С. 134, 488, 135-136, 482, 203, 698, 483, 196, 703, 692, 704, 203-206, 193.
³⁷⁷ Тургенев. Т. 4. С. 392.
³⁷⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 699, 704, 142-143, 690, 691-692.
³⁷⁹ Там же. С. 684, 697-698, 489-490.
³⁸⁰ Там же. С. 471, 484.
³⁸¹ Белинский. Т. 11. С. 373.
³⁸² Hegel. Esth?tique. Т.1. Р. 23-24.
³⁸³ Станкевич. С. 178-179, 181-182, 178, 179-180.
³⁸⁴ Переписка Н.В. Станкевича. С. 725-726 (по-немецки), 686-687, 691, 692-693.
³⁸⁵ Тургенев. Т. 4. С. 391-392.
³⁸⁶ Там же. Т. 9. С. 91-92.
³⁸⁷ Там же. Т. 6. С. 393.
³⁸⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 696, 487, 704-706.
³⁸⁹ Winkelmann. Т. 2. Р. 73, 44, 71, 97/ Т. 3. Р. 196-197.
³⁹⁰ Hegel. Esth?tique. Т. 3. Р. 170.
³⁹¹ Переписка Н.В. Станкевича. С. 650-651.
³⁹² Hegel. Esth?tique. Т. 3. Р. 165-166.
³⁹³ Переписка Н.В. Станкевича. С. 702, 483, 703, 669-670.
³⁹⁴ Feuerbach. Р. 46, 21-39.
³⁹⁵ Переписка Н.В. Станкевича. С. 672-673.
³⁹⁶ Labry. Р. 202-206.
³⁹⁷ Feuerbach. Р. 51, 54, 44.
³⁹⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 698/
³⁹⁹ Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 385.
⁴⁰⁰ Переписка Н.В. Станкевича. С. 715, 688, 692, 694-695, 705-706.

- ⁴⁰¹ Тургенев. Т. 6. С. 393.
⁴⁰² Корнилов. С. 361-362.
⁴⁰³ Корнилов. С. 671-672. Бакунин. Т. 2. С. 199, 209, 385-386.
⁴⁰⁴ Переписка Н.В. Станкевича. С. 387, 389, 523-524.
⁴⁰⁵ Корнилов. С. 327.
⁴⁰⁶ Переписка Н.В. Станкевича. С. 725, 726, 730, 731, 732-737, 744.
⁴⁰⁷ Корнилов. С. 650.
⁴⁰⁸ Переписка Н.В. Станкевича. С. 669.
⁴⁰⁹ Бакунин. Т. 2. С. 431-432.
⁴¹⁰ Переписка Н.В. Станкевича. С. 670-671, 714-716.
⁴¹¹ Тургенев. Письма. Т. 1. С. 191-192.
⁴¹² Корнилов. С. 664.
⁴¹³ Тургенев. Письма. Т. 1. С.192.
⁴¹⁴ В.Г. Белинский и его корреспонденты. С. 48-49.
⁴¹⁵ Корнилов. С. 667-668.
⁴¹⁶ Тургенев. Письма. Т. 1. С. 191, 193.
⁴¹⁷ Корнилов. С. 671-672.
⁴¹⁸ Бакунин. Т. 3. С. 8, 9 (по-немецки).
⁴¹⁹ Белинский. Т. 11. С. 537-538, 539, 547, 553.
⁴²⁰ Белинский. Т. 12. С. 22-23.
⁴²¹ Тургенев. Письма. Т. 1. С. 195, 197.
⁴²² Стеклов. Т. 1. С. 106-109.
⁴²³ Бакунин. Т. 3. С. 65, 67-69.
⁴²⁴ Согни. Р. 262.
⁴²⁵ Стеклов. Т. 1. С. 117.
⁴²⁶ Бакунин. Т. 3. С. 126-148.
⁴²⁷ Стеклов. Т. 1. С. 126.
⁴²⁸ Там же. С. 162, 175-177.
⁴²⁹ Там же. С. 115.
⁴³⁰ Белинский. Т. 12. С. 114.
⁴³¹ Там же. С. 152, 144.
⁴³² Полонский. С. 127-130.

Глава 6.

- ⁴³³ Герцен. Т. 9. С. 114.
⁴³⁴ Там же. С. 23, 22, 21.
⁴³⁵ Там же. Т. 3. С. 87, 67.

- ⁴³⁶ Чаадаев. С. 105-137.
- ⁴³⁷ Custine. Т. 4. Р. 193, 183, 185. Т. 2. Р. 309. Р. 1. Р. 267-268, 288.
- ⁴³⁸ Ibid. Т. 2. Р. 19. Т.3. Р. 369. Т.2. Р. 46.
- ⁴³⁹ Чаадаев. С. 223-225, 230.
- ⁴⁴⁰ Герцен. Т. 9. С. 148. Т. 2. С.258.
- ⁴⁴¹ Киреевский. Т. 1. С. 112, 115, 116, 118, 120.
- ⁴⁴² Погодин. Т. 6. С. 6-8,11-15.
- ⁴⁴³ Герцен. Т. 9. С. 156-158. Т.2. С. 250-252, 260-263. Т. 9. С. 149-150.
- ⁴⁴⁴ Белинский. Т. 5. С. 97, 121-122, 129, 146.
- ⁴⁴⁵ Герцен. Т. 2. С. 316, 318, 327.
- ⁴⁴⁶ Там же. С. 111-112.
- ⁴⁴⁷ Там же. С. 320, 341.
- ⁴⁴⁸ Оксман. С. 383. Панаев. С. 274.
- ⁴⁴⁹ Герцен. Т. 2. С. 372.
- ⁴⁵⁰ Киреевский. Т. 2. С. 233, 111-112. Т. 1. С. 142, 143-144, 150-151, 159, 161.
- ⁴⁵¹ Анненков. 1881. С. 256.
- ⁴⁵² Хомяков. С. 80-81, 84, 97-98, 99.
- ⁴⁵³ Там же. С. 105-108. 110, 112, 125, 128, 129, 131.
- ⁴⁵⁴ Языков. С. 394-395.
- ⁴⁵⁵ Поэты кружка Станкевича. С. 385.
- ⁴⁵⁶ Герцен. Т. 2. С. 119.
- ⁴⁵⁷ Белинский. Т. 12. С. 249.
- ⁴⁵⁸ Оксман. С. 396.
- ⁴⁵⁹ Герцен. Т. 2. С. 409.
- ⁴⁶⁰ Оксман. С. 396.
- ⁴⁶¹ Герцен. Т. 2. С. 310.
- ⁴⁶² Пушкин. Т. 10. С. 307-309.
- ⁴⁶³ Погодин. Т. 4. С. 77-78. Т. 5. С. 129.
- ⁴⁶⁴ Там же. Т. 5. С. 69, 174-175.
- ⁴⁶⁵ Там же. Т. 3. С. 74.
- ⁴⁶⁶ Козмин. С. 432, 426, 434.
- ⁴⁶⁷ Белинский. Т. 3. С. 247.
- ⁴⁶⁸ Чаадаев. С. 246.
- ⁴⁶⁹ Погодин. Т. 5. С. 480-483.
- ⁴⁷⁰ Герцен. Т. 2. С. 311, 314, 354, 407.
- ⁴⁷¹ Там же. С. 334.
- ⁴⁷² Погодин. Т. 5. С. 483.

- 473 Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 1. С. 147.
- 474 Погодин. Т. 8. С. 52-56.
- 475 Там же. Т. 7. С. 444-446.
- 476 Белинский. Т. 8. С. 316.
- 477 Панаев. С. 279-280.
- 478 Анненков. 1881. С. 213, 226, 254, 262, 264, 265, 266, 267,
269-274.
- 479 Герцен. Т. 3. С. 295-315.
- 480 Там же. Т. 9. С. 208-210.
- 481 Там же. Т. 2. С. 214.
- 482 Белинский. Т. 7. С. 579.
- 483 Гоголь. Т. 6. С. 214, 219-222.
- 484 Белинский. Т. 6. С. 68-75, 755-756.
- 485 Hegel. Esthétique. Т. 3. Р. 384, 382.
- 486 Белинский. Т. 6. С. 408.
- 487 Там же. С. 430-431.
- 488 Там же. С. 359.
- 489 Гоголь. Т. 5. С. 258-259, 261.
- 490 Белинский. Т. 6. С. 418-420.
- 491 Там же. Т. 8. С. 81.
- 492 Гоголь. Т. 5. С. 281-285.
- 493 Белинский. Т. 9. С. 611-612.
- 494 Там же. Т. 12. С. 460-461.
- 495 Оксман. С. 431.
- 496 Там же. С. 457-459.
- 497 Гоголь. Т. 5. С. 569-572.
- 498 Белинский. Т. 10. С. 51-53.
- 499 Гоголь. Т. 6. С. 286, 290.
- 500 Белинский. Т. 10. С. 70. Т. 12. С. 339.
- 501 Там же. Т. 12. С. 354.
- 502 Герцен. Т. 2. С. 33-42.
- 503 Белинский. Т. 8. С. 385-413. Т. 9. С. 435-436.
- 504 Гоголь. Т. 7. С. 344.
- 505 Анненков. 1881. С. 361-362.
- 506 Белинский. Т. 10. С. 212, 213, 217, 220.
- 507 Гоголь. Т. 7. С. 349, 399, 402-405.

Глава 7.

- 508 Герцен. Т. 5. С. 21.
- 509 Бакунин. Т. 1. С. 190, 186, 196.
- 510 Герцен. Т. 10. С. 190-191.
- 511 Бакунин. Т. 3. С. 238-243.
- 512 Archives Bakounine. Т. 3. Р. 119, 437
- 513 Стеклов. Т. 1. С. 215-216.
- 514 Герцен. Т. 5. С. 22, 33, 34, 67.
- 515 Анненков. С. 310.
- 516 Белинский. Т. 12. С. 383-384.
- 517 Оксман. С. 511.
- 518 Белинский. Т. 12. С. 385, 446-453.
- 519 Там же. С. 467-468.
- 520 Там же. С. 436.
- 521 Заблоцкий-Десятовский. Т. 2. С. 278.
- 522 Там же. С. 281-289.
- 523 Белинский. Т. 12. С. 440-441.
- 524 Анненков. С. 371.
- 525 Бакунин. Т. 3. С. 270-279.
- 526 Стеклов. Т. 1. С. 216-219.
- 527 Анненков. С. 315-316.
- 528 Стеклов. Т. 1. С. 219-220.
- 529 Бакунин. Т. 3. С. 484-488.
- 530 Gunwald. Р. 261.
- 531 Анненков. С. 199.
- 532 Стеклов. Т. 1. С. 242-244
- 533 Герцен. Т. 11. С. 355.
- 534 Оксман. С. 545, 548-549, 555.
- 535 Погодин. Т. 9. С. 281-282.
- 536 Никитенко. Т. 1. С. 313-314.
- 537 Герцен. Т. 23. С. 79-82.
- 538 Там же. С. 68.
- 539 Белинский. Т. 12. С. 469.
- 540 Оксман. С. 552-553.
- 541 Белинский. Т. 10. С. 213.
- 542 Оксман. С. 496-497.
- 543 Cistine. Т. 2. Р. 126. Т. 3. Р. 22. Т. 4. Р. 76, 78.
- 544 Бакунин. Т. 3. С. 276.
- 545 Вяземский. С. 286-287.
- 546 Оксман. С. 545, 548.

- ⁵⁴⁷ Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 1. С. 236.
⁵⁴⁸ Киреевский. Т. 1. С. 178, 181, 184, 209, 220.
⁵⁴⁹ Там же. С. 234, 239, 241, 255-256.
⁵⁵⁰ Там же. С. 247-249, 251, 253-254,
⁵⁵¹ Там же. С. 258, 257, 259, 233, 262.
⁵⁵² Архив кн. В.А. Черкасского. Обзор материалов по крестьянскому делу и переписки. И. Козьменко. С. 46.
⁵⁵³ Заблоцкий-Десятовский. Т. 2. С. 203-204. Т. 1 С. 85-87.
⁵⁵⁴ Там же. С. 104-105, 125.
⁵⁵⁵ Там же. С. 188-189.
⁵⁵⁶ Там же. С. 138-139.
⁵⁵⁷ Там же. С. 220-221, 223-224.
⁵⁵⁸ Там же. С. 350.
⁵⁵⁹ Там же. С. 360.
⁵⁶⁰ Там же. С. 208-209.
⁵⁶¹ Там же. С. 18, 15-17, 19-21.
⁵⁶² Там же. С. 56-57.
⁵⁶³ Там же. С. 112-113.
⁵⁶⁴ Там же. Т. 2. С. 142-145.
⁵⁶⁵ Там же. С. 159-165, 172-173.
⁵⁶⁶ Там же. С. 112-119.
⁵⁶⁷ Там же. С. 172-173, 290-291.
⁵⁶⁸ Фонд гр. Киселева.

Глава 8.

- ⁵⁶⁹ Фонд гр. Киселева, 958 1 9 663.
⁵⁷⁰ Фонд гр. Киселева ЦГИА 1101 1 1461.
⁵⁷¹ Никитенко. Т.1. С. 455-456.
⁵⁷² Фонд гр. Киселева. Письма Д.П. Хрущева.
⁵⁷³ Майков. С. 36-45.
⁵⁷⁴ Дмитриев. С. 34, 36, 37, 39, 40.
⁵⁷⁵ Бутина. С.4, 65.
⁵⁷⁶ Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности. С. 3-131.
⁵⁷⁷ Никитенко. Т. 2, С. 596.
⁵⁷⁸ Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. С. 46-47, 153-154, 156-162, 239, 256, 251-259, 221, 282-284, 293, 372, 373, 380, 279.
⁵⁷⁹ Бутина. С. 79-80.

- ⁵⁸⁰ Чернышевский. Русский человек на randеву. С. 14.
- ⁵⁸¹ Время. С. 32-35.
- ⁵⁸² Бутина. С. 83, 84, 85, 82, 68, 71, 67, 75, 76.
- ⁵⁸³ Чичерин. О французских крестьянах.
- ⁵⁸⁴ Бутина. С. 73.
- ⁵⁸⁵ Герцен. Т. 13. С. 243.
- ⁵⁸⁶ Бутина. С. 74.
- ⁵⁸⁷ Герцен. Т. 13. С. 29.
- ⁵⁸⁸ Чичерин. О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян. С. 491, 493, 495.
- ⁵⁸⁹ Бутина. С. 78.
- ⁵⁹⁰ Герцен. Т. 9. С. 248-249.
- ⁵⁹¹ Там же. Т. 13. С.361-363, 362, 363, 619.
- ⁵⁹² Там же. Т. 26. С. 222, 438-439. Т. 13. С. 597-598, Т. 26. С. 243-244.
- ⁵⁹³ Там же. Т. 14.. С. 155, 158, 159, 169, 171, 179, 183, 185.
- ⁵⁹⁴ Добролюбов. Т I. С. 502, 508, 509, 515, 516, 518, 521, 523, 535.
- ⁵⁹⁵ Там же. С. 502, 508, 509, 515, 516, 518, 521, 523, 535.
- ⁵⁹⁶ Никитенко. Т. 2. С. 36, 110, 165, 32, 36.
- ⁵⁹⁷ Герцен. Т. 14. С. 197.
- ⁵⁹⁸ Никитенко. Т. 2. С. 46.
- ⁵⁹⁹ Герцен. Т. 26. С. 154-155. Т. 13. С. 195-197. Т. 26. С. 220-221. Т. 14. С.. 97-115. Т. 26. С. 275. Т. 15. С. 9-11.
- ⁶⁰⁰ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 194, 197.
- ⁶⁰¹ Герцен. Т. 27. С. 137-138. Т. 15. С. 249-252.
- ⁶⁰² Тургенев. Письма. Т. 4. С. 203.
- ⁶⁰³ Герцен. Т. 27. С. 139-140.
- ⁶⁰⁴ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 205-206.
- ⁶⁰⁵ Герцен. Т. 27. С. 140. Т. 15. С. 52-53.
- ⁶⁰⁶ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 211.
- ⁶⁰⁷ Герцен. Т. 27. С. 144-146, 149-151.
- ⁶⁰⁸ Герцен. Т. 15. С. 90-93, 108-109, 371-372, 378.
- ⁶⁰⁹ Никитенко. Т. 2, ст. 207, 598, 211, 213, 214-216, 231, 217, 64, 235, 237-238.
- ⁶¹⁰ Герцен. Т. 16. С. 81-82.
- ⁶¹¹ Никитенко. Т. 2. С. 249, 262, 237, 256, 312, 417, 420. 432, 425, 422, 431, 265, 270, 263, 273, 359.
- ⁶¹² Герцен. Т. 16. 411-412, 200, 201, 202, 203.
- ⁶¹³ Никитенко. Т. 2. С. 275, 276, 277, 278, 279-280, 285.

- ⁶¹⁴ Герцен. Т. 18. С. 578. Т. 16. С. 27-29. Т. 18. С. 240.
- ⁶¹⁵ Чернышевский. Барским крестьянам от их доброжелателей.
- ⁶¹⁶ Архив кн. В.А.Черкасского Письма от Ю.Ф.Самарина кн.В.А.Черкасскому, 1859-1861.
- ⁶¹⁷ Архив кн.В.А.Черкасского Письма 1858-1862.

Глава 9.

- ⁶¹⁸ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 290.
- ⁶¹⁹ Герцен. Т. 15. С. 153. Т. 27. С. 185, 190, 200, 206.
- ⁶²⁰ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 325, 326, 608-609.
- ⁶²¹ Герцен. Т. 27. С. 208-209.
- ⁶²² Тургенев. Письма. Т. 4. С. 334-335.
- ⁶²³ Герцен. Т. 27. С. 210-211.
- ⁶²⁴ Там же. Т. 16. С. 139, 147, 151, 174, 179.
- ⁶²⁵ Тургенев. Письма. Т. 5. С. 67.
- ⁶²⁶ Герцен. Т. 16. С. 193-194, 196-197.
- ⁶²⁷ Там же. Т. 27. С. 254.
- ⁶²⁸ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 51-53, 49.
- ⁶²⁹ Тургенев. Письма. Т. 5. С. 515 (М.П. Драгоманов, М.А. Бакунин, Письма к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1907. С. 181, 182).
- ⁶³⁰ Тургенев. Т. 5. С. 54-55.
- ⁶³¹ Пушкин. Т. 7. С. 338-339.
- ⁶³² Герцен. Т. 27. С. 261.
- ⁶³³ Тургенев. Письма. Т. 5. С. 64-65.
- ⁶³⁴ Герцен. Т. 27. С. 264-265.
- ⁶³⁵ Тургенев. Т. 5. С. 73-75.
- ⁶³⁶ Там же. С. 537, 382-383, 391-395, 400.
- ⁶³⁷ Там же. С. 95.
- ⁶³⁸ Герцен. Т. 27. С. 292.
- ⁶³⁹ Там же. С. 306-307.
- ⁶⁴⁰ Тургенев. Письма. Т. 5. С. 404, 698.
- ⁶⁴¹ Там же. С. 241.
- ⁶⁴² Герцен. Т. 18. С. 35. Т. 27. С. 453-455.
- ⁶⁴³ Там же. Т. 17. С. 34-35. Т. 11. С. 372-373. Т. 17. С. 56, 91.
- ⁶⁴⁴ Никитенко. Т. 2. С. 320.
- ⁶⁴⁵ Герцен. Т. 27. С. 299, 793.
- ⁶⁴⁶ Там же. Т. 17. С. 194, 194-195, 206-207.

- ⁶⁴⁷ Там же. Т. 27. С. 317, 320.
- ⁶⁴⁸ Там же. С. 371-372.
- ⁶⁴⁹ Никитенко. Т. 2. С. 324, 349.
- ⁶⁵⁰ Там же. С. 344, 372, 465, 640.
- ⁶⁵¹ Герцен. Т. 17. С. 292-295, 291, 251.
- ⁶⁵² Там же. Т. 27. С. 534.
- ⁶⁵³ Там же. Т. 17. С. 224. Т. 27. С. 490, 493, 493-494, 494, 497,
864, 505.
- ⁶⁵⁴ Там же. Т. 18. С. 274, 274-275, 283, 285, 286, 287, 292, 381,
477.
- ⁶⁵⁵ Там же. Т. 27. С. 296-297.
- ⁶⁵⁶ Там же. Т. 18. С. 216-219.
- ⁶⁵⁷ Там же. Т. 27. С. 217.
- ⁶⁵⁸ Тургенев. Письма. Т. 4. С. 382-383.
- ⁶⁵⁹ Там же. С. 380, 379-381, 358-359.
- ⁶⁶⁰ Там же. С. 247.
- ⁶⁶¹ Герцен. Т. 19. С. 59. Т. 20. С. 610.
- ⁶⁶² Там же. Т. 29. С. 110, 591, 102, 118. Т. 19. С. 261. Т. 29. С.
102.
- ⁶⁶³ Тургенев. Т. 6. С. 252.
- ⁶⁶⁴ Там же. С. 255, 550, 555, 261.
- ⁶⁶⁵ Тургенев. СС. Т. 9. С. 317. Тургенев. Письма. Т. 6. С.
276. Тургенев. СС. Т. 9. С. 329.
- ⁶⁶⁶ Герцен. Т. 20. С. 54, 57-58, 62, 66, 73, 75, 78-79.
- ⁶⁶⁷ Тургенев. Письма. Т. 6. С. 355.
- ⁶⁶⁸ Герцен. Т. 29. С. 242.
- ⁶⁶⁹ Тургенев. Письма. Т. 7. С. 13-14.
- ⁶⁷⁰ Герцен. Т. 29. С. 256.
- ⁶⁷¹ Там же. Т. 20. С. 335-336, 336, 337, 336.
- ⁶⁷² Там же. С. 338, 339, 339-340.
- ⁶⁷³ Там же. Т. 10. С. 319-320.
- ⁶⁷⁴ Там же. Т. 20. С. 342, 343, 341, 344, 345, 346, 349, 350.
- ⁶⁷⁵ Там же. С. 575, 583, 577, 861, 592-593, 577, 580, 576, 590-
591, 861, 592, 589, 590.
- ⁶⁷⁶ Тургенев. Письма. Т. 7. С. 323-324.
- ⁶⁷⁷ Герцен. Т. 30. С. 58-59.
- ⁶⁷⁸ Тургенев. Письма. Т. 7. С. 333-334.
- ⁶⁷⁹ Герцен. Т. 29. С. 195, 172.
- ⁶⁸⁰ Там же. Т. 20. С. 444, 448, 554-555.
- ⁶⁸¹ Тургенев. Письма. Т. 7. С. 334.

- ⁶⁸² Тургенев. СС. Т. 14. С 42-43, 43, 28.
- ⁶⁸³ Герцен. Т. 30. С. 300.
- ⁶⁸⁴ Тургенев. Письма. Т. 8. С. 168.
- ⁶⁸⁵ Archives Vakounine. Т. 5. Р. 22-23 (по-французски).
- ⁶⁸⁶ Ibid. Т. 4. Р. XXXVII-XXXVIII.(по-французски).
- ⁶⁸⁷ Ibid. Р. 109-110, 104-105, 105, 106, 126, 108. 110 (по-русски).
- ⁶⁸⁸ Ibid. Р. 461 (по-французски).
- ⁶⁸⁹ Marx/Vakounine. Т. 1. Р.73.
- ⁶⁹⁰ Archives Vakounine. Т. 4. Р. 113, 116, 115, 116, 116-117, 117, 119, 121, 124, 134.
- ⁶⁹¹ Ibid. Р. LXVII- LXVIII (по-французски).
- ⁶⁹² Marx/Vakounine. Т. 2. Р. 269-292
- ⁶⁹³ Archives Vakounine. Т. 4. Р. 6, 8, 10, 11, 35.
- ⁶⁹⁴ Конституция (основной закон) СССР. С. 28.
- ⁶⁹⁵ Archives Vakounine. Т. 4. Р. 406-409.
- ⁶⁹⁶ Ibid.
- ⁶⁹⁷ Головнин.
- ⁶⁹⁸ Ключевский. Т. 8. С. 390, 391, 394, 393, 394-395.
- ⁶⁹⁹ Чичерин. С. 3, 43, 145-146, 148-149, 153, 154, 156, 157.
- ⁷⁰⁰ Гершензон. С. 88, 85, 86.
- ⁷⁰¹ Струев. С. 144-145, 134-135.
- ⁷⁰² Бердяев. С. 10-12.

Указатель имен

Аксаков К.С. - 76, 82, 105, 106, 114, 148, 149, 215, 219, 222, 223, 225, 238, 239, 244, 248, 249, 253, 258, 259, 273, 328, 346, 347, 355, 368, 377, 455, 485, 486, 530.

Аксаков С.Т. - 76, 114, 148, 214, 219, 239, 249, 421.

Александр I - 20, 21, 23, 42, 57, 139, 185, 240, 432, 435, 439, 588.

Александр II - 12, 23, 240, 241, 349, 448, 473, 499, 510, 518, 523, 524, 565, 588.

Анненков П.В. - 359, 360-362, 364, 383, 391, 396-400, 407, 420, 459, 464, 465, 468, 477, 565.

Аракчеев - 21, 22, 23, 433.

Архангельский К.М.

Байрон - 33, 34, 70, 115, 197, 371.

Бакунин М.А. (Мишель) - 6, 8, 14, 88-91, 106, 107, 109, 116-118, 122-127, 130, 136-142, 144-150, 152, 162, 167, 168, 181, 186, 202-211, 213, 215-219, 222, 225-235, 237-239, 246-253, 255-264, 283, 294, 295, 297, 301, 303, 304, 306-308, 309-320, 322, 348, 390-394, 396-399, 406-414, 422, 462, 514, 515, 519, 521, 523-526, 529-531, 540, 543, 555-557, 559, 563, 565-583, 590.

Бакунина Варвара А. - 88, 106, 107, 125, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 168, 201, 207-210, 229, 247, 264, 265, 268, 271, 277, 294-301, 307, 310, 318, 319.

Бакунина Любовь А. - 88, 91, 106, 107, 122, 141-144, 146, 147, 149, 150, 152, 155, 159, 181, 188, 202, 207, 227-230, 251, 252, 264, 264, 297, 301.

Бальзак О. - 79, 87, 366

Баратынский Е.А. - 27, 28, 30, 58, 60, 61, 102, 104, 112

Бауэр Б. - 167, 168, 305, 310, 322

Белинский В.Г. - 6, 8, 10, 11, 15, 42-47, 51, 52, 71, 75, 78, 82, 85, 87, 93-99, 101, 102, 105, 108-115, 117, 122, 130-138, 140-150, 152, 165, 186, 187, 197-199, 203-208, 210, 211, 213-220, 222-239, 241, 243-249, 251, 253-255, 258-264, 274, 275, 295, 298, 302-304, 318, 319, 322, 327, 334-338, 341, 347, 348, 358, 359, 360, 361, 364-370, 372-388, 390,

396-400, 405-407, 414, 415, 420-424, 425, 459, 460, 462, 463, 467, 470, 477, 480-482, 485, 508, 519, 534, 538, 540, 549, 555, 563, 564, 577, 578, 590, 592.

Бердяев Н.А. - 590.

Бестужев А. - 70.

Блан Луи - 333, 372, 391, 395, 398, 400.

Боткин В.П. - 109, 148, 149, 165, 167, 208, 215, 218, 219, 223, 226-228, 237, 238, 248, 250-253, 255-259, 262, 264, 302, 303, 322, 323, 379, 380, 396, 397, 421, 515, 560.

Булгарин Ф. - 29, 33, 35, 38, 57, 64, 65, 70, 87, 101, 114, 150, 198, 214, 219, 260, 347, 369, 370, 373, 374, 387, 407, 423.

Варнгаген фон Энзе - 161, 173, 177, 180, 184, 196-199, 224, 306.

Вейтлинг - 316, 362.

Веневитинов Д.В. - 9, 23-27, 29-34, 55, 60, 61, 63, 90, 103, 274, 592.

Вердер - 161-169, 175, 186, 188, 193, 195, 200, 233, 273, 297, 303, 306, 307, 318.

Винкельман - 133, 176, 281, 282, 286

Вольтер - 94, 152, 204, 306, 382.

Кн. Вяземский П.А. - 23, 27, 36, 54, 55, 57-59, 61, 64, 197, 375, 421, 424, 462.

Ганс Э. - 37, 161, 167, 187, 199, 220, 221, 256.

Гегель Г.В.Ф. - 8, 9, 36-38, 42, 80, 102, 110, 121,123, 127, 141, 142, 149, 154-156, 158, 162-167, 182, 186, 187, 195-197, 199, 200, 202-204, 206, 210-213, 215-217, 219-222, 224, 232, 233, 236, 239, 247, 254, 255, 257, 259-261, 268, 273, 274, 276-278, 282-293, 303-308, 311, 313-315, 317, 322-324, 331, 332, 336, 344, 363, 366, 367, 392, 430, 458, 462, 521, 592.

Гейне Г. - 223, 225, 316.

Гервег Г. - 160, 310, 315, 316.

Гердер И.Г. - 77, 80, 133, 246, 337.

Герцен А.И. - 6, 8, 10,12,13,19, 47, 48, 52, 66, 67, 76-83, 85, 92, 93, 98, 99, 109, 110, 117, 151, 154, 165, 204, 224, 243-245, 254, 255, 261-264, 309, 321-324, 328, 332-334, 336-339, 343, 346-348, 353, 354, 358-360, 362-364, 373, 375, 380, 382, 389-392, 394-398, 409, 410, 414, 418, 419, 455, 457, 459, 473-478, 480-482, 484-487, 489-494,498, 499, 504, 507, 508, 514-525, 527-545, 547, 549, 550, 553-565, 567, 570, 576, 577,578,581, 583, 585, 586, 590, 592,

Гершензон М.Ю. (О) - 589

Гете И.В. - 33, 51, 70, 77, 89, 90, 115, 133, 153,167, 182, 197, 208-211, 215,216, 223, 225, 228, 236, 260, 272-274, 316, 323, 363, 365, 368, 412.

Греч Н.И. - 29, 35, 57, 64, 65, 87, 101, 198, 199, 214, 253,260, 334, 347, 407,423.

Грибоедов А.С. - 29, 133, 390.

Григорович Д.В. - 373.

Григорьев А. - 224, 466, 467.

Гоголь Н.В. - 70, 71, 85, 101, 114, 115, 128, 131, 133, 145, 150, 154, 224, 227, 239, 323, 359, 364-373, 375-379, 382-388, 390, 397, 417, 421, 424, 461, 462, 538, 563, 590.

Кн. Голицын С. - 21, 46, 47, 52, 452.

Головнин А.В. - 390, 393, 450, 488, 583-585.

Гончаров И.А. - 73, 382 , 479, 563.

Грановский Т.Н. - 12, 129, 130, 158-162, 164, 165. 168, 169, 172, 173, 175-179, 184-187, 191, 192, 195, 200, 221, 224, 229, 236-238, 243, 248, 251-253, 255-259, 262, 265, 271, 274, 291, 297, 300, 301, 322, 336-339, 346, 347, 354, 355, 358-363, 380, 390, 397, 426, 427, 431, 453, 457-459, 477, 481, 482, 538, 585, 586, 592.

Гумбольдт А. - 161, 198, 362.

Гюго В. - 34, 87, 237, 260.

Давыдов И.И. - 24, 66, 73, 75, 82, 113, 256, 355.

Добролюбов Н.А. - 466, 478-481, 487, 493, 499, 539, 540.

Достоевский Ф.М. - 10, 373, 376, 382, 421, 541,577, 578, 590.

Драгоманов М.П.

Екатерина II - 20, 49, 56, 94.

Жуковский В.А. - 9, 22, 23, 31, 35-37, 55, 61, 65, 94, 145, 214, 272, 280, 364, 387, 425.

Заблоцкий-Десятовский А.П. - 432.

Кавелин К.Д. - 458, 467, 468, 477, 507, 515, 537.

Кант И. - 24, 26, 29, 32, 66, 67, 80, 117, 118, 120-122, 125, 154, 166, 167, 247, 276, 337.

Карамзин Н.М. - 21, 22, 35, 53-57, 71, 73, 94, 95, 106, 241-243, 265, 335, 344, 354, 425.

Катков М.Н. - 148, 215, 217, 223-225, 236, 237, 248, 253, 255, 256, 259, 263, 264, 457, 458, 467, 473, 522, 532, 533, 534, 536, 544.

Каченовский М.Т. - 53-55, 65, 66, 73, 94, 95, 97, 104-106, 148, 152, 256.

Кетчер Н.Х. - 224, 239, 244, 256, 359, 361, 468, 477, 538.

Киреевский И.В. - 12, 24, 30, 32, 34-39, 60-65, 101, 102, 104, 108, 150, 165, 196, 257-259, 291, 292, 293, 324, 328-330, 338-341, 346, 347, 351, 354, 358, 360, 427-430, 482, 592.

Гр. Киселев П.Д. - 16, 240, 241, 378, 401, 404, 405, 407, 420-451, 592.

Клюшников - 49, 54, 71, 76, 82, 105, 110, 117, 120, 123, 148, 152, 153, 187, 215, 225, 226, 237, 238, 248, 354.

Ключевский В.Ю.(О) - 585, 586.

Кольцов А.В. - 50, 215, 223, 238

Корш В.Ф. - 256, 336, 359, 457-459, 463, 466-471, 473, 477, 498, 538.

Костенецкий Ю.И. - 50, 77, 110.

Кошелев А.И. - 24-26, 31, 32, 36, 60, 102, 104, 455-458, 469.

Краевский А. - 145, 146, 198, 199, 214, 224, 238, 243, 247, 248, 254, 364, 370, 373, 375, 376, 508.

Крюков - 256, 322.

Кюстин де, маркиз - 239, 323, 325, 326, 348,

Кюхельбекер В.К. - 25,57, 465

Лемке М.К.

Лермонтов М.Ю. - 6, 129, 196, 204, 237, 563, 590.

Лессинг Г.Э. - 133, 276, 303.

Маркс К. - 8, 306, 316, 391-394, 556, 559, 573, 581, 582.

Мельгунов Н.А. - 25, 31, 51, 60, 68, 69, 70, 77, 82-84,101, 102, 104, 198.

Мерзляков А.Ф. - 24, 25, 27.

Мицкевич А. - 27, 30, 82, 98, 115,235, 323, 353, 391, 410.

Надеждин Н.И. - 65-68, 70-75, 82, 93, 96-98, 108, 110, 130, 131, 135, 139,140, 145, 146, 155, 162, 214, 248, 260, 350, 351.

Неверов Ю.М. - 48-50, 54, 66, 68, 71, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 91, 92, 98, 100, 101, 106, 113, 116, 117, 129, 136, 140, 144, 158-161, 169, 171-173, 175, 177, 178, 180, 181, 188, 189, 192, 195-200.

Некрасов Н.А. - 359, 372-374, 356, 380, 382, 522, 533.

Нечаев С.Г. - 556, 558, 566, 567-570, 572-576, 578, 582, 583.

Никитенко А.В. - 64, 249, 375, 377, 415, 416, 453, 460, 482, 494-497, 499, 500-503, 505, 506, 531, 532.

Николай I - 11, 23, 26, 40-43, 52, 53, 64, 65, 74, 83, 140, 172, 173, 239, 240, 308, 326, 357, 400, 401, 408, 412, 414, 415, 431, 438, 450, 535, 584, 587.

Огарев Н.П. - 76-81, 92, 93, 109, 110, 154, 165, 166, 204, 224, 244,254, 255, 257, 261, 263, 264, 347, 363, 364, 376, 523, 564, 566-568, 575-577.

Кн. Одоевский В.Ф. - 9, 25, 26, 31, 32, 36, 56-58, 61, 115, 145, 196, 253, 375,425,457.

Павлов М.Г. - 49, 50, 54, 66, 67, 84.

Панаев И.И. - 220, 238, 239, 263, 379, 374, 376.

Петр I - 11, 13, 20, 21, 41, 54, 57, 61, 63, 72, 94, 95, 225,235, 236, 240, 241, 244, 257, 325, 327, 330, 334-336, 346, 349, 350, 351, 355-357, 364, 381, 389, 394, 399, 400, 424, 426.

Пирогов Н.И. - 43, 44,76.

Писарев Д.И - 507, 544, 549-551.

Погодин М.П. - 10, 24, 27, 30, 31, 36, 40, 47, 48, 52-57, 59-61, 63-66, 71, 72, 75, 77, 83, 85, 97, 102-105,108, 111, 112, 115, 118-120, 135, 146, 175, 177, 178, 186, 214, 215, 222, 223, 249, 258, 328, 330, 331, 334, 336, 340, 341, 347, 349, 350, 353, 354, 356, 358, 360, 380, 407, 422, 431, 468, 561.

Полевой Н.А. - 27, 33-35, 58-60, 65, 70, 71, 74, 86, 111, 115, 134, 140, 143, 145, 197, 214, 215,260, 425.

Прудон - 316, 323, 362, 392-395.

Пушкин А.С. - 6, 13, 21,23, 26-31, 33-36, 43, 50, 56-59, 61, 64, 70-73, 87, 89, 94, 95, 100, 103, 113, 115, 133, 135, 136, 139, 144-146, 150, 196-199, 204, 224, 225, 235, 236, 237, 241, 243, 244, 260 ,274, 349, 364, 365, 367, 369, 370, 371, 375, 377.

Пушкин И.И. - 26.

Редкий П.Г. - 220, 255-258, 322.

Руге А. - 182, 305, 306, 309-311, 315, 316, 318, 322.

Руссо Ж.-Ж. 316.

Рылеев К.Ф. - 26, 43, 57, 103, 465.

Савиньи Ф.К. - 118, 167, 220, 221, 312, 313.

Самарин Ю.Ф. - 12, 224, 343, 347, 351-354, 377, 426, 430, 454-456, 468, 485, 511, 512, 534-537.

Сеньковский О.И. - 84-86, 101, 132, 145, 150, 215, 220, 260, 369.

Сен-Симон - 80, 395.

Серно-Соловьевич Н.А. - 493, 507, 528.

Скотт В. - 87, 95, 157, 368

Смирдин А.Ф. - 84, 96, 145, 150, 214, 215, 423.

Сперанский М.М. - 21, 22, 240.

Станкевич Н.В. - 6, 8-11, 31, 49-51, 53, 54, 66, 68-71, 75-80, 82-87, 89, 91, 92, 98-102, 104, 105, 107-118, 120-131, 135, 136, 140-147, 149-172, 174-183, 186-197, 199-203, 206, 207, 209, 210, 216, 218, 219, 224-227, 229-231, 233, 236-238, 243, 247, 251-259, 261, 264, 308, 317, 319, 337, 351, 354, 363, 379, 381,382.

Гр. Строганов С.Г. - 118, 119, 124, 129, 135, 140, 141, 148, 176, 205, 214, 224, 336, 338, 349, 350, 415-417, 452.

Струве П.Б. (Струев) - 590.

Токвиль А. - 458, 471.

Тургенев И.С. - 10, 13, 18, 138, 161, 165, 169, 175, 192, 199,210, 270, 271, 279-281, 293, 297, 298, 300, 301, 306-309, 319, 373 , 375, 376, 382, 464, 477, 478, 487.489.490.492.512. 514-518, 520, 522-549, 551, 555, 557, 560, 561, 563, 564, 565, 590.

Тургенев Н.И. - 23, 383, 397,481, 491.

Тютчев Ф.И. - 37, 393.

Гр. Уваров С.С. - 22, 23, 72-75, 82, 86, 95-97, 108, 111, 140, 146, 174, 214, 415-417.

Фет А.А. - 113, 224.

Фейербах Л. - 286-288, 290, 291, 299, 305, 306, 316, 322, 324, 362, 392.

Фихте Г. - 8, 26, 66, 80, 109, 110, 125-127, 138, 143, 162, 165. 232, 317, 337.

Фурье - 80, 291, 395.

Хомяков А.С. - 30, 60, 61, 101-104, 243. 257, 258, 292, 323, 328, 330-333, 341-346, 354, 355, 360, 392, 427, 486, 512, 592.

Хрущев Д.П. - 448, 451, 452, 454.

Чаадаев П.Я. - 27, 60, 139, 140, 145,146, 215, 256, 324, 326-329, 336, 343, 346, 348, 350, 351, 392, 473, 482, 547, 553.

Черкасский В.А. - 431, 455-457, 511, 512.

Чернышевский Н.Г. - 456, 460-466, 478, 481, 483, 487, 493, 499, 507, 508, 510, 538, 540, 543.

Чичерин Б.Н. - 458, 459, 469-477, 485, 498, 499, 516, 522, 558, 586-588, 590.

Шафарик П.И. - 118, 119, 157, 175, 177-179, 265.

Шевырев С.П. - 25, 30, 32, 33, 39, 51, 60, 64, 66, 68, 71, 82-84, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111-113, 131-135, 187, 188, 198, 214, 223, 226, 256, 273, 291-293, 300, 328, 331, 334, 336, 339-341, 346, 347, 350, 354-358, 360, 366-368, 379, 380, 407, 416, 417, 422, 452, 453, 461.

Шеллинг Ф.В. - 8, 9, 24, 26, 32, 37, 38, 51, 61, 65, 66, 80, 97-99, 102, 105, 115, 120-122, 127, 166, 197, 286-288, 311, 313, 318, 324, 351, 363, 430,431, 521.

Шекспир В. - 35, 63, 134, 197, 215-217, 236, 239, 260, 368.

Шиллер И.Ф. - 43, 51, 77, 87, 106, 108, 115, 133, 134, 139, 152, 153, 157, 166, 178, 182, 190, 197, 211, 223, 225, 236, 237, 248, 250, 257, 270, 303, 337, 365, 412.

Шишков А.С. - 21, 22.

Штраус Д.Ф. - 167, 168, 303, 305, 352.

Энгельс Ф. - 311, 316, 322, 390, 391, 581.

Языков Н.М. - 61,101, 346, 354, 375, 421.

Александр Бурмейстер

**ДУХОВНОСТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ:
у истоков русского самопознания**

Подписано в печать: 20.01.2010. Бумага Комус.
Формат 60x84 ¹/16. Усл. печ. л. 36,26. Печать оперативная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1196.

Издательско-полиграфический комплекс
Тюменской государственной
сельскохозяйственной академии
625003, Тюмень, Республики, 7